

Анатолий Ланщиков

О чем безмолвствует народ


Русское сопротивление





Москва
алгоритм
2012

УДК 82-93
ББК 84
Л 22

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Составители:

С.С. Куняев, А.М. Разумихин

Ланщиков А.П.
Л 22 О чем безмолвствует народ. – М.: Алгоритм, 2012. – 704 с.

ISBN 978-5-4320-0023-1

Анатолий Петрович Ланщиков (1929—2007) был одним из наиболее читаемых литературных критиков в 60—90-е годы XX века. С течением времени могло показаться, что те споры отбушевали и ушли в прошлое. Но, перечитывая сейчас работы Ланщикова, видишь, — насколько в годы так называемого «застоя» и нового перелома русского хребта люди мыслили масштабнее и точнее, чем в нынешнее неустойчивое, отдающее гнилью, время. Насколько слово Ланщикова, касалось ли оно Чернышевского и Толстого или его живых современников — Астафьева, Рубцова, Жигулина, вскрывало жгучие вопросы современности и было обращено с точным прогнозом в будущее.

Это первая посмертная книга критика, его «избранное», которое, надеемся, встретит своего вдумчивого и неравнодушного читателя.

УДК 82-93
ББК 84

ISBN 978-5-4320-0023-1

«ПО ЗАКОНАМ ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Основание жизни народной — есть убеждение...
И.В. Киреевский

Во всем виноват я — не удержал книгу.

Именно в тот день зачем-то взялся наводить порядок на полках домашней библиотеки. И вот стою на лестнице-стремянке, перебираю томики, протирая их корешки и обрезы. Как, почему из рук вырвался один из них? Синий переплет точно взмахнул крыльями, но не взлетел, а рухнул вниз.

Удивительное дело, сколько шума наделало падение этой, в общем-то не очень толстой, книги. Из соседней комнаты на него даже прибежала жена.

— Что случилось? — увидела, подняла и, взглянув на обложку, протянула мне. Только отчего вдруг замедлилось движение руки и дрогнул голос? — Ланщиков... Не к добру... Плохая примета...

А я лишь отмахнулся:

— Скажешь тоже!

...На следующий день во второй половине дня раздался телефонный звонок, я взял трубку.

— Да! Привет! Рад тебя слышать... Ой!.. Прими наши соболезнования... Конечно. Обязательно. Где? Во сколько? Ты только держись. Чем могу помочь? Кому еще позвонить?.. До завтра... Мужайся.

Кладу трубку и вижу все понимающие глаза жены.

— Анатолий Петрович? — Она даже не произносит слово «умер», и так ясно. — Я же сказала «не к добру».

Потом выяснится, что книжка из моих рук упала именно в то время, когда кончилась «череда окаянных дней», отпущенных судьбой Анатолию Петровичу Ланщикову. Хотите, считайте — мистика, хотите — дело случая. Но совпало!

...Нас свел Юрий Селезнев. Я тогда пришел в «Молодую гвардию», и мы сидели в его кабинете заведующего редакцией «ЖЗЛ». Только на сей раз все было наоборот. В его редакторском кабинете редактором был я, а Юра был проштрафившимся автором. Он обещал мне написать в очередной журнальный номер «Литературы в школе» статью, но срывал сроки. Я, как мог, нажимал на него. Тут-то порог кабинета и переступил незнакомый мне человек. Селезнев воспользовался моментом и переключил разговор. Он представил нас друг другу.

Зачем тогда Ланщиков, а это был он, пришел к Селезневу — не помню, врать не буду. Но в конце встречи речь зашла о том, что Анатолий Петрович и Игорь Золотусский на пару будут вести от Союза писателей семинар по тем временам молодых критиков. Ланщикова беспокоил будущий состав участников семинара:

— Складывается так, что по тому, откуда и от кого приходят первые семинаристы, общая картина получается скверная. С той стороны пока молодых больше. Нужно подобрать нескольких, — сказал он, — своих и крепких ребят. Чтобы все было на равных. Завтра от них будет зависеть будущее критики.

И Селезнев предложил ему меня, добавив всего одно слово: «Ручаюсь!» Так судьбе стало угодно, что из селезневского кабинета мы с Ланщиковым вышли вместе.

На тот момент я ничего не знал о нем, а он — обо мне. Его первый вопрос был:

— Москвич? Откуда родом?

Я ответил, что корни московские и саратовские, а по отцу еще и ржевские, но родиться довелось в Хабаровске, в погранотряде Амурской речной флотилии. Потому как из семьи кадрового морского офицера. Пошутил про самого себя:

— Дед — капитан первого ранга, отец — капитан третьего ранга, а я выродок — в армии «служил» всего три дня. Полная деградация, гуманитарием стал. Хотя, должен признаться, читать, писать полгода учился, живя у отца на сторожевом корабле, стоявшем на рейде в бухте Золотой Рог Владивостока.

По его реакции понял, что мое происхождение ему очень даже глянулось. Позже от Анатолия Петровича доведется узнать о военных корнях его самого: о суворовском училище, об офицерской службе.

А я тем временем продолжаю, что в Москву приехал из Саратова, куда наша семья переехала после демобилизации отца. Там окончил школу и филфак университета.

— Любопытное совпадение, — говорю ему, — потому как один мой дед родом тоже из Саратовской губернии.

И слышу в ответ:

— Так мы земляки.

Кажется, именно эти три фактора: рекомендация Селезнева, происхождение из потомственных военных и землячество — нас как-то сразу сблизили.

Буквально на другой день я продолжил знакомство — начал читать небольшой сборник статей Ланщикова «Времен возвышенная связь» и сразу понял... как говорил один из моих любимых киногероев в исполнении Леонида Быкова: «Споемся!»

На вопрос, что такое критик, всякий знающий — с юмором, конечно, — прежде всего ответит: «Это не профессия, это состояние души». Состояние души, какой был наделен Анатолий Петрович, не капризной и не жестокой, внемлющей доводам разума и голосу естественного чувства, стремящейся к самостоятельности и свободе от рабской зависимости, ему не только позволило, а просто-таки предопределило, обратившись к литературе, быть критиком. Спорить, доказывать, объяснять, или, как еще говорят, формировать общественное мнение. Он это делал всегда. Даже тогда, когда об общественном мнении и не заикались.

Не случайно себя и своих сверстников, чье детство совпало с войной, он как-то назвал «спорящим поколением». «У меня вообще создается такое впечатление, — признавался Ланщиков в 1980 году, — будто мы проспорили всю свою жизнь». Мотивы, по которым то тут, то там вспыхивала жаркая, до драки, полемика, разумеется, были разные. Впрочем, и ценности при этом отстаивались спорящими, само собой, противоположные. Одни на первый план выдвигали «исповедальную» прозу, другие — «деревенскую». Одни ратовали за прогресс, другие взывали к нравственности. Одни цитировали Хемингуэя и Кафку, другие ссылались на Глеба Успенского и Достоевского.

Так что Ланщикову, что называется, на роду было написано спорить, например, с теми, для кого слово «новаторство» оказалось высшей и чуть ли не единственной похвалой, а слово «традиционность» — синонимом отсталости и бесталанности.

Я открываю его работу середины 60-х, где он размышляет о моде и современности: «У моды свои законы этики и эстетики, а в понятие *хорошее* или *плохое* она не вкладывает никакого иного содержания, кроме как: *новое* и *старое*. *Новое* — хорошо уже только потому, что оно не старое, *старое* — плохо уже потому, что оно не новое».

Сознаю: если уже тогда, в 60-е, он посчитал нужным бескомпромиссно обозначить, что «новое — это еще не значит истинное», то в представлении, какое нам сегодня навязывается, будто поколение шестидесятников состояло исключительно из демократов и либералов, сплошь устремленных на общечеловеческие ценности, притворства ничуть не меньше, чем в былых партийных заботах коммунистов, руководствовавшихся в своих действиях не законами, а сложившейся практикой, точнее, целесообразностью, или в современных «заботах» власть предержащих о судьбах народных.

Порой, читая Ланщикова, можно было подумать, что куда больше настоящего, тем паче будущего, его волнует прошлое. И эти мысли возникают не только от работ, рожденных в пору «окаянных дней» 90-х, но уже от статей давних 70-х, достаточно взглянуть на его заметки о деревне и «деревенской» прозе. Действительно, полемизируя с суждениями дня нынешнего, Анатолий Петрович часто опирался на аргументы и факты дней давнишних. Исходил при этом из двух принципиальных для него «постулатов»: до нас люди жили тоже отнюдь не глупые, и «прошлое — это наша корневая система, и его страшится лишь тот, кто не верит в историческую перспективу сегодняшнего дня».

Попутно замечу: и тогда, и ныне, читая его размышления о «старой» и «новой» деревне, я поражался, как этот сугубо городской человек с армейской «начинкой» умел, нет, не любить землю и деревню, а понимать людей, живущих на земле, и их предпочтения.

Чаще всего его критические выступления — это статьи «на случай». Как он говорил: «Мне надо за что-то зацепиться или от чего-то оттолкнуться». Почти каждая его работа — это своеобразный ответ на внешний импульс. Значит, что-то царапнуло в душе, задело, и он не смог смолчать. Он предпочитал не писать, если такого раздражителя не возникало. Анатолий Петрович без тени шутки говорил о себе по этому поводу: «Я какой-то не профессиональный критик. Меня надо раздразнить, тогда я сажусь писать. А в остальное время предпочитаю читать».

Ланщиков был из той редкой породы критиков, которые любят читать не потому, что позвонили из редакции и заказали рецензию на книгу, статью в журнал, или чтобы быть «в курсе происходящего», он любил чтение как таковое, любил читать «ненужное», несовременное, ему нравилось находить чужие мысли, в которых чувствовалась умственная самостоятельность. А в последние годы, когда и жены не стало, и Светлана, дочь, выросла, стала самостоятельной, и за окном стояла «ненастная эпоха», для него и вовсе ничего не было лучше-

го, как сесть за письменный стол и читать. Замечу, он читал внимательно и, как говорится, с чувством, больше того, я даже сказал бы, с величайшим уважением к слову. Так редко даже профессионалы читают.

И это, говоря его собственными словами, «не было простым накопительством сведений или приобретением простой эрудиции, это была жажда познать мир во времени и в пространстве и таким образом постигнуть его закономерности».

Казалось бы, в том, что он писал, нет столь важного для литературы — *бесцельности*, того, что называется общностью на все времена. У Ланщикова все, наоборот, имело конкретную цель и, следовательно, написано вроде как бы для конкретной минуты. Но значит ли это, что отошла минута и статья увяла, морально устарела? Ничуть! Время идет, а написанное им по-прежнему плодоносит. Потому что писалось не для минуты, а для жизни.

И надо ли удивляться, что многие пассажи, рожденные литературной полемикой в каком-нибудь 1969 году, читаются сегодня, сорок лет спустя, как обращенные к иным современным авторам, любителям политических и нравственных обвинений: «Поговорил, скажем, критик А. о том, что по каким-то причинам не устраивает критика Б., смотришь, последний «воздвигает» какую-нибудь фантастическую концепцию и, пользуясь первым же случаем, приписывает ее своему литературному противнику. Затем критик Б. принимает патриотическую осанку и начинает громить критика А. и притом не столько как критика, сколько как человека. И тут уже сложилась своя модель. Сначала щедро выдаются «комплименты», порой граничащие с прямыми оскорблениями. Второе условие — наличие в обвинениях «политических полунамеков». В-третьих, критику А. подыскивается «реакционный предшественник», а потом, естественно, следуют соответствующие «выводы».

Начиная с самых ранних публикаций (можно обратиться к его знаменитой молодогвардейской статье «Осторожно — концепция!»), легко увидеть, как он относился и к «друзьям», и к «врагам». Игнорируя распространенную формулу: «свой» всегда прав, а если даже не прав, то об этом не говорят вслух, Ланщиков (редкое качество) оставался верен себе, и потому, не давая спуску «чужому» Ю. Суровцеву за его политическое проституирование, не проходил мимо ошибочности методологии «своего» В. Чалмаева.

Я не стану здесь подробно излагать изящные диалоги с оппонентами, какие выстраивал Ланщиков, мастерски владев-

ший техникой боя на поле своих противников (методологии социалистического реализма) и даже их оружием (цитатами из ленинских работ, которые он умел прочитывать не догматически). Хочу лишь обратить особое внимание на то, что он не был ортодоксальным критиком. Он умел и любил мыслить, вдумываться и вообще лезть вглубь, сопоставлять и оценивать реальное положение в конкретной ситуации. При этом в своем анализе он предпочитал называть вещи своими именами, не допуская заведомых передержек и всегда следуя соотнесению литературного процесса с действительностью и верностью исторической правде. Ланщиков, как мало кто другой, умел вчитываться и читать не только между строк (есть и такие мастера). И после прочтения, если оно его «зацепило», он не брался выстраивать риторические фигуры, а ставил точный и порой беспощадный диагноз. Это был критик особой специализации, он не занимался «лечением», он умел находить, определять, что у человека и общества «болит».

А еще, на мой взгляд, он был не просто спорщиком, а замечательным спорщиком. Он начинал спорить с Чернышевским, и из этого спора выходила прекрасная книга о писателе-революционере. Он начинал спорить с убедительной работой Андрея Баженова «К тайне «Горя», и в результате этого спора на свет появлялась чудесная статья «Горе от ума» как зеркало русской жизни». Он брался спорить с Петром I, и возникал цикл его блестящих статей о исторических путях России. Такая вот была природа его критического таланта.

Не могу не сказать, Ланщиков был силен именно тогда, когда спорил, а не тогда, когда брался обличать. В 90-е годы он изменил себе и ушел в политику. Результат оказался предсказуем — многие его публикации наполнились атрибутами, далекими от литературы и приняли форму агитпослания. Однако в этом жанре он не преуспел. Тут важно понять, почему не преуспел. Мне кажется, дело в том, что в нем отсутствовали пренепременные компоненты для создания подобного рода вещей — его натуре были противны политиканство и демагогия. Он и в советские-то времена ими не грешил. А без этого, во-первых, ни в вожди, ни в помощники вождей всякого пошиба ты ну никак не годишься; во-вторых, отношение к тебе всегда будет соответствующее: какой-то ты вроде бы и «наш», но все же странный. Что-то вроде «попутчика».

Что греха таить, демагогов хватает и хватало во все времена, и в чести они во всех лагерях: и в тех что «справа», и в противоположных — «слева». Поэтому достаточно перечитать сегодня статьи из раннего Ланщикова — «Лицом к дейст-

вительности», из зрелого — «Капитан», из позднего — «Апостолы и жертвы сиюминутного», и сразу понимаешь, почему о Ланщикове всегда шла «слава» неудобного критика. Я говорю «всегда», потому что таким он был, начиная с первой своей книжки «Времен возвышенная связь» и до ставшей последней «О пользе праздного чтения». До такой степень неудобный, что даже, когда его не стало, в редакции одного журнала, напечатавшего заметки о нем в годовщину смерти, раздался звонок известнейшего критика-соратника из «своих» с недоуменным вопросом, а кто, собственно, такой Ланщиков, чтобы его вспоминать и о нем писать.

Но если уж выделять какую-то главную, ведущую черту Ланщикова-критика, то я назвал бы прежде всего его последовательность. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, обосновав свой взгляд на проблему и поставив в 1969 году памятный многим диагноз: «Осторожно — концепция!», он, исходя из тех же убеждений, ничуть им не противореча, даст 1994 году блестящий историко-литературный анализ в статье «Ледокол» идет на таран».

Поэтому поговорим о том, где он сумел сказать свое весомое слово. Истинный писатель, а Ланщиков им был, уже в появлении своем непредсказуем. Он поздно пришел в литературу. И если есть такая профессия «Родину защищать», то, сняв офицерские погоны, он и в литературе оставался ее защитником.

Он защищал ее всегда:

и когда писал об этике и эстетике «исповедальной» прозы,

и когда говорил о деревне и «деревенской» прозе,

и когда показывал, что идеи Чернышевского имеют корни в таящемся в глубинах морального сознания крестьянина, который никогда не считал себя рабом, чувстве несправедливости такого положения, когда помещик, не служа государству, царю, остается господином,

и когда заявлял, что «не следует бить поклоны в сторону перестройки по каждому поводу, излишний словесный энтузиазм, не подкрепленный очевидным делом, как показала многолетняя история, далеко не всегда свидетельствует, говоря аккуратно, в пользу искренности намерений»,

и когда углублялся в прошлое, делая это по двум причинам: во-первых, исходя из того, что «прошлое освещает дорогу в будущее»; во-вторых, следуя своему убеждению, что «тот, кто сегодня покидает литературу и уходит в историю, по сути дела уходит на передовую».

При этом Ланщиков, замечу, никогда не ориентировался ни на правых, ни на левых, ни на западников, ни на славянофилов, ни на диссидентов, ни на «литпартийцев», ни на консерваторов, ни на новаторов, ни на дураков, ни на умных. Анатолий Петрович предпочитал, прочитав или выслушав любого, подумать, обмыслить и лишь затем сказать четко и ясно: «Мы должны ориентироваться на собственную историю и извлекать из нее уроки, ибо кто контролирует прошлое, тот реально держит власть в настоящем и имеет все предпосылки сохранить ее в будущем».

А еще, примечательно, он не хотел и не стремился делать вид, что серьезнее самого Гегеля. Даже тогда, когда высказывал суждения по самым общим, всеохватным проблемам бытия. Он был одним из немногих литературных критиков, кто мог себе позволить выступать в печати по вопросам и литературы, и культуры, и истории, и политики, и геополитики.

В мире, где царило обилие идеологических ярлыков, обвинений и фальшиво-патетических ссылок на бессмертное наследие известных партийных классиков, где «своим» прощалось все, «чужим» — ничего, беспартийный Анатолий Ланщиков умудрялся оставаться самим собой и отстаивать свои убеждения. Он последовательно воплощал, как заметил один из его товарищей, «устремленность к осмыслению современной литературы и жизни в свете многовековой истории, притом не в духе эффектных экскурсов в прошлое, а на основе серьезного его изучения и понимания».

По сути у него не было единомышленников. Главным образом потому, что он не признавал нравственных компромиссов. Тогда как некоторые его «единомышленники» в тех или иных ситуациях считали возможным склониться и даже наизнанку вывернуться перед властью, дабы, войдя в нее, считалось, потом сделать что-то хорошее. Только у «кормушки» они начинали чувствовать себя так хорошо — склонившись, даже удобнее, — что лучшего, оказывалось, им и не надо.

Он в чем-то сходился, но всегда в чем-то расходился даже с теми, с кем шел в одном направлении. Даже с ними он вечно умудрялся идти «не в ногу». Вот только и друзья, и враги произносили его имя всегда с чувством: одни с уважением, другие с ненавистью до головокружения и тошноты, по их собственному признанию, но в любом случае безразличия не было.

Здесь следует добавить...

Ланщиков не был пророком-просветителем, как Вадим Кожинов.

Он не был пунктуально-вездесущим мастером парадоксов как Лев Аннинский.

Не был литературоведом среди критиков и критиком среди литературоведов как Игорь Золотусский.

Не обладал талантом с улыбкой на интеллигентном лице прятать фигу в кармане, как Владимир Лакшин.

Анатолий Петрович никогда не самоутверждался, как многие из его коллег, зато помогал утверждаться и самоутверждаться другим.

В его письме не было блеска профессионального литературного критика, способного легко и просто писать по принципу «сегодня в газете, завтра в куплете» или «Чего изволите?».

Обычно на вопрос о творческих планах он отвечал, что их... нет, но есть настоятельное желание привести в порядок собственные мысли.

Как критик он не заботился о количестве своих почитателей, его интересовало качество его читателей.

А еще он не был, как это распространено среди литераторов, амбициозен. Это качество не наблюдалось у Ланщикова ни в 1967 году, когда он однажды не сдержался, публично выразив свою обиду за свое поколение: «Мы вот тоже уже приближаемся к 40-летнему рубежу, а нас по-прежнему продолжают величать «молодыми»; ни в середине 1980-х годов, когда заговорили, что Ланщиков превратился в лагере «консерваторов» чуть ли не в культовую фигуру.

Не был... не был... Другое важно — он был. И им двигал... Короче, он был из тех людей, кто наделен чертой, деликатно называемой азартом. Он всегда был благородным возмутителем спокойствия. Энергичным, упрямым, дерзким и своевольным.

Издательство заказывало ему книгу о Чернышевском — он соглашался и... влезал в крестьянский вопрос в России.

Власть и элита, еще не отойдя от перестройки, затевали новую революцию (или контрреволюцию, кому как больше нравится), а Ланщиков углублялся, как он считал, в самое насущное — в национальный вопрос в России.

Самая читающая страна расхватывала на ура повести Дарьи Донцовой и Юрия Полякова, а для Ланщикова в это время приоритетом становился разбор фальсификаций о Второй мировой войне.

Следуя пушкинскому «в просвещении стать с веком наравне», критик Ланщиков постоянно искал ответы на такие вечные и всегда современные вопросы: «Кто виноват?», «Что делать?» и «Будет ли существовать Россия?» Он так жил!

Он искал свой человеческий путь, идя дорогами Петра Первого, Пушкина и Гоголя, Герцена и Чернышевского, Сталина и Гитлера, Шукшина и Астафьева, Рубцова и Жигулина.

По большому счету, его мало волновало литературное закулисье — ни во времена партийного жесткого построения писательских рядов, ни в пришедшие им на смену разухабистые годы либерально-глянцевой вседозволенности. Он в литературе искал благородство, достоинство и соответствие предназначению великого народа. Радовался, когда находил. Был беспощаден, когда встречал вместо достоинства литературное мошенничество, холуйство, трюкачество, историческую ложь. Но и в таких случаях его критическое слово никогда не было злобным.

В нем самом ощущалось благородство. Не то внешне *показное* благородство, что отдает снисходительностью к другим, одаренным меньше или оказавшимся неправыми, а совсем иное, в котором чувствуется *порода* и понимание, что каждый заслуживает справедливости.

С завидным мастерством он писал и о прозе, и о поэзии, и о драматургии, и о работах своих коллег-критиков, причем, произведения классиков интересовали его ничуть не меньше написанных современными авторами. Но, смею заметить, литература всегда интересовала Ланщикова не сама по себе, а прежде всего как явление духовной жизни в великой истории великого народа.

Он искал если не единомышленников, то хотя бы собеседников, но и их находил, увы, не всегда. И оттого любой мог заметить налет грусти, сопровождавшей его по жизни даже в минуты, когда он чувствовал себя счастливым.

Сегодня можно услышать, что семинар молодых критиков Анатолия Ланщикова, несколько лет собиравшийся в ЦДЛ, а затем продолживший работу на его квартире, стал символом несгибаемости в деле просветительства.

Прямого воздействия на наше сознание Ланщиков, я бы сказал, избегал. Зато он не прочь был заняться нашим воспитанием. Воспитывал собой, всем, что у него было — образом мыслей, манерой поведения, отношением к делу, отношением к каждому из нас. Показывал, как надо «держать удар», когда бьют; как драться, когда схлестнулся в споре, и при этом сознавать, во имя чего? на какой стороне ты бьешься: за народное или за элитарное? И мы видели, осознавали, что будь ты хоть самым известным, опытным критиком, мастером в своем деле, напиши ты хоть сотни рецензий и статей, выпусти десятки книг, все равно, берясь за новую работу, каждый раз перед тобой неизвестность: что из этого выйдет? Причем, с первого слова, как правило, ты начинаешь «с нуля», будто только

еще учишься писать. Словно впервые переступил порог и попал в новый для тебя и мало знакомый тебе мир... Мир иных жизней и иных мыслей — отличных от твоих.

...Последнее время мы с Анатолием Петровичем иногда перезванивались, не могу сказать, что часто. Виделись и того реже. В середине 1990-х годов по Москве пошли разговоры, что Ланщиков от критики практически отошел. Мол, сам признался, что если что и читает, то в основном подаренные ему книги, но писать что-то о прочитанном никакого желания у него уже нет.

Беллетристика той поры Ланщикова действительно увлечь не могла. И он углубился в историю. Почему? Зачем? Ответ можно найти в его обширной и глубокой аналитической статье, увидевшей свет под названием «Ледокол» идет на таран». Есть там простые слова, совсем по-домашнему сказанные одному из авторов: «Неужели только учась в академии, Вы впервые обнаружили, что историкам врать не привыкать?.. Я, например, гораздо больше удивляюсь, когда историк говорит правду». Речь шла на больную для Анатолия Петровича тему фальсификаций о Второй мировой войне. А объяснял критик модному романисту незамысловатую истину, что документы, как и люди, бывают порой честными, а чаще неизбежно пристрастными, и если их скомпоновать в заранее выстроенную концепцию, то правды не жди, выйдет одна лишь ложь, которая способна лишь дурачить людей.

Как-то мне на глаза попалась, года через четыре после ее появления в журнале «Литература в школе», одна из последних его статей о классике — «Горе от ума» как зеркало русской жизни». Я зашел к нему, чтобы уговорить написать в серию, какую я в ту пору как редактор задумал и реализовывал в одном из издательств, небольшую книжку о «Горе от ума».

Ему было одиноко, и короткая, как я предполагал, встреча обернулась многочасовым разговором. Оказалось, что совершенно случайно я «попал в точку». Анатолий Петрович всю жизнь — это его слова — мечтал написать о русской драме, да вот все как-то не складывалось. Он загорелся предложением и согласился расширить журнальную публикацию о «Горе от ума» и написать еще две главы: про «Недоросль» и «Вишневый сад». В итоге даже родился заголовок будущей книги «Три века — три шедевра русской драматургии». «Я напишу, обязательно напишу, только бы глаза позволили...» — не знаю, кого больше, меня или себя, убеждал он.

Желая хоть чем-то порадовать его, я подарил специльно принесенные два номера «Москвы» с моим романом. Но признался, что в последнее время помимо прозы неожиданно для

себя обратился к литературоведению, и рассказал о новой выходящей в свет работе «Радости и горе счастливой жизни в России. Новый взгляд на «Войну и мир». Триптих». Ланщиков улыбнулся и достал свою книжку «О пользе праздного чтения», нашел нужную страницу, отчеркнул абзац и сказал: «Читай вслух». Я прочел подчеркнутое им место: «А если говорить серьезно, то новое прочтение, осознание Толстого должно идти прежде всего через литкратурную критику».

На прощание он сказал: «Саша, спасибо тебе за твою преданность русской литературе». Анатолий Петрович, подчеркну, отношение к русской литературе всегда ставил выше личных отношений. И хотя это уже была ненастная для него пора, когда он фактически отошел и от литературных баталий, и от политики, которой отдал несколько лет своей жизни, а значит, настало время, когда смолк домашний телефон, и «дорогие друзья и ученики» уже не донимали как раньше визитами, он поблагодарил не за приход, не за память о нем и даже не за поступившее предложение, а лишь за преданность литературе.

На первой странице последней подаренной им книги «О пользе праздного чтения (литературные заметки в ненастную эпоху)» есть фраза, сказанная им в беседе с журналистом газеты «Литературная Россия»: «Все зависит от времени и от обстоятельств». В день, когда из моих рук упал синий томик, на обложке которого золотым тиснением было отпечатано «Анатолий Ланщиков. Вопросы и время», оборвалось отведенное судьбой время и истаяли вопросы, на которые всю жизнь искал ответы интересный, по-настоящему разносторонний, остроумный литератор с безупречной и человеческой, и профессиональной совестью, московский критик, вдохновенно-стремительный и в слове, и жизни.

Обстоятельства сложились так, что его заветная мечта написать о шедеврах русской драматургии так и не осуществилась...

Горько оттого, что «чувство пути», которое Ланщиков некогда ощущал в себе, обернулось для него чувством страшного одиночества в последние годы. И в тоненькой, в обложке, а не в переплете, чем-то напоминающей его самую первую, книжке «О пользе праздного чтения», кажется, единственный раз у него прорвется собственная душевная боль: «И, устрашившись будущего, бежишь в спасительное прошлое».

Но «история, — был убежден он, — развивается по законам высшей справедливости». И хочется думать, что справедливость не миновала его там, куда он ушел от нас.

Ал. Разумихин

О ЧЕМ МОЛЧАЛА ЗЕМЛЯ?

Вместо предисловия

Духовную культуру нельзя ни придумать, ни создать в придуманные сроки; она накапливается веками, в ее состав входят усилия не только многих людей, но и многих веков, разумеется, те усилия, что постоянно сохраняют преемственную связь и подразумевают единую нравственную цель, далеко выходящую за пределы сиюминутной выгоды.

Когда мы принимаемся рассуждать об «уроках Толстого», то непременно указываем на эпичность, философичность, психологичность произведений великого писателя, а между тем в первом же своем рассказе «Набег» Толстой дал образец высокой художественной публицистичности, о чем у нас еще представится случай поговорить более подробно.

Как-то в одной из частных бесед Толстой, уже будучи автором и «Войны и мира», и «Анны Карениной», заметил своему оппоненту: «Ничего писатель не вправе желать зажигать. Он должен не зажигать, а сам гореть». Действительно, когда писатель «сам горит», то его личное обращение к читателю не разрушает живую ткань произведения, а органически в нее вливается, усиливая его общее звучание. И тут Толстой не изобретал ничего нового, он лишь развивал — на новом этапе художественного постижения действительности — традиции русской литературы, идущие к нам еще от автора «Слова о полку Игореве» и так яростно преломленные позднее в страстном слове Аввакума.

Вскоре после публикации повести В. Распутина «Пожар» ее автор в беседе с С. Залыгиным заметил, что современная русская проза все более и более тяготеет к публицистичности. И тут с В. Распутиным нельзя было не согласиться, и не только потому, что многие наши признанные художники слова все чаще и чаще стали выступать в печати с публицистическими статьями; в последние годы в самих беллетристических произведениях заметно повысился удельный вес публицистичности.

Вероятно, читатели повести «Пожар» сразу же уловили ее связь с повестью «Прощание с Матерой», которая в свое время вызвала немало самых разных толков и споров, не замы-

кающихся лишь на оценке художественных достоинств произведения или значимости и интересности заключенной в нем сюжетной коллизии. Порой автору «Прощания с Матерой» ставили в вину якобы неоправданную скорбь по уходящей старой деревенской жизни, что так противоречит неизвестно кем запланированной и обязательной для всех радости, которую должен возбуждать каждый шаг научно-технического прогресса, какие бы последствия этот шаг ни вызывал в нашей сегодняшней жизни, не говоря уже о тех последствиях, которые он сулит в будущем.

Финал повести «Пожар» в окончательной редакции звучит так:

«Молчит земля.

Что ты есть, молчаливая наша земля, доколе молчишь ты?

И разве молчишь ты?»

Действительно, молчит ли земля? Нет, земля наша никогда не молчит, ее неумолкающий голос постоянно вещает о чем-то главном. Другое дело — слышим ли мы его? К сожалению, на этот вопрос утвердительно отвечать не приходится. В постоянном и так часто пустом словоговорении, в страшном и непрерывном гуле, который мы сами творим и под аккомпанемент которого пролетают дни нашей жизни, мы не слышим самых нужных слов земли, они летят мимо нас, а мы пугаемся собственной судьбы по причине глухоты, точнее, оглушенности, когда не слышатся ни зов земли, ни ее предупреждения.

Когда-то человек, уличивший себя во лжи, неискренности, суесловии, давал обет *молчания*. Не думаю, что мы сейчас совершенно не нуждаемся в подобного рода диете. Возможно, при строгом ее соблюдении мы вновь научились бы слушать, и «молчаливая наша земля» поведала бы нам то, что так необходимо знать сегодня, и вновь восстановился бы тот «диалог», без которого земля становится всего лишь стартовой площадкой для полетов неизвестно куда и неизвестно зачем.

Минуло немало лет, воды, затопившие Матеру, унесли в историю и те давние споры, но они не унесли в историю распутинское сказание о затопленной Матере, оно, омываемое быстротекущими водами времени, как бы присутствует и в сегодняшнем дне. Наше сознание, сопротивляясь универсальному закону всепреходящности, закрепляет если и не навсегда, то в различной степени надолго все то, что может служить материалом для создания культурного пласта, без которого человечество жить не может, как не может жить богатая флора без культурного почвенного пласта, наработанного веками и тысячелетиями. Нет такого пласта, и нет никакой жизни и

даже ее следов — бескрайняя равнодушная пустыня перекатывает из ниоткуда в никуда свои сухие мертвые пески с упорством, равным бессмысленности проделываемой ею работы.

Творчество В. Распутина всегда было публицистично. Если же его повесть «Пожар» и представляет здесь какое-либо исключение, то лишь в том смысле, что публицистичность в ней является не только смысловой, но и художественной основой, что обусловлено выбором главного героя, а выбор героя обусловлен самим *временем.* И этим героем в повести «Пожар» является *земля.* Потому-то автор не столько заботился о раскрытии характера Ивана Петровича Егорова (вроде бы центральной фигуры произведения), сколько о выявлении его судьбы в ее нечастных проявлениях, хотя сам Иван Петрович всего лишь частность в диалоге *Человек — Земля,* однако та частность, без которой диалог этот состояться не может.

«Он и фамилию носил ту же, что была частью деревни и выносом из нее, — Егоров, Егоров из Егоровки. Вернее, Егоров в Егоровке».

Вероятно, сам Иван Петрович никогда не рассуждал и не размышлял на подобные темы, но автору важны были не рассуждения Ивана Петровича, а повороты его судьбы, важен «Егоров в Егоровке», точнее, Егоров без Егоровки. Надолго Егоров выезжал из Егоровки только на войну, а навсегда он ее покинул в силу совсем уже иных, мирных обстоятельств: Егоровку постигла та же участь, что когда-то постигла Матеру, — затопление. От века велось: людские поселения (деревни ли, города ли) всегда переживали своих жителей, вбирая в себя их созидательный труд, а тут получилось наоборот — Егоров остался, а Егоровки не стало, ушла навсегда под воду.

«Новый поселок, в который свезли шесть таких же, как Егоровка, горемык и где сразу утвердился леспромхоз, назвали по обширным лесам, а на теперешний взгляд, по сырью — Сосновкой».

Человек при рождении получает собственное имя, к нему еще приобщается имя отца (отчество) и фамилия рода, чаще всего образованная от названия местности, к которой этот род как бы засвидетельствовал свою принадлежность.

Иван Петрович Егоров... Егоровка исчезла, и фамилия «Егоров» утратила свой исторический смысл, стала как бы случайной и неустойчивой, как неустойчивым и случайным оказалось название нового поселка — Сосновка.

Нет, Егоров не драматизировал при переселении события так, как это делала тетка Дарья из Матеры, тогда им владело двойственное чувство: «И когда грянула весть о затоплении,

когда подошел срок переезжать... признаться, Иван Петрович расставался с Егоровкой тяжело, не без этого, как всякий человек, имеющий память и сердце, и в то же время с тайным удовлетворением, что не он решил, а за него решилось, перевозил и ставил на новом месте он свою избу: там было хорошо, и здесь с годами должно быть лучше».

Но с годами лучше не стало, хотя, возможно, стало удобнее, но удобнее — это еще не значит, что лучше, во всяком случае, для таких людей, каким был Иван Петрович Егоров или его односельчанин Афоня. Идут эти немолодые мужики и беседуют, грустно беседуют:

«— Устал я, Афоня. Исстервозился. Сам видишь, никакого от меня толку.

— А Егоровка?

— Что Егоровка?

Думал, скажет Афоня: в нас она, в нас. Думал, начнет говорить, что уедем мы отсюда — и будто не было ее, Егоровки нашей, никогда, а пока здесь — и память о ней живет. Потому что и сам так же рассуждал. Но сказал Афоня:

— Найдешь ты место на воде, где стояла Егоровка?

— Не знаю. Прикину — найду.

— А я вот хочу нонешним летом знак какой поставить на этом месте. Что стояла тут Егоровка, работницей была не последней, на матушку-Россию работала».

Афоня высказывает не только свою мысль, но и авторскую, и эта мысль естественно находит живой отклик в измученной душе Ивана Петровича. У каждого из них болит душа, но болит в одиночку; общая душа, взращенная общим местом жизни, расщепилась, распалась с исчезновением Егоровки, но и по своем исчезновении Егоровка продолжает служить людям, памятью о себе она восстанавливает их духовные связи, исполняя теперь культурную миссию собирания общей души, без которой или в отдельности от которой человек нередко превращается или, лучше сказать, вырождается *в архаровца.*

Мне лично слово «архаровец» знакомо еще по довоенному детству, но затем в последующие годы оно как-то затерялось среди остальных старых и вновь появившихся слов и перестало что-либо обозначать. Изредка оно промелькивало в книгах, но в тех, что о давней жизни, к примеру, в «Краже» В. Астафьева, в которой рассказывается о детдомовском детстве тридцатых годов. И вот в повести «Пожар» оно вдруг обрело новую жизнь, наполнившись глубоким современным содержанием.

«За начальником, предчувствуя приказание, держалось несколько фигур из архаровцев, как называли в поселке бригаду оргнабора. И верно, не дойдя до вороха шагов пять, Борис Тимофеевич крикнул, не оборачиваясь, зная, что его услышат и поймут:

— Ломайте!

Архаровцы кинулись обратно: эта работенка была по ним».

Архаровцы, они как бы нигде никогда не живут, они лишь присутствуют в том или в другом месте, любое место для них случайно и не освящено ничем, кроме сулящей им долгой или короткой выгоды, причем чаще всего сомнительного свойства. Нет-нет, это не разбойники и не бандиты, но в силу беспутности и бесшабашности они не дорожат ничем, кроме минутного удовольствия, даже жизнь, в том числе и своя, не представляется им самоценной. Так, на пожаре, в общем-то, из-за ничего порешили архаровцы честного дядю Мишу Хампо, попутно отправился на тот свет и архаровец Соня. За пустяки рассчитались двумя человеческими жизнями.

Жизнь никогда не была идеальной ни в деревнях, ни в городах, всегда в ней находили свое место и воры, и пьянчуги, однако место их в жизни всегда было определено, они находились на отшибе жизни, идеал человеческого общежития вырабатывался помимо них, отталкиваясь в противоположную сторону от этого отшиба, где царствовали не чувства, а вечно всклокоченные страсти.

Жаль Валентину Распутину и Матеру, и Егоровку, что перестали быть на земле, но скорбит он не по затопленным деревням, а по той культуре общежития, что вырабатывалась веками и которая давала каждому духовную опору в самые лихие годины жизненных испытаний. Съехались люди из затопленных деревень в новое поселение, перемешались, и потекла новая, но какая-то странная жизнь...

«И не то плохо, что после смертей, свадеб, разделов и торгов одна деревня стала проникать в другую, жизнь невозможна без таких проникновений, а то пошло неладом, что взамен уехавших и унесенных принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся ни хозяйством, ни даже огородишком, знающие одну дорогу — в магазин...»

Магазин для подобных людей стал и клубом, где можно обсудить всякие всякости; и торжищем, где можно извлечь очевидную или мнимую для себя выгоду; и молельным домом, где можно покаяться в свершенных грехах, а заодно воодуше-

вить себя на свершение новых. Страсти, распаленные хмелем, придают здесь дополнительную решимость и до предела возбуждают азарт. В хмельном экстазе человек окончательно теряет себя и отдается во власть общей злой воле. Но и это не самое страшное.

«Водились, конечно, пьянчуги, где они не водились на святой Руси, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую, ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и советом, правящим власть, — такого нет, не бывало...»

Вот где источник непроходящей тревоги писателя, и эта тревога не позволяет ему в заботе о высокой художественности передоверять свои чувства, свою гражданскую боль и человеческую скорбь другим лицам, то есть героям собственных произведений, и писатель идет к читателю с прямым словом, которое мы и называем публицистикой.

Нет, нам, кажется, не дано ни о чем договориться окончательно, даже об очевидном. Спорим, спорим, вроде бы приходим к какому-то общему знаменателю, но это нам только так представляется, будто мы приходим к какому-то общему знаменателю, на самом же деле просто устаем и тогда делаем вид, что пришли к нему. Или нас отвлекут какие-то другие заботы, которые нам покажутся вдруг более важными, и мы опять сделаем вид, что уже приблизились к той истине, а на самом деле ни к какой истине мы и не приблизились, просто у нас возникло желание ввязаться совсем в другой спор. А случись какая-нибудь зацепка, и мы вновь вернемся к старому спору и вложим в него столько энтузиазма, что непосвященный невольно подумает: наверняка мы нечаянно открыли для себя и для остального мира совершенно свежую проблему, о которой прежде никто не догадывался. И начнется этот спор снова с нуля, и окончится он опять же нулем, то есть стоянием на той же дистанции от истины или хотя бы от общего знаменателя.

Да, современная проза сделала крен в сторону публицистики. Никто этого факта и не оспаривает. Но вместо того чтобы выяснять, почему тот или другой писатель обратился к прямому слову, и раскрыть содержание этого слова, мы вновь начинаем доказывать, что публицистичность идет во вред художественности и, дескать, «Прощание с Матерой» выше «Пожара», а «Пастух и пастушка» выше «Печального детектива». Нет, споры тут бесполезны. Лучше я приведу старые слова Достоевского. С одной стороны, у Достоевского есть проверенный временем немалый авторитет, а с другой — давность его слов укажет нам на давность возникшего нынче у нас спо-

ра, а стало быть, определит и срок нашего очевидного топтания на одном и том же месте.

«Положим, — писал Достоевский еще в 1861 году, — что мы переносимся в восемнадцатое столетие, именно в день лиссабонского землетрясения. Половина жителей в Лиссабоне погибает; домы разваливаются и проваливаются; имущество гибнет; всякий из оставшихся в живых что-нибудь потерял — или имение, или семью. Жители толкаются по улицам в отчаянии, пораженные, обезумевшие от ужаса. В Лиссабоне живет в это время какой-нибудь известный португальский поэт. На другой день утром выходит номер лиссабонского «Меркурия»... И вдруг на самом видном месте листа бросается всем в глаза что-нибудь вроде следующего:

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

...Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола... Мало того, поэта-то они б казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности... Стало быть, виновато было не искусство, а поэт, злоупотребивший искусством в ту минуту, когда было не до него. Он пел и плясал у гроба мертвеца... Это, конечно, было очень нехорошо и чрезвычайно глупо с его стороны; но виноват опять-таки он, а не искусство».

Мы в силу своей необычайной интеллектуальной развитости очень любим потолковать как о сложностях самого

Достоевского, так и о сложностях его произведений. А я вот подумал: чего стоят все эти наши толкования о сложностях, если до нас не доходит смысл самых простых вещей, о которых Достоевский писал в оправданной надежде, что его поймет, как мы теперь говорим, самый широкий читатель?

В. Распутин в своей повести «Пожар» показал нам, как разрушительно действует стихия столь привычного, управляемого нами в повседневной жизни огня, но это лишь одна сторона дела. Другая сторона — архаровщина, парализующая всякое общественное сопротивление любой общей беде. Пожар на несколько часов усилиями архаровцев сделал горящие склады как бы *ничьими*. Что из этого получилось — мы хорошо знаем. А вот земля, которая, как нам кажется, молчит, вот уже многие десятилетия пребывает в состоянии *ничейной*. Что из этого получилось, мы тоже хорошо знаем, но молчим и стараемся заглушить каждого, кто пытается возобновить с ней столь необходимый человеку диалог. Распутинский «Пожар» как бы предвосхитил трагедию Чернобыля и дал наперед определение тем, по чьей вине она произошла. Архаровцы — вот их общее имя, независимо от места, где они сейчас находятся, и независимо от положения, которое они сегодня занимают в обществе.

Впрочем, если уж говорить откровенно, то никто сегодня не требует ни от кого никакого «Шепота...». Это просто имитируют эстетические обмороки, когда слышат от писателей мысли, противоположные тем, которыми загружена собственная голова. Это так, для начала, падают в притворный обморок: «Ах, как нехудожественно! Ах, как нехудожественно!» А затем без всяких тонкостей и переходов выносят грубый и категорический приговор: «Раз ты думаешь иначе, значит, ты ретроград!» Что в переводе на современный политический язык означает — «противник перестройки». В стародавние времена подобный прием назывался «апелляцией к городовому», нынче он никак не обозначается, видимо, ввиду того, что получил слишком широкое применение, но не получил равнозначного общественного осуждения.

Но как все-таки прекрасно устроен человек: что бы там ни происходило, а он упорно верит в светлое будущее, если и не в собственное, то в общечеловеческое. Коли порой и впадаешь в губительный скептицизм, то на смену ему непременно приходят спасительные надежды. Сейчас мы надеемся, что если не завтра, то в скором будущем навсегда исчезнут из нашего лексикона слова: «дефицит», «очередь», «пьянство»,

«хамство», «демагогия», «бюрократизм», «взяточничество», «протекция», «коррупция» и т. д. Пусть не сразу, но когда-нибудь мы все же сумеем преодолеть, нет, не *трудности* (без них и без их преодоления и настоящую жизнь как-то трудно представить), а те жизненные неудобства, что делают жизнь не столь *трудной*, сколь *унизительной*. И такой ее делают архаровцы, но не только те, что сбиваются в ватаги возле общедоступных магазинов, о чем писал В. Распутин, а и те, которые нигде не толпятся, они даже вроде бы рассеяны, но это только так, для видимости. Общая задача или общая опасность стягивает их, как магнит булавки.

Общественный подъем второй половины пятидесятых и начала шестидесятых годов вызвал у архаровцев-демагогов неподдельную тревогу и многому их научил. Энтузиазм ими был проявлен завидный...

Не возьмусь утверждать, что неудовлетворительность общеобразовательного дела, которое мы замучили постоянными нововведениями сверху, связана лишь с неутомимой деятельностью архаровцев из Академии педнаук, но так или иначе, а вот уже долгие годы неумолимость школьных программ отбивает у учителей всякую охоту к творчеству, а у учеников гасит естественную в их возрасте любознательность. Скука и формализм, кажется, обрели в школе постоянную прописку.

Хотелось бы спросить у наших, обремененных высокими академическими званиями, медиков: «Почему врач из творца по преимуществу превратился по преимуществу в чиновника? Почему современную медицину покинуло элементарное милосердие и как уживается клятва Гиппократа с нынешней строго соблюдаемой иерархией медицинского обслуживания?» А может быть, Академия медицинских наук давно уже на каком-нибудь своем соборе эту клятву отменила как пережиток языческих времен?

Не наберусь смелости утверждать, будто «продовольственная проблема» своим появлением на свет обязана исключительно деятельности Академии сельскохозяйственных наук, однако, когда регулярно приходится посещать продовольственные магазины, может возникнуть и такая неосторожная мысль.

А вот и главный Храм науки... Но о нем я высказываться поостерегусь, ибо не располагаю точными сведениями, насколько подлежит буквальной и универсальной практической интерпретации заповедь: «Наука требует жертв».

Я отдаю себе отчет в том, что современное общество и современное государство не могут нормально функционировать без различных управленческих систем. Настоящим злом та или иная система становится лишь тогда, когда перерождается в бюрократическую. Бюрократ, то есть чиновник-архаровец, — вот творец, он же и пользователь смертоносного для общественного прогресса оружия — *демагогии*. Убивая мысль, убивая животворящее чувство, демагогия не только заглушает в человеке всякое творческое начало, но и порождает тот испуг, когда каждый начинает бояться каждого, а порой даже и самого себя.

Конечно, не следует каждого управленца считать бюрократом. Бюрократ — это управленец-архаровец любого ранга и любой системы, не обремененный государственным мышлением. А если эту формулу упростить до обыденного сравнения, то бюрократ более всего схож со спекулянтом, то есть архаровцем без маски, продающим вещи по «двойной цене». Только торгует бюрократ не вещами, а правами. А главное: создавая искусственный правовой дефицит, бюрократ лишает нас законных прав от имени государства, а если «выдает» их нам, то делает это уже от собственного имени, как тот спекулянт, что в режиме товарного дефицита «выручает» нас за «двойную цену». Различны лишь подробности, а механизм один и тот же.

«Если бы ты, Диоген, умел поклоняться богатым, тебе не пришлось бы довольствоваться хлебом и водой», — увещевал Аристипп.

«А ты, Аристипп, если бы умел довольствоваться хлебом и водой, тебе не пришлось бы кланяться богатым», — отвечал ему Диоген.

Философия Диогена может спасти в случае со спекулянтом, а в случае с бюрократом едва ли. Без особого ущерба для собственного достоинства можно «довольствоваться хлебом и водой» — во время минувшей войны унижали не лишения, а поражения на фронтах. Но нет и не может быть такой высокой цели, во имя которой следовало бы отторгать в чью-либо пользу гражданские права.

Развенчание после XX съезда партии культа личности носило у нас острый, но не очень продуктивный характер, поскольку критика культа личности Сталина велась с прежних позиций, с позиций философии культа личности: на Сталина были возложены все грехи, и таким образом он как бы сохранил свое былое всемогущество, пусть и с отрицательным содержанием. Рядовому же человеку по-прежнему отводилась

роль «винтика» как с точки зрения его прав, так и с точки зрения его личной исторической ответственности. Усилиями архаровцев-демагогов критика культа личности Сталина велась не во имя прав *личности*, а во имя спокойствия на ступенях иерархической лестницы власти. Спокойствие было достигнуто, и критика культа личности потихонечку заглохла.

Мы сейчас бросаем немало справедливых упреков в адрес молодежи, но куда менее охотно доискиваемся до причин падения нравственного и гражданского тонуса у молодого поколения. Ведь в период застоя даже о самой правде было наговорено архаровцами-демагогами разных мастей и разных отраслей столько лживых слов, что правда переставала восприниматься как нечто существующее в жизни или долженствующее в ней существовать. И тут главной жертвой архаровцев-демагогов стала, конечно, молодежь. Впрочем, может, молодежь-то скорее других освободится от пережитков застойной эпохи, которые еще не успели укорениться в ее сознании.

Но прошлое, даже ближайшее, существует не для того, чтобы посылать в его адрес упреки, по сути дела уже бесполезные, и тем самым вольно или невольно льстить себе, вроде бы уже вознесшимся над всеми ошибками прошлого. Прошлое и даже его ошибки дают нам возможность понять, что делалось так, а что не так, а то ведь, чего доброго, перестроимся на такой манер, что потом вообще придется не перестраиваться, а строить все заново.

Демагогия — старое и испытанное оружие тех, для кого обман стал нормой и даже законом жизни, демагогию нельзя ни отменить, ни упразднить, как нельзя отменить или упразднить болезни, впрочем, демагогия и есть болезнь общественного сознания, и с этой болезнью не так уж сложно было бы бороться, будь демагогия всего лишь книжным синонимом бытовому слову «обман». Но демагогия, в отличие от бытового обмана, явление структурообразующее, вернее, структуропроникающее. Она, используя естественную для любого государства должностную и прочие иерархии, наполняет их особой силой, парализующей всякую общественную жизнь.

Заботы демагогов не только никогда не совпадают с истинными заботами народа и государства, но всегда противоречат им. Стратегия у демагогов выработана давно: человек должен быть низведен до «винтика», народ расструктурен до толпы, в которой преобладают инстинкты и которая ждет лишь внешнего зова. Подавить сознание народа, подавить сознание личности — эти задачи интеллектуальных архаровцев неизменны.

Дефицит интеллектуальной честности — вот серьезнейшая проблема, перед которой сегодня стоят деятели науки, культуры, литературы, просвещения и руководящие работники всех рангов. Цель социализма не есть создание общества безграничного потребления, а его идеал не есть построение бездонного корыта, у которого оттачивались бы и удовлетворялись гастрономические вкусы и тщеславные чувства современного респектабельного архаровца. Цель социализма есть построение общества *нравственного благосостояния*, в котором каждый станет ощущать *равнодостоинство* с каждым и демократические конституционные права будут не только гарантироваться законом, но и обеспечиваться взыскательным нравственным чувством самого общества.

«Ах, это все не о художественном!» — воскликнут архаровцы от литературы в притворном испуге за судьбу отечественной изящной словесности. Нет, мы не казним, как это сделали предполагаемые Достоевским лиссабонцы, нашего поэта-современника, который вдруг сегодня напишет что-нибудь вроде «Шепот, робкое дыханье...». Но в то же время и не посчитаем, что он при всей его поэтической чуткости выразил нашу общую устойчивую боль.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон...

По-моему, уже требует.

1987



АВТОБИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ

ОСТОРОЖНО – КОНЦЕПЦИЯ!

Полемические заметки

1

«Концептуальное» поветрие стало каким-то стихийным бедствием. Стихийным потому, что трудно сказать, с чего оно началось; предугадать, когда оно окончится; назвать общие причины, вызвавшие его к жизни; а главное — что ему противопоставить. Поветрие это кочует из одной области знаний в другую и теперь, кажется, всерьез захватило нашу литературную критику. Пока мы можем назвать только частные причины и выявить отдельные признаки этого поветрия.

Если, скажем, вам недосуг разбираться во всех сложностях современного литературного процесса, если у вас недостает аргументов в пользу ваших пока еще туманных предположений — пишите статью и публикуйте ее в «дискуссионном порядке». В таком случае вы можете игнорировать элементарную логику, вы можете нисколько не заботиться о вескости высказываемых суждений и обоснованности выводов, главное — придайте всему разговору концептуальный характер и оснастите его самыми дерзкими терминологическими новшествами.

Вслед за вашей статьей развернется дискуссия. И не беда, если в ходе ее ваши оппоненты вдруг докажут, что вы говорили вздор. Примите такой поворот дел мужественно и хладнокровно: пройдет совсем немного времени, и навечно забудутся самые аргументированные возражения ваших оппонентов и ваша собственная бездоказательность — зато останутся в памяти контуры вашей концепции да ваши былые терминологические новшества. В дальнейшем на них можете и опираться — вторично опровергать вас ни у кого недостанет ни сил, ни духу.

Что все будет именно так, можете не сомневаться, и пусть вас не смущают слова Александра Блока, высказанные им на заре нашего века, когда скорее всего и зарождалась отечественная страсть к концептуальным упражнениям. «Право, — писал гениальный поэт, — если обращать столь лестное внимание на новейшие теории, то их расплодятся десятки. Если же все мы признаем в один прекрасный день, что эти термины — пустые слова, то они и умрут мгновенно, как все неудачные слова».

Но можете не опасаться. В том-то все и дело, что такой «прекрасный день» никогда не наступит, ибо здесь непременным условием должно быть «все мы». А поди добейся этого «все мы»...

Но пока оставим в стороне наше прошлое и обратимся к животрепещущей действительности. Время еще не стерло в памяти опубликованную на страницах «Литературной газеты» статью, в которой критик Ал. Михайлов познакомил нас с концепцией «интеллектуальной» поэзии. Разумеется, статья была опубликована в дискуссионном порядке.

И в выступлениях оппонентов и в выступлении, заключающем дискуссию, концепция «интеллектуальной» поэзии была отвергнута как несостоятельная. К чести Ал. Михайлова нужно заметить, что он верно оценил объективные итоги дискуссии, развернувшейся по поводу его концепции, и, кажется, больше не настаивал на ее применении в анализе литературного процесса. Однако, как говорится, слово не воробей... В августе минувшего года «Литературная газета» публикует в дискуссионном порядке статью А. Бочарова «Многообразие — какое оно?», в которой автор не только снимает кавычки с термина «интеллектуальная» поэзия, но и считает в какой-то мере возможным строить свою новую концепцию на опровергнутой концепции критика Ал. Михайлова — благо аргументы оппонентов забыты, а контуры концепции еще помнятся.

Отстаивая теорию многообразия направлений в современной литературе, А. Бочаров, будто забыв объективные итоги дискуссии по поводу «интеллектуальной» поэзии, как ни в чем не бывало пишет: «Я убежден, что будущие историки литературы выделят в литературе 60-х годов направление интеллектуальной лирики — реально выявившее себя в преемственных и локтевых связях, в исторической закономерности и эстетической цельности».

Не надеясь только на будущих историков литературы, А. Бочаров призывает и современников вдохновиться на такую работу, правда, как-то не очень веруя в ее успех. «Но работа подобного рода, — беспокоится он, — должна прежде всего опираться на общественное признание правомочности самого направления».

Итак, нас начинают увещевать: вы сначала поверьте просто на слово, что «интеллектуальная» поэзия как направление существует и даже лидирует, и тогда мы в доказательство напишем «работы подобного рода». Оказывается, «ключ к воз-

действию» вовсе не познание, как поначалу утверждал в своей статье А. Бочаров, а различного рода увещевания...

«Не нужно придавать им (направлениям. — *А.Л.*) некую глобальную значимость, но учитывать их тем — на сей раз ужо предупреждает критик, — кто профессионально занимается литературой, необходимо». Как видим, А. Бочаров нашел довольно своеобразный «ключ к воздействию»: не примешь «теорию направлений», будешь отлучен от профессионального занятия литературой.

Пожалуй, если всерьез принять условие А. Бочарова, то в первую очередь должны быть отлучены от профессионального занятия литературой все его оппоненты (Г. Бровман, В. Оскоцкий, М. Пархоменко). В их выступлениях довольно аргументированно говорилось о принципах стилевого многообразия современной советской литературы, а М. Пархоменко взялся даже дать небольшой библиографический обзор на эту тему, но вопрос о многообразии направлений их никак не соблазнил.

Беда, конечно, не в том, что А. Бочаров завел непривычный разговор о многообразии направлений — здесь, на мой взгляд, нет ничего недопустимого. Беда в том, что он окончательно запутал вопрос, в котором и так не было желаемой ясности, и не привел в защиту своей теории «многообразия направлений и школ» каких-либо убедительных аргументов.

Теперь вот давайте и посмотрим, как же формирует А. Бочаров свои направления. «А разве, — спрашивает он, — не утвердили Г. Бакланов, Ю. Бондарев и начавший несколько позже В. Быков важное направление в военной прозе — то, которое можно определить как направление драматического психологизма?» А вот его главные признаки: «...максимальная концентрация действия — один бой, одно подразделение, одна нравственная ситуация — для того чтобы крупнее показать переживания человека, выявить психологическую правду его поведения в условиях достоверно показанного фронтового быта».

Допустим, перечисленные признаки верно характеризуют первые повести Бондарева и Бакланова, но вот дают ли они основания говорить о наличии здесь направления? Достаточно взять бондаревскую «Тишину» или баклановский «Июль 41-го года», как станет ясным, что теперь для характеристики «баклановско-бондаревского» направления нам уже потребуется называть совершенно другие признаки.

К. Симонов, по А. Бочарову, составляет самостоятельное направление в военной литературе, ибо он «вобрал их (Бондарева и Бакланова. — *А.Л.*) умение видеть «пядь земли» уже

для создания широкой панорамы войны». По-моему, будь это и так, то опять нет еще никаких оснований говорить о направлении, во всяком случае, степень охвата тех или иных событий еще не повод разводить писателей по разным направлениям.

А. Бочаров утверждает, что газетная статья ограничивает возможности автора. Утверждение справедливое. Только к чему было спешить, зачем было заводить на страницах газеты разговор, который нельзя «серьезно аргументировать»? Посмотрите, какие странные признаки легли в основу формирования направления, которое связывается с именем В. Закруткина. «Отчетливо и с полемической убежденностью выявляет себя группа прозаиков, работающих над большими эпическими полотнами, — сообщает критик, но тут же оговаривается: — Эти произведения не являются собственно эпопеями — для этого им не хватает подлинно эпических характеров, — но они стремятся захватить широкое течение жизни, подробно описывают реальные исторические события той или иной эпохи, активно используют сочетание романистики и публицистики».

Что же это, спрашивается, за направление, представители которого только стремятся захватить «широкое течение жизни», но не захватывают его; «описывают реальные исторические события», но не осмысливают их; заодно не создают «эпических характеров»; пишут эпопеи, не являющиеся эпопеями?

Это очень легкое дело — изобрести «направление» (по самым порой случайным признакам), дать ему название и по собственному усмотрению подводить под него писателей. «Под эти названия стараются часто затащить писателей, как в участок, — «для порядку», или чтобы «не ходили несчитанные», как в свое время писал Александр Блок.

А «участок», надо сказать, «участку» — рознь. И главное — уж больно разные репутации они создают. Хорошо, например, оказаться в «участке» с репутацией «овечкинского» направления. Во-первых, оно, это «овечкинское» направление, «своеобразное и сильное», во-вторых, это направление дает повод говорить о «гуманистических концепциях современной литературы», в-третьих, для этого направления «повседневные заботы сельских жителей, их размышления над смыслом жизни, их глубинное отношение к окружающему миру являются воплощением социально-нравственного опыта всей трудовой массы».

Совсем другое дело — направление «деревенщиков» (В. Солоухин, М. Алексеев, И. Мележ). Признаки этого направле-

ния не указаны, говорится только, что представители его не близки В. Тендрякову и Ф. Абрамову, но близки В. Чивилихину и А. Андрееву. Однако передвижение «деревенщиков» между этими двумя парами ровным счетом ничего не проясняет, так как сами пары никак не охарактеризованы.

И все-таки не нужно быть особо проницательным, чтобы понять, какой «участок» определил А. Бочаров для так называемых «деревенщиков», — тут достаточно припомнить признаки «овечкинского» направления и что «деревенщики» противостоят ему.

Можно не сомневаться, что даже А. Бочаров не сумел бы доказать, что алексеевская «Карюха» противостоит крутилинским «Липягам» или беловскому «Привычному делу», что М. Алексееву чужды «повседневные заботы сельских жителей, их размышления над смыслом жизни» и т. д. Трудно себе представить, каким образом А. Бочаров стал бы доказывать, что «о гуманистических концепциях современной литературы» больше оснований дают говорить произведения Е. Дороша, нежели В. Солоухина. Но тут А. Бочаров благоразумно не прибегает ни к каким доказательствам и, по-моему, правильно делает.

А. Бочаров понимает всю шаткость своих построений и потому торопится предварить законные возражения. «Вот памятный всем пример, — невинно обращается он к читателю. — Едва было выдвинуто понятие «интеллектуальная поэзия» и в связи с этим названо несколько писательских имен, как посыпались обиды: а остальные глупы, что ли?..»

Разумеется, остальные не глупы. Но как ни странно, а приходится доказывать, что нельзя формировать направления по признакам, которые характеризуют метод социалистического реализма в целом (вспомните «овечкинское» направление), нельзя расставлять писателей по разным направлениям только в силу того, что у одних процесс мышления протекает «в сфере логических понятий», а другим свойственно «эмоционально-образное мышление» (вспомните направление «интеллектуальной» поэзии). Писатели, которые пишут эпопеи, не являющиеся эпопеями, тоже не могут составить самостоятельного направления, как не может служить главным признаком направления и то, насколько широко писатель охватит определенные исторические события.

Оспаривая некоторые положения статьи А. Бочарова, я был бы готов поддержать его общее намерение, окажись в его рассуждениях искреннее стремление «сделать следующий шаг — к осмыслению реально существующих творческих на-

правлений и школ», положи он в основу своих исканий выявление принципиальных художественных признаков, на основании которых необходимо и возможно одну группу писателей отличать от другой и чтобы эти группы действительно выглядели самостоятельными устойчивыми «промежуточными» образованиями. Но в конце концов меня тревожит не позиция критика А. Бочарова, меня тревожит сейчас другое...

Пройдет время, и забудется, что оппоненты автора статьи «Многообразие — какое оно?», по сути дела, уклонились от дискуссии, забудется бездоказательность автора статьи, но зато останутся в памяти контуры его концепции да некоторые терминологические новшества. Нет-нет да и промелькнет в одной, затем в другой статье «овечкинское» направление, «симоновское» направление, «закруткинское» направление, «деревенщики»... И убоятся тогда молодые авторы собственной индивидуальности, собственной самобытности и даже собственного жизненного опыта; им во что бы то ни стало нужно будет походить на представителей «сильных» направлений, чтобы ненароком не влететь в направление «несильное», и станут рекрутироваться в легион подражателей не только слабые дарования, но и те, кто мог бы стать в более ясной литературной обстановке надеждой отечественной литературы.

И вот тут мне хочется предупредить: «Осторожно — концепция!»

2

Минувший год был у нас отмечен не только «строительством» собственных концепций, но и явлениями более сложного порядка. Поговорил, скажем, критик А. о том, что по каким-то причинам не устраивает критика Б., смотришь, последний «воздвигает» какую-нибудь фантастическую концепцию и, пользуясь первым же случаем, приписывает ее своему литературному противнику. Затем критик Б. принимает патриотическую осанку и начинает громить критика А. и притом не столько как критика, сколько как человека. И тут уже сложилась своя модель. Сначала щедро выдаются «комплименты», порой граничащие с прямыми оскорблениями. Второе условие — наличие в обвинениях «политических полунамеков». В-третьих, критику А. подыскивается «реакционный предшественник», а потом, естественно, следуют соответствующие «выводы».

Подобная статья должна вызвать у читателя невольное предчувствие административного вмешательства в дела ли-

тературные. Конечно, потом этого вмешательства может и не быть, скорее всего и не будет, но ощущение, что оно «может быть», должно возникать.

Лучший пример тому — статья Ю. Суровцева «Придуманная «неизбежность» («Лит. Россия», № 45), в ней есть все перечисленные мною признаки: и «комплименты», и «полунамеки», и «реакционный предшественник», и, разумеется, «выводы».

Итак, начнем с «комплиментов». «Эклектика», «дилетантизм», «историко-литературная память сплошь и рядом подводит В. Чалмаева», «витийствующая односторонность», «путая все и вся», «наш критик-путаник», «знакомство с Леонтьевым не прошло даром для Чалмаева», «чалмаевское патетическое суесловие», «В. Чалмаев упорно гнет свою линию», «чепуха, казалось бы, самоочевидная», «подобное «красивое» суесловие», «с пониманием русской истории дело у В. Чалмаева обстоит, как я пытался это показать, неважно» и т. д.

Не многовато ли — в небольшой газетной статье такое обилие «комплиментов», направленных в адрес одного человека? Вообще-то когда подобные «комплименты» не сопутствуют аргументам, а заменяют их, то, наверное, в самый раз. Пожалуй, этим соображением и руководствовался критик «Литературной России», вступая в «спор» с В. Чалмаевым.

Правда, Ю. Суровцев в критике не новичок: чтобы както возбудить у читателя доверие к собственным намерениям, он порой декларирует очень верные, хотя и очень общие, суждения. «Когда тот или иной писатель, критик, публицист касается вопросов, действительно важных для нас, требующих подхода умного, — намекает нам Суровцев, — обоснованного, дальновидного, такого, чтобы потом было как можно меньше нужды переделывать сделанное и перерешать решенное, — он обязан тогда быть особенно ответственным за свое слово, особенно (может быть, больше семи раз) подумать, прежде чем «отрезать».

Сколь велико у Суровцева желание быть проповедником, столь же велико у него желание не быть праведником: когда он бросается спасать от Чалмаева «газетчину», то как-то слишком уж поспешно забывает о своей «проповеди» и «отрезает» с такой поспешностью, которая никак не способствует неторопливости мышления.

«Оказывается, например, что в начале XX века русскую литературу захлестнул «газетно-журнальный бум с его коммерческим или утилитарно-практическим, стяжательским отношением к печатному слову...» — иронизирует Ю. Суровцев, —

«словно вышла из берегов какая-то мутная река», продолжает обличение В. Чалмаев; «в торжестве газетчины» (новый термин!) «люди отучились слышать голос народной жизни», а «последние рассказы Чехова, статьи и рассказы Толстого, стихи Блока стали сущими островками незагрязненного, одухотворенного Слова». Какая витийствующая односторонность! **Ведь это говорится о периоде подготовки и проведения русской революции 1905 года**» (выделено Ю. Суровцевым. — *А. Л.*).

Я должен сказать, что здесь автор «Неизбежности» не открыл никаких Америк, так как по этому же поводу «витийствовали» в тот период очень многие и очень настойчиво, а поскольку Ю. Суровцев признает все же бунинский «вклад в художественный опыт русского слова», так давайте послушаем самого Бунина:

«Подумайте же, что значит для нас **газета** в то время, когда мы с такой быстротой европеизируемся, демократизируемся, порождаем буржуазию, пролетариат, выходим на улицу, начинаем жить сложной, пестрой жизнью и все более **входим во вкус газеты**, попадаем под ее влияние! А ведь писатель испытывает влияние двойное — **власть и газеты и толпы**...»

«Исчезли драгоценные черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (**в тесном содружестве писателя и газеты**), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости, называемой «виртуозностью», стих, опошлено все, вплоть до самого солнца, которое неизменно пишется теперь с большой буквы, к которому можно чувствовать теперь уже ненависть, ибо ведь «все можно опошлить высоким стилем», как сказал Достоевский»... (выделено мною. — *А. Л.*).

Видите, Бунин не опровергает В. Чалмаева, а предмет, о котором он вел речь, ему был, наверное, известен не менее, чем Ю. Суровцеву. Я понимаю: мы имеем право доверять не всем мыслям Бунина, но что касается родного языка, художественного вкуса, чутья к ритму, то здесь, памятуя о признанном критиком «вкладе» великого писателя «в художественный опыт русского языка», мы должны признать его (разумеется, Бунина) авторитет.

Впрочем, о пагубном влиянии «газетчины» говорили в тот период многие, а Л. Толстой сделал на этот счет в своем

дневнике очень внушительную запись: «Умственная мужская деятельность за деньги, в особенности газетная, есть совершенная проституция. И не сравнение, а тождество».

Но, возможно, и Толстой и Бунин «принизили» роль официальных газет своего времени? Не думаю. Во всяком случае, ленинская оценка буржуазной «газетчины» может нас только укрепить в правоте Толстого и Бунина.

«Воры, — писал В.И. Ленин, — публичные мужчины, продажные писатели, продажные газеты. Это — наша «большая пресса».

Не знаю, кого подвела «историко-литературная память», но вряд ли Ю. Суровцев сумеет доказать, что оценка «газетно-журнального бума» В. Чалмаевым неверна или расходится с ленинской оценкой «большой прессы» того периода. И дело тут скорее всего вовсе не в памяти. Просто Суровцев во что бы то ни стало хотел обвинить критика В. Чалмаева в игнорировании им революции 1905 года — недаром же он подчеркнул слова о ней. Вот это и есть те «полунамеки», о которых мы вели речь в начале главы.

Но всего этого Суровцеву показалось мало, и он продолжает: «Вдумайтесь только: измельчали «культурные ценности» в нашей стране **в те годы, когда складывалась первая революционная ситуация**» (выделено Суровцевым. — *А. Л.*).

В представлении Суровцева революция — это нечто вроде всенародного карнавала, общегосударственного празднества по случаю великих достижений в области материальной и духовной жизни, демонстрация гармонии общества. Но он как-то забывает, что революционные ситуации как раз и создаются в те периоды, когда в обществе неблагополучно, когда государственный организм переживает всесторонний кризис.

Бунин, вспоминая один из разговоров с Чеховым, писал: «Часто говорил он в суровом и грустном раздумье:

— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!

— Литература?

— И литература.

И сам он умер не вовремя. Будь жив он, может быть, все-таки не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения, до изломавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности...» Это относительно измельчания «культурных ценностей». А что касается революционной ситуации в стране, то тут я сошлюсь на Ленина.

«Основной закон революции, — писал Владимир Ильич, — подтвержденный всеми революциями и в частности всеми тремя русскими революциями в XX веке, состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому. Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса».

И, по-моему, нет ничего удивительного, что в период революционной ситуации 1905 года, когда налицо были все признаки «общенационального кризиса», измельчали «культурные ценности» и отчетливо наблюдался тот «газетно-журнальный бум с его коммерческим или утилитарно-практическим, стяжательским отношением к печатному слову», о котором говорилось в «Неизбежности».

Итак, Чалмаев, по Суровцеву, игнорирует первую русскую революцию, но Суровцеву этого недостаточно, и он под свои обвинения начинает подводить «теорию». Вынося очередное обвинение автору «Неизбежности», Суровцев с шумным пафосом восклицает: «Ведь сделал же он (В. Чалмаев. — *А. Л.*) из Бунина певца единой России!..» Но вот, как мы сейчас увидим, из Бунина, а заодно и из Чалмаева «певцов **единой** России» сотворил не кто иной, как сам Суровцев.

А делается это очень просто. Сначала критик приводит цитату из бунинского рассказа, привлекшего внимание Чалмаева, а затем делает нужный себе вывод. Вот эта цитата: «Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть...»

Вы полагаете, что вот это многоточие — простой знак препинания? Вы ошибаетесь. Это апробированный прием, позволяющий лихо передернуть своего оппонента, и, надо отдать должное Суровцеву, пользуется он им уверенно.

Но вернемся к цитате из Бунина. Разумеется, если бы эти чувства (о единой России) пришли к герою во время пирушки с купцами, демонстрирующими ширь своей души, тогда, пожалуй, ирония в адрес Чалмаева (да и Бунина тоже) была бы уместной. Но оказывается, эти «крамольные» чувства были

вызваны совсем иными обстоятельствами. Тут нам придется обратиться к тексту статьи Чалмаева, а у того это звучит так: «Вспоминается невольно чудесный рассказ «Косцы» И. Бунина, в котором герой, глядя на косцов, слушая их песню «И родимая, ах, прощай, сторонушка», думает: «Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть...» Тут вот Суровцев и ставит свое коварное многоточие. А вот что он отсекает: «И еще в том была (уже совсем неосознанная нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу».

Как видим, чувство единой России было навеяно не подзагулявшими купцами, а трудовыми людьми, косцами, их народной песней. В том-то все и дело, что народное творчество (в данном случае и песня и ее исполнение) всегда объединяет людей в каком-то хорошем, добром чувстве, но Ю. Суровцев делает вид, что он ничего этого не понимает и якобы только экономии места ради делает столь «произвольные» усечения текста статьи своего оппонента.

Итак, в намерения критика «Литературной России» входило: первое — показать, что В. Чалмаев игнорирует революционное движение; второе — подвести под все это «теоретическую» базу, и он делает из Чалмаева «певца **единой** России». Но на этом Суровцев успокоиться не может — теперь для него важно установить связь между «идеями» В. Чалмаева и реакционными идеями прошлого, для чего и подыскивается «реакционный предшественник», и в данном случае им становится Константин Леонтьев.

Ю. Суровцев призывает В. Чалмаева к «строго научной классовой, социальной методологии исследования общественных явлений, исторических лиц и событий». Вот тут бы критику и поговорить об изъянах методологии автора «Неизбежности» вместо того, чтобы, выстроив вот такой титул К. Леонтьеву — «последовательный, ярый консерватор, убежденнейший монархист, шовинист-великодержавник, христианско-православный ортодокс и философ», — как-то привязывать к нему Чалмаева. И тут я не убежден, что сам Суровцев желал бы придерживаться той методологии, о которой он напоминает Чалмаеву.

Так во имя чего же писалась Суровцевым статья? Во имя своих «выводов». Если А. Бочаров разводил писателей по «направлениям» («сильным» и «несильным»), в общем-то не выходя за рамки их художественной значимости, то Суровцев куда как более крут: его интересуют не судьбы отдельных авторов или определенных групп писателей, а журналов целиком, причем он преисполнен решимости активно вмешиваться в их судьбы.

«Я не шучу (это мы понимаем. — *А. Л.*) и не преувеличиваю, — предупреждает нас Суровцев, — современный советский критик в 1968 году в комсомольском журнале с пылом и жаром стремится доказать великое государственное и даже **народное** значение раскола и никонианства». Если убрать отсюда излишний пафос, идущий от субъективного восприятия Суровцевым статьи Чалмаева, то никакого криминала не остается. Действительно, неужели комсомольский журнал только потому, что он комсомольский, должен отечественную историю преподносить на манер студенческого капустника?

Заканчивает свою статью Ю. Суровцев такими вопросами: «Остается задать еще один (на самом деле два. — *А. Л.*) вопрос: насколько неизбежным было появление статьи, проповедующей **асоциальные** взгляды на русскую историю и на некоторые современные заботы нашей жизни, в журнале «Молодая гвардия»? Или впрямь работники журнала убеждены в том, что Никон и раскольники, всенощный колокольный звон и бессловесная лошадушка Саврасушка, изничтожение «газетчины», а вкупе с ней и «бухгалтерии» помогут подлинно патриотическому, коммунистическому воспитанию молодежи?»

Здесь Суровцев не только задает вопросы, но и утверждает, что Чалмаев со страниц «Молодой гвардии» проповедует асоциальные взгляды, с чем согласиться никак невозможно хотя бы потому, что сам Суровцев в начале своей статьи намерения Чалмаева признает похвальными. «Автор справедливо говорит о вредности моды на абстрактно-всеобщий «модерн» (одно это уже может снять обвинение в «проповеди асоциального». — *А. Л.*), справедливо предупреждает о вредности настроений эгоистического славолюбия, имеющихся и в нашей, литературной, среде. Наконец, есть у В. Чалмаева и верная, особенно важная сегодня, мысль о необходимости быть бескомпромиссными в идеологической борьбе», все это пишет Суровцев.

Если мы признаем статью Чалмаева неубедительной, если мы откажем автору в глубине социального анализа, но признаем похвальными его намерения, то возражения наши в таком случае должен вызывать *метод* критика, но никак не *цель*.

Спрашивается, оправданно ли цитирует критик в своей статье К. Леонтьева? По-моему, так, как он это делает, нет. И дело тут не только в фигуре самого К. Леонтьева, а в том, что имя его ничего не говорит молодежному читателю, который, прочитав чалмаевскую «Неизбежность», наверняка составит о нем ошибочное мнение. Тут необходимо было внятно сказать о религиозно-философской позиции К. Леонтьева и никак уж не зачислять его в друзья Льва Толстого, потому как последнее противоречит исторической истине. Правда, некоторые пытаются утверждать, что В. Чалмаев просто спутал Константина Николаевича Леонтьева с Борисом Николаевичем Леонтьевым... А с кем тогда спутал Чалмаев Чаадаева, сказав, что К. Леонтьев — это «Чаадаев 60—80-х годов»?

Никто тут ни с кем не спутан: все дело в методе критика; и вот, чтобы раскрыть принципы этого метода, я должен обратиться к некоторым, на мой взгляд, очень характерным «мелочам».

Я, например, совершенно согласен с Суровцевым, что эпиграф к статье выбран неудачно. Не кажутся мне удачными у Чалмаева и «лобные места», когда он пишет: «Не много было лобных мест, откуда возвещала о себе в течение веков стыдливая русская душа...», хотя тут не более прав и Суровцев, дающий под восклицательный знак такую фразу: «Да едва ли не вся передовая русская литература до Октября 1917 года была той трибуной, — восклицает он, — которая сплошь и рядом усилиями народных угнетателей превращалась в лобное место!»

Я не стану пространно толковать значение понятия «лобное место», а приведу для краткости толкование В. Даля: «Лобное место, возвышенность, холм, курган, сопка; место казни, видное со всех сторон; в этом знач. переведено в евангел. calvarium, «темя». Лобное место, в Москве, каменная подвысь против Спасских ворот; никогда не была местом казни, а царским и патриаршим, при беседе с народом, при народных торжествах и молебствиях; с него же читались указы, приговоры; казни происходили близ, на площади Китай-города».

Я вполне доверяю авторитету В. Даля и могу только сказать, что сравнением или образом никогда не может быть слово, обозначающее неодинаковые по содержанию понятия. В то же время нельзя одним значением опровергать другое, когда они оба истинные, так что каждый из критиков по-своему не прав.

Мне кажется, В. Чалмаев ошибочно зачисляет героя пьесы А. Арбузова «Годы странствий» Александра Ведерникова в

разряд «стопроцентных мужчин» на основании одной такой реплики: «Оставим скромность неудачникам, она их здорово украшает...». Даже в первом действии, когда Ведерников в разговоре с Кузей (причем в шутку) произносит эти слова, он для «стопроцентного мужчины» слишком часто «мечется» и сомневается.

«Лобное место» — только трибуна... Ведерников — «стопроцентный мужчина»... К. Леонтьев — друг Л. Толстого... Дело в том, что главным изъяном метода Чалмаева как критика является порой слишком однозначное, буквальное прочтение текстов. Так, у Л. Толстого есть в дневнике такая запись: «Был у Леонтьева. Прекрасно беседовали. Он сказал: вы безнадежны. Я сказал ему: а вы надежны. Это выражает вполне наше отношение к вере. Потом поехали. Весело ехали до Мишнева, сорок верст от Оптиной. Ночевали в избе».

Я не настаиваю, что именно эта, но тогда подобная запись могла ввести Чалмаева в заблуждение. Если взять в расчет только «прекрасно беседовали», «весело ехали», «ночевали в избе», то действительно может возникнуть иллюзия дружбы между этими людьми. Но дружба между крупными личностями своего времени определяется не совместными ночевками и «прекрасными беседами», а чем-то более значимым. Л. Толстой и К. Леонтьев не могли быть друзьями, так как для первого в религии главным была — «любовь», а для второго — «страх». Недаром же, по свидетельству К. Леонтьева, во время этих бесед он сказал Л. Толстому: «Жаль, Лев Николаевич, что у меня мало фанатизма. А надо бы написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы вас сослали... А то вы положительно вредны». На это Лев Николаевич с жаром воскликнул: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради бога, чтоб меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу вас, напишите».

Если убрать из этого короткого диалога шутливость тона, то главная мысль будет та же, что и в записи Толстого: отношение к главному для обоих вопросу никак не может их поставить в положение единомышленников, а стало быть, и друзей.

Не больше оснований у Чалмаева утверждать и то, что Леонтьев — это Чаадаев 60—80-х годов. Мне вообще кажется, подобная модель никогда ничего не проясняла и в серьезных статьях лучше ее избегать. Любая крупная индивидуальность всегда неповторима, а потому всегда требует индивидуальной характеристики. Здесь противопоказана всякая приблизитель-

ность, а она, как мы выяснили, к сожалению, пока свойственна методологии автора «Неизбежности».

Если же говорить о глубине социального анализа, то и здесь дает себя знать несовершенство методологии Чалмаева. Что касается той части статьи, в которой ведется критика эпохи капитализма в России и современного империализма, то тут у Чалмаева ощущается достаточно четкое понимание социального вопроса — возьмем ли мы период созревания революционной ситуации в России в начале века или современные противоречия между капитализмом и социализмом. Здесь внесоциальность его оценок можно доказать только при помощи заведомых передержек.

Но вот что касается времен более отдаленных, например, времен раскола и никонианства, тут действительно социальная почва уходит из-под ног В. Чалмаева и проявляется однозначное прочтение отечественной истории докапиталистического периода. Не имея перед собой четких социальных ориентиров, критик не находит самостоятельного пути к ним, что невольно ведет порой к субъективизму в оценках и суждениях, требующих всестороннего исследования, в том числе и социальной отчетливости. Это издержки метода, но никак не признак дурных намерений В. Чалмаева. Говорить же, что он проповедует «асоциальные взгляды на русскую историю и на некоторые современные заботы нашей жизни» — значит приписывать ему «концепцию», к которой он никогда не имел никакого отношения.

И как тут снова не повторить: «Осторожно — концепция!»

3

Из боязни быть неправильно истолкованным хочу сделать необходимую оговорку: нет, я вовсе не против концептуального мышления и концепций вообще, если только они являются результатом глубокого анализа литературного процесса, соотнесенного с действительностью, в котором верность исторической правде сочетается с требованиями подлинной художественности и высокой этики». Но я против тех «концепций», что служат «рычагами», с помощью коих иные критики намереваются, игнорируя законы духовного развития народа, волюнтаристски навязать литературе несвойственные ей пути развития, вытравить из нее ее специфическое содержание. И надо сказать, чаще всего подобные «концепции» появляются на свет с единственной целью — нанести глобаль-

ный удар по своим литературным противникам. Подобные «концепции» носят на себе непременные следы той «прикрытой полемики», о которой очень емко сказал Ленин, что это «вид полемики, имеющий все недостатки ее и ни одного из ее больших достоинств».

И в этой связи никак не может быть обойдена молчанием статья Д. Старикова «Заметки для памяти» («Октябрь», № 11), формально полемизирующая со статьей И. Золотусского «Добавление к эпосу» («Нов. мир», № 6). Почему я утверждаю, что спор этот носит формальный характер? А вот почему. Статья И. Золотусского написана в связи с выходом на экраны кинофильма «Война и мир»; естественно, что критик не ограничился разговором о фильме и обратился к роману Толстого, хотя рассуждения его о романе и оценки фильма весьма спорны, но в общем-то это единый разговор. И вот Д. Стариков так ухитрился построить свою «полемику» с И. Золотусским, что не только не высказал своего отношения к фильму, но даже ни разу его не упомянул, будто его и не существует в природе.

Что же тогда ввергло Д. Старикова в спор с И. Золотусским? Всего лишь одна мысль, а точнее, одна фантазия последнего, иначе эту мысль я и назвать не могу. И. Золотусский мечтает о «свободном» прочтении романа Толстого. «Ибо наши чувства, — пишет он, — не свободны от знания о Толстом. От знания того, что о нем написано. Вернуться к Толстому, прочесть его свободно и заново — для этого нужно освободиться от гипноза».

И. Золотусский верит в то, что можно освободиться от «гипноза» знаний. Допустим, мы это проделали — освободились от «гипноза». А что это даст? Ровным счетом ничего. Дело в том, что за сто лет Толстой вошел в нас, в наш духовный мир, в нашу национальную культуру, в наше сознание, и дело тут вовсе не в том, что написано о Толстом, а в нем самом, в том воздействии, которое оказывали его произведения не только на нас непосредственно, но и на наших предшественников. Больше того, если даже взять человека, который не читал Толстого, то и такой человек хотя бы в какой-то мере опосредованно испытал влияние Толстого. Великие писатели существуют не только для того, чтобы о них писали, а главным образом для того, чтобы отражать духовную жизнь народа и одновременно воздействовать на нее, формировать ее.

«Свободно и заново» мы никогда Толстого не прочитаем, освободиться от «гипноза» — это значит освободиться от собственного духовного содержания, тогда нас просто потянет «на четвереньки», а не к Толстому.

Спорить с «фантазией» И. Золотусского, по-моему, абсолютно бесполезно, правда, Д. Стариков все-таки и тут сумел извлечь для себя определенную пользу, но это уже особое его дарование, если по своей природе и не единичное, то наверняка — редкостное. Автор «Заметок для памяти» сумел так виртуозно оттолкнуться от И. Золотусского, что создал иллюзию постоянного спора с ним, хотя, по сути дела, никакого спора и нет. Больше того, И. Золотусский и Д. Стариков, как и всякие крайности, сходятся в главном: критик «Нового мира» считает роман Толстого «реликвией», «музейным экспонатом», а критик «Октября» никак и не пытается опровергнуть эту точку зрения. И. Золотусский и Д. Стариков считают, что «настоящего» Толстого нет, так как между нами и Толстым стоят «знания» о нем, только один по этому поводу высказывает сожаления, другой — чувства противоположные. Я же не могу согласиться ни с тем и ни с другим, для меня существуют как и «настоящий» Толстой, так и «знания» о нем, позволяющие формировать исторический подход к прошлому и настоящему. И, по-моему, без сопряжения вот этих «знаний» духа и разума не может быть истинного интеллекта.

Я готов подписаться под утверждением Д. Старикова, что «надо было быть Лениным, чтобы и через два и через шесть десятилетий после опубликования первой своей статьи о Толстом принять такое непосредственное и *ведущее* участие в наших делах и в наших дискуссиях...» Только я бы сказал это проще и точнее: «Ленинская статья о Толстом играла ведущее значение во всех дискуссиях на протяжении всех лет с момента ее появления в печати». К этому уточнению я еще вернусь, а пока остановлюсь на том, как преломляются «знания» о Толстом и, в частности, ленинские работы о нем в статье Д. Старикова.

Как известно, первая ленинская работа о Толстом была построена по принципу: «с одной стороны...» — «с другой стороны...» И это вовсе не литературный прием, это диалектический анализ Толстого как явления русской действительности, отразившего с наибольшей силой слабые и сильные стороны первой русской революции. Должен сказать, что статья Ленина вроде бы устраивает автора «Заметок для памяти», но... только тем, что «с другой стороны...» Д. Стариков почему-то решает, что в ленинской статье важна только эта «другая сторона», касающаяся критики религиозно-философского учения Толстого, но такой взгляд не только разрушает принцип, но и все содержание ленинской статьи о Толстом. Стариков вы-

писывает даже в один большой абзац сплошняком все, что «с другой стороны», и восклицает: «Да, для этого нужен был *Ленин!*». По-моему же, для этого нужен был просто Стариков.

Из того же, что, «с одной стороны», Стариков выписывает только одну ленинскую фразу и топит ее в собственных пространных рассуждениях. И вот эта важнейшая ленинская статья о Толстом подвергается своеобразному препарированию, а чтобы окончательно нарушить «равновесие» ленинских оценок, критик «Октября» своеобразно подбирает различный материал, бросающий какую-либо тень на великого писателя.

С ненужной оживленностью обильно цитируется Маяковский. Что-нибудь вроде: «на стене росла у Маркса под Толстого борода...» (При всем нашем уважении к Маяковскому навряд ли нужно безоговорочно принимать все оценки поэта, касающиеся как Толстого, так и других представителей литературы прошлого.) Поднимается также без всяких оговорок на щит статья М. Ольминского «Ленин или Лев Толстой?». Опять-таки без оговорок Д. Стариков сообщает: «В тюрьме, во второй половине девяностых годов, чтение «Войны и мира», «Анны Карениной», вспоминал М.С. Ольминский, вызывало у него впечатление контрреволюционности Толстого...»

А Ленин, как нам известно, воспринимал эти романы совсем иначе. Вот тут бы нашему критику и поговорить о значении ленинских работ о Толстом. Ведь не нужно представлять себе дело так, будто статьи Ленина читались «черносотенцами», «громившими» Толстого, и в основном к ним-то и адресовались. В первую очередь Ленин адресовал свои статьи товарищам по партии и по рабочему движению, которые не понимали истинного значения Толстого, к ним можно отнести и М. Ольминского. Да что там Ольминский — Плеханов по-настоящему не понял Толстого! Все на великого писателя смотрели только «с другой стороны», но если такой взгляд был извинителен до появления ленинской статьи «Лев Толстой, как зеркало русской революции», то через шестьдесят лет отношение к такому взгляду у нас должно быть иным. Но Д. Стариков, нисколько о том не заботясь, продолжает односторонне раздувать, что «с другой стороны», и не без явного удовольствия приводит следующий отрывок из давнего фельетона М. Кольцова:

«...Рассказывают, то ли в шутку, то ли всерьез, — писал в дни толстовского юбилея 1928 года Михаил Кольцов в «Правде», — как группа детей-экскурсантов бродила по какой-то портретной галерее. Один из малышей, остановившись у портрета Льва Толстого, спросил групповода строго и спокойно:

— А это что за старый хрен в толстовке?

Здесь нечего возмущаться, ломать руки и взывать к небесам об упадке нравов по поводу того, что толстовку знают, а Толстого — нет, — замечал фельетонист... — В этой гигантской политической и культурной перетасовке, конечно, мог на несколько лет сгинуть даже такой великан, как Толстой...»

Наговорено здесь немало, так что теперь давайте попробуем во всем этом разобраться. Конечно, ломать руки не стоит (даже себе), а вот возмущаться мы имеем все основания. Дело не в том, что «малыш» не знал Толстого — в конце концов во все времена, даже когда не было «культурных перетасовок», многие малыши до поры не знали Толстого. Обычно в описанных Кольцовым ситуациях они любопытствуют: «А кто это?», что вполне естественно. Но вот когда для малыша всякий незнакомый ему человек — «хрен» (неважно, в толстовке или без оной) — это уже страшно, и страшны его спокойствие и строгость. И можно себе представить, что из этого «малыша» могло получиться потом при оптимистических призывах «не возмущаться» и «не ломать руки»!

Да и ничего себе «перетасовочка», если на несколько лет мог сгинуть «такой великан»! Интересно, а почему Д. Старикову даже через много лет не пришла мысль, что по логике вещей вместе с «великаном» должны были сгинуть и работы о нем? А могли заодно и не только о нем. В частности, о Пролеткульте. И совсем уж странно звучит утверждение, что фельетон этот «был одним из выражений основной направленности подлинно социалистической культурной революции, определенной Лениным, в частности, еще в его работах о Толстом».

Насколько нам известно, Ленин совсем иначе себе представлял принципы культурной революции, когда еще второго августа 1918 года утвердил «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и др. городах Рос. Соц. Фед. Сов. республики...». И между прочим, в разделе «Писатели и поэты» первым значилась фамилия Толстого. А менее чем через два года Ленин подписал декрет, по которому — «В целях сохранения дома, где жил и работал Л.Н. Толстой», — дом Толстого был объявлен государственной собственностью. Эти акты действительно были выражением «основной направленности подлинно социалистической культурной революции, определенной Лениным, в частности, еще в его работах о Толстом». Именно Ленин, кажется, делал все, чтобы в результате различных «перетасовок» не сгинул великий писатель земли русской. И тут Старикова явно подвела тенденция «с другой и только с другой стороны».

Между прочим, во времена «культурной перетасовки» «великаны» сгинули далеко не для всех. Так, человек вроде бы и не очень мирной профессии, каким был Михаил Васильевич Фрунзе, говорил: «Когда есть время почитать, то невольно обращаешься либо к старым классикам, либо как раз к нашим литературным попутчикам, вроде Леонова. Между прочим, по-моему, Леонов — очень крупный растущий писатель. Ему тоже еще нужно учиться, но если мы его не испортим, то в будущем это будет крупная литературная величина».

Как видим, для Фрунзе «великаны» не исчезали, и в Леонове он не ошибся. Леонов действительно стал «крупной литературной величиной», а вот это — «если мы его не испортим» — куда как лучше характеризует тогдашнее состояние литературных дел, столь зависящих от всевозможных «культурных перетасовок». Порой Д. Стариков начинает будто бы защищать Толстого. «Но нет, — категорически заявляет он, — уже невозможно после Ленина выдать Толстого за некоего «старого хрена в толстовке»: все равно, скажутся ли в этом детском восприятии холод наивного пренебрежения или жар умильного подобострастия».

В том-то все и дело, что и «сгинул» Толстой и пожалован новым «титулом» был именно «после Ленина» и после его статей, но тут критику просто нужно было создать видимость защиты Толстого.

В статье Д. Старикова в потоке рассуждений разбросано немало замечаний о величии Толстого, но все эти замечания никак не восстанавливают диалектический ленинский анализ, но зато другие его «замечания» с неукротимой энергией разрушают этот анализ.

Ключом к пониманию ленинской работы о Толстом могут послужить воспоминания Горького о Ленине и, в частности, вот такие фразы Ленина, приводимые Горьким: «И, — знаете, что еще изумительно в нем. Его мужицкий голос, мужицкая мысль, настоящий мужик в нем. До этого графа — подлинного мужика в литературе не было. Не было!» Но Д. Стариков ничего не желает понимать, а чтобы не поняли другие, пускается вдруг в неуместную здесь иронию. И начинает издалека. Сначала он высмеивает сентенции, предназначенные для клубных работников и учителей, вроде: «Любите книгу, источник знания. *М. Горький*»; «Наука изощряет ум; ученье вострит память. *К. Прутков*», или: «Лев Толстой навсегда останется в русской и мировой литературе величавой, недосягаемой вершиной. *М. Шолохов*»; «Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине. *К. Прутков*»...

Прием, конечно, остроумный — уравнять шолоховскую оценку Толстого с легковесным афоризмом Пруткова, но дальше Стариков ударится и не в такое «остроумие». А пока он совершенно не к месту упрекнет И. Золотусского, порассуждает о древнегреческих философах, вспомнит ленинскую работу «Философские тетради», расскажет нам кое-что о догматизме, поиронизирует над «серьезными по репутации литературоведами», напомнит о «темном царстве» и крепостничестве, позабавит нас вопросом-ловушкой. Стариков весело рассказывает, как многих ставит в тупик вопросом: если, по словам Ленина, у Толстого подлинные мужики, то разве не подлинные мужики у Пушкина, Тургенева и тем более Решетникова?

Еще Д. Стариков начинает нас уверять, будто кто-то зловеще-таинственный «во многих библиотечных книгах» отчеркнул «преимущественно цитаты», в которых выражена ленинская мысль о графе-мужике. Как говорится, к чему бы это? А вот к чему: порассуждав еще немного о творческом методе Толстого, Д. Стариков выдает вот такую тираду: «Смешно объяснять, что, ей-богу, не надо быть *Горьким*, чтобы увидеть в книге один из источников знания; не надо быть *Шолоховым*, чтобы назвать Толстого недосягаемой вершиной литературы; не надо быть и *Лениным*, чтобы согласиться (с кем согласиться? — *А. Л.*), что Толстой велик, что в Европе некого поставить рядом с ним и что он превосходно знал деревенскую Россию!».

На предыдущей странице эти же высказывания Горького и Шолохова стояли в одном ряду с афоризмами Пруткова, теперь критик «Октября» вместо афоризмов Пруткова подставил в исковерканном виде мысль Ленина, намекая, что всем этим сентенциям одна цена и предназначены-то они для клубных работников и учителей.

Теперь о Решетникове. Действительно, Решетников «превосходно знал деревенскую Россию», а Ленину его гениальный анализ гениальных произведений Толстого позволил не только узнать, но, главное, понять деревню лучше, чем понимал ее тот же Решетников, а вкупе с ним и многие современные литературные критики, порой так лихо решающие проблемы деревенской жизни. Если бы Толстой только «превосходно знал деревенскую жизнь», тогда бы Ленин и не высказал бы мысль о графе-мужике, и эта мысль вовсе не проходная, а главная в ленинской работе о Толстом.

«Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Тол-

стой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции» — вот расшифровка ленинской мысли о графе-мужике, вот это самое «с одной стороны...»! И вряд ли Д. Старикову следовало ставить эту мысль в один ряд с афоризмами Пруткова.

Ленинская статья о Толстом — это не просто статья о великом писателе, это статья, в которой дан анализ причин поражения первой русской революции. И тут я возвращаюсь к своему уточнению, в котором сказал, что ленинская работа о Толстом играла ведущее значение во всех дискуссиях на протяжении всех лет с момента появления ее в печати, ибо разногласия о Толстом — это и разногласия о политике партии в революции.

В своей работе «О праве наций на самоопределение» Ленин писал: «Сколько бы ни клеветали на нас, большевиков, будто мы «идеализируем» мужика, но мы всегда строго отличали и будем отличать мужицкий рассудок от мужицкого предрассудка»... Разве трудно в этих словах обнаружить мысли, высказанные Лениным в статье о Толстом?

Разоблачая троцкизм, Ленин в работе «О двух линиях революции» отмечал: «Оригинальная теория Троцкого берет у большевиков призыв к решительной революционной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти, а у меньшевиков — «отрицание» роли крестьянства». Разве нет здесь развития тех мыслей, которые были высказаны Лениным в той же статье о Толстом?

Нетрудно догадаться, что и Троцкий и меньшевики, у которых он брал «отрицание» роли крестьянства», вряд ли глубоко понимали ленинский диалектический анализ, проведенный им в статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции». И давно уже настало время понять, что нет и не было дилеммы: Ленин или Лев Толстой? есть проблема: Ленин и Лев Толстой.

Я не стану здесь подробно излагать историю всех разногласий между Лениным и его противниками по крестьянскому вопросу во время подготовки России к новой революции — это особая тема разговора, но не могу обойти молчанием факт, кажущийся мне очень знаменательным. Известно, что с первых же дней Советской власти Ленин установил постоян-

ную связь с крестьянством, и это вовсе не случайно. Правда, у нас порой очень сусально рисуют встречи Ленина с «ходоками», пытаясь представить вождя революции этаким сентиментальным интеллигентом, который не в состоянии отказать в приеме простому человеку, тем более пришедшему из далеких краев.

Для принятия того или иного важного государственного решения Ленину важно было знать истинное настроение крестьянства, ибо он никогда не забывал о роли крестьянства в революционном движении в такой стране, как Россия.

Кажется, какое отношение имело крестьянство к Брестскому миру? На самом деле имело, и даже очень большое. «Левые» во время брестских переговоров обвиняли Ленина в «преклонении перед крестьянством», а Радек — тот прямо заявил: «Мы стоим теперь перед капитуляцией, — и это главным образом *потому, что пролетарская партия, став у власти, считалась прежде всего не с постоянными интересами рабочего класса и революции, а с настроением и давлением усталых крестьянских масс*» (выделено Радеком).

А Урицкий в тот же период на заседании ЦК 24 января 1918 года доказывал, что «ошибка т. Ленина в настоящий момент та же, что была и в 1915 г., — а именно он смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международной».

Если не понимать ленинскую работу о Толстом, то и впрямь может показаться, что Ленин не считался с интересами рабочего класса, что он игнорировал международную точку зрения. Но Ленин видел дальше всех и хорошо понимал, что судьба русской революции зависит полностью от настроения крестьянства, а не от эмоций противников «аннексионистского мира» и сторонников «революционной войны», и поэтому мужественно отвечал многочисленным своим оппонентам, что «крестьянское большинство нашей армии в данный момент безусловно высказалось бы за аннексионистский мир...», что «крестьянская армия, невыносимо истрепанная войной, после первых же поражений, вероятно, даже не через месяц, а через неделю свергнет социалистическое рабочее правительство».

И в той позиции, которую твердо занял Ленин во время брестских переговоров, очень легко угадывается автор статьи «Лев Толстой, как зеркало русской революции». И мне думается, не случайно, что именно в этом же 1918 году Лев Толстой оказался в списке писателей первым, чья память должна была быть увековечена.

Конечно, вряд ли критику можно поставить в особую заслугу непонимание ленинской статьи о Толстом, но еще хуже, когда на этом непонимании строится концепция, а Д. Стариков из всех своих рассуждений ни мало ни много выводит наличие у нас «новой «общенациональной оппозиции» все того же старого либерального толка...». Не берусь судить, кого намеревается Дмитрий Стариков зачислять в ряды этой оппозиции, но один И. Золотусский ведь не в состоянии составить целую оппозицию, да еще вдобавок общенациональную. Да, ничего не скажешь, Д. Стариков любит размах и монументальность — это вам не «участки» А. Бочарова!

Заканчивая разговор, мне все-таки хотелось бы спросить у Д. Старикова: «А что же это такое — «общенациональная оппозиция» и не абсурд ли это?» Ведь «общенациональная оппозиция» может возникать лишь в период «общенационального кризиса» и только при наличии антагонистических классов. Возможно, Д. Стариков считает, что и коммунизм-то мы должны строить не «с точки зрения России», а «с точки зрения международной», а потому всякие общенациональные интересы нужно рассматривать как «общенациональную оппозицию» «международной точке зрения»? Не берусь все это утверждать, но при всем моем уважении к Д. Старикову я предпочел бы, кажется, любой «участок» А. Бочарова столь таинственному «зданию», воздвигнутому Стариковым в тумане загадочных рассуждений о вещах сложных, но достаточно ясных.

И я еще раз произнесу: «Осторожно — концепция!»

1969

МОДА И СОВРЕМЕННОСТЬ

> Литературные моды быстро истощают себя и редко отличаются глубоким характером. На какой-то миг они поражают взор и тут же исчезают, как стремительно несущаяся пена. Попусту растрачивая все силы, подобная литература сама мешает своему внутреннему развитию; подобно осенним листьям, она за короткий срок претерпевает множество внешних изменений.
>
> *Рабиндранат Тагор*

1

Мода — деспот, одновременно капризный и жестокий, не внемлющий ни доводам разума, ни голосу естественного чувства, он требует бездумного и беспрекословного подчинения, ему мало преданности толпы, он домогается верноподданности индивидуума. Добро еще, когда мода захватывает только область, так сказать, нашего обличья, когда костюм, прическа, «форма глаз» или внешняя манера поведения нивелирует внешность человека, когда все похожи на *кого-то* и никто на себя.

В конце концов у человека могут развиться и собственный вкус, и стремление к самостоятельности, и тогда он сумеет освободиться от рабской зависимости, обретет собственное лицо и те черты индивидуальности, которые сделают его похожим на самого себя. Во всяком случае, этого рода мода, если только человек не посвятил ей всего себя полностью, — симптом лишь возможной, но вовсе еще не обязательной болезни.

Во сто крат хуже, когда мода захватывает область, которую принято называть внутренним миром человека. Мода опустошает этот мир, лишает человека способности самостоятельно мыслить, убивает в нем всякое творческое начало, а стало быть, и творческое отношение к действительности. За неупотреблением все эти качества постепенно атрофируются, и их место заступает единственная способность реагировать только на грубое раздражение низших чувств.

Мода отрицает какие бы то ни было обязательства перед прошлым и будущим: ее стихия — настоящее, точнее, даже не настоящее, а сиюминутное. Она легко может развести друзей и разлучить любящих, отлучить от родителей и восста-

новить против учителей. И если уж вы взялись служить моде, то должны неукоснительно исполнять все ее желания и веления и пуще огня страшиться проблеска собственного мнения и малейших движений собственной воли, иначе вас тотчас же обвинят в ереси. Взамен всему мода внедряет в сознание человека различного рода стереотипы, приказывая: вот по *этому* поводу думать *так*, а по *этому — вот так*; *в таком-то* случае говорить *то*, а *в таком-то — вот это*.

У моды свои законы этики и эстетики, а в понятие хорошее или плохое она не вкладывает никакого иного содержания, кроме как: *новое и старое. Новое* — хорошо уже только потому, что оно не старое, *старое* — плохо уже потому, что оно не новое. Так, в последнее десятилетие западное искусство захлестнула под напором «сексуальной революции» мода на порнографию, и теперь в нем, как никогда, стало чрезвычайно легко отделить «старое» от «нового». Разумеется, и прежде в произведениях разных видов искусств нередко присутствовал элемент порнографии, как правило, привносимый настойчивыми ремесленниками. Нынче же, когда порнография получила все права в искусстве буржуазного мира, ремесленник победил творца и в силу своей природной агрессивности диктует ему свою волю и свои вкусы. Теперь не только ремесленник подделывается под творца, но и творец подчас вынужден свои произведения подделывать под продукцию ремесленника. И в мире, где самодержавно господствует мода, по сути дела, нет места ни для подлинного новаторства, ни для подлинного творчества.

Модный фильм, модная книга... Это не одно и то же, что современный фильм или современная книга. Современное произведение *отвечает* вкусам, чувствам и умонастроениям многих людей, и по своей природе современность демократична. Мода же *подчиняет* единому стереотипу вкусы, чувства, умонастроения людей, и по своей природе мода элитарна.

2

В последние годы было немало говорено об опасности, которую таит в себе современная система массовой коммуникации. Сошлюсь хотя бы на авторитет известного нашего ученого, академика Н.И. Конрада: «Что, собственно, делают с нами все эти средства массовой коммуникации? Штампуют нас — наши интересы, наши вкусы, наш ум, наши души. Относимся мы ко многим вещам, конечно, по-разному, но сами категории

этих разных отношений одни и те же; да и само отношение нередко привнесено в нас этой же массовой коммуникацией».

Безусловно, виноваты здесь не средства современной системы массовой коммуникации и не научно-технический прогресс в целом. Сами по себе научные открытия и технические достижения нейтральны — важно, чему и кому они служат. И как ими пользуются. Необходимо только помнить, что современные средства массовой коммуникации более мобильны и более всеохватны, чем прежние, и теперь все труднее и труднее «укрыться» от них человеку.

«Вы знаете, — писал тот же академик Н. Конрад, — что уже не раз на различных международных форумах говорилось об опасности, таящейся в современной системе массовой коммуникации. Все мы в той или иной степени охвачены этой коммуникацией, находимся в ее власти. Например, меня может совсем не интересовать, как некая звезда фигурного катанья метет своей взбитой шевелюрой лед на катке в Любляне или в Вене, но я все-таки смотрю: действует гипноз телевизора. И что удивительнее всего — я даже начинаю привыкать к такому гипнозу».

Как видите, солидный ученый и тот вынужден был признаться, что его «заставили» смотреть передачи, которые ему совсем не нужны. А что тогда говорить о человеке рядовой профессии, рабочий день которого строго нормирован и перед которым стоит совсем не простая проблема досуга. Вспомните хотя бы последний чемпионат мира по футболу, вспомните, как в часы трансляций матчей по «интервидению» будто вымирали улицы городов. Все исправно несли вахту у «голубых экранов». Даже женщины.

А затем чемпионат по гимнастике, фигурному катанию и т. д. А тут подоспел Международный кинофестиваль...

В головах оседают имена актеров и тренеров, чемпионов и режиссеров, названий стадионов и кинофильмов и сотни самого различного рода показателей, выраженных цифровыми знаками. Цифры, отвлеченные понятия...

Нет, я вовсе не против спортивных состязаний и творений кинопромышленности, во все времена проводились зрелищные мероприятия, и вряд ли наше время должно представить тут какое-то исключение. Здесь речь идет совсем о другом.

Существует такое понятие, как культура чтения, которая предполагает умение человека отбирать для своего чтения нужные произведения. Количество прочитанного не есть мерило глубины или образованности человека. Больше того,

обильное, но беспорядочное, бессистемное чтение всегда считалось признаком или малообразованности, или недалекости человека. И нам нужно противиться не новым видам и новым источникам информации, а повышать культуру их усвоения, и современный образованный человек должен уверенно знать не только то, что он должен смотреть (читать), но еще не менее твердо знать, чего он смотреть (читать) не должен. И эта проблема, между прочим, родилась не сегодня. Так, Льва Толстого, вероятно, занимали примерно те же вопросы, когда он писал:

«Одна из главных причин ограниченности людей нашего интеллигентского мира — это погоня за современностью, старание узнать или хоть иметь понятие о том, что написано в последнее время. «Как бы не пропустить». А пишется по каждой области горы книг. И все они по легкости общения доступны. О чем ни заговори: «А вы читали Челпанова, Куна, Брединга? А не читали, так и не говорите». И надо торопиться прочесть. А их горы. И эта поспешность и набивание головы современностью, пошлой, запутанной, исключает всякую возможность серьезного, истинного, научного знания. А как, казалось бы, ясна ошибка. У нас есть результаты мыслей величайших мыслителей, выделившихся в продолжение тысячелетий из миллиардов и миллиардов людей, и эти результаты мышления этих великих людей просеяны через решето и сито времени».

«Решето и сито времени» отбирает из неохватного количества информации только ту, что действительно представляет непреходящую и объективную ценность. Этот «метод» позволяет нам приобщиться к истинно глубоким мыслям и подлинному вдохновению, формирует наш эстетический вкус, развивает ум, приобщает к высокому нравственному поиску предшественников, закладывает фундамент собственного мировоззрения. И я берусь утверждать, что любому моему современнику гораздо необходимее прочитать «Войну и мир» или «Мертвые души», нежели просмотреть все передачи КВН или «Голубого огонька». Нет, я вовсе не против этих передач и не вижу в них большого вреда, однако *в бюджете времени* современного человека они должны занимать соответственное их подлинному значению место. Думается, что академик Н. Конрад ничего не имел против фигурного катания и говорил он, в общем-то, не о фигурном катании, а о гипнозе телевидения, напоминая, что подлинная культура всегда приобреталась в результате упорного труда, а не только в результате приятного времяпрепровождения.

Разумеется, осваивать «фундамент человеческих знаний» — дело куда более хлопотливое, чем регулярный просмотр занимательных телепередач или ежедневное посещение кинотеатров. Но если человек претендует на современность, то он в первую очередь должен «в просвещении стать с веком наравне». Слепое подражание внешним приметам своего времени или усваивание стереотипных положений не делают его современным, пусть он даже по всем статьям и выглядит достаточно модным.

3

К сожалению, под власть моды попадают не только те, для кого снимаются фильмы, ставятся спектакли, устраиваются выставки, пишутся книги, но и сами творцы: актеры, режиссеры, художники и т. д.

Примерно лет пятнадцать — восемнадцать назад необычайную популярность у нас приобрели произведения Ремарка, что, вероятно, имело свои причины. В конце концов чисто читательский интерес к Ремарку перерос в «писательскую» моду: некоторые молодые, недостаточно зрелые прозаики стали писать «под Ремарка». Мода эта, как и всякая другая литературная мода, держалась недолго, и сейчас вряд ли отыщется писатель, который охотно признался бы, что в своем творчестве он шел «от Ремарка».

Примерно то же было и с Хемингуэем. У нас жадно его читали, горячо о нем спорили, клялись его именем, наконец, откровенно подражали ему в письме. И даже пытались походить на него внешностью. Постепенно мода уступила свое место здоровому читательскому вниманию и спокойному научному исследованию творчества этого писателя.

Комична была мода на Кафку (хотя с именем этого писателя меньше всего вяжется слово «комичный»). В свое время в кругу молодых литераторов имя Кафки имело широкое хождение. Как только возникал какой-нибудь разговор о художественной прозе, обязательно слышалось: Кафка, Кафка, Кафка... И разговор сразу же приобретал оттенок жгучей современности. Но самое удивительное здесь было то, что почти никто из тогдашних многочисленных приверженцев Кафки не читал его произведений: они были переведены на русский язык несколько позже.

Я весьма далек от намерений под каким-либо предлогом принизить значение таких писателей, как Хемингуэй или

Кафка, Фолкнер или Сэлинджер, да и многих других. «О, ради бога, не считайте, что любить родину — значит ругать иностранцев...», — очень кстати сказал в свое время Достоевский. И беда не в том, что кто-то учился у Хемингуэя или Фолкнера, а в том, что кто-то, не обременяя себя серьезной учебой у западных мастеров, попытался сесть на их иждивение.

Глушить же собственную духовную жизнь и добровольно заболевать чужими болезнями, прививая себе то приступы чужестранной эгоистической тоски, то симптомы заморского социального равнодушия, могли лишь те, кого, видимо, одолела безнадежная духовная леность. Мы всегда были достаточно здоровы, чтобы заболевать всеми этими недугами всерьез, однако нельзя сказать, что мы оставались абсолютно невосприимчивыми к моде на чужие хвори. Больше того, у нас это в какой-то мере традиционно — красоваться чужими недугами, у нас даже издревле такой общественный тип сложился, который ужасно переживал, что не родился иностранцем. «Всю жизнь, — отмечал еще в прошлом веке историк В.О. Ключевский, — помышляя об «европейском обычае», о просвещенном обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом».

В такое же положение попали в свое время и некоторые наши «исповедальные» авторы (о них у нас речь впереди), им непременно хотелось выглядеть рожденными в России Сэлинджерами или еще кем-то в этом роде.

4

К счастью, любая литературная мода недолговечна, как, впрочем, и все, что идет навстречу лишь нашему внезапному настроению, но не учитывает наших истинных духовных потребностей. Только мы начинаем осознавать эти потребности, мода отходит на второй план, а затем и вовсе исчезает. И хотя она в силу инерции или по ряду других второстепенных причин может занимать кого-то еще довольно долго, преодолеть собственную участь никакая мода не в состоянии.

До определенной поры в споре с модой логика бывает почти бессильной. И не потому ли в начале прошлого десятилетия «исповедальная» проза достаточно прочно внедрилась в нашу литературную жизнь, четко обозначив свои идейно-эстетические позиции. «Свой» герой, «своя» тематика, «свои» осо-

бые проблемы и эстетические наклонности, даже «свой» язык. Короче говоря, обновление шло по всем основным статьям, и слово «новаторство» в устах некоторых критиков стало высшей и чуть ли не единственной похвалой, а слово «традиционность» — синонимом отсталости и бесталанности.

Да, в жизни нашей были и Алексеи Максимовы («Коллеги»), и они тоже могли привлечь внимание писателей. В конце концов беда даже не в том, что этот общественный тип стал героем «исповедальной» литературы, беда в том, что эстетика этой литературы не способна была «осмыслить» этот тип, «понять» истинные его намерения, достоверно отразить жизнь во всей ее сложности и противоречиях и тем самым продемонстрировала неспособность к верному самостоятельному отражению действительности.

Авторам «исповедальной» прозы не удалось осмыслить явления, которые происходили в нашей стране в те сложные годы. И главная причина здесь та, что герой «исповедальной» прозы слишком далеко уже отстоял от тех реальных процессов, которые определяли общественное развитие той поры, далеко отстоял от исторического опыта народа.

Не станем вдаваться в подробности, что было новаторством для каждого предшествующего нам поколения, но для нашего, так называемого «четвертого поколения», большим новаторством, требовавшим и писательской смелости, и гражданской доблести, был отказ от веяний и соблазнов возникшей в ту пору литературной моды и обращение к традициям великой русской литературы. Говоря о традициях отечественной литературы, я прежде всего имею в виду не литературные приемы, а нечто большее и значимое, что составляет ее глубинную сущность и определяет ее мировое значение: стремление к социальной справедливости и нравственной чистоте. И поступаться этой самостоятельностью значило бы поступаться не только интересами национальными, но и интернациональными, ибо значение нашей литературы давно переросло ее национальные рамки.

Не опровергла этого правила и так называемая «исповедальная» проза, несостоятельность которой к концу минувшего десятилетия в общем-то стала очевидной. А ведь в начале шестидесятых годов, когда вокруг нее поднялся необычайный литературно-критический переполох (и тут даже трудно сказать, кто больше способствовал популяризации «исповедальной» прозы — ее сторонники или ее противники), многие в атмосфере этой эстетической сумятицы приняли литературную моду за литературное явление.

Мысль, что «исповедальная» проза в нашей современной литературе стояла особняком, я вовсе не собираюсь приписывать себе. В свое время многие критики доказывали непричастность этой прозы к общему литературному процессу прошлого и настоящего. И в этом отношении очень определенно высказался, к примеру, критик А. Макаров: «На какое-то время как бы даже две литературы образуются: одна для, так сказать, обыкновенных людей, другая — юношеская, молодежная, да не та поучительно-назидательная, что бывшими педагогами сочиняется, а свойская, *саморожденная.* И это будет литература спорная и спорящая» (курсив мой. — *А. Л.*). И дальше: «...пожалуй, именно с повести Аксенова все же начинается большой разговор, выделивший «молодежную тему» как бы в особую линию в литературе, и самый журнал «Юность» приобретает физиономию, отличную от других журналов».

1978

«ИСПОВЕДАЛЬНАЯ» ПРОЗА И ЕЕ ГЕРОЙ

С воспоминаниями о протекшей юности литература наша далеко вперед не продвинется.

А.С. Пушкин

1

Как бы мы ни относились к так называемой «исповедальной» прозе, нельзя не признать, что недавние споры о ней занимали очень значительное место в нашей повседневной литературной жизни. В этих многочисленных и почти не прекращающихся спорах не только ломались критические копья, но и формировались эстетические взгляды иных читателей и писателей, порой определялись направления целых печатных органов, наконец, рождались новые имена прозаиков и критиков. И кажется, уже сам по себе напрашивался отрадный вывод: в нашу художественную прозу пришли молодые авторы, и им в самом ближайшем будущем суждено вписать новые и очень яркие страницы в историю отечественной литературы.

Правда, одних в этих обстоятельствах смущала поспешность, с которой «молодые» намеревались заполнять страницы истории литературы. Других — излишняя горячность самих споров. Третьих здесь вообще ничто не смущало. Так или иначе, но в спорах этих не родилась та истина, ради которой, казалось, они велись. А споры эти тянутся и по сей день, хотя теперь они, как-то отяжелев, потеряли и свою былую свежесть, и прежнюю свою напористость, утратили молодцеватость и щеголеватость, а заодно и свою привлекательность. Причин здесь много, но главную, пожалуй, нужно видеть в том, что у читателя пропал былой интерес к предмету спора, а у авторов некоторых статей недостает порой терпения разобраться в происшедших переменах. В этом отношении очень показателен последний цикл статей о прозе «четвертого поколения» критика Ф. Кузнецова «К зрелости» («Юность», 1966, № 11, 1967, № 3 и 5) и статья Ф. Светова «О молодом герое» («Новый мир», 1967, № 5), последовавшие за интересным циклом статей недавно ушедшего от нас талантливого критика А. Макарова «Через пять лет» («Знамя», 1966, № 2, 3, 7 и 8; ста-

тьи эти вошли также в последнюю книгу А. Макарова «Поколения и судьбы», «Советский писатель», М., 1967).

Словно величественные дредноуты, прошли критики один за другим параллельными курсами, не обнаружив ни малейшего желания к взаимодействию. (Тут исключение нужно сделать лишь для А. Макарова, который выступил первым.) И трудно сказать, принимает ли Ф. Кузнецов основные положения статей А. Макарова: автор «Юности» почему-то счел за благо для себя игнорировать подробный анализ прозы «четвертого поколения», проделанный автором «Знамени». Ф. Светов сделал один-два упрека в адрес Ф. Кузнецова, в частности обвинив его в нежелании «вдаваться в разборы» произведений, но тут же, на этой же самой странице, неожиданно отметает «разборы» А. Макарова. Автор «Нового мира» уверяет, что «монографические разборы» А. Макарова непременно уведут нас «в сторону от нашей темы». Итак, с одной стороны, плохо не «вдаваться в разборы», с другой — не следует в них «вдаваться»...

Я тоже рискнул выйти в плавание, но мне не хотелось бы просто качаться на голубых параллелях и гордо ничего не замечать впереди себя, кроме туманного и недосягаемого горизонта. Я хочу идти своим путем, но не стану пугаться пересечения курсов, не буду делать вид, что я единственный мореплаватель.

Начиная свой путь, сразу же оговорюсь: я с трудом принимаю термин «четвертое поколение», рожденный в свое время заботами только о сегодняшнем дне. Ведь если есть «четвертое поколение», то должны появиться и «десятое», и «тринадцатое» и т. д. Неудобство определять литературные поколения порядковыми числительными кажется очевидным, поэтому будем считать этот термин временным. Вину же за неудачный термин возложим на всех, а стало быть, ни на кого в отдельности. Порой вот так неожиданно сказываются преимущества коллективной ответственности.

Мне очень близка мысль Ф. Светова, что «дистанция времени дает критику свою выгоду» и что «теперь уже можно спокойно разобраться в том, что осталось, отстоялось со временем, а что ушло вместе со злобой дня и представляет интерес разве что историко-литературный». Правда, потом у меня с Ф. Световым возникнет спор на тему, что «осталось» и «отстоялось», а что не «осталось» и не «отстоялось», но сама постановка вопроса мне кажется своевременной.

Действительно, не пора ли нам разобраться в нашем же литературном хозяйстве, когда мы имеем уже и достаточное число писательских имен и немалое число литературных героев? Не пора ли наконец разговору о прозе «молодых» выйти из состояния одной только лихой предположительности суждений? Пожалуй, настало время обзавестись нам и обоснованными выводами. Здесь у меня нет никаких расхождений с Ф. Световым.

2

А теперь особо несколько слов о логике Ф. Кузнецова. Критик полон решимости внушить нам мысль, что проза «молодых» за последнее десятилетие «проделала путь от гладилинской «Хроники времен Виктора Подгурского», трогавшей первозданной и чистой наивностью, к беспощадно трезвой и суровой повести «Привычное дело» В. Белова и перестала быть «молодой». Представители ее прошли за эти годы схожий путь, и лишь в той мере, в какой они прошли этот путь жизненной зрелости, они и остались в литературе, избегнув опасности оказаться авторами одной-единственной «первой повести».

Не правда ли, занимательная логика? Оказывается, к зрелости вовсе не обязательно приходить самому, за тебя это могут сделать и другие. Написал, скажем, А. Гладилин «Хронику времен Виктора Подгурского», а через несколько лет В. Белов утвердил зрелость А. Гладилина своим «Привычным делом», Ф. Кузнецов убежден, что представители «молодой» прозы «прошли за эти годы схожий путь». Право, не знаю, в чем критик увидел схожесть путей В. Белова и А. Гладилина и какие соображения навеяли ему столь оригинальную мысль.

На деле же все обстоит несколько иначе. А. Гладилин вот уже десять лет пишет однообразно-беспомощные «исповедальные» повести. Начал он упомянутой «Хроникой...» и дошел до «Истории одной компании» (автором одной повести он не остался, но и зрелости не обрел). А В. Белов давно пишет превосходные рассказы и к зрелости пришел не сегодня и совсем уже не благодаря А. Гладилину, а скорее вопреки.

Видимо, та же логика заставляет Ф. Кузнецова вести путь В. Аксенова от «Коллег» и «Звездного билета» к таинственно не названным рассказам. В таком случае не мешало бы раскрыть нам секрет: какой аксеновский рассказ есть доподлинное свидетельство его писательской зрелости? Говоря об А. Гладилине, Ф. Кузнецов как-то стесняется упоминать его

последнюю повесть; видимо, по той же причине он не упоминает и последний роман В. Аксенова «Пора, мой друг, пора!». Ведь назови их, всякий разговор о зрелости покажется просто неуместным. Поэтому-то у Ф. Кузнецова Василий Белов зреет за Анатолия Гладилина, Георгий Владимов, наверное, зреет за Василия Аксенова, а Владимир Максимов проделывает то же самое, ну, скажем, за подававшего в свое время надежды Владимира Амлинского.

Или вот, например, желая доказать особую миссию «исповедальной» прозы, Ф. Кузнецов пишет: «Легко судить «исповедальную» прозу за слабость решений и ответов: их часто не было в тот момент не только у героев, но и у авторов, — вот откуда художественная слабость и рационализм положительной программы «Коллег», беспомощность глав о перековке героя «Звездного билета». Труднее объяснить, почему это так».

Ф. Кузнецов довольно точно определил слабости ранней «исповедальной» прозы. Эта характеристика остается для нее в силе и поныне. В то же время она никогда не соответствовала прозе «неисповедальной». Так в чем же дело?

А дело в том, что Ф. Кузнецов произвольно переносит характеристику «исповедальной» прозы на всю раннюю литературу «четвертого поколения», а затем характеристику «неисповедальной» прозы старается распространить на всю нынешнюю литературу «четвертого поколения». Создается иллюзия, что молодая проза раньше сплошь была незрелой, а теперь дружно созрела. Фокус, конечно, хитроумный, но это все-таки фокус, а мы предпочли бы иметь дело с фактами.

Специальное знакомство со столь самобытной логикой одного из апологетов «исповедальной» прозы не повредит нам в разговоре о литературе «четвертого поколения», тем более что я и в дальнейшем не отказываюсь поспорить по некоторым вопросам с Ф. Кузнецовым, надеясь: вдруг в споре и выяснится истина.

3

Всякое новое поколение формирует свое общественное сознание под влиянием каких-то значительных исторических событий и уже утвердившихся идей. Однако любое поколение, как бы полно оно ни унаследовало от своих отцов их убеждения и взгляды, вырабатывает свое отношение к действительности. Литература, как одна из форм общественного сознания, отражает смену и взаимосвязь поколений, общий про-

цесс духовного развития народа и духовную жизнь отдельной личности.

И хотя деление на поколения, как и всякая другая периодизация в литературе, — вещь не безусловная, однако если в основу ее положен безусловно важный признак, то эффективность такой периодизации будет очевидной при любых отклонениях ее частностей. (Говоря о неудачности термина «четвертое поколение», я имел в виду только термин, а не попытку произвести периодизацию.) Думается, влияние минувшей войны на судьбы того или другого поколения как раз и есть тот признак, который позволяет нам иметь вполне обоснованную периодизацию поколений и всего литературного процесса последних десятилетий.

Нас в основном будет интересовать «четвертое поколение». При всем различии судеб к нему относятся те, чье детство пришлось на войну, и я согласен с Ф. Кузнецовым, когда он пишет: «У нас было нелегкое, военное детство, мы знали и голод, и холод, и тяжкий, недетский труд...» Все это точно соответствует действительности, и спорить тут не приходится. «...Нам все было ясно, — патетически продолжает критик, — и будущее виделось нам в образе бесконечных голубых параллелей, уходивших в века, вперед». Вот тут уж не все соответствует действительности, и не спорить здесь просто невозможно.

Мне, например, неведомо, о каких «голубых параллелях» грезилось, скажем, юношам и девушкам, потерявшим в войну отцов, матерей, родной дом и на долгие годы отлученным от школы и навсегда — от юности. Эти вчерашние девочки и мальчики без особых романтических иллюзий встали к станкам или пошли работать в поле. И если уж говорить об окраске времени, то навряд ли будущее виделось им непременно в голубых тонах.

Зачем же нам забывать о своих сверстниках только на том основании, что они оказались менее нас удачливыми?!

Не снились голубые сны и тем девочкам и мальчикам, которые по воле судьбы много-много раз засыпали под тявкающие оклики фашистских патрулей, а просыпались под бесцеремонные удары тяжелых прикладов в дверь. По-разному сложилась в дальнейшем судьба этой части нашего поколения, но два-три очень важных года из жизни многих наших сверстников были вычеркнуты.

И это еще не самая горькая правда о нашем поколении. Недавно я прочитал книгу Леонида Сапронова «Дело к весне», и, признаться, мне вдруг стало стыдно за ту удачливость,

что не обошла стороной многих из нас. В книге есть повесть «За туман-границей». Это исповедь нашего советского юноши, познавшего рабство в двадцатом веке. Да, мы слыхали, что во время войны немцы угоняли в Германию наших сверстников. Но что мы знаем о судьбе угнанных? Нет, даже не тех, кто погиб там, а хотя бы тех, кто вернулся на Родину. Я говорю о судьбе значительной части поколения. Во всяком случае, ее представителям очень долгое время было не до голубых восторгов, о которых с таким умилением вспоминает Ф. Кузнецов.

Зачем же нам, получившим «первую закалку в бурный, противоречивый 1956 год» (слова Ф. Кузнецова), было так длительно и упорно, так по-анкетному казенно относиться к тем из наших сверстников, на чью долю выпали не только трудности, но и ужасы военного детства?

Так что же, критик Ф. Кузнецов, мягко говоря, выдумал все эти «параллели»? Нет, не выдумал. Дело в том, что он имел в виду только одну часть нашего поколения. Какую именно? Давайте послушаем самого Ф. Кузнецова: «Я вспоминаю себя и своих сверстников в пору нашего духовного отрочества, которое пришлось на конец 40-х — начало 50-х годов, когда мы только входили в жизнь, и даже не в жизнь, а в аудитории институтов и университетов».

Жизненный путь этой части нашего поколения при определенных трудностях был все же нормальным: школа — институт — работа. И здесь не может не броситься в глаза, что тот признак, который принят нами как главный при характеристике «четвертого поколения», у этой части выражен наименее ярко. Действительно, трудные были детство и отрочество, но они не были все же настолько трудными, чтобы прервать нормальное развитие. Как мы уже видели, для большей части нашего поколения эти трудности заключались не только в различного рода жизненных неудобствах или лишениях (даже личном горе), а и в нарушении нормального пути развития.

Разумеется, я не собираюсь винить другую часть поколения за ее относительную удачливость. Это было бы и несправедливо, и неразумно. Тут же хочу оговориться. Мое утверждение, что нормальный путь развития — «школа — институт — работа», не нужно понимать буквально. Я имею в виду не обязательность, а возможность такого пути для каждого. И сейчас не всякий после школы непременно поступает в вуз, но возможность такую имеет всякий.

Итак, что же характерно для нашего поколения? Во-первых, трудности военного детства. Во-вторых, трудности по-

слевоенной юности. В-третьих, невозможность вовремя получить образование (нарушение нормального пути развития). Это касается большей части поколения. А меньшая его часть, оказавшаяся в относительно благоприятных условиях, получила даже неожиданную льготу — почти бесконкурсную возможность поступить в вуз.

Вопрос о высшем образовании представляет интерес по многим причинам. Во-первых, герой «исповедальной» прозы — это вчерашний школьник или студент, и главная его забота, как правило, связана с проблемой дальнейшего образования. Во-вторых, вопрос о высшем образовании, помимо всего, — вопрос социальный, а критик Феликс Кузнецов поучал еще критика Льва Аннинского, что «проблема личности не решается в сфере чисто нравственной, это проблема нравственно-социальная». Вот и давайте все проблемы решать в нравственно-социальном плане.

Если студентам предложить вопрос в такой форме: «Кем ты станешь после окончания вуза?» — последуют ответы: «инженером», «врачом», «преподавателем»... Но нельзя ли несколько изменить вопрос и поставить его так: «А кем ты не станешь после окончания вуза?» Тут должны следовать ответы: «рабочим», «крестьянином», «солдатом»... Помните, у А. Гладилина: «Идти работать? Тут уж возмущались даже закоренелые троечники: «Зачем же мы получали среднее образование?» Действительно, зачем?

Оказывается, больше всего героев «исповедальной» прозы беспокоит не вопрос их призвания, а вопрос их благополучного социального будущего. Кем угодно, но только не рабочим, только не крестьянином, только не солдатом. А давайте себе представим, что вот эти откровения героев А. Гладилина довелось услышать человеку, у которого война выхватила из жизни два-три года, который к девятнадцати годам примерно пять лет проходил в «работягах», затем три-четыре года армии, затем... Затем жизнь у таких людей складывалась по-разному. Но таких людей «исповедальная» литература самодовольно игнорировала.

Итак, после окончания школы решается вопрос не только призвания, но и социального будущего, а заодно выявляются и гражданские намерения выпускников. Естественно, нельзя усматривать в желании получить высшее образование что-то заведомо предосудительное. Нравственную оценку этого желания дает ответ на вопрос: «Ты получаешь высшее образова-

ние во имя того, чтобы кем-то стать или только во имя того, чтобы кем-то не стать?» Социальный анализ как раз нам и поможет проследить пути формирования общественных типов, сложившихся в недрах нашего поколения.

4

Здесь у нас пойдет разговор о герое «исповедальной» прозы, и нам будет очень важно выяснить не то, каким хотел казаться герой, а каким он был на самом деле, каковы были его нравственные позиции и социальные намерения.

Но сначала послушаем «исповедальные» признания Ф. Кузнецова и посмотрим, насколько они верны. «Наши голубые, безмятежные при всей трудности жизни, такие правильные и ясные убеждения, — констатирует критик, — свидетельствовали о том, что мы умели верить, *но не всегда умели думать*». Или еще: «Авторы ее принадлежали к тому же поколению, только-только начинавшему обретать зрелость, им так же мучительно *не хватало умения мыслить, они так же были слабы в синтезе*, как и их герои» (разрядка моя. — *А. Л.*).

По Ф. Кузнецову выходит, что «четвертому поколению» свойственно было неумение мыслить. Здесь критик, кажется, допускает ненужную щедрость, слишком расширительно распространяя важный признак какой-то части поколения на поколение во всем его объеме. А я, например, отваживаюсь утверждать, что гражданская зрелость и способность мыслить — это не поветрие, а способность конкретного индивидуума; и вообще никогда не было времен сплошных дураков, как никогда не было времен сплошных умников. Правда, бывают времена, когда дураку легче сойти за умника, но это уже особый разговор.

В этой же связи меня очень озадачило и такое заявление Ф. Кузнецова: «Общественное потрясение, пережитое всеми в 1956 году, разбудило мысль. И в первую очередь мысль молодых». Стало быть, если уж «мы» не умели мыслить, то остальные и подавно. А я, например, до сих пор и не предполагал, что Михаила Шолохова или Леонида Леонова «разбудила» клокочущая мысль Гладилина или Аксенова. Вот уж действительно до чего не доведет святая простота! Правда, мне и до сих пор не ясно, почему же стал возможен «пятьдесят шестой год», если до этого самого года у нас никто не умел мыслить. Признаюсь честно, я не умею отвечать на такие вопросы. Феликс Кузнецов, вот он умеет, ему, как говорилось в ста-

рину, и карты в руки, а мы пока продолжим разговор о своем поколении.

Итак, Ф. Кузнецов уверяет нас, что, дескать, мысль у молодых проснулась только в 1956 году. Я согласен, у кого-то она шевельнулась именно в то время. Что касается других, то они мыслили и прежде. Сошлюсь хотя бы на такой пример. Писатель Георгий Владимов, типичнейший представитель «четвертого поколения», вошел в литературу как критик и только к тридцати годам написал первую повесть («неисповедальную»). Но возьмите хотя бы его статью «К спору о Ведерникове», опубликованную журналом «Театр» в 1954 году, и вы убедитесь, что способность мыслить — это совсем не поветрие. Я специально рекомендую эту статью Г. Владимова, так как она была опубликована за два года до того рубежа, от которого Ф. Кузнецов ведет родословную наших умственных движений.

Или напомню другого критика тех лет — Марка Щеглова, умершего в 1956 году. При любом отношении к его критическим статьям как-то не поворачивается язык сказать, что он не был способен мыслить. Примеры можно множить. Но вернемся к Г. Владимову.

В 1961 году он опубликовал свою повесть «Большая руда»; были на нее и рецензии, причем в основном положительные. Его имя стало иногда мелькать в «обойме». Если бы Ф. Кузнецов искренне помышлял о «рачительном и вдумчивом» отношении к молодой прозе, то он еще в 1961 году, а не в 1966-м объявил бы о «кончине» так называемой «исповедальной» прозы. Но не предполагал ли тогда уважаемый критик, что М. Щеглова забудут, что Г. Владимов, вероятно, случайность и что все обойдется? Нет, не обошлось. Тут-то и заволновался Ф. Кузнецов. Нужен был какой-то ход, необычайный ход. И вот Ф. Кузнецов начинает выводить творчество Белова и Владимова из литературных опытов Гладилина и Аксенова. Небезынтересный факт: «исповедальная» проза всякий разговор о преемственности и традициях считала нелепостью, а сама, еще даже не созрев, полезла в «предшественники». Поистине задумали жать там, где никогда не сеяли.

Вы только послушайте внимательно Ф. Кузнецова: «Первозданная наивность, или, как определили критики, «инфантильность», ее (то есть «исповедальной» прозы. — *А. Л.*) героев сочеталась с мужественной попыткой не только героев, но и авторов с ходу разрешить сложнейшие проблемы человеческого духа: в чем смысл жизни, добра и зла, человеческой совести? Это был пафос постижения личной нравственности с азов,

и эти азы оказывались необъятными глыбами духовных ценностей. Это был пафос первооткрытия элементарного, а элементарное оборачивалось сложнейшими проблемами человеческого духа, над которыми века и века бились великие...»

Видели как? Великие бились, бились — у великих ничего не получилось. Пришли Подгурские и начали «сложнейшие проблемы человеческого духа» поднимать с азов.

Но зачем же с азов? Разве великие так уж ничего и не сделали? И зачем же «с ходу»?

Сделав небольшую уступку («мы не умели думать»), «исповедальные» герои переходят в решительное наступление, безосновательно претендуя на особую роль в общественной жизни. Они выдают себя за страшных новаторов, самоуверенно принимают самые неестественные позы с небескорыстной целью ошеломить всех новизной и оригинальностью. Прикинув еще на школьной скамье или на первых курсах вуза, какие льготы сулит им эта новая роль, они решили биться за нее не на шутку. Вот тут-то и начинаются страдания новоявленных Вертеров. Безусловно, свои истинные намерения они ловко закамуфлировали, придали своим «страданиям» видимость мировой скорби, дабы возбудить к себе общественный интерес. И Ф. Кузнецов уговаривает нас принять весь этот маскарад за чистую монету.

В стремлении «исповедального» героя приписать себе особые заслуги сквозит откровенная тенденция к элитарности, возникшая из острого и, увы, необоснованного ощущения собственной исключительности. И именно теперь, кажется, настала очередь поговорить о самом герое.

В повести А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского» есть такое свидетельство: «И то положение, что в вузы попадают только самые лучшие, дошло не сразу. До этого времени, особенно в крупных городах, считалось чуть ли не позором, если десятиклассник не шел в институт. А из самих же институтов в эти годы исключалось до одной трети студентов за систематическое упорное ничегонеделание. Выгнанные не падали духом: «Поступим в другой, мы все равно нужны». Поэтому в 1953 году большинство восприняло свою неудачу как трагедию».

Мы, помнится, договорились: к «четвертому поколению» относить тех, у кого было «трудное военное детство». Под это определение уже не подходят выпускники школ 1953 года и последующих лет, у них разве что было «трудное военное младенчество». Чтобы как-то избежать путаницы, рискнем назы-

вать последних ну хотя бы «поколением 1953 года», не распространяя этот термин дальше настоящей статьи.

Почему же «трагедия» случилась именно в «пятьдесят третьем году»? Да потому, что школу окончили как раз те, кто поступил в нее в «сорок третьем» и кому не приходилось прерывать учебу. Теперь возобладал принцип «конкурсного отбора» («в вузы попадают самые лучшие»). А все выпускники школ уже унаследовали убеждение: после десятилетки дорога прямиком лежит в институт. Откуда взялось такое убеждение? Его дал опыт предшествующего поколения.

Выпускники «пятьдесят третьего года», включая и «троечников», уже предвкушали тот миг, когда они без труда перешагнут порог вуза и станут членами «интеллектуальной» элиты; мысль, что «они все равно нужны», ни на минуту их не покидала. Однако оказалось, что теперь нужны самые способные, и «троечники» растерялись, а потом рассердились, но мысли об элите не оставили.

И вот этих-то героев Ф. Кузнецов в порыве бурного умиления называет то «юными борцами», то «активными, общественно значимыми, думающими личностями», сводя весь анализ к субъективным эмоционально-нравственным оценкам. Уместнее все же рассмотреть этих героев в социально-историческом плане, а затем уже переходить к эмоционально-нравственным восторгам, если только останется такое желание.

...1953 год. Страна еще не залечила всех ран минувшей войны. Подгурский и ему подобные оканчивают в это время среднюю школу. А кем, к примеру, хочет стать Подгурский? Он желает быть студентом. А конкретнее? Конкретнее ничего не получится.

«...Дождь исчез. И он увидел себя в майский солнечный день впервые остановившимся перед этой афишей. Вот он спорит с одноклассниками, какой институт лучше». Обратите внимание, не какая профессия лучше, а какой институт. Подгурский выбрал Московский авиационно-технологический. Думаете, он всю жизнь бредил профессией инженера-авиастроителя? Ничего подобного. Название института понравилось... Подгурский в институт не попал: срезался на вступительных экзаменах.

Скажите, ну, а если бы «помехой» были бы не экзамены, если бы просто какого-нибудь специалиста (врача, инженера и т. д.) спросили: «Хочешь иметь такого ученика, продолжателя твоего дела?» Навряд ли кто дал бы утвердительный ответ. На чем же тогда основаны притязания Подгурских? Чем их при-

влекают вузы? Нет, тут и речи не может быть о призвании. Героев заботит их социальное будущее — и только. Вуз — значит, ты уже не рабочий, и не крестьянин, и не солдат, остальное неважно. А на каком основании? Это тоже неважно.

Подгурские миллионов не имели, жили они в той стране, где в определенном возрасте требуется четкое социальное самоопределение. В элиту «интеллектуалов» они не попали, теперь им предстояло сделать выбор между рабочим классом и классом крестьян. Но именно эта альтернатива их и напугала. Они не повторили судьбу своих предшественников, они предстали перед принципом «конкурсного отбора» («в вузы попадают самые лучшие»), и их «голубые параллели» неожиданно были разбиты вдребезги.

Так «четвертое поколение» дало общественный тип, который в своей элитарной тенденции нашел последователей в «поколении 1953 года», причем речь идет только об одной и притом наименьшей части того и другого поколения.

5

На время оставим Виктора Подгурского и вернемся к его предшественникам, которые пришли в аудитории институтов и университетов в конце 40-х — начале 50-х годов, не научившись думать, но зато-де крепко веруя. Ф. Кузнецов (по его же собственному свидетельству), как и герои романа В. Рослякова «От весны и до весны», учился в то время на отделении журналистики филологического факультета МГУ. И тут позволительно спросить уважаемого критика: неужели до будущих журналистов никоим образом не докатились различного рода «мероприятия», столь широкой волной захватившие другие факультеты МГУ?

Юридический факультет, скажем, не мог отнестись безразлично к теории Вышинского «о презумпции виновности в пролетарском государстве». Биологи были хорошо наслышаны об августовской сессии ВАСХНИЛ. Физиков обязали не признавать кибернетику и т. д. Неужели все эти «мероприятия» не наводили ни на какие мысли? Неужели никто не думал? А может, боялись думать? Может быть. Только здесь не нужно злоупотреблять словом «все». Кто-то не думал. Кто-то боялся думать, но думал. Кто-то просто думал. А кто-то просто боялся. Верно и то, что в это время кое-кто занимался строительством «голубых параллелей». Но и здесь следует оговориться: занимались столь безмятежным делом тоже не все.

Теперь, кажется, начинаешь понимать, почему Ф. Кузнецов сочинил теорию о «бездумных временах». Действительно, герой, о котором идет разговор, порой веровал до самозабвения. Верил сильнее всех. Но... не бескорыстно. Дело в том, что из числа других его выдвигала, делала «исключительным» особая вера — та, что сулила добрую перспективу служебного преуспеяния. А это для него было уже немало.

Кому-то может показаться оскорбительным столь нелестный вывод о герое, который привык показываться на люди в очень гордой позе. Но вспомните, как безжалостен он был не только к поколению «отцов», но и к своим братьям и сестрам, по судьбам которых война прошлась со всей беспощадностью.

Однако пойдем дальше. 1956 год. Двадцатый съезд партии. Борьба с культом личности и его последствиями. Наш герой сразу же переориентировался и с какой-то мстительной ожесточенностью стал открещиваться от прежней своей «веры». Он понял: слепая вера обесценилась — и бросился осуждать всех и вся. Ф. Кузнецов счел этот маневр за признак особого ума, за некую исключительность. А вот А.С. Пушкин сто с лишним лет назад заметил: «Глупость осуждения не столь заметна, как глупая хвала...» И лично я склонен думать, что герою «исповедальной» прозы только показалось, что он начал думать, а на самом деле от неумения мыслить он перешел именно к «глупости осуждения».

Итак, для героя «исповедальной» прозы прежде «символом веры» была бездумная вера, теперь для него наступило время бездумного неверия. Раньше он идеализировал «голубые параллели», теперь стал идеализировать отсутствие идеалов. И снова поторопился продемонстрировать свою исключительность, но только на другой основе. Во всяком случае, терять своих позиций он не собирался.

Летом 1966 года был опубликован роман В. Рослякова «От весны до весны». «Мне трудно говорить об этом произведении с позиции критика, — трепетно признается Ф. Кузнецов, — когда знаешь каждый прототип романа, когда видишь в произведении в первую очередь свидетельство очевидца о событиях, которые и тебя касались кровно». Что ж, это недурно, когда и писатель, и критик лично знают предмет, о котором взялись судить. В достоверности описываемых событий уже нет оснований сомневаться. Но диву даешься, когда видишь, какая горечь и тоска сквозят в словах критика при воспоминании о несвершившихся сомнительных мечтах своей юности:

«Критический огонь собрания был направлен прежде всего против бездарных преподавателей, против «демагогии, лицемерия и фальши» на своем родном факультете.

Недовольство студентов положением дел на факультете было справедливым, и их требования, казалось бы, практически выражали дух нового времени — тем труднее юным борцам было понять и осмыслить последующее развитие событий. Тот самый декан и те самые преподаватели, чья творческая несостоятельность и несоответствие духу времени не вызывали у них сомнений, не только остались на местах, но и дали «соответствующую квалификацию» своим беспокойным воспитанникам...»

Возникает вопрос: а судьи кто? Нет, Ф. Кузнецов и сейчас «не осмыслил последующее развитие событий», а «дух нового времени» понимает весьма своеобразно.

Но допустим, мечты наших героев осуществляются: герои В. Рослякова изгоняют из университета (не «остались на местах») декана и неугодных им преподавателей. «Юные борцы», восстанавливая справедливость, под свист и улюлюканье (лиха беда — начало) выдворяют их из аудитории. Потом... А не с того ли начинали и «юные борцы» одного из сопредельных государств, которые потом попросту стали называться хлестким, словно бич, словом хунвэйбины?

Нет, я вовсе не собираюсь оправдывать Лобачевых и Таковых. XX съезд партии вынес им свой исторический приговор. Но я против того, чтобы роль Фемиды представлялась первому, ее возжелавшему; я против того, чтобы, осуждая одну несправедливость, воздвигали другую. Мне тоже несколько известны студенческие нравы тех лет, и здесь энтузиазм умиления порой уступает у меня место другим, более критичным чувствам: ведь в период проведения различных «мероприятий», о которых я уже говорил, иные преспокойно и самозабвенно строили «голубые параллели».

Появление «нового характера» Ф. Кузнецов связывает с 1956 годом, то есть с XX съездом партии. Он так и пишет: «Решение съезда разбудило в них революционное юношеское нетерпение выкорчевать зло немедленно, исправить все ошибки сразу». По мнению критика, герой «исповедальной» прозы «в потенции характер глубокий, цельный, непримиримый, щедро открывшийся новому времени. Характер с идейным стержнем, заложенным всем предшествующим воспитанием, но получивший свою первую закалку в бурный, противоречивый 1956 год».

Теперь сопоставим некоторые положения. С одной стороны, утверждалось: герой «исповедальной» прозы рожден XX съездом партии; с другой — «исповедальная» проза началась с повести А. Гладилина «Хроника времен Виктора Подгурского».

Ф. Кузнецов, видимо, уверен, что ни у кого не хватит терпения перечитать, скажем, гладилинскую «Хронику...», где черным по белому засвидетельствовано: «Поэтому в 1953 году большинство восприняло свою неудачу как трагедию». Итак, оказывается, Подгурские-то появились в 1953 году, а не в 1956-м.

А как же тогда быть с уверениями критика о том, что герой «исповедальной» прозы есть «первая реакция молодых» на «общественное потрясение, пережитое всеми в 1956 году»? А может, Подгурские на несколько лет предвосхитили решения XX съезда? Может, они-то и дали нам «пятьдесят шестой год»? Но это что-то никак не вяжется с обликом бездумных мечтателей о «бесконечных голубых параллелях».

6

Для некоторых слова «свобода», «мятеж», «бунт», «революция» и производные от них стали фетишем. Но не существует абстрактной свободы, как не существует абстрактной революции или мятежа. Без социально-исторического наполнения эти слова приобретают слишком неопределенное звучание, чтобы при их содействии можно было бы объективно охарактеризовать какие-то серьезные явления нашей действительности.

Иным критикам казалось, что безотчетная тяга героев «исповедальных» повестей к вояжам в Сибирь или к берегам Прибалтики есть не что иное, как безудержное стремление к свободе, к самостоятельности. Очень может быть, но вот только подобная охота к перемене мест еще более неуемно проявлялась, скажем, у босяков — героев раннего творчества М. Горького.

«...В босяки бы лучше уйти... Там хоть голодно, да свободно — иди куда хочешь! Шагай по всей земле!» («Супруги Орловы»).

«Долго не стой на одном месте, — советует Макар Чудра, — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее... А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает» («Макар Чудра»).

Но не только тяга к «путешествиям» сближает горьковских босяков и героев «исповедальной» прозы. Они поразительно единодушны и в своей активной неприязни к трудовому народу.

«Я, видишь ты, всех мужиков не люблю... сволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба дают и — все! У них вон есть земство, и оно все для них делает... Хозяйство у них, земля, скот...» — злопыхает Сережка («Мальва»).

А припомните знаменитый монолог Сатина: «...Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна — я, может быть, буду работать... да! Может быть!»

Вот это издевательское «может быть» свидетельствует об атрофии гражданских и классовых чувств у героев. И пусть нас не смущают слишком категоричные суждения о Сатине как о выразителе чаяний народных. Сам М. Горький, видя, как порой бездумно романтизируют его босяков, в статье «О пьесах» писал: «Сатин — дворянин, почтово-телеграфный чиновник, отбыл четыре года тюрьмы за убийство, алкоголик и скандалист...»

Конечно, причины, породившие горьковских босяков и героев «исповедальной» прозы, различны. К тому же если первые были выброшены жизнью на «дно», то перед вторыми, напротив, открывались все дороги, распахивались все двери. Но предубеждение к труду, особенно к «черному», на какое-то время ставило их в положение деклассированных элементов, разжигало в них далеко не лучшие чувства. Эгоцентризм и необоснованные претензии на исключительность как горьковских босяков, так и «исповедальных» героев позволяют уловить по меньшей мере психологическое сходство между ними, хотя, разумеется, здесь не может быть речи о полном тождестве.

Эгоцентризм «исповедального» героя вынужден признать даже Ф. Кузнецов, хотя он делает это скорее только для видимости. Он произвольно пристегивает к слову «эгоцентризм» эпитет «полемический» и сразу же превращает первое понятие почти в его противоположность. Или вот еще: «...средоточие внимания на собственной личности». Значит, эгоизм? Не будем торопиться, ведь через запятую дальше пойдет: «...на проблемах личной нравственности». Это уже что-то наподобие толстовского «нравственного самоусовершенствования», только малость посложнее. Теперь можно признаваться и в эгоцентризме, поскольку толком не поймешь, но догадаешься: сие есть что-то исключительное и очень симпатичное.

Но нам не нужны никакие эффекты, в том числе и литературные. Явление «исповедального» героя не так уж и безобидно, как может показаться на первый взгляд. Только поняв общественную сущность и психологию этого героя, можно объяснить появление в нашей жизни различного рода молодых тунеядцев и других деклассированных элементов. И незачем нам лакировать героя, разъедаемого откровенным эгоцентризмом, и незачем это понятие затуманивать амортизирующими эпитетами. Ясно одно: «исповедальный» герой вовсе не «плоть от плоти нашего общества» и тем более не «квинтэссенция нравственных основ его». Раскрой социальное инкогнито этого героя, которое всеми правдами и неправдами старается сохранить Ф. Кузнецов, и перед нами предстанет психологический тип, лишенный социальных связей с трудовыми классами, демонстрирующий нам то приступы острого нигилизма, то не менее острые приступы бездумной веры, оставаясь при этом совершенно невосприимчивым к гражданским и патриотическим чувствам своих современников.

Лев Толстой в последние годы своей жизни пришел к такой системе определения человеческих характеров: «Люди живут своими мыслями, чужими мыслями, своими чувствами, чужими чувствами (то есть понимать чужие чувства, руководствоваться ими). Есть люди, не имеющие почти никаких, ни своих, ни чужих мыслей, ни своих чувств и живущие только чужими чувствами; это самоотверженные дурачки, святые. Есть люди, живущие только своими чувствами, — это звери. Есть люди, живущие только своими мыслями, — это мудрецы, пророки; есть — живущие только чужими мыслями, — это ученые глупцы. Из различных перестановок по силе этих свойств — вся сложная музыка характеров».

Теперь прикинем нашего «исповедального» героя на эти своеобразные «весы» человеческих характеров и посмотрим, где же остановится стрелка. Мыслить он не умел — здесь у нас нет расхождений даже с Ф. Кузнецовым. Герой обостренно чувствовал — это факт. Чьими чувствами он был занят? Разумеется, своими (эгоцентризм, пусть даже и «полемический», «средоточие внимания на собственной личности» и т. д.). По Толстому, наш герой оказывается... зверем. Спорно? Возможно. Но спорна лишь степень, а не сущность. Во всяком случае, у нас есть и литературные свидетельства.

Возьмем повесть Георгия Садовникова «Суета сует». Главный ее герой, студент Лев Зуев, от лица которого ведется повествование, — духовный побратим «исповедального» героя.

Г. Садовников не пользуется никакими приписками и лакировкой, он показывает своего героя именно таким, каков он есть на самом деле, а не каким тот хочет казаться. Писатель позволяет заглянуть нам во «внутреннее подполье» героя, понять его антиобщественную сущность.

Зуев с виду «хороший» парень. Он ироничен, как и подобает быть современному молодому человеку, критически воспринимает действительность — тоже как и подобает быть молодому современнику. С первого взгляда Зуев даже коллективист. Но Г. Садовников не ограничивается «первым взглядом», он изучает логику развития своего героя, а эта логика приводит Зуева к предательству. Казалось, он делит со своим другом Кириллом Севостьяновым и невзгоды, и радости, но так только казалось. В трудную минуту Зуев предал Кирилла. А как же иначе? Ведь в общем-то Зуев жил только своими чувствами.

Ф. Кузнецов не включил в свой разговор о молодой прозе повесть Г. Садовникова. А жаль!

7

Мысль, что «исповедальная» проза в современной нашей литературе стоит особняком, я вовсе не собираюсь приписывать себе. В последние годы многие критики доказывали это. Особенно определенно высказался критик А. Макаров: «На какое-то время как бы даже две литературы образуются: одна для, так сказать, обыкновенных людей, другая — юношеская, молодежная, да не та поучительно-назидательная, что бывшими педагогами сочиняется, а свойская, саморожденная. И это будет литература спорная и спорящая». И дальше: «...пожалуй, именно с повести Аксенова все же начинается большой разговор, выделивший «молодежную тему» как бы в особую линию в литературе, и самый журнал «Юность» приобретает физиономию, отличную от других журналов».

Теперь воспользуемся той «выгодой», что дает критику «дистанция времени», и поговорим об «особой линии в литературе», об этой «саморожденной» прозе. Ведь до сих пор мы вели разговор о судьбе поколения, давшего нам эту прозу, о ее герое и почти не касались ее художественных достоинств. Не станем отбирать для анализа произведения, которые, по общему мнению, не являются лучшими: нас будут интересовать не издержки этой прозы, а, так сказать, образцы, в которых наиболее ярко отразились ее устойчивые эстетические признаки.

А. Макаров, говоря о повести В. Аксенова «Апельсины из Марокко», замечает: «Персонажи повести, хотя и принадлежали к различным слоям, все оказывались на одно лицо, и если бы автор любезно не сообщал перед каждой главой, кто получает слово, различить, кто говорит, было бы трудно даже профессору Хиггинсу».

Претензии серьезные и вполне обоснованные. Ну, какой же тут может быть разговор о художественных достоинствах? Но аксеновские повести критиковались уже достаточно. Другое дело — его рассказы. Именно в них Ф. Кузнецов находит подтверждение писательской зрелости В. Аксенова. Вот мы и ограничим свою задачу разговором о его рассказах.

Рассказ В. Аксенова «Завтраки 43-го года» критикой почти единодушно признается лучшим. Вот кратко его суть: в сорок третьем году «переросток» отнимает школьные завтраки у своих одноклассников. Спустя много лет один из пострадавших и человек, напоминающий того «переростка», случайно встречаются в поезде. Бывшие одноклассники идут в вагон-ресторан, за обедом, естественно, начинают вспоминать годы детства. Композиционно рассказ строится очень несложно, происходит почти механическое чередование кусков из прошлого и настоящего.

Правда, Ф. Светов видит в такой композиции нечто необычное: «В прошлом веке писатели в таких случаях поступали просто: на десятках страниц пространно излагали биографии героев. Современные авторы тяготеют к более сложной композиции».

Ну, положим, в прошлом «биографии героев» тоже не всегда излагались на «десятках страниц». Но, думается, в интересах самой же «исповедальной» прозы лучше не сравнивать ее с произведениями минувшего века.

По справедливым словам А. Макарова, у В. Аксенова к моменту написания повести «была выработана манера письма, набита рука в приемах перекрестного внутреннего монолога, а вот писать оказалось не о чем». Критик фиксирует и еще одно обстоятельство: «В «Апельсинах из Марокко», впрочем, пожалуй, больше сказалось именно желание блеснуть формальной изощренностью».

Итак, В. Аксенов чуть ли не в дебюте попал в самое неприятное положение, когда «писать оказалось не о чем». С одной стороны, не о чем писать, а с другой — желание блеснуть формальной изощренностью. Разве не очевидна взаимосвязь двух этих состояний? Разумеется, «не о чем писать» пришло не от желания «блеснуть формальной изощренностью».

Конечно, писателю могут не удаваться повести или романы, а рассказы удаваться. Слишком много тому примеров, чтобы их приводить здесь. Но у писателя одновременно не может быть две эстетики: одна — для одного жанра, другая — для другого. Если писатель изощряется в повестях, потому как ему не о чем писать, то он так же будет изощряться и в рассказах. «Не о чем писать» одинаково скажется в любом жанре.

А может быть, рассказы В. Аксенова как раз то исключение, что призвано подтверждать правило? Не будем гадать на эту тему, лучше обратимся к самим рассказам.

8

«Я был тогда хил, ходил в телогрейке, огромных сапогах и темно-синих штанах, которые мне выделили по ордеру из американских подарков, — вспоминает герой рассказа «Завтраки 43-го года». — Штаны были жесткие, из чертовой кожи, но к тому времени я их уже износил, и на заду у меня красовались две круглые, как очки, заплаты из другой материи».

Какая яркая деталь: заплаты на штанах, как очки! Яркая и... фальшивая. Если автор вспомнит, когда к нам начали поступать американские подарки для населения и таким образом установит срок амортизации штанов из чертовой кожи, то ему станет очевидной нелепость разговора о заплатах на заду. Да, мальчишка мог порвать штаны и в один день, но вот как он умудрился их так быстро «износить»? В погоне за эффектом В. Аксенов поступился достоверностью «детали».

«На кухне я увидел его круглую голову на фоне сумеречного окна. Он сидел на горшке и что-то шептал, поднимая палец к окну, где начинали уже зажигаться огни дома напротив» (рассказ «Маленький Кит, лакировщик действительности»). Простая деталь: папа вошел в кухню — сын сидит на горшке. А как красиво: «круглая голова на фоне сумеречного окна»! Но дайте этому папе фотоаппарат и попросите запечатлеть сына в столь живописной позе. Для этого папе придется ползать по полу в поисках нужного ракурса или потребуется поставить горшок на стол, а на горшок взгромоздить сына — ради того, чтобы «круглая голова» оказалась «на фоне сумеречного окна». Правда, тут возможен еще один вариант: у Кита на этот случай должна была вытянуться шея, как у годовалого жирафа.

И это уже эстетический принцип: не видеть, а выдумывать, из «ничего» делать «чего». Только бы эффектно!

Но, может быть, В. Аксенов остается верен правде более значимой, чем правда детали? Не хватило художественного вкуса, погнался за красивостями—и в результате такие накладки. Вернемся опять к рассказу «Завтраки 43-го года». Герой, вспоминая свое невеселое детство, рассуждает: «Конечно, мы могли бы объединиться и сообща им «отоварить», но школьный кодекс говорил, что драться можно только один на один и до первой крови. В силу своей мальчишеской логики мы не понимали, как это можно бить того, кто явно слабее, или втроем бить одного, или всем классом бить троих».

Ох, как же густо пахнуло здесь теми произведениями, что пишутся «бывшими педагогами»! В представлении «бывших педагогов» и героя рассказа было именно так, а в жизни было совсем по-другому. Все эти романтические «кодексы» — сплошная выдумка. На самом-то деле класс трепетал перед такими переростками, боялся их, вернее, даже не их, а тех, кто стоял за ними. Порой даже не «переросток», а плюгавенький мальчишка терроризировал целый класс, потому что у того была репутация: у него-де есть «ребята». А эти «ребята» были вне школы, они давно уже занимались не только отбиранием булочек. И вопрос становления личности в таких обстоятельствах был куда более сложным и трудным, чем в подлакированных аксеновских воспоминаниях о детстве.

Но, может быть, на фоне этих фальшивых деталей и несправедливо отображенной жизни ярко выступают характеры? Кто-то, по-моему, даже что-то писал на эту тему. Однако характеры — самое узкое место писателя.

В литературе принято оценивать не авторские намерения, а авторские свершения, то есть не то, что хотел сказать автор, а то, что он высказал. Последуем этому золотому правилу.

Кто такой Он в рассказе В. Аксенова? У критика Ф. Светова о Нем сложилось такое мнение: «Автор встречает в этом рассказе человека, антипатичного ему с первого же взгляда, встречает мерзавца, которого он разглядел за вполне респектабельной современной внешностью, холодным умом, спокойствием, за, так сказать, профессиональным умением организовать собственную жизнь». Но есть ли для такой характеристики героя, именуемого Он, материал в самом рассказе? Такого материала нет.

Кто же такой Он? Никто. Фикция. Нереальность. Если человек в четвертом классе просидел три года, так скажите на милость, откуда у него «холодный ум», титаническая выдержка, респектабельная внешность и умение вести «светский»

разговор? Такие, как «переросток», вряд ли получали образование сверх начального. Они или шли по дорожкам, которые приводят в места отдаленные, или быстро успокаивались и приобщались к общеполезному физическому труду. В. Аксенов никак не может понять, что в одном отрицательном герое могут совместиться далеко не все отрицательные черты. И здесь, чтобы не попадать впросак, необходимо понимать логику человеческих характеров, с которой В. Аксенов явно не в ладу.

В этом отношении еще более показателен другой аксеновский герой — дядя Митя из рассказа «Товарищ Красивый Фуражкин», сведения о котором автор скорее всего почерпнул из фельетона местной газеты.

Живет некий лихой таксист дядя Митя. Деньгу зашибить он умеет. Как говорится, мужик не промах, своего не упустит. Дядя Митя отгрохал себе домик, сдает его курортникам — словом, перед нами стяжатель. Ну, если и не характер стяжателя, то, во всяком случае, что-то в этом роде наметилось. И вдруг мотив из совершенно другой оперы: «Дядя Митя, конечно, твердо знал, что жена Александра ему не изменяет и даже в мыслях не держит этого греха, но все-таки на всякий случай всегда вот так кашлял, топтался и шумел, прежде чем войти в дом, предупреждал, в общем, о своем приходе, чтобы не было неожиданных сюрпризов. Зачем лишние скандалы в доме?»

Да такой дядя Митя, который тягался чуть ли не со всем крымским ГАИ, любому «ухажеру» просто отвинтил бы голову. Как же В. Аксенов не понимает, что дядя Митя весь свой «дом» строил вокруг жены и она была его главной собственностью, стержнем всего его хозяйства? И потому дядя Митя не станет покашливать у собственных дверей, в случае «сюрприза» он без промедления свернул бы шею кому угодно. В этом можно не сомневаться.

Но на этом прекрасные превращения дяди Мити не кончаются. В финале рассказа он мечтает уже о Стамбуле, Париже и Риме. Крымских дорог оказалось ему маловато, теперь дяде Мите нужен уже весь земной шар. Вот до каких чудес можно договориться, когда ничего не ведаешь о логике характеров. Дяде Мите поизбавиться бы от местных «гаишников», а на Стамбул и Париж он плевать хотел. Ведь он всего-навсего заурядный таксист, а не «акула империализма» и даже не валютчик, для которого Парижи и Стамбулы суть не только географические названия.

Аксеновские характеры порой очень напоминают детские разрезные книжечки. Нарисована, скажем, на страничке корова, перевернул верхнюю часть странички, смотришь, а корова только наполовину корова, а наполовину уже серый волк. Вот так же и характеры у В. Аксенова: наполовину какой-нибудь Ротшильд, наполовину серый, как валенок, тупоголовый кретин, а наполовину уже тонкий и умный карьерист.

Правда, в рассказах В. Аксенова все же есть один довольно целостный характер — это герой-рассказчик из «Завтраков 43-го года» и его двойник из «Катапульты».

Детство этого героя пришлось на войну, и память навечно сохранила ему невеселые эпизоды тех далеких лет. Нет, мы, конечно, не были безразличными к школьным завтракам. Можно было заплакать и из-за отнятой булочки, но радости жизни мы все же не замыкали на них, на этих булочках. Да, мы боялись потерять булочку, но были у нас, к сожалению, и другие страхи: потерять отца, брата, сестру... Герой же В. Аксенова, видимо, больше всего на свете боялся потерять булочку или что-нибудь в этом роде. Так, о своей сестре-фронтовичке он вспоминает только в связи с отнятой у него трофейной авторучкой. На все иные воспоминания приходится одна только строчка, и та неуместно ироническая: «В сером темнеющем небе над липами кружили грачи. За забором шли военные девушки. И пока за туманами виден был паренек, на окошке у девушки все горел огонек. Чем питаются грачи?..» И дальше опять проблема питания, решаемая через грачей.

Такие люди обычно не любят своего детства, порой даже ненавидят его. Другое дело — взрослость. Тут уж «моя милиция меня бережет», тут уж никто не отнимет булочку, никто не ударит, не обругает. В детстве свою честь и независимость приходится чаще всего отстаивать самому, у взрослых же на то есть еще и законы и милиция. Взрослым быть хорошо — тебя защитят. Важно только знать свои права.

И вот наступила взрослость. Герой едет в поезде. Он не замечает ни пейзажей, ни людей, зато как вдохновенно он воспринимает солянку: «Тяжелую лучистую поверхность солянки тревожила равномерная вагонная тряска. Янтарные капли жира дрожали, собирались вокруг маленьких кусочков сосиски, плававших на поверхности, а в глубинах этого варева таилось черт-те что — кусочки ветчины, и огурцы, и кусочки куриного мяса».

По-моему, во всей нашей великой и невеликой литературе нет равного описания сборной солянки...

Наш герой знает свои права, теперь у него солянку не отберешь, но... ему этого уже мало. «Тут меня охватила такая неслыханная злоба, что... Ах, ты гурман! Ты гурман. Ты знаешь толк в еде и в винах, наверное, и в женщинах, должно быть».

Видите, героя охватила «неслыханная злоба», потому как у него вроде бы отняли единоличное право как-то по-особенному наслаждаться едой и вином. Но вообще-то теперь потребности героя возросли и усложнились (теперь его аппетит булочкой не удовлетворишь!). И вот представьте себе, что кто-то встанет на пути его материального процветания, — сметет! И пыли не останется.

Помните, у героя в детстве отняли авторучку, но он, однако, и через двадцать лет не забыл понесенного в детстве ущерба. («А ручку мою ты по-прежнему носишь в кармане?») Значит, не только в голоде было дело (авторучку-то не съешь!). И, значит, не случайно герой вцепился навечно памятью в свое маленькое *мое!*

Так в чем же дело? Почему столь велика оказалась дистанция между возможными намерениями автора и тем, что он вынес на читательский суд? Но прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся хотя бы еще к одному рассказу В. Аксенова, чтобы не создалось у читателя впечатления, будто рассказ «Завтраки 43-го года» — просто-напросто неудачное исключение.

Обратимся хотя бы к широко известному рассказу В. Аксенова «Катапульта», получившему одобрение со стороны нашей критики. Так, Ф. Светов в рассказах «Папа, сложи!», «На полпути к Луне», «Катапульта» усматривает стремление автора дать «нравственную опору» «своему инфантильному, внутренне неустроенному герою». Против столь похвального стремления возражать не следует. А вот о «нравственной опоре» поговорить стоит.

В «Завтраках 43-го года» рассказчика охватила «неслыханная злоба», поскольку его сосед по купе тоже знал толк в вине и еде. В «Катапульте» героя раздражает то, что летчики обратили внимание (знают же толк в женщинах) на официантку Зину, на которую он и его старший Друг тоже засмотрелись. Аксеновские герои вовсе не собираются пересматривать свою жизнь, напротив, они ищут новых аргументов в пользу своих житейских принципов. Любое соперничество (если это даже касается еды или вина) они рассматривают как покушение на их исключительные права.

Так, герой «Катапульты», почувствовав превосходство летчиков (они в жизни катапультировались, а он нет), дейст-

вительно терзается и терзается потому, что чувствует над собой чье-то превосходство. На помощь ему приходит довольно сомнительная философия: «На немыслимой высоте, *на сверхразумной* скорости проходили военные машины. Трудно было представить, что там люди, а они там были. Парни в длинных трусах, ультрасовременные люди крестьянского происхождения. Весь свист и рев раздираемого пространства обрушился на меня. Человек мечтал когда-то уподобиться птице, а превратился в реактивный *снаряд*. Смертельная опасность, собранная в каждый километр, а километр — это только подумать о маме. Прекрасен пущенный в небо серебристый снаряд и человек, находящийся в нем. Человек взял в руки машину и *перенял ее смелость*, ибо что же тогда такое катапультирование, как не *общая смелость человека и машины*?» (Курсив мой. — *А. Л.*)

Итак, скорость — не сверхзвуковая, а сверхразумная (это почти то же, что неразумная). Летчик не человек-птица, а всего лишь снаряд, даже придаток снаряда. Смелость не воспитанная, а перенятая у машины, стало быть, механическая смелость. Катапультирование—это уже «общая смелость человека и машины».

И дальше о смелости: «Это та же смелость, что смелость *сопла*, изрыгающего огонь, и смелость несущих плоскостей». Стало быть, эта смелость бездумна и, главное, бездушна, как сопло или несущая плоскость.

Но у человека остается еще трусость или боязнь. Пожалуйста, герой и тут имеет свои взгляды: «И ни минуты на *мысль*, ни секунды на *трусость*. Нажимайте то, что надо нажать, проигрыш или выигрыш — это будет видно внизу. Смелость, естественная, как дыхание, потому что там, на большой высоте, не быть смелым — это все равно, что прекратить дышать» (курсив мой. — *А. Л.*).

Видите, на трусость просто не остается времени, причем так же, как и на мысль. Там, на высоте, человек не осознает себя, он просто нажимает на кнопки. Значит, для летчика или космонавта смелость — категория не духовная, а физиологическая (как, например, дыхание).

«А на земле другие законы, — продолжает размышлять герой. — Например, когда ты стоишь перед человеком, которому хочется плюнуть в лицо. Ты знаешь, что он заслужил добрый плевок в переносицу, и все в тебе дрожит от желания плюнуть. Конечно, это риск, но риск-то дерьмовый по сравнению с катапультированием на большой высоте». Все кажет-

ся правильным, все кажется верным, если бы дальше не шла такая оговорка: «И ты понимаешь это, но можно плюнуть, а можно и не плюнуть...»

Видите, в чем дело? Там, на высоте, нет выбора, а здесь, на земле, выбор есть: «можно плюнуть, а можно и не плюнуть». А вот еще рассуждения этого героя на ту же тему: «Это как прыжок с парашютной вышки. Можно прыгнуть, а можно в последний момент сказать, чтобы тебя отвязали. И стушеваться, тихо спуститься по лестнице. Внизу этого могут даже не заметить, потому что толчея, а вокруг и других аттракционов полно».

Совершенно справедливо: с парашютной вышки можно спуститься и по лестнице, — из космического корабля, «стушевавшись», не выйдешь и не вернешься к себе домой. В первом случае действительно выбор есть, а во втором нет. Но тут и герой рассказа, и автор упускают два момента.

Мне никогда не приходилось катапультироваться, и я в точности не знаю, нужна ли для этого «смелость сопла» или какие другие качества. Тут я полностью полагаюсь на авторитет В. Аксенова. Но я совершенно убежден, что тот, кто сейчас катапультируется, в свое время не спустился с парашютной вышки по лестнице, не забирал обратно заявление из аэроклуба, а потом из летного училища, не бросал штурвал учебной машины, когда за спиной сидел инструктор, в кабине которого было дублирующее управление, то есть, прежде чем сесть в «серебристый снаряд», перед ним сотни раз стоял выбор: струсить или не струсить. Он никогда не трусил, вернее, всегда побеждал в себе чувство страха. Прежде чем сесть в «серебристый снаряд», он все предшествующие этому моменту годы воспитывал в себе смелость.

И второе. Возможно, у летчика не остается времени на трусость и на мысли. Я готов допустить даже такое. И все-таки эта смелость не есть «смелость сопла». Ведь сопло, «изрыгающее огонь», когда оно его не изрыгает, не в состоянии пережить страх задним числом.

Герой «Катапульты» уверен, что думающий человек не может быть смелым. Ему не дано понять, что страхи могут быть у человека вчерашние и завтрашние. Представьте себе летчика, который на третий или пятый день свадьбы подходит к «серебристому снаряду». Или представьте себе того же летчика, возвращающегося через несколько часов домой. Неужели и здесь он не будет отличаться от сопла?!

Если сопло все-таки сгорит, то сгорит именно сопло. Если сгорит летчик, то сгорит не только летчик. Сгорит чей-то сын,

отец, брат, муж, друг, просто человек. Сопло не имеет духовной сопричастности к жизни, летчик имеет. В этом все дело.

Но герой наш слишком низко развит, чтобы понять чужие чувства и мысли. Он знай себе потихонечку сочиняет: «Летчики стали прыгать в воду, вернее, падать в нее. Они прыгали «солдатиком», ногами вниз, очень неумело и смешно». Очень неумело и смешно герой сочиняет небылицы. Человеку, который сотни раз прыгал с парашютом и десятки раз катапультировался, прыгать с пяти-семи метров все равно, что соскочить с лестничной ступеньки. И дальше: «Вынырнув, они поплыли грубыми саженками, а то и «по-собачьи», отфыркиваясь и счастливо смеясь». Только вот напрасно счастливо отфыркивается и смеется герой. Человеку, который многократно опускался на воду в полном обмундировании, при оружии да еще с парашютом, вряд ли доступен только «собачий» стиль.

Конечно, сам В. Аксенов меньше всего предполагал, что его «исповедальные» герои сыграют с ним столь злую шутку. Он рассчитывал познакомить нас с симпатичными людьми — симпатичных людей не получилось; он надеялся раскрыть сложный внутренний мир героев — сложного внутреннего мира не получилось. Герои оказались людьми довольно примитивными и явно несимпатичными.

Я точно не знаю, что нужно подразумевать под «изощренностью формы», но мне сдается, что В. Аксенов пока еще не уловил элементарную связь формы с содержанием. Так, даже средней руки мастер никогда бы не стал писать рассказ «Завтраки 43-го года» (на том материале, на котором написан рассказ) от первого лица. Материал должен диктовать художнику форму, а в данном случае форма от первого лица была явно противопоказана. Все эти «вмятинки» на булочках и другие «детали» обернулись против героя-рассказчика, так как в рассказе от первого лица очень не безразлично, что сохранила память герою. Детализируй все эти подробности В. Аксенов от лица автора, герой выглядел бы уже иначе. И потому-то все эти булочки, трофейные авторучки, длинные синие трусы, в которые герой нарядил летчиков, ныряние «солдатиком», плавание «по-собачьи» в большей мере охарактеризовали героев-рассказчиков (далеко не с лучшей стороны), нежели тех, против кого они заготавливались.

В. Аксенов считается лидером «исповедальной» прозы, а его рассказы принято считать вершиной его творчества. Поэтому-то я и считал себя обязанным говорить именно о них.

9

Читая статьи об «исповедальной» прозе, невольно вспоминаешь многочисленные произведения, в которых главной фигурой был так называемый «трудный» ученик, приковывавший к себе все педагогические усилия учителей и школьной общественности. В классе учатся, скажем, тридцать очень разных мальчиков и девочек. Тридцать первый — «трудный» ученик. И вот все внимание ему, «трудному» ученику, а остальные как-то выпадают из поля зрения. До остальных как-то не доходят руки... Остальные неинтересны... Остальные не объект для приложения педагогических усилий...

«Трудный» ученик, почувствовав, что он становится главной фигурой, начинает мало-помалу даже «исправляться». Вот он списал у соседа диктант — ему ставят положительную оценку (так сказать, «стимулируют»), а себе внушают: «трудный» ученик начал работать (раньше-то он попросту прогуливал дни, когда писались контрольные). Прогресс!

Поднял «трудный» ученик пять раз руку во время урока, и, конечно, пять раз ему предоставили возможность высказаться (остальные зря в это время тянули вверх руки). «Трудный» ученик, надо полагать, выскажет «свои» мысли (о «чужих» мыслях он пока ничего не подозревает). И вот начинаются разговоры о самостоятельном мышлении «трудного» ученика. За активность ставят ему «четверку», и нет предела педагогическому ликованию.

Пришел «трудный» ученик собирать макулатуру (прежде он такие занятия, разумеется, игнорировал), по ходу действия два-три раза прикрикнул на своих товарищей — и вот уже обнаружены его незаурядные организаторские способности. И тут бросается главный педагогический козырь — «трудный» ученик ставится во главе коллектива. Теперь он староста класса с правами «вожака». Полная победа «гибкой» педагогической мысли! Да что там победа?! Триумф!

Ходят растерянными тридцать мальчиков и девочек. А тридцать первый, бывший «трудный» ученик, оказался самым легким, он, словно пробка, вылетает на самую поверхность.

Ходят, опустив очи долу, учителя-«консерваторы», которые в свое время пытались отстаивать единые критерии при оценке знаний, единые нормы поведения. Нелегко им, пристыженным и посрамленным. И, словно на крыльях, окончательно потеряв ощущение почвы под ногами, летают по длин-

ным школьным коридорам счастливые и гордые «новаторы» и «экспериментаторы».

Потом «трудный» ученик устает от всего этого педагогического флирта и в лучшем случае тихо покидает школу и приобщается к полезному труду. Правда, иногда «трудного» ученика дотягивают даже до «аттестата», трогательно прощаются с ним на выпускном балу...

Пролетают годы. С трудом что-то припоминают о тех, кто сегодня работает на заводах и фабриках, служит в рядах Советской Армии, зато хорошо помнят бывшего «трудного» ученика (между прочим, он так и остался очень средненьким человеком), любят его вспоминать, а вернее, даже не его, а свои лихие педагогические победы, свой былой педагогический успех.

Авторы «исповедальных» повестей оказались у нас в роли «трудных» учеников, а «исповедальная» критика — в роли педагогов-«новаторов». Не зная реальной жизни народа, не ведая истории своей Родины, даже игнорируя то и другое, авторы «исповедальной» литературы высказали ряд очень незрелых и неглубоких, но зато «своих» мыслей. И они тут же были зачислены в разряд мыслителей-пионеров, а вся их продукция объявлена «свойской», «саморожденной» литературой.

Как когда-то «трудный» ученик списывал у соседа диктант, так наши «молодые» «списали» у западного соседа его стиль и манеру. Это признает даже Ф. Светов. Признавать-то признает, только зачем-то выставляет за «списывание» необычайно высокий балл.

Прикрикнули наши «молодые» на всю литературу, что была до них, и вот их уже делают старостами от литературы, родоначальниками и основоположниками. И беда даже не в том, что кого-то незаслуженно обошли, а кого-то незаслуженно вознесли. Беда, что понизились эстетические критерии.

Заигрывание с «исповедальной» прозой приводит не только к притуплению, но порой и к полной потере эстетического вкуса. Вот рассказ В. Аксенова «Папа, сложи!». Я процитирую только то место, которое без каких бы то ни было оговорок цитировал в своей статье Ф. Светов.

«Там его молодость, которая прошла, как веселый, неимоверно высокий школьник, по тренировочным залам и стадионам, по партам и пивным, танцплощадкам, по подъездам, по поцелуям, по музыке в парке...»

Герой рассказа встретил на улице «удивительно высокого школьника» — и молодость предстала в образе школьника. Перед нами, так сказать, ассоциативный образ. Но дело

здесь даже не в грубом схематизме, а в элементарной стилистической неграмотности. Образ в виде школьника? Допустим. Можно, конечно, представить, как школьник (будучи образом) прошел по тренировочным залам и стадионам, по пивным (правда, в пивной образ школьника как-то теряет свою достоверность) и подъездам... Но попробуйте представить, как это школьник (будучи даже образом) прошел «по поцелуям» и «по музыке в парке»...

В «обыкновенной» литературе такое замечается уже на уровне внутренней рецензии, а вот для рассказов В. Аксенова другие требования, другие эстетические критерии (снова невольно вспоминается «трудный» ученик).

Я не воспроизвожу здесь диалог отца и сына на тему естественных отправлений из рассказа «Маленький Кит, лакировщик действительности». Мне кажется, такие вещи не следует повторять даже в цитатах.

В. Аксенов когда-то торжественно заверил всех: «Цель моей жизни — создать не схематическую конструкцию абстрактных положительных качеств, а такой характер, в реальность которого читатель безоговорочно поверил и которому он захотел бы подражать». Благое намерение!

«Трудный» ученик пообещал сделаться отличником. Никто не верит, что он уже отличник, но в то же время никто уже не верит, что он и неотличник. Все веруют в его намерения, страшно пугаясь, как бы он от них не отрекся, а потому, наверное, кое-кто эти намерения торопится выдать за свершения.

Передо мной книга рассказов В. Аксенова «На полпути к Луне». Откуда в них могут взяться характеры, когда весь материал о жизни почерпнут из анекдотов, сплетен и дорожных «бесед»! Из десяти рассказов шесть написаны на материале дорожных и курортных впечатлений. Восемь рассказов не что иное, как бытовые фельетоны и беллетризованные анекдоты. (Человек весь свой отпуск пролетал на самолете... Шофер-таксист пережепил всех «гаишников» на своих родичах... и т. д.)

Исключение в этом сборнике составляет рассказ «Дикой», но именно он особенно отчетливо демонстрирует беспомощность В. Аксенова как художника. Рассказ ведется от лица старого человека. Но искусство перевоплощения автору совершенно недоступно. Перед нами не рассказ старого человека, а литзапись молодого и бойкого журналиста, который забыл, что записывает-то он не себя.

А Ф. Кузнецов все не устает нас уговаривать: «Ходульному, обесчеловеченному характеру-функции, с его чисто внешни-

ми, формальными связями с миром, молодые противопоставили реальность, трепетную в своей неподдельной человечности, реальность самоосознания себя как частицы входившего в жизнь поколения». Другие в повестях и рассказах В. Аксенова видят «скрытую полемику со схемами, распространенными в литературе».

Действительно, были и противопоставления, была и полемика. Только в данном случае одним схемам активно противопоставлялись схемы другие, одни характеры-функции вытеснились другими характерами-функциями, полемика со схемами велась при помощи новых схем. Что же касается «трепетной реальности» и «неподдельной человечности», то тут Ф. Кузнецов явно не свободен от приписок. Вспомните эгоцентризм героя, его тенденцию к элитарности, игнорирование исторического опыта народа — и весь этот разговор о «неподдельной человечности» вызовет по меньшей мере недоумение.

Думается, что и сам термин-то «исповедальная» проза не раскрывает по-настоящему сущности этой литературы. А. Макаров, анализируя повесть «Апельсины из Марокко», обронил очень верное и точное замечание. «Самый сюжет повести, — писал он, — забавная гонка за привезенными апельсинами, заканчивающаяся веселым вечером, ну, конечно же, в ресторане, — скорее сюжет для милой оперетты».

Вот то-то и оно — сюжет для оперетты. И не только сюжет, но и вся эта литература с ее характерами-функциями, с ее ультрасовременными типажами, с надуманными конфликтами с поверхностностью и схематизмом есть литература «опереточная».

И плохо не то, что эта «опереточная» литература была. Плохо даже не то, что она пока еще не исчезла. Худо то, что ее необоснованные претензии на нечто серьезное в нашей духовной жизни были в свое время многими признаны обоснованными.

Видимо, чем дольше я буду говорить об «исповедальной» литературе, тем большими окажутся мои расхождения с Ф. Кузнецовым и некоторыми другими критиками в понимании той роли, которую она играла в нашей жизни в годы, последовавшие за XX съездом партии. Наши разногласия довольно основательны, чтобы надеяться на их быстрое устранение, и достаточно принципиальны, чтобы о них умалчивать.

Если верить Ф. Кузнецову, «исповедальная» проза и ее герой есть единственное положительное порождение «пятьде-

сят шестого года» в литературе. Но, по мнению того же Ф. Кузнецова, и этой прозе, и этому герою теперь пришел конец. А спрашивается, почему? На такие вопросы критику все же следует отвечать.

Мы уже, кажется, выяснили, что герой «исповедальной» прозы вызван к жизни не решениями XX съезда партии, а совсем другими обстоятельствами, хотя сама «исповедальная» проза в какой-то мере есть реакция на «пятьдесят шестой год». И мне сдается, что Ф. Кузнецов слишком поторопился закрыть целое поколение (будто это в его силах!). «Я решил, — возвещает критик, — назвать свою первую статью размышлений и разборов «молодой» прозы именно так: «Конец «четвертого поколения». Конец — вы слышите? — амба, точка».

Ничего не скажешь, волевое решение принял коллега. Я бы сказал, даже слишком волевое! Но вряд ли стоит распространять это решение дальше литературной практики самого Ф. Кузнецова.

10

К счастью, любая литературная мода недолговечна, как впрочем, и все, что идет навстречу лишь нашему внезапному настроению, но не учитывает наших истинных духовных потребностей. Только мы начинаем осознавать эти потребности, мода отходит на второй план, а затем и вовсе исчезает. И хотя она в силу инерции или по ряду других второстепенных причин может занимать кого-то еще довольно долго, преодолеть собственную участь никакая мода не в состоянии.

Не опровергла этого правила и так называемая «исповедальная» проза: несостоятельность ее нынче в общем-то стала очевидной. А ведь еще несколько лет назад, когда весьма «находчивые» и не в меру энергичные авторы сумели возбудить вокруг своих «творений» необычайный литературно-критический переполох и легко узурпировали внимание массового молодого читателя, многие в атмосфере этой эстетической сумятицы приняли литературную моду за настоящее литературное явление. И теперь даже трудно сказать, кто больше способствовал популяризации «исповедальной» прозы — ее сторонники или ее противники. Пробиться к истине было почти невозможно — слишком уж яростные велись споры.

До определенной поры в споре с модой логика бывает почти беспомощна. И не потому ли в начале нынешнего десятилетия «исповедальная» проза достаточно прочно внедри-

лась в нашу литературную жизнь, четко обозначив свои идейно-эстетические позиции. «Свой» герой», «своя» тематика, «свои» особые проблемы и эстетические наклонности, даже «свой» язык. Короче говоря, обновление шло по всем основным статьям, и слово «новаторство» в устах некоторых критиков стало высшей и чуть ли не единственной похвалой, а слово «традиционность» — синонимом отсталости и бесталанности.

В такой ситуации любое серьезное критическое замечание в адрес «исповедальной» прозы и любая попытка объективного анализа ее квалифицировались как эстетическая косность и идейное ретроградство. Правда, наши «новаторы» никогда не претендовали на абсолютное новаторство, они всегда охотно признавали свою зависимость от творческих исканий таких писателей Запада, как Ремарк, Хемингуэй, Белль, Фолкнер, Сэлинджер... Сторонники «исповедальной» прозы готовы были видеть в этой зависимости чуть ли не залог будущих успехов всей нашей литературы. Охотно верю, что здесь было больше нечаянного заблуждения, нежели злого умысла.

Я очень далек от намерений принизить под любым предлогом значение творчества таких писателей, как Хемингуэй или Фолкнер, Белль или Сэлинджер. «О, ради бога, не считайте, что любить родину — значит ругать иностранцев...» — очень верно заметил в свое время Достоевский. И беда вовсе не в том, что кто-то учился у Хемингуэя или Фолкнера, а в том, что кто-то, не обременяя себя серьезной учебой у больших западных мастеров, сел на их духовное иждивение. Разумеется, по нашим патриотическим чувствам никак не должно бить то обстоятельство, что, скажем, Америка приобрела в лице Сэлинджера крупного писателя, но трудно смириться с мыслью, будто наш удел — пожизненно находиться на его духовном иждивении.

В силу простой логики народ, одолевший в единоборстве чудовищную военную и государственную машину фашизма и освободивший покоренную и униженную Европу, не мог оказаться духовно беднее освобожденных народов, а тем более тех народов, которые воевали на стороне Гитлера. И те, и другие в послевоенный период преодолевали сложный (хотя и неодинаковый) духовный комплекс, в лучших своих проявлениях достойный пусть и уважения, но не подражания. Что же касается американского народа, то он вышел из Второй мировой войны нравственно растерянным, поскольку вклад его в общее дело разгрома фашизма оказался меньшим, чем мог

бы быть, а атомные «фейерверки» над Японией вызвали только возмущение да породили чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне.

Как известно, в период Отечественной войны 1812 года и в последовавшие за ним годы небывалый подъем национального самосознания, закономерно вызванный всем ходом борьбы за национальную независимость и исторической ответственностью за судьбы других народов, сообщил русскому народу ту духовную мощь и бодрость, которые на многие десятилетия вперед предопределили развитие нашей национальной культуры, давшей миру Пушкина, Достоевского, Толстого...

Аналогичная миссия в период Великой Отечественной войны, но исторически еще более значимая, также во многом определила дальнейшее развитие всей духовной жизни нашего народа, в силу чего и советской литературе был начертан путь не только самостоятельный, но и великий.

Глушить же собственную духовную жизнь и добровольно заболевать чужими болезнями, прививая себе то приступы чужестранной эгоистической тоски, то симптомы заморского социального равнодушия, могли лишь те, кого одолела безнадежная духовная леность. Мы всегда были слишком здоровы, чтобы заболеть всеми этими болезнями всерьез, однако нельзя сказать, что мы оставались абсолютно невосприимчивыми к моде на чужие болезни. Больше того, у нас это в какой-то мере традиционно — красоваться чужими недугами. Даже издревле такой общественный тип сложился, который ужасно переживал, что не родился иностранцем. «Всю жизнь, — писал еще в прошлом веке о подобном типе историк В.О. Ключевский, — помышляя об «европейском обычае», о просвещенном обществе, он старался стать своим между чужими и только становился чужим между своими. В Европе видели в нем переодетого по-европейски татарина, а в глазах своих он казался родившимся в России французом».

В такое же положение попали и наши «исповедальные» авторы: им непременно хотелось выглядеть рожденными в России Сэлинджерами или еще кем-то. Я не знаю, кем они казались на Западе, а вот в родном отечестве, по крайней мере теперь, они кажутся досадным недоразумением.

Разумеется, жизнь зачастую сложнее всяких ее объяснений, и то, что так просто порой может видеться в концепции, в действительности не отличается ни простотой, ни однозначностью. В послевоенное время наша духовная жизнь не была

ни простой, ни однозначной, и от любого писателя требовалось большое духовное напряжение, чтобы его нравственный поиск соответствовал историческому опыту народа, высоким гражданским идеалам.

К сожалению, авторам «исповедальной» прозы не удалось осмыслить явления, которые происходили в нашей стране в последнее десятилетие. Главная причина здесь, на наш взгляд, та, что герой «исповедальной» литературы слишком далеко отстоял от тех реальных процессов, которые определяли общественное развитие в нашей стране после XX съезда партии, далеко отстоял от исторического опыта народа, от правды народной.

«Хроника времен Виктора Подгурского» А. Гладилина, «Коллеги» В. Аксенова, от которых ведет свой отсчет «исповедальная» проза, — это действительно реакция на события «пятьдесят шестого года», но отразила она вовсе не «переосмысление действительности», а лишь собственное авторское возбуждение. К сожалению, в дальнейшем представители этой литературы, ничего не прибавив к моменту своего возбуждения, начали его в себе искусственно поддерживать и развивать и вскоре потеряли единственное свое достоинство — наивную искренность.

Никакой новой литературы на столь зыбком фундаменте, естественно, создать было невозможно. Скорая инфляция «исповедальной» прозы оказалась неминуема и закономерна, так как она себя поставила в полную зависимость от общественной моды и была не причастна к общественной духовной потребности времени.

Не стану вдаваться в подробности, что было новаторством для каждого предшествующего нам поколения, но для так называемого «четвертого поколения», большим новаторством, требующим и писательской смелости, и гражданской доблести, был отказ от веяний и соблазнов возникшей в ту пору литературной моды и обращение к традициям великой отечественной литературы. Говоря о традициях русской литературы, я прежде всего имею в виду не литературные приемы, а нечто большее и значимое, что составляет ее глубинную сущность.

«Для устойчивого влияния, — писала в своей работе «Душа русской литературы» Роза Люксембург, — для истинного воспитания общества нужно больше, чем талант, — нужна поэтическая личность, характер, индивидуальность, коренящиеся в твердыне законченного многообъемлющего миросозерцания. И именно это миросозерцание столь необыкновен-

но изощрило *тонко вибрирующую социальную совесть русской литературы*, ее способность проникнуться психологией разнообразных характеров, типов, социальных положений» (курсив мой. — *А. Л.*).

Эта характеристика интересна тем, что за литературой нашей, как ни за какой другой, признавалось стремление к социальной справедливости, стремление к нравственному осмыслению действительности. И можно с удовлетворением отметить, что факт духовной и философской самостоятельности русской литературы был очевидным не только для нас одних. И поступаться этой самостоятельностью значило бы поступаться не только интересами национальными, но и интернациональными, ибо значение отечественной литературы давно переросло ее национальные рамки.

1967

КОГДА НЕ СБЫВАЮТСЯ ДЕТСКИЕ СНЫ...

Заметки о немолодом герое

Не жаль мне лет, растраченных напрасно...
С. Есенин

1

Мне лично ничего не известно о том, писал ли Олег Михайлов в молодые годы стихи, рассказы, пьесы или не писал. Если опираться на «официальные справки», то можно утверждать, что свой путь в литературу он начал с критики и потом шел этим путем довольно долго. Казалось, тут все определилось, устоялось, утвердилось, начиная от стиля и кончая литературной репутацией...

«Эх, собачья жизнь! — часто думал он.— Бросить все это и начать писать самому. Неужели у меня не получится лучше, чем у всех этих писак?» Но он все никак не мог приняться за дело...

Верить в собственную одаренность было очень приятно, и не так-то легко было подвергнуть ее грубой проверке на деле... Главная же причина его нерешительности заключалась в том, что он вовсе не так уж тяготился своей «собачьей жизнью», как он ее называл...

Ему было под пятьдесят, когда его час наконец пробил, и он принялся всерьез работать над собственным шедевром, который должен был избавить его от «собачьей жизни», а может быть, даже и уготовить ему маленькую нишу «в галерее бессмертных».

Нет, это выдержки не из исповеди О. Михайлова, это выписки из этюда Джона Голсуорси «Критик». В финале мы узнаем, что вместо шедевра получился мыльный пузырь, и критик вновь принялся за свое привычное дело — выносить приговоры чужим произведениям. И после первого же вынесенного им такого приговора «он почувствовал, что кровь быстрее побежала по его жилам, и ему стало тепло».

О. Михайлов оказался более предусмотрительным. Во-первых, он не стал дожидаться, когда ему будет «под пятьдесят», во-вторых, он, видимо, не нацеливался сразу же на шедевр, а взял поначалу некоторый разгон (преодолев сорока-

летний рубеж, О. Михайлов выпускает по серии ЖЗЛ одну за другой книги о Суворове и Державине), в-третьих, он избрал жанр, который не требовал творческой фантазии — дар, как известно, чрезвычайно редкий, — а требовал лишь творческой наблюдательности, памяти да еще определенной искренности.

На этот же период падает и его работа над книгой о творчестве Юрия Бондарева. И тут невольно бросается в глаза: то в интонацию, то в эпитет, а то и в эпизод вплетается что-то постороннее (например, в разговоре о творчестве Ю. Бондарева вдруг появляются ничем не оправданные экскурсы в собственное «военное» детство с суворовским училищем). Порой О. Михайлов начинает терять свой стиль, и возникают, скажем мягко, художественно непроработанные обороты.

«Распрямляющая пружина конфликта», «интеллектуальное электричество», «в разрыве облаков метафор», «звездным узором начинают загадочно светиться иные проблемы» и т. д. Откуда все это соскочило на страницы книги О. Михайлова — знатока творчества Бунина?

Обычно даже поверхностное знакомство с творчеством этого выдающегося мастера слова влечет за собою последствия, называемые в литературе влиянием. О. Михайлов это влияние Бунина, кажется, преодолел, во всяком случае, к тому времени, когда писались книги о Суворове, Державине и творчестве Ю. Бондарева, подтверждение чему мы можем найти как в собственной стилистической системе О. Михайлова, так и в некоторых его прямых высказываниях.

«Мы знаем, — говорит О. Михайлов, — что классическая русская литература как бы стыдилась заниматься «чисто» художественными задачами — даже специально любви произведений почти не посвящалось. Исключение — Бунин, но он был *последним в* ряду русских классиков и уже нес в себе черты флоберианства, стилистически законченной и неспособной развиваться дальше (как и полагается «последнему») системы».

Не знаю, как там насчет флоберианства, но литературная практика последних десятилетий показывает, что стилистическая система Бунина, хотя и заключает в себе многие черты художественного совершенства, является не только системой *итогов,* но и системой *перспектив,* иначе Бунин принадлежал бы лишь истории литературы, но не живой ее практике, хотя вряд ли уместно бунинскую стилистическую систему считать единственно плодотворной.

Признаюсь, читая михайловские страницы о «Береге», я досадовал на неизвинительные для такого опытного литератора словесную неряшливость и произвольность оценок.

Но вот в 1978 году в журнале «Волга» был опубликован роман самого О. Михайлова («Час разлуки»), а на страницах других периодических изданий — несколько рассказов, по прочтении которых стало ясно: не поспешность и небрежность мешали автору книг о Суворове, Державине и Бондареве, ему «мешало» постоянное присутствие в сознании (и в подсознании) постепенно рождающихся образов его собственных художественных произведений. И еще стало ясно, что без книг о Суворове, Державине и Бондареве не было бы и романа «Час разлуки». Тут я имею в виду не приобретенное О. Михайловым в ходе работы над ними беллетристическое мастерство, тут я имею в виду другое — внутреннюю разработку характера главного героя романа «Час разлуки» Алексея Егорова.

При беглом чтении может показаться, будто роман О. Михайлова сродни некоторым «городским» повестям Юрия Трифонова. Однако я почти уверен, что в то время, когда писалась книга о творчестве Ю. Бондарева, когда уже рождались и вынашивались картины и образы собственного романа, О. Михайлов не смог бы написать книгу о творчестве Ю. Трифонова, хотя вроде бы бондаревские и трифоновские герои — люди сходной судьбы: их роднит то, что они люди одного поколения, а в настоящем занимаются литературной работой. Между тем разница между ними огромная. Бондаревские герои прямо-таки навечно «ушиблись» войной, в их сознание и мирочувствование война вошла навсегда. А вот, скажем, главный герой повести Ю. Трифонова «Предварительные итоги» Геннадий Сергеевич лишь однажды, и то мимоходом сообщит: «Мальчишкой попал на фронт, был ранен под Ленинградом, болел, лечился, потом хватал и грабастал жизнь в халтурных послевоенных вузах, женился рано — от той же жадности». И чем бы другие трифоновские герои (из тех, что воевали) ни отличались бы от Геннадия Сергеевича, они сходны с ним в одном: в удивительном забвении фронтовых лет. Этим они не только отличаются, но и противостоят бондаревским героям.

Нет, я вовсе не собираюсь Ю. Бондаревым «побивать» Ю. Трифонова: у каждого писателя свой «угол зрения» и свой предмет художнического исследования. В данном случае я просто хотел сказать, что О. Михайлов совсем не случайно обратился к творчеству именно Ю. Бондарева, чьи произведения позволили ему еще раз очень остро пережить, прочувствовать то незабвенное время, когда даже честолюбивые и тщеславные помыслы и отроческие мечты не отзывались своекорыстием. Произведения Ю. Бондарева не только уносили авто-

ра романа «Час разлуки» в страну его собственного военного детства, но и как бы погружали в реальность бытия неосуществившейся мечты. Потому-то в книге О. Михайлова о творчестве Ю. Бондарева и присутствует то личное, что воспринималось мною как постороннее.

Потому-то герои О. Михайлова с такой болью и вспоминают свое давно ушедшее детство. Для них детство — это и есть как бы настоящая жизнь, а все, что было потом, лишь подготовка к тому, что так и не осуществилось. И здесь О. Михайлов показывает судьбу людей, чье детство пришлось на войну, с еще одной очень важной стороны. Да, во время войны мы голодали и мерзли, испытывали унизительный страх; но одновременно мечтали о подвигах, о победах в боях. Однако война окончилась раньше, чем мы выросли. Мы завидовали старшим, тем из них, кто воевал, и потому так охотно шли в суворовские училища или в артиллерийские и авиационные спецшколы. Нам казалось, что эта дорога приблизит нас к фронту... Главный герой романа «Час разлуки» Алексей Егоров в годы войны поступает в суворовское военное училище, а главный герой рассказа «Особняк с фонариками» — в авиационную спецшколу.

Всем хорошо известно, каким глубоким чувством ностальгии проникнуты многие рассказы Бунина эмигрантского периода. Вроде бы подобных чувств михайловские герои испытывать не должны, поскольку никто из них даже в мыслях не покидал родины. Однако все мы в какой-то мере ***эмигранты***, если не в пространстве, то во времени, потому как все мы бываем вынуждены покидать страну своего детства, страну своей молодости. И здесь михайловских героев роднит с бунинскими глубина и культура ностальгических чувств, священных и бескорыстных при всей небескорыстности многих суетных житейских поступков и намерений в настоящем.

В стране детства было и голодно, и холодно, и неприютно, но все эти житейские неудобства и лишения отступали перед выстраданным высоким идеалом беззаветного служения своему Отечеству в тот час, когда над ним нависла смертельная угроза. И потом уже никакая другая жизнь не дала людям «военного детства» новых, столь же высоких идеалов, они навсегда остались верными своим прежним, военной поры идеалам, потому-то вся остальная их жизнь как бы только прошелестела листками календаря, потому-то они с такой болью и погружаются в воспоминания, то есть уходят памятью в ту пору, когда идеалы были еще не позади. И еще страна детства

манит своим неземным покоем, там ничего нельзя уже изменить, стало быть, нет и изматывающего права выбора, как бы нет и карающего грядущего, во всяком случае, там нет суетной повседневности с ее мелкими страхами и ничтожными надеждами. Потому-то Алексей Егоров так часто и уносится памятью в то свое прошлое, когда он еще не умел проводить четкой границы между мечтой и реальностью, не случайно и то, что единственный герой в романе, к которому Алексей испытывает теплое чувство, это случайно им встреченный бывший офицер-воспитатель суворовского училища.

«Внизу, у гардероба, где хлюпала невидимая вода, Мызников растроганно сказал:

— Читаю тебя, Алексей. Горжусь тобой, сынок...

— Полноте, — чистосердечно ответил Алексей. — Ведь ерунду пишу. Вот погодите, выйдет мой «Суворов». Я его посвящу вам — и лично вам, и офицерам-воспитателям, и воспитанникам Курского суворовского училища.

Мызников достал маленький тяжелый значок с профилем старичка, что стоял в комнате у Алексея:

— Это тебе за «Суворова». И еще — мое отцовское спасибо!»

Ни с родителями, ни с друзьями, ни с женой Алексей не разговаривал вот так просто и чистосердечно, как он говорил с Мызниковым (только в этом диалоге естественно звучат и естественно воспринимаются слова «сынок» и «отцовское спасибо»), потому как Мызников *оттуда,* из военного детства, и слово «Суворов» для них по-прежнему звучит заветно.

Встреча с Мызниковым заставляет Алексея на какое- то время вновь поверить в свою далекую мечту, и в эти минуты он вновь погружается в сладостное ожидание подвига. В торжественном молчании он принимает значок с изображением Суворова. Между прочим, в комнате у Алексея стоит большой, старинной работы бронзовый бюст Суворова, но то разные Суворовы. Этот, барельеф на значке, — награда, пусть несколько и преждевременная, но награда; а тот, «домашний»: в общежитии — предмет тщеславной гордости, а в часы тяжелого одиночества — идол, возле которого все чаще и чаще бьется Алексей, постигая жестокую истину, что вся жизнь прошла в праздном ожидании подвига и уже не остается никаких надежд совершить его; постигается и другая истина: в страну детства можно убегать, но туда нельзя убежать.

Это, так сказать, самая общая концепция главного героя романа «Час разлуки», которую порой не так-то просто уло-

вить в подробностях его житейских поступков и намерений, в постоянном хаосе его чувств и желаний.

Если в романе и в рассказах «Московские сны» и «Особняк с фонариками» герои живут в двух временных пластах — в настоящем и прошлом, — то в новелле «Бессонное окно» жизнь лирического героя тоже протекает в двух временных пластах — в дневном и ночном, то есть здесь сама теперешняя жизнь как бы дробится на взаимосвязанные, но в то же время самостоятельные части. По ночам дневная жизнь не уходит в забвение, она гонит сон, чтобы лучше увиделось то, что плохо видится при ясном свете дня, когда глаза дают передышку сердцу.

«В этот час мне жаль себя, свою молодость, бездарно и бездумно растраченные годы — самые плодотворные, утекшие впустую, в полулени, в суете недуманья. Я перебираю не имена женщин, а несостоявшиеся замыслы, неосуществленные планы, невоплотившиеся мечты.

Мне жаль моих родных и тех, что ушли в Ваганьковский город мертвых... и тех, кто еще со мной рядом.

Мне до слез, до содрогания жаль маму, неуклонно ветшающую, упускающую капля за каплей силы и здоровье. Днем, в деятельные часы бодрствования меня раздражают ее долгие телефонные разговоры, ее милые нелепые заботы обо мне и сказочные страхи за мою судьбу. Но ночами я точу и грызу себя за черствость, за бездушие, за неспособность хоть сотью ответить ей на ее любовь. И только тогда мне стыдно себя — себя дневного.

В этот час одиночества и суда над собой мне жаль людей».

Читая новеллу «Бессонное окно», невольно вспоминаешь пушкинские стихи:

Когда для смертного умолкнет шумный день
  И на земные стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
  И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
  Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
  Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
  Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
  Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Как известно, Лев Толстой восхищался этим стихотворением Пушкина, но ему казалось, что в последней строке вместо слова «печальных» уместнее прозвучало бы слово «постыдных». Думается, что в данном случае Толстой был не прав: в этом стихотворении все же уместнее слово «печальных», и не потому, что в пушкинском «свитке» не могло оказаться и «постыдных» для него «строк», а потому, что в ночные часы всеобъемлющим для него становилось чувство печали — печали и по содеянному, печали и по несвершенному.

Вероятно, в этом стихотворении Пушкин выразил какое-то общечеловеческое чувство, однако это обстоятельство вовсе не приводит всех к единому знаменателю, ибо у каждого накапливается свой «свиток» и вырабатывается свой к нему подход. Тут возможно сходство, но никогда не может быть тождества.

Теперь с этой точки зрения мы и постараемся прочитать «свиток» героя и посмотреть, чем же заполнялась его жизнь в тот временной отрезок, что отделяет нынешнего Алексея Егорова, человека зрелых лет, от того Алексея Егорова, которому будущая его жизнь представлялась заманчивой и счастливой.

2

Думается, есть необходимость сказать несколько слов об отце Алексея, поскольку Алексей во многом повторяет отца, и не только характером, но отчасти и судьбой. По довоенным воспоминаниям, отец Алексея (теперь его в доме никто не зовет ни по имени, ни по отчеству, а все кличут «Мудрейшим») — кадровый военный — рисуется нам человеком жизнерадостным, достаточно энергичным и верящим в свои силы. Потом война. Плен. И перед нами совершенно другой человек, вернее, какие-то руины человеческой личности. Он, вероятно, изведал в плену такие масштабы зла, что ничто в нынешней жизни не кажется ему даже приближенно похожим по своим признакам на то, что ему довелось изведать; и в текущей будничной жизни разница между добром и злом кажется ему почти неуловимым оттенком между весьма сходными явлениями. Когда он вернулся из плена, жена его была замужем за другим,

и от этого другого у нее уже был ребенок. Мудрейший поселяется в своей старой квартире и долгие годы проживает совместно с новой семьей бывшей своей жены. Следует заметить, в образовавшейся жилищной «коммуне» все живут дружно, если под словом «дружно» подразумевать не какие-то духовные связи, а отсутствие ссор и скандалов. Мудрейший постоянно и неутомимо поет, и эта столь своеобразная его форма общения и самообщения, кажется, устраивает всех домочадцев, самым причудливым образом связанных по крови.

И все-таки Мудрейшего разрушил не виденный им масштаб зла, а то, что он прошел мимо *своего* подвига, к которому если не сознательно, то подсознательно готовился почти всю жизнь. Во всяком случае, на фронт Мудрейший попал по собственной инициативе. Когда же пробил его час, очень суровый час, то оказалось, что на подвиг его не хватило, и он понял: реализовать себя уже никогда не сумеет.

Алексей своим образом жизни вроде бы протестует против жизненной концепции отца, однако его протест есть лишь в иной форме продолжение им отрицаемого. Все его жизненные силы направлены на протест, а то, во имя чего он протестует, осталось в далеком детстве, доступном только воспоминанию. Казалось бы, в отличие от отца, Алексей живет чрезвычайно активной, действенной жизнью, но если на все его поступки взглянуть не с внешней стороны, а со стороны внутренних мотивов и движущих ими причин, то обнаружится, что в жизни Алексей является не *автором,* созидающим и творящим, а лишь второстепенным, как и его отец, действующим лицом, по случаю вторгающимся в жизнь близких.

Алексей принадлежал к тому сравнительно небольшому числу людей своего поколения, которых война хотя по-своему и затронула, однако пощадила в главном. Он не лишился ни родителей, ни домашнего очага, а главное, ход его собственного развития нарушен не был: вовремя получен аттестат зрелости, вовремя перед ним распахнулись двери университета, а ведь большинство его сверстников еще в детские годы возложило на себя нелегкое бремя взрослых забот и лишь, как о чем-то заветном, могло мечтать хотя бы о среднем образовании.

Чем же стал университет в жизни Алексея Егорова?

«Был двенадцатый ряд на общекурсовых лекциях в Большой аудитории, безраздельно принадлежащий интеллектуалам...

Он явился в университет в старенькой суворовской шинельке, подновленной в красильной мастерской, заметно уступал малочисленным юношам-филологам в знаниях и толь-

ко к третьему курсу заставил считаться с собой, был принят на двенадцатый ряд».

Что ж, занятия в храме науки не исключают и тщеславных намерений, но это не беда, если такого рода намерения не являются единственным стимулом к приобретению знаний. Не станем и мы обвинять героя за его стремление попасть на «двенадцатый ряд», попасть в число интеллектуалов. Скорее всего, эта деталь и не бросилась бы в глаза, окажись воспоминания о студенческой жизни не столь скудными. Однако здесь интереснее не частные штрихи и частные эпизоды, а то, какой общий след оставил университет в жизни героя.

«Проходя мимо желто-белого здания на Моховой, воздвигнутого по проекту знаменитого Казакова, Алексей всякий раз ловил себя на том, что при виде альма-матер не испытывает никаких ответных чувств. Словно бы не он, а кто-то другой проучился в этих стенах пять лет, просиживал в аудиториях и в студенческом зале библиотеки...»

Невольно на ум приходит другое признание, и, между прочим, о том же самом «желто-белом здании на Моховой»: «Alma mater! Я так много обязан университету и так долго после курса жил его жизнью, с ним, что не могу вспоминать о нем без любви и уважения. В неблагодарности он меня не обвинит, по крайней мере, в отношении к университету легка благодарность, она нераздельная с любовью, с светлым воспоминанием молодого развития...»

Это Герцен. «Былое и думы».

Конечно, мы не можем назвать произведение О. Михайлова мемуарами, хотя сам он, кажется, делает все, чтобы подчеркнуть полную его автобиографичность, хотя бы тем, что, будучи автором книги о Суворове, он и своего главного героя делает автором книги о том же полководце. Автор учился в Курском военном суворовском училище, его главный герой тоже был питомцем этого учебного заведения; и автор и герой заканчивали филологический факультет МГУ, затем учились в аспирантуре Института мировой литературы, хотя в романе он назван Институтом изящной словесности, но то более из кокетства, нежели из желания завуалировать автобиографическую подробность. Совпадают и места жительства: сначала — Тишинка, затем — район метро «Аэропорт»... Однако не станем далее привлекать внимание к сходству бытовых и биографических подробностей, поскольку, во-первых, в этом сходстве могут убедиться лишь те, кто близко знаком с автором романа, а во-вторых, не исключим и такой возможности:

автор просто мистифицирует нас. Сходство не есть еще тождество. Не будем покушаться на авторскую симпатию к своему герою, однако все же не будем и рассматривать их как одно и то же лицо. Не станем придавать особого внимания и такому обстоятельству: хотя О. Михайлов говорил о «законченности» Бунина и неспособности его «системы» к дальнейшему развитию, сам же он счел необходимым опереться на авторитет бунинской формулы творчества, поставив в эпиграф своему произведению такое заявление знаменитого писателя:

«А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, кто прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове».

Действительно, зачем «вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее»? Что ж, сама по себе постановка вопроса, по-моему, верна, если, разумеется, акцент ставить на содержании «твоего и единственно настоящего». К примеру, для Толстого в какой-то период его жизни это были и Отечественная война 1812 года, и Кутузов, и Наполеон, и нравственные искания людей своего сословия, и нравственная самооценка людей иных сословий; в другие периоды жизни Толстого сюда им включались новые проблемы и новые категории... Правда, у других «твое и единственно настоящее» может сужаться и до личного почесывания, а вся остальная жизнь становиться лишь фоном. Бунинская формула творчества довольно универсальная, под нее можно подвести как творческую практику Толстого, так и притязания на читательское внимание самого заурядного писателя, тут важно одно: пиши о том, что тебя больше всего мучает, что для тебя «единственно настоящее». Разумеется, результат не во всех случаях окажется одинаков, он будет стоять в прямой зависимости от масштаба общественных проблем и вопросов, которые личностно и устойчиво волнуют писателя.

Вот теперь мы и попытаемся ответить на вопрос: что же для главного героя романа «Час разлуки» является «единственно настоящим»? Во-первых, как мы уже говорили, собственное детство, во-вторых, суворовское училище с его культом товарищества. Университет? Это для него всего лишь своего рода лавка, или, приличнее сказать, магазин, в котором он «отоварился» знаниями и научными сведениями, необходи-

мыми ему для дальнейшей профессиональной работы. Но то все пока лишь преддверие жизни, подготовка к ней...

Прошли годы, настала пора подводить какие-то итоги, и они оказались малоутешительными. «Казалось бы, — думал Алексей, — ни жены, ни детей, ни семейных обязанностей. Пиши себе в удовольствие! Пиши о самом сокровенном. Куда там! Вскакиваешь с постели в возбуждении, с болью в затылке, давишься завтраком, держишь в голове десятки фамилий, проводишь день в вечной спешке, когда заботы, как в ледоходе, сталкиваются, нагромождаются и крошат друг друга. Если бы страдать за идею или жечь себя на костре творчества — куда ни шло. Но подохнуть от халтуры, спешки, всегда ощущать, как тебя подгоняет невидимый кнут обязательств — и даже не ради денег и уж не из-за святых хлопот о семье и детях, — вовсе обидно».

Оказывается, «двенадатый ряд» существовал не только в университете, в жизни не менее важно «попасть в число...», и Алексей ринулся на штурм нового для него «двенадатого ряда». Кандидатская степень, членство Союза писателей — вот заветные цели молодого филолога. Штурм оказался не только успешным, но даже и не обременительным — сказались личное дарование и университетская подготовка. Вскоре Алексей становится своим человеком и в научном мире, и в литературной среде — он их порождение, и он их продолжение. Здесь не требовалось служение науке, не требовалось и вдохновение, достаточными оказались простые комбинации научными сведениями — чисто профессиональные упражнения.

Справедливости ради следует заметить, Алексей все-таки симпатичен своей искренностью, — в отличие от многих, он не отучился называть вещи своими именами. Научные занятия без истового служения науке, писательство без вдохновенного творчества есть халтура, даже один из худших ее сортов, и Алексей не делает вида, будто служит науке или вдохновенно творит, он занимается научным и литературным ремеслом, а это суть интеллектуальная халтура, столь распространенная и на «двенадцатом ряду».

Алексей говорит, что халтурил не ради денег, но мы видим, как он азартно и со вкусом «упаковывается» в жизни, начиная от возведения в молодые годы перегородки в комнате родителей и кончая приобретением импортных музыкальных «систем» и антикварного бюста Суворова. И все-таки Алексей не кривит душой, им руководит не жажда обогащения, ему важен престиж, иначе бы он никогда и никому не признавался,

что «творит» халтуру и «ерунду», а, напротив, всячески старался бы набить научную или литературную цену своей халтуре и запродать ее втридорога, а он продает ее, так сказать, по номиналу, то есть по затраченному на нее труду.

Правда, мы знаем, что Алексей иначе относился к своей работе над книгой о Суворове (вспомним его разговор с офицером-воспитателем Мызниковым), однако если мы припомним бунинскую формулу творчества, то должны будем признать, что его книга о Суворове если и не халтура, то и не акт настоящего творчества, ибо Суворов вовсе не был для него той болью, о которой он *не мог молчать*, в чем нас убеждает содержание всего романа — ведь на протяжении повествования мы так и не видим человека, искренне увлеченного личностью самого Суворова. К тому же два неудачно написанных эпизода в романе как раз связаны именно с Суворовым. Первый — когда подвыпивший Алексей Егоров ведет разговор с бронзовым бюстом Суворова, низводя великого полководца до уровня случайного хмельного собеседника. Второй эпизод — разговор о своей книге с университетским товарищем Павлом Тимохиным — напоминает не живой диалог, а инсценировку рецензии на книгу.

Разумеется, трудно в романе воспроизвести весь процесс работы героя над книгой. Да этого и не нужно было делать. Суворов — личность историческая вдвойне, поскольку не только имя его принадлежит истории, но он и сам активно и зримо творил историю. И мы только тогда поверим, что герой не сочиняет, а творит книгу о Суворове, когда обнаружим у героя историчность собственного мышления.

«Куда денешься от истории. Против теперешнего Белогорска, на том вон известняково-белом плато устроил свой полевой штаб Суворов, а вон тот неказистый серый обелиск — один из последних уцелевших верстовых столбов, которые были поставлены на всем пути следования Екатерины II по Крыму в 1787 году. Здесь пуля пробила голову молодому Кутузову, пройдя рядом с виском. Там в горах совершал рейды знаменитый партизан и виноградарь Македонский».

«Куда денешься от истории...» Во-первых, зачем непременно куда-то деваться от истории? Во-вторых, разве это история и разве это как-нибудь напоминает исторически мыслящего человека? В лучшем случае перед нами бойко составленный текст для экскурсовода.

Или другой немаловажный момент. У Алексея есть друг, «занимающий крупный издательский пост» (имя его в романе

не называется), о котором говорится: «Любил свой пост, работу, книги по истории, дружеский казачий круг, но пуще всего — коллекцию, украшавшую всю стену в его однокомнатной квартире». Далее на полстраницы дается аппетитно написанный реестр самой коллекции. О друге еще говорится, что он был «учен, неглуп, воспитан», однако почему-то с ученым и неглупым другом, как и с умнейшим и образованнейшим Тимохиным, разговоры ведутся о чем угодно, но только не об истории.

После окончательного разрыва с женой «Алексей и сам чувствовал, что отец и мать остались в нем странными, несоединившимися началами, что надежды на новую любовь и семью слабы. Ну что ж, осталась возможность работать. Остались друзья, общие интересы, привязанности и цели».

К сожалению, мы должны признать, что книга о Суворове для Алексея — пока только всего лишь попытка отойти от халтуры, попытка при помощи воспоминаний детской любви к Суворову (в тяжелые военные годы таким идеалом мог быть только Суворов, и никто иной, — полководец, не знавший поражений) возбудить в себе творческое вдохновение.

Что же касается друзей, то их у Алексея, по сути дела, не было, да и не способен он на дружбу; привязанности, общие интересы — это, пожалуй... При всей интенсивности отношений с окружающими у него ни с кем не образуется настоящих человеческих связей, то есть в главном он повторяет своего отца. Поэтому очень важно и интересно в романе все то, что связано с пребыванием Алексея в родительском доме; прошлое его является единственным веществом, скрепляющим душу, готовую распылиться, превратиться в ничто в любую минуту, поскольку родительское семейство распадается и исчезает на наших глазах.

«Когда просохло, — читаем мы в финале романа, — Алексей с братом навестил Мудрейшего на Ваганьковском кладбище.

Глядя на осевшую могилку с простым, быстро ржавеющим крестом, брат сказал, глотая слова (дикцию он унаследовал от своего отца):

— Добрый Мудрейший! Он никому сознательно не сделал в жизни зла!..»

Действительно, он никому «сознательно не сделал в жизни зла», но в то же время он спокойно внимал и творящемуся рядом злу. И Алексей тоже предельно эгоцентричен, однако его эгоцентризм нейтрализуется не то чтобы добротой, а каким-то упорным нежеланием умышленно творить зло, и в этом он повторяет своего отца, правда в иных жизненных и житейских обстоятельствах.

У Алексея эгоцентризм и незлобивость — черты не только доминирующие, но для него и судьбоносные. Ведь ни образование, ни литературный успех, ни бедность или, напротив, богатство или достаток, ни окружающие его люди при всей кажущейся его податливости никак не могут нарушить равновесия доминирующих в его характере черт, образующих в своем соединении удивительный по прочности элемент равнодушия ко всем и ко всему. И от этого своего равнодушия не меньше других страдает сам Алексей.

«Все, что у него было до Алены, он воспринимал как вынужденную сделку. Он искал именно предмет для поклонения. Потому что ему необходимо было не быть любимым, а любить самому. Он даже тяготился, когда начинал чувствовать, что его любят больше, чем он сам». И Алена так долго устраивала его именно потому, что никогда не любила его.

В то же время Алексей с юных лет мечтал о какой-то особенной любви и ждал от нее какого-то особенного счастья. «Он всерьез полагал, что способен, идя против течения традиций, создать особенную, непохожую на другие семейные союзы жизнь». Однако о его мечтах, о его любви и о его семейной драме следует, вероятно, поговорить особо.

3

Нет, О. Михайлов не случайно упрекнул всю классическую русскую литературу за то, что ею «специально любви произведений почти не посвящалось». Самого О. Михайлова в том не упрекнешь, его роман целиком посвящен именно этой сложной материи, во всяком случае, он так задумывался. Написание героем книги о великом полководце, любовь к собственному «суворовскому» детству, сентиментальные экскурсы в прошлое своих родителей и родственников — то всего лишь вспышки, иногда искусственно раздуваемые; главное и единственное, что приносит герою радости и огорчения, — любовь или все то, что на нее похоже.

Два коротких студенческих романа окончились «категорическим разочарованием». Были еще слабые увлечения, но и они не в счет. Он искал предмет для поклонения! И нашел. Случайно. В троллейбусе.

«Лицо ее с четким овалом, чуть курносое, пухлогубое, все ее узкое тело напоминали фотографии из «Вога» или «Эль» — французских *модных* журналов... Она походила на тех скромных, безымянных, *стандартных* девушек, которые в начале и

в конце журнала показывают лифчики, колготки, пояса» (курсив мой. — *А. Л.).*

Итак, вкус отработан по рекламным журналам, согласно вкусу выработан идеал, точнее — предмет для поклонения. Итак, господство моды и стандарта! Разумеется, выбор делался вопреки традициям, что, надо заметить, в дальнейшем если и не гарантировало, то сулило жизнь, действительно «непохожую на другие семейные союзы».

«Как он гордился ею, женившись! Собирал и наклеивал в специальный альбомчик фотографии, ходил бесконечное число раз мимо тех магазинов, где в витрине было ее лицо — то в дорогой норковой боярке, то с помадой у губ, то с переделанной ретушером из помады карамелькой — в окне булочной на улице Горького».

«Алексей медленно вошел в Аленину комнату: ее белозубое лицо на календарике за 1972 год...»

«Ее фотографировали часто и охотно — в «Вечерке», на обложке журнала мод, карманном календарике. А одна коммунистическая английская газета назвала Алену в репортаже из Московского дома моделей «маленькой лорд Фаунтлерой».

Автор то ли сам путается в понятиях «гордость» и «тщеславие», то ли, по известным только ему причинам, путает читателя.

«Как он любил ее в эти минуты, как остро чувствовал зависть других мужчин, с их выстарившимися, похожими больше на тещ женами...»

Если в молодости он пытался вызвать у других зависть при помощи купленного первоклассного приемника, то теперь для той же цели у него была молодая жена с ее стандартно-модной красотой. Вероятно, потому он и не переживал понастоящему измен жены, хотя, конечно, потерять ее боялся, как боятся потерять дорогую модную вещь.

«Отношение к ней как к собственности, которая уже никуда не денется, преобладало над всеми прочими чувствами».

«Алексей со спокойной душой оставлял Алену одну, потому что относился уже к ней как к дорогой, но безусловно ему принадлежащей вещи, которую никто не отнимет».

Когда рекламная красота Алены начала чуть увядать, она все чаще вдруг стала подолгу где-то задерживаться, участились мужские телефонные звонки, а Алексей с «удвоенной беззаботностью глядел на все сквозь пальцы, уверенный, что ходит по толстому льду». Он рассуждал примерно так: если она не ушла в короткие годы женского расцвета, то теперь никуда не денется.

Было и еще одно обстоятельство, которое его успокаивало: «Алексей чувствовал, как сильно хочет она прочной, основательной жизни, как страшится вернуться в подвал на Зацепе и как ценит поэтому их союз».

Насчет «союза», по-моему, сказано слишком сильно. Тут не союз, тут сделка: ему нужна была постоянная живая реклама, и он ее получил; ей нужен был определенный современный комфорт, и она его получила. А из чего же складывалась их повседневная совместная жизнь?

«Они просыпались в двенадцатом часу, подолгу валялись в постели, слушая музыкальные передачи. Затем кто-то шел за завтраком, покупал калачи, масло, двести граммов белужьего бока, а оставшийся молол и варил кофе. Потом они гуляли, забредали в какой-нибудь кинотеатр, болтали о пустяках и возвращались на Тишинку».

Иногда они вместе ездили в Дома творчества, в перерывах между рекламными «сеансами» (когда Алена должна была вызывать зависть у коллег-писателей) они просто гуляли: «Как ему нравилось молчать рядом с ней во время прогулок...» А нравилось молчать потому, что говорить-то было не о чем.

Потом, после развода, Алексей напишет Алене:

«У нас был открытый — «европейский» — брак.

Я не хранил тебе верность потому, что был разболтан и легкомыслен, и потому, что ты не была ласкова и горяча со мной.

Ты не была верна мне потому, что меня никогда не любила, что была столь же хорошенькой, сколь и легкомысленной...»

И все-таки их «союз» продержался тринадцать лет. На чем же он тогда держался?

Алена сначала работала продавщицей, затем — манекенщицей, что обеспечивало ей постоянную *публичность* и что устраивало как Алену, так и Алексея. Собственно говоря, то была единственная связывающая их страсть.

«Подводя итоги своей нескладной супружеской жизни, Алексей понял, что потерял Алену задолго до того, как она ушла от него, — именно тогда, когда отпустил ее в молодежный лагерь. Она вернулась иным человеком — счастливая, гордая, уверенная в себе».

Что же дало ей счастье, гордость и уверенность, и отчего она стала «царственно высокомерной»?

«— Меня избрали мисс Нидой... — со снисходительной важностью объяснила она».

Алексей видел только «стройное, крепкое тело, покрытое не шоколадным крымским загаром, а нежной позолотой, похо-

жей цветом на морской песок Прибалтики», и не обращал никакого внимания на то, какие внутренние перемены произошли в Алене, он принял самой низкой пробы высокомерие за гордость и безмерно радовался Алениной победе на пошлом самодеятельном конкурсе. «Подобного счастья он никогда не испытывал в жизни. В помрачении, близком к обмороку, движимый инстинктом, он хотел сделать что-то необычное, чтобы выразить этим свою любовь и восхищение ею».

Между прочим, в «Былом и думах» Герцен вспоминает такой эпизод из московской жизни: после ареста Огарева он встретился со своей кузиной Натальей (будущей женой) и стал говорить о горькой участи друга. Наталья близко к сердцу приняла горе Герцена, но когда тот сказал, что Огарев «гибнет неоцененный, неузнанный», она спросила: «Неужели вы это говорите о рукоплесканиях? Сейчас мы видели (они шли от ипподрома к Ваганьковскому кладбищу. — *А.Л.*), как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды».

Как известно, Наталья Захарьина не была ни «синим чулком», ни пуританкой. Достаточно вспомнить хотя бы их романтическую любовь и еще более романтическую женитьбу.

Мы не станем вдаваться во все перипетии Алексеевой «драмы», слишком уж это утомительное и неинтересное занятие: Алена будет уходить к другому, возвращаться, опять уходить, вместе с нею в обоих направлениях будут передвигаться мебель и прочие вещи. Мы дадим из этого длительного периода жизни Алексея только один небольшой эпизод:

«— Я вернусь, вернусь, — твердила она в коридоре, подвигая к двери тяжелый чемодан и сумку, стучащую стеклом, железом, фарфором. —Ты меня извини, если я вернусь и застану тебя с женщиной! Дай мне только месяц! Нет — две недели!

И, раздавленный, жалкий, противный сам себе, Алексей мог только пролепетать в ответ: — Алена! Я буду ждать тебя!»

Пожалуй, весь фарс с уходами, возвращениями, объяснениями, театральными выходками (однажды Алена так и скажет Алексею: «Неужели ты не можешь и сейчас без театра?») и наполнил под конец их совместно-раздельную жизнь хоть каким-то содержанием. Теперь им хоть стало после тринадцатилетней супружеской жизни, до безумия пресной и никому из них не нужной, о чем и поговорить.

Года через четыре после женитьбы они поехали отдохнуть в Тарусу. Тогда они еще были молоды, а жили вместе с родителями и родственниками Алексея. Вот, кажется, и наслаждайся недолгим уединением... Но нет, они едут не одни, они бе-

рут с собой... кота! Специально для обузы. Словно старички какие-то.

Если прежде Алексей демонстрировал Алену, то теперь он с тем же усердием демонстрирует свою «драму». «Алексей нуждался в том, чтобы постоянно рассказывать о себе, о своих переживаниях». Этими постоянными рассказами он возбуждал себя, доводил до истерики. Конечно, мне могут сказать: «А где те весы, на которых можно взвесить истинность переживаний?» Могу точно указать адрес: в квартире Алексея Егорова. Не верите? Пожалуйста: «Да, но ведь он страдал, рыдал, рвал зубами угол подушки, похудел за неделю на десять килограммов...» Рыдал, страдал и бегал взвешиваться. Или: Алексей патетически кричит Алене: «Алена! Я буду ждать тебя!» — а сам внимательно прослушивает стук уносимого в сумке Аленой стекла, железа, фарфора...

Как мы уже говорили, Алексей имел особый вкус к хорошим вещам, будь то дорогой, последней марки импортный магнитофон или антикварная вещь. Когда Алена окончательно вывезла мебель, Алексей, несмотря на все свое отчаяние, моментально заново обставился. «И квартира засверкала новым, дорогим и холодным блеском: ореховым деревом «Ромоны», бронзой и хрусталем, белым металлом музыкальной японской системы: усилитель фирмы «Сони», магнитофон «Акай», проигрыватель «Джи-Ви-Си»...»

Алексей не терпел ни бедности, ни убогости, право на них он оставлял кому угодно, даже близким. Вот он приходит к оставшемуся теперь в одиночестве отцу, Георгиевским крестом которого не переставал хвастаться. «Он (то есть отец. — *А.Л.*) лежал на старой продавленной кровати в пустой комнате, где с потолка свисала лампочка на оскорбительно голом шнуре с липучкой от мух». Кого оскорблял или оскорбил этот голый шнур с липучкой от мух? В том-то и дело, что никого. Просто по ходу дела был оскорблен эстетический вкус Алексея, который, глядя на отца, думал не о нем, а о том, что когда-то в этой комнате были «персидские ковры и текинские паласы, дорогие безделушки, тисненные золотом нотные клавиры, фотографические портреты...» . Алексей спокойно сравнивает давнишний и настоящий интерьеры отцовской комнаты, радуясь тому, что персидские ковры и текинские паласы сам он сумел компенсировать бронзой, хрусталем и различными современными «системами».

Нет, Алексей не был ни стяжателем, ни накопителем, он всем сердцем любил красивые вещи, любил их видеть возле

себя или просто вспоминать о них, и эта любовь его была искренней и постоянной. За что же он так любил вещи? За *прочность их красоты.* В силу разных обстоятельств в нем с самого детства эстетическое преобладало над этическим и нравственным. В период войны, когда внешне эстетическое почти утратило свою цену, он качнулся в сторону нравственного, его стала привлекать красота внутренняя — красота подвига, в основе которой лежит нравственное начало. Но в дальнейшем то чувство не нашло развития, но и не исчезло, оно как бы закапсулировалось в нем и стало находить свой выход только в редкие часы «возвращения» в то далекое время, о чем свидетельствуют хотя бы встреча его с бывшим офицером-воспитателем Мызниковым или искреннее желание написать нехалтурную книгу о Суворове.

Но с годами эстетическое все разрасталось и разрасталось, и не само по себе, а уже за счет нравственного и этического. Для Алексея Егорова теперь уже не существует понятий «хорошее» и «плохое», для него теперь существенны понятия «красивое» и «некрасивое», они-то и стали его *абсолютными критериями,* ими-то он и руководствуется в жизни.

Но вернемся к сюжету романа, поскольку мы еще не выяснили, чем же закончилась личная «драма» Алексея и, если говорить языком ворожей, чем же «успокоилось его сердце»? Естественно, родные близко принимали затянувшуюся драму Алексея, не раз пытаясь его с кем- то познакомить, свести, но он каждый раз капризно отвергал кандидаток на Аленино «место», хотя у Алены в новой семье уже росла дочка. Но, может быть, это все-таки верность, хотя бы их совместному прошлому. Навряд ли.

Как-то Алексею позвонила бывшая Аленина подруга и сказала: «Хотите, я вас познакомлю с очень милой манекенщицей. Кстати, работает на Аленином месте. Да они и внешне схожи, только фигура у нее, поверьте, лучше, чем у вашей бывшей жены...»

И куда делся страдалец! Все вроде бы разом забылось, и вовсю заговорила гастрономическая эстетика: «Ожидая Цареву, Алексей еще раз оглядел достойно украшенный стол: армянский коньяк и буколе, салями и холодная фаршированная утка, зелень, маслины, сыр. И когда в дверь позвонили, пошел открывать с шаткой надеждой, что его судьба может перевернуться».

Оказывается, для «переворота судьбы» всего-навсего нужна была «получше фигура».

Но окончательно сердце успокоилось не тогда, когда появилась новая манекенщица с фигурой получше, а когда Алексей вновь увидел Алену: он «глядел на нее, узнавал и не узнавал. Куда подевалось ее узкое податливое тело! Головка, личико — все вроде бы ее. Но она так огрубела, раздалась, переменилась телом, *налилась такой грушей,* что он поспешно отвел глаза...» Вот и конец всей «драме», тут-то сердце успокоилось окончательно (курсив мой.— *А. Л.).*

Эстетические весы сработали не в пользу Алены, и она перестала для него существовать. Прежде он мог сколько угодно ее ругать и даже оскорблять, но то была словесная пена, которая тут же улетучивалась, нисколько не роняя Алену в глазах Алексея. А вот «налилась такой грушей» — это равносильно штампу «уценено».

Но, может быть, все-таки взыграло уязвленное самолюбие? Нет, Алексей ко всем людям относился объективно, как может только относиться абсолютно равнодушный ко всем человек. Он всех взвешивает на одних и тех же эстетических весах. Еще давным-давно, когда Алексей и Алена отдыхали в Тарусе, по соседству проживала переводчица. Потом почему-то вспомнится и она: «Соседний дом принадлежал переводчице, коротконогой, ярко-рыжей, похожей на хорошо сваренного и вставшего на хвост рака».

За что же так женщину? А за то, что немолода и некрасива, то есть неэстетична.

Эстетические весы работают беспрестанно, они своей механистичностью напоминают гильотину, в тупом безразличии рубящую головы всем подряд. Что там какая-то случайно встреченная переводчица... Алексей помнил по «домашнему» портрету знаменитую в прошлом певицу, красавицу Нину Александровну. Время не пощадило ни таланта, ни красоты, и, вероятно, не только время.

«В последний раз Алексей встретил ее на станции метро «Площадь Свердлова». В вестибюле, на скамеечке под уродливой бронзовой головой *зашевелилась куча тряпья,* он невольно замедлил шаг и вдруг узнал: ну конечно, это она, Нина Александровна!» (курсив мой. — *А. Л.).*

Эстетическая гильотина в беспощадном равнодушии рубит и родного отца: «Мудрейший долго приземлялся, подобно аэростату, переливаясь плотью в тонкой старческой оболочке». Или: «Отец лежал на спине, беспомощный, как перевернутая гигантская черепаха».

Портреты навеки запечатлели красоту Нины Александровны и бравость Мудрейшего, сами же они не выдержали испытания на прочность и теперь, по мнению Алексея, превратились в живую рухлядь. Человеческая красота мимолетна, и эта мимолетность оскорбляет Алексея. К тому же у этих людей есть перед ними «вина»: они своим старением и беспомощностью как бы напоминают ему о беспощадности времени, как покойники — об обязательности для всех неминуемого конца («Нет бывших мертвецов, но будущие — все...»).

Отяжелевший, уже тронутый старением Алексей признавал только очень молоденьких женщин, но вовсе не потому, что его тянуло к чистоте, а потому, что хотел надолго запастись «гарантированной» красотой женского тела. Что же касается всякого рода грязи, то тут Алексей был более чем терпим, вполне разделяя точку зрения признанного лидера «двенадцатого ряда» Павла Тимохина, утверждавшего: «Любовь всегда в грязи. Но грязь-то живая, она и пачкает только сверху. Оттого и о любви живой писать стыдились, то есть стыдились писать ее в грязи, как будто любви это страшно».

Спор с подобными взглядами бесполезен, ибо здесь не разные взгляды на любовь, а разные взгляды на жизнь, совершенно исключающие друг друга.

У Алексея, пожалуй, осталась с людьми только одна живая двусторонняя связь — зависть. К примеру, он не только признавал интеллектуальное лидерство Павла Тимохина, но и возводил его интеллектуальное лидерство в культ, однако, признавая и возводя, он одновременно и завидовал. Противопоставить Алексею было нечего, поскольку весь Алексеев женский «хоровод» Тимохин считал и называл «помойкой». И тогда Алексей беспощадно казнит своего «друга» по своим эстетическим законам:

«Хотя мускульно он (Тимохин. — *А. Л.*) был силен (крепкие сухие мышцы придавали красивый рельеф его торсу, имевшему нечто звериное от обильных волос, дымными крыльями возникавших даже на плечах), сил физических отпущено ему было немного. Желудок, поджелудочная железа, печень — все плоховато еще со времени студенчества. Его постарение произошло неожиданно, разом: подсох лицом и из прелестного юноши, пленявшего однокурсниц, стал мальчик-старичок. Седоватые мягкие волосы казались так легки, что Алексей думал: подует ветер, и от этого одуванчика останется один гвоздь».

А однажды Алексей испытал почти сладострастное чувство, когда подглядел, как состарился его «друг».

«Вечерами приятели собирались на веранде у Алексея, пили шампанское, говорили о литературе, спорили. Тимохин запаздывал, и Алексей внезапно заметил его идущего в полутьме, уверенного, что он еще не попал в полосу наблюдения. И даже вздрогнул. Нет, это был уже не мальчик-старичок, а просто старик, почти колдун — с опустившимся лицом и погасшими глазами, скорбный и страшный...»

В чем-то здесь Алексей, конечно, и довообразил в желаемую ему сторону. Каким, скажем, образом при своем слабом зрении на довольно большом расстоянии да еще в полутьме он смог увидеть «погасшие глаза» Тимохина?

«Но вот Тимохин оказался в конусе света, понял, что может быть увиден, и тотчас преобразился: глаза весело заблестели, сам подтянулся, защебетал, зачирикал и через десять минут был веселей всех, шутил, смешил, тормошил словами».

Какие уж тут друзья, какие общие цели, если соперничество шло на жестоком уровне молодящихся престарелых женщин?

Но и этого оказалось мало, далее Тимохин изничтожается окончательно: «Он стоял в любимой позе, заложив руки в кармашки жилета и слегка расставив короткие крепкие ноги».

По строгим «эстетическим» понятиям Алексея, лучше таскать кошельки или быть полным идиотом, чем иметь короткие ноги.

Как-то, когда родные измучились от фарса, который разыгрывали Алексей и Алена, произошел такой разговор:

«— Мужик! Как ты можешь так переживать! — кричал Ленин муж.

— Неужели ты ее примешь? — с нескрываемой злобой к Алене спросил брат.

Алексей только вертелся, отбиваясь от расспросов.

— Я бы ее за ноги повесила! — сказала Колина жена.

И тогда отозвался Мудрейший:

— Наверное, мы с тобой, Аленька, оба однолюбы...» Да, действительно, они, отец и сын, были однолюбами, только не в том смысле, что предполагал Мудрейший. Искренне, самозабвенно и постоянно они любили только самих себя. Алексей презирал чужую старость и чужие болезни, собственного же старения он замечать не хотел, молодился, бодрился, говоря его языком, «чирикал»... А что касается собственных болезней, так он даже любил их и порой вспоминал проведенные с ними ночи куда ярче, чем ночи, проведенные с женщинами, которых по ритуалу называл любимыми.

«К вечеру окреп ветер. Алексей Николаевич лежал и вспоминал ту московскую ночь. Когда под левой мышкой начала накапливаться тяжесть, он не обратил на это внимания. Эка невидаль! Но после полуночи тяжесть стала растекаться по левой руке, каждый палец ощутил в кончике биение пульса, и тупая боль объяла его всего. Нестерпимо заныли два пломбированных зуба, напомнили о себе и надорванный мениск в колене, и давно залеченная трещина руки. (Как все красиво: мениск, трещина в руке — профессиональные травмы теннисиста — и всего только два запломбированных зуба! Это тебе не со студенческих лет желудок и поджелудочная железа умника Тимохина. — *А. Л.*). Боль сгустилась и перетекла под левую лопатку. Он подложил повыше подушки и присел, упираясь в них спиной, страшась, что заснет и умрет во сне. Боль стала острой, захватив середину груди. Начались перебои сердца...»

Что ж, может быть, сердечная болезнь, только не в переносном, а в прямом смысле, и окажется во всей жизни Алексея Егорова единственно постоянной и нефальшивой и, как в старых романтических сказаниях, умрет с ним в один день и в один час. А мы вместе с Алексеем Николаевичем, как в далекие детские годы, будем пока верить, что этого никогда не случится.

Ну вот, я вынес «приговор» роману О. Михайлова, но, в отличие от критика из этюда Д. Голсуорси, не почувствовал, чтобы кровь моя быстрее побежала по жилам, а мне бы стало тепло. Мне стало грустно. О. Михайлов обратился к нам с исповедью, непридуманной исповедью, своеобразие которой не мешает в какой-то мере утолить и собственное наболевшее, но не высказанное чувство. В романе О. Михайлова присутствует по преимуществу то, что Толстой, вероятно, причислил бы к «постыдному», однако это «постыдное» не отзывается навязчивой обнаженностью, потому как оно приведено к единому итоговому чувству — к чувству пагубной *абсолютизации эстетического начала,* а герой заведен в страшный тупик, название которому *одиночество.*

Как мы уже говорили, семейная драма Алексея Николаевича обернулась фарсом, однако сам фарс обернулся глубокой человеческой драмой, поскольку на него, на этот фарс, было потрачено два десятка лет и полностью истрачена душа.

«Не жаль мне лет, растраченных напрасно...» Искренно так можно сказать лишь тогда, когда ничего именно так не жаль, как напрасно растраченных лет, напрасно не с обыденной точки зрения, а с точки зрения жизненных итогов, све-

ряемых с давними мечтами далекого детства и далекой юности; но не теми праздными мечтами, что отлетают навсегда, а теми, что формируют высокие гражданские и нравственные идеалы.

Да, детские сны и грезы пророчили Алексею Егорову ту жизнь, которой не суждено было осуществиться, и во многом по его собственной вине.

Наше поколение как-то смолоду потянуло на исповедь. Первые журнальные публикации, первые книги... и появляется термин «исповедальная» проза, призванный указать на главную особенность новой писательской генерации. Однако «исповедальная» проза оказалась как раз менее всего исповедальной. Впрочем, она и не могла быть иной, поскольку на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов наше поколение хотя и имело уже какие-то индивидуальные признаки, но еще не имело судьбы, а стало быть, и права на исповедь.

Преждевременная исповедь отталкивает нескромностью своих претензий, а запоздалая — оставляет равнодушным к неуместной в данном жанре мудрости. «Есть время для любви, для мудрости — другое», — сказал когда-то Пушкин. И опять оказался прав. Видимо, и для исповеди есть свое особое время. Во всяком случае, «исповедь» Олега Михайлова выгодно отличается от многих произведений, претендующих на искренность, но чаще всего отдающих неуместным публичным обнажением.

1982

ДЕРЕВНЯ И «ДЕРЕВЕНСКАЯ» ПРОЗА

...вопрос о земельной собственности есть основание всей истории Европы, и земля является в ней всегда самым могущественным фактором цивилизации.

Лоренц Штейн

1

Термин «лирическая» проза — так поначалу называлась проза о деревне — стал входить в широкий оборот в середине прошлого десятилетия, когда «исповедальная» литература в силу разных причин, в том числе и за недостатком на нее читательского спроса, явно пошла на убыль. «Лирическую» прозу тогда справедливо связывали с именами Федора Абрамова и Михаила Алексеева, Виктора Астафьева и Василия Белова, Сергея Крутилина и Виктора Лихоносова, Евгения Носова и Василия Шукшина. Правда, сам термин «лирическая» проза оказался недолговечным (хотя им пользуются изредка и теперь) и уступил место столь же условному термину — «деревенская» проза.

Нужно заметить, что и «лирической» прозе иногда было свойственно обращаться к повествованию от первого лица, но если «исповедальный» герой пытался по преимуществу раздвигать границы своих личных прав, противопоставляя личные интересы интересам остального общества, и тем самым привлекал к своей персоне внимание, в основе которого порой лежало простое удивление, то герой «лирической» прозы как бы сместился в сторону, ушел в тень, и в центре нашего внимания оказался не он сам, а окружающий его мир с его истинными конфликтами и жизненными противоречиями. Эгоцентризму и элитарным наклонностям «исповедального» героя он противопоставил истинный демократизм.

В конце шестидесятых — начале семидесятых годов даже противники «деревенской» прозы вынуждены были признать ее ведущее положение в современном литературном процессе, хотя и пытались по-прежнему целой системой оговорок както умалить ее значение. К таким оговоркам следует, в частности, отнести и толкование «овечкинского» направления, наиболее законченно прозвучавшее в выступлении Б. Анашенко-

ва. Суть его сводилась в основном к следующему: литература о деревне развивалась и развивается совершенно автономно, независимо, скажем, от литературы о Великой Отечественной войне или о рабочем классе. По мысли Б. Анашенкова, литература развивается от жанра к жанру, и в ненарушении этого порядка он видит залог успешного ее развития: сначала появляется очерк, затем некий переходный жанр и только потом уж «чистая» проза. «Сколько лет, — пишет он, — разделило те же «Районные будни» и, скажем, «Привычное дело» Белова. И такие они разные, эти вещи, что литературные критики уж и связей никаких тут не улавливают». И нам сразу же рекомендуются эти связи: «В этом смысле «Деревенский дневник» (Е. Дороша. — *А. Л.*) явился как бы переходным мостом от деревенского очерка 50-х годов к деревенской прозе наших дней». И совсем уж категорично: «...без Овечкиных не было бы и Дорошей...».

Выстроив в такой ряд жанры и писательские имена, Б. Анашенков выводит из этого построения универсальный закон развития литературы, пытаясь на его основании спрогнозировать, в частности, дальнейший путь развития рабочей темы. «Думаю, что и рабочая тема как некая рубрика, графа, отступит на задний план после появления «Рабочего дневника», равного «Деревенскому...» В том, что «Рабочий дневник» рано или поздно появится, я не сомневаюсь».

Собственно говоря, вся концепция Б. Анашенкова укладывается в название его статьи — «Сначала будет очерк».

Настораживает умозрительность предлагаемой концепции. Во-первых, авторы ее, начиная вести по непроясненным причинам родословную современной прозы о деревне от очерков Овечкина, в какой-то мере невольно игнорируют развитие традиций русской литературы в творчестве современных писателей (им, вероятно, кажется, что ни Федор Абрамов, ни Михаил Алексеев, ни Василий Белов, ни Юрий Галкин, ни Сергей Крутилин, ни Виктор Лихоносов, ни Борис Можаев, ни Евгений Носов не имеют ничего общего ни с Львом Толстым, ни с Иваном Тургеневым, ни с Глебом Успенским, ни с Иваном Буниным), а заодно оставляют за бортом почти тридцатилетний опыт самих советских писателей, в том числе и опыт Михаила Шолохова. А если уж говорить о Василии Белове, то просто немыслимо выставлять его ближайшими и единственными предшественниками Ефима Дороша и Валентина Овечкина и одновременно умалчивать, например, об Александре Яшине, хотя, конечно, разговор ограничиться здесь не может и Яши-

ным, поскольку творчество Белова опирается на более обширные традиции, которые не сводятся к двум-трем именам.

Во-вторых, они в этой концепции видят главное не в преемственности и развитии духовной жизни народа и отражении ее в литературе, а лишь в «правильном» взаимодействии жанров, точнее, в соблюдении определенной очередности освещения того или иного жизненного явления каждым жанром. Между прочим, Б. Анашенков прямо утверждает: «Я выписываю столь подробно кривую движения деревенской прозы, пытаясь уловить взаимодействие различных жанров, роль и место критики в этих процессах потому, что предвижу точно такие же ступени и в развитии литературы о рабочем классе».

Но если говорить о взаимодействии жанров, так зачем же оставлять за бортом этого разговора поэзию, ведь она как-никак тоже жанр. И неужели поэзия Сергея Есенина, Михаила Исаковского, Александра Твардовского, Александра Яшина так уж и не сыграла никакой роли в становлении современной прозы о деревне? Или этот жанр вообще некоммуникабельный и, по мысли авторов концепции взаимодействия жанров, поэзия Николая Рубцова меньше «взаимодействует» с «Привычным делом» Василия Белова, нежели, к примеру, очерки Георгия Радова?

2

В статье «Читая Толстого» К. Симонов, говоря о войне 1812 года, справедливо замечает: «В России никому не приходило в голову связывать со словом «отечество» другие европейские войны начала девятнадцатого века, в которых участвовали русские войска, скажем, итальянский и альпийский походы Суворова* или кампании 1805—1807 годов». Вот в том-то и дело, что не всякую войну назовешь *отечественной*, а только ту, которая вторгается в судьбы каждого и в судьбу народа в целом, а сам народ исполняет свою историческую освободительную миссию. И *правду* такой войны можно выразить лишь через *правду* народного характера, искать же ее вне такого характера — значит отводить народу в истории второстепенную роль.

Если бы Лев Толстой изображал в «Войне и мире» не отечественную войну, то он, вероятно, показал бы Наполеона ве-

---

* Здесь явная неточность: альпийские походы Суворова принадлежат концу восемнадцатого века.

ликим полководцем, но в отечественной войне подлинно великим может быть только народ, ибо разбуженный гений народа сильнее воли любого, даже гениального человека.

И мы обращаемся к периоду Великой Отечественной войны потому, что этот период, повторяю вновь, был одним из важнейших этапов в развитии нашего национального характера и без глубокого философского осмысления Великой Отечественной войны вряд ли возможно проникнуть в подлинную сущность последующих событий и жизненных явлений, не растеряться под напором достоверных жизненных фактов.

И тут достаточно вспомнить хотя бы стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», написанное им в первые же месяцы войны. Представьте себе: молодой, до мозга костей городской человек, с довольно широким и масштабным диапазоном виденья, и вдруг...

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Откуда это? Война! Война дала то прозрение, к которому можно было идти долгие годы, всю жизнь, но так к нему и не прийти. И биография этого прозрения уложена здесь же, в строках стихотворения: «Не знаю, как ты, а меня с деревенскою дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и песнею женскою впервые война на проселках свела». Вот тот маршрут по родной земле, который позволил поэту без тени фальши и без какого-либо верноподданничества сказать о Родине высокие и пронзительно-искренние слова.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,

Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

Удивительные стихи! Их можно читать хоть тысячу раз, и все равно в них не исчезнет звучание пронзительного драматизма, которое невозможно придумать, которое можно только исторгнуть из самых сокровенных и заповедных мест души. И если такие стихи «пришли», их невозможно не написать. И главное тут вовсе не в том, что вот, дескать, городской человек наконец-то додумался, что родина — это не дом городской... Нет, и «дом городской» — это родина, и никакая не *вторичная*, а самая настоящая, самая *первичная*.

Читая современную прозу о деревне, невольно вспоминаются строки: «Ты знаешь, наверное, все-таки родина...» Тут важно то, что в душе городского человека, который *празднично жил*, произошел сдвиг в сторону подлинной демократизации чувств и мыслей, сдвиг бескорыстный и необратимый, хотя, разумеется, не столь очевидный, как нам это представляется теперь, спустя десятилетия. И нынешний интерес нашей литературы к деревне, к ее судьбе, объясняется прежде всего тем, что талантливые писатели, естественно наиболее чуткие к важнейшим жизненным процессам современности, увидели в настоящей деревне узел таких противоречий и конфликтов, которые нельзя не назвать историческими, что в первую очередь связано с ломкой старого (в чем-то еще патриархального) уклада жизни, ломкой, вызванной интенсивной индустриализацией деревни. Конечно, прогресс — дело хорошее, однако не дай бог нам забыть уроки минувшей войны, которая многим открыла истину, что родина — это не только «дом городской».

Я обращаюсь к этим стихам К. Симонова не потому, что он открыл и запечатлел в них какую-то недоступную другим истину, а потому, что ему, на мой взгляд, удалось своевременно выразить чувство, которое в то время посетило миллионы людей. Естественно, в дальнейшем на это чувство наслоилось множество других, и Симонов, кажется, остался более верным другим впечатлениям, которыми обременила его война.

Но то чувство не погибло, оно глубоко ушло в почву народного сознания и через два десятка лет, окончательно созрев, отозвалось многими совершенными произведениями художественной литературы. В продолжение этих двух десятилетий растущий ствол давал боковые побеги (как слабые, так и сильные), однако сезон плодоношения был еще впереди, и пришелся он на середину прошлого десятилетия, совпав с началом серьезных изменений в самом деревенском укладе. И город тут не был сторонним наблюдателем. Поэтому-то мы и не можем считать ни Федора Абрамова, ни Михаила Алексеева, ни Виктора Астафьева, ни Василия Белова, ни Виктора Лихоносова, ни Бориса Можаева, ни Евгения Носова, ни Валентина Распутина, ни Василия Шукшина «деревенскими» писателями, если даже они своим происхождением или своими нынешними интересами связаны с деревней, они не в меньшей степени (в силу своего образования, рода занятий, жизненного опыта и гражданского темперамента) интеллигенты, нежели писатели, пишущие на темы «недеревенской» жизни, и, в общем-то, не деревню они «показывают», а отношение современного интеллигента, современного городского человека к укладу деревенской жизни и к истории крестьянского миросозерцания. А то, что они во всех подробностях знают деревню, не может быть поставлено им в упрек, как не может им быть поставлена в упрек их искренняя любовь к трудовому человеку земли.

Объективные противники «деревенской» прозы с непадающим упорством пытались хоть как-то принизить ее значение в современном литературном процессе. И термин-то какой придумали — «деревенская» проза. Одним этим термином можно было убить к ней всякий интерес. Однако не убили. И дискуссии следовали одна за другой. Но все попытки отодвинуть «деревенскую» прозу на периферию литературного процесса желаемого результата не дали, хотя, нужно признать, многие вопросы, связанные с этой литературой, были достаточно запутаны.

3

Вспомним очерк В. Травинского «К портрету державы» («Знамя», 1967, № 11). Автор очерка ни мало ни много предложил перевести все сельское хозяйство Российской республики на Камчатку (там обнаружены естественные горячие источники, используя которые можно построить обширнейшие, гигантские парники). Я не стану критиковать эти фантазии с

точки зрения их выполнимости, экономической целесообразности и стратегического благоразумия. Меня интересует сейчас другое — люди, а конкретнее, люди деревни, которых основательно затрагивают фантазии Травинского.

И вот как предлагается решить их судьбу: «Проблема освободившейся земли и непристроенных рук? Для России*, во всяком случае сегодня, это не проблема. 19 миллионов колхозников и 7 миллионов работников совхозов (прибавьте к этой цифре членов их семей, и вы получите численность крупного европейского государства. — *А. Л.*), участвовавших в сельскохозяйственных работах в 1964 году, сей момент нашли бы применение в промышленности Сибири и Дальнего Востока, снабди их жильем и едой».

Это точно очень сказано: не «домами» или «квартирами», а «жильем». Травинский полагает, будто крестьянину не нужны ни школы, ни университеты, ни театры, дай ему только харч и крышу и можешь гонять его по всему белому свету. Я не стану дальше комментировать смелые прожекты В. Травинского и отважусь сам пофантазировать. Представьте себе, кто-то написал очерк, в котором предложил бы, обеспечив едой и жильем, переселить в Сибирь и на Дальний Восток не крестьянство, а... интеллигенцию. Тут бы пошли такие аналогии и такой подтекст (хотя бы в связи с географией), что не приведи господь!

Удивительная вещь: стоит кому-то из писателей выразить свою любовь к деревне чуть погорячей, как у него находится масса оппонентов, доказывающих опасность и несвоевременность любви к деревне. Но вот у В. Травинского почему-то не обнаружилось ни одного оппонента. То ли все согласились с ним, то ли не придали его инициативе особого значения...

Или вот, насчет жилья.

Разгорается, к примеру, спор о том, в каком доме жить крестьянину. Писатель Б. Можаев поет чуть ли не гимн русской печке и призывает вообще к осторожности при проведении «переселенческих мероприятий». Казалось бы, надо внимательно прислушаться к голосу «деревенского» писателя. Но не тут-то было. Против него широким фронтом выступают всякие «специалисты». (У нас порой побывает человек раз-другой на селе в командировке, как его уже считают спе-

* А почему именно для России? Если в том виден прогресс, то как-то неудобно начинать именно с России. Если же это не прогресс, так зачем все это и затевать.

циалистом по деревне.) Можаева дружно обвиняют в равнодушии к нуждам сельского жителя, доказывая, что газ, водопровод, канализация и прочие удобства есть благо, а не зло, хотя сам Можаев никогда не доказывал обратного. Но получается так, будто Можаев и есть тот самый недоброжелатель, усилиями которого деревня до сих пор не пользуется всеми достижениями цивилизации.

Но в ходе спора мало-помалу выясняется, что в компенсацию за газ идет вовсе не только русская печь, туда же идут: изба, двор и сама деревня. Оказывается, чтобы получить газ и водопровод, крестьяне должны съезжаться в многоэтажный дом, то есть не газ должны подвести к крестьянину, а крестьянина к газу, а это не одно и то же.

А все-таки любопытно: неужели Б. Можаев воспевал русскую печь и защищал крестьянский двор только в силу своей отсталости или лютой нелюбви к цивилизации? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо выяснить, что же это такое — крестьянский двор (с избой, хлевом, огородом и т. д.), но выяснить не только с точки зрения абстрактных удобств или неудобств.

Жизнь в деревне — это не только труд на свежем воздухе, но еще и определенный уклад, к которому можно, конечно, привыкнуть или не привыкнуть, но который полностью нельзя преодолеть, ибо он сложился не в силу чьей-то прихоти или случайности, а в силу определенных исторических закономерностей. Конечно, из этого уклада что-то постоянно уходит, а что-то новое в него постоянно приходит, и жизнестойкость его только подтверждает мысль о его постоянном совершенствовании. И вот теперь, отбросив всякие споры, хотелось бы на нескольких примерах показать, в чем же сущность этого уклада, опирающегося на крестьянский двор.

Крестьянский двор — это не просто жилье, как полагают некоторые литераторы, а сложившаяся в ходе многовекового развития жизнестойкая универсальная ячейка общей структуры земледельческого хозяйства, в основе которой лежат семейные отношения. Все вопросы, начиная от воспитания детей и кончая вопросами научного землепользования, находят здесь свое рациональное решение, соответственное *содержанию* крестьянского труда. Однако это совершенно не означает, будто крестьянский двор представляет собою замкнутый организм, стремящийся к изоляции от остального мира. Степень замкнутости зависит от внешних обстоятельств, а ее

подвижность обеспечивает жизнеспособность этому организму и всей земледельческой структуре в целом.

Возьмем хотя бы такой вопрос, как трудовое воспитание детей. На селе сама система крестьянского двора почти стихийно обеспечивает это воспитание. Здесь ребенок с самого младенчества, открывая для себя мир, подчиняется авторитету труда, носителями которого являются его родители. Вот он видит корову, лошадь, собаку, растение или ту самую русскую печь, на защиту которой поднялся Б. Можаев. Естественное стремление «познать» их обращает взор его в сторону родителей, которые не только *все знают, но и все могут*. На его глазах родители ежечасно «обуздывают» этот внешний мир, влекущий ребенка своей таинственностью и своим многообразием. Крестьянский ребенок «подчиняет» себе мир, то есть осмысливает его закономерности через родителей, во всяком случае, прежде всего через родителей. И это, например, очень убедительно показано в повести Михаила Алексеева «Карюха», одном из самых поэтичных произведений современной прозы о деревне.

Современный город — это еще совсем молодой и далеко не сложившийся организм. По форме его можно считать наследником старого города, но по своему содержанию он — явление принципиально новое и еще очень и очень молодое. История знала и сложившиеся структуры городов, например, античные греческие города. Наш современный социалистический город сейчас находится в стадии своего становления, и мы должны его не под небоскребы причесывать (и тем самым идти в ногу с веком), а приводить в соответствие с тем содержанием труда, которым живет наше общество. А примеры древних сложившихся, а затем и разложившихся городских структур и пример нашей деревни подсказывают, какую роль, в частности, должны играть вопросы воспитания граждан в городе, чтобы города не обернулись каменными джунглями. Естественно, что и деревня не остановилась в своем развитии. И тут трудно не согласиться с Федором Абрамовым, сказавшем на VI писательском съезде: «...старая деревня с ее тысячелетней историей уходит сегодня в небытие.

А это значит — рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша национальная культура. Ибо, перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать: все мы вышли из деревни».

Несколько лет назад на страницах «Литературной газеты» продолжительное время велась упорная защита проекта ДНБ

(дома нового быта). По мысли авторов проекта в квартирах дома нового быта не предусматривались кухни, но зато предусматривалась на одном из этажей общественная столовая, в которой и обязаны будут питаться обитатели этого сооружения. Авторы и защитники проекта искренне верили в прогрессивность своих идей, но вот внедрять свои идеи они собирались явно не прогрессивным, а насильственным путем, лишив человека права выбора. Ведь если у тебя не будет в квартире кухни, то ты поневоле пойдешь в общественную столовую, и вовсе не потому, что так тебе удобней.

Сторонники проекта ДНБ отстаивали свое право на эксперимент и в качестве аргумента в пользу своего проекта приводили довод, дескать, уже есть много желающих поселиться в их сооружение. Между прочим, в условиях жилищных затруднений — это не довод. Если уж действительно проводить эксперимент, а не только спекулировать этим понятием, то *право выбора* необходимо обеспечить обеим сторонам: и экспериментаторам, и жильцам. Постройте два дома одной и той же категории, выдайте каждому жильцу по два смотровых ордера с предложением выбрать себе квартиру в любом доме и тогда уж определяйте, какая конструкция таит в себе больше преимуществ для человека.

Хорошо, я отдаю себе отчет в том, что в природе существует еще привычка и порой люди попросту боятся всего нового, необычного. Это тоже можно учесть и провести такой эксперимент: построить и заселить дом нового быта, а рядом через год возвести дом обычного типа и предложить всем желающим, прожившим год в ДНБ, переселиться в обычный дом: за год, нужно думать, каждый сможет реально оценить преимущества и недостатки «новаторской» конструкции. Так или иначе, можно ставить эксперимент с участием людей, но нельзя ставить эксперимент над людьми, лишив их права выбора, когда речь идет о форме и содержании их постоянного быта.

Между прочим, ошибка некоторых литераторов как раз и состоит в том, что увиденные в деревне проблемы они считают чисто деревенскими, а увиденные в городе — чисто городскими, не подозревая, что большинство проблем, как правило, носят общий характер, а если и есть чисто «деревенские» или чисто «городские» проблемы, то все равно они как-то между собою связаны. И эта истина далеко не новая.

«Никогда русская деревня и даже просто «деревенская глушь» не пользовалась в такой степени благосклонным вни-

манием образованного русского общества, как в настоящее время. Одни, убедившись в бесплодии своего интеллигентного существования «в одиночку», ищут или, вернее, полагают найти под соломенными крышами недостающее им общество, среди которого и надеются растворить остатки своих умственных и нравственных сил... Другие, напротив, полагают найти под теми же крышами нечто совершенно новое, небывалое, спасительное чуть ли не для всего человечества, погибающего от эгоистически направленной цивилизации. Третьи интересуются ею просто с эгоистической точки зрения, стремясь доподлинно знать, что именно можно взять у деревни для улучшения своего интеллигентного существования... Но, вообще, для каждой из заинтересованных групп совершенно ясно стало в последние дни, что деревня начала играть значительную роль и что мой карман, мой ум, мой душевный мир — все это как будто находится в самой тесной связи с карманом, умом и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенского кармана опустошит и мой; темнота деревенского ума не даст хода и моему уму, довольно-таки просвещенному...»

Эти слова были сказаны Г. Успенским почти сто лет назад. И если тогда «деревенские» вопросы не были, по сути дела, деревенскими только, то теперь тем более. И нет у нас никаких особых «деревенских» вопросов, и нет у нас никакой «деревенской» литературы — это все выдумки равнодушных людей. Современные острые вопросы деревни — это наши общенародные вопросы, от правильного решения которых зависит судьба всего народа, а не только одного крестьянина. Современная литература о деревне — это общенациональная литература, и достижения ее способствуют расцвету всей отечественной литературы, в том числе и литературы о городе. Забота о современном городе начинается с заботы о старой деревне. Ведь оно и впрямь, как аукнется, так и откликнется.

Да, конечно, крестьянство, должно пользоваться всеми современными достижениями цивилизации, но забота наша должна выражаться не столько в том, чтобы в деревенский быт активно проникали отдельные достижения цивилизации, а в том, чтобы крестьянство имело широкую возможность реализовать свое право по своему усмотрению и в тех его формах, которые ему кажутся наиболее предпочтительными.

Разумеется, некоторые понятия, вкусы и отдельные стороны крестьянского быта не во всем совпадают с нашими, городскими, что обусловлено самой формой крестьянского труда, но вот чтобы покушаться на них, в первую очередь, нужно

знать их во всех подробностях и общей взаимосвязи, и не только знать, но и уважать. Вот это чувство уважения и воспитывает в нас современная проза о деревне. И тут хочется вспомнить один эпизод из повести Юрия Галкина «Будний круг».

Руководитель районного масштаба Делошацкий (сугубо городской человек) объезжает подведомственные ему колхозы и совхозы, в общем-то, он плохо знает деревню, правда, к людям относится без особого предубеждения. Вот он оказывается в доме председателя колхоза Окладникова, человека уже немолодого, прошедшего фронт и имеющего солидный председательский стаж. Примерно тех же лет и жена председателя — Дарья. Она сразу накормила гостя и поведала ему свою нелегкую судьбу.

«А она и не спросила, кто я, откуда, — думалось Делошацкому, и он опять и опять вспоминал лицо Дарьи. — Неужели ей все равно, кого кормить и кому рассказывать свою жизнь? Или у нее какое-то другое понятие о людях, так отличное от моего, что я его не понимаю! Правда, я чувствую, что оно очень хорошо, верно...» И вдруг ему приходит в голову: вот она рассказала все про себя, про своих детей, про мужа с его фронтовой женой, но от этого ни она сама, ни ее дети и муж не стали ему неприятными, даже наоборот, даже хотелось посмотреть ту фигру, подарившую Дарье внучку, — как будто бы жизнь этих людей внезапно осветилась зарницей и показалось на миг ее сложное и надежное устройство... И если бы пробыть в том доме весь вечер, узнал бы и действие этого устройства, и как там все и почему оно живет так уверенно и надежно, так заманчиво просто и прекрасно...»

Вот это «сложное и надежное устройство» во многом перевертывает сознание Делошацкого, ему даже вдруг захочется пойти поработать директором совхоза... Он станет мечтать в подробностях, как в грязных сапогах и выгоревшей кепке, но непременно в белой сорочке и при галстуке, будет ездить по полям и окажется причастным к этому «сложному и надежному устройству», и мечты эти доставят ему какие-то особые минуты радости и душевного спокойствия.

И пусть мечты Делошацкого так и останутся мечтами, не в том дело, главное, что он не выдвигает альтернативы: или белая сорочка — или то «сложное и надежное устройство». Делошацкий уже понимает, что и в деревне можно ходить в белой сорочке с галстуком, но это в деревне не должно быть главным и единственным занятием, своего рода просветительской миссией.

Некоторые из нас не прочь поговорить об отсталости крестьянства, о пережитках прошлого в его сознании, хотя я уверен, что именно труд на земле при коллективном землевладении, так же, как коллективный труд рабочих промышленных предприятий в наибольшей степени способствует освобождению от этих пережитков. И не является ли как раз одним из худших пережитков, когда в ходе этой «заботы» о крестьянине некоторые писатели начинают решать за крестьянина, в каком доме и под какой крышей ему лучше жить, иметь ли ему приусадебный участок или он ему в тягость, оставлять ли ему в хозяйстве корову или вести ее на бойню, порушить ли ему русскую печь, а заодно и собственный дом, каким образом тратить ему свои трудовые сбережения и так далее?

В истории человеческого сознания остановок не бывает, хотя движение может порой оказаться незаметным или скрытным, но это вовсе не означает, что его нет. Эволюция мужицкого (крестьянского) сознания в различные времена имела разный темп, и темп этот то ускорялся, то замедлялся, но никогда не было времени абсолютного покоя и абсолютных пауз. Другое дело, что по невнимательности или в силу каких-либо других причин далеко не всегда фиксировались изменения в сознании крестьянина, и тому, конечно, могли быть причины даже исторически извинительные, однако в этом случае оставалось восполнять пробелы в собственных знаниях и наблюдениях и не торопиться с поспешными выводами.

Вообще в природе нет и никогда не было внеисторического мужика. В этом смысле бесперспективно противопоставлять мужиков Бунина, Успенского или Подъячева толстовскому Платону Каратаеву и искать, кто же из перечисленных авторов был ближе к пониманию мужика. В произведениях Бунина, Успенского, Подъячева нашли отражение те изменения в сознании и способе существования крестьянства, когда капитализация деревни стала фактом для одних желательным, для других нежелательным, но настолько очевидным, что не считаться с ним означало не считаться с реальной действительностью. И в связи с капитализацией деревни не только менялась экономическая картина деревенской жизни, но и происходили заметные сдвиги в психологии крестьянства. Особую роль играл теперь и город. «Город давал деревне при капитализме то, что ее развращало, политически, экономически, нравственно, физически и т. п.», — писал Ленин. В период капитализации деревни и происходил в сознании крестьянства особенно сильный сдвиг в сторону частнособствен-

нической психологии. История крестьянина-труженика куда более длительна его истории крестьянина-собственника, и с этим фактом нельзя не считаться. И думать сегодня, что крестьянство по какому-то врожденному своему неразумению не сумеет соблюсти ни собственной выгоды, ни выгоды общенародной, значит невольно вставать на точку зрения исторически извинительную два с половиной века назад, но никак не сейчас. Подобный же взгляд сегодня — это образчик консервативного мышления.

Дмитрий Иванович Писарев в свое время верно заметил: «Писатели с посредственным талантом и с ограниченным даром наблюдательности не умеют воссоздавать народное миросозерцание и часто вовсе не подозревают его существования. Они подмечают только внешние угловатости и резкости, и потому их сцены из народной жизни, при бедности и бесцветности внутреннего содержания, отличаются аффектацией и подделкой народного разговорного языка...» Если есть такие писатели, вполне оправданно предположить, что есть также и читатели, даже не подозревающие о существовании народного миросозерцания и о его многовековой эволюции. А если говорить об интеллигентности, то степень ее определяет не предмет изображения, а отношение к предмету изображения.

И мы с удовольствием можем отметить, что современная литература о деревне поднялась над тем, чтобы замечать лишь «угловатости и резкости» деревенской жизни. Не обходя их стороной, она в центр своего внимания взяла человека, миросозерцание которого формировали суровые исторические события (в частности, ее герой, как правило, — вчерашний солдат Великой Отечественной войны). И она не противостоит ни городу, ни его подлинным интересам.

4

Общественный прогресс во многом поверяется нравственным законом времени, выработанным коллективной волей народа в часы наибольших для него испытаний. Пожалуй, в этом отношении образ Сергея Митрофановича (рассказ Виктора Астафьева «Ясным ли днем») представит для нашего разговора наибольший интерес, и не потому, что герой приобщен в своей жизни к нравственному закону времени, а потому, что волею судеб он (в период войны) стал одним из многочисленных его творцов и собственною волею (после войны) отмеже-

вал себе трудное в жизни право быть его верным, пусть и не единственным хранителем.

Время с возрастом как будто постоянно получает добавочное ускорение, и годы летят все быстрее и быстрее. Не успел вчерашний солдат еще по-настоящему найти себя в жизни, а ему уже — тридцать; не успел реализовать своих замыслов, а ему — сорок. И вот уже его сыновья или сыновья его ровесников готовятся стать солдатами... Быстро бежит время. Каков же ты, вчерашний солдат, сегодня, когда тебе приходится разменивать пятый десяток? Да, ты в жизни видел много лиха, немало вынес горя и бед, но ты видел в жизни и радость, и она всегда шла от людей, тех, что ты встретил на своем жизненном пути.

Миллионы жизней унесла война. Однако не все остались там, на поле боя, иных война и пощадила. Вернулся домой и Сергей Митрофанович, хотя война и «поменяла» ему ногу на бесчувственную «деревяшку». И если бы только это! Когда его жена Паня приехала в госпиталь, у нее состоялся с врачом следующий разговор: «Будто между прочим врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да чего горевать? Дело молодое...» — «Очень жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился».

И здесь невольно вспоминается Джейк из романа Хемингуэя «И восходит солнце» («Фиеста»). Правда, Джейк не потерял на войне ни рук, ни ног, но получил ранение, обрекавшее его на пожизненное одиночество. «Я, в сущности, раньше никогда не задумывался над этим. И теперь старался относиться к этому легко и не причинять беспокойства окружающим. Вероятно, это никогда не помешало бы мне, если бы не встреча с Брет...» Вот именно, «если бы»... Жизнь, она, между прочим, предполагает когда-нибудь и Брет...

«Мысль заработала. Старая обида. Да, глупо было получить такое ранение, да еще во время бегства на таком липовом фронте, как итальянский... Там (в госпитале. — *А. Л.*) меня навестил тот полковник... Я был весь забинтован. Но ему сказали про меня. И тут-то он и произнес свою изумительную речь: «Вы — иностранец, англичанин (все иностранцы назывались англичанами), отдали больше, чем жизнь...» Он и не думал шутить. Он, должно быть, представлял себя на моем месте».

Джейк, в общем-то, человек общительный, хотя сам он всегда одинок, да и с ним тоже как-то одиноко. Джейк хорошо помнил войну. Война для него была — «старая обида».

Сергей Митрофанович — человек тоже не замкнутый и тоже помнил войну, но у него не было никакой обиды, а было чувство ответственности за все, что происходит вокруг. Он как бы принял на себя ответственность и тех, кто остался там, на поле боя. Весь расчет его орудия погиб во время танковой атаки противника, а он один уцелел, вернее, не уцелел, а остался жить. И вот теперь: «Покой был на земле и в поселке. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Отяжеленная металлом и кровью многих войн земля безропотно принимала осколки, глушила в себе отзвуки битв, но в теле старого солдата война жила неизбывно. Он всегда слышал ее в себе».

После Первой мировой войны на Западе появился термин «потерянное поколение», к нему принадлежал и Джейк с его «старой обидой», «глупым ранением», «липовым фронтом». А если все это соединить, то получится — чужая, ненужная война, бойня для целого поколения.

Сергей Митрофанович — участник совершенно иной войны — отечественной. И здесь совсем другие мерки, другое отношение. Внешне войны могут походить одна на другую: боль, кровь, смерть, грязь, грохот, страх, радость победы, горечь поражения... Но каждая война имеет свое внутреннее содержание, и задача художника — раскрыть это содержание через правду человеческих характеров. Поэтому, когда мы упрекаем художника за то, что он о Великой Отечественной войне пытается писать по-хемингуэевски или по-ремарковски, в этом упреке нет или, во всяком случае, не должно быть упрека ни Хемингуэю, ни Ремарку. Их жизненный опыт не может служить нам примером не потому, что он хуже или лучше нашего, а потому, что он *иной*, иным должен быть и творческий путь художника. Каким? В первую очередь — самостоятельным.

Действительно, астафьевский Сергей Митрофанович не был замкнутым человеком. Встретил на вокзале ребят-новобранцев и тут же познакомился с ними, разговорился, хотя, по правде говоря, выглядели эти новобранцы не столь уж и привлекательно. Потом он окажется с ними в одном вагоне, и в конце концов дело у них дойдет до песни. А когда Сергей Митрофанович запел... «Полуприщуренный взгляд его был смягчен временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим смерть. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, с души его струпьями сходила скверна и накипь житейских будней, по-

требность в братстве ощущал человек, чтобы его любили и он бы любил кого-то».

В данном случае два поколения как бы встретились на песне. «Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его». Это обстоятельство давало ту ясность взгляда на жизнь, когда мудрость приходит, намного опережая старость. И не только мудрость мысли, но и мудрость чувств.

«...Человек переставал быть одиноким...»

Как бы ни старалась юность упрятать свое беспокойство перед неизвестностью наступающей жизни, манящей и пугающей одновременно, мудрый человек всегда распознает истинное состояние души молодого человека. И тут молодости очень нужна поддержка, однако лишь в той форме, когда не ущемляется хрупкое достоинство самой молодости и не снижается авторитет порой весьма обидчивой зрелости.

«...с души его струпьями сходила скверна и накипь житейских будней...»

Это очень верная мысль, что лучшие люди отдают людям только свои лучшие чувства и мысли. К сожалению, человек накапливает в жизни не только *богатства*, но и *долги*. Мудрый человек — всегда нравственный человек, и он понимает, как трудно избавляться от последних, а потому старается оставить своим преемникам *богатства*, не отягощенные *долгами*.

Сергей Митрофанович пел, и он знал, что именно в песне он делится с людьми самыми заповедными своими *богатствами*, не отягощенными ничем, что может хоть в какой-то степени их девальвировать.

И молодость тут же перед ним распахнулась, раскрылась. Ребята не только лучше сейчас поняли самих себя, песня неожиданно раздвинула их представления о людях и о жизни. Вскоре Сергей Митрофанович станет прощаться со своими молодыми попутчиками, и тогда один из них скажет: «Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина». И он не ошибся. Действительно, жена у Сергея Митрофановича была очень «правильная женщина», и не будь ее постоянно рядом, возможно, и у Сергея Митрофановича общий баланс был бы в пользу *долгов*, а не в пользу *богатств*. Но тут очень важно и другое. Важно, что эта нравственная истина пришла к молодому человеку, как откровение через песню.

«...потребность в братстве...»

В разговоре о периоде Великой Отечественной войны и о *высоком* нравственном законе того сложного и трудного вре-

мени слово *высокий* было употреблено не ради одного только почтения к столь яркой странице истории нашего народа. Помимо всего, в это слово вкладывается очень конкретное содержание. Принцип «обязательной взаимности» (Бюхнер) в период войны обрел особый смысл и особое содержание. Теперь уже недостаточны простая взаимовыручка, простое участие в судьбе ближнего, простое чувство коллективной ответственности. Теперь, когда на карту была поставлена судьба Родины, готовность к самопожертвованию стала нравственным долгом, который и лег в основание нового, высшего содержания вечного принципа «обязательной взаимности». Ребята ехали служить в армию, они слушали песню бывшего солдата, и в них просыпалась не только потребность в братстве, но и готовность к нему.

«...чтобы его любили и он бы любил кого-то...»

Пока попутчики Сергея Митрофановича только стояли на пороге новой жизни, но они уже предчувствовали ее, предощущали. И в этой новой жизни они ожидали любви, освященной самым универсальным для армии словом — *верность*.

Очень скоро в судьбу молодых попутчиков Сергея Митрофановича ворвутся новые события и новые впечатления, под напором которых, естественно, постепенно сотрется образ встреченного ими в пути немолодого человека. Но песня не забудется и не сотрется, напротив, с годами она будет обретать новый и сложный смысл.

В рассказе «Ясным ли днем» раскрывается характер не только одного конкретного человека — Сергея Митрофановича, в нем раскрывается характер народа. Когда ребята-призывники слушали Сергея Митрофановича, то «изумлялись: как это с таким голосом он затерялся в глуши?» «Но в искусстве, — рассуждает дальше автор, — как в солдатской бане, пустых скамеек не бывает. И поет где-то вместо Сергея Митрофановича тугой на ухо, пробойный человек. Он же все, что не трудом добыто, а богом дано, ценить не научен и к дару своему относится стыдливо, поет, когда сердце просит или когда людям край подходит, поет, не закабаляя дара своего, но и не забавляясь им».

Все здесь верно сказано: и насчет пустых мест, и насчет пробойных людей, тугих на ухо, и насчет отношения к дару, что от бога, или, сказать проще, к таланту. На этот счет можно еще много рассуждать, но почему-то не хочется. Когда вчитываешься в рассказ, то невольно обнаруживаешь, что Сергей Митрофанович оказывается в своей жизненной философии

выше и автора рассказа, и общих наших с ним рассуждений. Вполне возможно, что в искусстве многое напоминает солдатскую баню, но жизнь во всем ее объеме под это сравнение как-то без остатка не укладывается.

И опять не только ради красного словца мы связали характер Сергея Митрофановича с характером народа. Вот автор сказал, что Сергей Митрофанович к своему дару относится стыдливо. Но так ли это? Не к дару он относится стыдливо, а к тому, что мы готовы видеть в его даре какое-то отличие, преимущество и даже вступаемся (пусть только в словесную) в тяжбу с пробивными людьми. Конечно, Сергей Митрофанович поймет наши слова, но он *не поймет* здесь нас, потому что это мы считаем, что его *место* кто-то занял; его *место* никто не занял: ни на войне, ни во всей остальной жизни.

Вчера он с оружием в руках защищал свою Родину, сегодня он спел ребятам-призывникам так необходимую им в данный момент песню. Разве это не его место в жизни? Пускай сейчас ребята и подумают: «Как это с таким голосом он затерялся в глуши?» Но это так они подумали сейчас, но ведь жизнь-то их кончается не сейчас, сейчас она у них только начинается. Конечно, если зерно упадет на асфальт, то оно не прорастет, но ведь и на самой благодатной почве ничего не прорастет, если на нее не упадет зерно. И Сергей Митрофанович бросил зерно.

Народ высоко ценит произведения искусства, с глубоким уважением относится к самим творцам, но вот к профессионализации относится, ну, как бы это лучше сказать, — не совсем серьезно, что ли. Во всяком случае, народ не совсем серьезно относится к притязаниям творца на какую-то исключительность. И здесь я усматриваю всегдашнее отрицательное отношение нашего народа к жречеству, шаманству, проявляемым в любой форме и в любой степени. В этом смысле и было говорено о народности характера Сергея Митрофановича, за которого мы вдруг так некстати стали хлопотать и уж совсем некстати стали отыскивать ему *место* среди пробойных людей.

Да, Сергей Митрофанович стоит ближе, чем мы, к недавнему и далекому прошлому, но в то же время он стоит ближе, чем мы, к будущему. Вероятно, Сергей Митрофанович не станет в повседневной жизни носить на груди все свои боевые награды, и не потому, что он стесняется личных ратных заслуг, а потому, что он не склонен обращать ничьего внимания на собственные заслуги. И это не скромность, а если даже и скромность, то не столько по отношению к живым, сколько по от-

ношению к павшим. За это Сергея Митрофановича нельзя ни осуждать, ни поощрять, тут его можно понять или не понять.

Хотелось бы внести некоторые уточнения, чтобы отвести от себя возможный упрек в чересчур заинтересованном отношении к пресловутой «патриархальности». Надо прямо сказать: патриархальность как уклад безраздельно принадлежит прошлому, и уклад этот даже при желании нельзя ни сохранить, ни тем более восстановить, ибо его историческая роль уже сыграна. Другое дело — его отдельные черты.

К. Маркс, анализируя категории буржуазной экономики, писал в первой главе «Капитала»: «Это — общественно значимые, следовательно объективные мыслительные формы для производственных отношений данного исторически определенного общественного способа производства — товарного производства. Поэтому весь мистицизм товарного мира, все чудеса и привидения, окутывающие туманом продукты труда при господстве товарного производства, — все это немедленно исчезает, как только мы переходим к другим формам производства».

В качестве других форм производства К. Маркс ссылается на знаменитый пример Робинзонова труда («светлый остров Робинзона»), на пример союза «свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно... расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу», и на пример патриархальной семьи. («Более близкий пример дает нам деревенское патриархальное производство крестьянской семьи, которая производит для собственного потребления хлеб, скот, пряжу, холст, предметы одежды и т. д. Эти различные вещи противостоят такой семье, как различные продукты ее семейного труда, но не противостоят друг другу как товары».)

Из трех, приведенных Марксом примеров, в данном случае наибольший интерес представляет, безусловно, пример патриархальной семьи. Противопоставляя товарной форме производства (т. е. капитализму) нетоварные формы производства, Маркс вовсе не утверждал, что на смену капитализму вновь придут патриархальные отношения. Речь здесь шла лишь *о механизме* патриархального уклада, которому суждено иметь свое развитие в будущем обществе. «Маркс ссылается... на пример патриархальной семьи как на образец того механизма, принципы которого будут действовать в новом обществе», — отмечает советский экономист Г. Лисичкин.

Собственно, в основе большинства учений о будущем некапиталистическом обществе лежит нетоварная форма производства. Так, Ф. Энгельс в своей работе «Анти-Дюринг» писал: «Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продукта над производителями». Поэтому естественно, что всякая защита капитализма начинается с защиты товарного производства и с критики нетоварных форм производства. Вот об этом мы часто забываем и потому, в частности, в понятие «власть земли» нередко вкладываем одно лишь негативное содержание. А между тем понятие это родилось в период капитализации деревни и противопоставлялось оно не столько общественному прогрессу как таковому, сколько порожденному капитализмом новому понятию — «власть денег».

Попутно скажем несколько слов по поводу идеализации прошлого, идеализации старины. Глеб Успенский никогда не идеализировал ни прошлого, ни настоящего, он был писатель суровый, однако эта суровость не помешала ему трезво взглянуть на природу «идеализации прошлого». Вот что, в частности, он писал в рассказе «Книжка чеков»:

«У старинного управляющего распоясовской округой явилась в это время довольно счастливая мысль; оказалось, что места, на которых издавна сидели распоясовцы, как раз подходят под что-то такое, что ежели это что-то «округлить» с чем-то — как раз вчетверо можно получать доходу более против прежнего. Для этого стоит только переселить распоясовцев куда-то в другое место, где им все под стать и «еще лучше прежнего».

Управляющий сообщил этот план барину, и хотя барин долго колебался в своем решении, но проклятый, совершенно прежде неведомый аппетит к «моему» довел его наконец до того, что он как бы прирос к сознанию, что это — его собственность.

«Ей-богу же, ведь это мое!» — стало все чаще и чаще думаться ему среди всяких соображений за предложение управляющего и против него, и наконец, уехав за границу, он написал из Лозанны управляющему, чтобы он действовал, как знает, «как лучше».

Управляющий принялся за дело, «наши» тоже ощетинились, началась свалка.

Сильно ощетинились «наши». Жажда свалки и победы, имевшей целью, как уже сказано, удовлетворение весьма простых стремлений желудка, усиливалась теми мечтаниями на-

счет лучшей жизни, которые тоже как бы пробудились в момент освобождения».

Рассказ «Книжка чеков» был написан Успенским в 1875 году, то есть в период, когда процесс капитализации деревни становился уже очевидным фактом. «Вчетверо можно получать доходу более против прежнего...» Это уже «власть денег» вторгается в сферу, где прежде царствовала «власть земли». Как говорит Успенский, началась свалка, но свалка не ради самой свалки, а ради лучшей жизни. Во всяком случае, появились «мечтания насчет лучшей жизни»... Откуда же брались эти мечтания и каков был их характер? Вот что по этому поводу говорится дальше в рассказе Успенского: «Эти мечтания были неопределенны, вырастали под влиянием рассказов древних беззубых стариков *о старине*, пополнялись нравоучениями прохожего богомольца, беглого солдата, но, благодаря почти непроницаемой темноте крестьянской избы во время сумерек, когда, «сумерничая», мужик обыкновенно слушал эти рассказы солдат и богомольцев и предавался мечтам, мечты эти, хоть и неопределенные, уносили его мысли высоко-высоко и далеко-далеко от крестьянской избы... Так далеко, что, начав песню над ребенком, в которой говорилось, что понева, лежащая под ним, «поневочка худая, ровно три года гнила», и заслушавшись рассказов и замечтавшись, крестьянка бросала этот грустный мотив и, обращаясь к ребенку, почти с уверенностью говорила: «Вырастешь велик, будешь в золоте ходить...» Таковы были вполне несбыточные мечты распоясовского мужика, воспитанные темными, угрюмыми зимними вечерами; они до такой степени *подняли дух* распоясовских обывателей, что обыватели эти решились в предстоящей битве не жалеть своего добришка, так как, думали они, «наше дело верное»! (курсив мой. — *А. Л.*)

Как видим, рассказы о старине и неопределенные мечтания поднимали дух и вдохновляли на борьбу за лучшее будущее. Нет, распоясовцам не суждено было праздновать победу. В конце концов не праздновал победы и их бывший помещик. Всех их одолел новый человек, которого звали Иваном Кузьмичом...

«Ярко горели окна фабрики, где дымил и свистал чудовище-паровик. Шумела мельница, стучали толчея и крахмальный завод. Иван Кузьмич все скупал, все молол, толок и продавал. Тысячи народу копошились на фабрике, на заводе. Сюда была согнана вся распоясовская округа — по рублю, полтиннику, по четвертаку, и даже самые маленькие мальчики и девочки мог-

ли зарабатывать по гривеннику в день, занимаясь щипаньем корпии, которую доставляли из больниц в гною и крови и которая шла на бумажный завод. Все было поставлено к делу и оценено... после того как человек стал цениться в рубль, в полтинник — и полтинник и рубль стали все!»

Вот она власть Ивана Кузьмича — всесильная власть денег. Конечно, сам Иван Кузьмич и не подозревал, что это такое — товарное производство и каковы его законы, однако и ему не давали покоя «мистицизм товарного мира, все чудеса и привидения, окутывающие туманом продукты труда при господстве товарного производства». Оказавшись в гостинице, он пытается объяснить коридорному секрет чековой книжки:

«— Это видишь что... Сейчас отодрал лоскут и получай деньги!.. — пробовал было объяснить Мясников, но так как и при этом коридорный ровно ничего не понял, то хозяин книжки чеков должен был начать рассказывать ему банковые дела со всеми подробностями...

— Да-да!.. Мала-мала штучка, а какую прорву денег вобрала.

— Питательная книжка, точно! Именно что впитала!»

А впитала она действительно многое. И подтверждение тому — финал рассказа:

«Ребенок апатично смотрел через плечо матери куда-то вдаль.

Что его ждет?

Никаких золотых нарядов, которые сулила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не может; она знает, что цена ее мальчонке долгое время будет гривенник, потом двугривенный и так до рубля, а уж дальше ничего, ничего не будет! Сама она про себя знает, что цена ей ничтожная, что хватает только кормиться... Что же она скажет своему мальчишке? Что же может выйти из него кроме человека, который нужен в делах Ивана Кузьмича — как сила, как дрова, как тряпки?..»

Конечно, нынешний Иван Кузьмич прекрасно понимает, что такое товарное производство, и теперь он не станет просвещать коридорного. Вообще в облике и повадках современного короля нефти или стали нет никакого видимого сходства с неуклюжим и одновременно проворным в делах Иваном Кузьмичом. Теперь человека могут оценить не в рубль или там доллар, а в сотни и даже больше долларов, если человек этот в данный момент нужен.

Иван Кузьмич еще и тогда в угоду прогрессу догадался сбрить бороду, однако ни отсутствие бороды, ни ее наличие, как, впрочем, ничто другое, не в состоянии из Ивана Кузьмича сделать нечто противоположное. *Власть денег* — вот родовая черта всех Иванов Кузьмичей. Товарное производство — вот их становой хребет, на базе которого невозможны никакие иные общественные отношения, кроме тех, которые в свое время предложил искренний успенсковский Иван Кузьмич своим было размечтавшимся соотечественникам: человек — рубль.

Современный Иван Кузьмич (пусть теперь он живет в другой стране и по-другому называется) прекрасно понимает, что прошлого никакой идеализацией не вернешь. Его тут беспокоит другое — прошлое способно поднять дух народа.

Да, литература и искусство зачастую предпочитают обращаться к жизни уходящей, «подбивать» своего рода итоги народной жизни. Так, например, главный герой выдающегося произведения советской прозы Григорий Мелехов — человек скорее вчерашнего дня, нежели завтрашнего. Великая русская литература XIX века (от Пушкина и до Толстого) — это своеобразный реквием уходящего с исторической сцены русского дворянства. Однако это вовсе не означает, будто писатели своим сознанием живут в прошлом, предпочитая его настоящему, если же они и возвращаются к прошлому, то, как правило, во имя настоящего и будущего. Впрочем, нельзя по-настоящему любить день грядущий, если ты ничего, кроме неприязни или равнодушия, не испытываешь по отношению ко дню уходящему. То будет уже не любовь, а лишь одно возбуждение. И уходящая наша деревня заслуживает искреннего внимания и теплых слов — слишком многим мы ей обязаны и слишком многое, что составляет основу нашей теперешней жизни, исходит оттуда, из деревни, пусть даже оно и утратило свои первоначальные признаки. Прошлое — это наша корневая система, и его страшится лишь тот, кто не верит в историческую перспективу сегодняшнего дня.

Споры о деревне и «деревенской» прозе велись на протяжении нескольких лет и составили целый период в развитии нашей критической мысли, оказавшийся очень продуктивным в силу значительности самого предмета спора и продуктивными в том отношении, что при всех издержках и ненужных резкостях споры эти вели к консолидации критической мысли. В свое время, например, мне довелось довольно часто полемизировать с критиком Феликсом Кузнецовым, нынче считаю

совершенно бесполезным делом выяснять, кто из нас тогда был больше, а кто меньше прав, для меня тут важнее другое, а именно тот результат, к которому мы пришли в ходе всеобщего спора о «деревенской» прозе. Так, в статье Ф. Кузнецова «С веком наравне» («Нов. мир», 1975, № 2) говорится: «Иногда прозу о деревне упрекают в идеализации патриархальности. Основания для таких упреков есть там, где невысок уровень осмысления социальных процессов действительности. К счастью, лучшие произведения такой прозы принадлежат подлинному реализму, и мысль их не в утверждении и защите старины ради старины, но в убеждении, что духовные ценности современного советского человека берут начало в народной нравственности».

По-моему, здесь Ф. Кузнецову возражать не приходится, как трудно ему что-либо возразить и по поводу его такого утверждения: «Наследуя традиции великой русской литературы, современная советская проза в своих духовно-нравственных исканиях опирается на те чистые начала народной нравственности, которые формировались трудом человека и которые противостояли духу собственничества, социального эгоизма, всему тому, что было следствием социальных условий, неравноправных общественных отношений. Она доказывает, что наша новая, социалистическая нравственность уходит корнями в то лучшее, что было накоплено трудящимся народом на протяжении тысячелетий. Наша литература настойчиво утверждает, что прочность духовных основ советского человека определяется тем, что он *унаследовал могучую нравственную традицию, вырос на почве богатейшей народной культуры, формировавшейся трудом, борьбой, преображением земли*» (курсив мой. — *А. Л.*).

Допускаю, что эта точка зрения не стала пока еще всеобщей, но она стала уже господствующей, поэтому хотелось бы сделать еще одно уточнение. Действительно, «истинная культура исходит из недр народного опыта», однако не лишним будет заметить, что и «народный опыт», замкнутый сам на себя, обречен на постепенное омертвение, поскольку в настоящих условиях (то есть в последние века) эта культура в силу определенных исторических изменений в структуре общества утратила свою былую универсальность.

Так, будучи оторванным от привычного ему и естественного для него деревенского мира, человек, связанный с этим миром, под напором различных внешних воздействий может иногда довольно быстро утратить или растратить свой куль-

турный запас. Не ведая разницы между свободой и разнузданностью, смелостью и кощунством, независимостью и плебейством, он верноподданнически служит то одной, то другой моде, зачастую даже не подозревая, что служит не человеку, а Мамоне.

Этому может противостоять лишь трудовой человек, вооруженный знаниями, живущий единым духовным миром со своим народом. С чувством своей особой ответственности перед народом, эпохой, историческим прошлым человечества, в безначалии которого теряются истоки нашей сегодняшней духовной жизни.

В повести Василия Белова «Плотницкие рассказы» молодой интеллигент становится невольным свидетелем спора двух деревенских стариков — Авенира Козонкова и Олеши Смолина, заканчивающегося в конце концов дракой: «Не успел я ввязаться, как Авенир обеими руками схватил Олешу за ворот и, зажимая в угол, начал стукать о стену лысой Олешиной головой. Стол с самоваром качнулись и чуть не полетели, армянский коньяк потек по ногам. Козонков со звонким звуком стукал и стукал о стену Олешиной головой, я еле отцепил и оттащил его от Олеши. Ситцевая рубаха Олеши лопнула и затрещала. Я не ожидал, что Олеша петухом выскочит из-за стола и кинется на Авенира с другой стороны. Они сцепились опять и упали оба на пол, старательно норовя заехать друг дружке в зубы».

Как видим, драка была серьезной, как и серьезными были их споры, носившие, можно сказать, социально-исторический характер и в своей основе далеко не абстрактный. Вскоре молодой герой уходит, а через несколько часов возвращается в дом Олеши с такими думами: «...И пусть Олеша ненавидит Козонкова, тот заслужил Олешину ненависть. Пусть Авенир ненавидит Олешу, этот тоже хорош. Видимо, так все и должно быть. Да! Да! Да!»

И вдруг: «Боже мой, что это? Я не верил своим глазам. За столом сидели и мирно, как старые ветераны, беседовали Авенир и Олеша. Не было ни крику, ни шуму. Бутылка зеленела между чайных приборов, на столе остывал самовар».

Старики мирно беседовали, а потом «...клоня сивые головы, тихо, стройно запели старинную песню.

Я не мог им подтянуть — не знал ни слова из этой песни».

Нет, ни Василий Белов, ни Борис Можаев, что так защищал русскую печь, ни один другой писатель из тех, о ком шла у нас речь, никогда не выступали против разумных преобра-

зований на деревне и тем более против города. Они старались донести до всех нас смысл и значение «слов» незнакомых нам «песен», пробудить в нас тот интерес к деревне, который должен предшествовать активному вмешательству в жизнь.

Своя жизнь всегда кажется сложной, а чужая — простой. Но вмешиваться в чужую жизнь следует лишь тогда, когда она становится как бы твоей собственной и видится уже не менее сложной, нежели собственная, иначе любые права на вмешательство окажутся недостаточными ввиду отсутствия главного — морального. И современная наша проза о деревне дает нам возможность обрести его.

1973

ОЧЕВИДНОСТЬ МИНУВШЕГО

1

В год окончания Великой Отечественной войны молодой поэт Николай Старшинов написал такие строчки:

Солдаты мы.
И это наша слава,
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны по праву
О нашем поколении солдат.
О том, что было, — откровенно, честно...

Вероятно, в далеком сорок пятом году, когда хмель великой победы кружил еще голову и верилось в беспредельность и бесконечность жизни под мирным небом, эти строчки звучали и воспринимались как успокаивающая душу зарифмованная декларация, значение которой, казалось, исчерпывалось всего лишь уместностью ее содержания, но вряд ли тогда эти строчки воспринимались как поэтическое откровение, запечатлевшее нравственное предчувствие поколения, нынче уже преодолевающего свой шестидесятилетний рубеж.

Теперь мы, опираясь на факты почти четырех десятилетий литературной практики, можем признать, что поколение, к которому принадлежит и Н. Старшинов, «рассказало» и продолжает «рассказывать» «о том, что было, — откровенно, честно...». И чем дальше запластовываются в глубь истории суровые годы Великой Отечественной войны, чем меньше остается в живых ее участников и свидетелей, тем пристальнее вглядываются писатели, бывшие фронтовики, в уходящие на страницы истории события.

Правда, в последнее время нередко можно услышать разговоры об усталости «военной» прозы. Действительно, чтение некоторых современных произведений о минувшей войне не то чтобы разочаровывает, но оставляет какое-то неудовлетворение. Порой читаешь роман или повесть — все в них описано точно и достоверно, впечатление такое, будто читаешь когда-то уже читанное. Разумеется, схожий жизненный опыт (в данном случае опыт военных лет) порождает или может по-

родить схожие ситуации, схожие конфликты и даже схожие образы. Теперь, когда о войне написаны сотни произведений, уже важно не само по себе достоверное воспроизведение фактов, а преломление их через нынешний духовный опыт автора, человека зрелого возраста и зрелых мыслей.

Да, первые «военные» произведения Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Быкова, К. Воробьева, В. Курочкина произвели сенсацию, об этих произведениях ожесточенно спорили или столь же ожесточенно молчали. Думается, сенсация — это еще не признак появления чего-то значительного, и порой случается, что новизна исчерпывается самой новизной и ничего не привносит в жизнь, кроме временного возбуждения. Но в данном случае мы имели дело с явлением, коему суждены были и длительное развитие, и долгая жизнь.

Конечно, если какое-то явление связывать лишь с узким кругом лиц (в данном случае писателей), то «усталость» его может обозначиться намного раньше, нежели явление «устанет» на самом деле. Уже нет в живых Константина Воробьева, еще раньше ушел из жизни Виктор Курочкин. В последних произведениях Ю. Бондарева или Г. Бакланова дыхание войны лишь слышится отдаленным эхом. Однако правомерно ли связывать такое эпохальное явление, как минувшая война, с именами только нескольких писателей? На мой взгляд, сейчас пока еще преждевременно размещать писателей-современников в ряды первостепенных, второстепенных, третьестепенных... Оставим лучше это занятие нашим потомкам, им с высоты своего времени будет сподручнее производить подобного рода операции, и внимательнее присмотримся к тому, что дала нам «военная» проза за последние десятилетия и мимо чего мы, озабоченные сложными проблемами сегодняшнего дня, а порой и просто мелочной суетой, проскочили мимо.

Нет, тут, пожалуй, следует оговориться: я вовсе не отторгаю у критиков (и читателей тоже) права судить о талантливости того или иного писателя, я только против той категоричности, когда речь идет уже не об оценке художественных достоинств произведений, а о прижизненной канонизации немногих авторов, и когда право на невнимание к остальным как бы санкционируется высшими эстетическими соображениями.

Вот я, к примеру, упомянул имена автора повести «На войне как на войне» В. Курочкина и автора повести «Убиты под Москвой» К. Воробьева, чьи первые произведения при выходе в свет вызвали не меньший резонанс, чем первые произведения Ю. Бондарева, Г. Бакланова и В. Быкова, однако за-

тем по каким-то необъяснимым причинам стали выпадать из разговоров о «военной» прозе, и заодно постепенно стали забываться и имена их талантливых авторов. Пожалуй, дольше других память о В. Курочкине «хранил» критик В. Кожинов. Правда, и его усилия в этом направлении оказались явно недостаточными: имя В. Курочкина, как и К. Воробьева, упоминаются все реже и реже, когда речь заходит о «военной» прозе, придавшей всей нашей литературе шестидесятых — семидесятых годов не только особый и неповторимый нравственный смысл, но и самобытный эстетический характер. И мне сдается, у нас есть больше поводов говорить не о наступившей усталости «военной» прозы, а об усталости нашего, в общем-то очень немногочисленного, отряда реальных критиков, в его безуспешной попытке объять необъятное, откликнуться на всякое дуновение нового, разрешить все проблемы, на которые так не скупа современная жизнь.

В погоне разом во все стороны некогда оглянуться назад, вернуться к тому, о чем когда-то сказал мимоходом, оставив главное «на потом», стремишься к новым целям, а это «потом» никогда уже не осуществляется. И критик, вероятно, больше всего устает не от того, что им написано в быстротекущей литературной жизни, а от того, что им не написано, не доказано. Во всяком случае, мне было в высшей мере отрадно ознакомиться с давним письмом А. Яшина В. Курочкину, опубликованном в «Дне поэзии» — 1980», вновь напомнившем нам о повести «На войне как на войне».

Вот что писал 27 октября 1965 года известный писатель и поэт молодому, незнакомому ему автору:

«С восторгом прочитал Вашу повесть «На войне как на войне»...

Позвольте поздравить Вас с большой победой, с большой удачей. Позвольте сказать Вам, что Вы написали великолепную книгу — и это по самому большому счету. С моей точки зрения, Ваша книга станет в ряд лучших художественных произведений мировой литературы о войне, о человеке на войне. К тому же это очень русская книга. Я думаю, что не ошибаюсь...

Читал я Вашу книгу и ликовал, и смеялся, и вытирал слезы. Все удивительно тонко, достоверно, изящно, умно. И все — свое, Ваше, я не почувствовал никаких влияний. А это очень дорого.

Спасибо Вам...

А то, что напали на Вашу повесть, — это говорит только в ее, повести, пользу... Смотрите на эти статьи как на рекламу,

и только. Если бы не они, и я бы, наверно, долго еще не имел счастья прочитать Вашу повесть.

Для меня «На войне как на войне» выше прославленной повести А. Барбюса «В огне» и дороже и роднее Ремарка. А обаятельнейший, человечнейший Саня Малешкин имеет лишь одного предшественника — Петю Ростова (больше пока я не вспомнил).

Еще раз спасибо Вам большое и низкий поклон».

Нет, я вовсе не считаю, что всякое суждение Александра Яшина следует возводить в ранг истины в ее высшей инстанции, однако если учесть, насколько безошибочно он «угадал» потенциальные способности В. Белова или Н. Рубцова, то вряд ли у нас найдутся достаточные основания игнорировать и другие его мнения подобного характера, в частности, его мнение о повести «На войне как на войне».

2

В том, что роман Ивана Акулова «Крещение», посвященный событиям первого года войны, практически не попал в поле зрения нашей критики, в какой-то мере «повинен», вероятно, и сам автор, слишком «неторопливо» работавший над своим произведением. Так, первая часть романа была опубликована в журнале «Молодая гвардия» еще в 1969 году, вторая — в 1971, а третья, завершающая, — в 1975-м, когда уже отшумели бурные дискуссии о «военной» прозе, когда уже многие «спорные» произведения о войне стали бесспорно и справедливо зачисляться в разряд достижений современной отечественной литературы, а некоторые еще в недалеком прошлом «битые» писатели удостоились высоких литературных премий. Но критика к моменту выхода романа «Крещение» уже устала спорить о минувшей войне и литературе о ней, а то, что не вызывает споров, то и не находит себе точного места в контексте литературного процесса, произведение живет как бы само по себе, без привязки к конкретному времени.

У каждого писателя своя судьба (впрочем, как и у каждого литературного произведения), и порой бывает очень важно попасть «в точку». В сегодняшней нашей критике, например, принято отсчитывать появление современного «городского» романа от повестей Ю. Трифонова («Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание»). И это, в общем-то, справедливо, потому как названные повести вызвали очевидный, а не придуманный резонанс. Но ведь несколькими годами раньше

В. Курочкин опубликовал замечательную повесть «Урод», которая во многом предваряла трифоновские повести. Публикация «Урода» оказалась «преждевременной», В. Курочкин излишне «поспешил», чуть-чуть опередил время и не попал «в точку». А вот И. Акулов, наоборот, постоянно «опаздывает». Так, после публикации романа «Крещение» он издал роман «Касьян Остудный» о русской деревне рубежа двадцатых—тридцатых годов. Первая и вторая части романа были опубликованы в 1978 году, полностью книга вышла в издательстве «Современник» в 1981 году (в периодической печати роман не публиковался). К этому времени как раз уже и стали раздаваться голоса об усталости «военной» и «деревенской» прозы. Естественно, что и роман «Касьян Остудный» постигла та же участь, что и роман «Крещение».

Как там ни говори, а литература, помимо всего прочего, — вещь жестокая, хотя она и не более жестока, чем сама жизнь, у которой тоже есть и свои сынки, и свои пасынки, и человеку, не лишенному литературного таланта, но лишенному мужества, лучше не искушать судьбу на рискованном писательском поприще. Я знаю, И. Акулов — человек мужественный, но как и многие его коллеги, он нередко сетует на критику. Что ж, пусть он лучше сетует на критику, чем на жизнь, жизнь ему выпала трудная, но интересная, впрочем, такая же жизнь выпала и на долю его литературных героев, о которых нам теперь и предстоит поговорить.

В первых двух книгах романа «Крещение» охватываются события с начальных дней войны и до апреля сорок второго года. Третья книга посвящена драматическим событиям, развернувшимся на участках Южного фронта, когда после наших неудач под Харьковом началось наступление немецких войск, остановить которое удалось лишь у стен Сталинграда. В центре авторского внимания оказываются солдаты и офицеры, сражающиеся на важнейших участках дрогнувшего фронта. И хотя порой действие переносится в штабы дивизии, армии или фронта, а в третьей книге — даже в Ставку Верховного Главнокомандования, все-таки перед нами роман о рядовых участниках войны, поскольку главным предметом авторского исследования является моральный дух войск.

И. Акулов не только проанализировал ошибки Ставки и штабов оперативных объединений при планировании и проведении летнего наступления сорок второго года под Харьковом, но и убедительно доказал, что эти ошибки прежде всего повлияли на моральный дух войск, погасив в самом начале

предпринятой операции наступательный порыв. Как уже говорилось, солдаты и командиры лета сорок второго года уже заметно отличались от солдат и командиров первых месяцев войны. Читая роман «Крещение», мы видим, как в ходе первого года войны его герои обретали ничем не заменимый боевой опыт, выражавшийся не только в сноровке солдата или в умении командира четко управлять подразделением на поле боя, но и в развитом чутье на ошибки командования.

Для того, чтобы поверить в успех крупной наступательной операции, солдата вовсе не нужно было посвящать в подробности оперативного плана. Но если при проведении операции крупного масштаба не обеспечивалось хотя бы временное господство в воздухе, если при прорыве вражеской обороны не танкам приходилось прикрывать пехоту, а пехота была вынуждена прикрывать танки, если артиллерийская подготовка и артиллерийское сопровождение были только эффектны, но не эффективны, — то солдат уже чувствовал, что добиться стратегического успеха не удастся. И здесь солдату незачем было заглядывать в лекции по стратегии — азбуку современного сражения он познал в кровопролитных боях, в которых обретались не только мужество, но и воинская зрелость.

Действие романа «Крещение» начинается в последние предвоенные часы, в воскресный июньский день в далеком Зауралье, когда девятнадцатилетние парни Колька Охватов, по прозвищу Колун, и его приятель Петька Малков возвращались на лодке в город с ранней рыбалки, а где-то в другом месте командир полка Камской стрелковой дивизии подполковник Заварухин, начальник штаба полка майор Коровин и их жены, отправившиеся на рыбалку еще в субботу, примерно в то же время тоже вдруг засобирались домой...

«А над рекой и лесом уже занималось утро. Все небо было залито молодым, ядрено-выспевшим светом, и берега, и кусты на них, и старые сосны по крутоярам вдруг раздвинулись, уступив место розовым потокам света. Зелень деревьев и трав посвежела, облитая теплым заревом восхода, и крепче повеяло дурнопьяном от бузины, черемухи, горькой осины и молочай-травы...»

Подполковник Заварухин и его спутники даже не подозревали о существовании какого-то Кольки Охватова или Петьки Малкова, а те в свою очередь ничего не знали ни о Камской дивизии, ни о подполковнике Заварухине и его спутниках по ночному загородному отдыху, и кажется, их интересы нигде и никак не смыкались и не должны были сомкнуться. Но вот для

тех и других вдруг прозвучало короткое и хлесткое, как выстрел, слово: «Война!» — и они незримыми путями устремились друг к другу, чтобы совместно испить горькую чашу общей военной судьбы.

Да, мы сказали, что действие романа начинается в последние предвоенные часы, но если отдать дань исторической точности, то эти часы предвоенными были лишь для героев романа: когда они наслаждались «розовыми потоками света» и обоняли утренний «дурнопьян», на западе уже палил другой свет, все запахи перекрыл запах гари, а тишину будто украли навсегда. Неведенье подарило героям романа несколько часов мирной жизни, и только.

Мы вот все толкуем о небывалых темпах нашего времени, стрессах и так далее. Не спорю. Но вот когда читаешь роман «Крещение», то сегодняшние темпы жизни почему-то не представляются чрезмерными. А вот война действительно задала такой темп жизни, что не каждый смог его выдержать.

Когда Николай Охватов вернулся с рыбалки, «на столе его ждала голубенькая бумажка. Колька увидел ее казенную чистоту еще с порога и сразу понял — повестка... Мать сидела у стола, и в пустых, выплаканных глазах ее стоял немой ужас». Вечером Шура, с которой неизвестно как бы сложились отношения и чем бы эти отношения кончились, стала его женой. А утром: «Большой затравелый военкоматовский двор набит битком. Тяжелые ворота распахнуты настежь...» И в эти ворота вошли Охватов и Малков. А дальше, как и обычно, горькое и тягостное прощание с родными и близкими, теплушки, дорога, воинская часть, которая отныне — твой дом и твоя работа одновременно.

«За ними плотно захлопнулись ворота армейской жизни (и опять ворота, только военкоматовские были «распахнуты настежь», а эти «плотно захлопнулись». — *А. Л.*), жизни вообще трудной, а во время войны, может быть, равной подвигу. Самое обидное и ужасное для Николая Охватова состояло в том, что были безжалостно порваны все связи с неузнанным, но милым прошлым».

Охватов и Малков попали в тот полк, которым командовал подполковник Заварухин, а начальником штаба был майор Коровин, вот тут и сплелись две сюжетные линии в единую, неотвратимо тянувшуюся в одну сторону, в сторону фронта.

В первых главах романа в центре авторского внимания находятся Петр Малков и Николай Охватов, и попервоначалу кажется, будто автор задался целью противопоставить их,

тщательно и последовательно. Как только Охватов получил повестку, он сразу же побежал к своему дружку. Дело в том, что и тот и другой, если воспользоваться старомодным словом, ухаживали за Шурой. Нередко подобного рода «треугольники» составляют содержание целых повестей, а тут весь конфликт разрешился за пять минут. Ритм жизни был задан уже такой, что друзья сразу решили пойти вместе к Шуре и выяснить: *кто* есть для кого — *кто*. По дороге произошел следующий разговор:

«— Я знаю. Ты не обидься! Все-таки отец у тебя бухгалтер, скажет словечко где надо — и будешь дома (Малков пока повестки не получил. — *А. Л.*). Он правильно рассуждает: война есть война и может всякому оторвать башку.

— Говорить с тобой, Колун, что воду в ступе толочь. Тебе сюда, а мне прямо.

— Куда же ты вдруг?

— А я передумал, Колька. Передумал и не пойду с тобой. Вот так. Тебе принесли повесточку — значит и другим ребятам принесли. Верно? У всех сборы да заботы, а мне идти с тобой делить девчонку? Нет, Петр Малков уже не такой дурак. Привет Шурочке, а я в военкомат».

И Малков добился своего — повестку ему вручили, а Охватов добился своего — Шура стала его женой. На следующий день военная судьба как бы уравняла их во дворе военкомата, но ненадолго. Перед отправкой эшелона устроили митинг, и Малков уже на трибуне:

«— Я добровольно ухожу на фронт и клянусь вам: буду бить фашистов смертным боем. Если понадобится, не моргну глазом, отдам свою жизнь за Родину и за Сталина. Мы все такие. Э-э... — Малков перевел дух. — Не пройдет и месяца, как мы развеем по полям Европы прах немецкой орды: скоро вернемся с победой...

— В штаны не напусти, — бросил кто-то из толпы ехидную реплику».

Действительно, Малков несколько расхвастался, однако свое хвастовство он не замкнул на собственную персону, он все-таки не забыл сказать: «Мы все такие», и тут, разумеется, он имел в виду не хвастовство, а безграничную преданность и смелость.

Когда друзья находились уже в воинской части, произошел эпизод, воспринятый Малковым и Охватовым опять-таки по-разному. Был пойман и расстрелян дезертир.

«Малков прибежал откуда-то тоже с котелком. Веселый.

— Эвот ты, а я ищу тебя. Чего тут сбились?

— Да все то же. Думаем об одном, говорим о другом.

— А ты небось дезертира жалеешь? Пожалел ведь, а? Ну соври, соври.

— Жалеть, может, и не жалею, а думка есть: человек все-таки. Двое детей у него — может, ради них решился.

— Ну ладно, правильная песня спета, перепевать не станем...»

А однажды Малков прямо заявит Охватову:

«— Ты вот что, Колун, — злым и громким голосом оборвал Малков. — Хочешь по-старому вести со мной дружбу — прекрати скулеж. Ведь ничего еще не видели и не нюхали, а слезой, доходяга, исходишь. Всем несладко, ты об этом подумал?»

И по-моему, напрасно автор торопится «на помощь» к своему герою. «Охватов, — пишет И. Акулов, предваряя его стычку с Малковым, — не сразу сумел понять всю глубину народного бедствия, не сразу оценил и себя по-мужски, сурово и твердо, а потому и петлял в своих мелких мыслях, горько думал все о себе да о себе...»

И хотя потом автор нигде не нарушит правды развития характера своего героя, но этим своим «вторжением» как бы заранее предупредит читателя, что Охватов выберется на верную дорогу из этих своих «петляний», и догадливый читатель поймет, что по воле автора этому герою выпадут пусть и тяжкие жизненные испытания, но ему не выпадет тот несчастный жребий, когда пуля настигает прежде, чем удается выбраться на «верную дорогу».

Да, Охватов мягок, чуток и очень покладист, и сегодня он, может быть, импонирует читателю даже больше, чем решительный, бескомпромиссный, смелый и напористый Малков, не отличающийся в жизни большой скромностью; где бы Малков ни оказался, он всюду выпирает из общей массы: организовали митинг, и Малков — уже оратор; расстреляли дезертира — «песня спета, перепевать не станем»; повстречался санитарный поезд, и Малков тут как тут с вопросом:

«— Неужели немцев видели?

— Я их зубами рвал. Понял, нет? За Брянск. Крышка Брянску.

— Чего мелешь? Чего мелешь? — закричал Малков, сидя на кромке пола в своем вагоне. — В сводках Брянск даже близко не упоминается.

В небритой щетине боец, с болезненным лицом и подвязанной на обмотке руке, сдернул Малкова на землю и, брызгая слюной, закричал сорванным голосом:

— Курва зеленая! Спроси сюда. Спроси. Чье орудие ушло последним из Брянска? Чье, я спрашиваю?»

Нет, Малков не растерялся и не испугался, он уступил, из уважения. Он уважал в этих искалеченных людях то, что они уже пролили за Родину свою кровь, а лично он, Малков, пока еще ничего не сделал, тут он смог стерпеть и несправедливую «курву» и заодно подосадовать на справедливое определение —«зеленая», он ведь во время стычки с Охватовым говорил, что они «еще ничего не видели и не нюхали». А эти уже «нанюхались» вдоволь, и Малков сразу же почувствовал, что здесь у него нет никаких прав «выпирать».

И вот первые бои. Малков весь на виду, всегда в гуще боя, бьется сноровисто, инициативно, словно война ему дело привычное, словно он навечно заговорен от пули. Иное дело Охватов, он не то чтобы трусил, но и героизма особого не выказывал, в общем никак из общей массы не выделялся. Как видим, хотя Малков оказался плохим пророком (война через месяц не закончилась), но дела его не разошлись со словами, он продолжал «выпирать» и здесь, на фронте.

«— Ты, Колюшка, поближе к нему, Петюшке-то. Видишь, какой он боевой-то! — наказывала мать Николаю Охватову, когда их провожали на фронт, а про себя думала; «Малков — ухо с глазом парень. Этот и с немцами управится, и сам сохранится. Таких нешто убьешь!»

Но война шла такая, что убивали всяких, боевых и не боевых, расторопных и неповоротливых. Героически сражался Петр Малков и так же героически вскоре погиб. Вероятно, в первые месяцы войны фронт и держался на таких Малковых.

Конечно, Петр Малков — герой, только вот всего человека никак не сведешь к одному героизму, как, впрочем, не сведешь его и к одной трусости, человек всегда богаче и сложнее совершаемых им поступков. Мы уже говорили, будто И. Акулов, как поначалу кажется, вознамерился противопоставить Малкова и Охватова, причем чувствовалось, что свои симпатии он вовсе не отдает Малкову, и как-то невольно присоединяешься к обидной реплике, брошенной кем-то Малкову, когда тот выступал на митинге. Вероятно, автор той реплики не был злым, желчным человеком, и узнай он о том, как проявил себя Малков на фронте, то задним числом извинился бы пе-

ред ним. Во всяком случае, когда я прочитал о гибели Малкова, мне захотелось это сделать. И тут нам не в чем упрекнуть автора. Да, Малков выглядит слишком прямолинейным, слишком фанфаронистым, слишком напористым. Но так уж ли «слишком»? Еще мы сказали, что Малков постоянно «выпирал» из общей массы. А так ли уж он «выпирал»?

И вот, когда перечитываешь роман, то видишь, если соотносить все прочитанное с жизнью и не подчиняться уже накатанному восприятию литературы, что «выпирал» не Малков, «выпирали» как раз те, кто его окружал, только «выпирали» они не вовне, а как бы вовнутрь, в собственные переживания, и оттого пригибались, становились ниже, чем были на самом деле, и собственное их «я» становилось вроде бы поменьше, хотя в действительности оно не становилось меньше, просто они сами уменьшались до собственного «я». А Малков всегда стоял в свой полный нормальный человеческий рост, и он вовсе не «выпирал», а просто возвышался над другими. Нет, он не был лучше других, в том числе и Охватова, просто они на какое-то время стали хуже, чем были на самом деле.

Малков из той редкой породы людей, которые в нужный момент, как мы теперь сказали бы — в экстремальной ситуации, могут моментально и до конца собраться и подчинить всего себя единой цели и потому невольно выделяются. В первый же день войны его товарищи получили из военкомата повестки, а Малков не получил и, таким образом, был как бы выделен, но такого выделения он не хотел, а хотел быть *как все*; он отрезал от себя Шуру, сам отрезал; выступая на митинге, пусть и не очень умело, он как бы давал землякам клятву и тем самым добровольно брал на себя особое обязательство, в то время как будущие победы связывал не с собственной персоной, а опять-таки *со всеми*; и в стычке с Охватовым он опять думает обо *всех* («Всем не сладко, ты об этом подумал?»).

А может быть, Малков просто прямолинейный, ограниченный и равнодушный человек? Когда расстреляли за дезертирство Плюснина, то ошарашен был не только Охватов. «Да и до службы ли, товарищ старший лейтенант, — вмешался в разговор Глушков, не знавший робости перед начальством. — Дезертира кокнули, а из башки он не выходит. У Охватова тем более — парень он у нас с трусинкой». И старший лейтенант Павлов не возмущается, он терпеливо разъясняет солдатам, что дезертир — это помощник врага и т. д. Всем муторно, и только одному Малкову вроде бы весело. Но так ли

уж от души веселился Малков? Так ли уж ему было легко, просто и бездумно?

Да, Охватов думает и о матери, и о Шуре, и об этом проклятом дезертире, а Малков все отрезал и весь «в деле», всегда впереди. Охватов действительно думал о многих и о многом, а все сводилось к тому, что жалел-то он, по сути дела, только самого себя. Как-то во время занятий по тактике, когда все уже вдрызг устали, Малков, оказавшись в одном окопе с Охватовым, крутя трещотку, означавшую ручной пулемет, кричит ему:

«— Письмо получил из дому. Отец пишет, что мать твоя чуть ли не каждый день приходит, плачет, что нас заморили тут.

— С чего она вдруг?

— Крокодильи слезы льешь в письмах, вот и вдруг.

— Написал, что есть. Правду писал.

— Кому нужна твоя правда? Матери? Их самих там перевели на карточки: щепоть крупы да кусочек хлеба. Постыдился бы, правдолюб! Жрешь три раза в день, обут, одет. Напиши ей: жив-здоров, учусь бить немцев. Скора буду дома. Обрадуешь старуху. До потолка она прыгнет от радости».

И кто же в таком случае больше думал о матери Кольки Охватова — он сам или его друг, Петька Малков? И после этого выговора сразу же: «Ты гляди, Колька, не сегодня-завтра на фронт выедем. Вот так, в кулак надо сжаться. Прав лейтенант, потерянную голову всякая пуля метит. Я за тебя во как переживаю...» Но Малков переживал не только за своего друга. Как-то после занятий он сказал: «Это же учеба. Пот дешевле крови. Вы, хлюпики, жалуетесь на лейтенанта — загонял. Не я на его месте. Я бы вам все гимнастерки солью выбелил».

А однажды, не выдержав нытья Охватова, он скажет ему: «Как я хочу попасть скорее на фронт да вместе с тобой в одну роту, чтоб поглядеть, кто же ты есть на самом деле. Я с тебя глаз не спущу, философ!»

Мы так много говорили о Малкове потому, что самому ему не довелось в жизни выговориться, вскоре он погибнет и навсегда сойдет со страниц романа, этот удивительный парень, сумевший, еще не понюхав пороха, уже нажить боевой опыт. Да, на таких все и держалось в самые страшные первые месяцы войны, однако перелома в ходе такой войны можно было добиться лишь тогда, когда не только отдельные личности, а каждый честный человек, преодолев в себе многое, смог уверенно чувствовать себя в бою. И автор вовсе не на-

меревался противопоставлять Малкова и Охватова, он их сопоставлял, и в этом сопоставлении наиболее полно не только раскрылись характеры конкретных героев, но и разные «варианты» становления людей того поколения, которое принесло себя в жертву искупления всех в совокупности грехов, которыми обременило себя человечество к сороковым годам истекающего столетия.

Но вот от боя к бою что-то прочнеет в Охватове, не сразу, постепенно появляется уверенность в себе, потом она перейдет в чувство собственного превосходства над немцем, и порой станет появляться сопутствующий этому чувству азарт — азарт сражения. Во время того боя, когда Малков погибнет, уничтожив немецкий танк, командир полка Заварухин увидит такую картину:

«Не успел Заварухин додумать свою мысль, как в проломе, через который только что в сад ушли танки, из дыма и пыли появился боец. Он, чтобы не попасть под снаряд танков, быстро упал под стену и уже с земли увидел бегущих немцев. Перед лицом неминуемой смерти он мог еще броситься обратно в пролом, но боец вдруг поднялся, широко расставил ноги, из такого же куцего, как у немцев, автомата ударил по прогалине. По тому, как рухнули немцы, тяжело и неловко, можно было заключить, что боец метко сразил их. Он стрелял уже по брошенным на землю и распластанным — пули, взбивая землю, плясали вокруг них... Боец без опаски, спорым усталым шагом шел по прогалине, и командир полка, старый служака, позавидовал ему, позавидовал его хозяйской неторопливости, с которой он шел к лежавшим на траве немцам».

Как обрадовался бы сейчас Малков, будь он жив и находись он здесь, рядом с командиром полка Заварухиным, — ведь этим бойцом, так хладнокровно уложившим немцев, был его друг, «философ» Колька Охватов, пока еще даже не знавший, что завороженный от всех пуль Петька Малков, который так помог ему «сжаться в кулак» и стать вот таким, каким он теперь был, лежит мертвый совсем неподалеку, совершив свой последний подвиг. А ведь прошло... Нет, в пересчете на фронтовой календарь прошло немало времени, и теперь Охватов умел управлять собой в любой обстановке, а потом он постигнет еще более сложное искусство — управлять другими. И солдатский опыт стоил немало. Так, командир полка Заварухин, увидев, как побежали немцы, обрадуется и от этой великой радости лихо выматерится. «В тон командиру так же изысканно выругался и один из связных со странной фамили-

ей Недокур; Заварухин поглядел в злые, приподнятые к вискам глаза солдата и крикнул:

— Как ты смеешь!

— А что они отпустили их.

Заварухин ничего более не сказал, а подумать подумал: «Я повеселел, что бегут, а солдат глубже глядит». Разумеется, связной Недокур вовсе не был умнее командира полка, как не были в его время все солдаты умнее своих командиров, однако чем ближе человек находился в силу своего «служебного положения» непосредственно к месту боя, тем быстрее к нему приходил опыт. Заварухин был кадровым, опытным командиром, но теперь ему нужно было обретать другой опыт, который впитывал бы в себя и опыт солдата. Чем выше стоял командир, тем труднее давался военный опыт, поскольку с отдалением от мест боя живого человека все более и более вытесняли цифры с большими нулями, и по этой причине возникали то недооценки, то переоценки собственных сил.

Но Иван Акулов не поставил здесь точку, он еще в течение четырех лет работал над завершающей третьей частью романа.

Если в первых двух частях действие не поднималось выше батальонного или в крайнем случае полкового уровней, то в третьей части действие простирается вплоть до Ставки Верховного Главнокомандования. Нет, не тяга к модной «многоплановости», когда амплитуда авторского вторжения в материал бросает читателя то в солдатский окоп, то в кабинет Главнокомандующего, побудила Ивана Акулова раскрыть двери кабинета Сталина. Тут сыграли свою роль побуждения более высокого порядка.

Иногда кажется странным, что после столь успешных зимних операций 1941/42 года летом сорок второго наши войска потерпели на южных участках фронта жестокое поражение и откатились к берегам Волги, а с наступлением зимы вдруг начали и затем завершили блестящую операцию под Сталинградом, по сути дела переломившую весь ход войны. Между прочим, И. Акулов не случайно третью часть романа почти полностью посвящает исследованию причин провала летнего наступления на южном участке фронта. Вот это исследование и привело его в кабинет Главнокомандующего. К весне сорок второго года наши войска не только оправились от тяжелого удара, нанесенного им немцами летом и осенью сорок первого, но в ходе зимних наступательных боев получили боевой опыт, позволявший уже летом сорок второго года проводить

успешные наступательные операции, и в этом мы убеждаемся, когда читаем роман «Крещение». И только грубые промахи в планировании и проведении этих операций позволили противнику перехватить инициативу и, развив ее, выйти к берегам Волги. Неудачи под Харьковом имели своим последствием жесточайшие бои на берегах Волги, но эти неудачи не были фатальными, и тут может только ввести в заблуждение концепция сезонного чередования наших зимних успехов и летних неудач. Такова в общих чертах точка зрения автора романа «Крещение».

Когда мы говорим о народном характере Великой Отечественной войны, то обычно понятие ее народности сводим к самому широкому участию народа в войне и к пониманию им целей и задач войны. При всей неоспоримости этих положений их нельзя считать исчерпывающими, так как народ не только принял участие в войне и понял ее цели, но он еще осознал свою роль в войне, в жизни, в истории, роль не только исполнителя, но и творца.

«Березову вдруг открылось, что он никогда не знал истинной силы и духа руководимых им войск и потому не мог верно судить, что ждет его войска. И нынешний бой. Чем он отличается от множества других, удачных и неудачных, проведенных генералом? Ничем. Как и во всех прежних боях, Березов *выжмет из войск все силы* и, конечно, докажет, что он наступал, когда надо было, может быть, только обороняться. А дал'ли он накануне сражения какое-то мудрое, оригинальное решение, которое настолько бы *совпадало* с силами, духом и потребностью войск, чтобы войска удивились, обрадовались или огорчились, но поверили бы в свою победу? (Курсив мой. — *А. Л.*)

Березов знал, что из войск можно выжимать все силы, и он это делать умел, но теперь он понял, что *можно* это еще не значит — *нужно*. То, что сформулировал для себя боевой генерал Березов в разгар летних неудач сорок второго года, миллионами рядовых участников войны пусть и не было столь четко же сформулировано, но было уже прочувствовано и осознано и прочным слоем вошло в толщу народного мировосприятия.

«До солдат, — думал полковник Заварухин, — до основных исполнителей всякого приказа командования, решения доходят в самую последнюю очередь и в предельно сжатой, лапидарной форме, попросту сведенной до команды. И чем грандиознее намечаемая операция, чем глубже и основательней продуманы вопросы секретности, тем больше знают сол-

даты о предстоящем сражении, тем вернее судят о нем. На маршах и дневках ведут солдаты неспешные беседы, прозревают один от другого, нащупывают истину и печалятся или радуются, ожидая грядущего».

Миллионы Малковых и Охватовых сложили свои головы на полях войны, но миллионы тех же Малковых и Охватовых вернулись к прежней мирной жизни. Война не нивелировала, а сформировала их мировосприятие в сторону того понимания роли личности и народа в истории, к какому пришел в свое время генерал Березов. И все это важно не только для понимания характера самой войны, ставшей уже историей, но и для понимания характера последующих событий, имевших место в жизни народа, жизни страны.

Как известно, в начале войны была опубликована и получила широкий резонанс пьеса А. Корнейчука «Фронт», в которой шла речь о том, что временные неуспехи нашей армии обусловило главным образом то обстоятельство, что многие командные посты в армии занимали люди, заслуженные в прошлом, однако неспособные к ведению успешных операций в современных условиях, короче говоря, отставшие от развития военной науки и оставшиеся на уровне мышления времен Гражданской войны. Представителем такого рода командиров высокого ранга является в пьесе генерал Горлов. Его антипод — молодой генерал Огнев. Уже в самих фамилиях этих героев (Горлов — Огнев) угадывалась направляющая главного конфликта и авторская точка зрения.

Следует сказать, пьеса А. Корнейчука «Фронт» была воспринята не столько как факт литературы, сколько как факт обнадеживающей политической информации. Неудачи нашей армии в первые месяцы войны действовали угнетающе, и каждый задавал себе и не только себе один и тот же вопрос: «Почему?» Всерьез говорили о «заманивании» противника, всерьез выстраивали параллель между настоящей войной и Отечественной войной 1812 года и всерьез этому верили, но не потому, что были слишком наивны или легковерны. Люди жаждали любого прямого и однозначного ответа, чтобы вселить в себя надежду и укрепить веру в конечную победу над врагом. Пьеса «Фронт» дала такой ответ и сыграла важную роль в укреплении необходимой для победы веры. Под Москвой врага разгромили не прославленные герои Гражданской войны, а неизвестные молодые генералы, то есть «Огневы». Концепция пьесы нашла свое подтверждение в реальной действительности.

В шестидесятых годах на страницах «Нового мира» были опубликованы мемуары генерала Горбатова, который фактически опровергал точку зрения автора пьесы «Фронт», утверждая, что в первые месяцы войны Красная Армия терпела поражения именно в силу неоправданного массового выдвижения на высокие командные посты молодых генералов и офицеров в последние предвоенные годы. В контексте общего настроения начала шестидесятых годов точка зрения генерала Горбатова выглядела предпочтительнее, хотя у некоторых она и вызывала возражения.

По своей проблематике роман И. Акулова «Крещение» близок и пьесе Корнейчука, и мемуарам генерала Горбатова, однако по своей концепции он, вероятно, стоит все же ближе к истине, нежели упомянутые нами произведения, авторы которых оказались излишне категоричными в своих суждениях и выводах. Во всяком случае, война дала немало примеров тому, как опытные и уже немолодые офицеры и генералы быстро и творчески осваивали новую стратегию и тактику проведения операций, но в то же время в первый период войны выдвинулось немало молодых талантливых командиров самых разных рангов.

Конечно, в шестидесятые годы было очень соблазнительно «проиллюстрировать» точку зрения генерала Горбатова различными эпизодами из предвоенной жизни и эпизодами первых месяцев войны и таким образом создать произведение, как бы отвечающее духу своего времени, но И. Акулова, вероятно, смущали своей однозначностью и излишней категоричностью обе точки зрения, поскольку при всей их видимой полярности разница между ними была не столь существенна, как это казалось. И Корнейчук, и Горбатов делали ставку в своих концепциях на «сильную личность», расходясь в оценках этих личностей и их роли в войне, но не во взгляде на сам характер *народной* войны, получившей точное название — *Великой Отечественной*.

Читая третью часть романа «Крещение», понимаешь, почему автор так «неторопливо» над ней работал: процессу освоения сложного исторического материала сопутствовали процесс его самостоятельного философского осмысления и естественный в этом случае для художника поиск художественных эквивалентов. В третьей части И. Акулов не только завершил роман сюжетно, но и нашел убедительное обоснование своей жизненной концепции в материале исследуемой им действительности.

По-разному складывались на войне индивидуальные судьбы людей, однако тут действовала не однозначная формула: *погиб — выжил*. Совокупный опыт народа впитывал в себя и такие тяжкие испытания людей, которые не предполагал ни один изощренный ум, пытавшийся себе представить масштабы человеческих бедствий, которые может принести грядущий общеевропейский конфликт. В 1955 году на страницах «Нового мира» увидела свет повесть бывшего узника гитлеровского лагеря Маутхаузена Юрия Пиляра «Все это было», принесшая молодому автору широкую известность как в нашей стране, так и за рубежом. И потом Ю. Пиляр не раз обращался к самой страшной трагедии времен Второй мировой войны. Но вот в 1972 году Ю. Пиляр публикует небольшую повесть «Начальник штаба», и эта его публикация по времени совпадала с работой И. Акулова над романом «Крещение». Конечно, трудно сравнивать многоплановый роман И. Акулова и небольшую повесть Ю. Пиляра, но тут интересно само совпадение проблематики названных произведений.

В повести «Начальник штаба» идет разговор о зимнем периоде войны (1941—1942), когда после разгрома немецких войск под Москвой наша армия вела тяжелые наступательные бои на западном и северо-западном участках фронта.

Умный начальник штаба подполковник Евстигнеев предлагает командиру дивизии полковнику Хмелеву несколько изменить план предстоящей операции. Хмелев по достоинству оценил замысел своего начальника штаба, однако, чтобы изменить уже утвержденный план операции, он должен переубедить командующего армией генерала Пасхина, которого хорошо знал и сам Евстигнеев.

Ему (то есть Евстигнееву. — *А. Л.*) с финской кампании была памятна неприязнь Пасхина к командирам, не одобряющим излюбленного им, Пасхиным, способа боя — «накладистого, но надежного», по его собственному определению.

И получается, что вот вроде бы генерал Пасхин — это своего рода нахрапистый генерал Горлов из пьесы А. Корнейчука. Однако тут нет никаких литературных параллелей. Когда читаешь страницы повести «Начальник штаба», на которых излагается план действия армии генерала Пасхина, то видишь, что командарм не такой уж и консерватор. Во всяком

случае, командир дивизии Хмелев понимает: дело тут не в одном «консерватизме» генерала Пасхина.

«— Кое-что из твоих предложений я принимаю. С дотом это хорошо, — сказал Хмелев. — Вообще все придумано и рассчитано толково: отвлекающий бой в центре, выход к оврагу... Все было бы приемлемо, если бы дивизия действовала самостоятельно...

— А иначе нам не взять Вазузина, товарищ полковник, — отрезал Евстигнеев.

— Обожди, обожди, — нахмурился Хмелев. — Как тебе известно, есть направление главного удара армии со всеми силами и средствами поддержки, и мы стоим на этом направлении. Бой спланирован, план утвержден командующим...»

В ходе боев за Вазузин полковник Хмелев погибнет, и генерал Пасхин назначит командиром дивизии не кого-нибудь попокладистее, а именно инициативного подполковника Евстигнеева. Вероятно, Евстигнеев окажется хорошим командиром дивизии, однако он вовсе не родился таким и не был таким, скажем, в первые месяцы войны.

Повесть «Начальник штаба» как раз о том, как приходило умение к талантливым и мужественным людям, как сама война выдвигала достойных и отодвигала в сторону недостойных. Но это, так сказать, самая общая схема, потому как война не маневры: тысячи достойных заплатили за кровавую науку войны своими жизнями. Наука эта нужна была каждому: генералу, офицеру, солдату. И вот только в одном бою за нее заплатили жизнями командир дивизии Хмелев, командир полка Полянов, командир батальона Зарубин и сотни других воинов — названных и неназванных героев повести «Начальник штаба».

Читая художественную литературу о Великой Отечественной войне, нетрудно убедиться, что все значительные произведения о ней посвящены если не первым самым трудным месяцам войны, то тому периоду, когда враг еще топтал нашу землю и угрожал самому существованию народа. В этой связи невольно вспоминается толстовская эпопея «Война и мир», в которой описание военных действий оканчивается задолго до того, как Наполеон был повержен.

«Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому человеку, делать больше было

нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер».

Собственно, вот на этом и заканчивается описание «войны» в толстовской эпопее. Пожалуй, Толстой был не совсем прав или недостаточно точен, сказав, что Кутузов «не мог понимать» значения Европы, равновесия, Наполеона. Кутузов был не только великим полководцем, но и изощренным дипломатом, и он видел куда дальше, чем Александр I и его ближайшие советники, у которых, как говорится, аппетит разыгрался во время еды, то есть в ходе побед Кутузова над Наполеоном. Он попросту *не хотел* понимать того, о чем теперь так горячо пеклись Александр I и его приближенные, ибо на первый план ставил не интересы европейских политиков, а интересы русского народа, которые отнюдь не всегда совпадали.

Толстой очень точно заметил: «русскому человеку, как русскому человеку, делать больше было нечего». Нет, русскому человеку вовсе не безразличны судьбы европейских народов, но русский человек действительно осознает себя как русский только в моменты наивысшей опасности для своей Родины, в моменты ее беды, поэтому, вероятно, и русский писатель по-настоящему может творить, то есть писать о войне, когда он до глубины души проникается чувством вот этой беды.

Возьмем лучшее произведение о Великой Отечественной войне, написанное во время войны — поэму А. Твардовского «Василий Теркин». Вероятно, автор ее смотрел на Великую Отечественную войну совершенно иначе, чем Кутузов — на Отечественную войну 1812 года, и все-таки он своего Теркина не возвел в ранг торжествующего победителя.

Наконец, обратимся к началу наших начал — Пушкину. Совсем юный поэт, преисполненный гордостью за победы русского оружия, читает на экзамене перед Державиным:

В Париже росс! — где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.

Разумеется, не следует проводить полной аналогии между Отечественной войной 1812 года и Великой Отечественной войной, а также теми историческими задачами, что стояли в столь различные эпохи перед нашим народом, и все-таки общность мирочувствования не ощутить нельзя. Русские пи-

сатели, как и русские люди вообще, всегда как-то стеснялись роли торжествующего победителя и даже роли освободителя. И хотя А. Твардовский довел свою поэму до победного салюта, с Теркиным мы фактически простились в главе «На Днепре». В двух «заграничных» главах Теркин только упоминается, причем главы эти предельно обытовлены: ни боев, ни побед в них не показано. А в последней главе, если не брать в счет завершающую главку «От автора», действие происходит... в бане. Глава так и называется — «В бане».

Правда, в главе «По дороге на Берлин» поэт в одной строфе все же делает набросок русского солдата-победителя:

Он стоит, освободитель,
Набок шапка со звездой.
Я, мол, что ж, помочь любитель,
Я насчет того простой.
Мол, такая служба наша,
Прочим флагам не в упрек...

Вспоминается и знаменитая скульптура советского воина работы Вучетича, что была после войны установлена в Берлине: воин-победитель, держащий на руках маленькую девочку, как бы вырванную из огня войны. Скульптура монументальна, но запечатлено в ней не торжествующее чувство, а болевое чувство человека-воина, взывающего к милосердию...

4

Лет двадцать назад, когда наша «военная» проза только еще утверждалась в литературе как новое явление, нередко раздавались в ее адрес упреки: дескать, писатели-фронтовики все топчутся и топчутся на одном месте — на первых самых трудных годах войны — и никак не перенесут действие своих произведений на ее завершающий, победный этап. Эти упреки давно утихли, мы отмечаем сорокалетие Великой Победы, а писатели по-прежнему обращаются к тому роковому этапу войны, когда от отчаяния спасала только вера в свой народ, в его силу, которая пробуждается не вдруг и не по каждому поводу.

Видимо, жизненный опыт Михаила Горбунова мало чем отличается от жизненного опыта его сверстников. Писатель хорошо помнит последние предвоенные годы, хорошо помнит первый день войны и суровые своим содержанием после-

дующие годы... Собственно говоря, вот эта память и побудила его написать роман «Жаворонок, жаворонок, прилети» (1980), действие которого начинается в последний предвоенный год и оканчивается сорок шестым годом, когда люди только-только начали приходить в себя от войны.

Если говорить о внешних событиях или внешних поступках героев, то вряд ли мы найдем для себя на страницах романа что-то из ряда вон выходящее. Кровавые реалии войны занимают в романе место, соразмерное их истинному значению жизни суровых военных лет, однако они не затемняют тех чистых чувств и помыслов, которые для многих были самой надежной опорой в годы жесточайших исторических испытаний. И это тем более важно, что главные герои романа «Жаворонок, жаворонок, прилети» — женщины.

«Этот дом в округе называли — «панки». «Панки» и «панки» — и никак более. Прозвище это жило еще с царских времен и укоренилось настолько, что, поди ж ты, царских времен почти четверть века как не было, а — «панки» да «панки» — ходило по сию пору, и о происхождении странной клички теперь осталось только догадываться».

Вот в этих коммунальных «панках» жили и уживались люди разных возрастов и разных судеб, одни из них жили больше прошлым, другие — будущим. Горощиха, например, пришла сюда в голодном тридцать третьем году с двумя сыновьями. Старший теперь служит на границе, младший, Антон, заканчивает школу и поступает в военное училище. Сын учительницы немецкого языка Нины Вильгельмовны, Саша, мечтает стать астрономом. Живут тут бездетные бухгалтер Григорий Иванович и медсестра Мария Федоровна. Овдовевший работник типографии Владимир Афанасьевич растит дочь Аннушку, разрываясь между воспоминаниями и надеждами. Аннушка заканчивает школу... В Аннушку влюблены и Антон, и Саша, да и сама Аннушка вошла в пору любви...

Михаил Горбунов предпослал своему роману такой эпиграф из Пришвина:

«А что есть любовь? Об этом верно никто не сказал, но верно можно сказать о любви только одно, что в ней содержится стремление к бессмертию и вечности, а вместе с тем, конечно, как нечто маленькое и само собою понятное и необходимое, способность существа, охваченного любовью, оставлять после себя более или менее прочные вещи, начиная от маленьких детей и кончая шекспировскими строками».

Вот с этой точки зрения и рассказывает автор не только о судьбах отдельных людей, но и о целой эпохе. Казалось бы, слова Пришвина касаются мирных времен, но автор романа «Жаворонок, жаворонок, прилети» поверяет их суровым военным временем, и мы видим, что суровые времена еще ярче подчеркивают правильность пришвинских слов. М. Горбунов даже первый день войны описывает не с точки зрения фотографически достоверных деталей, а с точки зрения внутренних ощущений и переживаний главной героини. Пролетают первые дни войны. Уходит на фронт мечтательный «звездочет» Саша, затем Аннушка провожает на фронт и энергичного Антона.

Нет, не успеет Аннушка полюбить ни Сашу, ни Антона, их общее детство будет противиться возникновению у нее нового к ним отношения. Война унесет Сашу, искалечит Антона, война убыстрит ход событий. В эти первые дни Аннушка случайно встретит лейтенанта Бориса и полюбит его. История их любви будет длиться не более суток, а еще через десять суток Бориса не будет в живых. Однако эта любовь в жизни Аннушки навсегда перевернет последнюю страницу ее юности.

Когда мы вели речь о романе И. Акулова «Крещение», то невольно заговорили на модную нынче тему о «ритмах времени». Читая роман М. Горбунова, еще раз убеждаешься, как велики были эти «ритмы времени» в годы войны, и порой даже кажется, будто тогда безраздельно властвовал случай.

Действительно, на войне вроде бы все подчинено воле случая, который может перечеркнуть любые усилия и любые намерения человека. И вот эта вера в абсолютную власть случая порой разоружает художника, он как бы сам подчиняется его власти и начинает заботиться лишь о достоверном воспроизведении внешних событий, а достоверные внешние события, за вычетом отдельных штрихов, не так уж разнообразны в череде жестоких военных будней.

Нет, М. Горбунов вовсе не отрицает роли случая, но он и не пытается все на него списать, он ищет в жизни закономерностей, от имени которых и действует в жизни случай. Так, Аннушка случайно встретила Бориса, но полюбила она его не случайно, ибо она уже перед этим вошла в пору любви и молодых надежд, и не случай предопределил ее конкретные поступки, а война. И тут невольно вспоминаются слова Пришвина о любви, в которой влюбленность — только начало этого всеобъемлющего чувства. И не историю влюбленностей или

историю любви Аннушки рассказывает в своем романе М. Горбунов, он рассказывает историю души молодой женщины, участницы великих исторических событий.

Человеческую душу иногда сравнивают с птицей. Это сравнение верно, если еще иметь в виду, что при всей своей свободе птица имеет свой корень, то есть свое гнездовище. Нет, не случайно М. Горбунов начал роман с подробного описания «панков», своего рода гнездовища ее главных героев. Действие романа и начинается в «панках», и заканчивается в «панках», пусть уже полуразрушенных и обветшалых.

«Панки», «панки»...

Оказывается, как много значили они в жизни тех, кто их населял.

Как известно, во время войны на оккупированной территории осталось очень много честных, стойких, мужественных людей, и когда о таких людях заходила речь в романах и повестях, то обычно прибегали к помощи все того же *случая*: случайно не успел, случайно не сумел, не повезло... И для иллюстрации прилагались конкретные ситуации, конкретные жизненные эпизоды.

«— А вы как же? Не поедете с госпиталем? — не унимался Аннушкин отец.

Глаза Горощихи затуманились нелегкой думой.

— У мэнэ хата туточки... А сыны придуть? Где ж им шукаты свою матерь?

Видно, у нее путались понятия о мерах пространства и жестокости времени, и только что-то исконное, корневое было ее опорой средь внутреннего ее хаоса».

Короче и точнее сказать трудно. Многие тогда испытывали то же, что и Горощиха, для многих путались тогда понятия о мерах пространства и жестокости времени, и для многих внутренней опорой становилось что-то корневое, что невозможно выразить словами. И Горощиха оказалась правой: покинь она свои «панки», и судьба скорее всего навсегда развела бы ее с оставшимся в живых, но искалеченным сыном Антоном.

Говоря по совести, пришвинская мысль о любви показалась мне интересной лишь по своему содержанию: действительно, «шекспировские строчки», если толковать это понятие расширительно, являются плодом любви, но только при том условии, если и само слово «любовь» толковать расширительно. Но суть не в этом или не только в этом. Сама форму-

лировка показалась мне слишком холодной, умозрительной, а потому и слишком приблизительной, чтобы извлечь из нее не только смысл, но и ощутить самое сущность того высокого чувства, о котором писатель решил публично высказаться.

Конечно, есть что-то общее в природе «шекспировских строчек» и «маленьких детей», однако объединять их словом «вещь» неуместно при любой степени подразумеваемой условности самого слова «вещь». И потом, «шекспировские строчки» на самом деле «прочны», а «маленькие дети» — беззащитны, и люди вовсе не оставляют «маленьких детей», а, напротив, соединяют их навечно с собою, и в этом случае плод любви становится источником для новой вечной любви.

Четыре долгих года война безжалостно уносила человеческие жизни. Не всем героям романа «Жаворонок, жаворонок, прилети» довелось дождаться великого Дня Победы. Многое пришлось повидать и пережить тем, кто до него не дожил, и тем, кому посчастливилось до него дожить. Но, пожалуй, всю меру военного лихолетья герои как-то особенно остро ощутили только вот здесь, в послевоенных обветшалых «панках», ибо здесь каждый осознал, что довоенная жизнь никогда не вернется. Потеря в каждой семье подчеркивала собственные утраты, и теперь над старыми коммунальными «панками» витал устойчивый и общий для всех дух сиротства.

Когда сейчас перечитываешь вроде бы незамысловатого по форме «Василия Теркина», то поражаешься, как много поэт сумел не только увидеть и прочувствовать на дорогах войны, но и «предугадать» те горькие чувства, что навалятся на людей после скорого теперь уже победного дня, и не случайно, что две последние «заграничные» главы он предваряет, казалось бы, выбивающейся из общего предпобедного настроения главой — «Про солдата-сироту».

А у нашего солдата, —
Хоть сейчас войне отбой, —
Ни окошка нет, ни хаты,
Ни хозяйки, хоть женатый,
Ни сынка, а был, ребята, —
Рисовал дома с трубой...

И чуткое сердце поэта призывало откликнуться на боль тех, кого война сделала сиротой, наполнив понятие «сирота» еще более глубоким горьким содержанием.

День идет за ночью следом,
Подведем штыком черту.
Но и в светлый день победы
Вспомним, братцы, за беседой
Про солдата-сироту...

Нет, не легко было солдату, которого от родных, от близких, от дома отделяли сотни, а то и тысячи километров, но еще труднее было тому, для кого понятия «фронт» и «тыл» сливались в единое понятие — «война».

В первые же дни войны Аннушка потеряла человека, которого только что успела полюбить, а вскоре оккупанты убили ее отца. И теперь партизанский отряд надолго становится ее домом и семьей. На дорогах войны она встретит летчика Андрея, и на сей раз судьба смилостивится к ней: Аннушка и Андрей, уже будучи мужем и женой, встретят Победу в красивой и благоустроенной Австрии.

В финале романа Аннушка вернется в свои «панки», вот тут-то она по-настоящему и ощутит, как многих, в том числе и ее, война сделала сиротами, война убила не только близких людей, она убила прежние мечты, прежние надежды, прежние привязанности. Теперь нужно было начинать жизнь как бы заново. Правда, у Аннушки хоть оставалась в запасе молодость, пусть и опаленная войной; другим же обитателям «панков» война оставила лишь горькие думы, которые становились еще горше, когда нечаянно пересекались в душе со светлыми воспоминаниями прошлой — довоенной — жизни, казавшейся уже нереальностью.

И опять основное действие романа приходится на первые годы войны, а дальше следует беглая хроника жизни главной героини, автору она, эта хроника, потребовалась для того, чтобы читатель увидел послевоенные осиротевшие «панки», которым уже не вернут жизнь даже отгремевшие долгожданные победные залпы. Разорить дом, село, город — это не просто нанести материальный ущерб, хотя таковой и можно подсчитать. Разорение любого гнездовища чем-то очень обедняет людей, и особенно женщин, меняя их далеко не всегда в лучшую сторону.

Когда мы говорим «военная» проза, то подразумеваем не всякое произведение о минувшей войне, а лишь то, в котором при соблюдении верности историческим событиям на первый план выдвигается проблема перестройки на войне человеческой души, сопротивляющейся воспринимать войну как одну из форм жизни.

5

В последнее время у критиков стало, кажется, хорошим тоном упрекать Даниила Гранина в «старомодности» и тем самым как бы невзначай и заодно подчеркивать собственное обостренное чувство на все свежее, чем развивается литература. Так, критик Е. Сидоров в книге «Время, писатель, стиль» (1983) заявляет: «Форма устала, она жаждет обновления вместе с исторической и моральной идеей, вместе с жизненным материалом, которые призвана воплотить в *праздничной* и смелой *оболочке* искусства» (разрядка моя. — *А. Л.*).

Мне представляется, это обращение уместнее все же адресовать не писателям, а в лучшем случае — оформителям книг на случай праздничных изданий, потому как между формой художественного произведения и «оболочкой» не больше сходства, чем между внешним человеческим обликом и одеждой, которой человеку пристало пользоваться во все часы его жизни, кроме времени банного обряда и некоторых других эпизодов частной жизни. Одежда меняется вместе с настроением, обстоятельствами и возможностями, облик же целиком зависит в любой период от внутреннего состояния человека.

Но я не стал бы придираться к словах, не последуй дальше приложения этой формулы к конкретному произведению конкретного писателя. «Даниил Гранин, — продолжает критик, — писатель умный, буквально нацеленный на современность... Но вот он пишет новый роман («Картина»), пишет *испытанным беллетристическим методом*, роман значительный, интересный, но кажется порой, будто *многое в нем уже было* когда-то, десятилетие назад... Все *добротно*, временами с блеском (а Поливанов — даже открытие характера), но в целом, на мой взгляд, *запоздало и по конфликту, и по изобразительности, запоздало для* самого *автора*, который *давным-давно в лучших своих работах ушел от стиля «Картины»* (выделено мною. — *А. Л.*).

«Испытанный беллетристический метод», «добротность», «запоздалость» и т. д. Короче говоря, никакого «обновления», которого так «жаждет» современная литературная форма.

В самом начале прошлого года Д. Гранин публикует на страницах «Нового мира» повесть «Еще заметен след», и А. Латынина в статье «Характеры и ситуации» («Лит. газ.», 1984, № 20) начинает свой разговор о ней с такого предуведомления: «Завязка повести Даниила Гранина слишком уж... тради-

ционна, что ли». Однако ни извинительное отточие, ни амортизирующее «что ли» никак не меняет сути дела, если не считать желания А. Латыниной во всех случаях жизни оставаться человеком деликатным. Желание для критика похвальное и не только потому, что оно из породы редких.

Далее А. Латынина пересказывает, чтобы не быть голословной, начало гранинской повести. Что ж, А. Латынина, пожалуй, права, завязка повести «Еще заметен след» действительно традиционна, если не сказать — банальна.

А теперь вспомним другое произведение, совершенно постороннее в нашем разговоре. Человек тащится из столицы Грузии через перевал, дорога долгая и нудная, потом этот человек вспомнит свои скучные впечатления: занудный проводник, упрямые быки, затрапезный духан, собственный чемодан и даже его дальнейшая судьба... Ничего оригинального и уж тем более сногсшибательного по форме и содержанию... А ведь это завязка «Героя нашего времени» — самого сложного, я бы даже сказал, самого изощренного с точки зрения формы произведения русской, а возможно, и не только русской, изящной словесности.

Так вот, что касается первого впечатления, на которое, как мы знаем, очень влияет «одежка», то тут у нас с А. Латыниной, вероятно, расхождений нет, но вот что касается «ума», по которому «провожают», то тут у нас, вероятно, и даже наверное, уже нет единодушия.

«Горькое прозрение героя, — заключает А. Латынина, — остро осознающего, что «пестрые обрывки» его прошлого лишены единства, в котором проступает судьба, — одно из лучших мест повести Гранина. Найдет ли Дударев в себе силы изменить это течение жизни — неясно...»

А я бы сказал, что это, в конце концов, не так уж и важно, поскольку повесть-то вовсе не про Дударева, отчего, между прочим, и такая «традиционная» завязка. Уже во второй половине произведения, когда Дударев прочтет почти все письма Волкова к Жанне, он отчетливо ощутит: «Какие огромные были эти четыре года! (Годы войны.— *А. Л.*) Остальное, послевоенное, житье скомкалось в монотонное существование. Не то что годы, десятилетия неразличимо слиплись».

Так вот скажите, учитывая, разумеется, что форма должна «соответствовать» содержанию, какой же еще могла быть завязка произведения, кроме самой «традиционной» и даже банальной, если в жизни героя, с которого мы начинаем свое знакомство с действующими лицами повести, несколько де-

сятилетий жизни «скомкались» и «слиплись» в нечто массообразное?

Конечно, бывает и так, что автор сразу же подает нам изысканную «закуску», потом ошеломляет нас необыкновенным «десертом», затем оглоушивает бокалом заморского «вина» и так далее в том же духе. Поначалу все это жуешь и пьешь с аппетитом и любопытством, готовя себя в душе к соответственно великолепному «обеду», однако долгожданного «обеда» все нет и нет; в желудке одно урчание, потихоньку начинаешь недоумевать, а потом все более злиться, по мере того как проникаешься мыслью, что никакого «обеда» не будет, что тебя просто-напросто долгое время водили вокруг пустоты.

Я понимаю, все сравнения приблизительны, но мне этот гастрономический сюжет потребовался для того, чтобы не отягощать свой разговор псевдонаучными терминами, которые, по-моему, могут соблазнять лишь тех, кто не в состоянии оценить и отличить натуральный продукт (живое слово) от его образа и подобия, сделанного из папье-маше.

А. Латынина, подразумевая какие-то современные произведения, пишет: «Дударев сознательно противопоставлен довольно многочисленным персонажам, погруженным в то прошлое, в котором выявились лучшие свойства их натуры». Не думаю, что Д. Гранина побудили написать новую повесть именно эти мелкие полемические позывы. К тому же Дударев — всего лишь персонаж, пусть и очень важный, который «обслуживает» генеральную идею произведения и его сюжет, а главный герой произведения — Сергей Волков, в чьей жизни не то что десятилетия, но и годы никогда не «слипались» и не «скомкивались» в «монотонное существование».

Структура гранинской повести сложна и оригинальна, но не потому, что в ней важное место занимают давние письма героев, а время действия постоянно переносится из одной эпохи в другую, представляя нам героев то в одном возрасте, то в другом. Все это тоже традиционно до банальности, как и всякие фантасмагории, гиперболы, романтические пассажи и прочие модные литературные условности современной беллетристики. Сложен и совершенно нов главный герой повести, как и вся система раскрытия его характера и закономерности его судьбы.

Если не брать тех случаев, когда автор преднамеренно вводит рассказчика и «поручает» ему самостоятельно повествовать, то весьма редко произведение строится так, что читатель не входит в «очное» знакомство именно с главным геро-

ем. А вот в повести «Еще заметен след» «очного» знакомства читателя с главным героем не состоялось.

Сначала автор представляет нам некого Антона Дударева, затем мы знакомимся с другим персонажем — приехавшей из Грузии Жанной, потом из их разговора узнаем о каком-то Сергее Волкове, который тридцать с лишним лет назад воевал вместе с Дударевым на Ленинградском фронте; далее Дударев под крепким нажимом Жанны станет читать фронтовые письма Волкова к ней и что-то припомнит о Волкове самостоятельно, а что-то узнает из его же писем; порой письма будут даваться нам «в оригинале», порой Дударев будет их пересказывать; и постепенно перед нами встанет образ живого, полнокровного человека с очень своеобразным характером и весьма печальной судьбой. Вот это «освещение» образа как бы с разных точек зрения и из разных временных пластов даст нам довольно полную и объективную характеристику человека, который так и не вступил с нами в непосредственный «контакт».

И тут литературные приемы, которыми воспользовался автор, важны не сами по себе, а как составные общей художественной системы, позволившей в лаконичной (стало быть, талантливой) форме выразить серьезную художественную мысль.

Признаться, понятие «советский интеллигент» в силу слишком частого его употребления утратило свое социально-историческое содержание, став расхожим и мало чего выражающим публицистическим эпитетом. В повести «Еще заметен след» я, пожалуй, впервые встречаюсь с героем, которого без всякого публицистического зуда хочется назвать «советским интеллигентом». Сергей Волков родился где-то в конце первого десятилетия нашего века, его отрочество, юность и молодость пришлись уже на советское время. Происхождения он был, как когда-то говорилось, низкого.

«Видите ли, Жанна, — писал Волков, — я вышел из самых низов, из дворников, прачек, все, что мне досталось в жизни, добыто огромным трудом... Другим проще. Они получили грамотных родителей, десятилетку, подушку в наволочке».

Это признание Волкова очень поразит Дударева: «Мы считали его кичливым зазнайкой, который щеголял своим инженерством, а он втайне мучился дворницким происхождением». А еще во время войны Дударев как-то заявит Волкову: «Думаете, если вы такой эрудированный, вам все позволено, а мы тут скобари, тюхи серопузые?»

Интересная ситуация: Волков завидовал как бы унаследованной интеллигентности Дударева и его дружка Бориса Лукьянова, а те в свою очередь завидовали интеллигентности Волкова и полагали, что он их считает «тюхами серопузыми». И вот этот обоюдный «комплекс неполноценности» с какой-то новой стороны характеризует предвоенную эпоху: интеллигентность у новых поколений уже не связывалась с буржуазностью или с принадлежностью к высшему сословию, а связывалась с культурой, точнее, со степенью ее освоения. И в этом смысле нам, безусловно, интереснее тридцатипятилетний Волков, нежели совсем молоденькие Дударев и Лукьянов, чью юность оборвала война.

Сейчас приходится довольно часто читать в газетах сообщения о кончине выдающихся ученых, полководцев, деятелей культуры и литературы того поколения, к которому принадлежал гранинский Волков. И чаще всего в начале кратенькой биографии умершего мелькает: родился в селе таком-то, родился в таком-то поселке, то есть вышел «из низов».

В двадцатые и тридцатые годы для таких, как Волков, открылись все двери, однако не следует думать, будто кто-то и когда-то устроил для Волковых сказочную жизнь. Читая письма Волкова, Дударев размышляет: «Я все ждал, когда он приблизится к тому Волкову, которого мы знали. Пока что неустроенный паренек двадцатых годов изо всех сил карабкался, пытаясь найти себя, добраться туда... А, собственно, куда? Куда мы карабкаемся в молодости? Его мотало — то к деньгам, то к стоящей специальности. Тянуло, согласно ажиотажу времени, к богатству, тянуло и за трудным призывом эпохи — учиться».

Как видим, никто Волкова не вел по жизни за ручку, не подсаживал на вышенаходящуюся ступеньку, он вдоволь попетлял, но все же нашел свою дорогу — дорогу к знаниям. Волков хотя и мучился своим низким происхождением, но в то же время не стеснялся его, а главное, не кичился им. А ведь сколько людей его поколения, кичась своим «пролетарским происхождением», промотали этот свой «капитал» раньше, чем нажили новый.

Жизнь никогда не стоит на месте, а в эпоху, когда происходило становление Волкова как личности, строилась бурными темпами новая жизнь, новая, в буквальном смысле этого слова. И Волков постиг простую и гениальную мысль, что, строя новую жизнь, необходимо постоянно строить, выстраивать себя как человека, иначе и новая жизнь получится совсем

не такой, о какой мечталось. Вот это самотребование и сделало Волкова интеллигентом.

И хотя Волков не получил в наследство от своих родителей и более далеких предков «интеллигентность», зато ему в наследство от них досталась нерастраченная потребность в знаниях.

«Волков поступил в Технологический институт. Вечерами он зарабатывал на чертежах, по выходным посещал Университет культуры, рано утром, до занятий, бежал на стадион. Он хотел всего сразу, всюду преуспеть. Он слушал лекции по античной философии, по музыке, по истории, по астрономии... Ему надо было отличать барокко от ампира, понять гениальность Тициана, научиться слушать Бетховена... Знать про Платона, Демокрита и Сенеку... Он боялся, что не сможет соответствовать званию инженера, потому что «инженер» для него означало высшую категорию людей. Инженер обязан знать и Овидия, и созвездие Орион, и историю Исаакиевского собора...»

Но это не было простым накопительством сведений или приобретением простой эрудиции, это была жажда познать мир во времени и в пространстве и таким образом постигнуть его закономерности. Волков был из той редкой породы людей, которые не любят принимать даров жизни, а особенно таких ненужных, какими являются слова, роскошь и чужие мысли как нечто непреложное и освобождающее тебя от умственной самостоятельности.

Мы не станем пересказывать сюжет повести и разбирать тот конфликт, что возник между Волковым и его молодыми коллегами-лейтенантами, — это все мелочи фронтового быта.

Читая письма Волкова, Дударев многое открывает для себя заново и как-то даже признается Жанне: «А что касается меня, то я был туп. Это точно. Даже вспомнить стыдно». Конечно, когда тебе уже за пятьдесят, то иногда бывает стыдно вспоминать свое юношеское «гусарство». Однако здесь суть не в гусарстве, а в трагедии человека, которого ты всегда пытался представить дурным человеком, еще и потому, что частично сам был повинен в его трагедии.

Уже перевалил свою середину 1944 год, один победный бой следовал за другим. И вот как-то после тяжелого и кровопролитного боя в часть приехал генерал, вручил самолично офицерам награды и устроил небольшой фронтовой прием. Генерал подошел к лейтенанту Волкову...

«Волков отделывался односложными ответами, хмуро, зло, кроме того, он не выпил. Генерал не привык к такому невниманию, не помню уж, как и чем поддел он Волкова, заставил его разговориться о нашей операции, за которую мы получили награды. Волков сказал, что форсировать реку и выйти к железной дороге можно было без таких потерь. Генерал что-то возразил, но Волков зачеканил, не давая себя прервать...»

На этом пока прервем воспоминание Дударева. Вряд ли генерал сам не понимал, что операция была проведена бездарно, просто на сей раз увлек азарт победных боев. Поэтому, наверное, он так и расщедрился с наградами и оделил офицеров своим повышенным вниманием. Нет, этот генерал не похож на пиляровского генерала Пасхина — любителя «накладистых, но надежных боев». Видимо, генерал ждал одобрения от самих участников операции, чтобы как-то успокоить свою профессиональную совесть. Но Волков не пожалел генерала и сказал ему при всех всю правду, за что и поплатился.

Но послушаем опять Дударева: «Начальство еще не успело ничего сказать, мы сами навалились на Волкова, поскольку ясно — нам вперед рвать надо, а не потери считать... Нам казалось, что он принижает наш подвиг, развенчивает его в глазах начальства, которое так хорошо отозвалось о наших действиях...»

И делу дан был ход. Генерал оказался человеком самолюбивым и довольно жестоким. Но суть тут не в одном генерале. Не следует понимать время, когда нередко нарушалась законность, так, будто кругом царило одно беззаконие. Дело Волкова велось как полагается. «На следующий день нас вызывали по очереди, расспрашивали, и мы не щадили Волкова — и за прошлые разговоры и за этот».

Волкова недолюбливали многие за всезнайство. То он посоветует старшине, какую лучше крупу взять (в какой больше калорий), то посоветует начальнику штаба рыть или не рыть траншею, то он посоветует тому же Дудареву, как лучше построить блиндаж. И злились на него не столько за то, что он лез со своими советами, а за то, что всегда оказывался прав. На него злились за то, что он в заботе о людях, для которых он и строил *новый мир*, делился своими знаниями.

«Вскоре после этого, — вспоминает Дударев, — меня взяли в танковый полк, и от кого-то я потом узнал, что Волкова наказали, и его дальнейшую участь заволокло клубами пыли наших танков и самоходок, идущих на запад». Видать, этими

же «клубами пыли» надолго заволокло и совесть Дударева, но не навсегда.

И вот, наконец, в руках Дударева то письмо, в котором он рассказывает Жанне о той давнишней трагедии. «Я пробежал оставшиеся две страницы. Больше ничего, никого не упомянул из нас, никому не поставил в вину, что тогда не только не вступились — обрушились на него...

Долго, со стыдным чувством облегчения смотрел я на дату, механически поставленную в углу, потом повалился на диван и мгновенно заснул, не раздеваясь, как когда-то засыпал на фронте».

В одном из писем Волкова Дударев прочитает о себе и о своем товарище: «Вместе с Дударевым и Поляковым они обсуждали это место в книге и навалились на меня. Молодые эти люди имеют ум острый, но неразвитый...»

Волков долго и трудно выстраивал себя, чтобы понять мир, то есть понять людей, он понял и тех своих товарищей по оружию, которые не понимали, что творили в тот роковой для него день, и он их не осудил, он своей тяжелой судьбой искупил их вину.

Прочитаны все письма покойного Волкова. Уехала Жанна...

«Никогда прежде не видел я город таким легким, воздушным. Рассеянная неуловимость света придавала всему загадочность. Незнакомая мне красота была во всех этих известных мне с детства домах, перекрестках... Но и это было не так важно перед теми новыми чувствами и мыслями, которые открылись для меня и долго еще не будут давать покоя».

Это шел по городу уже не тот банальный Дударев, с которым мы познакомились в самом начале повести, это шел освобожденный от вины бывший фронтовик Антон Максимович Дударев, взглянувший вдруг на мир глазами теперь бессмертного для него и навсегда молодого Сергея Волкова — интеллигента, строившего и защищавшего новую жизнь.

«Форма устала...» Буквально через два дня после того, как я написал эти слова, пришел номер «Литературного обозрения» со статьей Анатолия Бочарова, где говорится о процессах усталости в прозе 70-х годов. Критик имеет в виду лирическую деревенскую прозу, военную прозу, литовский психологический роман о современности. Здесь очень симптоматично само лексическое совпадение — думаем об одном и том же, хотя характер рассуждений несколько разнится».

Я не могу понять восторга Е. Сидорова по поводу того «лексического совпадения», которое он обнаружил в собственной статье и в статье А. Бочарова: ведь ошибочные мнения или суждения совпадают ничуть не реже, чем мнения и суждения верные. Во всяком случае, совпадение мнений и суждений никак не гарантирует их верности. Между прочим, в этом мы убедились, когда читали новую повесть Д. Гранина, как убедились и в том, что литература живет не по законам *обновления*, а по законам *развития*. Признаюсь, литовский психологический роман о современности лежит за пределами моей компетенции, а что касается лирической «деревенской» прозы и «военной» прозы, то об их «усталости» я узнаю лишь из статей своих коллег по критическому цеху, но не обнаруживаю ее в самой литературной действительности.

1984

АВТОБИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ

В человеке заложена вечная, возвышающая его потребность любить.

Анатоль Франс

1

Лет десять — двенадцать назад, когда в широкий оборот была пущена периодизация цифрового обозначения поколений, по существу дела, сверстникам Астафьева в этой периодизации своего места не нашлось, так как все воевавшие как бы были причислены к одной группе — фронтовиков, независимо от того, легла ли война всей своей тяжестью на плечи вчерашнего юноши, не успевшего еще выбрать в жизни свой путь, или под ее тяжесть подставил плечи человек с определенным жизненным опытом.

Так или иначе, но при общей военной судьбе все-таки существовала заметная разница между теми, кто встретил войну пусть и молодыми, но имеющими уже самостоятельный жизненный опыт людьми, и теми, кого война приняла в свое кровавое лоно прямо со школьной скамьи и из родительского дома, чьи возвышенные юношеские представления о жизни не в полной мере соответствовали даже обыденной мирной действительности.

Встретившись с тяжелым бытом войны, вчерашние юноши не уступили своих нравственных идеалов, пронеся через все испытания веру в высокое предначертание человека. Нет, на войне не просто сохранить моральную чистоту, когда мерой всему становится человеческая жизнь: за трусость человек расплачивается своей или чужой жизнью, за ошибку человек расплачивается опять же своей или чужой жизнью, — любой неосторожный шаг чреват гибелью товарищей.

Казалось бы, личный боевой опыт давал Астафьеву право (будущий писатель осенью сорок второго года восемнадцатилетним юношей ушел добровольцем на фронт, участвовал в освобождении Орла, Украины, Польши, был контужен, получил тяжелое ранение) писать о войне, но боязнь сказать ненужное или неумелое слово отодвигала все дальше и дальше *главный* разговор, ради которого Астафьев и стал писателем. Он долго

и плодотворно исследовал характер своего современника, начинал с его истоков и даже предыстоков, — так появилась в свое время повесть «Стародуб», в которой по-новому раскрываются характер родного сурового края и характеры его людей. Рассказы о детстве составят потом единую и целостную книгу «Последний поклон» — заветную книгу автора.

Астафьевские рассказы о детстве выходят за рамки личных воспоминаний, и значение их не только, а возможно, не столько в самом материале, сколько в их эмоционально-нравственном заряде, способном разбудить в читателе самые светлые чувства, порой вольно или невольно загоняемые нами на задворки собственной духовной жизни, или возбудить мысль, до сих пор почему-то остававшуюся на периферии собственных раздумий.

В особо трудных условиях будет происходить нравственное и гражданское становление героя повести «Кража» детдомовца Толи Мазова, не только развившего в себе, но и пробудившего в своих товарищах те здоровые начала, что были заложены в каждом из них, но под напором недобрых жизненных случайностей слишком глубоко запрятались.

И тут Виктор Астафьев писал не одного героя, он писал героев разных, но с единой нравственной основой, сложившей нравственное лицо поколения.

Если во многих прежних произведениях Астафьева война в судьбе героев предполагалась как более или менее близкое событие, то в повести «Пастух и пастушка» главный ее герой лейтенант Борис Костяев находится в самой гуще этого события, когда война, перевалив свою срединную часть, стала суровым бытом народа, отлившего свое философское осмысление переломного периода войны в лаконичное выражение — «не тот немец стал», взяв в фокус своей оценки духовные резервы человека.

Лучшие наши писатели, пишущие о Великой Отечественной войне, все чаще и чаще делают попытки раскрыть правду времени военных лет через правду характеров, однако, несмотря на отдельные удачи, минувшая война (войну мы здесь понимаем как целую эпоху в судьбе народов, а не только как военные действия) пока терпеливо ждет своего автора, ждет творения, равного бессмертному творению Льва Толстого «Война и мир». И не случайно, что многие писатели — сверстники Астафьева (Юрий Бондарев, Виктор Курочкин, Василь Быков, Евгений Носов, Константин Воробьев, Сергей Никитин, Юрий Гончаров и другие) так всерьез осваивали тради-

ции великой русской литературы (и в первую очередь традиции Толстого) и не торопились сказать свое слово до тех пор, пока не достигли писательской зрелости, предполагающей соответствие направления личного нравственного поиска с нравственным законом времени.

Если же эти писатели порой пишут и не о войне, то все равно они пишут *войною*, ибо она как раз и была тем историческим событием, что граждански их сформировало. Несколько задержавшись с осмыслением своих сложных военных переживаний, это поколение с середины минувшего десятилетия заговорило в полный голос, и в нынешнем литературном процессе ему принадлежит ведущая роль, а Виктор Астафьев находится в числе наиболее ярких его представителей.

Виктора Астафьева иногда упрекали (а если и не упрекали, то все равно чувствовался какой-то отзвук упрека) в автобиографичности. Пожалуй, до повести «Пастух и пастушка» это мнение трудно было опровергнуть, хотя оно и тогда не было абсолютно верным. Теперь оно тоже не исчезнет само собою — слишком велика в нас сила инерции, в том числе и инерции мышления. А если уж говорить об автобиографичности творчества Астафьева, то мы вправе сказать, что рукой его писало свою автобиографию целое поколение.

Финальные слова повести Астафьева «Звездопад» звучат так: «Я люблю родную страну свою. Но очень она большая. Утеряешь человека и не вдруг встретишь.

В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один, в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились, но свет их все еще идет к нам, все еще сияет нам».

Этот поэтический образ ночи родился, когда автор работал над повестью, но в нем заключен тот этический закон, который созревал в душе автора, вероятно, довольно долго, он помогал писать, но в то же время и «мешал». Давно уже прошли детство, юность, суровая военная молодость, столько было схвачено лиха, и все же... Столько на жизненном пути встречено прекрасных людей, и хотя многих из них нет уже в живых, но простертые ими свет и тепло ощущаешь до сих пор, как свет тех звезд, что давно погасли...

Издано уже несколько книг, в том числе роман о современной колхозной жизни («Тают снега»), а писательское воображение все чаще уносится в далекое детство. Пишутся рассказы о собственном детстве: встают перед глазами, слов-

но живые, бабушка Катерина Петровна той поры, когда она была еще совсем нестарая, родичи — и те, которых он видел, и те, которые живы только по рассказам. И зовут, манят более дальние дали... В конце пятидесятых годов рождается повесть «Стародуб», по странному единогласию критики вынесенная как бы за скобки генеральной темы автора.

А. Макаров, очень доброжелательно относившийся к Астафьеву и его творчеству, оценивая, в общем, положительно повесть, почему-то выделил ее из всего остального, что было создано писателем. «Повести, за исключением «Стародуба», — писал он, — образуют звенья истории героя, носящего различные имена, но человека одной и той же биографии. К ним примыкает цикл автобиографических рассказов о детстве. Действие происходит в Сибири, в местах, где прошло детство автора, в его довоенном прошлом. Здесь безраздельно властвует сила памяти».

Совсем категорично высказался критик Ал. Михайлов. «Несколько особняком в творчестве Астафьева, — утверждал он в предисловии к книге «Ясным ли днем», — стоит повесть «Стародуб». Она появилась вслед за «Перевалом», но ни тематически, ни философски не связана с этим, да и следующими за «Стародубом» произведениями».

Не знаю, возможно ли столь формально делить произведения писателя на те, что созданы в «силу памяти», и те, что созданы по иному принципу, но вот не видеть ни тематической, ни философской связи между «Стародубом» и другими произведениями В. Астафьева — значит не видеть главной философской темы творчества этого писателя вообще. А. Макаров, на мой взгляд, эту основную философскую тему увидел, когда писал: «Противоречий в повести не занимать стать, автор взялся решать вопросы борьбы зла и добра», но дальше критик почему-то не развил свою мысль.

«Таежное кержацкое село Вырубы — со всеми его обитателями, с укладом жизни, «с древлеотеческими устоями» — это напоминание о том жестоком мире, где шло обесчеловечивание человека, движение не от пещеры, а в пещеру.

Может возникнуть вопрос: надо ли вспоминать об этом, надо ли писать — ведь таких темных углов даже в старой России было немного? Но они — были!»

Если так ставить вопрос, как ставит его Ал. Михайлов, то на самом деле будет непонятно, зачем Виктор Астафьев написал эту повесть и почему он так упорно включает ее в свои книги?

Действительно, в повести показаны и зверства, и невежество, и другие темные стороны человеческой жизни, но Астафьев не забывает, что вот эти, не очень- то привлекательные люди были прежде всего людьми гонимыми. И на первой же странице он пишет: «Уже давным-давно нет в живых того, кто первым пришел на мыс, огляделся, настороженно прицеливаясь: горы сзади, горы спереди, горы справа, горы слева, и среди них с пеной на губах мчится Онья». И дальше: «Ни по реке, ни по горам не пробраться к Вырубам — сгинешь. Знал тот неизвестный кержак, который свалил здесь первую лиственницу на избушку, как и где прятаться от мира». Тут только следует помнить то обстоятельство, что «мир», от которого собирался таиться тот кержак, бегал за ним не с пряниками.

Другое дело, что самоизоляция кержаков приводит их к духовному оскудению, и перед нами предстает особый мир, на глазах теряющий при всей внешней свирепой силе свою жизнестойкость.

Вот кержаки подбирают на берегу мальчишку с раздавленной рукой — разбило плот, и мальчишка не погиб только чудом. И кержаки принимают решение: «Нет, убивать парнишку они не собирались. Большой то грех! Они посадят его на плотик и оттолкнут. Плыви с богом! А куда, до каких мест доплывешь — это уж их не касается».

Сапожник Троха перевязал парнишке раздавленную руку и долго в сострадании бормотал слова не столько в утешение бедняге, сколько в собственное утешение. Не сумел бы сердобольный Троха спасти парнишку, не появись неожиданно на берегу охотник Фаефан. «Приговаривая, Фаефан поднял мальчика, обернул его полой дождевика и шагнул на яр. Преграждая ему дорогу в деревню, мужики сгрудились нерешительной стеной. Белки глаз Фаефана яростно сверкали:

— Сгинь, отродье, пока лихо не содеялось!»

И сгинули. А потом, когда над головой Култыша (так окрестили на селе мальчишку) соберутся новые тучи, Фаефан заберет его к себе в тайгу, откроет ему ее законы, привьет любовь к ней. Пройдут годы, умрет старый Фаефан, а Култыш сделается добрым «хозяином» тайги. И когда на село навалится голод, он станет бескорыстно помогать кержакам, отдавая им всю свою лесную добычу.

«Култыш — единственный луч света в темном таежном царстве кержацкого села, и красоту этого человека писатель видит в умении любить и быть верным в любви, в единении с природой, в нравственном благородстве. Все это и дает ему

силу противостоять злобному, оскверняющему человеческие чувства миру Вырубов». Эти рассуждения Ал. Михайлова ничего не могут нам дать для понимания философского содержания повести. И если так ее трактовать, то чем она в таком случае отличается от произведений других авторов, что тоже показывали «темные углы»?

Нет, Култыш вовсе не единственный «светлый луч». А Фаефан? Разве не его «злая» доброта спасла Култыша от расправы? Разве не он привил Култышу добрую любовь к тайге? Култыш вовсе не «родил» добро, он принял его как эстафету и понес ее дальше. И когда над Култышом вновь нависнет угроза расправы, то отведут ее не только его слова, обращенные к сельчанам, — где-то в глубине души почти каждого отзовутся его добрые дела, его бескорыстие и любовь к людям.

Когда умер Фаефан, его *свет* (добро) еще долго шел к людям через Култыша. Когда умрет Култыш, *свет* его тоже не погаснет и будет долго идти к людям. Может, какое чуткое детское сердце навсегда сохранит в себе этот *свет* и понесет его дальше, так он и докатится через многих людей к маленькому герою рассказов о детстве.

Виктор Астафьев настойчиво и убежденно приводит мысль о непобедимости добра. Повестью «Стародуб» он как бы говорит: «Можно убить, уничтожить носителя добра, но добро, пока жив человек, убить нельзя. Добро исчезнет, когда окончательно истает род человеческий, а может, род человеческий истает именно тогда, когда исчезнет добро». Астафьев изображает «темные углы» вовсе не ради показа ужасов жизни, да и не противопоставляет он Култыша всему остальному миру Вырубов. Слишком уж то была бы простая задача.

Мир Вырубов потребовался писателю, чтобы определить степень жизнестойкости добра. И если человек сам перестает творить добро, то его еще преждевременно записывать в разряд злодеев, «пещерных жителей». Человек перестает быть человеком лишь тогда, когда он уже не в состоянии не только творить добро, но и отзываться на него, воспринимать его. Не окажись в Вырубах людей, восприимчивых к добру, тогда ни Фаефан, ни Култыш были бы в Вырубах невозможны. И сам мир Вырубов не столь прост, как это может показаться при поверхностном на него взгляде.

Предания народов могут быть очень непохожи, но в каждом из них заключен элемент положительного начала — добра, способный к саморазвитию. Остановка этого саморазвития приводит к постепенному омертвению общественного ор-

ганизма и его психическому упадку. И астафьевские Фаефан и Култыш противостоят миру Вырубов только в одном — в своем стремлении оживить заглохшие корни предания, привести в соответствие нравственный закон прошлого с нравственными потребностями сегодняшнего дня, в то время как их односельчане прячутся от жизни за окостенелые предания, постоянно находясь в состоянии нравственной растерянности. Будь все иначе, Фаефан и Култыш давно бы и навсегда исчезли с горизонта «темного царства» Вырубов, найдя в другом месте другие условия жизни, более соответствующие их духовному настроению. Но они не уходят, они лишь отдаляются в тайгу.

«Цель мира, — писал Ренан, — развитие духа, и первое условие для развития духа — это его свобода...» Фаефан и Култыш не дезертируют из Вырубов, они уходят в тайгу, чтобы найти *условия*, обеспечивающие необходимую для этого развития духа свободу. И не следует забывать, что Фаефан и Култыш такое же порождение мира Вырубов, как и все остальные его обитатели, они пришли не извне, а изнутри этого мира, и сознание всех вышло из одного предания, но если Фаефан и Култыш пытаются развить его заглохшие положительные начала, то остальные цепляются за его отмершие положения. Предание всегда зависит от жизни, а жизнь — от предания, но они вступают в конфликт, когда между ними разлаживается естественный взаимообмен, когда одно начинает игнорировать другое.

Мы уже говорили о том, что не следует абсолютизировать принцип «обязательной взаимности», без которого невозможна жизнь сообща, поскольку этот принцип может играть как живительную, так и губительную роль. Пример последнему мы как раз и находим в повести «Стародуб», когда мертвые, по сути дела, начинают управлять живыми, воспринявшими итоги чужой духовной жизни как процесс собственной. Но тут отжил не сам принцип, а некоторые изжившие себя его положения. Вероятно, ни Фаефан, ни Култыш ничего этого не осознавали, но как истинным художником руководит чутье к красоте, так истинным человеком руководит чутье к справедливости. Фаефан и Култыш боролись не со своими односельчанами, они боролись за своих односельчан — и в том смысл астафьевского произведения.

Именно эта мысль связывает повесть «Стародуб» со всеми без исключения последующими произведениями писателя, она-то и дала эмоциональный заряд, позволивший В. Астафьеву создать удивительно чистую книгу о сиротском детстве. И вовсе не автобиографические черты связывают произве-

дения в какое-то единое целое, а то этическое кредо, что им было так удачно сформулировано в «Звездопаде», и философские истоки которого были раскрыты в повести «Стародуб». Потому-то последняя и была включена автором даже в его «итоговый» сборник под не случайным названием «Повести о моем современнике».

Сиротское детство — все равно детство, не сравнимое ни с какой другой порой, потому как именно в это время человек открывает для себя мир, в котором потом ему и предстоит жить.

Писать рассказы для детей Виктор Астафьев начал давно, и у него даже выходили для детей книги, но в 1957 году он приступает к циклу рассказов от первого лица о собственном детстве, а точнее, о тех впечатлениях, что им были вынесены из той поры. И все-таки цикл этих автобиографических в своей основе рассказов нельзя назвать автобиографией самого писателя, хотя он и предстает в них как бы центральной действующей фигурой — через него воспринимается окружающий мир. Главными героями рассказов о детстве являются разные люди, открывшие маленькому человеку огромный, невидимый глазу мир человеческих отношений, называемый нами обобщенно — духовным миром народа.

Вот кочующий из рассказа в рассказ дядя Левонтий — человек, умеющий заработать трудовую деньгу и умеющий тут же ее с шумом прогулять, а назавтра вновь наброситься на работу...

«Но если мне удается ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут мне полный праздник.

— Выдь отсюдова! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек... — Он сирота, а вы все ж при родителях! — И, жалостно глянув на меня, тут же взревывал: — Мать-то ты хоть помнишь? — Я утвердительно кивал головой, и тогда дядя Левонтий горестно облокачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминал: — Бадоги с ней по один год кololи-и-и! — И совсем уже разрыдавшись:— Когда ни придешь... ночь-полночь... про-па... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опох- мели-и-ит...

Тут тетка Васена, ребятишки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол, и все наперебой угощали меня, и сами ели уж через силу.

Поздно вечером либо совсем уж ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: “Что такое жисть?!”»

Память навсегда сохранила многие подробности внешне непутевой жизни дяди Левонтия, но в то же время прочным слоем осели в душе воспоминания о неподдельной доброте этого человека, его сострадание всякому обездоленному. И еще запал на всю жизнь в душу вечный «дядельвонтьевский» вопрос: «Что такое жисть?!» — философский в своей основе, хотя это определение вроде бы и не вяжется с внешним не очень-то затейливым обликом самого дяди Левонтия. И не этот ли вопрос, выражаемый, естественно, в другой форме и в иных жизненных обстоятельствах, мучает и по сей день самого Виктора Астафьева — писателя, всегда погруженного в поиск. Конечно, не всякого этот вопрос «делает» писателем, но писатель, постоянно к нему не обращающийся, видимо, не может называть себя писателем.

Детское сердце всегда открыто для радости и счастья, но сам по себе «предмет» или сама по себе «вещь», с которыми связывалось твое представление о счастье или о радости, только тогда становятся настоящими их источниками, когда они сами связываются с теплом человеческой души, «нечаянно» на тебя излившимся.

Бабушка просит внука собрать в лесу земляники и обещает за это привезти ему с рынка пряник «конем». (Рассказ «Конь с розовой гривой».) Внук отправляется в лес за ягодами. Но детство есть детство, и, собрав землянику, ребята «на слабо» съедают ее. Тогда по наущению товарища внук набивает лукошко травой, а сверху присыпает ее ягодами и вручает лукошко бабушке.

Естественно, обман потом раскрывается. «Долго бабушка обличала меня и срамила. Я еще раз раскаянно заревел. Она еще раз прикрикнула на меня.

Но вот выговорилась бабушка. Ушел куда-то дед. Я сидел, разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, как по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, чего смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь бабушку...»

Вот этот урок естественной педагогики стоит многих назиданий и требований педагогики умышленной, когда как самое справедливое и уместное за каждое «преступление» предполагается неотвратимое «наказание». Правда, бабушка тоже наказала внука, но наказала она его... добротой.

Мудрая бабушка понимала, что обращается она к чуткому детскому сердцу, и оно поймет не буквальное значение слов, а их нравственный смысл. И потом, через много-много лет, это сердце действительно отзовется: «Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло! А я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой».

В рассказе «Монах в новых штанах» речь идет о том, как герой мечтал о новых штанах, которые бабушка обещала ему сшить из купленной материи, или, как тогда говорили, мануфактуры. Однако надежды героя долго не сбывались. К намеченным срокам (ко дню рождения, к Первому мая) штаны сшиты не были. А тут бабушка серьезно заболела. Но чуть-чуть только ей полегчало, как она принялась за штаны. «Кроила штаны бабушка целый день, а шить их принялась назавтра. Надо ли говорить о том, как я плохо спал ночь. Поднялся до свету, и бабушка, кряхтя и ругаясь, тоже поднялась...»

Наконец штаны были изготовлены, и разряженный герой отправляется к деду на заимку.

«Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду».

Но радость героя оказалась скоротечной. Благодаря тому же Саньке, который в свое время подбил съесть землянику и положить в лукошко траву, штаны будут перемазаны болотной грязью и испорчены. И дело тут не в штанах, не в приобретенной вещи, а в участливости и доброте тех, кто скрашивал сиротское детство героя. Для мальчишки, живущего без родителей, большее значение имел сам факт проявляемой о нем заботы, нежели разультаты этой заботы. Ему важно было утвердиться в своем несиротстве. Это хорошо понимали и бабушка, и дядя Левонтий, да и многие другие — люди с развитым чутьем к справедливости. А о самих штанах герой подумает: «И шут с ними, со штанами, и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю». Отметим для себя: «не купят еще», а «заработаю».

И пряник — радость, и новые штаны — радость. А тут приехал в село фотограф, чтобы сфотографировать учеников школы первой ступени. Это уже — всеобщая радость. Но в эту же ночь наш герой тяжело заболел и фотографироваться пойти не смог. Горе-то какое! А тут еще прибегает Санька, тот самый Санька, который столько лиха приносит...

«— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — и под одобрительным взглядом бабушки Катерины проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся!.. Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, а может, и на ахтомобиле заснимемся! Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку».

В рассказе «Фотография, на которой меня нет» говорится не столько о доброте говорливой бабушки и доброте молчаливого дедушки или дружке Саньке, сколько об учителях школы, которые и пригласили в село фотографа. «Прошли годы, — будет потом вспоминаться. — Многие годы минули. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь».

Когда читаешь книгу «Последний поклон», невольно начинаешь сравнивать далекое детство героя этой книги, скорее в общих чертах типичное для своего времени, нежели исключительное, с детством нынешних ребят. Кого, думаешь, из них удивит, скажем, пряник, даже если он и «конем», кого приведут в восторг новые штаны только потому, что они сшиты из новой материи, или возможность быть сфотографированным? Нынешние мальчишки сами кого хочешь сфотографируют. Детство моего поколения во многом сходно с астафьевским, хотя бы в его «военной» части, когда не только прянику, но и куску хлеба были рады. Интересно, а что же вынесут из своего детства сегодняшние мальчишки и девчонки: неужели только раннее пресыщение или хроническую, ненасытную страсть к новым и новым приобретениям? И что они станут вспоминать через много-много лет с тем же восторгом, с каким вспоминаются сегодня людям старшего и среднего поколений некоторые эпизоды их детства?

Хотя самоограничение потребностей всегда играло заметную роль в воспитании человека, все же сама по себе идея самоограничения не абсолютна в своих воспитательных функциях. И тем более не можем ее пропагандировать мы, чье детство прошло в ограничениях не по доброй воле, а в силу сложившихся обстоятельств. Да, мы себя во многом ограничивали, но ни в чем не самоограничивали — так уж сложились обстоятельства. Поэтому у нас нет никаких оснований возводить собственное детство в положительный пример самоограничения.

И вот, снова и снова возвращаясь к астафьевским рассказам о детстве, вдруг невольно ловишь себя на мысли о том, что не «откупаемся» ли мы порой от детей вещами и не пытаемся ли таким образом иной раз утвердить собственный авторитет в их глазах (и в своих тоже): я, мол, не хуже других и лучше многих.

Любая вещь бездушна, бездушна по своей природе, но вещь может быть «одухотворена» в процессе духовной жизни людей. Ведь и астафьевскому герою запомнились не все пряники, съеденные им в детстве, и не все сношенные им штаны. Ему навсегда врезались в память эпизоды особого духовного контакта, которые в каких-то конкретных случаях могли обрести форму «вещных» отношений, но только форму. Поэтому: «И шут с ними, со штанами...» и «Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло! А я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой».

Можно сколько угодно напирать на автобиографичность творчества Астафьева в целом и особенно его книги «Последний поклон», но все это будет только полуправдой, потому как нравственно-философская основа даже рассказов о далеком детстве такова, что у нас имеются все основания утверждать типичность не только героя этой книги, но и тех жизненных обстоятельств, что нашли в ней свое отражение.

Впрочем, произведение писателя окажется автобиографичным, если мы начнем исследовать не только предмет, им изображенный, но и причины, побудившие его изобразить данный предмет. Астафьев обращается к воспоминанию далекой поры детства, чтобы восстановить духовную атмосферу того времени, когда проходило первичное становление характеров его сверстников. Нравственный и гражданский фундамент закладывается именно в детстве, и тут не второстепенное значение имеет, кто, как говорится, при сем присутствовал.

Мы хорошо знаем, какую видную роль в жизни многих людей, в том числе и писателей, сыграли бабушки, дедушки, няни... Вспомним хотя бы пушкинскую Арину Родионовну. На этот счет очень удачные слова сказал наш знаменитый филолог и искусствовед Ф. Буслаев: «Два крайние возраста человеческой жизни, старость и детство, дружно встречались на сказке: поколение отживающее передавало предание поколению народившемуся. Старый рассказывает сказку и поучает, малый слушает и поучается. Один припоминает в сказке прошедшее, другой гадает о будущем...»

Вот эта взаимная заинтересованность друг в друге и создает тот духовный контакт, при котором только и возможно прочное усвоение молодым поколением всех нравственных идей, выведенных другим поколением из своего положительного опыта жизни. Разумеется, любой доживший до старости человек располагает довольно богатым жизненным опытом, в том числе не только положительным. И дядя Левонтий, и даже бабушка Катерина не были людьми абсолютно безукоризненными во всем — слишком тяжелую для того они прожили жизнь, — однако в общении с детьми они старались опираться на положительный опыт, сохранивший им чистоту мыслей и чистоту чувств. Их *предание* отличалось жизненной подвижностью и совершенствовалось оно в сторону нравственных обязательств артельного, «коллективного» человека, чуждого жестких сектантских наклонностей.

В обороте духовного общения астафьевских героев находилась и сказка, зачастую рождаемая непосредственно самой жизнью.

«Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой податливой воде, выбредали из него медленно и бесшумно. Вот он уже по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов плеснулось что-то яркое и праздничное, заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежниках, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку: «Тить-тить-ти-тирри-и...»

— Что это, баба? — спросил я шепотом.

— Это зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает» (рассказ «Зорькина песня»).

Вот она — сказка, рожденная в результате встречи с природой. Сказка о птичке, которая своей песней оповещает о приближении нового дня.

Вероятно, когда-то так и создавался эпос. Теряя авторов, совершенствуясь в подробностях, он постепенно становился достоянием всех и каждого. Сказка — наследница древнейшего «животного эпоса», потребность в котором не исчезла и в наши дни. В ней многообразные черты природы становятся живыми, реальными образами, навсегда запечатлеваясь в сознании, вырабатывают устойчивый эстетический идеал. И не

случайно характер родной природы так полнокровно войдет в творчество Виктора Астафьева.

Как-то в одной из дискуссий писательница Майя Ганина сделала такое признание: «Для того чтобы возник рассказ, вернее, неодолимое желание его написать, мне лучше всего куда-нибудь поехать, желательно в места необычные, чтобы глаз не скользнул по привычному пейзажу, привычной обстановке, а за что-то зацепился... Ну, естественно, и людей дорогой встретишь интересных, и подробностей каких-то накапливаешь больше, да и думать в дороге, мне кажется, сподручнее; не отвлекают, не заземляют ежедневные мелочи быта».

Безусловно, каждый должен работать в тех условиях, которые ему кажутся наиболее в творческом отношении для него благоприятными. Тут все слишком индивидуально, чтобы пускаться в какие-то дополнительные рассуждения. Тургенев, например, считал, что железная дорога несподручна даже для путешествия. Обращает на себя внимание другое, а именно — признание писательницы в том, что ее «привычный пейзаж» не вдохновляет и ей нужно что-то такое, за что бы «глаз зацепился». А вот отправься Астафьев хоть в самое экзотическое место, где его глаз ежеминутно за что-то цеплялся бы, ничего интересного он, наверное, не придумал бы. Зато он многократно в своих произведениях обращается к родному сибирскому пейзажу, и каждый раз наш читательский глаз «цепляется» за созданные им пейзажи, потому как каждый раз писатель дарит нам свое удивительное *виденье.*

Конечно, пейзаж пейзажу рознь, и его роль в произведениях различна. Пейзаж может, поражая своей экзотичностью, «украшать» произведение, он может просто обозначать время и место действия или даже создавать самостоятельный художественный образ. А еще пейзаж может жить органичной жизнью, согласованной с духовным состоянием человека (героя литературного произведения), и тогда он должен быть именно «привычным» как для автора, так и для героя.

Вот герой повести «Где-то гремит война» отправляется со своим приятелем на первую самостоятельную охоту. Мысль занята одним — добычей, — иначе не поможешь тетке Августе и ее голодным ребятишкам. «Я сжимал дяди Ванину двустволку, а Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдотьи, недавно лишившейся мужа, дяди Терентия. Он без вести пропал на войне. Так-таки и пропал, утерялся Терентий. В плен его лешаки унесли или героем погиб?»

И дальше:

«Накатывал морок на луну, выплывало невесть откуда взявшееся облачко, и тогда бугор темнел и по нему чешуистыми рыбинками плавали тени. Лес за покосом делался плотнее и смыкался бесшумно. Но яснела луна, переставали бродить по снегу тени, и окутанный мохнатой дремою лес покоился на своем месте. Космы берез обвисли до белой земли, и хотя много их, этих крупных, несрубленных берез, все же кажутся они одинокими.

Вдовьей грустью наносит от них».

Все здесь в движении, в своей потаенной жизни, и вот эта «вдовья грусть», видимо, пришла в сознание героя от размышлений о вдовьей судьбе тетки Авдотьи...

«От луны четко пропечатались далекие утесы. Деревья в вышине словно обгорелые былинки, и все это: горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, ровно бы приклеенные к окоему, и деревья, как будто с детской небрежностью нарисованные там, ближние ельники, увязившие ветки в снегу, и спутанные в ржавые клубки лозины голых красноталов, черемушники, ольшаники по извилистой речке — весь этот край, убаюканный тысячеверстой тишиною, никак не давали поверить, что где-то сейчас гремит война и люди убивают людей».

Стоило возникнуть представлению о тысячеверстой тишине, как сознание простерлось в воображаемую беспредельность и даже отказалось верить, что где-то эта тишина обрывается, что где-то может греметь война... Восприятие пейзажа порождало ощущение вечности и незыблемости, покоя и мира... И как можно привыкнуть к тому, что ежеминутно созидает новое, неповторимое? Нет, «привычных пейзажей» не бывает, напротив, даже чем привычней пейзаж, тем он разнообразней и непривычней. И содержательней.

А вот совсем другой пейзаж:

«Всякий раз сияние было ново, всякий раз наполняло оно душу трепетом и захватывающим ожиданием. Хотелось ребятам запомнить все, унести эти позари, волшебное ощущение, возникающее от колдовства их, навсегда с собою...

Где же тут все запомнишь? Все уместишь в сердце и в памяти?..

И хотя в школе на уроках не раз и не два рассказывали ребятам учителя о северном сиянии, объясняли им, что оно такое, из чего получается, как и откуда, все равно они воспринимали его с чувством первородности, все равно их охватывала благоговейная тревога» («Кража»).

Видимо, и художника должна охватывать вот такая же благоговейная тревога при каждой новой встрече с природой, с человеком, с жизнью; если же художник в подобных случаях начинает испытывать чувство привычности, то и в этом разе он тоже должен встревожиться: не оскудевает ли его талант?

Разумеется, восприятие художником окружающей его жизни не должно останавливаться в своем развитии и оставаться, допустим, на уровне детского. Но вполне возможно, особенность художника как раз и состоит в том, что его восприятие, развиваясь, сохраняет способность в любой момент оказаться на любой стадии этого развития, иначе художник был бы в состоянии фиксировать только сиюминутные ощущения и настроения, иначе ему не была бы подвластна способность перевоплощения.

Пейзаж пейзажу — рознь.

Одно дело — «сфотографировать» пейзаж, то есть попытаться запечатлеть его таким, каков он есть на самом деле в данную минуту. Такая «фотография» может иметь большое внешнее сходство с натурой, но будет лишена внутренней правды, будет лишена жизни. Астафьеву же, чтобы изобразить, скажем, цветок, мало увидеть его «сейчас». Ему необходимо увидеть его утром, днем, вечером, ночью, весной; летом и осенью; расцветающим и увядающим, возникающим и исчезающим, в грозу и в ведро, гнущимся под тяжестью пчелы и свободно тянущимся к солнцу... Короче говоря, ему нужно знать всю жизнь цветка и во всех действительных и возможных взаимосвязях с окружающей его средой. Поэтому-то Астафьев так и «привязан» к сибирской природе, ибо он ее знает, она ему привычна.

Мы не стали бы столь подробно останавливаться на особенностях астафьевского пейзажного мастерства, не будь оно так органично связано с общей природой его таланта. Ведь по той же самой причине Астафьев столь же «привязан» и к сибирскому характеру, и к характеру человека своего поколения.

Виктор Астафьев прошел большую школу литературного мастерства. Он настойчиво учился и у Достоевского, и у Толстого, и у Бунина, но в своей литературной практике он никому не подражает. Следы этой учебы в его произведениях мы обнаружить можем, а вот следов прямой подражательности — нет. Сначала Астафьев упорно искал себя, а найдя, он с не меньшим упорством продолжает себя отстаивать, не поддаваясь ни литературным модам, ни сторонним увещеваниям. И астафьевская «неширота», о которой иногда толкуют, сви-

детельствует вовсе не об однообразии его таланта, а об *однородности* этого таланта. Все, что вышло из-под пера Астафьева, исследовано им от самых истоков, прочувствовано им лично и легло в его духовный опыт. И в этом отношении его творчество действительно очень автобиографично. Астафьев исследует жизнь во всех ее взаимосвязях и в ее постоянном развитии, а не фиксирует лишь внешние ее проявления в тот или другой подходящий случаю момент.

Писатели астафьевского или, как мы прежде назвали, «пропущенного» поколения потому-то и «задержались» в пути, что в начальный период их жизни им достался слишком «большой материал» и «переварить» его было не так-то просто. Необходимо было время, и те, кто не растерял его даром, пожали богатые, но нелегкие плоды. И не вдруг. Вряд ли эти писатели станут умышленно искать в «запланированных» поездках интересных людей среди случайных попутчиков, хотя в силу природной любознательности они не обойдут вниманием и подвернувшегося случайного попутчика. И вряд ли приверженность к оседлому образу жизни встанет на пути их творческого развития.

2

Начало шестидесятых годов ознаменовалось в нашей литературе крайним возбуждением, отразившим в известной мере общую ситуацию времени, и тут вряд ли в качестве примеров нужно приводить какие-то произведения или называть имена отдельных авторов: характерным можно считать общий пафос. (Конечно, это вовсе не означает, будто все без исключения поддались ему. Тут нужно иметь в виду не единогласие, а главную тенденцию, главную хотя бы в силу своей новизны и широкого распространения.) И таким пафосом стал пафос отрицания: отрицались преемственность поколений, роль традиций, культурное наследие прошлого, правда, в основном недавнего (об отдаленном в ту пору задумывались еще нехотя). Мы в ту пору не страдали большой скромностью и нередко отсчет культурным ценностям начинали с момента возникновения собственной деятельности.

Астафьев избежал искуса и не отдал дань тогдашней литературной моде. Он упорно и настойчиво продолжал идти своим путем, кропотливо исследуя характер человека своего поколения. И это исследование увело его сначала в собственное детство, к истокам собственной жизни, трудно сказать — бо-

лее суровым или более несправедливым. В 1961 году он приступает к работе над повестью «Кража» и работает над ней в общей сложности около четырех лет.

Герои повести «Кража» — воспитанники детского дома города Краесветска (само название уже говорит о его возможном географическом местонахождении) и их воспитатели. Сюжет — одна из страниц истории, сфокусированная в характерах и судьбах отдельных людей.

Начинается повесть описанием смерти воспитанника детского дома — Гошки Воробьева. Толя Мазов — главный герой — никогда не дружил с ним, но в финале произведения, когда Толя одержит большую нравственную победу, ноги его приведут к Гошкиной могиле. «Толя шел за город, к кладбищу, надеясь, что там он додумает, поймет что-то, а додумав, поняв — обретет покой. О том, что покоя ему теперь никогда не будет, он еще не знал».

Но и потом, когда Толя Мазов поймет, что «покоя ему никогда не будет», он уже не изменит ни себе, ни людям, потому как произошла великая победа — родилась личность, вырос гражданин. Однако об этом мы станем думать лишь тогда, когда перевернем последнюю страницу повести, а поначалу мы видим толпу подростков, которую по неосторожности или по невнимательности можно назвать и сбродом.

«Среди этих ребят есть парнишка Малышок. На его глазах отец зарубил мать, и с тех пор лицо ребенка искривило припадочной судорогой и поселилась на нем вечная улыбка. Ребята бездумно кличут Малышка Косоротиком.

Здесь где-то Зина Кондакова. Это с нею на глухом, занесенном снегом станке-деревушке случилось такое, что взрослому человеку не всякому было бы по силам вынести.

А вот мечется по столовке на костыле Паралитик, человек без имени, без фамилии. Он не знает, когда и где умерли родители. Не помнит. Его избили за украденную краюшку хлеба так, что отнялись у парнишки левая нога и левая рука. Осталось полчеловека. Злобы на пятерых.

А Гошка? Гошка Воробьев!..»

Еще в 1918 году Александр Блок писал: «Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное: она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно все-

гда — о великом». И в традициях совестливой русской литературы человек никогда не был щепкой в водовороте истории, ее пристальное внимание к типическим исключениям и составляет содержание ее революционного гуманизма. Чем ближе мы к этим великим традициям, тем больше наша причастность к сущности революционной истории нашего народа.

Воспитанники детского дома уже в силу своего возраста невинны перед историей, они, по существу, ее жертвы, и в этом общность их человеческих судеб. Расплачиваясь по чужим векселям, они щедро познакомились в жизни со злом, и не все из них даже подозревают о существовании в ней добра. Но Виктор Астафьев на этом основании вовсе не думает амнистировать в героях те побуждения, что так естественны в сложившейся ситуации, но противоречат высоким нравственным идеалам народа.

У Льва Толстого есть в дневнике такая запись: «...огромной важности, и надо будет хорошенько изложить: организация, всякая организация, освобождающая от каких-либо человеческих, личных, нравственных обязанностей. Все зло мира от этого. Засекают, развращают, одуряют людей, и никто не виноват».

Оказываясь в силу стечения жизненных обстоятельств или по собственной воле в каком-нибудь коллективе, человек не должен переставать быть личностью — вот мысль, так заинтересовавшая Толстого. Коллектив воспитанников детского дома — тоже своего рода «организация»: здесь свои законы, свои нравственные устои, свои понятия о чести и т. д., и т. д.

Наш герой Анатолий Мазов начинает все чаще и чаще задумываться о личной нравственной ответственности, о своих человеческих обязанностях. Чтение книг, общение с настоящим русским интеллигентом — заведующим детдомом Валерианом Ивановичем Репниным, соприкосновение с несчастнейшим Ибрагимом, добрейшей тетей Улей и, наконец, с робким веянием женской ласки своей детдомовской подруги — все это, вместе взятое, настолько развивает в Толе чувство личной ответственности, что он уже бывает не в силах собственные поступки отделить от своего нравственного поиска.

Детдомовцы по установившейся традиции после бани затевали драки с «городскими». В один из банных дней драка не состоялась, но произошло событие, перевернувшее всю жизнь детского дома, — группа Паралитика очистила в бане кассу, забрав там восемьсот рублей. Нагрянула милиция, начались обыски в комнатах у ребят. Обнаружить украденные

деньги и тех, кто украл, не удалось. Кассиршу арестовали. Милицию смущало то обстоятельство, что она вовремя не сдала выручку. У кассирши было двое детей, и теперь они должны были пополнить ряды детдомовцев. Вот из-за этих-то «двух единиц», как назвал их начальник милиции, и заварилась вся каша. Нет, для Валериана Ивановича это не просто «две единицы»... Кто-то из его воспитанников украл не только деньги у кассирши, он «украл» детство еще у двоих детей. Попытки Валериана Ивановича найти деньги и вызволить из-под ареста мать ни к чему не привели. Тогда заведующий детдомом вызывает к себе Толю Мазова и поручает ему взять шефство над новичками. «Толя выскочил из комнаты заведующего, свирепо саданул дверью...»

На этом его свирепость и закончилась. Он ухаживает за своими «подопечными», но не они доставляют ему муки и терзания. Толя понимает, что судьба была к нему несправедлива, как и к остальным его однокашникам, но должно ли эту несправедливость возводить во всеобщий закон? Они не любили «городских», потому что у тех были отцы, матери, дом... А у них один дом на всех. Как это кричал Борька Клин-голова? «Все на нас! Вали! Вали! Мы люди брошенные! Мы люди безродные! Жаловаться нам некому... В школе на нас жмут. В кинуху не появляйся... Нигде нам ходу нет! Воры! Шпана! Такое наше званье!»

Между тем Толя решал не нравственно-теоретические вопросы. Тут решались вопросы жизни и смерти: или вот эти двое останутся сиротами, или он сам может завтра же отправиться туда, где обрел вечный покой Гошка Воробьев. Толя знал, как его «организация» умеет мстить непокорным, — возможно, потому-то он и придет на могилу Гошки Воробьева...

Толя Мазов идет на сознательную кровавую драку с главарями своего воровского круга, после которой внешне он скорее выглядит побежденным, нежели победителем. Но, странное дело, ребята вдруг потянулись к нему, они были свидетелями его избиения, но потянулись к нему. Отныне нравственный авторитет Толи Мазова стал в детдоме главной притягательной силой.

Однако для Толи сказки с «хорошим» концом не получилось. Деньги в конце концов нашлись. Кассиршу выпустили, и она пришла в детдом за своими детьми. И тут Толя пережил такое, чему и названия-то нет. Слово «несправедливость» даже в совокупности с усиливающими его эпитетами не кажется достаточным. Возможно, в глубине души Толя и мечтал

о каком-то слове благодарности, хотя избалован ею и не был. И Наташка (одна из его «подопечных») его отблагодарила: она бросилась к нему и первому ему сообщила о своей радости — мама берет их домой. Но вот эта мама — взрослая и многое понимающая женщина — сорвала с девочки бант и бросила его к ногам ребят, потом «она пятилась к двери и кричала отрывисто, словно с оттяжкой, наотмашь хлестала по лицам:

— Шакалы! Шпана! Воры! Сволочье!..

Дверь взвизгнула. Пудовая гиря подскочила вверх, бухнула в ободверину, скрипуче повторила: «Сволочье!» — и закачалась на проволоке».

Потом Толя будет стоять в коридоре, уставший и опустошенный. Нет, Толя не озлобился, он растерялся, он готов был накричать на подошедшего Валериана Ивановича, однако не накричал, потому как по-прежнему оставался восприимчив к добру, к искреннему участию. В данный момент ему нужна была поддержка, и он ее нашел у заведующего детдомом.

Участие и забота Валериана Ивановича, Зины Кондаковой, тети Ули и его однокашников сделают то, что справедливыми окажутся слова Валериана Ивановича: «Ребячье горе отлетчиво, крылато».

Горе ребячье действительно отлетчиво, а вот обретенные в справедливой борьбе мужество и гражданская зрелость — это навсегда. В историческом плане судьбы Мазовых обернутся так, что их юность и молодость будут оборваны войной. Мы не знаем, дойдет ли Толя Мазов до Берлина или жизнь его оборвется в первом же бою, но и через много лет читатель, познакомившись с историей жизни ребят детского дома города Краесветска, поймет, почему Москва осталась неприступной для врага в сорок первом и почему флаг нашей Родины взвился над рейхстагом в сорок пятом.

Повесть «Кража» — это не только рассказ о судьбе Толи Мазова, в ней мы видим людей разных возрастов и разных судеб, в той или иной степени занятых созиданием новой жизни на принципах «обязательной взаимности».

Заведующий детским домом Валериан Иванович Репнин был когда-то офицером царской, а затем колчаковской армии. Потом он сполна получил по своему жизненному счету: длительное заключение, ссылка, лишение гражданских прав — вот этапы его невеселого пути. Репнин в какой-то период своей жизни забыл о личных обязанностях, спрятался за спину «организации» и вот теперь достойно искупает собственную вину. Он не озлобился против людей, не потерял веру в добро

и справедливость, потому что виновных он начал отсчитывать с самого себя. В силу определенных, но довольно случайных жизненных обстоятельств он стал педагогом, хотя никакого педагогического образования не имел. Работать ему отчаянно трудно. Порой он прибегает даже к уловкам умышленной педагогики, но после таких уловок ему всегда становится стыдно перед самим собой. И Валериан Иванович настойчиво и самоотверженно ищет пути к сердцам своих воспитанников. Когда Репнин раскрывается перед ними как человек, он одерживает педагогические победы, когда же он является перед ними «педагогом», он терпит поражение как человек. В первом случае Репнин эксплуатирует свое призвание, во втором — должность. Видимо, главное назначение педагога — при всех обстоятельствах оставаться человеком. И Валериан Иванович Репнин — в такой интерпретации должности педагога — вполне ей соответствует.

Есть в повести и другой герой, чей нравственный авторитет столь же высок, но уже в более значительном масштабе. Это предгорисполкома Ступинский. Он в своей неспокойной жизни исполнял различные должности, в том числе и те, что меньше всего развивают чувство филантропии. Но Ступинский и не филантроп, его образ окрашен в суровый цвет своего сурового времени. У краесветского предгорисполкома развито чутье к справедливости, и жизнь для него — большая трудная школа, а не полигон, удобный для честолюбивых экспериментов. Видимо, недаром суровые переселенцы говорили, «что хозяина им бог послал за все грехи и страдания ихние... не оскорбит, не выгонит: в ночь-полночь приди, выслушает тебя как человека и по-человечески отзовется... По-человечески — это очень и очень умели ценить жители города Краесветска».

Становление Ступинского произошло не вдруг. Вот один интересный эпизод из его руководящей практики. «Были и есть тут настоящие руководители, — говорит Ступинский Репнину. — Они понимали и понимают, что без людей мы дырка без калача, не дали они распоясаться нашему брату. Мне в первую зиму начальник стройки, старый коммунист, по сопатке въехал. Кобурой я любил по молодости лет пошуршать, — пояснил Ступинский. — Хорошая была оплеуха. До сих пор забыть ее не смею».

Потому-то и любили жители Краесветска своего предгорисполкома, что тот был восприимчив к нравственным урокам, на которые жизнь всегда бывает достаточно щедрой. Только

одним эти уроки идут впрок, и они с годами обретают жизненную мудрость, столь необходимую даже не столько им, сколько тем, кто волею судеб оказался у них в зависимости. Такая зависимость никогда никого не тяготит, напротив, она порождает чувство взаимонужности, взаимонеобходимости.

Есть же категории людей, совершенно неспособных к подобного рода «учению», и, проживи они хоть тысячу лет, все равно не обременят себя мудростью, потому как им доступно полагать, что главное в калаче — это дырка. Разумеется, если они почувствуют себя в роли этой самой дырки. И таким героям автор не отказал во внимании. К примеру, Ненила Романовна Хлобыст. Развалив работу в детдоме, она перебралась на должность инспектора гороно и теперь из мести «шьет» потихонечку, но настойчиво дело Репнину, «...за плечами Репнина, — говорит она на совещании, — тяжкий груз прошлого, и этот груз не позволяет ему быть крутым с детьми...»

Под стать ей завгороно Голикова. Хлобыст и Голикова даже не подозревают о существовании какой-то личной нравственной ответственности перед людьми и перед временем. Они вынесены «великим потоком» благополучно «на сушу» и никогда не поймут, что это результат недоброй случайности, а не результат закономерностей «великого потока». Ступинский думает о них так: «Если этим дамочкам власть да волю, они устроят смех и горе». Здесь умный Ступинский прав только наполовину: горе-то они учинят непременно, а вот до смеху ли будет?

Тут трудно побороть искушение и еще раз не процитировать Льва Толстого. Слова великого писателя кажутся какимто пророчеством и будто написаны впрок прямо для астафьевской «Кражи», настолько они точно характеризуют Хлобыст и Голикову. «Тип женщины, — писал Толстой, — бывают такие и мужчины, но больше женщины, — которые не могут видеть себя, у которых как будто шея не поворачивается, чтобы оглядеть себя. Они не то что не хотят каяться, они не могут себя видеть. Они живут так, а не иначе потому, что так им кажется хорошо. И потому, если они что сделали, то потому, что это было хорошо. Такие люди страшны. А такие люди бывают умные, глупые, добрые, злые. Когда они глупые и злые, это ужасно».

Действительно, это ужасно. И вдвойне ужасно, когда у них в руках власть над достойными людьми, и к тому же беззащитными.

В характерах героев повести «Кража» тонко сфокусирована сложность революционных потрясений в России, и достоверно отражено переплетение исторического прогресса с исторической несправедливостью. Четкость эстетической и этической позиций автора позволяют ясно увидеть и частности, и общее направление великого потока. Поэтому нам в равной мере близки и Толя Мазов, и Репнин, и Ступинский, и тетя Уля, и сам автор со своей доброй и грустной интонацией, потому что все они приобщены к той духовной жизни народа, которая началась не сегодня и не вчера. А в несхожести их судеб есть великое объединяющее начало — единство их духовной жизни, верность нравственным идеалам народа.

Повесть «Кража» заканчивается такими словами: «Они не дышали, пораженные загадочностью и могуществом того мира, который им предстояло открыть.

А открывши — жить в нем».

Если несколько перефразировать последнюю строчку, тогда она прозвучит еще точнее: «А открывши — защищать его».

В дальнейшем по-разному складывались судьбы Мазовых, но всех их впереди ожидало одинаковое испытание — война. Сам Виктор Астафьев встретил ее будучи учеником железнодорожной школы в Базаихе. Более года для Виктора Астафьева война «где-то гремела», и до него — как и до всех окружающих — доходил ее страшный гул. Осенью сорок второго будущий писатель уйдет добровольцем на фронт.

Вполне естественно, что автор, пишущий биографию поколения, не мог пройти мимо столь важной вехи в своей судьбе. Так родилась повесть «Где-то гремит война».

Если следить за хронологией событий, то повесть «Где-то гремит война» как бы продолжает «Кражу», — теперь действие переносится из предвоенных лет прямо в суровую военную годину. Однако говорить о Толе Мазове и герое повести «Где-то гремит война» как об одном герое, лишь носящем разные имена, можно очень условно, оглядываясь скорее не столько на схожесть их судеб, сколько на схожесть нравственного содержания их духовного мира.

И тут невольно может возникнуть вопрос: «А почему было не создать единого произведения и проследить таким образом судьбу героя на более продолжительном временном этапе?» На мой взгляд, в повести «Где-то гремит война» автору важно было запечатлеть не жизнь самого героя в школе ФЗО и описать возможные там конфликты, а запечатлеть тыловую обстановку первого года войны, развернув конфликт до

масштаба: герой и время. Объедини Астафьев две эти повести, и конфликт Толи Мазова, острый и интересный в своем конкретном проявлении, естественно, затерялся бы на фоне тех событий, что запечатлены в повести «Где-то гремит война». Вероятно, вся история Толи Мазова и его товарищей по детскому дому выглядела бы в таком «объединенном» произведении всего лишь излишне затянутой экспозицией, хотя и не противоречащей общему его замыслу, но в то же время и не обязательной.

Итак, идет первая военная зима, а уже...

«Что делается вокруг? Зима. Голодуха. Драки на базарах. Втиснутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые. И, как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы...»

Герой повести «Где-то гремит война» будет думать: «Война, война! Никак не хватало моего ума постичь, осмыслить ее. Всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, но там, где-то далеко-далеко. А она вон как — везде и всюду, по всей земле моей ходуном ходит, всех к борьбе за жизнь требует и ко всякому своим обликом поворачивается».

Перед самым Новым годом герой получил письмо от тетки, та слезно молила его приехать. «Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда. Такое уж время наступило».

Конечно, беда. Теперь она мимо редкого дома пройдет стороной... Да, не Новый год пригласила встречать тетка Августа юного родственника.

«— Ох, война ты, война!

Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас надо ждать, чтобы Августа проревелась, напричиталась, выговорилась...

— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно прибавила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла — дрова на ней осенесь из реки вытаскивала. Алешка при месте теперь, не пропадет, девчонок тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть».

Порой от отчаяния срывался вот так человек, порой казалось человеку, что ему уже ничего не нужно — один раз досыта поесть, отоспаться в тепле... Порой в драку лез человек, порой совершал неправедный поступок... Голод. Холод. Усталость. Постоянный страх за близких...

Через много-много лет, весной семьдесят первого года, в «Пионерскую правду» придет письмо, начинающееся следующими строчками: «Вам пишут пионеры из отряда 6-го класса «А» средней школы № 3 города Черепанова Новосибирской области. У нас в школе некоторые ребята не дорожат хлебом: после перемены в столовой и в коридорах можно набрать до килограмма хлеба...» Газета обратилась к Виктору Петровичу Астафьеву, и писатель откликнулся проникновенной статьей «Хлеб наш насущный...» Думается, разговор этот возымел свое действие, но нас сейчас интересует другое.

«Весна 1943 года, — вспоминал в этой статье Виктор Петрович, — угрюмая, напряженная весна. В нашей стране, объятой войной, идет полуголодная жизнь. У людей, не отходящих от заводских станков, одно стремление, одна цель — выстоять против врага и победить!

Эвакуированный в Сибирь из западных областей народ, большей частью женщины, дети и старики, копается в перепаханных полях — ищет мерзлую картошку. Дети с сумками через плечо ходят по мокрым полям — собирают колоски. Всюду: на заборах, в вокзалах и на пристанях плакаты, объясняющие, что зерно, перезимовавшее под снегом, ядовито. Но молчаливые дети все равно бредут и бредут по полям, кланяясь земле, собирая синими худыми руками полуосыпавшиеся колоски, а поздним вечером вернувшиеся с работы матери толкут зерно в ступах, замешивают его с мерзлыми картошками, пекут так называемые «драники» и утешают себя и детей: «Ничего, ничего — в Ленинграде тяжелее люди живут и еще воюют...»

Как ни тяжело было людям, они знали, что где-то гремит война, жестокая и кровопролитная, однако у нашего героя будут все основания сказать: «Беда не разъединяла людей, а сближала их». Тяжело было всем, но иногда беда кого-то придавливала с особой силой. Казалось, не выдержать человеку... Но кто-то протягивал ему руку помощи, и силы возвращались. Экзюпери когда-то верно заметил, что у каждого из нас есть немало друзей, готовых прийти на помощь, но истинный друг тот, кому ты сам можешь позвонить в ночи и сказать: «Ты мне нужен, приди». Письмо тетки Августы и было как раз таким «звонком».

«А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтобы облегчить горе Августы. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего ему не дают, никаких лекарств, никакого снадобья.

Они просто приходят, разговаривают и уходят».

И это самое главное — еще совсем молодой человек понял: он *нужен*. Это и есть зрелость.

Трудным и суровым было детство героя, однако он постоянно ощущал *свет*, без которого порой бывает тяжелее, чем без хлеба насущного. Не случайно же родилась мудрость: «Не хлебом единым жив человек».

И вот теперь от астафьевского героя, к которому этот свет пришел от Фаефана, Култыша, бабушки Катерины, дяди Левонтия, Валериана Ивановича Репнина и Ступинского, мастера школы ФЗО Виктора Ивановича Плохих и еще многих и многих людей, должен был излиться на другого человека, спасти его.

Повесть «Где-то гремит война» занимает важное место в творчестве Виктора Астафьева не только потому, что он ею раскрыл нравственную сущность характера своего главного героя и подвел его к важнейшему жизненному испытанию — войне. Это небольшое по объему произведение помогает еще понять дальнейшее направление творческих поисков писателя и, в частности, идею повести «Пастух и пастушка», а также судьбу ее главного героя лейтенанта Бориса Костяева.

Комбат Филькин скажет лейтенанту Костяеву: «Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей. Солдату вроде бы так положено...» И действительно, «солдату вроде бы так положено...» — на то он и солдат. Но одно дело, когда ты смерть солдата воспринимаешь, если так можно выразиться, только с одной стороны — «со стороны фронта». И насколько все видится по-иному, когда ты эту же смерть одновременно воспринимаешь и с другой стороны — «со стороны тыла». Между прочим, у лейтенанта Костяева имелся как раз тот жизненный опыт, который не позволял ему видеть смерть солдата только с одной стороны.

На фронте солдат — это солдат, а в тылу он продолжает по-прежнему оставаться и сыном, и отцом, и братом, и мужем или женихом... Одна похоронка — и сколько горя, слез, рыданий, непоправимых поворотов в судьбах многих людей. Виктор Астафьев и его герои целый год имели возможность видеть, как воспринимается в тылу гибель каждого солдата, поэтому они и там, на фронте, видя гибель солдата, одновременно видели горе детей, женщин, стариков, невольно воскрешались самые тягостные эпизоды их тыловой жизни, связанные с получением похоронок. И не случайно в повести «Пастух и пастушка» даже второстепенные персонажи будут иметь

точную «прописку», то есть у каждого будет оставаться то место на земле, где к его гибели никогда не привыкнут. И последняя мысль каждого перед смертью, если он только успевает о чем-либо подумать, это мысль о доме, о тех, кого гибель его осиротит навеки. А что такое сиротство, автор и многие его герои знают достаточно хорошо — о том вся астафьевская эпопея, то есть все предшествующие повести и рассказы.

Безусловно, нельзя абсолютизировать ни одну, даже самую верную концепцию, ибо человеческая натура всегда сложнее любого ее объяснения. И все-таки мы вправе определить важнейшие черты времени, дающие современникам схожий жизненный опыт, так как он все равно даст о себе знать, все равно как-то проявится. Для поколения Астафьева характерно было то, что этому поколению в юности пришлось пережить два потрясения: потрясение войной в тылу и потрясение войной на войне. К военному быту тыла они привыкнуть не успели, они ушли на фронт, когда этот быт только начал складываться; фронтовой быт начал складываться еще «до них», и потому вживались они в него довольно трудно. И Астафьев долго и настойчиво искал именно тот характер, в котором бы наиболее полно раскрылась судьба его поколения. Шел писатель к этому характеру от самого «Стародуба».

Нет, повесть «Стародуб» написалась Астафьевым отнюдь не случайно, и стоит она в его творчестве вовсе не особняком, — напротив, из нее логически вытекают все последующие произведения писателя. Астафьев вообще никогда не противопоставляет своих героев, хотя довольно часто сопоставляет их, не противопоставлял он и Фаефана с Култышом остальным сельчанам, озверевшим от тяжелой жизни и сектантства, в котором последние по своему невежеству искали спасение. Фаефан и Култыш (первый — силой, второй — примером бескорыстия и праведности) стремились освободить людей от предрассудков, на коих так шатко держался их принцип «обязательной взаимности». В какой-то мере это им сделать удалось. Во всяком случае, зерно было брошено, и оно проросло.

В рассказе «Ангел-хранитель» будет тоже описан голод. «В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей». Картина вроде бы повторяется. Но теперь принцип «обязательной взаимности» наполнен иным содержанием. «Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. Братья Бетехины привезли трех коз. Поделились охотники с соседями, чем могли...» Никто этому не удивился, да и говорится об этом как-то мимоходом.

В повести «Где-то гремит война» ситуация повторяется. Два совсем еще молодых героя отправляются в тайгу, чтобы выручить тетку Августу и ее семейство. Когда-то Култыш проложил тропу к душам людей через... тайгу, еле заметную тропу. Прошли годы, и тропа превратилась в доступную людям с чистой душой дорогу.

Еще теснее примыкает к Фаефану и Култышу герой повести «Кража» Толя Мазов. В нем как бы синтезируются оба эти образа: Фаефан с его физической силой и бесстрашием и Култыш с его нравственной силой. Толя противопоставил сектантскому принципу «обязательной взаимности» воровской группы Паралитика свои принципы, основанные на совершенно иных началах. Группа Паралитика видит свое спасение (возможность выжить) в изоляции, в противопоставлении себя остальному миру, в уничтожении с ним всяких связей. Толя, напротив, мучительно ищет связей с миром, и борется он не против людей, а против губительных предрассудков. И Толя побеждает. Впереди будет война. Она-то и проверит жизнестойкость нового содержания, наполнившего вечно изменяющийся принцип «обязательной взаимности».

Виктор Астафьев сумел пробудить в нас истинный и глубокий интерес не только к своему герою-сибиряку, но и к своему великому краю, и сделал он это не без «умысла». Разглядывая старую школьную фотографию, автор рассказа «Фотография, на которой меня нет» скажет: «Но всех ребят я узнаю в ней.

Где они сейчас? Кто они?

Половина из них, если не больше, полегла в войну. Всему миру известно их имя — сибиряки».

И тут мы считаем необходимым сказать несколько шире и о сибиряке, и о так называемой «сибирской литературе».

Литературное понятие Сибири не накладывается без остатка на понятие Сибири административно-географическое, отсюда и расширительное толкование понятия «сибирская проза», к которой мы правомерно относим не только произведения, созданные собственно в Сибири, но и все те, что своим происхождением обязаны областям России от Урала до Дальнего Востока включительно. Особые исторические и особые природные условия, а также оторванность от центральных районов России наложили, естественно, свой отпечаток на характер человека, ставшего не без гордости называть себя — сибиряком.

Интерес к далекому и загадочному краю был всегда велик, но не всегда одинаков в своих целях и интенсивности. Если же

говорить о сравнительно недавнем прошлом, то следует отметить, что особый интерес тут у нас возник в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов и был во многом связан с освоением целинных земель и строительством грандиозных промышленных объектов, когда тысячи молодых людей двинулись на восток. Естественно, что движение в Сибирь породило и целую о ней литературу, а если быть точнее, литературу о самом этом движении. Однако при всей неодинаковости писательских манер литература эта оказалась довольно однообразной: за избыточностью романтической взвинченности и обилием искренних восторгов нельзя было не обнаружить поверхностности оценок увиденного и беглости взгляда тех, кто решил свои впечатления сделать общественным достоянием.

В тот же период образовался и своего рода «встречный поток»: молодые писатели-сибиряки все чаще и чаще стали выступать со своими произведениями на страницах центральной печати. (Собственно, о «встречном потоке» можно говорить лишь условно, так как Сибирь к тому времени уже дала нашей литературе немало значительных писательских имен.) Проявлен был своевременный интерес к первым повестям Павла Халова, заметный резонанс вызвали произведения Виля Липатова... С тех пор имя этого писателя вошло в широкий оборот общего литературного разговора. С восторгом был принят разносторонний Василий Шукшин — прозаик, актер, кинорежиссер. Список этот можно было бы и продолжить.

В большинстве своем сибиряки писали ярко, броско, любой их характер так и просился в остросюжетное произведение, хотя и в их произведениях сюжет почти всегда был напряжен и изобиловал действенными поступками героев. На этом фоне проза Виктора Астафьева несколько отличалась: ее герой, как правило, меньше содержал в себе внешних признаков «сибирского» характера, а задумчивая и порой весьма грустная интонация автора способна была поколебать создаваемую легенду о каком-то особом «сибирском» духе. Если у астафьевского героя и проявлялась сила характера, то она не столько выплескивалась в яркие внешние поступки, сколько уходила в область нравственного поиска и духовной работы.

Однако вслед за «встречным потоком» хлынула как бы его «вторая волна», мощная по своему напору и пустая по своему эстетическому и этическому содержанию, пустая, если эти категории не выражать в отрицательных величинах. Эта литература, имитируя жизнь в ее достоверных подробностях, искажает ее подлинное содержание. Создавая произведения, в

которых зло воспроизводится во имя зла, грязь — во имя грязи, зверство — во имя зверства, авторы не только оскорбляют наш вкус, но и порождают чувство законного беспокойства, ибо эта литература в той или иной мере разрушает традиции нашей великой литературы («что чувства добрые я лирой пробуждал...») и идет вразрез с теми завоеваниями современной отечественной литературы, вклад в который внесли и писатели-сибиряки как старшего, так и других поколений.

Повесть В. Измайлова «Тогда, у таежного прииска...» на первый взгляд чем-то перекликается с повестью В. Астафьева «Где-то гремит война». Повесть В. Измайлова тоже написана от первого лица, герой-рассказчик — ровесник астафьевскому герою. Время действия — первый год войны, так что тому и другому герою впереди предстояла одна судьба — фронт. Атмосфера в обоих случаях — «где-то гремит война...» Но на этом сходство и заканчивается.

Герой повести В. Измайлова, в отличие от героя В. Астафьева, не скупится на самохарактеристики. Но лучше послушаем его самого: «Восхищались и безрассудной смелостью моей... Грамотен я был, как теперь понимаю, для таежного мальчишки почти мистически... Был веселым, умел заводить игры и проказы, дрался много и — охотно дрался-то!.. Девчонки любили меня за поэтичность взглядов и мечты, непривычно красиво выражаемых словом, за мягкость и чистоту отношений...»

Действие повести происходит в период войны в далеком алтайском селе. Герой-рассказчик работает в милиции, как мы теперь сказали бы, на общественных началах, и выискивает всякого рода нарушителей, в том числе и бандитов. Цели он преследует благородные, но вот в средствах его разборчивым не назовешь.

«Да в ту же зиму, когда впервые один взял я первого в моей жизни дезертира, и был тем дезертиром почти приятель Юрка Подгайлов...» Чего стоит одно только это слово «взял»! Но если бы только «взял»! Когда наш герой вывел Юрку из дома, он «бросил ему глухо и коротко:

— Стой!

И повесил на шею белую картонку с кривыми торопливыми буквами: «Изменник Родины!» Никто меня не учил (еще бы, кто же станет этому учить! — *А. Л.*), за минуту до того, как я написал на лежащем на столе картоне эти слова, я и не думал этого делать, и не знал, что сделаю именно так. Тем более не думал о законности этого...»

А вот другой случай. Инструктор по пчеловодству Ираида Мухина невольно ввела в заблуждение героя, и тот устроил засаду, чтобы схватить бандита Михея Пустогачева. Засада оказалась зряшной: Михей со своими приятелями уволок в это время с пасеки полтора центнера меда.

«Когда же я стал разбираться с Ираидкой, она так беззастенчиво потянула меня в постель, что я обалдел... И озверел от смущения и, с жестоким удовольствием ударив ее коленом, схватился, балда, за наган!.. Я сгребся за упавшую на пол плеть, сунул наган в кобуру и рванулся к ней. Тут она и сиганула дикой козой в окно, рванула по бесконечному песчаному двору, взлетела над оградой и прожгла луговиной к реке. Я пал на Карьку прямо с крыльца, догнал ее у реки и, не сдерживая зудевшей руки, полоснул ее плетью по тугой и гибкой спине. Врезал, правда, так, что кофточка чуть не распалась сзади надвое, как спереди... Потом, конечно, погнал Ираидку на прииск...» Вероятно, в это время Ираидка как раз и должна была думать о «поэтичности взглядов и мечты» своего конвоира.

В этом эпизоде поражает не только то, как герой, «с жестоким удовольствием ударив ее коленом, схватился, балда, за наган», как «полоснул ее плетью», как «погнал Ираидку на прииск», но и та избыточность наблюдения, которая ни на минуту не оставляла героя во время его измывательства над молодой женщиной. Герой не просто «полоснул плетью», а «по тугой спине». Он не просто «врезал» по спине, а так, «что кофточка чуть не распалась сзади надвое, как спереди». А с каким прямо-таки садистским сладострастием он подбирает глаголы, характеризующие спасительные действия молодой женщины: «сиганула», «рванула», «прожгла луговиной к реке»...

Ладно, поступки героя в конце концов можно еще оправдать или хотя бы объяснить его дуростью, пусть жестокой, но дуростью. Однако вот эта избыточность наблюдения свидетельствует о чем-то более страшном, нежели даже жестокая дурость. Чувствуя свою безнаказанность (про наган-то он точно отметил — «балда»!), герой прямо упивается паническим состоянием своей жертвы, ее беззащитностью...

Перенаселение произведений всякими сектантами, юродивыми, убийцами, насильниками, бандитами и прочим людом звероподобного вида и содержания и соответственно этому натуралистическое воспроизведение сцен, вплоть до кровосмесительства, способно разжечь нездоровый интерес у нетребовательного читателя и породить искаженное представление о крае, с которым связано так много самых настоящих легенд.

Необходимо подчеркнуть, что тут нет никакого конфликта сибирской литературы с несибирской, ибо самой этой псевдосибирской литературе противостоит в первую очередь истинная сибирская литература. И тут еще раз подчеркивается значение творчества Виктора Астафьева, так скрупулезно исследовавшего и создавшего достоверный и глубокий образ нашего современника-сибиряка, сдавшего самый серьезный экзамен на гражданственность в годы Великой Отечественной войны. Здесь же рядом стоят и герои романа о войне Ивана Акулова «Крещение», люди со сложным духовным миром и непростыми судьбами. Глубоко симпатичен стал нашему читателю и образ сибиряка-милиционера Анискина из «Деревенского детектива» Виля Липатова, полюбились читателю герои более молодых сибирских писателей Валентина Распутина, Юрия Скопа, Вячеслава Шугаева, трагически погибшего драматурга Александра Вампилова.

В литературе понятие провинции не совпадает с понятием провинции административно-географическим. Провинциальная литература может создаваться и в Москве, и в Ленинграде, и в Сибири, истинная же литература не зависит ни от места рождения, ни от места жительства писателя и его героев — тут критерии совсем иные.

В 1969 году Виктор Астафьев переехал с Урала в Вологду, уже снискавшую к тому времени славу одного из главных литературных центров нашей страны. С понятием «вологодской школы» связывались имена Александра Яшина, Николая Рубцова, Василия Белова, Ольги Фокиной... И вот сибиряк Виктор Астафьев сразу же вписывается в эту «школу». Художник, чей талант намного превышает масштабы местного таланта, всегда легко впишется в любую «школу», если она, разумеется, достойна его таланта. Астафьев не только вписался в «вологодскую школу», но во многом обогатил ее своим самостоятельным художническим поиском, вытекающим из неодолимой потребности писать войной.

Война в один день разделила жизнь каждого и жизнь всех на две эпохи: *до войны и сейчас*, и Виктор Астафьев сначала подробнейшим образом исследовал первую эпоху, исследовал те условия, в которых проходило формирование и становление характера его современника. Поэтому, прежде чем перейти к разговору о непосредственном участии астафьевского героя в войне, необходимо подвести какие-то предварительные итоги авторского исследования, связанного с периодом *до войны*.

В повести «Стародуб» Астафьев раздвинул рамки своего исследования, но целей исследования не изменил, поэтому наша встреча с Толей Мазовым на страницах повести «Кража» не была для нас неожиданной. Направление нравственного поиска этого героя было уже предопределено в книге «Последний поклон», а сила преодоления внешних неблагоприятных условий и жизненных обстоятельств рассчитана в повести «Стародуб». Таким образом, в повести «Кража» как бы произошел синтез двух направлений писательского исследования, зафиксированных в рассказах о детстве и повести «Стародуб». И не случайно, что в «Краже», то есть на этапе своего рода синтеза, повествование ведется уже не от первого лица, и в ней значительно меньше автобиографических черт.

В этом отношении к повести «Кража» ближе всего стоит повесть «Пастух и пастушка», в которой как бы произошел синтез всех направлений авторского исследования. В судьбе главного героя этой повести мы уже не улавливаем большого сходства с авторской судьбой и о прямой автобиографичности не может быть и речи. Вообще в творчестве Астафьева наблюдается такая закономерность: как только писатель начинает исследовать главным образом *среду*, так повествование ведется от первого лица, и возрастает элемент автобиографичности, но как только писатель переносит свое исследование главным образом на *характер*, следы автобиографичности исчезают и повествование уже ведется от третьего лица. Автобиографичность в произведениях Астафьева не столько цель творчества, сколько метод творческого исследования. Мы уже отметили, что в судьбе главного героя повести «Пастух и пастушка» мало общего с судьбой как самого автора, так и с судьбой ранее выведенных героев, но в то же время мы чувствуем, что Борис Костяев *не мог быть иным*, чем он выведен в повести.

3

Кажется, чего проще: возьми библиографическую справку, выстрой, согласно ей, произведения того или иного писателя в строгий хронологический ряд, и перед тобой предстанет картина творческого процесса во всей его временной протяженности. «Такое-то» произведение было написано и опубликовано «тогда-то», а «такое-то» — «тогда-то»... Действительно, хронологический ряд публикаций можно выстроить довольно четко и точно, но ряд этот далеко не всегда, а вернее,

почти никогда не совпадает с хронологией самого творческого процесса.

Например, повесть Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» была впервые напечатана в 1971 году, а в книге она увидела свет в следующем году. В конце этой публикации проставлены даты: «1967—1971». Над книгой «Последний поклон» автор работал в 1957—1967 годах, а повесть «Кража» писалась в 1961 — 1965-м. Конечно, возможно предположить, поскольку «Последний поклон» состоит из отдельных рассказов, то в какой-то период могло образоваться «окно», использованное автором для написания «Кражи». Закончив в 1967 году работу над «Последним поклоном», он принимается за новое произведение, то есть за «Пастуха и пастушку». Так, конечно, можно предполагать, если считать началом творческого акта написание первых страниц произведения. Однако не слишком ли это будет условно?

...Далекие первые послевоенные годы. Вчерашний солдат, сменивший за несколько лет немало самых прозаических профессий, становится журналистом провинциальной газеты. Поездки, поездки, поездки... И все на попутном и на самом разнообразном транспорте. Однажды судьбе было угодно распорядиться так, что молодой журналист оказался на каком-то забытом не только богом, но и людьми разъезде. Кругом бескрайняя степь, а впереди томительное ожидание случайного поезда. В кармане пачка папирос, под рукой книга... АББАТ ПРЕВО. «МАНОН ЛЕСКО».

И не было томительных часов ожидания, не было ничего. Только чужие страсти, чужое время, чужая жизнь...

«Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я чувствовал, или пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее; она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это все, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии.

Моя душа не последовала за ее душою. Небо считало меня, конечно, недостаточно еще сурово наказанным...»

«Я был найден без признаков жизни на могиле Манон, и, видя меня почти обнаженным и истекающим кровью, никто не сомневался, что я ограблен и убит...»

«Мое отвращение к жизни не ослабевало; я постоянно призывал смерть и долгое время упорно отвергал все лекарства...»

«Спокойствие понемногу стало восстанавливаться в моей душе, и с этой переменой скоро последовало и выздоровление...»

Возможно, эти, а возможно, совсем другие строки не отпускали из того чужого мира, но здесь было что- то и свое, пусть во многом иное, во многом непохожее, но где-то пересекающееся с тем чужим. Любовь... Любовь... Война... Война и любовь. Любовь и война... Любовь, несмотря на войну...

Журналистская работа не оставляет места для сосредоточенного покоя. Новые поездки — новые люди, новые впечатления. Работа над материалом для газеты. И опять все сначала. И из сердца не уходит то состояние, что было пережито на безымянном разъезде, кавалер де Грие и мадам Леско все чаще и чаще занимают воображение, и даже не столько они сами, сколько их всепоглощающее чувство. Рождается что-то свое, ответное, и оно просится быть высказанным, запечатленным в формах жизненной достоверности, в самостоятельно найденных художественных характерах.

Вероятно, все-таки предпочтительнее проводить свой досуг за книгами, нежели за колодой карт или костяшками домино, однако эта предпочтительность небезусловна: чтение только ради внешней эрудиции или приятного времяпрепровождения еще не есть истинное чтение. Нельзя жить ни чужим умом, ни чужими чувствами, чужая мысль должна разбудить мысль собственную, чужое чувство должно способствовать развитию чувства своего. В этом, скорее всего, и заключается смысл *истинного* чтения. Поэтому было бы излишним преувеличением считать, будто аббат Прево имел какое-то исключительное влияние на творчество Виктора Астафьева, а герои его романа во многом предопределили дальнейший выбор Астафьевым собственных героев. Просто нужен был какой-то толчок, пусть даже случайный. И роль такого толчка в данном случае сыграла не только книга Прево и его герои, но и тот далекий безлюдный разъезд.

На мой взгляд, Виктор Астафьев никогда не стал бы настоящим журналистом, — и не потому, что ему для того не хватало каких-то качеств, а потому, что у него присутствовали качества, мешающие ему стать журналистом. Он по своей натуре — писатель. Увиденное и прочувствованное продолжало в нем жить, обнаруживая свою связь с недавним или далеким прошлым, и порой последнее перекрывало источник, возбудивший воспоминание и воображение. Для него не существует далекого и близкого, прошлого и настоящего, для него все, чего коснулась его душа, — *настоящее.*

Почти два десятилетия искал Виктор Астафьев своего героя, искал характер, через который выразилась бы правда того

времени, когда чувство долга потребовало от его поколения великих жертв и того духовного напряжения, что порой бывает выдержать не легче, нежели самые тяжелые физические нагрузки. Идя творчески от самых истоков и даже предыстоков этого характера, исследуя его во всех духовных подробностях и деталях, Астафьев, наконец, выводит своего героя на рубеж главного испытания — испытания войной.

В метельные февральские дни сорок четвертого года войска южных фронтов, преодолевая жестокое сопротивление врага, в предельном напряжении всех моральных и физических сил завершают блестящую операцию по окружению и уничтожению немецкой группировки, вошедшую в летопись войны под наименованием Корсунь-Шевченковской.

Операция завершена. Подсчитано количество убитых и пленных, учтены собственные потери, легли в сводки данные о трофеях и об уничтоженной технике, военные специалисты проанализировали ошибки врага и собственные промахи, допущенные в ходе операции. В Москве в честь героев прогремел победный салют. Конечно, и официальные сведения могли дать какое-то представление о стойкости и героизме солдат и офицеров, но они могли больше сказать о войске, нежели о воине — человеке индивидуальной судьбы, слитой с общей судьбой. И только художник, чья собственная судьба слилась в тот грозный для Родины час с народом, участник, а не свидетель событий сможет потом рассказать о тех сверхнагрузках, что легли на душу каждого.

Судя по некоторым приметам, в повести показаны эпизоды именно Корсунь-Шевченковской битвы, но писатель умышленно снимает документальность, он как бы продолжает жить в том времени, когда ни его герои, ни он сам не знали, как потом назовут битву, в которой им тогда довелось участвовать, как фамилия застрелившегося немецкого генерала, да и не осознавали значения и масштабов своей победы. Они знали одно — надо выдержать. И они выдержали.

В повести «Пастух и пастушка» Виктор Астафьев предстает во всей зрелости писательского мастерства: удивительная емкость письма, отчетливость каждого образа и композиционное совершенство позволяют ему на страницах небольшой повести уложить материал романа, раскрыть через правду характеров философию сложного времени — переломного периода войны.

Действие повести начинается с эпизодов напряженного боя, когда противник делает отчаянные попытки прорвать

кольцо окружения и избежать неминуемой гибели. И каждый наш солдат чувствует свою личную ответственность за исход операции — не выдержит батальон, рота, взвод... и разомкнется кольцо окружения. В этом кровавом единоборстве трудно выделить особых героев — героизм стал нормой, а война — работой. Взвод лейтенанта Костяева выдержал, каждый боец сделал все, чтобы обеспечить общую победу. В ходе боя людей отличали друг от друга разве лишь степень военной сноровки да должностные обязанности.

...Окончен бой. Эвакуированы раненые, погребены павшие. Остатки взвода лейтенанта Костяева расположились на отдых в уцелевшей избе, в которой усилиями молодой ее хозяйки Люси повеяло вдруг далеким домом и чем-то схожим с прежней мирной жизнью. Солдаты едят, пьют самогонку, разговаривают... И тут как бы снимается некая *пелена*, и открывается другой, второй слой, когда каждый участник боя обретает свое неповторимое лицо, свой неповторимый характер, очерчиваются сложные взаимоотношения людей, нивелированные в бою единственно возможным и необходимым в нем чувством взаимовыручки.

Солдаты вышучивают молоденького и незадачливого Шкалика, «приписавшего» когда-то себе два года, чтобы попасть в ремесленное училище, и попавшего на два года раньше, чем то положено, на фронт. С уважением относятся к дружбе расторопных Малышева и Карышева («Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости, да основательно. В «умственные» разговоры встревали редко, но уж если встревали — слушай»). По-разному побаиваются лихого и сноровистого вояку старшину Мохнакова и бывшего сельского пожарника, скользкого человека — рядового Пафнутьева, с присущей народу почтительностью относятся к «учености» Ланцова. Порой же солдатская шутка равняла всех. Говорят о чем угодно, но только не о минувшем бое — это слишком близко, слишком больно.

«— Во! — кричал Шкалик. — А они не верят! У нас еще коней разводили графья Строгановы...

— И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? — развел руками Пафнутьев.

— Хватит! — прикрикнул Борис. — Дался он вам...

— Я сурьезно...

Все в Борисе одрябло. В паутинистом сознании путались предметы, лица солдат. Вокруг ровно бы выцвело все, подернулось зыбкой пеленой. Сонная тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело».

Если для Бориса мир терял свои очертания и в его сознании начинали путаться «предметы, лица солдат», то читатель, напротив, начинает все отчетливее и отчетливее видеть эти «предметы» и различать «лица солдат». Но тут действие притухает — наступает ночь, и героев одолевает столь необходимый теперь для них сон. Однако и ко сну каждый отходит по-своему, не в силах «справиться» со своим характером. По-отечески заботливо укладывает Ланцов «разбушевавшегося» Шкалика, а сам отходит ко сну тяжело и не сразу. «Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.

— Несчастное дитя! — Хозяйка потупилась, а он потискал обросшее лицо. — Простите старика! Напился, как свинья. И вы, Борис, простите! — Корней Аркадьевич уронил голову на стол, пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала из чистой половины подушку, подсунула ее под голову Корнею Аркадьевичу. Почуяв мягкое под щекою, он захлюпал носом: — Подушка! Ах вы, дети! В какое время родились! Как мне вас жалко... — Он пошлепал губами, выдул носом свист и таким вот образом отошел ко сну».

Но даже и во сне, когда утихшее сознание не руководит ни словом, ни поступком, когда, собственно, нет места ни слову, ни поступку, не стираются признаки индивидуальности. «Люся поставила канистру на подоконник, смела со стола объедь и вытряхнула тряпку над лоханкой. Борис глядел на разметавшихся, убитых сном солдат, куда бы лечь. Шкалика — мелкую рыбешку выдавили наверх матерые осетры — алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому, как в буран, трепало возле рта его. Взлетали планки медалей на булыжной груди Карышева».

И тут как бы снимается еще одна *пелена*, и открывается уже третий слой, а число действующих героев сводится почти до минимума, только Он и Она — Борис и Люся. Не суждено было в ту ночь забыться сном взводному рядом со своими боевыми товарищами: внезапная любовь обрушивается на молодых героев.

Одну короткую ночь отвела жизнь лейтенанту Борису Костяеву на единственную в его судьбе любовь. Наступивший день принес будничные заботы и прощание — вперед на запад вели военные дороги лейтенанта и его взвод. И снова расши-

ряется круг действующих лиц, — сначала это опять взвод, затем это и все войско. Но теперь уже не теряется ничья судьба в общей армейской судьбе, теперь и нам доступна горечь утраты, постоянно испытываемая Борисом Костяевым, но к которой мы смогли приобщиться только теперь, когда спала сперва одна пелена, а затем и другая, когда каждый предстал перед нами в своей жизненной незащищенности, когда каждого погибшего мы уже заносим не в разряд потерь, а в разряд утрат.

Да, «немец уже стал не тот», но война оставалась прежней. Один за другим гибнут герои повести, и гнетущее одиночество охватывает взводного.

«Снайпер угодил Карышеву под правый сосок, искорежив угол гвардейского значка, Карышев был еще жив, когда его доставили в траншею, но нести себя в санбат не разрешил.

— Уби-тый я, — прерывисто схлебывая воздух, сказал он.

...Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай», и перевел взгляд на кума. Борис понял: ему надо уходить. Распрямился взводный и не услышал под собою ног.

— Моих-то... — прошептал Карышев.

— Да об чем ты? Об чем?! Не сумлевайся ты в смертный час, — по-деревенски пронзительно запричитал Малышев.

Борис шагнул в темноту, нащупал перед собою какую-то стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь и повторял, ровно бы кому-то грозя: «Так умеют умирать русские люди! Вот так!..»

По-разному умирали люди, — впрочем, как и жили. Пафнутьев жил без достоинства, не обрел он его и на краю гибели.

Суровый, даже мрачный человек старшина Мохнаков, но в критический момент, когда война поставила на карту или его жизнь, или жизнь товарищей, он предпочел расплатиться собственной...

«...немец догадался — этот русский с тяжелым, ссохшимся лицом и спокойно-отрешенным выражением глаз идет на смерть.

Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул под гусеницу, и она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею...

В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружились награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и детях...»

В финале повести на глазах лейтенанта Бориса Костяева подрывается на мине сопровождавший его в санбат молоденький солдат Шкалик. «Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности?..» Вот это «расслабление» будет потом стоить жизни и самому лейтенанту, когда он, оказавшись в санитарном поезде, не найдет в себе силы бороться за собственную жизнь и умрет от раны в общем-то несмертельной.

Жизнестойкость Борису Костяеву обеспечивали духовные связи с товарищами по оружию, и нелепая гибель Шкалика окончательно повергла Бориса в то состояние, которое привело к гибели и его самого. Конечно, его судьба исключительна, но это исключение типическое, выражающее крайнюю, но в то же время достоверную степень духовного состояния. Все судьбы героев повести как бы сбежались в сердце Бориса Костяева, и война безжалостно вырывает эти судьбы из его сердца: гибнут товарищи, не приводят кривые военные дороги молодого взводного и к порогу единственной для него Люси.

Мы до сих пор находимся в плену уже отживших представлений, возбуждающих в нас ненужные сомнения в том, должен ли писатель или не должен показывать ужасы, должен или не должен воспевать красоту подвига. Все ищем какие-то обоюдоустраивающие рецепты. А Писарев сто с лишним лет назад говорил: «Мы не требуем оптических обманов, мы не боимся тяжелого впечатления, не отвертываемся от нравственного зла, но настоятельно требуем, чтобы это зло было нам объяснено, чтобы наше обличение было не клеветой на действительность».

Мы хорошо научились видеть «зло» (порой даже там, где его и нет), но еще не научились видеть «объяснения» (порой даже там, где они есть), а потому не всегда отличаем «зло» от «незла». Мы иногда домогаемся «оптических обманов» и страшимся «тяжелых впечатлений», что мешает нам правильно понимать многие произведения, и торопимся «клевету на действительность» обнаружить там, где ей совсем нет места.

Правда, с другой стороны (и это нужно признать), создание «тяжелых впечатлений» порой становится самоцелью, и при отсутствии «объяснений», о которых толковал Писарев, подобное занятие в самом деле оборачивается клеветой на действительность. Иногда это даже сулит автору легкий успех и не требует от него самостоятельного осмысления материала, самостоятельного раскрытия философии изображаемого времени.

«Тяжелые впечатления» вовсе не противопоказаны искусству, но в то же время они не могут быть для искусства и самоцелью. Безусловно, для художника в равной мере важно, *что* писать и *как* писать, и эти *что* и *как* не должны ни противостоять друг другу, ни заменять друг друга.

Но помимо этих двух компонентов есть и третий — *во имя чего* писать. Триединство этих *что, как* и *во имя чего* для настоящего художника нерасторжимо, и ценность любого произведения определяется внутренней взаимосвязью всех этих трех компонентов и общей мерой их идейно-эстетического звучания.

Во имя чего?

Пройдет много-много лет, и давнее мгновенное, но, видимо, самое глубокое чувство приведет Люсю к одинокой могиле Бориса, затерявшейся в просторных уральских степях среди тишины и безграничья. Собственно, этим эпизодом и начинается повесть «Пастух и пастушка», им же она и заканчивается.

«— Господи! — вздохнула она и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли. Костлявый татарник робкой мышью скребся о пирамидку. — Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Мы будем все равно вместе, там уж никто не в силах разлучать людей...

Она шла, и глаза ее видели не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакеном пирамидка, и зыбко было все в этом мире.

А он, или то, что было им когда-то, осталось в безмолвной земле, опутанной корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России».

Читая эти строчки, невольно думаешь: не *тот* ли далекий разъезд «подсказал» автору композиционное решение будущего произведения и не в *той* ли безграничной степи он «увидел» будущую героиню припавшей к одинокой могиле того, кого она полюбила на всю жизнь? Не *там* ли, прочитав книгу аббата Прево о всепоглощающей любви двух молодых людей, Астафьев вдруг навсегда поверил в вечность и неодолимость *истинной* любви.

В повести есть эпизод, на котором автор, кажется, как-то излишне заостряет читательское внимание.

«За давно не топленной, но все же угарно пахнущей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, покрытой шалашиком из будылья, лежали убитые старик и старуха...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное живших по-всякому, и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час. Двое заброшенных сирот в мятущемся мире, не подходящем для тихой старости.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозных коров. Пастух и пастушка».

Пастух и пастушка... Отсюда и «современная пастораль».

«...в мятущемся мире, не подходящем для тихой старости». Но этот мир не очень-то подходил и для молодой любви, — может, еще меньше, чем для тихой старости. Но любовь все-таки побеждает войну, побеждает смерть. И так было всегда. От Люси и Бориса вечная любовь незримыми нитями тянется к старым пастуху и пастушке, от них еще к кому-то, а потом еще к кому-то, возможно, к Манон и Грие, а от них еще дальше, в бесконечность...

Во имя чего? Во имя жизни!

Характер Бориса Костяева вырастал постепенно из всей системы характеров предыдущих произведений писателя и был выявлен им как своего рода характер-процесс.

Вполне возможно, что для раскрытия столь непростых характеров уже недостаточно тех идейно-нравственных конфликтов, к которым до сих пор обращался Виктор Астафьев, не исключено также, что здесь недостаточны и привычные ему жанры. Белорусский писатель Василь Быков, чья главная тема — Великая Отечественная война, на вопрос корреспондента «Литературной газеты»: «Не «тесен» ли вам жанр маленькой повести?» — ответил так: «Для разрешения идейно-нравственных конфликтов, которые я обычно выбираю, мне вполне хватает маленькой повести. На мой взгляд, некоторые произведения о войне в нашей литературе можно назвать романами только по объему. Если «отжать» беллетристику, ненужные описания, получится та же маленькая повесть. А к эпическому жанру, как я его понимаю, наверное, обращусь когда-нибудь...»

Не станем предвосхищать события и пророчить Астафьеву в скором времени написание романа о минувшей войне. Путь к намеченной цели писатель выбирает сам, и тут не всегда наикратчайший путь одновременно и самый короткий. Наше же дело — отчетливо видеть эти пути и по возможности догадываться о намеченной цели. В какой-то мере мы, исследуя пути, кажется, восстановили «биографию» главного астафьевского героя от самого его детства до зрелого возрас-

та, пусть не во всех ее подробностях, но хотя бы по основным вехам. Уместно напомнить еще об одном главном и «сквозном» герое астафьевского произведения — женщине, назвав в первую очередь, конечно, бабушку Катерину Петровну — образ цельный и художественно законченный; героиню повести «Пастух и пастушка» Люсю; Лиду из «Звездопада»; жену Сергея Митрофановича — Паню, Зину Кондакову — детдомовскую подругу Толи Мазова. Вся эта галерея женских образов в совокупности с теми героями, о которых мы столь подробно уже говорили, образует художественно достоверный астафьевский мир, сопричастный развивающейся нашей действительности в ее узловых пунктах.

Истинный художник всегда черпает факты из жизни, но его произведения вырастают не из фактов как таковых, а из системы фактов, создаваемой им совершенно самостоятельно, из его личной концепции жизни. Суровый реалист, Виктор Астафьев всегда становится поэтом, как только перед ним возникает образ женщины-матери, женщины-друга, женщины-любимой. Впрочем, последнее понятие у него почти всегда связывается с предпоследним. Еще он становится поэтом, когда пишет о природе. И тут есть своя закономерность, свойственная всему творчеству писателя, — это святое отношение к истокам человеческой жизни, которая и является для него мерой всему на земле. Это и есть его жизненная концепция.

1974

ИСПОВЕДЬ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может.

Алексей Хомяков

1

Память не подсказывает другого такого случая, когда реакция на фильм была бы столь бурной и повальной, как это было в случае с «Калиной красной» Василия Шукшина. Фильм вышел на экраны в начале семьдесят четвертого года и сразу же попал в центр зрительского внимания: о нем спорили в студенческих аудиториях и в редакциях солидных издательств, в метро и на улицах, в магазинах и парикмахерских, в столовых и в электричках, словом, спорили везде и повсюду, где только можно вступить в контакт, спорили люди разных возрастов, люди разных профессий, люди разных эстетических наклонностей. С середины осени споры эти начали стихать и вскоре совсем прекратились, однако прекратились они вовсе не потому, что иссяк интерес к фильму или исчерпалось в этих спорах все, заключенное в фильме, содержание. Нет, их перекрыла смерть самого Василия Шукшина, будто им предугаданная, а оттого еще более трагическая.

Василий Шукшин и как писатель, и как актер, и как режиссер не был обойден известностью; многогранность его таланта была очевидной, и в этом даже присутствовал некоторый момент сенсационности, в большинстве случаев мешавший представить истинные масштабы таланта Шукшина-художника.

Действительно, при жизни Шукшина можно было о нем говорить как об актере по преимуществу, как о писателе по преимуществу или как о режиссере по преимуществу, в зависимости от предмета разговора — шел ли разговор об исполнении какой-то роли, о написании какого-то произведения или о постановке фильма. Попутно можно было сказать и о многогранности шукшинского таланта. Теперь же, после смерти Шукшина, как-то трудно, даже неестественно говорить о нем только как об актере, только как о писателе или только как

о режиссере. Смерть унесла Шукшина и оставила нам понятие Шукшин-художник, и под этим понятием всегда подразумевается органическое триединство равновеликих талантов, не только существовавших друг с другом, не только дополнявших друг друга, но и боровшихся друг с другом.

Думается, творческое наследие Василия Шукшина таково, что оно еще вызовет немало дискуссий и споров, потому как настоящее искусство не умирает, а художник {живет до тех пор, пока живы его произведения. Забвение — вот настоящая смерть художника.

О Василии Шукшине сейчас немало говорят, немало пишут, устраивается нечто вроде просмотров фильмов, в которых он был занят, и теперь Шукшин воспринимается как нечто единое, целое. Да, смерть нам оставила понятие Шукшин-художник, но жизнь его оставила нам созданных им (как писателем или как актером) героев, и, мне кажется, внезапная смерть Шукшина как-то помешала нам более определенно выявить свое отношение к его героям. Пушкин, Лермонтов, Толстой — это понятия, которые живут в нашем сознании, но в нашем сознании живут своей жизнью и Онегин, и Печорин, и Болконский, и мы о них продолжаем говорить и спорить даже не всегда в связи с разговором о судьбе их творцов. Больше того, порой так случается, что читатель (зритель) не помнит имени какого-нибудь автора, а герой, им созданный, живет в его сознании.

Нет, все-таки не тематикой и не блистательной игрой актеров, вернее, не только тематикой и блистательной игрой актеров, был вызван повальный интерес к «Калине красной». Нет, тут было что-то другое, чего прежде не случалось: тут каждый вроде бы был чем-то уязвлен, и уязвлен был не вообще, а как-то лично. Но чем?..

Давайте обратимся к тексту самого произведения и вспомним те споры, что велись вокруг него, и тогда, возможно, найдем и ответ на этот вопрос.

Сейчас, конечно, невозможно воссоздать ту атмосферу споров и обсуждений, атмосфера эта давно уже рассеялась, исчезла, хотя что-то отложилось в сознании каждого. Однако в нашем распоряжении остались печатные свидетельства, то есть суждения целого ряда литераторов, зафиксированные в их выступлениях по поводу фильма и киноповести «Калина красная». И в этом отношении для нас особый интерес представляют дискуссионные материалы «круглого стола», за которым тогда собрались: прозаики Г. Бакланов и С. Залыгин,

критики Б. Рунин, В. Баранов, Л. Аннинский, В. Кисунько и поэт К. Ваншенкин и сам В. Шукшин.

Обсуждение в журнале «Вопросы литературы» носило отнюдь не академический характер, что свидетельствовало о горячей заинтересованности оппонентов в споре, в публичном выявлении своего отношения к фильму. (Возможно, некоторые суждения моих оппонентов могут нынче оказаться излишне резкими, но я просил бы читателя учесть то обстоятельство, что высказаны они были еще при жизни Василия Шукшина, так что эти суждения не следует расценивать как своего рода проявление неуважения к памяти писателя.) Единогласие тут было достигнуто, пожалуй, только в одном вопросе: никто не поставил под сомнение необычайную талантливость самого Шукшина. Если же освободить все выступления от запутывающего их частокола всевозможных оговорок, то в результате получится, что «Калину красную» приняли только двое — это прозаики Г. Бакланов и С. Залыгин. Критики же, как люди более изощренные и предусмотрительные, сумели придать своим выступлениям достаточную эластичность и таким образом уклонились от определенных оценок. А поэт К. Ваншенкин, хотя и не сумел привлечь сколько-нибудь убедительные аргументы в пользу своего отрицательного отношения к фильму, само отношение высказал довольно определенно.

Когда читаешь материалы дискуссии, то невольно обращаешь внимание на дружный залп, что дали ее участники по березкам, к которым Егор Прокудин имел «неосторожность» несколько раз прислониться.

«Обосновывая крестьянскую природу психики Егора, — говорил В. Баранов, — ссылаются на березки. Я не вижу здесь специфических проявлений психики именно крестьянской. Сентиментально-умилительные интонации Егора мало вяжутся с подлинно крестьянским мироощущением человека — труженика земли. Скорее такая умилительность есть крайность по отношению к жестокости «блатного» мира, порожденная им же».

Вероятно, некоторые полагают, будто человеческая душа всегда сохраняет некий баланс, то есть чем больше злодейства в человеке, тем он сентиментальнее. История, конечно, знает и такие примеры, когда лютые злодеи искренне любили собак, кошек и даже цветы, любили до умиления. Действительно, эти два качества — злодейство и сентиментальность — могут успешно сосуществовать, однако они вовсе не взаимообусловлены. Так, подавляющее большинство детей при чтении «Муму» или «Каштанки» готово лить слезы и не по причине злодейства.

Я не сторонник теории Чезаре Ломброзо, согласно которой преступность рассматривается как врожденная черта. Я полагаю, что никто не родился сразу рецидивистом, преступниками не родятся, ими становятся.

В силу различных причин и стечений обстоятельств стали преступниками Егор Прокудин и все те, кого мы увидели в начальных кадрах фильма. И у каждого из них своя вина перед людьми, а у некоторых, наверное, есть какой-то счет к людям; у каждого своя судьба в прошлом и своя доля в настоящем. Но в одном они едины — они преступники. И вот они поют: «Вечерний звон, вечерний звон...»

«Увлекает яркое (не только по краскам) начало. Пение заключенных. Однако вторая похожая сцена (черно-белая), — признается К. Ваншенкин, — показалась мне еще сильней. По достоверности она выглядит документально отснятым сюжетом. Напряженно-задумчивые лица. А есенинские слова: «Только ты меня уж на рассвете не буди, как восемь лет назад», — воспринимаются этими людьми как буквальная мера отбываемого ими срока».

«Напряженно-задумчивые лица...» Да, именно так. То есть как бы одно лицо, одна судьба. Единение. А в чем единение? К. Ваншенкин думает, будто есенинские слова «воспринимаются этими людьми как буквальная мера отбываемого ими срока». Но тут единения произойти не может, так как у каждого буквальная мера своя, индивидуальная. Кто просидел десять лет, никак не может «объединиться» с теми, кто просидел два-три года. А возможно, они поют о несвободе вообще? Тогда б уж пели: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» А ведь кончатся все их сроки, окажутся они на свободе, но и на свободе нет-нет да и затянут: «Только ты меня уж на рассвете не буди, как восемь лет назад...»

Может, эта песня о матери, о родных местах? Да, эта песня и о матери, и о родных местах, но, главное, эта песня — о себе.

Я могу согласиться с теми, кто говорил об особой сентиментальности людей «блатного» мира, да, действительно, многие преступники поразительно сентиментальны, они способны обливать слезами цветок, целовать собаку и тут же совершать злодеяния. Что такое сентиментальность? Это жалость. Когда ребенок читает «Муму», ему жалко несчастную собаку, а когда преступник целует собаку, ему жалко не собаку, ему жалко — *себя.*

В зрелом возрасте человек часто уносится в свое прошлое, которое, теряя с годами какие-то достоверные подробности, как правило, предстает перед нами в образе прекрасного. Хорошо, если наш сегодняшний день светел, а завтрашний тоже должен быть ясен, тогда прекрасное далекое детство навеет, быть может, элегические чувства, но не поставит нас в конфликтное отношение к дню сегодняшнему или дню завтрашнему.

Другое дело, когда жизнь человека обременена долгами перед собой и перед людьми, тогда память тоже унесется в прошлое и предстанет не общая череда дней, вытекающих один из другого, а какая-то изломанная линия, странным образом составленная из двух совершенно разных частей. Вот одна — ближняя, с ее жестокостью и страхом, разгулом и ненавистью, отчаяньем и пакостью, если же и свободой, то всегда чреватой неволей или неволей, утомляющей ожиданием свободы.

А вот иная — чистая и ясная, как весеннее небо, со свободой, свободой вчера, сегодня и завтра, с тихой лаской матери, с любовью окружающих...

Пусть не все это было на самом деле, но так могло быть, и уже верится в то, что именно так и было на самом деле. И встает в ореоле святости образ матери — безупречно иконный. А верность дворового пса представляется пределом преданности, а чистота белой березки — живым символом не существующей в остальной жизни чистоты.

И переполняющие измученное сердце чувства просят слов, а их нет, а те, которые есть — грубые, грязные или захватанные пошлостью ежедневного стыдного быта — способны только измять эти чувства. Но есть слова гениального поэта, оставленные в наследство всем горемыкам, слова, которые, словно золото, не поддаются никакой рже, их не берет время, их не искажают никакие внешние обстоятельства. Это как океан: сколько ни черпай, а он все неизбывен. Великая грусть заключена в строках есенинских стихов, грусть по всему чистому и непорочному, безжалостно отошедшему в прошлое...

Ах, как жаль, как безудержно жаль себя. И льются чужие слова, но под них подложены свои собственные чувства, и льются искренние, пусть и невидимые стороннему взгляду слезы. И трудно сыскать в это время человека более чувствительного, более сентиментального человека, и вдруг... злоба захлестнула все, опрокинула и разметала, режет воздух сталь ножа, ища живой преграды.

Одно ненужное, постороннее слово, одна фальшивая нота или случайный косой взгляд, и вся эта сентиментальность оборачивается самой разнузданной жестокостью. Это дикая месть за разрушенную, может быть, невзначай иллюзию, такую дорогую иллюзию. Это месть за возвращение в реальность, за возвращение к самому себе сегодняшнему. Страшна сентиментальность злодея, но в то же время она единственная человеческая связь с остальным большим миром — хрупкий в своей иллюзорности мостик, по которому можно вернуться к людям, а можно, конечно, и не вернуться. Этот мостик манит, но и одновременно пугает своей ненадежностью.

Несомненно, есенинские стихи благотворно действовали на одичавшую душу человека, хотя, конечно, это воздействие оказывалось непрочным и мимолетным, да и не всегда возникало то счастливое стечение обстоятельств, когда на чуть оттаявшую душу изливалось столь здесь необходимое стороннее тепло. Но Егора Прокудина уже не соблазнишь песней, уже ни свои, ни чужие слова не могут затянуть его в сладостный мир иллюзий. Хор поет, а Егор Прокудин молчит, но молчание его не менее выразительно, чем голос хора. И когда потом, на воле, его растрогают березки, то в нем заговорит не только чувство человека, рожденного вот на этой земле, но и чувство человека, почти на всю жизнь отлученного от этой земли, сформированного совсем не здешними обстоятельствами жизни.

В. Кисунько уверен, что Егор Прокудин «оказался силен желанием найти себя, — и сила эта выше слабости потерявшего себя человека, потому что ищет Егор не вне времени и пространства, не из «натуральной малины» в «натуральную деревню» бежит, а к людям идет. Значит — и к себе».

В этих словах много пафоса и мало точности. Под эту общую формулу можно, конечно, затолкать и Егора Прокудина, как и сотни других людей со схожей с ним биографией. Идти к себе — вовсе еще не означает идти одновременно и к людям, а идти к людям — тоже не всегда идти к себе. К людям Егор Прокудин шел тогда, с фанерным чемоданчиком, однако в силу различных обстоятельств тогда он с людьми разминулся и, как выяснилось, навсегда.

Помните, хор заключенных и безмолвствующего Егора Прокудина? Для остальных еще необходима или, во всяком случае, возможна вот такая форма взаимного самовозбуждения, когда твой голос, помноженный на десятки других, усиливает твое личное чувство, возбужденное песней. Егору ни-

чего этого уже не нужно, он один, весь внутри себя, его чувства только отзываются схожестью с чувствами других, но в силу своей законченности и определенности они уже не подвергаются внешнему воздействию. И хор чужих голосов не может ни в какую сторону их поколебать. В коллективном самовозбуждении один может преувеличить свои чувства, другой исказить, а Егор знает точную меру своим чувствам, и... молчит. Им нужно еще единение, и они находят его в песне, Прокудину нужно единение с самим собой, чужие голоса еще больше могут его сосредоточить на собственном чувстве, и только. И Егор сосредоточен, иначе ему нельзя — слишком серьезную игру он затеял с жизнью: теперь он пойдет не к людям, теперь он пойдет к человеку, которого ему никто не в состоянии заменить, как этот хор не в состоянии заменить ему самого себя. И не в соборности станет искать он спасения, а в любви, потому-то и не бросит заинтересованного взгляда в сторону полуразрушенного храма — символа разрушенной людской соборности — и торопливой, сосредоточенной походкой по шатким настилам устремится туда — к этому человеку, чтобы увериться в главном или окончательно в нем обмануться.

Инерция обыденных мыслей и слов занесет его еще в «малину», но в жестах и интонации уже будет проскальзывать необратимая ко всему отчужденность. И встреча с «малиной», и уход от облавы заставят его говорить нужные в каждом случае слова и совершать целесообразные в этих обстоятельствах действия. Тут даст себя знать выработанный годами инстинкт. Но сам он все равно уже не здесь, он уже там, и что бы он сейчас ни делал, что бы ни говорил, ноги несут его туда, где неожиданно блеснул огонек, сулящий реальное спасение.

К. Ваншенкин усомнился не только в правильности выбора героем своего маршрута, но и в правильности выбора маршрута самим автором. «Может быть, — говорит он, — автор хотел поставить и рассмотреть мучившие его проблемы обязательно на деревенском материале. Но ситуация, масштаб проблем явно *не вмещается в рамки деревенского антуража.* И все идет наперекосяк» (курсив мой. — *А.Л.).*

В. Кисунько, в общем-то защищавший фильм Шукшина от всяких несправедливых нападок, все же постеснялся того обстоятельства, что Егор Прокудин шел к истокам собственной жизни, а они, по воле автора, находились в деревне, и поэтому придумал каких-то абстрактных людей, обитающих где угодно, но только не в деревне, к которым якобы и поспешал Прокудин. В. Кисунько деревня тоже смутила. К. Ваншенкин про-

сто не скрывал своего раздражения по поводу того, что Шукшин надумал серьезные проблемы решать на «деревенском материале». Нет, никак не могут простить автору внимательного и заинтересованного отношения к деревне, никак не могут поверить, что деревня — это тоже серьезно, что деревня — это тоже существенно.

И все-таки, если бы мы вдруг посчитали, что причина раздражения и тем более, как мы говорили, личного уязвления кроется в одной лишь неприязни к деревне и к деревенскому способу жизни, мы бы указали не на все и не на самые главные причины и тем самым обеднили бы произведение в целом, обеднили бы характеры героев, в которых и следует искать ответы на все вопросы, порожденные «Калиной красной». А вопросов тут возникает немало.

Б. Рунин, например, на этот счет имеет следующее мнение: «И все же, несмотря на все крайности и несообразности, Егор Прокудин — гордый и несчастный человек, который «никем больше не мог быть на этой земле— только вором», который больше всего на свете жаждал «душевного праздника» и так и не обрел его, — все же он уже прочно существует в нашем сознании и неумолимо движется к своей гибели... Впрочем, так ли уж она была неизбежна, его гибель?»

На этот вопрос Б. Рунин отвечает утвердительно: «Давайте проведем маленький — нет, не следственный, а мысленный — критический эксперимент. Постараемся представить себе, что стало бы с Любой и Егором, если бы его не настигла бандитская пуля. Могли ли они рассчитывать на взаимное согласие, счастье и благополучие? Я убежден, что — нет».

Откуда такая уверенность?

«Слишком все-таки сильны в Егоре волчьи повадки, чтобы поверить, будто он мог бы даже ради такой прекрасной и самоотверженной женщины, как Люба, разом от них избавиться» (а зачем разом? — *А.Л.).*

Обратили внимание, Б. Рунин хотел было употребить слово «следственный», но его почему-то оно смутило, и он употребил другое слово? Ну, зачем же так, если следственное, то заведомо что-то дурное, заведомо что-то с нарушением законности? А вот эксперимент над людьми — действительно нехорошо, если даже и с благими намерениями, потому как эксперимент предполагает безответность тех, над кем его производят. Потом... эксперименты производят и над кроликами. Согласитесь, как-то неловко ставить людей в один с ними ряд. Следствие же — только для людей, и если его проводить по

всем правилам, по-человечески, то это ни для кого не обидно: ни для подследственного, ни для следователя.

Итак, проведем лучше следствие, только не станем заранее определять: «маленькое» или «большое». Это как получится, как обстоятельства повернутся — ведь никому заранее не известно, на каком километре или в котором часу может открыться истина. Наш оппонент утверждает, что Егор Прокудин «никем больше не мог быть на этой земле — только вором». Закавыченность фразы указывает на ее принадлежность кому-то из героев произведения. Кому же? Оказывается, признание принадлежит самому Егору Прокудину. Однако в отличие от эксперимента оно для следствия недостаточно, потому как следствие, согласно закону, не должно принимать во внимание самооговор, а должно по мере возможности выяснять истину. А возможно, тут вовсе не самооговор, а чистосердечное признание?

Что ж, обратимся к тексту. Автор вслед за словами Прокудина констатирует: «Егор сказал это с гордостью. Ему было очень легко с Любкой. Хотелось, например, чем-нибудь ее удивить». У него в тот день, наверное, настроение такое было — удивлять. Сначала он удивил ее «бухгалтером», затем вот этим «вором», а ближе к ночи начнет удивлять уже ее родителей. «Да...— неопределенно сказал он. — Семерых в одном месте зарезали, а восьмого не углядели — ушел. Вот и попались...»

Исключительно проницательные люди оказались в этом селе: верили, да не всему.

Нет, я решительно против эксперимента, ведь там действительно крути-верти, как знаешь, лишь бы с ответом сошлось. Другое дело — следствие. Тут тоже ответ известен, но тут нужно еще выяснить, кто убил, за что убил да и вообще — убийство ли это?

Итак, Егор Прокудин должен был неминуемо погибнуть, ибо в нем слишком «сильны оказались волчьи повадки». Допустим, что сильны. А не многовато ли «вышку» за одни только повадки, если еще учесть, что все свои прежние грехи он уже «отмолил», о чем у него, как известно, даже справка имеется? Вообще в последнее время в нашей литературе както больно уж просто стало убивать героя. Даже складывается мнение, будто сейчас гораздо легче получить лицензию «у самого себя» на отстрел героя, нежели получить в охотничьем хозяйстве лицензию на отстрел кабана и лося. Я понимаю, многих пугает перспектива благополучного конца. Действительно, если стоит выбор: или смерть героя во имя художе-

ственности, или благополучный финал, то предпочтительнее первый, так сказать, смертный вариант, хотя такая художественность, признаюсь, меня несколько пугает.

Да, это верно, Прокудин «уже прочно существует в нашем сознании», а раз так, то вот и давайте поборемся за его жизнь, как мы боролись бы за жизнь близкого нам человека. Посмотрите, а ведь «благополучный» финал имеет не один, а два варианта. Один мы уже отвергли во имя художественной правды, но есть еще и другой — возвращение Егора в «малину». Вы скажете, что лучше уж так, чем снова в «малину». А для кого лучше? Для нас? Но этого недостаточно, поскольку мы не имеем никакого права решать за человека, что ему лучше: жить или умереть, если за ним не числится такого состава преступления, который предполагает высшую меру.

Между тем и со смертным финалом не все так просто. Один вариант — это убийство героя, но есть и другой — самоубийство. В конце концов ведь и так дело могло обернуться. Но способен ли был Прокудин на самоубийство? Дальше мы не продвинемся ни на шаг, если не определим, что же такое Егор Прокудин. Давайте заглянем попервоначалу в детство героя, может статься, это окажется не таким уж бесполезным делом.

Война на свой лад ударила и город, и деревню. Однако навались на деревню еще большие беды, Егор Прокудин, вероятно, выдержал бы, потому как здесь любая беда разверстывалась на всех, и в артельном чувстве каждый находил какое-то для себя спасение или утешение. Нет, все же — не любая, иногда беда может подойти с такой стороны, что вроде бы и спасения ждать неоткуда.

И вот теперь, спустя четверть века, повидав уже на своем веку всякого лиха, Егор «...вдруг остолбенел при виде коров.

— Вот они... коровы-то, — повторил он. — Вишь, тебя увидели, да? Заволновались. Ишь, смо-отрют... — Егор помолчал... И вдруг, не желая этого, проговорился: — Я из всего детства мать помню да корову. Манькой звали корову. Мы ее весной, в апреле, выпустили из ограды, чтобы она сама пособирала на улице... Вот... а ей кто-то брюхо вилами проколол. Зашла к кому-то в ограду, у некоторых сено было еще... Прокололи. Кишки домой приволокла».

Совершилось неслыханное злодеяние, которому нет объяснения и от которого нет спасения. Вот тогда-то Егор и оказался в городе, городе трудной военной поры.

«— Я вспоминаю один весенний вечер... — заговорил Губошлеп. И все стихли. — В воздухе было немножко сыро, на вокзале — сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Все люди взволнованы — все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сидел один... Сидел он на своем деревянном сундуке и думал горькую думу. К нему подошел некий изящный молодой человек и спросил: «Что пригорюнился, добрый молодец?» — «Да вот... горе у меня! Один на земле, не знаю, куда деваться»».

Вот тут-то и переломилась жизнь Егора Прокудина, с этого момента и началась другая его часть, которая с прежней будто бы ничем, кроме имени твоего, и не соединяется. И теперь, когда Егор пахал, он вдруг ощутил: «Странно, ведь вот была же длинная, вон какая разная жизнь, а хорошо помнилось только вот это немногое: корова Манька да как с матерью носили на себе березки, чтобы истопить печь. Эти-то дорогие воспоминания и жили в нем, и когда бывало вовсе тяжко, он вспоминал далекую свою деревеньку, березовый лес на берегу реки, саму реку... Легче не становилось, только глубоко жаль было этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно».

В определенном возрасте многие начинают тянуться памятью к своему детству, но Егор и люди схожей с ним судьбы тянутся к нему вдвойне, потому как там еще все было чисто и надежно, потому как там еще открывались многие дороги... И вот теперь, чтобы начать новую жизнь, кажется, необходимо снова вернуться в тот мир и попробовать отыскать в нем истоки той жизни, мимо которой ты проскочил. Поэтому Егор и держится сейчас памятью за скудные подробности своего детства, они сейчас для него реальнее и нужнее, нежели реальность всей остальной жизни — долгой и ненужной, которую услужливая память пытается сбросить в спасительный «провал».

Когда мы говорим о «трудном военном детстве», то в первую очередь имеем в виду не конкретные трудности, что выпали на долю тогдашних подростков, а ту ломку их судеб, которая очень часто и сопрягалась с этими конкретными трудностями. Кто-то пропорол вилами корове брюхо — и двое из шестерых детей покидают семью (один из них, как мы знаем, становится вором). Парнишка потерял продуктовые карточки и по этой причине стал вором. Этот случай из жизни (так сказать, городской вариант судьбы Егора Прокудина) очень уместно привел в своем выступлении Г. Бакланов. Пусть это край-

ние случаи, но ведь они не могли существовать сами по себе, они крайние по отношению к чему-то более широкому, более всеохватному.

«Согласимся, — говорил Г. Бакланов, — что обе эти истории сильно отличаются, например, от такого случая: мальчику не хватило денег на фотоаппарат, он полез в чужой карман и с тех пор стал вором. В основе своей отличаются. Не взяв в расчет этой разницы, забыв об обстоятельствах военной поры, мы многое рискуем упустить и не понять».

Странно только, что никто из участников дискуссии, кроме С. Залыгина, не внял этому здравому напоминанию, и каждый говорил о чем угодно, но только не о социально-историческом наполнении образа Егора Прокудина. Так, например, В. Баранов увидел великий грех Егора в том, что он, «будучи на свободе (ведь не все же двадцать лет беспрерывно находился он в заключении)», не оказал матери никакой материальной помощи.

Да нешто это грех? Так, прегрешение, за которое разве что следует пожурить. Ведь тысячи людей, живя в достатке, «забывают» о своих родителях, и мы их в обыденной действительности не особенно даже казним. А грех у Егора перед матерью был — великий грех, на который почему-то никто не обратил никакого внимания.

А вот что по этому поводу говорил сам Шукшин: «Как всякий одаренный человек, Егор самолюбив, все эти двадцать лет он не забывал матери, но явиться к ней вот так вот — стриженому, нищему — это выше его сил. Он все откладывал, что когда-нибудь, может быть, он явится, но только не так. Там, где он родился и рос, там тюрьма — последнее дело, позор и крайняя степень падения. Что угодно, только не тюрьма. И принести с собой, что он — из тюрьмы, нет, только не это. А что же? Как же? Как-нибудь. «Завязать», замести следы — и тогда явиться. Лучше обмануть, чем принести такой позор и горе. Ну, а деньги? Неужели не мог ни разу послать матери, сам их разбрасывал... Не мог. Как раз особенность такого характера: ходить по краю. Но это же дико! Дико. Вся жизнь прошла дико, вбок, вся жизнь — загул».

Здесь очень важные для нашего разговора вещи сказал Шукшин, но слишком уж общо мотивировал причины, по которым его герой ни разу не удосужился выслать матери деньги. Нет, тут дело не в одной только дикости. У Льва Толстого есть в дневнике такая запись: «Какое высоконравственное условие жизни то, что происходит во всех крестьянских семьях:

что взрослый человек отдает весь свой заработок на содержание старых и малых».

В какой-то мере эта добрая традиция не умерла в деревне и по сей день, и Егор мог не исполнять этой святой обязанности, но не помнить о ней он не мог, пусть порой и затравливал свою память (а заодно и совесть) водкой, разгулом и прочей дикостью, но память о матери вытравить ему все равно не удалось. Мы также не должны забывать, что общее развитие Егора не столь уж велико, а потому всякое нравственное в нем биение должно было иметь связь с конкретным жизненным нравственным источником, и таким источником для него всегда оставалась мать. И можно, конечно, согласиться, что Егор бессердечно относился к матери, но уж никак нельзя согласиться с утверждением, что «создатели фильма не судят героя». Об этом, собственно, весь фильм, это в нем самое главное, сквозное, и суд-то создатели фильма выбрали самый суровый — беспощадный самосуд героя.

Так вот, вернемся опять к деньгам. Почему же все-таки Егор за двадцать лет ни разу не удосужился послать матери деньги? Бессердечие? Равнодушие? Забывчивость? Нет. Причиной тому как раз была — верная память. Удивительно точно расставил Толстой слова: «отдают заработок...» А ведь у Прокудина-то никакого заработка не было, деньги-то у него были все ворованные. Не мог, не мог — пока он помнил свою мать — послать ей эти деньги. Вот что Егор говорит Любе, когда они возвращались от его матери: «Перевел ей деньги, но боюсь, как бы она с ними в сельсовет не поперлась — от кого, спросит. Еще не возьмет...»

И дело даже не в том, была ли на самом деле его мать такой, какой она ему представлялась, а в том, что она ему представлялась именно такой: свято честной. Так неужели же он мог посылать ей ворованные деньги, осквернять ими единственно святой для него на земле образ? Если бы Егор мог посылать матери ворованные деньги, то он и в мыслях не мог бы держать думу о какой-либо другой жизни, кроме преступной.

И все-таки это еще не самый большой грех, обременявший душу Егора. В конце концов, у матери было еще четверо детей, которые могли все эти годы оказывать ей посильную помощь. И теперь он мог искупить свою вину, взвалив на себя в дальнейшем заботу о матери. Этот грех искупаемый, и тут действительно нечего было валяться по земле и выть. И возможно, правы здесь Б. Рунин и В. Баранов. Так, последний утверждает: «Мне — и в этом отношении я согласен с Б. Руниным —

сцена, когда Егор бьется на земле в припадке раскаяния, представляется откровенно мелодраматической. И напрасно в картине этим мелодраматизмом подменена скупая сдержанность подлинного драматизма киноповести, когда Егор был потрясен своей виной перед матерью и тем не менее не в силах был заплакать, а просто сидел, упершись лбом в баранку». Так сказать, раздумывал.

Вероятно, когда Шукшин писал свою повесть, он тоже опасался мелодраматизма, но вот когда Шукшин-актер стал играть и вошел в образ, то почувствовал, что в этом месте он не может усидеть за баранкой, и Шукшин-актер нашел то решение сцены, благодаря которому весь материал организовался, а произведение обрело недостающую ему законченность.

Обратимся к тексту. Люба спросила у матери Егора:

«— А дети где ваши? У вас сколько было?

— Шестеро, милая, шестеро. Одна вот теперь со мной, Нюра, а трое в городах...»

Егор знал, что их — детей — было шестеро, и вот мать дважды повторила «шестеро», стало быть, он не исключен из списка живых, то есть тех, о ком она в постоянной думе. А тем временем «старуха замолчала, отерла рот краешком передника, покивала маленькой птичьей головой, вздохнула. Она тоже, видно, умела уходить в мыслях далеко — и ушла, перестала замечать гостей».

И Егор понимал, куда она унеслась мыслями. «Егор сидел на стуле у порога. Он как-то окаменел на этом стуле, ни разу не шевельнулся, пока старуха говорила, смотрел на нее». Окаменеешь.

«— А еще двое? — спросила Люба.

— А вот их-то... я и не знаю: живые они, сердешные душеньки, или нету их давно. — Старушка опять закивала сухой головой, хотела, видно, скрепиться и не заплакать, но слезы закапали ей на руки, и она поспешно вытерла глаза фартуком.

— Не знаю. В голод разошлись по миру... Теперь не знаю. Два сына ишшо, два братца... Про этих не знаю.

Зависла в избе тяжелая тишина... Люба не могла придумать, что еще спрашивать, — ей было жалко бабушку. Она глянула на Егора... Тот сидел изваянием и все смотрел на Куделиху. И лицо его под очками тоже как-то вполне окаменело. Любе и вовсе не по себе стало».

А может, то просто старческая слезливость? Ведь у многих ее подружек война повыбивала и побольше сыновей, а у Куделихи все-таки живы двое сыновей и две дочери. Да чего

далеко ходить — возьмите мать Любы. В сцене после бани Люба показывает Егору семейный альбом и по ходу комментирует снимки. Вот ее братья — Павел и Ваня. И оба погибли на фронте. А вот Петро — он в плену побывал. И все спокойно, никаких истерик — как-никак двадцать пять лет минуло. Никто, конечно, не забыт, но рана зарубцевалась. А посмотрите на мать Любы. Разве ее сравнишь с Куделихой?

И вот тут мы подошли к самому главному. Помните, Толстой сказал, что в крестьянских семьях взрослые отдают свой заработок «на содержание старых и малых»? И это не просто обычай, это нравственный закон, с позиций которого мы, между прочим, и обличали Егора. А давайте вернемся к событиям двадцатипятилетней давности, когда Куделиха как раз была «взрослой», а Егор был «малым». «Два сына ишшо, два братца». И вина за этих несчастных «братцев» на ней, на Куделихе. Да, погибла корова. Да, было голодно. Да, шла война. Да, сотни других подростков отправлялись вот так же в город. Конечно, мы с радостью сняли бы со старой женщины эту ее вину. Мы сняли бы, не имеем права не снять. А она не снимет, не расстанется с этой своей виной. И казнит она себя все эти двадцать пять долгих лет. Погибни ее сыновья на фронте, она бы тоже горевала, но горе с годами стихает. Вина же требует искупления, а искупления нет и не найти его...

В родном доме Егор вдруг понял свою жуткую вину (нет, совсем не то, что не помогал матери все эти годы), ведь это он, именно он обрек мать на страшные терзания и муки, он взвалил на нее вину, которую, как тяжкий крест, несет она уже четверть века. Нет, ни один палач не додумается так тиранить свою жертву, как мучил он изо дня в день двадцать пять лет кряду ту, которая была для него все эти годы единственным человеком на всей большой земле. А ведь тут не кто-то другой, а он, он оказался палачом своей родной матери. И еще этот ее старческий страдальческий образ — как бы наглядный результат твоих деяний. Конечно, в том состоянии, что находился Егор, трудно было разделить, какая лепта здесь принадлежит ему, а какая просто времени. В таком состоянии — все бери на себя. И тут не только завоешь, тут не только будешь кататься по земле...

Трудно сказать, что стало бы с Егором, не будь возле него Любы. Она сумела его успокоить и даже утешить. «Что бы было с миром, — писал Толстой, — что бы было с нами, мужчинами, если бы у женщин не было этого свойства и они не проявляли бы его? Без женщин-врачей, телеграфисток, адво-

катов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее, — без таких женщин плохо было бы жить на белом свете».

Люба сумела принять горе и беду Егора на себя, теперь она думала уже не только о нем, но и о его несчастной матери.

«— Господи!.. Да почему вы такие есть-то? Чего вы такие дорогие-то?.. — Она заплакала. — Что мне с вами делать-то?

Егор освободился из ее объятий, крякнул несколько раз, чтобы прошел комок в горле, включил скорость и с веселым остервенением сказал:

— Ничего, Любаша!.. Все будет в порядке! Голову свою покладу, но вы у меня будете жить хорошо. Я зря не говорю!»

И только они вернулись домой, как Егору сразу же представился случай «покласть» голову. Здесь их дожидался Николай (бывший Любин муж) с приятелями. Егор дрался спокойно и расчетливо, бил ровно столько, сколько нужно было, чтобы отбиться. И зла-то не было, «Пить надо меньше, дурачок, — участливо сказал Егор. — Кол-то выломил, а у самого руки трясутся. Больше в этот дом не ходи». Да, что-то в Егоре круто перевернулось. Но для того, чтобы закончить разговор о Егоре Прокудине, нам необходимо более подробно, чем мы делали это до сих пор, поговорить о Любе Байкаловой.

2

Меня немало удивило то обстоятельство, что все участники дискуссии прошли мимо образа Любы Байкаловой. Нет, о ее достоинствах говорилось, но говорилось как-то вскользь, мимоходом, в самых общих чертах: дескать, самоотверженная женщина, чудесная женщина и так далее. Все это, безусловно, верно, только ведь «Калина красная» — произведение не монологическое, в котором все должны подыгрывать главному герою, а диалогическое, принципиально диалогическое, и в нем в полный разворот даны два характера, даны две судьбы.

Правда, К. Ваншенкин и тут усомнился, ему образ Любы показался малодостоверным. «Но, скажите честно, — обращается он к читателю, — не такая уж это редкость — пьющий муж, и не так уж часто (да еще в деревне) жены их выгоняют». Действительно, выгоняют «пьющих мужей» не так уж и часто, даже в городе, однако, кто сказал, что Люба Байкалова — явление в нашей жизни самое распространенное? Далее,

«пьющий муж» — это, так сказать, всего лишь самая общая формула, между тем в произведении есть и более конкретная аттестация. «Вот гад-то! Что ему надо-то? Замучил, замучил, слюнтяй!..» — говорит Люба о своем бывшем супруге. Не важно, что именно она подразумевала под словом «слюнтяй», но слово это всегда выражает крайнюю степень неприязни к тому, кому оно адресовано. Пьяницу еще стерпеть можно, а вот слюнтяя — вряд ли. Во всяком случае, женщине с таким характером, как у Любы.

Между прочим, она не столь уж и простодушна или бесхитростна, как это может показаться, а если говорить о незаурядности характеров, то это еще вопрос, кому здесь следует отдать предпочтение: Егору или Любе. Нет, Люба не с бухты-барахты пригласила к себе и Егора, ведь этому ее решению предшествовала довольно долгая между ними переписка. «А такие письма писал хорошие. Это же не письма, а целые... поэмы прямо целые», — признается она Егору при встрече.

Однако поэмы — поэмами, душа — душой, а все-таки Люба поняла, что Егор от нее что-то скрывает, и написала (не от простодушия же) письмо гражданину начальнику. Так что к предстоящей встрече с Егором она готовилась довольно обстоятельно, во всяком случае, она к ней подготовилась лучше, чем очень бывалый человек — Егор Прокудин.

Многих вот восхитила сцена в чайной. Ничего не скажешь, сцена превосходная, но она появилась не случайно, не стихийно, ее предусмотрела Люба, поняв, что для всех (для Егора, для нее и ее родителей) лучше будет, если первый их разговор состоится, так сказать, на нейтральной территории. А если бы просто на природе? Просто на природе нельзя, хотя бы потому, что Егор мог истолковать подобный прием как боязнь Любы показаться с ним на людях. А тут, не успели встретиться, пожалуйста — в самое общественное место.

Вероятно, Егор (впрочем, как и некоторые зрители) мог подумать, что Любина затея с перепиской, со встречей, с чайной идет от ее недалекости, поскольку беспредельная доброта порой может уживаться и с беспредельной, мягко говоря, недалекостью. И так бывает. Однако здесь другой случай. Так, в конце их разговора в чайной она скажет Егору: «Пошли ко мне. Отдохни хоть недельку... Украсть у меня все равно нечего. Отдышись... Потом уж поедешь магазины ломать. Пойдем. А то люди скажут: встретила — от ворот поворот. Зачем же тогда звала? Знаешь, мы тут какие!.. Сразу друг друга осудим...»

Стало быть, понимала, что в общем-то люди ее осуждают, но шла наперекор всем, пока боролась за человека, она могла позволить себе и не считаться с людским мнением, но вот если бы она проиграла свою борьбу («от ворот поворот»), то тогда бы приняла осуждение людей. И в чайной Люба боролась не только за Егора, но и за себя, за свою линию в жизни, за свою репутацию. И тут очень важна для нас авторская ремарка: «Загадочное впечатление производила Люба: она точно *играла* какую-то умную *игру*, играла спокойно, весело и с любопытством всматривалась в Егора: разгадал тот или нет, что за *игра*?» (Курсив мой. — *А. Л.*)

Потому-то нас так и восхищает сцена в чайной, что здесь Люба не просто встретилась со своим заочным знакомым, и мы стали свидетелями стихийного разговора двух людей. Нас здесь восхищает другое — тонкая Любина *игра,* план которой она выработала заранее. И вот она решила играть свою *игру* всенародно. А это уже дерзость, это уже азарт, и тут она, пожалуй, мало в чем уступает Егору Прокудину, одновременно явно превосходя его в серьезности.

«— Ну, Георгий... —начала она, — расскажи, значит, про себя.

— Прямо как на допросе, — сказал Егор и мелко посмеялся. Но Люба его не поддержала, и Егор посерьезнел».

Нет, Люба не думала отдавать инициативы в игре и «заставила» Егора «мелко» посмеяться, а ведь раньше мы что-то не видели, чтобы он «мелко» смеялся. А его байки про «бухгалтера» она обрежет еще решительнее: «Это с такими ручищами ты — бухгалтер? Даже не верится... Такими руками только замки ломать, а не на счетах...» И тут Люба засмеется, натурально засмеется, и Егор засмеется, только он засмеется фальшиво. Нет, Люба вовсе не собиралась по ходу своей игры окончательно загонять Егора в угол и поэтому раскрыла ему свой козырь — рассказала про письмо начальнику. «А-а, — протянул Егор пораженный. — Вот оно что... — И ему стало легко и даже весело. — Ну, тогда гони всю тройку под гору. Наливай».

Обратите внимание, ни в «малине», ни в лагере никто его не мог поразить, а тут поразила молодая деревенская баба. Егор темнил, плел кружева насчет «бухгалтера», а она, оказывается, все прекрасно знала. Хитро, конечно, хитро — ничего не скажешь. Только поразила она его в данном случае не хитростью, а серьезностью своих намерений: ведь хорошо знала, кто он есть на самом деле, и все равно пригласила. Не преда-

ла уже возникших в ходе переписки отношений, не пошла на попятную. Поэтому-то Егору стало и легко, и весело, так весело, что его вдруг понесло в сторону тюремной «романтики». Но в планы Любиной игры последнее не входило, и она эту «романтику» сразу же пресекла: «А чего ты-то погнал? Подожди... Поговорим».

Она поняла, что Егор теперь может истолковать ее решение пригласить его после отбытия срока к себе и как полную амнистию его прежней жизни, и она тотчас же направила разговор в нужную ей сторону, правда, тут Люба допустила небольшой промах — не выдержала и пожалела его, а жалеть его было пока еще рано. Нет, и Егор не так-то прост, он сразу же перехватил инициативу: пошел в «гордость», дескать, он не побирушка и прочее, и кое-что ему удалось отыграть. Стихийно. Но игру вела Люба, а не он, и как только его опять занесло: «Никем больше не могу быть на этой земле — только вором», Люба сразу же отыграла все потерянное: «Ое-ей! Ну, допивай да пойдем». Почему она именно в этот момент пригласила его домой? Потому, что только сейчас «ей тоже было легко с Егором, очень легко». Отчего же? А оттого, что она сыграла свою *игру*, она выиграла, так сказать, важнейший первый тур. Во-первых, она добилась того, что развеялось чувство стыдности по отношению к его прошлой жизни. Во-вторых, она добилась того, что эта прежняя его жизнь утратила в их глазах всякий ореол. В-третьих, правда, только со второй попытки ей удалось подойти к серьезному разговору.

«Между прочим, — не без фанаберии заговорил Егор, — к вашему сведению: я шофер второго класса».

И здесь его фанаберия чрезвычайно важна, потому как она выдала Егора, фанаберия шла оттого, что он на миг вдруг представил себя шофером, не вообще шофером, а тутошним... Егор и сам почувствовал, как «влип», и сразу же попытался снова немножко отыграться: «Типичная крестьянская психология. Ломовая. Я — рецидивист, дурочка. Я — ворюга несусветный. Я...» Потом он еще попытается немного поупрямиться: «А папаша твой не приголубит меня... колуном по лбу? Мало ли какая ему мысль придет в голову». Но здесь одна только видимость игры. Егор проиграл начисто. «Нет, ничего. Теперь уж надейся на меня», — скажет Люба, а автор этими ее словами закончит сцену. Действительно, любое следующее слово было бы здесь уже лишним.

А почему Егор сопротивлялся, упирался, разве он не хотел, чтобы все вышло так, как вышло? Хотел. Только он не

привык, чтобы кто-то разыгрывал сюжеты, он всегда предпочитал разыгрывать их сам. Правда, кое в чем он был искренен, он действительно опасался идти к ней домой, потому и приплел насчет папаши и насчет колуна, но опасался он тут вовсе не за себя, а за возникшие между ними отношения. И еще, он тут подстраховывался: если уж что и случится (вдруг там разрушатся возникшие между ними отношения), так пусть будет виноват не он — он же не хотел идти туда, где отношения могут разрушиться. Любе он поверил с самого начала, а теперь он поверил в нее. Потому и пошел.

Но вот если кого действительно понесло, так это Любу. Пришли домой, разговор потек не то что в чайной, какой-то вялый и в то же время опасный. И тут она делает дерзкий ход, естественно не предусмотренный заранее (тут уже импровизация): она специально отлучается, оставляя Егора со своими родителями.

И здесь начинается новый тур игры. Боже! Что тут поднялось! Егор показал себя во всей красе: он и психолог, он и демагог, он и артист, он и трибун... И во всяком качестве виртуозен. Кажется даже, что наконец- то он взял реванш, отыграл все проигранное в чайной. Действительно, отыграл, только в пользу... Любы.

А вот и наша героиня.

«Ну, как вы тут? — спросила она весело. Она разрумянилась в бане, волосы выбились из-под платка... Такая она была хорошая! Егор невольно взглянул на нее. — Все тут у вас хорошо? Мирно?»

Наивность? Ничего подобного. Вот авторская ремарка: «Люба ушла. Нарочно, похоже, ушла — чтобы они тут до чего-нибудь хоть договорились. Сами. Наверное, надеялась на своих незлобивых родителей». И надеялась не напрасно. Отец ее (Люба явно — в папашу) одной фразой свел на нет яркую «победу» Егора. «Ну и ухаря ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик. — Ты гляди, как он тут попер!.. Чисто комиссар какой!» — Старик засмеялся».

И опять Люба не остановилась, теперь она посылает Егора в баню, в общество своего братца, для которого ни чужие слова, ни чужие кулаки — не аргумент. Это как-то сразу понял даже Егор. Но неужели и здесь он, Егор, потерпит поражение? Между прочим, как-то незаметно Егор уже почувствовал себя в этой семье своим человеком. Он даже вдруг капризничать начал: разлегся на лавке и не идет в парную. Покуривает и огрызается. Но не уходит. Чего-то ждет. И дождался: «Сей-

час возьму и силком суну в тазик, — сказал Петро невыразительно. — И посажу на каменку. Без паспорта. — Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил: — Со справкой. — И хохотнул коротко». Должно быть, представил, как это будет выглядеть в натуре.

Кажется, что Егор был уже даже рад своему «поражению», надоело ваньку валять: «Вот это уже другой разговор! — Егор сел на лавке. И стал раздеваться. — А то начинает тут... Диплом ему покажи!»

Действительно, удивительный человек — Люба Байкалова. Какая вера в людей, какое знание и понимание людей и какая решительность. Ладно, завязала переписку с уголовником — это с войны идет традиция заочного знакомства. Ладно, пригласила его к себе. Но как она тонко провела разговор в чайной, как она хорошо разобралась в ситуации, что сложилась дома, как, наконец, она угадала состояние Егора, решив «доверить» его родителям и брату.

Вообще Шукшин-писатель выказал высочайшее мастерство: сначала он представил нам поочередно единоборство Егора с Любой, с ее отцом, с ее братом, а потом дал великолепную сценку, так сказать, баталии с целым семейством Байкаловых. Это произошло ночью, когда Егор вдруг решил «осчастливить» Любу своим тайным к ней визитом.

«— Любка, возьми чего-нибудь... Возьми сковородник, — раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.

— У меня пестик под подушкой, — сказала Люба».

Понимали женщины, что ночью человек иногда становится совсем другим, как бы даже не самим собой.

«Егор пошел на место.

— Поше-ол... На цыпочках. Котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышат... Я все слышу. И вижу».

И заворчал Егор. Еще бы не заворчать. Ладно бы колун, который Егор предсказывал в чайной, ладно бы там молоток какой-нибудь, а то: пестик, сковородник... Нет, с таким оружием Егору еще не приходилось иметь дела. А потом, еще этот «котяра». Он — рецидивист! А с ним, словно с блудливым родственником или соседом. «Котярой» и «сковородником» отогнали.

«Не ворчи, не ворчи там, — миролюбиво уже сказала старуха. — Разворчался».

Нет, это уже невмоготу, будто на собственного сына шикает, и ведь ни капли страха у старой. И тут «Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал:

— Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. — Пауза. И потом в тишину из- за занавески полетело еще — последнее, ученое: — Лихтенберг! Афоризмы!»

Но последнее слово опять осталось не за Егором.

«Старик перестал храпеть и спросил встревоженно:

— Кто? Чего вы?

— Да вон... ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь».

Егор по достоинству оценил благородство старухи: «...ругается лежит». «Лежит». А ведь не сказала, что перед этим он не лежал, а ходил. «Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг». Очень уж ему не хотелось, чтобы кто-то подумал, будто он ругается.

Но теперь не унимался старик:

«— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?

— Это не я! — раздраженно воскликнул Егор. —Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит».

Егору не хотелось, чтобы сейчас вообще кто-то ругался. Даже Лихтенберг. Зачем ругаться? Но теперь старик, кажется, проснулся окончательно: «Тоже, наверно, бухгалтер? — спросил старик не без издевки».

Нет, если хотите, то ругайтесь сами, а Егор не опустится даже до перепалки, так просто теперь Егора не раззадорите.

«— Француз, — откликнулся Егор.

— А?

— Француз!

— Спите! — сердито сказала старуха. — Разговорились.

Стало тихо. Только тикали ходики».

И вот этим «Спите! Разговорились!» она как бы уравняла всех, никого ни в какую сторону не выделив. Эти слова, видимо, не раз ею произносились и прежде, в другие дни, когда под кровом бывали только свои. Наверное, за последние двадцать пять лет Егор Прокудин впервые заснул так, как можно заснуть только в своей семье.

А утро было тяжелым. Очень тяжелым. Егор вдруг засобирался в город. «Я бы хотел не врать, Люба, — заговорил он решительно. — Мне всю жизнь противно врать... Я вру, конечно, но от этого... только тяжелее жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселей и, желательно, с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать: я не знаю. Может, вернусь. Может, нет... Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба».

И она поверила. Нет, не в то, что он непременно вернется, а в то, что ему надо «спросить свою душу». И вот дальше уже начнет играть Егор, дальше уже пойдет его *игра,* и Люба поймет, что так и нужно: она могла только помочь ему начать эту *игру,* трудную и опасную, но и в то же время единственно для него спасительную. Ни она сама, ни Петро, ни их родители не могли за него сделать того, что он должен был сделать сам. И вот до этого момента Любовь Байкалова была в произведении главным действующим лицом, а Егор Прокудин был всего лишь активным объектом приложения ее активных усилий. Между прочим, эта часть повести занимает почти половину ее объема. Со второй части (разумеется, деление это условное) главным действующим лицом становится Прокудин, потому как теперь, уже независимо от постороннего вмешательства, он вступит в действенный конфликт со всей своей прежней жизнью. И об этом конфликте стоит поговорить особо.

3

Нет, не «волчьи повадки» мешали Егору Прокудину, а нечто более значительное и существенное. Кажется, все сходятся в мнении, что Прокудин — личность незаурядная. А что же это такое — незаурядная личность? По-моему, если коротко, незаурядную личность от заурядной отличает неизвестно откуда идущая потребность и одновременная способность вырабатывать собственную *концепцию жизни,* позволяющую сохранять себя в самых различных и самых неблагоприятных жизненных обстоятельствах.

Наверняка Егору было не так-то просто смириться с мыслью, что он — вор, и тут ему было необходимо не столько какое-то тому оправдание, сколько достаточное тому убедительное обоснование, то есть определенная концепция жизни, согласно которой его способ жизни не выглядел бы в собственных глазах унизительным. На чем же могла покоиться такая концепция? Пожалуй, на том положении, что все люди порочны и в большинстве своем глупы и злы. А жизнь настолько разнообразная штука, что в ней можно черпать сколько угодно фактов и подтверждений в пользу любого о ней предположения. Так, Г. Бакланов обратил наше внимание на очень маленький, но весьма принципиальный эпизод: «Взять хоть сцены, связанные с молодым прокурором, роль которого исполняет Жанна Прохоренко. Фон, на котором она ведет несколько пренебрежительный разговор с Егором Прокудиным, не такой уж

идиллический. Вспомним, Егору велено отвезти этого молодого и по-молодому строгого юриста на пасеку. А там, на пасеке, ей что-то привычно заворачивают и кладут в машину. Что? Да это никак не акцентируется. Обычное житейское дело. И для нее, видно, обычное. Но не исключено, что первое прегрешение или даже преступление Егора Прокудина в денежном выражении не превышало этого свертка. Милой девушке все это невдомек, но Егор-то видит, понимает».

Егор это видит не только потому, что он умнее или опытнее девушки-прокурора, а еще и потому, что почти всю свою жизнь хотел видеть именно это. Приобщите сюда же, к примеру, таксиста, продавшего ему за полторы цены магнитофон, или официанта Михайлыча, организовавшего «бардельеро». Егор, видимо, делил весь мир на нечестных людей и людей, притворяющихся честными, а при такой постановке вопроса он уже был не хуже других, как минимум. Но он старался быть лучше других. Вот Егор в своей среде, в «малине».

«— Какие люди, Егорушка! А? — воскликнула Люсьен. — Какие злые!

— Ну, на злых, Люсьен, мы сами — волки. Но душа-то, душа-то... Плачет...»

Когда Губошлеп сделал циничное замечание, Егор подскочил к нему. Губошлеп держал уже руку в кармане.

«— Опять за старое, Горе? — спросил он, удовлетворенный.

— Я тебе, наверно, последний раз говорю, — спокойно тоже и устало сказал Егор, застегивая рубаху. — Не тронь меня за болячку... Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман. Я тебе сказал.

— Я слышал».

Очень о многом тут сказано. Во всяком случае, в вопросах добра и зла, пусть толкуемых весьма своеобразно, единогласия между Губошлепом и Егором не было, и не было давно, а вероятнее всего, никогда. Нет, в «малине» не так-то просто утвердить свой авторитет, не так-то просто других заставить считаться с собой. А с Егором считались. Что же ему здесь помогло? Его жестокая жизненная концепция. Мир дурен? Но я должен быть лучше этого дурного мира. Поэтому совершенно искренне звучат слова Егора: «Я вру и презираю себя». Или: по сути дела, Михайлыч надул Егора с «бардельеро», но Егор все равно расплачивается щедро: «Вот тебе две сотни, — говорит он Михайлычу. — Всем дать по червонцу, себе остальное». Пусть Михайлыч его и надул, но Егор выше всякой тяжбы.

Мир дурен, но в нем есть одно исключение — мать, которую было боязно не только осквернить посылом ворованных денег, но и боязно было как-то загрязнить собственными о ней воспоминаниями, и он, вероятно, по возможности пытался глушить всякую память о ней.

Потому-то так мало чего помнится о матери и о давней поре детства.

Мать была единственным опровержением его жизненной концепции, но мать — это сказка, какая-то далекая мечта, счастливая иллюзия. Но вот на его пути встала Люба. Нет, это уже не сказка, это уже реальность, подлинная большая и суровая жизнь. Люба не смогла прельстить Егора своей жизнью сразу, но она сделала больше, она опровергла, разрушила его жизненную концепцию, и Егор растерялся, растерялся сполна, в чем по-честному признался Любе: «Останусь один и спрошу свою душу». О чем же он хотел спросить свою душу? Принять ли ему вот эту новую жизнь или вернуться в «малину»? Нет, так вопрос уже стоять не мог. С «малиной» покончено навсегда, не может же он оставаться в мире зла, когда, оказывается, существует мир добра. И Егор сразу же отправляет Губошлепу деньги, которые тот сумел всучить при встрече в «малине». Туда пути больше нет. А что же тогда решать? Или приобщиться к новой для него жизни, или... «И охота уж добить свою жизнь совсем, вдребезги. Только бы веселей и, желательно, с водкой».

Если перевести на ясный язык не слова эти и даже не заключенный в них смысл, а внутреннее состояние героя, то мы вправе предположить если не готовность героя, то его возможное желание рассчитаться с собственной жизнью.

Но, как очень скоро выясняется, он теперь даже «добить свою жизнь» по собственному усмотрению («веселей и, желательно, с водкой») не может — призраки прежней жизни отказались ему служить. Есть свобода, деньги, есть даже водка и «бардельеро», но нет веселья. Душа дала свой ответ, и Егор среди ночи бросается к Любе. Впервые оказавшись в городе, он ощутил, что «один на земле остался», и это ощущение не покидало его целые четверть века. Теперь же он знал, куда и к кому бежать, если ему плохо. Истинный покой ему грезился в Любиной семье. Но жизнь есть жизнь, и каждый ее новый день чреват новыми осложнениями.

Люба открыла глаза Егору на его прошлое — и он поразился, мать определила степень его истинной вины — и он ужаснулся. Конечно, можно разделить чужое горе и чужую

беду, и Люба готова была облегчить участь Егора, однако никто не в состоянии разделить чужую вину. *Вина* — это всегда *личное.* Теперь Егору была нужна не свобода, ему теперь нужно было *освобождение,* освобождение от собственной вины. Теперь Прокудина стал преследовать сам Прокудин, и убежать самому от себя некуда. Много вокруг хороших людей, готовых его спасти, но кто спасет его душу? И здесь совершенно прав С. Залыгин, сказавший: «По существу, в нем, в этом фильме, затронута мировая проблема и тема мирового искусства, выраженная однажды в таком заглавии: «Преступление и наказание».

После визита к матери Егор стал неузнаваем: в вынужденной драке с Николаем он спокоен и беззлобен, очень задушевен с Любой и Петро... Но стали его вдруг одолевать какие-то дурные предчувствия. «Егор еще раз оглядел степь. Вот и этого будет жаль. «Да что же я, урод такой! — невольно подумал он. — Что я жить-то не умею? К чертям собачьим! Надо жить. Хорошо же? Хорошо. Ну и радуйся!» — Егор глубоко вздохнул».

Но радоваться ему было трудно: чувство громадной вины преследовало теперь его постоянно. Возможно, некоторым может показаться неправдоподобным — такой закоренелый преступник — и вдруг столь глубокое раскаяние... Действительно, здесь Шукшин поставил нас в довольно затруднительное положение: с одной стороны — преступник, а с другой — удивительно глубокий нравственный поиск, не оставляющий нас в равнодушии.

Многие участники дискуссии говорили о наличии в «Калине красной» различного рода условностей («малина», «бардельеро», «березки» и т. д.). Я лично вижу в произведении Шукшина другую условность, а именно то, что Прокудин — преступник. Ведь не случайно же автор абсолютно ничего не говорит о самих преступлениях своего героя. Да, мы здесь можем кое о чем догадываться, но не больше. Василий Шукшин как бы говорит: «Вот перед нами преступник, нет, не злодей, но преступник, однако меня он интересует как человек, а не как преступник». Что ж, тогда давайте посмотрим, что же это за человек, а заодно и выясним, не навязал ли автор ему того нравственного поиска, к которому тот был совсем не готов.

Да, Егор Прокудин вел дурной образ жизни, но он все же не был дурным человеком, а если и был, то вопреки своему желанию. Больше того, он постоянно желал быть лучше окружающих людей, поэтому, вероятно, он и вызывает наше сочувствие.

Первое его общение на воле произошло с таксистом, и он тут выглядит предпочтительнее: советует таксисту любить стихи и читает стихи, призывает радоваться жизни и беседует с березками, а таксист продает ему за полторы цены магнитофон.

В «малине» Егор опять выглядит предпочтительнее других. Он проповедует и отстаивает человеческие чувства. Он смел и решителен, а во время погони — хоть и по дурному случаю, но все-таки благороден.

В чайной мы, конечно, должны отдать предпочтение Любе, но Егор из кожи лезет, только чтобы не выглядеть побирушкой, бедным родственником и т. д., во всяком случае, он стремится быть достойным своей собеседницы. Тут он согласен, так сказать, на ничью.

В родительском доме Любы вся его демагогическая речь была направлена к тому, чтобы доказать: если он и не лучше других, то, между прочим, и другие не лучше его. К тому же здесь он защищал не только себя, но в какой-то мере и Любу, ведь как-никак, а он — ее «знакомый».

В бане, в этом самом демократическом учреждении, его тоже устроила бы ничья. Вообще, в доме Любы он хотел бы выглядеть со всеми на равных. И в ночной «баталии» он пытается во что бы то ни стало сохранить свое человеческое достоинство. Даже начинает демонстрировать свою интеллигентность, начитанность... Когда же ему не удается никого этим смутить, он досадует, но не очень, потому как сам знает, что не столько начитан, сколько нахватан.

На почте он — богатый и свободный.

В «бардельеро» он — почти что граф Монте-Кристо, богатый и загадочный, грустный и справедливый.

Опять в бане с Петро. Нет, в этом доме ему положительно хочется быть равным самому себе.

С директором совхоза он ведет себя тоже очень достойно. И так далее... Так что Егор Прокудин по-своему весьма требователен к себе, и в большинстве своем эта требовательность обусловлена не условиями преступного мира, а условиями общечеловеческой жизни. Пожалуй, только в одной сцене Егор выглядит дурак дураком, это когда он неожиданно хватает за ногу незнакомую ему девушку. Вот единственный эпизод, где он изменяет самому себе.

Вроде бы у Егора нет к себе особых претензий. И вдруг после встречи с матерью он увидел, что все его стремления быть человеком — нуль, ничто. Вина перед матерью обнару-

жила несоизмеримость его стремлений и действительности. И это уже не только еще раз опровергало его жизненную концепцию, но и как бы опровергало в нем человека. Нет, совсем недаром выл и катался в тот вечер по земле Егор Прокудин, недаром потом его стали посещать дурные предчувствия.

Безусловно, с точки зрения юридической и даже бытовой Егора Прокудина убил Губошлеп, но мы ведем «следствие» не юридическое, а потому нас интересуют не столько даже сами факты, сколько мотивы поступков героев и логика их характеров. И тут мы приходим к выводу, что перед нами не убийство, а самоубийство, хотя оно и носит форму убийства.

Мать Егора Прокудина по сути дела оказалась здесь невольным обвинителем, Люба мужественным защитником, Егор выступал в роли судьи самого себя, а Губошлеп — лишь добровольный палач. Как известно, приговор выносит судья! Собственно, к версии о самоубийстве пришел сам Шукшин, но я вовсе не собирался подгонять свое «следствие» под версию Шукшина, впрочем, наши версии сходятся не во всем.

«Скажу еще более странное: полагаю, что он своей смерти искал сам. У меня просто не хватило смелости сделать это недвусмысленно, я оставлял за собой право на нелепый случай, на злую мстительность отпетых людей... Я предугадывал недовольство таким финалом и обставлял его всякими возможностями как-нибудь это потом «объяснить». Объяснять тут нечего: дальше — в силу собственных законов данной конкретной ду*ши*— жизнь теряет смысл. Впредь надо быть смелее. Наша художническая догадка тоже чего-нибудь стоит».

Действительно, художническая догадка чего-нибудь да стоит, только не всегда нужно соблазняться собственной смелостью. Возможно, Шукшин-писатель смог бы не прибегать к «нелепому случаю» и заставить своего героя «недвусмысленно» рассчитаться с жизнью, однако навряд ли Шукшин-актер принял бы такой «смелый» вариант, как не принял он, скажем, варианта сдержанного поведения героя после его визита к матери. И дело здесь вовсе не в недостатке смелости, а в тех «собственных законах данной конкретной души», о которых и говорил сам Шукшин.

В тот трагический день, когда мать и сын расстались навсегда, они, по сути дела, повязали себя единой судьбой: вина матери породила впоследствии вину сына, а вина сына усугубила чувство собственной вины матери, и в конечном итоге вину сына определило вот это чувство вины матери перед двумя детьми, которых в трудный час она отправила на сторону.

Надо думать, несчастная Куделиха не сделает ничего такого, что как-то сможет приблизить ее кончину, но в то же время она должна принять смерть как освобождение от тяжелых душевных мук. Еще менее вероятным кажется прямое («недвусмысленное») самоубийство Егора Прокудина, предполагавшего, между прочим, что жизни без мук не бывает. Так, после освобождения из заключения он скажет шоферу такси: «Видишь ли, малыш, если бы я жил три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, другую — отдал бы тебе, третью — прожил бы сам, как хочу». То есть Егор Прокудин, напротив, полагал, что человек должен нести ответственность за все им содеянное: на каждое преступление жизнь должна отвечать наказанием. Собственно говоря, он так и жил: совершал преступления и за это расплачивался несвободой. Но вот кто его теперь может наказать за самое тяжкое преступление — преступление перед матерью. Только он сам. А как?

Не следует думать, будто Прокудин совершенно осознанно искал смерти. В то же время заметим, что полная утрата интереса к собственной судьбе лишала его той способности бороться за жизнь, которая была у него развита до предела. (Вспомним, например, как он лихо, прямо-таки играючи, ушел от погони.) Как-то он сказал Губошлепу: «Когда-нибудь ты не успеешь сунуть руку в карман». Однако в жизни получилось наоборот: «не успел сунуть руку в карман» именно он — Егор Прокудин, хотя у него и лежал в кармане прихваченный им гаечный ключ, которым он не воспользовался.

И тут важно было показать не сам факт самоказни, а то душевное состояние героя, когда он впервые перестал бороться за собственную жизнь, то есть состояние, когда смерть кажется избавлением от чего-то такого, что страшнее самой смерти. В данном случае смерть — как освобождение от тяжкой вины. Это состояние, конечно, было временным, но автор «поймал» тот момент, когда способность героя к самосуду, к самоказни достигла своей кульминации и тем самым характер героя обнажился до крайних своих пределов.

Жизнестойкость и жизнеспособность Прокудину обеспечивала до поры определенная жизненная концепция, пусть и ложная. Это концепция, как мы уже отмечали, была к этому моменту полностью разрушена. И новая жизнь Егора Прокудина могла состояться лишь в том случае, если бы он сумел выработать новую концепцию жизни. Но Шукшин вовсе не исповедует принципа *всепоправимости.* Дескать, человек в любой момент может направить свою жизнь по собственному

усмотрению — стоит только захотеть. Мы хорошо знаем, как с годами убывают физические силы, но ведь и силы духовные, нравственные не безграничны, и порой случается, что даже при большом личном желании у человека не хватает внутренних ресурсов начать новую жизнь. Во всяком случае, В. Шукшин показал, как трудно эту новую жизнь начинать.

Некоторых смутило то обстоятельство, что Шукшин сделал своего героя преступником. Но, как мы уже говорили, самой большой условностью в произведении как раз является то, что Егор Прокудин — преступник. Не случайно же Шукшин ни слова не говорит о самих преступлениях Прокудина. Даже когда Прокудин уходит от погони, он ни в чем не виноват, то есть в данном случае он был причастен к людям, совершившим преступление, но не к самому преступлению. Егор Прокудин, так сказать, преступник абстрактный, условный. Да и «малина» в фильме, как это уже было нами отмечено, условна, даже подчеркнуто условна, потому как произведение Шукшина вовсе не о преступнике и «малине», а совсем о другом — об «истории души» человека, а если и о «малине», то о «малине» вообще.

«Малина» — это соблазн легкой жизни, подстерегающий не только тех, кто в силу каких-то обстоятельств вступил на откровенно преступный путь, а почти каждого. Возьмите, к примеру, то же искусство. Разве мало в нем таких, кто в погоне за легкой и «сладкой» жизнью разменял свой талант, предав себя и искусство? Посмотрите как следует, и вы здесь тоже обнаружите «малину».

Вообще, в «Калине красной» немало условного, абсолютно конкретны в ней характеры главных героев, мотивированные психологически, нравственно, социально, исторически. В «Дон Кихоте» тоже достаточно условностей, однако это обстоятельство не загораживает от нас конкретного характера самого героя, настолько емкого, что даже столетия не выветрили его обобщающего содержания. И мы мало что поймем в «Калине красной», если станем смотреть на нее только как на произведение про преступника и на его несостоявшуюся «перековку».

Я понимаю, здесь может возникнуть очень резонный вопрос: «Если Шукшин не собирался показывать преступника, то зачем же он наделил своего героя судьбой преступника?» Вероятно, Шукшина интересовал именно такой характер, который очень остро бы реагировал на различные обстоятельства жизни и в своих крайностях достигал бы каких-то край-

ностей в своей судьбе. Будь автор «Калины красной» немного постарше, и он наверняка провел бы своего героя через непосредственные испытания войной, фронтом, но Шукшин и его герой принадлежали к поколению, у которого было «трудное военное детство», и Шукшин через судьбу и характер своего героя раскрыл жизненный смысл этого определения.

Когда-то нас чрезвычайно обеспокоила тема «отцов и детей». Что ж, Шукшин раскрыл ее, по-моему, очень верно. Действительно, эта проблема не была для нас посторонней: «четвертое поколение», по сути дела, выходило на самостоятельные дороги жизни преждевременно, на свой страх и риск, лишенное столь необходимой нравственной поддержки и опоры отцов, которых забрала война.

По-своему раскрыл Шукшин и тему деревни. Только вот березки тут ни при чем. Обратите внимание, что в каждом своем обращении к березкам Егор Прокудин называет их невестами, а ведь подумать только, — столь сильный, смелый и дерзкий сорокалетний человек никогда в жизни не имел *невесты.* Эти сцены в повести и в фильме самые заветные для героя.

В небольшом произведении удивительно органично в судьбах героев сплетаются многие темы и проблемы, волновавшие нас на протяжении последних десятилетий, что и делает «Калину красную» выдающимся произведением современной отечественной литературы.

Вот теперь, пожалуй, я только и возьмусь ответить на вопрос: «Почему нас так уязвило произведение Шукшина?», не вкладывая в слово «уязвило» непременно отрицательного смысла.

Во-первых, в судьбе Егора Прокудина мы почувствовали что-то и от своей судьбы, особенно люди «четвертого поколения», у которых было «трудное военное детство». Слишком многим из них война сломала реальные жизненные планы, а порой и судьбы, не позволив в дальнейшем полностью себя реализовать. И главное, тут не свалишь все на обстоятельства — было же время наверстать упущенное, что-то поправить, но... кто ж знал наперед, что годы пролетают так быстро. Эх! если бы начать жизнь сначала... Но сначала жизнь начать нельзя, что как-то по-особому подчеркнула судьба шукшинского героя. В его глазах как бы прочитывалось слово — *поздно.*

Во-вторых, уязвила нас Люба Байкалова — простая деревенская женщина. Не знаю, было бы лучше самой Любе, получи она образование и стань, к примеру, врачом или учителем, но знаю наверняка, что остальным стало бы лучше, намного

лучше. Когда я теперь смотрю на некоторых женщин-врачей или женщин-учителей, то слишком часто одолевает желание увидеть на их месте Любу Байкалову. И, вероятно, не только те, кто во хмелю чаще всего повторяет известное словосочетание «Ты меня уважаешь?», посмотрев этот фильм, с горечью подумали: «Встреть я подобную Любу, не растранжирил бы ни совесть свою, ни дарование». После такого фильма многим захотелось поговорить о самом сокровенном, хотя бы... с самим собою. А некоторые умные люди, особенно из тех, что любят давать советы и учить других — как жить, вдруг почувствовали, что для такой миссии в первую очередь нужно иметь умное сердце. И особенно Люба уязвила тех из них, кто попытался оспорить последнее обстоятельство.

Русские писатели создали удивительную галерею замечательных женских характеров. Думается, Люба Байкалова займет прочное и почетное место в этой галерее. И пусть нас не смущает то обстоятельство, что Люба Байкалова слишком уж «проста». «Чем элементарнее, первичнее характер, — говорил Ипполит Тэн, — тем шире его влияние. А чем шире его влияние, тем он более устойчив». Элементарен характер пушкинской Татьяны, элементарен характер шолоховской Аксиньи, а вот полностью их исчерпать мы не можем и до сих пор.

В-третьих, нас уязвили некоторые элементарные, но вечные вопросы, а вернее, та пронзительность, с которой поставил их Шукшин. У всех у нас есть матери или были, и у многих у нас есть перед ними вина, но далеко не каждый определил вот так масштаб собственной вины, как это сделал герой Шукшина.

Не мог не задеть и вопрос о «малине», если это слово толковать достаточно широко. Каждый ли нашел мужество отстоять себя, свой характер от диктата «малины», и каждый ли почувствовал, что «малина» не есть норма жизни, а есть страшное ее искажение?

Со страниц повести обратился к нам с исповедью человек, ища у нас не только сочувствия или даже сострадания, но и нашего понимания его потребности в этой исповеди. И Шукшин-художник не то чтобы сказал о себе и о нас правдивое слово, он сказал *истинное* слово, побуждающее не к молчанию, а к самовыражению, к самовысказыванию, потому-то и вызвал его фильм столько споров и разговоров, а если мы внимательно к ним прислушаемся, то поймем, что говорим *о себе.*

У человека есть какая-то изначальная потребность в самовыражении, в самовысказывании. Время меняло только

формы самовысказывания, но сама потребность в нем никогда не угасала. И в этом отношении последние два-три столетия оказались ужасно «говорливыми». Никогда прежде человек так много не говорил. Собрания, встречи, дискуссии, обсуждения, беседы, заседания, бесконечные разговоры дома, в дороге, в очереди, на службе, короче, повсюду, где только человек оказывается не один. И это не дурно, не хорошо, это всего лишь факт, который не может быть оценен ни с положительной, ни с отрицательной стороны. Вероятно, человек Средних веков просто пришел бы в ужас от нашего повседневного быта с его беспрерывным говорением. Но что изменилось с тех давних пор? Лишь форма самовысказывания, но вовсе не потребность в нем. Человек целостного религиозного миросозерцания — человек Средних веков — не менее нас нуждался в самовысказывании, но у него на то был постоянный и неизменный «собеседник», к которому он мог обратиться в любой час и в любом месте, и этим собеседником был для него — бог. В те времена человек был менее свободным, но более независимым: и в горе, и в радости, и в поисках помощи или спасения он обращался к богу. И даже в присутственном молельном месте человек искал не общения с людьми, а лишь единения с ними в вере. Любая общность людей могла тогда возникнуть только на почве единоверия, ибо для того, чтобы вести диалог с себе подобным, непременным условием должен был быть другой диалог: каждого с единым богом.

Теперь мы ищем «собеседника» не на небе, а на земле, среди себе подобных, и помощи, и спасения мы ждем от тех, кто окружает нас в нашей же действительности. Поэтому мы так много и говорим. В общественном отношении современный человек развит неизмеримо выше, допустим, того же человека Средневековья, отсюда и наша взаимная зависимость друг от друга, отсюда и наша потребность не только в личном, но и в общественном самовысказывании; поколение или народ в целом точно так же, как и отдельная личность, ищут *слова,* чтобы высказать себя, потому-то в последние столетия так и возросла роль художника, роль искусства в повседневной и в исторической жизни человечества. И еще возросла ответственность художника, на которого мы, вероятно, не случайно распространили звание творца. Высший предел ответственности каждый художник устанавливает для себя сам, в чем и заключается истинная свобода творчества, и пример Василия Шукшина лучшее подтверждение тому, как высок может оказаться этот предел в наши дни.

Возможно, *придирчивый* читатель, перевернув последнюю страницу, скажет, что разговор вроде бы оборван, и выразит свое недоумение по поводу того, что оборван он именно на Шукшине...

Да, действительно, разговор не завершен, но не завершен он потому, что завершить его никак не возможно. Я пытался анализировать не какое-то отдельное литературное явление, а литературный процесс в его движении, не имеющем ни начала ни конца... Разумеется, всегда можно установить для себя исходный рубеж, а вот как установить окончательный, если движение продолжается?

К примеру, когда работа над рукописью подходила к концу, в свет вышел роман Юрия Бондарева «Берег». Признаюсь, тогда у меня возник соблазн включить и это произведение в настоящий разговор, однако где была гарантия, что потом не появились бы новые соблазны?

И все-таки, надеюсь, книга завершена*. Исходным рубежом послужил для меня разговор об «исповедальной» прозе и «четвертом поколении», предпочтение которому я отдал лишь потому, что сам к нему принадлежу. Между прочим, к нему принадлежал Шукшин. «Исповедальная» же проза оказалась как раз менее всего исповедальной. Впрочем, она и не могла быть иной, поскольку тогда, в конце пятидесятых, наше поколение имело какие-то индивидуальные признаки, но еще не имело судьбы, а стало быть, и права на исповедь. Теперь наше поколение обрело содержание и для исповеди, и Шукшин, на мой взгляд, оказался наиболее к ней подготовленным. Потому-то заключающее книгу слово было именно о нем.

1978

---

* Речь идет о книге «Вопросы и время».

«ШУМА» НЕ БУДЕТ

Время может опровергнуть любой прогноз и любые доказательства в его пользу. «Настоящая мудрость, — писал когда-то В. Соловьев А. Фету, — состоит в том, чтобы, признавая права разума в теории, как можно меньше доверять ему на практике».

Однако это вовсе не значит, будто развитие литературного процесса или общественного сознания в целом не поддается изучению: мы можем точно уловить главную тенденцию времени и хотя бы в самых общих чертах определить смысл общественного прогресса на данном этапе. На рубеже двух десятилетий мы отдали большую дань различного рода прогнозам, что вполне естественно, когда наступает время подводить какие-то итоги. И если у нас обнаруживается большое расхождение в прогнозах, то причину этих расхождений следует искать в тех расхождениях, что возникли *при подведении итогов.*

Поэзия наша в ходе закономерного исторического процесса вырабатывала новое, более высокое прочтение Пушкина, невозможное в иных социально-исторических условиях. История отечественной поэзии послепушкинского периода характеризуется постоянным стремлением внести «гармонию пушкинских строк» в духовный мир современника, согласовать с ней внешний порядок мира. В иные времена мы приближались к желанной цели, в иные цель эта отдалялась от нас, но никогда не исчезала с нашего поэтического горизонта. «Нельзя сопротивляться могуществу гармонии, внесенной в мир поэтом: борьба с нею превышает и личные и соединенные человеческие силы», — говорил за несколько месяцев до смерти Александр Блок.

По-моему, Блок тут не совсем прав: могуществу пушкинской гармонии сопротивляться можно (и тому мы знаем немало примеров), но вот преодолеть его действительно нельзя, ибо это могущество вросло всей своей корневой системой в толщу народного сознания и было вызвано к жизни его духовными потребностями, так отчетливо пробудившимися после Отечественной войны 1812 года. И Пушкин — это не литературное чудо. Пушкин — это историческая закономерность, на столетия предопределившая наше духовное развитие.

Если говорить о великих пушкинских традициях, то, позволю себе думать, наши 60-е годы представляют необычайно интересное явление.

В первый год нового десятилетия журнал «Вопросы литературы» вновь затеял дискуссию о современной поэзии, и в центре ее пока оказалась не сама поэзия, а наши разногласия и расхождения в ее оценке. Видимо, выработать общие или хотя бы схожие критерии — дело отнюдь не такое уж простое, во всяком случае, пока мы заняты по преимуществу выявлением этих разногласий и расхождений.

Читая статьи Л. Аннинского «Атака стилем» («Комс. правда», 1970, 17 октября), В. Кожинова «Новое поэтическое поколение» («Вопр. лит.», 1970, № 7), Ал. Михайлова «Есть о чем поспорить» и В. Огнева «Литературные поколения и движение времени» («Вопр. лит.», 1970, № 11), можно подумать: поэзия — это единственное, что сохранило путь развития, а все остальное, давно окаменев, приняло свою окончательную форму. Лев Аннинский то ли вселяет надежду, то ли стращает нас новым близким «шумом» в поэзии, когда пишет: «...На рубеже 70-х что-то изменилось, и самоуглубленный Кушнер понял: надо рисковать, надо идти вперед, не сберегать, а тратить энергию... Похоже, что тишина в нашей поэзии кончается». Возможно, «тишина» в нашей поэзии и кончается, только напрасно критик ставит грядущий «шум» в зависимость от желания (воли) только одного человека.

С тех давних пор, как только Л. Аннинский печатно заявил, что «хороших стихов много, поэта — нет!», я непрестанно терзаюсь вопросом: «А кто же пишет эти хорошие стихи?» Правда, Л. Аннинский в предвидении моих, что ли, терзаний бросил тогда мимоходом такую фразу: «Логика бунтовала: как это так — стихи есть, поэта нет...» Но эта фраза ничего не меняет, и я считаю, у логики были резоны бунтовать, но не ведаю, какие у Аннинского были резоны ее игнорировать. Он весело обрушивал на нас парадокс за парадоксом, видимо, думая, что таким образом можно как-то прояснить суть важных проблем.

«Поэзия разлита в воздухе. Поэта нет!» — ликовал Аннинский.

«Кем был Пушкин для эпохи декабристов? Некрасов для шестидесятников? Маяковский для молодых наших отцов?» — вопрошал Аннинский.

«От прошлого столетия остался нам загадочно-прекрасный термин: властитель дум», — констатировал Аннинский.

Оставим пока в покое XIX век и обратим взор к нашему столетию, а то впопыхах, чего доброго, всю историю литературы уложим в один афоризм. Я нисколько не покушаюсь на авторитет Маяковского, но сбрасывать Есенина со счетов времени наших в ту пору молодых отцов все же как-то не решаюсь. Тем более не собираюсь противопоставлять его Маяковскому, ибо мною руководит совсем иная мысль: просто хочется сказать, что не следует упрощать историю, а упростив ее на свой лад и вкус, вгонять в мертвые догмы живую современность.

Аннинский тоскует по «властителю дум», по этакой коронованной поэтической особе. Итак, один поэт — один певец, остальные только перепевают спетое или допевают недопетое.

Мне кажется, Л. Аннинский не совсем здесь уловил дух новой эпохи. В XX веке у нас очень многое перевернулось, и перевернулось весьма внушительно, чтобы все противоречия и тенденции нового времени смогли воплотиться в единой поэтической личности, даже если эта личность и очень сильная. Такая монополизация поэтической власти в столь сложных исторических обстоятельствах мне представляется крайне нежелательной.

Не стану напоминать Аннинскому, в какую философскую систему он время от времени углубляется (Аннинский человек начитанный — сам поймет), но, должен сказать, верить в его прогнозы я разучился с тех самых пор, как устал ждать «шума» в драматургии, обещанного им лет семь-восемь назад. Это-то и утешает. За самого Аннинского беспокоиться нам не приходится, так как его уникальная способность одновременно «исповедовать» несколько философских систем гарантирует то, что ни одна из них в отдельности ему не угрожает.

Вадим Кожинов, чьи статьи я, равно как и остальные его нынешние оппоненты, всегда читаю с большим интересом, завел на сей раз какой-то вялый разговор, однако и его достало, чтобы не на шутку рассердить Ал. Михайлова и В. Огнева. Однако вместо опровержения каких-то отправных положений кожиновской статьи они с таким энтузиазмом стали обвинять самого Кожинова, что на остальное у них энтузиазма уже не хватило.

Несколько лет назад В. Кожинов в одной из дискуссий обезоружил своих оппонентов приемом, который если и не отличался особой научной точностью, то отличался новизной и неожиданностью. Тут имеется в виду бездоказательное зачисление Евтушенко и Вознесенского в разряд беллетристов,

дескать, к творчеству которых нужно применять иные, чем к творчеству поэтов, требования.

Можно как угодно отнестись к тому или иному произведению Передреева или Вл. Соколова, Куняева или Кушнера, Фирсова или Вознесенского, Чухонцева или Чуева, но мы не имеем права «без следствия и суда» (ради точности я умышленно изменил здесь привычный порядок слов) отлучать кого-либо от поэзии. Если мы, критики, под каким угодно предлогом освободим себя от сложного труда анализировать произведения и займемся необременительным трудом группового отлучения, то, боюсь, мы не преумножим свой авторитет.

Теперь В. Кожинов повторил свой прием, но в повторении прием потерял свои преходящие достоинства, но не потерял, к сожалению, остальных своих качеств. Пока Кожинов «обвинял»— он был почти неуязвим, но вот как только он стал утверждать в поэзии новые имена (а этого часа, нужно думать, только и ждали), то по его же «методе» имена эти (оптом) были зачислены в разряд беллетристов (в этом значении употреблялись термины и менее научного звучания), а дело довершил жест наигранного удивления: «А мы-то думали, Кожинов за высокое искусство!..»

В сложившейся ситуации считаю бесполезным защищать как Вознесенского, Евтушенко, так и тех, кого «выдвигал» Кожинов (между прочим, Огнев так и не рискнул назвать поименно «тех»— понимал, что сразу же выдаст себя с головой).

И второе, от чего хотелось бы себя отлучить. Это от той неожиданной страсти к камеральным наукам, что пробудилась в какой-то мере в Кожинове и в полной — в Аннинском. Последний превратил поэтов прямо-таки в чиновников по казенным имуществам: один ведает департаментом по возрождению интонации философской лирики (точнее, вдвоем — Соколов и Жигулин), другой хлопочет по части накапливания мыслей об историческом прошлом (Сидоров), третий возглавляет ведомство, решающее проблемы, связанные с возвращением на родину «блудных сынов» (Рубцов). Все разделено, разграфлено, предусмотрено: чиновник по «крестьянским» делам, «городским», «интеллектуальным» и т. д. Ну, не действительность русской поэзии, а Германия XVIII века, с ее научной регламентацией всей внутренней жизни! И по-моему, если так дело дальше пойдет, то усилиями Аннинского мы получим не скорый «шум», а затяжную «тишину».

Поскольку Кожинова обвиняют в «почвенничестве», то он, видимо, чтобы не разочаровывать своих оппонентов (гу-

манный человек — Кожинов) и не отрываться от «почвы» (что ему Германия!), приводит процесс развития поэзии в соответствие с отечественной действительностью. В начале десятилетия у него одни отвечали за деревню, другие — за город (прямо промышленный и сельскохозяйственный отделы), затем, в середине десятилетия, естественно происходит процесс слияния (все как в жизни!).

Возможно, и не стоило бы делать все эти оговорки, коль скоро меня не заводили бы под знамена Кожинова. Не скрою, многие взгляды Кожинова мне очень близки, но все-таки не все. И слишком уж неожиданный он человек: изобретет опять какой-нибудь «прием», а потом его же самого при помощи этого «приема» вместе со знаменами и теми, кто под ними окажется, вынесут за пределы литературного бытия. Кожинов в таком случае сможет утешаться хоть собственным изобретением, а мне-то чем в этом случае утешиться? Я за товарищескую солидарность, но против круговой поруки.

С Ал. Михайловым и В. Огневым расхождения у меня более серьезные и более принципиальные и на некоторых из них считаю себя обязанным остановиться. Оговорюсь. Спорить с ними мне лично очень трудно: они внесли в традиционную логику столько нового и оригинального, что, по сути дела, теперь в нашем обиходе оказались сразу две логики.

К примеру, В. Огнев обрушивается на гармонию. «О какой гармонии может идти речь, — очень патетично восклицает он, — если с экранов телевизоров смотрят на нас потрясенные глаза девочки из Сонгми, если радары суетятся как сумасшедшие (в поисках гармонии, что ли? — *А.Л.)*, если контейнеры с газом опускаются на дно океана, если в мире есть голодные, прокаженные, растлевающие и растлеваемые!».

Сегодня Огнев при помощи радаров и телевизоров обвиняет гармонию. Но заговори завтра о гуманизме... «О каком гуманизме может идти речь, — трубным голосом спросит нас Огнев, — если с экранов телевизоров...» Заговори о народности... «О какой народности может идти речь, если...»

Эта придумка похитрее кожиновской: о чем ни заговори — и ты в огневской «логической» ловушке.

По мысли Огнева, получается, что за все перечисленные злодеяния ответственность должны нести Пушкин и все последователи гармонии. Своеобразная, конечно, логика, на основании ее Огнев, поди, и считает, «что и в нынешнем и в прошлом веке В. Кожинова настораживает одно и то же качество — социальность, обращение к реальным заботам времени».

Не уверен, что именно это настораживает Кожинова, но меня настораживает желание Огнева навести тень на ясный день. Ведь не кто иной, как сам Огнев, на стр. 38 пишет: «Поначалу, не скрою, казалось: В. Кожинову просто не по сердцу поэзия общественно активная, он — сторонник философской, натурфилософской линии в искусстве, где идеология не играет преобладающей, явственно формообразующей роли...— а на стр. 44 он продолжает свое признание:— Сознаюсь, я довольно долго полагал, что В. Кожинов борется за большое искусство...»

Итак, традиционная логика подсказывает: пока Кожинов, по мнению В. Огнева, сторонился общественно активной поэзии и всякой идеологии, в это время он-то и боролся за большое искусство, а как перестал сторониться, так перестал бороться за большое искусство. Не знаю, перестал Кожинов бороться за большое искусство или не перестал, во всяком случае, на один авторитет Огнева мы тут никак положиться не можем, а потому этот вопрос пока оставим в стороне. Нам достаточно и того, что окончательно прояснился взгляд на большую поэзию самого Владимира Огнева, и не только на большую поэзию.

Признаю, что социальный анализ не самая сильная сторона кожиновского дарования, однако из этого вовсе не следует, будто Кожинов сторонник поэзии «золотых снов». В. Огнев также не блещет социальным анализом, если он в дачном пейзаже (стихи А. Вознесенского о велосипедах: «Большие, изумленные, глядят с земли. Над ними — мгла зеленая, смола, шмели») видит решение проблемы «город — деревня». (Оговорюсь: сам Вознесенский не должен нести никакой ответственности за подобную интерпретацию его стихов.) Однако из этого вовсе не следует, что В. Огнев поборник «дачной» поэзии, каковой, кстати, у нас, по-моему, и нет. Но вот когда он начинает прямо формулировать свои мысли, тогда мы имеем полное право делать столь же прямые выводы.

В. Огнев категорически заявляет: «А когда я слышу слово «почва», я почему-то думаю совсем не о том, о чем думают наши «почвенники», не о том, что в деревне все сплошь хорошие люди, а в городе — разложенцы («сплошь» — это сплошь огневская выдумка. — *А. Л.*), а о том, что и в деревне, и в городе надо ценить людей труда, носителей трудовой морали. Для меня самая высокая мораль — трудовая мораль пахаря и интеллигента, ученого и полотера. Здесь все просто в таком понимании». Я бы сказал, излишне просто, памятуя о том, что

простота не всегда есть добродетель. По сути дела, это и есть образец внесоциального подхода, образец того, как под «демократическим» соусом преподносится внеклассовая мораль.

Конечно, с точки зрения бытовой все и во всем равны: и хороший полотер, и хороший ученый, и хороший пахарь. Но ведь мы-то должны рассматривать явления не с бытовой, а с исторической точки зрения. Возьмем полотера и пахаря. Об интеллигенте и ученом говорить воздержусь: должен признаться, мне непонятна огневская мысль, исключающая ученых из рядов интеллигенции. (Или, согласно «новой» логике, теперь допустимо сопоставлять и противопоставлять родовые и видовые понятия?)

Итак, пахарь и полотер. Во-первых, без пахаря мы свою жизнь не можем-то и представить. Без полотера кое-как вообразить можем. Во-вторых, с пахарем связывается вся лежащая на исторической памяти борьба угнетенных с угнетателями и иноземными поработителями. Полотер — лицо в этом отношении внеисторическое. Пахарь, как, скажем, и кузнец, дал нам язык, культуру, цивилизацию, национальный характер, народный обычай, государство. У полотера заслуги тут несколько скромнее. Пахарь — представитель трудового класса, который имеет многовековые культурные традиции и многовековой опыт классовой борьбы. Полотер — лицо без этих традиций. Трудовая мораль пахаря не эквивалентна трудовой морали полотера. Первая мораль — мораль трудового класса, противостоящая морали класса угнетателей. Вторая мораль — в лучшем случае производная от первой.

Мне могут возразить: «О каких угнетателях вы говорите, когда Огнев имел в виду нашу советскую действительность? Опять вы ворошите столетия!» Ошибаетесь. В.Огнев давал универсальную формулировку, иначе, думается, он все-таки не забыл бы упомянуть в этом ряду представителя современного рабочего класса. Или... Нет, воздержимся от домыслов. А если даже брать и современность, то я готов написать исследование на тему «Роль пахаря в Великой Отечественной войне», оставив В. Огневу тему: «Роль полотера в Великой Отечественной войне».

Возможно, я несколько недооцениваю историческую роль полотера, но только потому, что нередко в своей жизни исполнял его обязанности, а пахаря — никогда. И я готов понять и извинить В. Огнева, если его жизненный опыт прямо противоположен.

Весьма похвально, когда критик заботится о своей репутации, поэтому считаю естественным и нормальным стремление Ал. Михайлова или В. Огнева заслужить репутацию передовых, прогрессивных литературных критиков, а если порой и впадаю с ними в полемику, то только в тех случаях, когда, на мой взгляд, они удаляются от собственных (а не чьих-то чужих) целей. Без понимания целей и намерений своего оппонента я никогда не берусь с ним спорить.

Почему мной оспаривается концепция «интеллектуальной поэзии»? Разумеется, вовсе не потому, что интеллект и интеллектуальное развитие считаю злом: я, так же как и Ал. Михайлов, считаю, что интеллект есть благо и, возможно, одно из высших проявлений общественного прогресса. Но я вижу, как удаляется от поставленной перед собой цели Ал. Михайлов, как он перестает служить интеллектуальному прогрессу, направляя свои усилия в противоположном направлении. Если бы Ал. Михайлов ставил перед собой иные цели, то я оспаривал бы цели, а не его концепцию и считал бы его литературным противником, а не своим литературным партнером.

Против концепции Ал. Михайлова приходится выступать потому, что эта концепция антиинтеллектуальна по своей природе. Возьмем только ее этическую сторону. Герберту Спенсеру принадлежит такая мысль: «Наши знания можно сравнить с шаром. И чем этот шар больше, тем больше у него точек соприкосновения с непознаваемым». Спенсер был агностиком, поэтому мы вместо его «с непознаваемым» подставим свое «с непознанным», чтобы ничто в этой формулировке не противоречило нашему материалистическому мировоззрению.

Итак, чем выше интеллектуальное развитие (думается, Ал. Михайлов согласится со мной, что оно прямо пропорционально развитию познания), тем выше чувство собственного «незнания», короче говоря, чем больше человек познает, тем шире для него горизонты непознанного. Кажется парадоксально, но большой ученый всегда «не знает» больше, чем школьник. Поэтому когда начинают толковать о собственной интеллектуальной исключительности, то это первый и верный признак проявления антиинтеллектуализма. Сведущие люди говорят, будто концепция «интеллектуальной поэзии» отражает взгляды современного «просвещенного» мещанства. Возможно, но мне важно было выяснить не то, чьи взгляды отражает эта концепция, а то, чьи взгляды она не отража-

ет, так как нас с Ал. Михайловым больше интересует подлинно интеллектуальный современник, а не мещанин, даже если он и дипломированный.

Возможно, что и Ал. Михайлов, и даже В. Огнев субъективно стремятся к тем же целям, что и мы с В. Кожиновым или Л. Аннинским: все мы радеем за нашу литературу; правда, иногда мы все-таки склонны преувеличивать степень собственного участия в общественном прогрессе, что, естественно, не приносит пользы ни литературе, ни общественному прогрессу.

Разумеется, приятно чувствовать себя меценатом: ты заботишься о талантах, как говорится, пестуешь их и лелеешь. Еще приятнее чувствовать себя меценатом «духовным»— тут уж и на тебя невольно падает подозрение в талантливости, а уж о взглядах, что они передовые, и говорить не приходится. «Разговор о таланте, об отношении критики к поэзии как делу таланта — очень назрел», — приглашает нас к беседе В. Огнев и делает ряд очень ценных признаний. «Нельзя думать, — пишет он, — что крупные поэтические индивидуальности, нравятся они кому-то или не нравятся, существуют сами по себе, а так называемый «процесс» поколения и т. п. существуют поверх них или рядом с ними. Так не бывает. По достижениям ведущих и влиятельнейших фигур и прочерчивается линия развития поэзии. Из ста двадцати «гуриев Сидоровых» и «власовых-окских» нельзя сделать одного Маяковского или Есенина»... «Появление нового в поэзии всегда чревато изменением всей системы координат, принятых и освященных рутинным вкусом. Поэзию делают таланты. Потом их объясняют и истолковывают, принимая в Пантеон славы. Видимо, тут ничего не поделаешь».

И не надо тут ничего делать, не надо делать вид, будто у тебя абсолютный вкус, не надо узурпировать право производить в «генералы» и при жизни раздавать ордера на места в Пантеоне славы, так как эти заботы не имеют ничего общего с заботой о поэзии.

Однако допустим, что у В. Огнева абсолютный вкус и для него так же просто отличить талант от неталанта, как нам запах нашатырного спирта от запаха яблочного пирога. Но нас сейчас заинтересовал не вкус В. Огнева, а его миросозерцание и то, какая философская система лежит в основании последнего, а она очень отчетливо проступает в только что приведенных его рассуждениях о природе таланта.

В. Огнев да и некоторые другие критики упрекали меня за то, что я осмеливаюсь мыслить целыми столетиями. Пусть я навлеку на себя еще больший гнев моих оппонентов, но что поделаешь, если иногда появляется необходимость обращаться не только к столетиям, но и к целым историческим эпохам, включающим в себя по нескольку столетий. Попутно опять придется говорить об античности, цельности миросозерцания и гармонии духа, поразивших слух моих оппонентов.

Конечно, античное наивно-чувственное целостное миросозерцание не есть что-то застывшее и неподвижное в длительной истории греческого античного мира, оно проделало сложный путь (со многими регрессами), и конечный пункт его был прямо противоположен исходному, но, так или иначе, если мы возьмем главную тезу этого миросозерцания (к которой стремились или от которой устремлялись в ходе эволюции представления античного человека) , то это был культ самого человека (природы, естества), и гармония духа была следствием примирения человеческого и божественного по линии их сближения, когда естество носило божественный характер, а божество — естественный. И недаром Гераклит называл людей смертными богами, а богов бессмертными людьми.

В результате последующей борьбы и эволюции, когда уже новое миросозерцание пришло в соответствие с новыми социально-историческими условиями, утвердилось иное целостное миросозерцание, прямо противоположное античному с его культом красоты. Религиозно-аскетическое миросозерцание утверждало совершенно иные принципы. «Как выжженное тавро обличает беглого раба, так цветущее красотой лицо выдает блудницу», — повторяли Средние века слова древнехристианского аскета Климента Александрийского. На смену культу человека пришел культ личности, но личности трансцендентной, то есть бога.

Саморазложение аскетически-иерархической системы Средневековья началось, естественно, еще в недрах самого средневековья, но когда ей были нанесены решающие удары (Реформация и Ренессанс), то пришлись они как раз по главным центрам этой системы. В конце концов на смену целостному миросозерцанию Средневековья пришло «разорванное» миросозерцание эпохи капитализма. С развитием капитализма отрицался прежний способ производства, разрушалась вся прежняя надстроечная его часть: целостность миросозерцания, целостность человеческого сознания и т. д. На смену им приходили все возрастающая специализация наук и все боль-

шая и большая «разорванность» человеческого сознания, на смену культу трансцендентной личности пришел культ личности мирской, отсюда начинается философия культа сильной личности, теория «героя и толпы».

Мне понятно желание людей быть или хотя бы слыть передовыми, прогрессивными деятелями своего времени. Но неужели В. Кожинов (по словам В. Огнева, «умный и образованный литературовед») желает быть консерватором и реакционером, неужели ум и образование возбуждают такое желание? (Это касается и многих его сторонников.) Вероятно, когда Ал. Михайлов, В. Огнев и их сторонники постараются выяснить цели и намерения В. Кожинова и увидят, что их оппонент никогда не претендовал на звание консерватора да и никогда им не был, то они, возможно, искренне удивятся, а удивившись, наконец-то поймут, в каком столетии они живут. Когда это случится, не знаю, но рано или поздно случится. Для Ал. Михайлова и В. Огнева лучше, если все-таки рано. У них тогда еще останется время признать свои ошибки. Ал. Михайлов уже сейчас зовет к этому; правда, себя он считает пока безгрешным (святая вера!). Ничего, время и тут внесет свои коррективы. Л. Аннинский прав, говоря, что поэт Кушнер самоуглубляется, только, по-моему, сейчас не он один впал в это состояние.

Теперь, когда мы сделали небольшой экскурс в историю и кое-что выяснили, вернемся к «теории» В. Огнева о природе таланта. «Поэзию делают таланты... крупные поэтические индивидуальности» стоят над «процессом». Линия развития поэзии прочерчивается «по достижениям ведущих и влиятельнейших фигур» и т. д. Но ведь талантливыми бывают не только поэты, но и политические деятели, порой даже императоры бывают талантливыми — Наполеон, например. «Из ста двадцати «гуриев сидоровых» и «власовых-окских» нельзя сделать одного Маяковского или Есенина». Из ста двадцати Пьеров и Жаков тоже не сделаешь Наполеона, а из такого же количества Иванов и Власов — Петра Великого. Однако историю делают Жаки и Иваны, Пьеры и Власы, а не Наполеоны и Петры Великие. Историю делают народы, а не личности, хотя на гребне ее видны личности. Роль личности в истории велика, но решающую роль играют народы. В истории духовной жизни нашего народа велика роль Пушкина и Маяковского, Некрасова и Есенина, Тютчева и Блока, они не случайно оказались на гребне той волны, которую мы зовем духовной жизнью народа, но все-таки волна создает гребень, а не наоборот.

История оставляет имена как вехи, но жизнь заполняет все пространство, вехи нас приближают к этой жизни, дают нам ориентиры; приблизившись же к жизни и изучив ее, мы только тогда начинаем правильно понимать и значение каждой вехи. Изучать же одни вехи — пустое занятие.

«Тут уж имена делаются случайностями, и только духовный смысл общих движений и проявлений получает истинную важность. Говоря практически, мы скажем, что в истории мы ищем самого начала человеческого рода, в надежде найти ясное слово об его первоначальном братстве и общем источнике». Если подобные мысли утверждал сто с лишним лет назад А. Хомяков, которого иные считают реакционером, то как же мы тогда должны назвать сегодня некоторых наших «передовых» мыслителей, придерживающихся точки зрения, что не только история, но и само развитие прочерчивается только по «достижениям ведущих фигур»?

Я не стану делать никаких выводов, не стану делать тех неприличных намеков, которыми почему-то опять стали злоупотреблять некоторые мои коллеги, хотя бы уж потому, что не хочу увеличивать конкуренцию там, где ее вообще не должно быть. Миросозерцание не передается по наследству и не вручается вместе с дипломом, оно вырабатывается каждым индивидуально в соответствии с общим развитием общественного сознания. Противоречия в жизни отзываются противоречиями в сознании. И трудности внутренней борьбы каждого из нас не уменьшатся, если мы станем уповать только на воздействия внешнего характера.

Что же касается «чисто» поэзии, то, мне кажется, общее ее развитие не должно вызывать никакого беспокойства, оно проходит в полном соответствии с развитием нашей жизни. Самоуглубился Кушнер? Вероятно. В таком случае не нужно его соблазнять «шумами», ибо «шум» сейчас не получится, получится один конфуз. В истории также нет «пауз», история развивается всегда, а отсутствие «шума» — это не есть «пауза». У нас еще до сих пор обвиняют некоторых поэтов в том, что они «создали» «эстраду». И опять необоснованное обвинение. Жизнь в свое время создала «эстраду», «эстрада» создала своих поэтов, но поэты вовсе не были злоумышленниками — они с «эстрады» служили времени. Беда некоторых из них в том, что они поверили, будто «эстрада» вечна, как жизнь, а некоторые критики с ненужным старанием укрепляют их в этом мнении.

По-моему, беда некоторых поэтов и критиков заключается в том, что они в свое время слишком уж фундаментально уселись на «эстраде», как на троне, забыв, что сидя нельзя идти, а жизнь-то — она идет, и довольно быстро.

Прижизненное производство в «классики», строительство Пантеонов славы, возведение пьедесталов — все эти атрибуты (как сказал бы Л. Аннинский — аксессуары) соответствуют определенному миросозерцанию и определенной философской системе, но последние уже не соответствуют духу времени и живому процессу развития нашей поэзии, а поэзия наша вместе с Кушнером самоуглубилась, как сказал тот же Аннинский. Я верю в его констатацию фактов, хотя и не верю в его прогнозы. Это тоже диалектика.

1970

ПОЭТ И ПРИРОДА

Памяти Николая Рубцова

> О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
> В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
> Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
> Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
>
> *Н. Рубцов*

В наш нервный век, век исторических потрясений и фантастических научных открытий, когда необычное то и дело становится обычным, а воистину обычное делается необычным, когда мы все больше и больше сторонимся бесхитростных слов и простых понятий, когда мы теряем вкус к вечным вопросам бытия и порой приходим в восторг от всепоглощающего разнообразия быта, настоящий поэт возвращает нас к первозданным связям человека, нарушение или забвение которых может привести человечество к последствиям сколь неожиданным, столь и нежелательным. И не потому ли мы так единодушно откликнулись на простые слова вологодского поэта Николая Рубцова, сложившиеся в высокий гимн «Звезде полей»?

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...

Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...

Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.

Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

У Николая Рубцова трудно найти стихотворение, в котором бы отсутствовал образ родной природы, и в то же время пейзаж как таковой почти отсутствует в его стихах. Несколько лет назад другой поэт (Анатолий Передреев) не без уместной горечи писал: «Я видел, как скудеют чувства, мертвеют краски и слова, когда отдельно от искусства горит закат, шумит листва. Когда — была такая мода — живут, друг другу не служа, поэт отдельно и природа, отдельно книга и душа...»

И не потому ли, что у нас слишком часто поэты «живут отдельно» от природы, а книги — от души, нас неодолимо тянет к великим творениям прошлого, в которых мы находим так нужное нам единство художника с природой, книги с душой? И не потому ли нас так радуют стихи наших современников, когда мы обнаруживаем в их произведениях тягу к этому единству? Однако, чтобы служить истинному прогрессу, недостаточно одного желания или намерения и уж тем более расчетливого соображения.

Нынче мы с успокоением можем сказать, что природа возвращается в нашу духовную жизнь из принудительной «эмиграции». Между тем не все так просто, и порой под видом органического воссоединения можно узреть лишь механическое присоединение, когда поэт и природа по-прежнему «живут отдельно», лишь сократив между собою расстояние. Отсюда появилась та суетливая торопливость, с которой иные поэты начинают «венчаться» (явно не по любви, а только в силу нервного возбуждения) с кудрявыми березками; та исступленная пляска по необъятным русским просторам, слишком громкое ауканье в молчаливых русских лесах и бесцельное плутание по бесконечным русским дорогам и тропам, поддельный культ природы с языческим восторгом перед каждым вещным ее атрибутом. Но тут все раздроблено, растащено по разным углам, поставлено на службу своим утилитарным целям, и даже поэтическое слово *березка* порой звучит паролем, скликающим единоратников. Самоценность же природы в ее нерасторжимости и цельности, в ее вечной сопричастности к духовному бытию человека, в любом ином случае (и в этом, разумеется, нет ничего дурного, если это не касается *поэзии*) она лишь кладовая материальных ценностей, источник и причина нашего физического бытия. Поэтому я отрицаю умышленную пейзажную лирику, функциональное назначение которой — эстетическое идолопоклонство.

Новое — это еще не значит истинное. Но настоящий поэт — всегда новатор. Настоящий поэт рождается, чтобы

сказать недостающее Слово, выразить им целый мир мыслей, своим поэтическим предчувствием «приблизить» будущее, озарить его светом сегодняшний день.

Николай Рубцов вошел в поэзию незаметно, и вскоре появилось такое чувство, будто в поэзии и в жизни он был всегда. Я легко, например, воскрешаю во многих подробностях события десятилетней давности, но никак не могу представить себе собственное состояние, когда во мне не звучало: «Школа моя деревянная!.. Время придет уезжать — речка за мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь». Или: «Рукой раздвинув темные кусты, я не нашел и запаха малины, но я нашел могильные кресты, когда ушел в малинник за овины... Там фантастично тихо и темно, там одиноко, боязно и сыро, там и ромашки будто бы не те — как существа уже иного мира...»

Мне представляется, что и судьбу-то своей Родины я понимал неполно без таких слов:

...Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и долы
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на черных флагах крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов
в окрестностях России.
Кресты, кресты...

Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.
Заржут они — и где-то у осин
Подхватит эхо медленное ржанье,
И надо мной —
бессмертных звезд Руси,
Спокойных звезд безбрежное мерцанье...

Я уже говорил, что у Николая Рубцова нет пейзажа, когда тот служит лишь приметой времени или места, усиливая определенное настроение, соответствуя ему или контрастируя

с ним. У Николая Рубцова наблюдается как раз то единство с природой, когда природа дает самочувствие вечной жизни, определяя нравственную меру вещей и явлений. Кстати сказать, если мы считаем природу источником и причиной нашей физической жизни, то есть ли у нас основания искать источники и причину нашей духовной жизни непременно за пределами той же самой природы?

Помнится, еще не в столь забытые времена, когда упорство консервативного мышления не позволяло нам преодолеть старый предрассудок, будто природа наш изначальный и вечный враг (и с ним человечеству на роду написано бороться и бороться), сближение художника с природой толковалось порой как удаление от жизни, от современности.

Иногда в доброй наивности пытались «осовременить» природу: если *лес*, то на фоне его непременная электропила или что-нибудь в том же роде, если *степи и поля*, то на их фоне — «стальные трактора». И хотя одно вовсе не противостоит другому, соседство их скорее подчеркивает преходящность одного из них. Представьте себе, вы смотрите картину 30-х годов, на ней изображены поле и работающий на нем трактор — художник решил «осовременить» пейзаж. Но вот что любопытно: пейзаж не устарел и по сей день, а трактор устарел, и на это вы сразу же обратите внимание. Конечно, и трактор может стать предметом художественного изображения (когда в нем заключена какая-то самостоятельная идея, например первый трактор в деревне), но осовременить природу ничто рукотворное не в состоянии, чаще даже наоборот, ибо природа всегда современна.

Допустим, нас может по-настоящему взволновать памятник Пушкину, однако гораздо больше непосторонних чувств способны вызвать «пушкинские» места*. Где-нибудь на нетронутом берегу моря в нас невольно звучат строки: «Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной...» А тихий ночной час пробуждает уже другие звуки: «В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом...» И будто не отделяют нас от Пушкина и Лермонтова многие десятилетия... И когда-нибудь наш далекий потомок, сидя на берегу Катуни или какой другой реки, вдруг «услышит» в себе рубцовские строки:

* Под «пушкинскими» местами подразумеваются здесь не только те места, что посетил наш великий поэт, но и те, что он воспел в своем творчестве.

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И все глядел, задумчив и угрюм,

Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев ее былинный...

Катунь, Катунь — свирепая река!
Поет она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы, —
Они топтали эти берега!

«Эти берега» топтали скифы, нынче их топчем мы, а пройдут десятилетия — и их будут топтать наши потомки, — одни и те же берега, сближающие нас в единство, имя которому — человечество.

И заключающие строки стихотворения:

В горах погаснет солнечный июнь,
Заснут во мгле печальные аилы,
Молчат цветы, безмолвствуют могилы,
И только слышно, как шумит Катунь...

Разумеется, когда я говорил о памятниках и непосторонних чувствах, то я тем самым вовсе не собирался свести на нет духовное значение рукотворных произведений искусства. Но памятник — это лишь символ, и в нем всегда присутствует посторонняя «трактовка» творца этого овеществленного символа; мешает или помогает она нам — это вопрос другой, но она присутствует как постороннее «чувство». Природа же не выступает в качестве «посредника», будучи вечной, она сводит как бы на нет категорию времени, устанавливая непосредственную духовную связь между прошлым и настоящим, осуществляя единство духовной жизни, без которого невозможен никакой духовный прогресс.

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Но Рубцов вовсе не замыкает себя на вселенную, и он далек от того пантеизма, когда природа выступает как высшее самоценное начало, вечностью своею подчеркивающая только преходящность человеческого бытия, главное для Рубцова всегда — человек, и в своем «блуждании» над планетой он ищет связи с человеком.

Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.
И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...

Почему «бывший десантник», а не «танкист» или «пулеметчик»? У Рубцова вообще нет в стихах случайных или приблизительных слов, каждому слову он находит то место, или на каждое место он находит то слово, которое становится незыблемым в силу своей здесь обязательности. Если мы «раскрутим» стихотворение от конца, от «десантника», то мы увидим, что стихотворение лишено какой бы то ни было мистики, хотя оно и порождает определенный мистический настрой: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» Возьмите все строфы, кроме первой и последних двух, в них нет абсолютно ничего мистического — это реальная духовная биография человека, родившегося и выросшего в деревне. Появление этой биографии было обусловлено в первой же строфе: «Я буду скакать по следам миновавших времен...», «Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность...» — это миновавшее время. Теперь возьмем предпоследнюю строфу: «Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье и тайные сны неподвижных больших деревень. Никто меж полей не услышит глухое скаканье, никто не окликнет мелькнувшую легкую тень». Если мы удалим отсюда единственное слово «скакать» (и производное от него «скаканье»), то по всем ощущениям — перед нами реальный десантник: к танкисту или пулеметчику нужно подбирать совершенно иной образный ряд. Ощущение «над планетой» — это ощущение десантника, и тайный род его «работы» естественно вызывает таинственные образы «ненарушимого ночного дыханья», «снов неподвижных больших деревень», «мелькнувшей легкой тени», которую «никто не окликнет».

Естественное для десантника желание мелькнуть легкой тенью, быть неокликнутым порождает в нем устойчивое ощущение, близкое тому, что теперь нам передает лирический герой стихотворения. И эта духовная связь между лирическим героем и «бывшим десантником» устанавливается через преодоление времени, через обращение к вечным для человека категориям природы и Родины: «Отчизна и воля — останься, мое божество!..»

В поэзии Николая Рубцова постоянно присутствует глубокий философский конфликт: с одной стороны, поэт как бы стремится преодолеть время и преодолевает его («Как будто древний этот вид раз навсегда запечатлен в душе, которая хранит всю красоту былых времен...», «Как царь любил богатые чертоги, так полюбил я древние дороги и голубые вечности глаза!» и т. д.), а с другой — удивительное ощущение возраста мира во всех его подробностях. Но, возможно, главное в поэзии Николая Рубцова то, что время для него — категория прежде всего нравственная.

Светлеет грусть, когда цветут цветы,
Когда брожу я многоцветным лугом,
Один или с хорошим давним другом,
Который сам не терпит суеты...

Давний друг... Дружба должна иметь свою историю, слово «давний» для Рубцова здесь обязательно при слове «хороший»: «Вникаю в мудрость *древних изречений* о сложном смысле жизни на земле...»; «Мелькнет покоя сельского страница, и вместе с чувством *древности земли* такая радость на душе струится...»; «Пейзаж, меняющий обличье, мне виден весь со стороны во всем таинственном величье своей *глубокой старины...»; «И* темный, *будто из преданья,* квартал дряхлеющих дворов...»; «Перед этим строгим сельсоветом, перед этим стадом у моста, перед всем *старинным белым светом* я клянусь: душа моя чиста...» Даже в шуточном стихотворении: «Я в стихах *увековечу* заготовку дров...»

Рубцов связь времен видит не в перекличке эпох, а в постоянном процессе развития, в переходе одного качества в другое, в тесной взаимосвязи всего, что имело и имеет место быть на земле, и даже там, где все мертво и неподвижно, он подозревает скрытое и необходимое движение:

Но и в мертвых песках без движенья,
Как под гнетом неведомых дум,

Зреет жгучая жажда сраженья,
В каждом шорохе зреет самум.

Такие стихи, со всей их диалектичной конфликтностью и удивительно выразительной и точной образной структурой, мог написать только человек высокой органической культуры и целостного философского миросозерцания.

Но Рубцов не только чувствует вечность, ему хорошо видны и пределы человеческой жизни, пределы собственной жизни. И не грустить тут нельзя, не грустить тут — значит кощунствовать в главном.

...И обступают бурную реку
Все те ж цветы... но девушки другие,
И говорить не надо им, какие
Мы знали дни на этом берегу.

Бегут себе, играя и дразня,
Я им кричу: — Куда же вы? Куда вы?
Взгляните ж вы, какие здесь купавы! —
Но разве кто послушает меня...

И не потому ли мы в зрелом возрасте невольно тянемся к природе, потому что в ней все, как в детстве, как в юности, то есть как прежде... Вот эта вечность природы позволяет нам одновременно жить и в настоящем, и в нашем прошлом, которое она нам возвращает, давая ощущение вечности жизни.

Я уже говорил, что нельзя «осовременить» природу, потому что она вечна в своем естественном развитии, точно так же нельзя «осовременивать» и язык — он сродни природе, и Николай Рубцов убедил нас в том, что наш язык по-прежнему и красив и могуч, прост в своей естественности и необычайно выразителен. Посмотрите, самые обиходные слова, которые бог весть когда пущены нами в самый широкий оборот, а какой выразительности можно добиться, если они выражают чувства и мысли истинного поэта:

Хриплым криком тревожа гробницы,
Поднимаются, словно кресты,
Фантастически мрачные птицы,
Одинокие птицы пустынь...

Нет, мы должны думать не об «усовершенствовании» языка и изобретении новых слов, мы должны думать и заботиться

о глубине своих чувств и мыслей, а слово для их выражения в нашем языке всегда найдется, и Николай Рубцов один из тех, кто доказал это всем своим поэтическим бытием.

Большой поэт всегда «заглядывает» в будущее, неведомое нам и сокрытое от нас. Живя среди нас, он уже носит в себе нравственную меру вещей будущего. И прав Передреев, поставив природу и книгу в один ряд; книга, если она *истинная*, она тоже вечна: мы не сопричастны к внешней жизни Пушкина, но мы не менее, чем его современники, а может быть, и более, сопричастны к его поэзии, к его духовной жизни.

Истинные поэты не умирают, они лишь уходят из жизни. Нынче ушел и Николай Рубцов, наш современник, который будет принадлежать не только нам, в предчувствии определивший свою судьбу: «Пролетели мои самолеты, просвистели мои поезда...» — и пожелавший каждому из нас добрых долгих дней и дел: «Чтоб гудели твои пароходы, чтоб свистели твои поезда!..»

Николай Рубцов ушел от нас, но стихи его остались с нами, вот почему я и пишу о нем не в прошедшем времени.

1971

«УРОКИ ГНЕВА И ЛЮБВИ...»

Я не возьму на себя смелость говорить обо всей Москве, но литературная Москва в начале шестидесятых годов мало сказать, что бурлила, она просто клокотала. Старые литературные авторитеты разбивались вдребезги или в лучшем случае отодвигались куда-то на задний план. Прежние оценки, взгляды, понятия отвергались с ходу, и порой одно отвержение и осмеяние этих оценок, взглядов и понятий уже расценивалось как новое мировоззрение, естественно, прогрессивное и передовое. Молодые поэты, прозаики, критики писали смело, дерзко, хотя и не очень самостоятельно. Оригинальности было маловато, а вот оригинальничанья — хоть отбавляй. Двери издательств, журналов, газет широко распахивались перед молодыми, впрочем, радушие хозяев порой не всегда отзывалось большой искренностью. Но что поделаешь, если пришли новые времена? Иные, весьма маститые «инженеры человеческих душ», подрастерявшись, стали заискивать перед молодыми, а временами и подыгрывать им. Другие замолчали, ушли в «глухую оборону». Конечно, были и третьи, и четвертые, и пятые... Но молодые до поры до времени мало обращали внимания на эти тонкости, они рвались вперед, атакуя позиции литературных «отцов». Особое преимущество было у молодых поэтов — перед ними раскрылись еще двери аудиторий, куда врывались все те, кому заочное знакомство с поэтами казалось недостаточным. Знаменитые поэтические вечера в Политехническом...

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет — налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество —
Политехнический!.. —

писал в упоении в то время Андрей Вознесенский, а в серьезные для себя минуты подумывал о том, как бы и на каком вираже обойти вырвавшегося вперед Евгения Евтушенко.

Но страсти бушевали не только в поэтических аудиториях. Мне, например, и сейчас помнится пленум «молодых», состоявшийся осенью шестьдесят второго года. Длился он, помоему, дня три, а ощущение осталось такое, будто это мероприятие заполнило, по крайней мере, целый месяц жизни. Центральный Дом литераторов гудел с утра и до позднего вечера. Недостатка не было ни в выступающих, ни в слушателях. Потом я ни разу не видел, чтобы писательские собрания вызывали такой интерес у самих писателей.

Заканчивал тот пленум свою работу несколько помпезным в силу своей необычности ритуалом приема очередной партии молодых в члены Союза писателей. Принятых, естественно, поздравляли, а те в свою очередь благодарили писательскую организацию «за оказанную им честь», однако чувствовалось, что в этих словах больше снисхождения к своим старшим коллегам, нежели искренней благодарности. Помню уже заметно стареющего поэта Семена Кирсанова, в облике которого причудливо уживались щеголеватость двадцатых годов и претензия на моду начала шестидесятых. При вручении членского писательского билета молодой, красивой, томно-кокетливой Белле Ахмадулиной он сказал, что необычайно счастлив тем, что теперь находится в одном творческом союзе с такой прекрасной поэтессой. И на этом пленуме как-то почувствовалось, что модная в то время проблема «отцов и детей» навязана жизни литературой и что водораздел проходит где-то совсем в другой плоскости.

Анатолий Жигулин переехал в Москву (вернее, он пока что приехал в Москву учиться, на Высшие литературные курсы) в 1963 году. Прибыл он в столицу, как говорится, не с пустым чемоданом. В Воронеже у него уже вышли две книги стихов («Огни моего города» и «Костер-человек»), о нем уже довольно широко писали в местной, воронежской, периодической печати. Но этого, разумеется, было бы недостаточно. Главное — и об этом все знали — к нему благоволил сам Твардовский, его стихи уже печатались в «Новом мире», «Юности», «Молодой гвардии», в сборниках «День поэзии» и других периодических органах, а в издательстве «Молодая гвардия» в год его переезда в Москву вышел поэтический сборник «Рельсы», на который в том же году «Новый мир» (№ 10) откликнулся рецензией А. Абрамова.

«Уже первая книга стихов А. Жигулина, вышедшая несколько лет назад, — писалось в рецензии, — показала, что в литературу пришел поэт со своей, выстраданной им темой. Но только в книге «Рельсы» она выразилась со всей определенностью. Лирический герой поэта — человек... выдержавший главное испытание — испытание на прочность своих убеждений, на верность своим идеалам.

Не надо быть особенно догадливым, чтобы увидеть, что лирический герой книги рожден нашей действительностью, в нем отразился опыт всей трудной жизни поэта. Может быть, поэтому он обладает таким важным достоинством — имеет свою биографию и ярко выраженную драматическую судьбу...»

И все-таки поэтическая Москва приняла Анатолия Жигулина хотя и учтиво, но довольно прохладно. Конечно, нельзя было не считаться с отношением к нему Твардовского, а значит, и «Нового мира». К тому времени вакансии молодых лидеров как бы уже распределились, и лидеры держались за свои позиции крепко, во всяком случае любое соперничество тут для них было нежелательно.

Да, у Жигулина биография... Да, у Жигулина судьба... Но он же традиционен, поэтому и Твардовский к нему благоволит. Это объяснение было найдено себе в утешение. Но все равно было досадно, и не только на Твардовского, но и на Жигулина. Однако к середине десятилетия в литературной атмосфере незаметно что-то начало меняться: стал поутихать интерес к громогласной «новаторской» литературе и, напротив, повысился интерес к «традиционной» литературе, начали незаметно смазываться и понятия «правый», «левый»...

На переломе десятилетия увидела свет повесть Василия Белова «Привычное дело». Ее не опубликовали ни «Новый мир», ни «Октябрь», ни примыкавшие к ним журналы. Свет она увидела в самом начале 1966 года на страницах журнала «Север». В том же году «Сибирские огни» опубликовали повесть Виктора Астафьева «Кража», хотя раньше «Новый мир» ее даже анонсировал. И среди «левых» и среди «правых» нашлось немало поклонников этих произведений. В контексте этой новой прозы как-то по-другому стали прочитываться и стихи «традиционного» Анатолия Жигулина, и стихи «традиционного» Владимира Соколова, и стихи совсем недавно появившегося на поэтическом небосклоне вологжанина Николая Рубцова.

Перелом в литературе произошел, разумеется, не сразу и тем более не вдруг, он назревал постепенно, исподволь, а обозначаться начал с середины минувшего десятилетия. Певец «трудной темы», Анатолий Жигулин в 1966 году с грустью пишет: «Вот и жизнь пошла на убыль, словно солнце на закат. И серебряные трубы в стылом воздухе звенят...» Ощущение собственного возраста и возраста своего поколения порождает естественную тревогу в душе...

Жизнь моя! Сентябрь звенящий!
Время в прошлом торопя,
Все отчетливей и чаще
Вспоминаю я тебя.

Вспоминаю ранний-ранний
С колокольчиками луг.
На изломах белых граней —
Солнце шумное вокруг...

Вспоминаю малым-малым
Несмышленышем себя...
К тем истокам,
К тем началам
Ты зовешь меня, трубя.

Примерно в том же возрасте Владимир Соколов напишет такие строки: «Я мальчик. Мне двенадцать лет. Кораблик мой плывет по луже...» Не успеет еще умчаться в далекую даль сиротское детство Николая Рубцова, а у него уже вырвется: «Школа моя деревянная!.. Время придет уезжать — речка за

мною туманная будет бежать и бежать. С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь».

Вскоре после того как появился термин «деревенская проза», появился было и термин «деревенская поэзия», последний как-то не прижился, но все же многое в творчестве Жигулина, Рубцова и некоторых других поэтов объяснялось их деревенским происхождением. Действительно, у Жигулина есть, например, такие строки: «Здравствуй, степная деревня! Белый сухой полынок. Стали родные деревья черными пнями у ног. Родина! Хатой саманной, стылой лозой у плетня, далью пустой и туманной снова ты манишь меня». Но в то же время у него есть и такие строки: «Воронеж!.. Родина. Любовь. Все это здесь соединилось». Или: «Воронеж, детство, половодье...»

Эта двойственность связана с биографией поэта. Хотя Анатолий Жигулин и родился в Воронеже, но до семи лет проживал с родителями в селе Подгорном. В тридцать седьмом году родители переехали на постоянное местожительство в Воронеж, здесь Анатолий Жигулин пошел в школу, здесь началось его городское детство. Потом воспоминания этой поры дадут поэтическое вдохновение для создания таких стихотворений, как «Дирижабль», «Воронеж, детство, половодье...», «Металлолом» и других.

Металлолом! Металлолом!
Киоск дощатый за углом!
Веселый год сороковой,
Цветенье лип над головой.
И мы с товарищем вдвоем
Везем сдавать металлолом...

Но цепкая детская память сохранит навсегда не только вот такие веселые «жанровые» картинки предвоенной поры, но и какой-то одновременно решительный и тревожный дух той эпохи. «Было время демонстраций и строительных громов, и горела цифра двадцать над фасадами домов». «Цифра двадцать» — это двадцатилетие Октября, это тридцать седьмой год — первый год жизни Анатолия Жигулина в Воронеже.

Проезжали с песней мимо
На больших грузовиках
Парни Осоавиахима
С трехлинейками в руках.

И еще плакат безлицый
В память врезался мою:
Кто-то в красных рукавицах
Давит черную змею.

Вспоминается дорога,
Лед на лужах, как слюда...
И неясная тревога,
Непонятная тогда.

Это стихотворение так и называется: «Довоенное». Но вот таких стихотворений — воспоминаний раннего детства у Жигулина немного. Как правило, воспоминание безоблачного раннего детства перебивается невольным воспоминанием военной поры. «Значок ГТО на цепочках на форменной куртке отца...» А уже с четвертой строфы: «Все видится дымное небо, изломанный танками сад, горбушка казенного хлеба, что дал незнакомый солдат...» И даже в веселое стихотворение «Металлолом» входит тема войны: «Давным-давно на свете нет скупых примет тех давних лет. Была военная зима — сгорели старые дома. От прежних лип остались пни, давно трухлявые они».

И все-таки городские впечатления хотя и надолго, но не навсегда вытеснят те первые впечатления жизни, которые сформируют особое мирочувствование и спустя долгие годы отольются в пронзительные поэтические строчки:

Осень, опять начинается осень.
Листья плывут, чуть касаясь воды.
И за деревней на свежем покосе
Чисто и нежно желтеют скирды.

Град налетел. Налетел и растаял
Легким туманом в лесной полосе.
Жалобным криком гусиная стая
Вдруг всполошила домашних гусей.

Что-то печальное есть в этом часе.
Сосны вдали зеленей и видней.
Сколько еще остается в запасе
Этих прозрачных стремительных дней?

Солнце на миг осветило деревья,
Мостик, плотину, лозу у пруда.

Словно мое уходящее время,
Тихо в заторе струится вода.

Это стихотворение — оно посвящено Александру Трифоновичу Твардовскому — хочется назвать хрестоматийным, но не потому, что оно своими внешними признаками напоминает что-то навсегда запомнившееся из хрестоматии русской поэзии, а потому, что оно так «формулирует» наше собственное чувство, словно жило оно в нас всегда, словно мы родились с ним.

Вероятно, термин «деревенская лирика» как-то быстро вышел из обихода наших разговоров о поэзии по той причине, что слишком трудно было противопоставить поэзию Жигулина или Рубцова поэзии Соколова и первых, скажем, объединить с Цыбиным, а второго с Вознесенским. Ни Жигулин, ни Рубцов не «увязываются» ни с Лысцовым, ни с Тряпкиным, а Вознесенский — с Мориц или Матвеевой и так далее. Больше того, начиная со второй половины шестидесятых годов все чаще и чаще имена Жигулина, Соколова, Рубцова оказывались рядом. В поэзии общие термины не уживаются, в поэзии больше ориентируются на имена, а не на термины. В начале шестидесятых если назывались имена Евтушенко, Вознесенского и Рождественского, то уже становилось понятным, какая поэзия и какие явления в жизни будут иметься в виду, и никакие термины ничего тут не проясняли. В конце шестидесятых если назывались имена Жигулина, Соколова и Рубцова, то тоже всякие терминологические уточнения оказывались излишними. В прозе же, напротив, там даже неудачные термины оказываются жизнестойкими. Удержались в литературном обиходе и «исповедальная проза», и «деревенская проза», и «военная проза», и термин «городской роман», хотя все эти термины предельно условны.

И все-таки если поставленные в один ряд имена Жигулина, Соколова и Рубцова дают нам уже представление о каком-то направлении в современной русской поэзии, то это вовсе не означает, что стихи Жигулина мало чем отличаются от стихов Соколова, а стихи Соколова — от стихов Рубцова.

«Первое чувство, — писал когда-то поэт Веневитинов, — никогда не творит, потому что оно всегда представляет согласие. Чувство только порождает мысль, которая развивается в борьбе и тогда уже, снова обратившись в чувство, является в произведении».

Очень точное наблюдение. Действительно, первое чувство всегда выражает согласие (положительное или отрицательное).

«Первое мое детское воспоминание: раннее утро в Подгорном на огороде за почтой — большие белые кочаны капусты на черной земле в каплях росы. Мы только что приехали из поездки в Воронеж. Полагаю, мне было уже года три-четыре...» — рассказывает Анатолий Жигулин. А мне невольно вспоминается: «Капустная синяя свежесть. И красные клены вдали...» Разумеется, это не просто зарифмованное воспроизведение давнего, очень давнего эпизода. «Взгляни вокруг! Открой свои глаза, зеленые нетающие льдинки. Большая золотая стрекоза качается на тонкой камышинке...» Это тоже оттуда, из далекого детства. Естественно, тогда это первое чувство не творило, тогда сам внешний мир творил чувство нового жителя вечного мира, вырабатывая у этого нового своего жителя индивидуальное мирочувствование. С каждым годом мир открытий будет расширяться и расширяться, стремление к познанию причин вечности внешнего мира приведет к выработке мировоззрения, однако если осмысление мира снова не обратится в чувство, то и не возникнет источника для поэзии. И вот в этом новом чувстве очень важную роль будет играть первичное мирочувствование.

Что бы там ни говорили, а духовный мир человека формируется в основном в детские и юношеские годы и всегда будет в точности соответствовать всей совокупности воздействующих на него явлений внешнего мира, то есть всего того что не является собственным «я». Мы уже отметили, ссылаясь на мысль Веневитинова, что первое чувство не творит. Но первое чувство предопределяюще влияет на последующее осмысление жизни.

Конечно же, по-разному происходит *личное открытие мира* в городе и в деревне. Один в силу общих условий городского существования должен и в луже увидеть глубину и синеву («Кораблик мой плывет по луже. И ничего на свете нет синей ее и глубже...» — В. Соколов), другой с самого своего рождения открыт всем стихиям природы. Если мы сопоставим стихи Жигулина или Рубцова хотя бы с теми стихами Соколова, что сейчас процитировали, то сразу же обнаружится разница в первичных мировосприятиях. И совершенно очевидно, что у человека, способного ощущать связь со стихиями, виденье сердца должно постоянно *расширяться,* в то время как у человека, способного обнаружить в луже и синеву, и глубину, оно должно постоянно *углубляться,* и первый невольно станет *боль мира* чувствовать *своею болью,* а второй *в своей собственной боли* почувствует *боль остального мира.* В обоих

случаях достигается одна и та же цель — ощущение боли целого мира, хотя пути к этой цели были «выбраны» разные.

Детство заставляет каждого из нас возвращаться к нему памятью, и Жигулин, преодолев тридцатипятилетний рубеж, стал все чаще и чаще возвращаться памятью и душой к далеким годам собственного детства:

Приехала мать из Воронежа,
Из милой моей стороны.
И мысли притихли тревожные,
И вспомнились детские сны.

И теплым дыханием родины
Согрет мой нерадостный быт...
Да, много нелегкого пройдено,
И много еще предстоит.

Но все же такие хорошие
Нам в жизни минуты даны!..
Приехала мать из Воронежа,
Из милой моей стороны...

Чтобы написались такие стихи, нужно было иметь детство, мать, пережить разлуку с матерью и навсегда распрощаться с детством, но, распростившись и расставшись, ничего этого не предать в угоду иным обстоятельствам жизни. Но, возвращаясь к истокам собственной жизни («Вспоминаю малым-малым несмышленышем себя... К тем истокам, к тем началам ты зовешь меня, трубя...»), поэт все чаще и чаще уносится мыслью и чувством к истокам и началам своей родины, своего народа, к тем ее вековечным признакам, которые не стирает время. Любовь к Родине приобретает характер интимного чувства, для выражения которого ищутся образы у живой природы. Поэтому-то у Жигулина так много стихов о родной природе. Произведения этой поры (второй половины шестидесятых годов) составят основу сборника «Прозрачные дни», вышедшего в издательстве «Советский писатель» в 1970 году и открывшего для читателя если и не совершенно нового, то, во всяком случае, заметно изменившегося Жигулина. Прежняя скупая нежность поэта в новых произведениях как бы вырывается на простор и обретает полноту своего самовыражения. Если раньше Жигулин писал: «Цветы, цветы... Они — как люди: им легче, если много их. Где мы еще теперь побудем, каких путей

хлебнем земных?.. Уж пятый час трясется кузов. И склоны гор опять пусты. А мы в ладонях заскорузлых все держим нежные цветы...» («Полярные цветы») или: «Мы стояли вокруг. Курили, прислонившись к мокрой стене, и мечтательно говорили не о золоте — о весне. И о том, что скоро, наверно, на заливе вспотеет лед и, снега огласив сиреной, наконец придет пароход...» («Золото»), то теперь эти почти затаенные чувства, вырывавшиеся наружу только от случая к случаю, преломленные иными обстоятельствами жизни и иным общим самочувствием, изливаются в стихах с той степенью искренности и полноты, которая дает основания говорить о пронзительной исповедальности, запечатленной в поэтическом слове. «За рядом желтокорых яблонь, вдруг оказавшись на виду, пожухли, скорчились, озябли кусты сирени на ветру...» И дело не в том, что вот этот осенний пейзаж, запечатленный в конкретном образе пожухлых кустов сирени вызывает в душе поэта ответное чувство («А мне сегодня тридцать восемь... Считаю медленно в тиши, в который раз приходит осень в звенящий сад моей души...»), а в том, что личные чувства доверительно поверяются родной природе, и тут важно не созвучие души и природы, а родство и тесная близость души с ней.

Святое время листопада,
Горенье буйное в листве!
Пусть все свершается как надо
В твоем могучем торжестве.

Бушуй огнем своим нелетним,
Греми железом крыш пустых.
Одно прошу: не будь последним
В шеренге осеней моих.

Душа поэта в своей лирической исповеди открывается не другой человеческой душе, а самой природе, из которой и черпаются живые образы для проявления собственного чувства. Теперь у Жигулина трудно встретить стихотворение, в котором не присутствовал бы образ родной природы, но это не пейзажные зарисовки, возбуждающие те или иные чувства, это человеческие чувства, возникающие как явления самой природы и в образах самой природы. «Тихое поле над лугом. Чистый холодный овес. И за обветренным стогом рощица тонких берез». Тонкий акварельный осенний пейзаж среднерусской полосы. Но уже в следующей строфе одним словом «Родина» поэт устанавливает душевную связь с живыми об-

разами природы: «Родина! Свет предосенний неомраченного дня. Желтым потерянным сеном чуть золотится стерня». В последней строке третьей строфы уже начинается исповедь, которая и является главным содержанием этого стихотворения: «Бледные ломкие стебли жмутся к косому плетню. Эту неяркую землю каждой кровинкой люблю». В последних двух строфах признаки окружающей природы присутствуют лишь в конечных строчках:

Если назначена доля
Мне умереть за нее —
Пусть упаду я на поле,
В это сухое жнивье.

Чтобы уже не подняться,
Чтобы в последней беде
Нежно щекою прижаться
К пыльной сухой борозде.

Лирический герой Жигулина в своей слиянности с природой ищет спасения от житейской суеты и от собственных суетных мыслей и чувств, от всего того, что, обременяя ненужной зависимостью, не дает так нужного людям единения. «Как сердце устало! Как нужно покоя. Хотя бы на несколько ранних минут, чтоб выйти в осеннее чистое поле и знать, что тебя не зовут и не ждут. Чтоб лес вдалеке. Хорошо, если сосны. Чтоб просто идти, никого не виня. Чтоб было прозрачно, легко и морозно, чтоб тихо у ног шелестела стерня...» Но лирический герой не бежит от людей, напротив, он ищет единения с ними, не простого общения, а именно единения.

Петляет дорога, ведя на проселок.
Лобастые камни лежат у ручья.
И маковка церкви за пиками елок —
Как дальняя-дальняя память моя...

И девочка — спутница с синим колечком,
И хмурый шофер, что спешит в сельсовет,
О чем-то забытом, но мудром и вечном
Задумались, глядя в холодный рассвет...

Вот это «забытое, но и мудрое и вечное», о чем задумались вдруг и девочка, и хмурый шофер, и сам лирический ге-

рой, не дает теперь Анатолию Жигулину покоя и одновременно питает его поэтическое вдохновение. И для Жигулина вековечные признаки природы — это вековечные признаки его Родины, неизменность которых вовсе не противоречит принципам живой жизни.

В 1967 году Анатолий Жигулин опубликовал небольшое стихотворение о Родине:

О, Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои проселки, перелески —
Все, что без памяти люблю:

И шорох рощи белоствольной,
И синий дым в дали пустой,
И ржавый крест над колокольней,
И низкий холмик со звездой...

Мои обиды и прощенья
Сгорят, как старое жнивье.
В тебе одной — и утешенье,
И исцеление мое.

Это стихотворение чем-то отличалось от прежних его стихотворений, в которых поэт обращался к самой заветной теме. В нем есть некоторая декларативность, хотя, надо сказать, сама по себе декларативность не противопоказана поэзии, если она, конечно, обеспечена глубокими и неслучайными чувствами. Не столь уж примечательно стихотворение и с точки зрения обращения поэта к образам окружающей его природы — к тому времени Анатолий Жигулин опубликовал уже немало прекрасных стихотворений, в которых зарекомендовал себя как тонкий и самобытный лирик, и нельзя сказать, что на этот раз он тут превзошел самого себя. И все-таки стихотворение о Родине 1967 года в творчестве Жигулина примечательно, ибо в нем, вернее, в последней его строфе подводится своего рода итог прежним творческим исканиям. Через пять лет Л. Аннинский скажет: «Оживившийся теперь интерес критики к стихам Анатолия Жигулина не случаен: поэт словно дебютирует вторично, причем совсем не так, как десять лет назад. Тогда он был человек новых тем, смело раздвинувший горизонтальные пределы лирики, певец Севера, исповедник своей судьбы, автор «Кострожогов» и «Полярных цветов», пришелец, рассказчик».

Нетрудно объяснить некоторую запоздалость этих слов критика. Представление о поэте, а тем более изменение представления об уже известном поэте — вещи не такие простые, и тут недостаточно отдельных публикаций в периодической печати. Да и не уследишь за всеми такими публикациями. Тут нужна книга. И такой книгой, которой Жигулин как бы вторично дебютировал, была книга «Прозрачные дни», вышедшая в самом конце семидесятого года.

Мнение Л. Аннинского предварит поэт Дмитрий Голубков, откликнувшийся в семьдесят первом году на книгу Жигулина «Прозрачные дни» превосходной статьей. «Казалось, — писал он, — вряд ли поэт сможет создать что-либо равноценное таким стихотворениям, как «Кострожоги», «Я видел разные погосты», «Марта», «Бурундук». Казалось, иссяк поэт, выдохнув свою «почти обугленную душу» в строки редкостной силы и страстности».

Пожалуй, трудно назвать другого поэта, в творчестве которого произошел бы столь заметный перелом, причем этот перелом не был обусловлен каким-то резким изменением внешних обстоятельств жизни поэта. Не станем искать здесь конкретных причин тому, а лучше посмотрим, какие же изменения претерпел лирический герой Анатолия Жигулина во второй половине шестидесятых годов. Видимо, просто по небрежности Л. Аннинский поставил через запятую слова «исповедник» и «рассказчик», потому как при схожести амплуа (тот и другой о чем-то повествуют) есть между ними и принципиальная разница. «Рассказчик» повествует о *пережитом*, «исповедник» повествует о *переживаемом*. В том-то и дело, что где-то на переломе десятилетия произошел своего рода конфликт между прежним Жигулиным-рассказчиком и новым Жигулиным-исповедником, и верх в этом «конфликте» одержал Жигулин-исповедник.

Стихи Жигулина-рассказчика — это долгое повествование *о пережитом*, стихи Жигулина-исповедника — это подробная *исповедь* души, помеченная переживаниями сегодняшнего дня. Не случайно, вероятно, и то, что стихи Жигулина-рассказчика всегда о конкретном случае, о конкретном эпизоде жизни и поэтому почти всегда озаглавлены («Кострожоги», «Бурундук», «Береза», «Костыли», «Хлеб», «Полярные цветы», «Рельсы», «Обвал», «Ночная смена», «Золото», «Художник» и т. д.). Эти стихи, разумеется, с ущербом для них, все же можно пересказать. В стихах Жигулина-исповедника если и есть что-то конкретное, то не оно составляет их содер-

жание, стихи эти, как правило, не озаглавлены, пересказать их невозможно.

Возьмем для примера концовочные строфы из стихов первого ряда:

Идя вперед,
За счастье споря,
Мы были к трудностям глухи.
Всю нашу боль,
Все наше горе
Мы переплавили в стихи.

(«Не сетуй, друг...», 1960)

Уж пятый час трясется кузов.
И склоны гор опять пусты.
А мы в ладонях заскорузлых
Все держим нежные цветы...

(«Полярные цветы», 1961)

Наконец, ты сдавалась,
Дымясь и скорбя.
Мы ведь люди, земля!
Мы сильнее тебя!

(«Земля», 1961)

А весной, повздыхав о доле,
На делянке под птичий щелк
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк.

(«Бурундук», 1963)

Еще синел в низинах лед
И ныли пальцы от мороза,
А мы смотрели,
Как цветет
Давно погибшая береза.

(«Береза», 1963)

«А мы смотрели...», «А мы... держим...», «Мы были... глухи...», «Мы ведь люди...», «...мы понимали...» Мы, мы, мы...

Тут как бы нет ничего личного, тут все соборно: работа, хлеб, заботы, радости, трудности, даже думы.

Что нам золото?
В дни тяжелые
Я от жадности злой не слеп.
Самородки большие, желтые
Отдавал за табак и хлеб.

Не о золоте были мысли...
В ночь тяжелую
У костра
Есть над чем поразмыслить в жизни
Кроме
Золота-серебра.

(«Золото», 1963)

В этом стихотворении рассказывается о работе, затем о перекуре, во время которого мечтательно поговорили о весне, затем: «Покурили еще немного, золотинки в кисет смели и опять — по своим дорогам, к вагонеткам своим пошли». Герой по привычке задаст риторический вопрос, в котором еще присутствует в косвенном падеже местоимение «мы» («Что нам золото?»), а дальше уже останется один со своими мыслями не о «золоте-серебре».

О чем же эти мысли? Вот в том-то и дело, что самими мыслями с нами не поделятся. Где ж тут исповедальность и где тут исповедник? Нет, перед нами не исповедник, а рассказчик, хорошо знающий не только то, что нам следует рассказать, но и знающий, чего нам рассказывать не следует.

В более раннем стихотворении «Рельсы» (1959) Жигулин еще не нашел полностью нужную ему для его рассказов интонацию и форму разговора с читателем. В первых четырех строфах поэт доверительно и просто рассказывает о тяжелой работе (в этом ключе будут потом написаны и лучшие его стихотворения данного цикла), но затем вдруг улавливает в читателе оппонента и начинает вести разговор совсем в иной тональности. «Вы когда-нибудь знали такую работу?.. Вы хоть были когда-нибудь в этих местах?» — и так далее. Эти вопросы будут задаваться вроде бы и не от себя лично, но закончится стихотворение выделением собственного «я»: «Я пронес *на плечах* магистраль многотонную! Вот на этих плечах! Позавидуйте мне!»

Жигулин-человек вправе был ставить и так вопросы, как всякий вдоволь потрудившийся или вдоволь повоевавший че-

ловек. Но Жигулин-поэт сразу же понял, что заявлять во всеуслышанье свои права не везде и не во всякий час уместно.

Не знаю, задавал или не задавал себе Жигулин вопрос: «Кто есть его лирический герой?» — но ответ он на него нашел очень быстро и правильный. Лирический герой Жигулина — это бывалый человек, то есть который был не свидетелем жизни, а самым активным ее участником и которому есть что рассказать.

Впрочем, образ бывалого человека в нашей поэзии был уже создан, правда, то был не лирический герой, рассказывающий о лично пережитом, а найденный в жизни достоверный человеческий характер, ставший художественным образом. Я тут имею в виду знаменитого Василия Теркина.

Разумеется, сидя дома, бывалым не станешь, но и одного участия даже в важных и трудных событиях тут недостаточно. Истинно бывалым человеком может стать лишь человек с особым психическим складом, жизнелюбивым и духовно отзывчивым, способным в любую минуту рассредоточить внимание от собственного «я».

Буду ль жив еще? — Едва ли.
Тут воюй, а не гадай, —

так рассуждает бывалый воин Василий Теркин, хотя он отнюдь не безразличен к собственной судьбе, иначе перед ним и не встал бы вопрос: «Буду ль жив еще?» Но, ответив вроде бы отрицательно на свой вопрос, жизнелюбивый Теркин тут же уносится мечтой в родные края:

И сидел бы я, ребята,
Там как раз, друзья мои,
Где мальцом под лавку прятал
Ноги босые свои.

И дымил бы папиросой,
Угощал бы всех вокруг.
И на всякие вопросы
Отвечал бы я не вдруг.

— Как, мол, что? — Бывало всяко.
— Трудно все же? — Как когда.
— Много раз ходил в атаку?
— Да, случалось иногда...

И девчонки на вечерке
Позабыли б всех ребят,
Только слушали б девчонки,
Как ремни на мне скрипят.

Автор обрывает мечты Теркина напоминанием: «Где девчонки, где вечерки? Где родимый сельсовет? Знаешь сам, Василий Теркин, что туда дороги нет. Нет дороги, нету права побывать в родном селе. Страшный бой идет, кровавый, смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Теркин и сам все это прекрасно понимает, но он в любую минуту может рассредоточить свое внимание от собственного «я», и хотя в мечте в центре внимания находится он сам, но это уже не его «я», думающее о смерти. С этим вопросом покончено: «Тут воюй, а не гадай». Война для Теркиных стала бытом, суровым, тяжелым, кровавым, но бытом. Потом Теркины действительно будут говорить: «Бывало всяко... Как когда... Да, случалось иногда...», но непраздный слушатель хорошо поймет, что подразумевается под этими скупыми ответами.

На долю лирического героя Анатолия Жигулина выпали другие испытания — испытания долгим, тяжелым трудом, который, по сути дела, и составлял смысл настоящей жизни, поэтому-то работа присутствует почти в каждом стихотворении северного цикла. И это не фон жизни, а самое жизнь. От собственного «я» внимание рассредоточивали «работа» и «мы», то есть общая судьба. «Я», конечно, не исчезало, но оно как бы уплотнялось, делалось для себя почти неощутимым, как работа здорового сердца. Но жизнь есть жизнь, и в ней случается всякое...

У Жигулина есть стихотворение «Я был назначен бригадиром...» (1964), которое обнаруживает у лирического героя уже потребность в исповеди. «Я опьянен был этой властью. Я молод был тогда и глуп... — признается лирический герой. — Ребята вкалывали рьяно, грузили тачки через край. А я ходил над котлованом, покрикивал: «Давай! Давай!..» Как видим, тут и помину нет привычного уже для нас «мы», тут есть «я» и есть «они». И вот идут сегодняшние размышления и сегодняшние воспоминания, а не рассказ о былом: «И, может, стал бы я мерзавцем, когда б один из тех ребят ко мне по трапу не поднялся, голубоглаз и угловат». Дальше как живая встает картина из прошлого:

«Не дешеви!» — сказал он внятно,
В мои глаза смотря в упор,
И под полой его бушлата
Блеснул
Отточенный
Топор!

Ничего не скажешь, убедительно. Однако для лирического героя — он человек бывалый — убедительным оказалось другое: «Не от угрозы оробел я, — там жизнь всегда на волоске. В конце концов дошло б до дела — зарубник был в моей руке. Но стало страшно оттого мне, что это был товарищ мой. Я и сегодня ясно помню суровый взгляд его прямой». Пройдут годы, но тот конфликт собственного «я» с «мы» не забудется:

Друзья мои! В лихие сроки
Вы были сильными людьми.
Спасибо вам за те уроки,
Уроки гнева
И любви.

Конфликт этот не забудется, а если говорить точнее, то не забудутся его нравственные уроки. В последней строфе но-прежнему вроде бы звучит не «мы», а «я», но это уже не то, освобожденное от нравственных обязанностей перед людьми, «я», а «я», вобравшее в себя навсегда боль и надежды всех тех, с кем когда-то разделена была тяжелая судьба. И уже в 1966 году Анатолий Жигулин в стихотворении «Вспоминаются черные дни, вспоминаются белые ночи...» напишет: «Магадан, Магадан, Магадан! Давний символ беды и ненастья. Может быть, не на горе — на счастье ты однажды судьбою мне дан?..»

Это стихотворение не могло написаться ни в ту пору, когда писались «Хлеб», «Полярные цветы», «Ночная смена», ни тем более в пору, когда писались «Рельсы». «Казалось, иссяк поэт, выдохнув свою «почти обугленную душу» в строки редкостной силы и страстности», — писал Дмитрий Голубков. Нет, поэт не иссяк, не истощилась и тема, но в душе, откликающейся на *жизнь*, невольно произошли перемены, которые и обусловили новый этап в творческой биографии Анатолия Жигулина. Мы уже отмечали, что в стихотворении «О, Родина! В неярком блеске...» присутствует элемент декларативности, однако у Жигулина этот элемент декларативности был обеспечен не только глубокими чувствами и серьезными нравст-

венными исканиями последних лет, но и возникшей потребностью в исповеди, которая исподволь стала проникать как в интонацию поэта, так и в структуру самого его стиха. Безусловно, в середине шестидесятых годов никто не мог предугадать, в какие новые дали поведет нас Анатолий Жигулин, но и тогда уже можно было догадаться, что в творчестве поэта назревает перелом, и увидеть, что завершается, точнее, приходит к логическому завершению тот внутренний сюжет, который несколько лет разрабатывал в подробностях Анатолий Жигулин.

Творческий путь Жигулина как бы предопределился самой судьбой, которую не заменишь никакой литературной выучкой, никакими литературными ухищрениями. Со временем у Жигулина исчерпалась не тема, а изменилось под воздействием самой жизни его общее самочувствие, о чем можно судить по стихам середины шестидесятых годов. Не то чтобы прошла, исчезла прежняя боль, но она, найдя себе исход в поэтическом слове, вошла теперь составной частью уже в другое «настроение», которое начало искать своего выражения уже в ином поэтическом слове. Как прежде Жигулин не мог не высказываться о пережитом, так теперь он не мог не высказываться о переживаемом. И в творчестве Жигулина отчетливо просматривается то «чувство пути», о котором говорил Блок. Да, Жигулин был волен написать или не написать какое-то стихотворение, но он не был волен, если хотел остаться поэтом, избирать по своему усмотрению поэтические пути-дороги.

Несколько раньше мы привели для примера последние строфы из стихотворений, характерных для творчества Жигулина первой половины шестидесятых годов. Теперь сделаем то же самое, но возьмем стихи второй половины шестидесятых годов.

Все пустое, что теперь я делаю.
Я писать, как прежде, не могу.
Сердце — словно гильза обгорелая
Лишь слегка дымится на снегу...

(«Все труднее, все труднее пишется...», 1966)

И кому потом оставлю
В веренице белых дней
Эту трепетную каплю
Краткой памяти моей?

(«Неуютный, невеселый,
неприкаянный рассвет...», 1966)

Прими меня в свой сон беспечный,
В свой зыбкий холод уведи,
Дорогой трепетной и вечной,
Где что-то мнится впереди.

(«По белокрылым перелескам...», 1967)

Сердце чувствует согласие
Свежих ран и дальних вех...
Снегири сидят на ясене,
Сыплют семечки на снег.

(«Наконец пришло спокойствие...», 1968)

А лес шумит на косогоре...
Скажи, кукушка, сколько дней
Еще мне жить,
Еще мне спорить
С жестокой памятью моей?

(«Кукует поздняя кукушка...», 1969)

Время было дивное,
Буйное, как хмель.
Славное, наивное...
Где оно теперь?

(«Называлась улица...», 1969)

Конечно, было бы лучше привести стихи обоих периодов полностью, но ни размеры, ни цель нашей работы не позволили сделать этого, поэтому мы и ограничились цитацией последних строф. Во-первых, здесь исключается момент выборочности, во-вторых, в последних строфах обычно акцентируется смысл всего стихотворения. Думается, даже при беглом сравнении двух рядов цитат не может не броситься в глаза разница в мирочувствованиях лирического героя Анатолия Жигулина первой половины шестидесятых годов, где лирический герой был *рассказчиком,* и второй половины шестидесятых годов, где лирический герой стал *исповедником.*

Наше поколение как-то смолоду тянуло на исповедь. Преждевременная исповедь отталкивает нескромностью своих претензий, запоздалая оставляет равнодушным к неуместной в данном жанре мудрости. В работе о Шукшине я в свое время писал, что наша «исповедальная проза» оказалась как раз менее всего исповедальной и что она не могла быть иной, поскольку тогда, в конце пятидесятых и начале шестидеся-

тых годов, наше поколение имело какие-то индивидуальные признаки, но еще не имело судьбы, а стало быть, и права на исповедь. «Есть время для любви, для мудрости другое», — сказал Пушкин. И опять был прав. Но, видимо, и для исповеди есть свое особое время. Критик Олег Михайлов, преодолев сорокалетний рубеж, сменил «род войск» и написал роман «Час разлуки» (1978), в котором прозвучала серьезная исповедь нашего поколения. Четырьмя годами раньше Василий Шукшин (он был на четыре года старше Олега Михайлова) поставил фильм «Калина красная» — это, по сути дела, тоже исповедь. Для Анатолия Жигулина пора исповедальности наступила раньше. Вероятно, здесь, помимо других причин, сыграло свою роль и то, что поэтический жанр более оперативно «откликается» на движение собственной души.

Конечно, не всякое излияние души должно считать исповедью поколения, исповедь начинается там, где личное, не теряя черт индивидуальности, не теряя личностных признаков, обобщает духовный опыт большого числа людей своего поколения, где собственное «я» отзывается на чужую боль равно как на свою, где всякое движение души невольно сверяется с нравственными идеалами, выстраданными поколением, короче говоря, в поэтической исповедальности мы ищем единения, потребность которого с годами приходит неминуемо.

Наше поколение, несмотря на доставшееся .ему суровое детство, как-то уж больно долго засиделось «в молодых». Я не могу сказать, что зрелость к Анатолию Жигулину пришла преждевременно, скорее, к остальным она никак не могла подступиться, мы уже подступали к сорокалетнему рубежу, а нас все продолжали называть «молодыми». Возможно, кому-то это и льстило, кому-то просто удобно было ходить и ходить «в молодых», а кому-то было удобно, чтобы мы всю жизнь прошагали «в молодых». Признаюсь, меня лично это обстоятельство как-то смущало, вероятно, поэтому я и написал в статье о стихах поэта Дмитрия Ковалева, опубликованной в 1967 году, несколько «исповедальных» строк, которые, по-моему, ни у кого тогда не вызвали никакого отзвука.

Признаюсь и в другом. По-настоящему с творчеством Жигулина второй половины шестидесятых годов я познакомился только в 1970 году, когда вышли его «Прозрачные дни». Для меня эта книга прозвучала как откровение, в контексте ее стихов как-то глубже воспринимались и прежние жигулинские стихи. Нет, это был не новый Жигулин, это был зрелый Жигулин, который органично вытекал из прежнего Жигулина, как вытекает зрелая взрослость из буйной молодости.

Нужно заметить, что конец шестидесятых был в литературе не менее бурным, чем их начало, и опять рушились прежние литературные авторитеты, прежние литературные кумиры, которые, казалось, надолго водрузились на пьедесталах. Еще свежи были в памяти литературные баталии начала десятилетия, и вот уже бушуют новые.

Надо сказать, многие поэты и тогда, в начале шестидесятых, отзывались о Евтушенко не очень одобрительно, однако все его публикации прочитывались, больше того, даже наперед узнавали, где и что он печатает. Но суд поэтов — необъективный суд, слишком уж мешает дух соперничества. На рубеже шестидесятых и семидесятых продолжали спорить и о Евтушенко, но только как об одном из литературных явлений недавнего прошлого, к стихам же его интерес пропал. Бесспорно, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов Евгений Евтушенко был самой яркой и самой популярной фигурой в нашей поэзии. Но дело тут не в кознях некоторых критиков, попытавшихся столкнуть его с пьедестала, дело было в самом времени, а время это уже весьма отличалось от того, когда поэтам требовалось какое-то искусственное возвышение: трибуна, сцена, эстрада...

Как бы ни были вески сейчас наши аргументы «за» или «против» поэзии начала шестидесятых, они все-таки самой своей системой в большей мере характеризуют сегодняшнее состояние умов, нежели эпоху двадцатилетней давности, хотя бы они и были верны в своей основе. Поэтому иногда бывает предпочтительнее обратиться к свидетельству самой той эпохи.

Мне, например, тогда очень нравилось стихотворение А. Вознесенского «Прощание с Политехническим», впрочем, я и сейчас считаю, что это не просто стихи, но и своего рода документ эпохи, читая который можно не только окунуться в атмосферу тех лет, но и увидеть многое такое, что не виделось тогда. Итак, попробуем взглянуть на стихотворение А. Вознесенского с точки зрения документа эпохи.

Вопрос первый: отношение читателя (аудитории) к поэту.

Поэзию тех лет потом стали называть «эстрадной». Этот термин, как и большинство наших литературных терминов, не отличается точностью. Эстрада — это нечто совсем другое, что-то развлекательное, с эстрадой ассоциируется что-то исполнительское, заученное, а тут почти импровизация, почти митинг... Это была, скорее, поэзия улиц и площадей, и ее уместнее было бы назвать какой-нибудь «вечевой поэзией». И, выступая с подмостков, поэты чувствовали под ногами не эс-

траду, а трибуну, хотя эту поэзию не назовешь и «трибунной», потому как здесь термин должен обнимать не только характернейшие черты самих поэтов, но и черты аудитории, тогда это было нечто единое. «В Политехнический! В Политехнический! По снегу фары шипят яичницей. Милиционеры свистят панически. Кому там хнычется?! В Политехнический!.. Ура, студенческая шарага!..»

С таким азартом можно устремляться на вечевую площадь, а не на театральное представление. Поэтические вечера тех лет начинались задолго до встречи поэтов с аудиторией. Не читатели и слушатели входили в аудитории, в них врывалась возбужденная улица со своими запросами, со своими требованиями. Чтобы улицу подчинить себе, ее нужно было ошарашить. «Я ненавидел тебя (Политехнический.— *А. Л.*) вначале. Как ты расстреливал меня молчанием. Я шел как смертник в притихшем зале» — так вспоминает свой неудачный дебют Андрей Вознесенский. Чтобы улицу подчинить себе, нужно было сначала подчиниться ей. На поэта смотрели не как на личность, а как на рупор, личностного отношения к поэту здесь не было.

Вопрос второй: отношение поэта к читателю (аудитории).

Тут и подавно не было никакого личностного отношения, тут было своего рода единоборство собственного, подчиненного толпе «я» с этой же толпой. «Галерка», «джемперы», «пиджаки», «третья с краю, с копной на лбу», «синий свитерок»... Разве это читатели? Нет, это признаки людей из толпы, прохожих, проезжих, то есть случайных. Улица обладает удивительным свойством: на улице мы не замечаем людей, когда они есть, и сразу же их «замечаем», когда их нет, когда улица пустынна.

Неличностное отношение никогда не может быть ни длительным, ни надежным, и это очень своевременно уловил А. Вознесенский: «Ура, эстрада! Но гасят бра. И что-то траурно звучит «ура». И стихотворение-то названо: «Прощание с Политехническим», и написано-то оно в начале шестидесятых.

Конечно же, легче продекламировать прощание, нежели проститься всерьез и навсегда. «Тысячерукий, как бог языческий, Твое Величество — Политехнический!» Этот бог дал резонанс твоему голосу, и твой голос был услышан. Однако бог оказался временным, нужным, но временным. И как остаться со своим голосом наедине? Кто теперь услышит? Жутко. Непривычно. И здесь труднее всего пришлось тем, кого больше всех обласкал уходящий в отставку веселый языческий бог.

Тяжело было идти вперед, эстрада как бы прилипла к ногам, словно тяжелый пьедестал, и следовало или оторваться от нее и сразу же оказаться на непривычном уровне остальных, наедине со своим собственным естественным голосом, или остаться на ней, бронзовея в собственных глазах, но кричать свои стихи уже вдогонку...

Мне кажется, такой дерзкий по молодости, Евтушенко на сей раз не рискнул, остался бронзоветь на месте, а потому его голос с каждым годом, несмотря на все его отчаянные усилия, звучал все глуше и глуше — вроде бы из далекого далека.

Анатолий Жигулин, как мы уже говорили, приехал в Москву в шестьдесят третьем году, когда литературный бум уже миновал свою пиковую отметку, хотя об этом подозревали пока еще немногие. Жигулин принимает активное участие в литературной жизни столицы, нередко выступает и на поэтических вечерах. Жигулин писал и читал свое, заветное, без оглядки на «тысячерукого бога», и каждый о чем-то задумывался, о своем, личном, и возникало к поэту личностное отношение. И для Жигулина сидящие в зале были не «джемперы», «пиджаки» или «свитерки», а люди, которых каким-нибудь краем, да задела война и другие жизненные испытания. В стихах было все просто, почти буднично...

...А хлеб несли из хлеборезки.
Был очень точно взвешен он.
И каждый маленький довесок
Был щепкой к пайке прикреплен.

И в этой точности, в этой детализации чувствовалась не избыточность литературной наблюдательности, а подлинная боль поэта. Вспоминалась война... При общей военной судьбе у каждого была еще своя судьба, и в этой личной судьбе никому не надо было напоминать, что *хлеб есть жизнь...*

О, горечь той обиды черной,
Когда порой по вечерам
Не сделавшим дневную норму
Давали хлеба двести грамм!

Прошли года...
Теперь, быть может,
Жесток тот принцип и нелеп.

Но сердце до сих пор тревожит
Прямая связь:
Работа — хлеб.

Простая, вечная, жестокая, но справедливая истина: работа — хлеб. Нелепость таится не в самом этом принципе, а в его искажении. Стихи Жигулина не возбуждали, но глубоко западали в душу. Немел «тысячерукий бог». А Жигулин продолжал рассказывать все так же буднично и так же просто:

Обрушилась глыба гранита —
И хрустнула прочная каска.
Володька лежал в забое
Задумчив и недвижим.
Лишь уцелевшая чудом
Лампа его не погасла
И освещала руки
С узлами набухших жил...

Эти два стихотворения («Хлеб» и «Обвал») вроде бы никак не связаны тематически. В первом речь шла *о цене* хлеба, а во втором — о гибели молодого парня. Потом о нем будет сказано: «Володька был славный малый, задиристый и упрямый. Он даже в большие морозы ходил — нараспашку душа... А из далекого Курска Володьке прислала мама красивый, с оленями, свитер и вязаный теплый шарф...» Но это потом, а сначала: «И освещала руки с узлами набухших жил». Нет, значит, не зря жил на земле Володька, не зря ел хлеб...

Я думал о том, что все мы —
Хорошие, сильные люди,
Что здесь мы еще построим
Прекрасные города.
Отыщем счастливые жилы
И золота горы добудем,
Но вот возвратить Володьку
Не сможем мы никогда...

Самые сокровенные думы «не о золоте-серебре», самое дорогое на свете — человеческая жизнь. Построим прекрасные города, добудем горы золота... Все это нужно, но это не главное, главное — жизнь, главное — работа и хлеб, главное — справедливость. Но Жигулин не морализует, он не от-

крывает вечных истин с глубокомысленным видом, он обнажает эти истины в нашей повседневной, будничной жизни и тем самым делает их доступными каждому в каждый час его жизни. В этом, наверное, и заключается подлинный демократизм чувств и мыслей художника. Вот это и было то новое, что шло на смену «Политехническому», прощание с которым было обусловлено самой жизнью, а не литературными интригами тех, на кого не распростер свою щедрую длань «тысячерукий языческий бог».

Я не принадлежу к числу тех критиков, которые видят теперь в литературном буме конца пятидесятых — начала шестидесятых годов один повальный грех, который нужно искупать неустанными проклятиями в адрес собственного прошлого и столь же неустанными молитвами нашему собственному сегодняшнему дню. Чтобы обрести истинное чувство народности, нам, вероятно, нужно было пережить деспотизм толпы и преодолеть его, чтобы почувствовать свои силы, нам, вероятно, до самозабвения нужно было возбудиться. Ребенку пристало кричать, он и кричит. Взрослый умеет регулировать свой голос, а потому редко его и повышает. Мы вдоволь и накричались, и нашумелись. Слава богу, развили свой голос. И в нашем возрасте крик — уже не аргумент. Не кричат о вещах и серьезных, а об иных вещах нам, по-моему, нет уже времени и говорить. «Сколько еще остается в запасе этих прозрачных стремительных дней?» Этот серьезный вопрос прозвучал в жигулинских стихах десять лет назад. Сейчас наше поколение никак не может считать для себя этот вопрос праздным.

1979

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛИ ДУМОЮ ГРЯДУЩЕЕ?

МОСКВА — ТРЕТИЙ РИМ, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И РУССКАЯ ЛЕНЬ

Кажется, те два первые понятия, что выставлены в заглавие настоящей статьи, никак не сопоставимы ни по характеру, ни по масштабу с третьим понятием, поставленным с ними в один ряд. Однако если преодолеть косность научных методик и дробность нашего нынешнего сознания, то связь всех этих трех понятий станет очевидной.

Первое понятие, «Москва — Третий Рим», выявляет религиозно-историческую миссию русского народа и русского государства, которая сформулировалась во времена царствования Василия III монахом Филофеем. Второе понятие, «Российская империя», выявляет государственные планы и намерения Петра I и последующих самодержцев династии Романовых. Третье понятие, «русская лень», выявляет истинную или мнимую доминанту национального русского характера — держателя религиозно-исторической идеи и проводника в жизнь государственных династических планов Российской империи.

Что касается идеи «Москва — Третий Рим», то о ней давным-давно забыли, а если ее и вспоминают, то больше из соображений публицистического форса или ради демонстрации собственной исторической эрудиции. А жаль, хотя вполне и объяснимо. В эпоху демократического безумия историческая наука расщепляется на факты и фактики, которыми порой ловко, порой грубо манипулируют в угоду своим политическим или партийным интересам.

Российская империя была декларативно провозглашена совместно Сенатом и Синодом 20 октября 1721 года после заключения со Швецией Ништадтского мирного договора. Оба учреждения от «имени всего народа российского» просили Петра I принять «**по примеру других**, от них титло: Отца Отечества, императора Всероссийского, Петра Великого» (выделено мной. — *А. Л.*).

«По примеру других» Россия стала империей, а российский монарх стал именоваться императором, однако эти самые «другие» вовсе не торопились признать новоиспеченного императора и его империю. Лишь только Пруссия, Голландия и Дания признали Петра императором при его жизни.

Как видим, в XVIII веке имперские звания на европейском политическом Олимпе ценились очень высоко. Не изменилась ситуация и в XIX веке. И тут достаточно примера Бонапарта, провозгласившего себя не королем, а императором, да и в начале нынешнего века никто не стеснялся говорить ни об имперских намерениях, ни тем более об имперских амбициях. И только после Первой мировой империалистической войны, когда на европейском континенте не осталось империй, но по-прежнему оставались и имперские намерения, и имперские амбиции, эти понятия стали именовать по-другому.

После Второй мировой войны вдруг все страны стали демократическими, хотя от этого в лучшую сторону мало что изменилось: войны не прекращаются, передел мира продолжается, правда, интервенции и оккупации нынче проводятся исключительно во имя «нового мирового порядка», то ли во имя торжества демократии, то ли ради оказания «гуманитарной помощи».

И потребовалось интеллектуальное мужество И. Солоневича, чтобы во время Второй мировой войны написать: «Нужно, наконец, назвать вещи своими именами: *всякий* народ есть народ империалистический, ибо всякий хочет построить империю и всякий хочет построить ее на свой образец: немцы на основах расовой дисциплины, англичане — на базе коммерческого расчета, американцы — на своих деловых методах, римляне строили на основах права, мы строим на основах православия. Русскую систему я естественно считаю наилучшей. Если бы я был американцем — я считал бы наилучшей американскую... Во всяком случае, стоя на чисто имперской точке зрения, я *обязан* признать моральную законность и польского, и шведского, и даже немецкого империализма... Но в данный момент оценивая прошлые и нынешние попытки построения империй, мы *обязаны* судить их «без гнева и пристрастия». Без гнева по адресу конкурентов и без пристрастия — по своему собственному, просто: как, когда и почему *удалось,* как, когда и почему не удавалось?»

Сегодня, когда волки рядятся в овечьи шкуры, а диктаторы прикрывают свое лицо демократическими масками, ин-

теллектуальная честность И. Солоневича кажется донкихотством. Действительно, кто нынче станет «без гнева по адресу конкурентов» и «без пристрастия — по своему собственному» говорить о каких-либо политических интересах или признавать моральную законность других?

Советский Союз — империя зла... Телевидение — империя лжи. Имперская тема сегодня небезопасна. Поэтому направим свой разговор в более спокойное русло и потолкуем более обстоятельно о русской лени, тема эта сейчас популярна, да и к тому же она уже обозначена в названии настоящей статьи, наряду с двумя другими.

Все мы когда-то «проходили» в школе знаменитую грибоедовскую комедию и, конечно же, помним пылкий монолог юного Чацкого, в котором он бросал вызов всей Москве...

> **Мундир! один мундир!** он в прежнем их быту
> Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
> Их слабодушие, рассудка нищету;
> И нам за ними в путь счастливый!
> И в женах, дочерях — **к мундиру** та же страсть!
> Я сам к нему давно ль от нежности отрекся?!
> Теперь уж в это мне ребячество не впасть;
> Но кто б тогда за всеми не повлекся?
>
> (Выделено мной. — *А. Л.*)

Помотавшись по заграницам, то есть отдав дань новой моде, Чацкий основательно поотстал от российской жизни и выглядел человеком только что спрыгнувшим с печки. Предав анафеме мундир, он, даже не подозревая того, решил для себя жесткую жизненную альтернативу: если не мундир (служба), то... непременный *халат* (безделье), в который, между прочим, года за четыре до появления в свет грибоедовской комедии Пушкин совсем не случайно обрядил своего Черномора:

> Уж утро хладное сияло
> На темени полнощных гор,
> Но в дивном замке все молчало.
> В досаде скрытой Черномор
> Без шапки, в **утреннем халате**.
> Зевал сердито на кровати.
>
> (Выделено мной. — *А. Л.*)

Еще большей содержательностью будут наполнены другие пушкинские строки:

Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Бесценной, мерзлою струей...

(Выделено мной. — *А.Л.*)

«Демократический халат» — сказано до боли емко и я бы даже заметил: ***провидчески.*** А вспомните тот «реестрик», то есть списочек экспроприированного «злодеями» гриневского имущества, что представил грозному Пугачеву рачительный и одновременно дерзкий Савельич. Что в этом самом списочке стоит на первом месте? «**Два халата, миткалевый и шелковый полосатый**, на шесть рублей», и только вторым пунктом пойдет: «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей». Далее — уже все остальное (выделено мной. — *А. Л.*).

А вот как впервые встречаются Гринев и его теперешний начальник — капитан Миронов:

«Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в **китайчатом халате.** Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать» (выделено мной. — *А. Л.*).

Иван Кузьмич был честным и храбрых служакой, но и он уже в часы, когда не предстояла какая-нибудь ревизия начальства, даже в служебное время предпочитал облачаться не в официальный мундир, а в **халат.** И сей факт имел место еще во времена матушки Екатерины Великой.

Надо сказать, русский халат нередко выступал под немецким псевдонимом в различных его модификациях: «шлафор», «шлафорк», «шлафрок», «шлафорок», обычно привнося какой-то дополнительный оттенок. Даже знаменитый обломовский халат Гончаров предпочел при первом упоминании о нем назвать «шлафроком» и тем самым намекнуть на родословную сей одежды. Пушкинский «шлафор» в «Евгения Онегине» привносит уместную в данном контексте легкую иронию:

Но скоро все перевелось;
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец...

(Выделено мной. — *А.Л.*).

Эта метаморфоза произошла с матерью Татьяны Лариной, чьи юные годы остались в XVIII веке, а вместе с ними там остались Ричардсоны, Грандисоны, корсеты и многие иностранные слова, и лишь обновленный «на вате шлафор» сохранил свое прежнее название, но, вероятно, не очень-то надолго.

«Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его **халат**: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть...» (выделено мной. — *А. Л.*).

И тут же Гоголь сообщает, что у Плюшкина «была тысяча с лишним душ, и попробывал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях...»

Трудно назвать русского писателя первой половины прошлого века, который не вывел бы на жизненную сцену *русский халат*, точнее *русского человека в халате*. Русский язык так крепко ассимилировал арабское слово «халат», что без него он и выглядит-то уже неполным. А русский человек так сжился в ту пору с халатом, что казалось, будто он перешагнул Византию с ее православием, не говоря уже о собственной истории, и очутился то ли в древней Элладе, то ли в древнем Риме с их хитонами, туниками и тогами, дававшим телу волю, удобства, короче сказать, блаженство.

Правда, согласуясь с естественными и климатическими условиями, несколько отличающимися от климатических и прочих условий той же Эллады или того же Рима, на Руси приходилось иногда эти самые шлафоры или халаты подбивать ватой или каким-то другим способом утеплять, но это уже детали. И напрасно умный Грибоедов устами не очень умного Чацкого возвел в степень идола тогдашней русской жизни мундир; халат в литературе спорил с ним уже на равных, а в жизни даже переспорил его. И тут самое весомое слово, конечно же, принадлежит Ивану Александровичу Гончарову.

«Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нем был халат из персидской материи, **настоящий восточный халат** без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что Обломов мог дважды завернуться в него (ну какой же это шлафрок?! — *А. Л.*). Рукава, по неизменной азиатской моде, шли от пальцев к плечу все шире и шире. (Ну, не благодать разве? — *А. Л.*). Хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный, естественный лоск другим, благоприобретенным, но все еще сохранял яркость восточной краски и прочность ткани.

Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе, он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела» (выделено мной. — *А. Л.*).

Это же Ода, Гимн, Поэма (не знаю, к какому жанру и отнести) русскому халату. Подите сыщите что-то равное в адрес мундира, все равно какого: военного или статского. И ведь недаром же старый, но умный Савельич на первое место поставил халаты, а не мундир, хотя последнему и выставил цену (в рублях) более высокую, нежели халатам, потому как, в отличие от юного Чацкого, глядел в самый корень русской жизни.

Ну а философское обоснование русскому халату дал Александр Иванович Герцен в своих знаменитых мемуарах «Былое и думы».

«Число воспитанников было мало, — писал он, вспоминая далекую юность и далекий Московский университет, — но и те получали не то, чтобы объемистое воспитание, а довольно общее и гуманное: оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. А человека-то именно было не нужно. Приходилось или снова расчеловечиваться — так толпа и делала, — или приостановиться и спросить себя: «Да надобно ли непременно служить?» Для большинства настало время праздного существования в отставке, деревенской лени, **халата**, странностей, вина. Для других время внутренней работы» (выделено мной. — *А. Л.*).

Роман «Обломов» увидел свет в 1859 году, в этом же году Герцен приступил к написанию «Былого и дум», когда дни крепостного права были уже сочтены. Затем пройдет еще десяток лет, и Лев Николаевич Толстой засядет писать роман о пореформенной России, а закончит он его в 1877-м, то есть

«Анна Каренина» выйдет в свет через восемнадцать лет после «Обломова».

За это время утекло много воды, русская жизнь изменилась до неузнаваемости, во всяком случае, в своих внешних проявлениях. А как изменился сам русский человек? Что ж, у нас есть что сопоставлять.

Сначала я приведу один эпизод из романа Гончарова, в котором Тарантьев уговаривает Обломова заняться своими насущными хозяйственных делами.

— Ну, брат, Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение да купил другое или дом здесь, на хорошем месте: это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом да купил бы другой... Дай-ка мне твое имение, так обо мне бы услыхали бы в народе-то.

— Перестань хвастаться, а выдумай, как бы и с квартиры **не съезжать, и в деревню не ехать и чтоб дело сделалось...** — заметил Обломов» (выделено мной. — *А. Л.*).

Другой эпизод, для сопоставления, я возьму из «Анны Карениной». Казалось бы, что общего между увальнем Ильей Ильичом Обломовым и толстовским Степаном Аркадьевичем Облонским, которого ну просто невозможно застать на одном месте: то он в Москве, то в Петербурге, то еще куда метнется неожиданно. А вот он уже на охоте в компании молоденького Васеньки Весловского и Константина Левина... На короткий ночлег охотники устроились в сенном сарае, разумеется, поболтали на разные отвлеченные от их охотничьих забот темы, а затем...

«— Ах, какая ночь, — сказал Весловский... — Да слушайте, это женские голоса поют, и, право, недурно. Это кто поет, хозяин?

— А это дворовые девки, тут рядом.

— Пойдемте погуляем! Ведь не заснем. Облонский, пойдем!

— **Как бы это и лежать и пойти** — потягиваясь, отвечал Облонский. — **Лежать отлично**» (выделено мной. — *А. Л.*).

Поскольку одновременно «и лежать и пойти» при всем желании не удавалось даже Обломову, то произошло своего рода разделение «труда»: Весловский *пошел*, а Облонский *остался лежать.*

Что нам представил Толстой: ловко закамуфлированную пародию на Обломова или же его самостоятельный выстрел угодил в ту же точку, в которую когда-то попал Гончаров? Ведь и фамилии у героев оказались почему-то сходны-

ми: ОБЛОмов — ОБЛОнский... Нелишне вспомнить и почти идентичные подходы обоих героев к намечаемым коммерческим предприятиям (Обломов мечтал продать свое родовое имение, а Облонский готов был продать за полцены свой родовой лес), когда тот и другой пытались все прозаические хлопоты спихнуть на кого-нибудь другого, будь то Михей Тарантьев или Константин Левин — какая разница? А подраздень чуть-чуть всех этих Облонских, и под их сюртуками и фраками обнаружится все тот же знаменитый «обломовский халат».

В 80-е годы русское дворянство, уже достаточно перемешавшись с разночинной «образованщиной», которая станет называть себя интеллигенцией, обрядится в нарядный марксистский **халат** и посредством боевитых марксистских фраз прикроет свою духовную и интеллектуальную пустоту и наготу.

Когда после пережитой, но не изжитой трагедии надломленный Вронский (а это будет начало второй половины 70-х годов) отправится добровольцем в Сербию, его мать скажет Кознышеву: «Это Бог нам помог — эта сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне как матери страшно; и главное...» Далее она переходит на французский, что переводилось так: «На это косо смотрят в Петербурге».

Видите, Петербург (считай, высший свет) «косо смотрел» на войну в Сербии, между прочим, и Вронского уговорил туда ехать проигравшийся в пух и прах его приятель Яшвин, который менее всего походил на посланца Бога. А когда началась Русско-японская война (1904), то уже вся околомарксистская интеллигенция не только «косо смотрела», но и заняла активные пораженческие позиции. Тридцать пять лет спустя П. Милюков напишет в своих «Воспоминаниях»: «Деньги, которые были нужны для пораженческих мероприятий, были получены Циллиакусом (финном. — *А. Л.*), целиком или отчасти, через японского полковника Акаши с определенной целью закупить оружие для поднятия восстаний в Петербурге и на Кавказе». Думается, что германские деньги, полученные Лениным, пахли ничуть не хуже японских, если, конечно, деньги все-таки могут пахнуть.

Размах, а затем и поражение революции 1905 года страшно напугал людей в «марксистских халатах», и они поспешно сменили их на «религиозно-философские», а в 1914-м — на «патриотические». Н. Бердяев в начале революции признавал-

ся: «Все время войны я горячо стоял за войну до победного конца. И никакие жертвы не пугали меня».

Последняя фраза звучит не патриотично, а кощунственно: к осени 1916 года в России был мобилизован уже «тринадцатый миллион», народ толком не знал, за что же он все-таки воюет, а Бердяев хладнокровно умствует: «Проблема национализма и проблема империализма очень обострены мировой борьбой народов. В области мысли одним из плодов нынешней войны будут философия национализма и философия империализма». Не слишком ли дорогую цену запросили философы за новые философские плоды?

В статье «О «вечно-бабьем» в русской душе» «мужественный» Бердяев громит книгу В. Розанова «Война 1914 года и русское возрождение», а заодно и ее автора. «И мне кажется, — пишет он, — что Розанов переживает весну от войны, сидя у себя в кабинете. Он пишет о героическом подъеме, хотя героизм чужд ему окончательно, и он отрицает его каждым своим звуком». Не берусь судить, в каких отношениях с героизмом находился сам Бердяев, но ведь и он сочинял свои статьи не под свист пуль на передовой, а в таком же банальном кабинете, как и его оппонент. В кабинете очень легко не пугаться никаких жертв и твердо стоять за войну до победного конца.

У Бердяева, как из рога изобилия, сыплются красивые и банальные фразы, но вот хода его рассуждений уяснить невозможно. Опять-таки в укор Розанову он пишет: «Есть что-то неприятное и мучительное в слишком легком, благодушном, литературно-идеологическом отношении к войне. Мережковский справедливо восстал против «соловьев над кровью», можно видеть глубокий смысл нынешней войны и нельзя не видеть в ней глубокого духовного смысла. Все, что свершается ныне на войне материально и внешне, — лишь знаки того, что свершается в иной, более глубокой, духовной действительности». Мережковский прекрасно сказал: «соловьи над кровью», за этим угадывается его личное, человеческое отношение к конкретной войне, а Бердяев все вколотил в сухую бесстрастную формулу: «лишь знаки того...»

А вот как заканчивается эта главка: «Но война, сама по себе, не творит новой жизни, — она — лишь конец старого, рефлексия на зло. Обоготворение войны так же недопустимо, как недопустимо обоготворение революции или государственности».

Итак, война — это рефлексия на зло прежней жизни, стало быть, война не является злом, а является всего лишь рефлексией на зло. А чем же тогда является мир: рефлексией на рефлексию? Согласен, обоготворять не следует ни войну, ни революцию, ни государственность, обоготворять можно только божеское. Но ставить на одну доску государственность с войной и революцией еще более недопустимо, потому что все революции начинаются с проповеди отрицания государственности и еще с обещаний, которые никогда не выполняются.

И вот теперь как раз настало время поговорить о государственности.

О русской «бабьей», «рабьей» душе наговорено столько, что вступать здесь в полемику, значит придавать значение всей той беспардонной хуле или просто человеческой глупости, которые вовсе не заслуживают серьезного внимания. И тут вполне достаточно поставить один вопрос и добросовестно на него ответить:

«Скажите, мог ли ни на что не способный народ, да еще в придачу обремененный «бабьей» и «рабьей» душой отстоять свою независимость в многолетней борьбе с татаро-монголами, вышвырнуть из пределов своей страны поляков с их католицизмом, остановить экспансию Швеции, Турции и крымских татар, разгромить непобедимую армию Наполеона, а в нынешнем веке непобедимую армию Гитлера и тем самым дважды спасти Европу от притязателей на мировое господство, трижды побывать в Берлине и не оставить своим военным «вниманием» многие европейские столицы, в том числе и Париж; создать государство, простиравшееся на три материка: Европу, Азию и Америку, то есть от берегов Балтики до Аляски включительно?»

Добросовестный, без каких-либо интеллектуальных ужимок ответ разом перечеркивает всю русофобствующую хулу на русский народ, а заодно и на его историю.

Что же касается русской лени, то мы уже о ней поговорили, кажется, достаточно, так что теперь нам остается прояснить еще один немаловажный вопрос: **является ли лень нашей родовой чертой или же это что-то благоприобретенное?**

Русская историография делит нашу историю (дореволюционную) на два периода: допетровский — Московская Русь, и послепетровский — Российская империя. Правда, Г. Федотов вносит, на мой взгляд, очень верную поправку: «Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы —

два неизбежных срыва России, преодолеваемых живым национальным духом. В соблазнах крепнет сила. Из немощей родится богатство. Было бы только третье, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной православной вехой в судьбе России является Киев, то есть идея Киева».

Об этом, конечно, не следует забывать. Киев действительно наша общая духовная родина, там мы стали православными, там мы стали и русскими, однако история распорядилась так, что мы оказались то ли эмигрантами, то ли изгнанниками, и Киев живет в наших душах каким-то доисторически дорогим воспоминанием, а национальный наш характер вырабатывался в иных, более северных широтах.

Петр I не только перенес столицу из православной Москвы во вновь отстроенный Петербург и тем самым вытеснил из народного сознания религиозно-государственную идею «Москвы — Третьего Рима», но и полностью перестроил всю государственную структуру. Крепких земле людей, то есть крестьянство, он уравнял с холопами и кабальными людьми, лишил их гражданских прав, частной собственности и всякой экономической инициативы, отдав их навечно в полную собственность дворянству, которое могло их покупать или продавать точно так же, как и любую другую собственность.

Но совместно с этим правом дворянину вменялась обязанность непременной службы государству. Вот что писал по этому поводу знаток крепостного права профессор И. Беляев: «Дворянин, по закону, исключительно перед другими классами имел право владеть населенным имением и крепостными людьми, и вследствии этого права мог приобретать таковые имения посредством частных сделок; но само владение непременно было связано с государственной службой дворянина; без службы он не только лишался права на приобретение, но терял и то, что уже приобрел, чем владел по покупке или другой частной сделке».

Итак, частная собственность дворянина не была абсолютной, вернее, она таковой оставалась лишь до тех пор, пока дворянин не уклонялся от государственной службы.

Великий преобразователь и свирепый перестройщик, как известно, издал сотни указов и законов, но то ли он возомнил себя уже бессмертным Богом, то ли бежал всякой мысли о собственной смерти, но он так и не отважился сотворить закона о престолонаследии. А в результате в течение ста лет

российским престолом распоряжались гвардейские офицеры и те вельможи, которым удавалось склонить гвардию на свою сторону. Так, восприемницей самого Петра, по сути дела, стала кухарка, нареченная на российском престоле Екатериной I. И на то была воля гвардии и тех, кто за ней стоял. Естественно, дворянство повело борьбу за расширение своих прав и за сужение своих обязанностей. Наконец, **18 февраля 1762** года император Петр III подписал Манифест, дарующий дворянству вольность. «Дворяне, — отмечал И.Беляев, — получив свободу служить и не служить, тем самым приобрели право полной собственности над крестьянами, после этого манифеста право дворян владеть крепостными людьми более уже не условливалось никаким обязательством в отношении к государству». Крестьяне же были освобождены от крепостной зависимости ровно через 99 лет, день в день — **18 февраля 1861 года.**

После государственного переворота Екатерина II 3 июля того же года слово в слово повторила Манифест бывшего своего супруга, а 21 апреля 1785 года российскому дворянству была пожалована Грамота, окончательно освобождавшая его от всех обязанностей по отношению к государству. Вот несколько параграфов из этой Грамоты:

«§ 17. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды Российскому благородному дворянству вольность и свободу.

§ 18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам.

§ 19. Подтверждаем благородным дозволение поступать в службу прочих Европейских нам союзных держав и выезжать в чужие края.

§ 33. Благородный самолично изъемлется от личных податей».

Разумеется, в 1762 году не все дворяне разом бросили службу и разбежались по своим имениям: одним неплохо служилось, у других были слишком скудные имения, но главное — это психологический барьер, который следовало преодолеть. Комедия Фонвизина «Недоросль» вовсе не случайно появилась в начале 80-х годов (1782), то есть именно тогда, когда начало подрастать поколение дворян, рожденных уже после манифеста 1762 года. Этому и последующим поколениям не нужно было преодолевать никакого психологического барьера, они с пеленок были убеждены, что воля и рабы

им обеспечены навечно, а Грамота 1785 года развеяла на этот счет все сомнения.

Государственно же мыслящие люди думали на этот счет по-разному: одни из них радели о том, как бы вернуться к петровских временам, к петровской государственной структуре, когда крестьянин служил помещику, а помещик (дворянин) служил государству. Другие мыслили более радикально, и более логично: если дали полную волю дворянам, то почему бы не дать гражданские права и крестьянам...

Не случайно, что после екатерининской Грамоты Радищев приступает к работе над своими «Путешествиями из Петербурга в Москву», которые в мае 1790 года попали на книжный прилавок... Но вскоре же спохватились, нераспроданные книги были уничтожены, а автор сослан в Сибирь.

5 апреля 1797 года новый император Павел I издал закон, которым запрещал помещикам принуждать крестьян к работе по праздникам, а в будние дни использовать их на работах более трех раз в неделю. Он также несколько ограничил права дворянства на поездки в другие страны и принял закон о престолонаследии. Когда же Павел I заключил союз с Наполеоном и вознамерился послать казачий корпус в Индию, он был убит. Французский журнал «Монитор» писал по этому поводу: «Павел I умер в ночь с 23 на 24 марта. Английская эскадра прошла Зунд 31-го. История узнает связь, которая могла существовать между этими двумя событиями».

Вступив на престол, Александр I отменил поход на Индию, когда казаки уже прошли 1564 версты. Александр занял престол по закону, но при этом на него легло темное пятно причастности к убийству отца.

14 декабря Николай I подавил восстание декабристов, в котором деятельное участие принимала гвардия, и стал первым российским императором, взошедшим на престол согласно закону и даже в какой-то мере вопреки собственному желанию. Он отвел гвардии куда более скромное место, нежели то, которое она занимала ровно сто лет, начиная от смерти Петра I (1725) до подавления выступления декабристов (1825).

В России, в отличие, скажем, от Англии, дворянство не стало торговым или промышленным классом, оно, начиная от Манифеста 1762 года, постепенно деградировало и накануне Великих реформ фактически уже обанкротилось как землевладельческий класс. Достаточно сказать, что согласно X ревизии в 1859 году 65,45% ревизских душ мужского пола (это

около семи миллионов человек) было заложено, и общая задолженность дворянства государству составляла свыше 400 миллионов рублей. И как справедливо писал известный исследователь В. Семевский: «Уплата процентов по этим долгам лежала тяжелым бременем на помещичьих хозяйствах и наводила многих дворян на мысль, что было бы не дурно разделаться с этими долгами, хотя бы посредством освобождения крестьян». И этот мотив никак не назовешь альтруистическим, конечно, здесь речь не может идти о каких-то точных датах, но у нас есть все основания утверждать, что Манифест 1762 года и Грамота 1785 года постепенно превращали дворянство, то есть служилый, *господствующий* класс, в паразитическое сословие, обреченное на саморазложение, очевидными признаками которого являлись лень и безделье, а их символом — *халат.*

И только приходится удивляться, что в это «уютное» для себя время, какая-то часть дворянства сумела преодолеть соблазн халата и самоотверженно служила отечеству, но если мы припомним Отечественную войну 1812 года, то увидим, что и Кутузов, и Ермолов, и Багратион, и Раевский, и Милорадович перешагнули в эту эпоху из XVIII века, когда деградация только еще начинала подтачивать здоровую основу господствующего класса. И тут мне хотелось бы поспорить с И. Солоневичем, а точнее, с его взглядом на русскую литературу XIX века, который он изложил, правда мимоходом, в своей замечательной книге «Народная монархия».

«Мимо настоящей русской жизни, — писал Солоневич, — русская литература прошла совсем стороной. Ни нашего государственного строительства, ни нашей военной мощи, ни наших организационных талантов, ни наших беспримерных в истории человечества воли, настойчивости и упорства — ничего этого наша литература не заметила вовсе».

Что ж, с этим, пожалуй, можно, в принципе, и согласиться. «Онегины, Маниловы, Обломовы, Безуховы и прочие птенцы дворянских гнезд, говоря чисто социологически, — были бездельниками и больше ничем. И, — говоря чисто прозаически, — бесились с жиру. Онегин от безделья ухлопал своего друга, Рудин от того же безделья готов был ухлопать полмира. Безухов и Манилов мечтали о всяких хороших вещах. Их внуки — Базаров и Верховенский — о менее хороших вещах».

Вот тут кое-что вызывает уже возражение, однако, чтобы возразить, необходимо еще раз процитировать Солоневича.

«Грибоедов писал свое «Горе от ума» сейчас же после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба, который «слова умного не выговорил сроду» — других типов из русской армии Грибоедов не нашел. А ведь он был почти современником Суворовых, Румянцевых и Потемкиных и совсем уж современником Кутузовых, Раевских и Ермоловых. Но со всех театральных подмостков России скалит свои зубы грибоедовский полковник — «золотой мешок и метит в генералы». А где же русская армия? Что — Скалозубы ликвидировали Наполеона и завоевали Кавказ?»

Во-первых, свою комедию Грибоедов начал писать не «сейчас же после 1812 года», а ровно через десять лет, что весьма существенно. Во-вторых, и это главное, в последнем пассаже Скалозуб почему-то называется «почти современником» Суворовых, Румянцевых и Потемкиных» и «современником» Кутузовых, Раевских и Ермоловых, а в предыдущем пассаже Базаров производится во внуки Манилова в то время, как Манилов в лучшем случае мог быть теоретически лишь его отцом. В первом случае дистанция между поколениями сводится почти к нулю, а во втором неоправданно увеличивается.

Между прочим, Румянцев родился в год смерти Петра, Суворов — пять лет спустя; первому было уже 37 лет, второму — 32, а Кутузову стукнуло 17, когда дворянство получило «вольность». Скалозуб же родился не только после Манифеста 1762 года, но и после Грамоты 1785 года, поэтому как-то трудно считать его современником всех упомянутых великих деятелей России. Ведь не приходит же нам в голову считать Брежнева современником Толстого лишь потому, что наш генсек начальным краем своей жизни соприкоснулся с конечным краем жизни великого писателя.

«Русская социально-философская медицина, — писал далее Солоневич, — ошиблась во всем: в анамнезе, в диагнозе и в прогнозе. Последнее абсолютно бесспорно. Но если ошибка в прогнозе бесспорна абсолютно, то логически ясно и диагноз был глуп».

При верном диагнозе вполне возможен неверный прогноз. Так бывает нередко. К примеру, известный в свое время историк Иван Дмитриевич Беляев (1810—1873) в своей замечательной книге «Крестьяне на Руси» дал блестящий анамнез и поставил совершенно точный диагноз. «Таким образом, — подводил он общий итог, — **болезнь русского общества**, известная под именем **крепостного права**, начавшая разви-

ваться с конца XVI века, достигла к концу XVIII века крайних пределов своего развития, и со времени Императора Павла Петровича начался перелом болезни к выздоровлению, перелом продолжающийся и в настоящее время, со всеми надеждами к близкому и совершенному выздоровлению русского общества от отвратительного недуга».

Как видим, историк дал блестящий анамнез (в этой оценке я исхожу из всего текста книги) и поставил совершенно точный диагноз, но вот в прогнозе он ошибся. А точный прогноз дал Гончаров, отправив на тот свет Обломова (дворянство), а его дворового Захара обрек просить милостыню. Прогнозы же Достоевского — это настоящие пророчества.

Если все сведения не выстраивать в точном хронологическом порядке и не устанавливать между ними причинно-следственную связь, а сваливать все в кучу, то это будет вовсе не анамнез, а просто куча фактологического хлама и не более того.

Лет десять тому назад я пришел к печальному для себя выводу, а сформулировался он примерно так: «Русская литература XIX века — это история болезни русского общественного сознания».

Конечно, речь здесь у нас шла о дворянской литературе, о дворянском общественном сознании, хотя дворянство было всего лишь численно малозначительной частью всего русского народа, однако оно являлось *господствующим* классом и занимало в государстве все господствующие высоты.

Вырвав у Петра III и Екатерины II «вольность», то есть освободив себя от службы государству, дворянство вступило на путь, ведущий к неизбежному историческому самоубийству. В халате и строить, и защищать империю не очень-то сподручно.

«Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны, — вспоминал Герцен. — Я очень любил рассказы графа Милорадовича, он говорил с чрезвычайной живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк...»

Собирался в полк, а ударился... в революционную крамолу. И пошла-поехала эстафета: Бакунин — Герцен — Кропоткин — Плеханов и так далее. Да, никто из них не погрузился в убаюкивающий халат, все они бросились в кипучую деятель-

ность, но эта деятельность, при любых намерениях, оказывалась разрушительной, то есть антигосударственной.

Одни ушли в халат, другие — в революцию, третьи — в созерцание, четвертые судорожно пытались что-то удержать, а тем временем разночинцы всех мастей штурмовали университеты, занимали кафедры, суды и адвокатские конторы, заполняли государственные учреждения и так далее. Дворянство, хотя номинально и продолжало считаться господствующим классом, теряло одну командную высоту за другой... И чеховский «Вишневый сад» прозвучал похоронным маршем этому некогда служилому сословию. Итак, мы вправе сказать, что *лень* не являлась **родовой чертой русского дворянства,** она стала поражать как общий недуг это сословие с утратой им **своих государственных обязанностей,** когда оно получило «вольность» и при том навечно сохраняло материальную обеспеченность (крепостных). Правда, история внесла свою поправочку: «навечно» оказалось иллюзией.

В период Гражданской войны дворянство (Белое движение) сумело лишь красиво уйти с исторической сцены, но выиграть сражение оно не смогло, так как то был уже финал, финал того генерального сражения, которое дворянство начисто проиграло еще в предыдущем столетии.

«М-р Буллит пишет: «Русский народ является исключительно сильным народом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения». То же говорю и я. Решительно то же говорят и самые голые факты русской истории: слабый народ *не мог* построить великой империи. Но со страниц великой русской литературы на вас смотрят лики бездельников».

Мистер Буллит был когда-то американским послом в нашей стране, так что Россию он знал не только по книжкам. С его характеристикой русского народа И. Солоневич полностью соглашается, а я соглашаюсь и с мистером Буллитом и с Солоневичем, так что создается уже не только общая, но даже как бы международная точка зрения и не считаться с ней, помоему, нельзя. И все-таки я позволю себе несколько усомниться в полной универсальности этой точки зрения.

Ну, о тех бездельниках, что смотрят на нас «со страниц великой русской литературы» мы уже поговорили, кажется, достаточно; теперь настал черед поговорить о другой части русского народа, чьи лики не так богато представлены в этой литературе, то есть о крестьянстве. Поставим аналогичный

вопрос: **являлась ли лень родовой чертой русского крестьянства или эта черта благоприобретенная?**

Наличие подобной черты у крестьянства подтверждается не столько даже литературой, сколько народными поговорками и некоторыми обычаями, однако я здесь не стану утомлять читателя различными примерами, а обращусь непосредственно к «голым фактам русской истории».

Надо сказать, что еще до Петра I в России было немало иностранцев, возможно, их находилось в ней больше, чем нужно. Но не в этом дело. После польского нашествия в начале XVII века к России стали очень приглядываться, а экономический шпионаж стоял даже на очень большой высоте, отсюда и осталось немало свидетельств о допетровской «отсталой» Руси. Так, член шведского посольства в Москве докладывал в 1674 году:

«1) Есть ли другая какая земля, которую Бог поставил бы, как русское царство, между всех морей света? 2) Есть ли где другая земля, которую Бог наделил бы таким множеством прекрасных рек и источников? 3) Есть ли другой народ, который так покойно и с меньшей опасностью и издержками мог бы торговать из первых рук с столь многими народами вселенной, как то делают русские? 4) Руссия имеет у себя много хороших товаров, — и в 5) она имеет то преимущество, что все ее жители, начиная от знатнейших до последних, *любят торговлю.*

К этому примолвить надобно и то, что русские купцы по большей части от природы склонны к обманам, и так в этом искусны, что и опытнейшие иностранные купцы попадаются от них в дураки. — Здесь есть пословица: на то щука в море, чтобы караси не дремали» (Йог. Ф. Кильбургер).

Обращу внимание на три обстоятельства: на древность этой пословицы, на множество лавок в Москве и на то, что все любят торговать.

А вот что доносил австрийский дипломатический агент Оттон Плейер в 1710 году:

«Налоги... все становятся тяжелее, съестные припасы с каждым годом поднимаются в цене, хлеба не так много, возовые лошади, которых должно употреблять для разной перевозки припасов, становятся реже... торговля в стране приходит в дурное положение...»

Конечно, в это время шли войны, строился Петербург, однако и по окончании войн положение мало менялось к лучше-

му да и не могло измениться к нему. Причина лежала в петровских реформах. Мы уже говорили о том, что крепостной крестьянин стал фактически рабом. Петр I уничтожил еще и сословие «гулящих людей», то есть людей, которые не были приписаны ни к какому сословию: одних (молодых и здоровых) забрали в солдаты, остальных сделали крепостными. Таким образом как бы самоуничтожился рынок рабочих рук. Теперь ни купец, ни ремесленник, не будучи благородными, не имели права иметь крепостных, а по вольному найму брать было просто некого.

А вот в какое положение попал крепостной крестьянин: «Здесь свобода крестьянина доведена до такого стеснения, — писал И.Беляев, — что крестьянин помимо помещика ничего не мог ни продать, ни купить, ни даже в свободное время идти в работники на сторону или заниматься какими-либо отхожими промыслами. Мало того, помещик строит ему дом по своему образцу и признает его только жильцом в этом доме, а не хозяином, и даже вмешивается в его семейные дела... помещик морит его трехдневным голодом за то, что он осмелится продать лишние и ненужные ему курицу или поросенка, помещик требует, чтобы у крестьянина на дворе было столько-то коров, лошадей, овец, оловянных ложек...»

Скажите, станет крестьянин проявлять какую-либо хозяйственную инициативу, к примеру, разводить тех же кур или овец, если он не имеет права их продать? Ну, предположим, рискнет, потрудится, а помещик их отберет — не положено. Попросится крестьянин в свободное время где-нибудь на стороне подработать, а помещик не разрешит, плюнет на все бедолага, заляжет на печку или, в зависимости от времени года, засядет на завалинку и примется семечки лузгать — все какое-никакое занятие.

А предположим, что крестьянин чуток грамотен. Станет он себя утруждать хотя бы элементарным обучением детей? А зачем, если и детей у него могут отобрать в дворовые, а то и на продажу? Так и внедрилась в деревню сплошная безграмотность.

Забор повалился — можно чем-либо подпереть, крыша начала протекать — можно как-то залатать. А вот подумать о том, как дом покраше сотворить — такая мысль в голову и не залетит, дом-то он опять не твой. И Кижская деревянная архитектура возникла в Олонецкой губернии, а не в Курской во-

все не потому, что в Курской дров было меньше, а потому, что в северных провинциях не было крепостного права.

Но более всего развращающе на крепостного, точнее, на его сознание действовала барщина. Пусть Павел I и ограничил ее тремя днями в неделю. Почти полтора века действовало петровское крепостное право, когда из поколения в поколение передавалась **двойная трудовая мораль.** У себя на поле крестьянин надрывается, а на барском старается любым путем схалтурить, то есть все его мысли направлены не на то, как лучше сработать, а на то, чтобы никто не заметил его умышленных упущений. Конечно, и тут тоже нужна была своя изобретательность, но подобного рода изобретательность уже негативного свойства.

Полтора столетия, которые были потрачены на преодоление петровских реформ, сбросили нас на обочину европейского экономического развития, поскольку практически был убит внутренний рынок: ведь крестьянин не только ничего не продавал, но он также ничего и не покупал. Лапти, валенки, домотканая одежда, лучина, овчина — ведь это же признаки какой-то нелепой робинзонады, что в переводе на экономический язык означает замкнутое в себе самом натуральное хозяйство, в котором барахталось примерно процентов восемьдесят населения. Застой чудовищный, но в то же время потенциал имелся огромный.

Г. Федотов в статье «Революция идет» отмечал: «Но за ней (за эпохой первоначального накопления. — *А.Л.*) идет в 80-х годах волна промышленного расцвета, капиталы приливают в текстильную индустрию, создавая мощный центрально-промышленный район. И здесь коренное московское старообрядчество сохраняет гегемонию, как и на Волге, Каме, Урале».

Между прочим, в то время Россию не случайно называли «ситцевой империей». Но я сейчас хочу сказать о другом. Спрос на текстиль фабричной выделки существовал у нас и в начале XIX века, но он в основном удовлетворялся английским импортом. В 1807 году Александр I и Наполеон заключили знаменитый Тильзитский мир, и Россия присоединилась к континентальной блокаде, направленной против Англии. В 1812 году Франция объявляет войну России, и за пять лет, воспользовавшись «блокадой», русские предприниматели так расширили свое производство, что после отмены ее уже не потребовался английский импорт.

В России в ту пору, и даже в более отдаленную были и деньги, и предприимчивые люди, но слишком медленно развивался внутренний рынок, а частично его уже захватили иностранцы.

Но если крепостные оказались задавленными и искалеченными барщиной или дворовой службой, то почему же после реформы 1861 года в России так быстро начал развиваться капитализм? Причин тут много, останавлюсь лишь на нескольких.

Во-первых, в Сибири и на русском Севере крепостного права не существовало, и не случайно Ломоносов явился из Архангельска, а не из Рязанской губернии.

Во-вторых, чуть менее половины всех крестьян были не помещичьими, а государственными, которые пользовались все-таки определенной экономической свободой.

В-третьих, к счастью, не вся Россия оказалась черноземным краем. На скудных землях многие крестьяне переводились на оброк (целиком или частично), что тоже давало какой-то простор для самостоятельной экономической деятельности.

В-четвертых, преследуемое старообрядчество, многое сохранившее из того, чем жила допетровская Русь, выдвинуло не одного коммерческого Ломоносова. С петровских времен старообрядцев обложили двойным налогом, вот они и крутились. А когда после реформы 1861 года их уравняли в правах со всеми, тогда-то они и выскочили в лидеры.

Нет, я не случайно процитировал Г. Федотова. Я и без него мог бы сказать, что в 80-х годах накатила «волна промышленного расцвета», это общеизвестно. Тут важно другое, он точно указал главный район расцвета: Москва, Волга, Кама, Урал. Если же мы присовокупим сюда еще Архангельск, то обнаружим, что это и есть тот самый обширный регион, который в московской Руси являлся основой торгово-промышленного развития страны. Правда, он не назвал Архангельска. И правильно сделал, так как к 80-м годам этот город-порт фактически зачах.

Мне могут сказать, что Петр построил порт в Петербурге и Архангельск не выдержал конкуренции.

Формально это так, однако в действительности не совсем так, вернее, совсем не так. Дело в том, что Петр попросту убил Архангельск экономически: он взял да и повысил таможенный сбор в Архангельском порту на 25 процентов, вот и утекла почти вся архангельская клиентура в Петербургский

порт. А в результате замедлилось развитие и Урала, и Сибири, и Камы, так как для них удобнее и дешевле было возить свои товары к Белому морю, а не к Финскому заливу.

Экономически можно придушить не только отдельного человека или отдельное сословие, но даже целые города и регионы, а заодно с ними и всю страну. Если раньше для нас все это являлось научными отвлеченностями, то сегодня мы убеждаемся в том на каждом шагу.

В своих «Воспоминаниях» С. Витте констатировал: «У нас народ так же трудится, как и пьет. Он мало пьет, но больше, чем другие народы, напивается. Он мало работает, но иногда надрывается работой».

К сожалению, наш знаменитый финансист в своих размышлениях дальше констатации факта не пошел. Действительно, в те времена в России пили меньше, нежели во Франции или Германии, о чем свидетельствует статистика, но напивались, надо думать, «больше, чем другие народы», и чаще всего по причине невозможности реализовать себя. А вот что касается работы, то мы уже говорили о той «двойной трудовой морали», которая на протяжении полутора столетий, передаваясь из поколения в поколение, разрушала внутреннюю дисциплину человека, когда работа отнюдь далеко не всегда являлась источником жизни. И «напивались» не только потому, что приходилось «надрываться», чаще, наверное, наоборот, по причине того, что порой работали кое-как.

Итак, если говорить о синдроме «русской лени», то его нельзя ни отрицать, ни возводить в одну из доминант русского характера; болезнь эта благоприобретенная главными сословиями (дворянством и крестьянством) на определенном историческом этапе, когда возобладали волюнтаризм верховной власти и похоть к праздному образу жизни господствующего класса, забывшими истинное свое предназначение, а потому и потерявшими инстинкт собственного самосохранения.

Нет, мы совсем не случайно возразили Н. Бердяеву, поставившему в один ряд революцию, войну и государственность. Вне государства или помимо государства человек теряет всякую опору в жизни, крестьянству нужны земля и свободный на ней труд, торгово-промышленному сословию необходима разумная правительственная покровительная система, дворянству нужен мундир, а не халат, то есть непременная государственная служба, интеллигенция обязана ощущать себя интеллектуальной лейб-гвардией, а не сокрушительницей всех

государственных устоев и нравственных начал, духовенство должно быть духовным пастырем, перед которым все равны, как перед Богом или как перед смертью.

Что касается русского дворянства, то оно окончательно себя исчерпало в 1917 году. Без монарха дворянство превращается в историческую ненужность, обремененную памятью и лишенную перспективы. Что же касается самой монархии как самой высокой формы государственного устройства, то ее еще нужно заслужить. Пока мы ее не заслужили. А ту, что у нас была, безжалостно сокрушили.

1995

«ГОРЕ ОТ УМА» КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ЖИЗНИ

О Москве

Комедия «Горе от ума» — вечная неразгаданная загадка, такая же загадка и ее автор, сумевший одной пьесой поставить себя в один ряд с теми, кого мы называем классиками великой русской литературы. Прошло почти два столетия, а грибоедовскую комедию не только продолжают ставить на сцене, но и по-прежнему о ней отчаянно спорят. И свежий тому пример — убедительная работа Андрея Баженова «К тайне «Горя».

«Полторы сотни лет истолковывается критикой «бессмертная комедия» Александра Сергеевича Грибоедова. Казалось бы, еще в XIX веке о «Горе» было сказано все. Образы героев рассмотрены со всех сторон, мысль и пафос трактованы на любой вкус. О «Горе» высказался весь цвет русской литературы и критики всех направлений... Диапазон оценок был столь широк, что Чацкий представал то патологическим умником, то патологическим глупцом, то чистым западником, то славянофилом».

Вступительная часть статьи «К тайне «Горя» и дальнейшая аргументация ее автора освобождают меня от подробного экскурса в историю литературных споров, связанных с грибоедовской комедией, хотя, конечно, полностью избежать ссылок на авторитетные имена мне все равно не удастся.

Действительно, о Чацком наговорено очень много, в том числе и лишнего. Мне лично представляется, что главным действующим лицом пьесы является вовсе не Александр Чацкий. Главное действующее лицо в ней — Москва конца десятых—начала двадцатых годов прошлого века, то есть конца александровской эпохи. В этом, наверное, и заключается главная тайна произведения, разгадать которую полностью просто невозможно, хотя несколько приблизиться к ней мы все же попытаемся.

С тех пор минет столетие, и русский историк Г. Федотов, отъехав из советской России в Париж, опубликует там в жур-

нале «Версты» свою первую публицистическую статью под названием «Три столицы».

Вот несколько выдержек из нее:

«Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его. Противоречия, живущие в ней, не раздирают, не мучат, как-то легко уживаются в народной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым...

За два века благодушного покоя развенчанная столица отвыкла от ответственности дела государева — и такую любил ее народ: безвластную и вольную, широкую и святую. Вероятно, Москва — сердце России...

За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва сохранила провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы...

Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — два столетия — в лояльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу, не по идеям, всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а **особое московское просвещенное охранение**...

Но ступите шаг от Тверской, от Никитской... Все так же гудит золотой звон «сорока сороков», по-прежнему странно волнуют в сумерках башни и зубцы древних стен. На несколько часов Москва, как добрая старая няня, убаюкает истерзанного россиянина» (выделено мной. — *А. Л.).*

Сказано точно, емко и художественно. Дух Москвы как бы не позволял унизиться ни до революции, ни до реакции. Одолев татаро-монголов, поляков и французов, Москва завоевала историческое право быть великодушной, ибо она — сердце России.

В ставшей уже хрестоматийной статье Ивана Александровича Гончарова «Мильон терзаний» как бы вскользь говорится: «В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективною законченностью и определенностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю».

Добавим от себя: Пушкину и Гоголю она «далась» уже после Грибоедова.

«Группу двадцати лиц» Гончаров нечаянно назовет «лучом света» и попадет в самую точку. Нет, Чацкий вовсе не «па-

тологический глупец» и не «патологический умник», просто за три года болтания по свету он утратил московский *стиль*, и конфликт комедии вовсе не в борьбе нового со старым или прогрессивного с реакционным, а в несовместимости *стиля с бесстильем*, поэтому-то Чацкий и оказывается в абсолютном одиночестве. Он хотел удивить Москву заемными фразами, забыв, что Москва совсем недавно пережила «грозу двенадцатого года», очистительный пожар, отпраздновала победу над Бонапартом и теперь пребывает в устойчивом состоянии умеренного патриотизма и здоровой лени, а ее лояльная оппозиционность не предусматривает никакой политической истерики и тем более бунта.

«Не социальная несправедливость, — совершенно верно замечает А. Баженов, — но именно мировоззренческая несовместимость — вот действительная, хотя и не лежащая на поверхности причина столкновения Чацкого с патриархальной Москвой».

Чацкий укоряет москвичей за смешенье двух языков: французского с нижегородским, но в его собственном сознании тоже произошло смешенье, но только не языков, а мировоззрений: петербургского с французским, и он воюет не с Фамусовым или с Молчалиным, он воюет с православно-патриархальной Москвой. За три года праздных скитаний из души юного «народолюбца» выветрился весь дворянский демократизм особого московского замеса. Помните: «Москва по сердцу, не по идеям всегда была либеральной»? Возьмем Софию, кому она доверила свои сердечные тайны? Служанке Лизе. Ну, положим, это по молодости... Тогда возьмем старуху Хлестову. Вот она приезжает на бал к Фамусову, входит в апартаменты и первые ее слова:

От скуки я взяла с собой
Арапку-девку да собачку; —
Вели их накормить ужо, дружочек мой...

С такой просьбой она обратилась к Софии.

О Чацком

А теперь вспомним первое появление нашего юного героя в доме Фамусова:

Слуга

К вам Александр Андреич Чацкий.

(Уходит.)

Чацкий

Чуть свет — уж на ногах! и я у ваших ног.

(С жаром целует руку.)

Ну поцелуйте же, не ждали? говорите!..

На долгий и пылкий монолог Чацкого София вежливо, но коротко отвечает: «Ах, Чацкий, я вам очень рада». Чацкий обижен. Следует упрек. Верная Лиза пытается помочь своей хозяйке:

Вот, сударь, если бы вы были за дверями.
Ей-богу, нет пяти минут.
Как поминали вас мы тут.
Сударыня, скажите сами.

В данном случае Лиза не лукавила. Действительно, перед самым появлением Чацкого они вели разговор и о нем. «Кто так чувствителен, и весел, и остер, как Александр Андреич Чацкий...» Эти слова принадлежат Лизе. Стало быть, Лиза знавала Чацкого до его отъезда, и он ее хорошо знал.

Однако Чацкий при своем появлении ведет себя так, будто Лиза — шкаф, тумбочка, ну, в лучшем случае, красивая статуэтка, на которую можно не обращать никакого внимания, будто в комнате, кроме него и Софии, никого нет. Лизу он не видит и не слышит: на ее реплику с его стороны не последовало никакой реакции. Чацкий заводит разговор с Софией о «смешенье языков», но к Лизе остается глух.

Да, Хлестова — крепостница. Об арапке и собачке она говорит как бы через запятую, однако она не забудет позаботиться о тех, кто в силу сложившихся обстоятельств ходит «под ней». Таков же и Фамусов, всегда готовый «порадеть родному человечку». А что тут плохого? Когда же «под ним» оказался безродный Молчалин, он и ему «порадел», да еще как! Но мы ничего не знаем об отношении Чацкого к своим крепостным, зато становимся свидетелями его бездушного отношения к Лизе: служанка для него — всего лишь неодушевленная вещь.

В. Ключевский в статье «Евгений Онегин и его предки» писал: «Заурядный екатерининский вольнодумец (это Фамусов. — *А. Л.*) оставался добр и весел, не скучал и не тосковал. Тосковать будет его сын при Александре I в лице Чацкого, а скучать — его внук в лице Печорина при Николае I. Когда наступила пора серьезно подумать об окружающем, они начинали размышлять о нем на чужом языке, переводя туземные русские понятия на иностранные речения, с оговоркой, что хотя это не то же самое, но похоже на то, нечто в том же роде... русский мыслитель не только не достигал понимания родной действительности, но и терял способность понимать ее».

Так что если говорить о болезни Чацкого, разумеется, не в клинически-психиатрическом смысле, а в психологически-бытовом, то «свет» оказался недалек от истины.

Оставьте ученых поводырей и зайдите в дом Фамусова так, будто вы — современник грибоедовских героев и являетесь не театральным зрителем, а невидимым свидетелем разыгравшейся житейской комедии. К тому же вы ничего не знаете ни об Онегине, ни о Печорине, ни о других литературных героях, которые составили в дальнейшем когорту так называемых «лишних людей».

Чацкий оставил Софию, когда ей было четырнадцать лет. Три года он не подавал о себе знать:

Три года не писал двух слов!
И грянул вдруг как с облаков.

За это время София превратилась в очаровательную девушку, она могла быть уже обручена или просто влюблена в кого-то — с кем в такие годы подобное не случается? Любой нормальный человек не стал бы после столь долгой отлучки и произнесенного им первого комплимента домогаться поцелуя:

Ну, поцелуйте же... —

а непременно откликнулся бы на первую спасительную для него реплику Лизы и не оставил бы ее без внимания, постепенно улавливая нынешнее истинное отношение к нему Софии.

А что же Чацкий? Не добившись поцелуя от Софии и не придумав ничего лучшего, он начинает пушить всех и вся, причем начинает с Москвы, самой Софии, ее отца, дяди и заканчивает тетушкой. Отличный дебют, чтобы расположить к себе!

Чацкий

Помилуйте, не вам, чему же удивляться?
Что нового покажет мне Москва?
Вчера был бал, а завтра будет два.
Тот сватался — успел, а тот дал промах,
Все тот же толк, и те ж стихи в альбомах.

София

Гоненье на Москву. Что значит видеть свет!
Где ж лучше?

София явно уязвлена. Ей обидно и за Москву, которую она любит, и за балы, в коих находит удовольствие, и за альбомы — не исключено, что она тоже обзавелась таковым. Мы уже говорили, что Чацкий *не слышал* Лизу, но ведь он *не слышит* и Софию. И трудно понять, чем он так воодушевился, если продолжил свой монолог совсем уж в неуместном духе:

Чацкий

Ну что ваш батюшка? все Английского клоба
Старинный, верный член до гроба?
Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?..

А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет который поселился...

Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест...

София

Вот вас бы с тетушкою свесть,
Чтоб всех знакомых перечесть.

И наш страдающий от ума герой, не улавливая в словах Софии явной издевки, цепляется за бедную «тетушку».

Чацкий

А тетушка? все девушкой, Минервой?
Все фрейлиной Екатерины Первой?
Воспитанниц и мосек полон дом?

Скажите, неужели если молодой человек при объяснении в любви намекнет девушке, потерявшей мать, о скором «гробе» ее отца, затем спросит, не «отпрыгал ли свой век» ее дядя, далее укажет на ее родство с каким-то чахоточным ненавистником книг, а в заключение зло высмеет ее родную тетушку, то девушка от восхищения должна броситься ему на шею?

Кажется, Чацкий не только всерьез намеревался отлучить Софию от родного отца и ото всей ее родни, но и превратить свою будущую жену в домашнюю аудиторию, перед которой он репетировал бы свои бесконечные обличительные монологи, питаясь светскими сплетнями. Чацкий не способен к диалогу, поскольку он *не слышит* собеседника, о чем лучше всего свидетельствует его итоговый монолог.

Слепец! я в ком искал награду всех трудов!

Простите, о каких, собственно, трудах ведется речь? То, что Чацкий пылил словами в доме Фамусова, так тут больше трудились те, кто вынужден был выслушивать его монологи. Или он перетрудился за три года своих странствий? Непохоже. Так, в разговоре с Чацким Молчалин советует ему нанести визит Татьяне Юрьевне:

Частенько там
Мы покровительство находим, где не метим.

Чацкий гордо отвечает:

Я езжу к женщинам, да только не за этим.

О своих чувствах к Софии Чацкий утверждает:

Которые во мне ни даль не охладила,
Ни развлечения, ни перемена мест.

При встрече с Платоном Горичем Чацкий опять вспоминает о былых развлечениях, но отнюдь не об их совместном труде.

Зачем меня надеждой завлекали?
Зачем мне прямо не сказали?..

Здрасьте! Чем заканчивается разговор Чацкого с Софией при первой их встрече? Последние слова Чацкого: «Велите ж мне в огонь: пойду, как на обед». София: «Да, хорошо — сгорите, если ж нет?» В этом вопросе заключен исчерпывающий ответ на все вопросы и сомнения Чацкого. В последнем их разговоре София прямо говорит Чацкому не только кого она любит, но и за что. И кто виноват, если Чацкий упрямо считает, что София просто обречена любить его и никого другого.

Чацкий

Что все прошедшее вы обратили в смех?!
Что память даже вам постыла...

На самом деле все было наоборот. София дорожила «прошедшим» и по силе возможности защищала его. А «прошедшее» «обращал в смех» сам Чацкий. «Мундир! Один мундир! Он в прежнем их быту...» или «Дома новы, но предрассудки стары». А откуда он это знает? Где он был, что он видел? Пробыв полсуток в Москве, а точнее в доме Фамусова, он вдруг заявляет: «Нет! недоволен я Москвой». Это звучит совсем уже комично.

Когда мы обиделись за Лизу, которую Чацкий *не видел* и *не слышал*, мы прежде всего имели в виду следующее его признание трехгодичной давности:

Недаром, Лиза, плачу:
Кому известно, что найду я воротясь?
И сколько, может быть, утрачу!

Что же *утратил* Чацкий за три года своих добровольных скитаний? Говоря словами Ключевского, он утратил *способность понимать действительность*, а потому и выглядит комедийным героем, не комичным, а именно комедийным. Не случайно автор комедии приводит на бал к Фамусову глухого князя Тугоуховского. Князь *глух клинически*, Чацкий *глух душевно* — одна эта ситуация чревата комедийными положениями.

Прежде — чем произнести свое знаменитое «Карету мне, карету!» — Чацкий разразился длиннющим монологом, в котором заклеймил всех и вся. Однако его единомышленница графиня-внучка Хрюмина кратко, а если верить, что крат-

кость — сестра таланта, то значит более талантливо сформулировала все мысли и чувства умника Чацкого:

Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать!
Какие-то уроды с того света,
И не с кем говорить, и не с кем танцовать.

А случись так: София при появлении Чацкого бросилась бы ему на шею и расцеловала, Хрюмина во время бала нашла бы себе достойного кавалера — и Фамусов был бы хорош, и его бал оказался бы прекрасен, и Москвой все остались бы довольны.

Но тогда бы не было комедии? Разумеется. Тогда бы получилась сплошная обыденщина, о которой с таким пренебрежением говорил Чацкий: «Вчера был бал, а завтра будет два. Тот сватался — успел, а тот дал промах». Так вот в данном случае Чацкий всего лишь «дал промах» — обыденщина. Однако не станем спешить с выводом.

Поначалу Грибоедов дал комедии такое название: «Горе уму», но затем его уточнил: «Горе от ума». Действительно, уму нельзя причинить горя, но от ума горе произойти может. Мы почему-то хватаемся за количественные мерки (большой или малый), а в данном случае следует оперировать качественными мерками. Каков же ум у Чацкого? *Книжный, то* есть заемный, который он постоянно демонстрирует и чаще всего не к месту. Потому-то так часто и возникают комические ситуации, а Чацкий субъективно воспринимает их как трагические.

Однако не будем строго судить юного Чацкого. Он не глупец и не умник, не западник и не славянофил. Конечно, во все времена хватало и умников, и глупцов, а вот славянофилов и западников в идейно-мировоззренческом смысле тогда еще не существовало. И многие ровесники и младшие современники Александра Андреевича прежде, чем стать славянофилами, почвенниками или неославянофилами, прошли через западничество. И у нас нет никаких оснований отказывать в той мировоззренческой эволюции, — которую проделали многие наши великие писатели и мыслители, — юному Чацкому. Герои грибоедовской комедии, в том числе и Чацкий, даже не подозревали, что они стоят накануне национальной трагедии — военного путча декабристов.

Ах! если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять

Премудрого у них незнанья иноземцев.
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?
Чтоб умный, бодрый наш народ
Хотя по языку нас не считал за немцев.

Это уже что-то свое, наболевшее да и сказано в момент смятения, а не в момент демонстрации своего красноречия. Нет, до чистого западничества Чацкий вряд ли опустится, так как западничество по сути своей есть мышление провинциальное. Станет ли он славянофилом? Возможно. Но для этого ему потребуется привести в согласование работу сердца и ума. Но возможен и более универсальный вариант: Чацкий уйдет в знаменитый русский *халат* и окончательно заплутается в нем, как то случилось с его литературным потомком Ильей Ильичом Обломовым.

Такова судьба *исторического* Чацкого, а что касается *литературного* Чацкого, то откуда нам знать, в каком направлении понесет его карета от подъезда фамусовского особняка.

Но довольно о Чацком, пора вспомнить и другого молодого героя, без которого комедия просто не состоялась бы.

О Молчалине

Свою статью А. Баженов заключает рассуждениями о дальнейшей судьбе Молчалина: «Прячась под маской светского угодника, Молчалин многого достиг: «три повышенья получил», скопил начальный капиталец, стал незаменимым для общества». Последнее абсолютно верно. Насчет «начального капитальца» — излишне преувеличено. А о «повышеньях» сказано слишком общо и отсюда: «Когда дочитываешь комедию до конца, невольно задаешь себе вопрос: вывернется Молчалин из безнадежного вроде бы положения или нет?» А. Баженов приходит к мысли, что вывернется: «Молчалин найдет, где пристроиться. И скорее всего *будет* блаженствовать на свете».

Однако это всего лишь гадательное предположение, и что значит блаженствовать? А давайте вспомним то утро, когда Фамусов, встретив в неурочный час Молчалина в компании Софии и Лизы, попытался всем им учинить разнос и, в частности, бросил в адрес Молчалина:

Ты, посетитель, что? ты здесь, сударь, к чему?
Безродного пригрел и ввел в мое семейство,

Дал чин асессора и взял в секретари;
В Москву переведен через мое содейство;
И будь не я, коптел бы ты в Твери.

Но дело тут не в должности секретаря, Твери и даже Москве, хотя и это немаловажно. В выпущенной издательством «Молодая гвардия» (1977) комедии «Горе от ума» в примечаниях говорится: «Дал *чин асессора...*» — гражданский чин коллежского асессора, равный обер-офицерскому чину капитана в армии, давал право именоваться «высокоблагородием».

Это неверно. Чин коллежского асессора равнялся не обер-офицерскому чину капитана, а штабс-офицерскому чину майора, то есть чину VIII класса, который до 1845 года давал дослужившемуся до него гражданскому лицу потомственное дворянское достоинство.

Да, решительная София могла, конечно, изгнать Молчалина из дома («Но чтобы в доме здесь заря вас не застала...»). Фамусов мог отставить от должности секретаря. А вот дворянского достоинства его мог теперь лишить только император, да и то в случае свершения Молчалиным уголовного преступления.

Да, Молчалин «три повышенья получил», однако заветным было лишь третье. Чин асессора не только открывал путь в благородное общество и при известных усилиях сулил в дальнейшем высокую карьеру, но и открывал путь к выгодной женитьбе, богатству, к полнокровной семейной жизни.

Между IX ступенькой (титулярный советник) и VIII (коллежский асессор) пролегала целая пропасть, перескочить которую удавалось далеко не каждому, и наводняли столицы многочисленные пожизненные одинокие титулярные советники, которые с потерей надежды выкарабкаться на заветную ступеньку асессора, теряли надежду и на любовь, и на достойную женитьбу: а что они могли предложить своим будущим женам и детям, кроме своего небольшого жалованья?

Согласно петровской «Табели о рангах», первый офицерский чин возводил получившего его в потомственное дворянское достоинство, а на статской службе его давал лишь VIII класс, более низкие чины давали личное дворянство, которое, в отличие от потомственного, дети уже не наследовали. Поэтому-то мы так часто встречаемся в русской литературе с несчастными титулярными советниками. Ну, хотя бы пример из романса: «Он был титулярный советник, она — гене-

ральская дочь. Он скромно в любви объяснился, она прогнала его прочь».

Или возьмем знаменитую картину П. Федотова «Сватовство майора». Почему не просто «офицера», а именно «майора»? Можно, не заглядывая ни в какие справочники, сказать, что эта картина была написана после 1845 года, потому как в означенном году вышел закон, согласно которому офицеры стали возводиться в потомственное дворянское достоинство лишь с получением первого штабс-офицерского звания — майора (VIII класс).

Вероятно, федотовский майор еще вчера был капитаном, и он ждал, ждал своего «приданого» — возведения в потомственное дворянское сословие. Скорее всего, невеста была дочерью богатого купца. Вот и сложатся капиталы: тесть внесет натуральный капитал, а зять — социальный. И далее потомки по мужской линии станут по наследству передавать свою принадлежность к первому сословию. И так до скончания рода.

Гончаров в статье «Мильон терзаний» с неоправданным пафосом писал о Чацком: «Он вечный обличитель лжи, запрятавшийся в пословицу: «один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом **победитель**, но передовой воин, застрельщик и — всегда жертва» (выделено мной. — *А.Л.*).

Увы, общий реальный результат выглядит совсем иначе: из группы «двадцати лиц», о которых ранее и мимоходом упомянул знаменитый писатель, девятнадцать оказались жертвами надувательства, а победителем стал лишь двадцатый: Алексей Степанович Молчалин, в прошлом безродный мелкий чиновник, а теперь потомственный дворянин.

Конечно, мы не знаем, что ожидает *литературного* Молчалина впереди. Возможно, он дослужится и до тайного советника, а возможно через пару месяцев попадет под извозчика. Однако судьба *исторического* Молчалина нам хорошо известна. Русское родовое дворянство пережило в XIX веке великую трагедию, и грибоедовская комедия «Горе от ума» — ее пролог, толстовская «Война и мир» — обширная глава-реквием, а эпилогом можно считать чеховскую комедию «Вишневый сад».

Но все это случится потом, а меня сейчас по-прежнему тянет в уютный московский особняк Павла Афанасьевича Фамусова, где обитают или гостят очень симпатичные русские люди и, в частности, юная служанка Лизанька.

О Лизаньке

Да, да, именно так и только ее одну назвал автор в списке «Действующие лица». Пожалуй, в чем я несколько расхожусь с Баженовым, так это в трактовке образа Лизы. «Действительно, — пишет он, — грибоедовская Лиза уже не сельская простушка, ей органично присущи черты и светской барышни. Но в отличие от Лизы — барышни-крестьянки Пушкина, Лиза из «Горя от ума» крестьянка-барышня. **Крестьянка в самой своей природной основе** — с ее здоровым, трезвым и нравственным взглядом на жизнь» (выделено мной. — *А. Л.*).

Это неверно. Лиза никакая не крестьянка, вероятней всего, что и ее родители не были крестьянами. Автор статьи «К тайне «Горя» в своем исследовании опирается на жизненную и житейскую правду, а не на фальшивые литературоведческие каноны, однако он, к сожалению, как-то пролетает мимо точных социальных координат героев грибоедовской комедии.

До петровских преобразований русский крестьянин был «крепок» земле, но не помещику, и его образ жизни и психология заметно отличались от образа жизни и психологии кабального дворового человека (холопа), который в силу житейских обстоятельств добровольно отдавался под «руку» сильного человека. Петр же уравнял в правах, точнее, в бесправии крестьянина и холопа. Теперь помещик мог оторвать крестьянина от земли и перевести его в разряд дворовых или даже продать. И в отношениях крестьянина и дворового всегда присутствовала известная доля обоюдной неприязни, а после реформы 1861 года стремления и судьбы представителей этих двух подсословий кардинально разошлись.

Крестьянин жаждал земли и воли, а дворовый жаждал воли, а иногда он ее и не жаждал вовсе. Вспомним хотя бы Обломова и Захара. Где оказался Захар после смерти Обломова? На паперти. И вспомним разбушевавшегося Фамусова:

> Ты, быстроглазая, все от твоих проказ;
> Вот он, Кузнецкий мост, наряды и обновы;
> Там выучилась ты любовников сводить,
> Постой же, я тебя исправлю:
> Изволь-ка в избу, марш, за птицами ходить...

Все-таки в «избу», а не на конюшню, а при воле не на панель.

Конечно же, добрый Фамусов покипятится-покипятится и ни в какую глушь свою единственную дочь не отправит (ведь ее замуж пора выдавать). Смотришь, и «быстроглазая» останется при ней. И все потечет по прежнему спокойному московскому руслу, где нет на пути крутых порогов и житейские комедии не имеют обычая перерастать в жизненные трагедии.

А. Баженов высказал много лестных слов в адрес Лизы, и здесь я полностью с ним согласен, однако мне трудно согласиться с тем, будто Лиза воспринимает окружающих ее людей «чисто внешне, на уровне манер, привычек, политеса, и потому все дворяне для нее где-то одинаковы. Они все же «немцы», люди чужой культуры...»

Нет, Лиза живет в той же сфере русской православной культуры в ее не очень строгой московской интерпретации. И Лиза прежде всего — *горожанка,* пусть и крепостная. Она, как и положено, но не всегда случается, любит свою хозяйку, с восхищением отзывалась о «прежнем» Чацком, по-доброму относится к Фамусову, поэтому-то она столь находчива в разговоре с каждым. К тому же Лиза очень тонкий человек.

В самом начале комедии Фамусов застает Лизу одну и начинает с ней весьма активно заигрывать, она, отбрыкиваясь, называет его баловником, затем ветреником и вдруг у нее вырывается: «Опомнитесь, вы старики...» Фамусов бросает одно только слово: «Почти». И это слово стоит в самом конце пустой строчки. Значит здесь наступила мгновенная пауза. Лиза моментально поняла, что, укорив возрастом, она страшно обидела Фамусова: преграда — только его возраст... И Лиза тут же выпаливает: «Ну кто придет, куда мы с вами?» Вот это «куда мы с вами?» просто гениально. Оно перечеркнуло обидное «вы старики» и даже как-то невзначай будто бы даже сблизило их, и Фамусов пролепетал: «Кому сюда прийти?» Далее Лиза переводит разговор на Софию, а тут и сама София подает из своей комнаты голос: «Эй, Лиза!» А что же Фамусов? Реплика автора комедии: «Крадется вон из комнаты на цыпочках».

Нет, не случайно Грибоедов назвал ее Лизанькой. Действительно, умная и очаровательная девчонка. В нашу чумную эпоху запросто могла бы служить во внешней разведке.

А вот Молчалина Лиза почти откровенно презирает и на все его комплименты и посулы довольно едко замечает:

> Вы знаете, что я не льщусь на интересы;
> Скажите лучше, почему
> Вы с барышней скромны, а с горничной повесы?

Благородным, то есть дворянином Молчании стал уже при Лизе, как говорится, из грязи да в князи. Выскочка, обманщик, предатель и повеса. Какой он барин? Холуй, да и только. Фамусов — тот не фальшивый, настоящий барин, но: «Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев, и барская любовь». Случись у нее что-нибудь серьезное с Фамусовым, так он и пристроит, и поможет. Глядишь, и в нашей литературе мог бы появиться второй Жуковский, только без смешенья рас и без смешенья вероисповеданий. Чисто русское производство. А Молчалин, тьфу, не к ночи будь помянут. Действительно, довольно о Молчалине.

О Фамусове и других

О Фамусове А. Баженов пишет: «Свойство Фамусовых и Хлестовых, за которое прощаешь им многие недостатки, — это удивительная способность, пройдя через абсолютистский безбожный век, с его навязанным атеизмом, эпикуреизмом и вынужденными компромиссами, ухитриться не утерять христианскую меру ценностей... Фамусовы сознательно или несознательно, но все-таки заботились не только о благоденствии своего чиновничьего сословия, но и о сохранении духовно-нравственного поля России».

А в феврале 1913 года Блок записал в своем дневнике: «Чтобы изобразить человека, надо полюбить его — узнать. Грибоедов любил Фамусова, уверен, что временами — больше, чем Чацкого... Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли»... Отсюда — начало порчи русского сознания — языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве, вплоть до мелочи — полного убийства вкуса».

Я полностью согласен и с мнением моего коллеги-современника, и с мнением нашего великого поэта. А вот когда я смотрю на пьедестал московского памятника Грибоедову, на котором изображены персонажи его знаменитой комедии, то мне представляется, что автор-ваятель во время своей работы усердно читал не грибоедовскую комедию, а произведения Салтыкова-Щедрина и ставшую хрестоматийной статью Гончарова «Мильон терзаний». Или он слишком уж всерьез отнесся к аттестации «фамусовского» общества, данной ему раздосадованной графиней-внучкой Хрюминой («Какие-то уроды с того света»).

В исследовании А. Баженова грибоедовской комедии Фамусов предстает не только как литературный персонаж художественного произведения, но и как *исторический тип* определенной исторической эпохи. «Удивляет Фамусов именно тем, — пишет Баженов, — что его натура ломает образ типичного светского вельможи (петербургского уж во всяком случае)... Человек сложней и прочней любой хитроумной механики... И, как только утихла буря радикальных реформ, московский русский мир, таящий удивительную способность к самовозрождению, начал медленно выздоравливать. И московские Фамусовы сыграли в этом не последнюю роль».

И здесь следует добавить, что выздоровление началось не само по себе, а в результате очистительной «грозы двенадцатого года», пробудившей национальное самосознания русского народа. Если говорить о литературных героях, то нам совсем нетрудно представить Фамусова с его семейством рядом с семейством того же графа Ростова, покидавшем Москву осенью 1812 года, оставляя на произвол судьбы свои дома и свое имущество, не зная, что их ожидает впереди.

Потом была Победа. Потом из пепелища возрождалась Москва... А теперь москвичи упивались собственным великодушием, погружались в спокойную праздность и приходили в недоумение от всяких резких движений и резких слов. Таковым было и «фамусовское общество», представленное разными поколениями, выдвинувшими исторические фигуры Суворова и Кутузова, Ермолова и Милорадовича. За этими поколениями стояли славные дела и великие подвиги во имя России.

Когда юный Чацкий, словно огненная комета, ворвался поутру в дом Павла Афанасьевича Фамусова, возможно, где-то в другом московском особняке еще досматривал свои детские сны его тезка, который, много лет спустя, оказавшись вдали от родины, будет вспоминать:

«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей... Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их...

Я очень любил рассказы графа Милорадовича; он говорил с чрезвычайной живостью, с резкой мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк».

Это из «Былого и дум» Александра Герцена, который был младшим современником героев грибоедовской комедии.

Кончалась александровская эпоха, на смену Фамусовым уже приходили Чацкие. Россия стояла перед новыми историческими испытаниями — взрыв произойдет в Петербурге, на Сенатской площади, но ударная волна всколыхнет и благодушную Москву.

О тайне «Горя от ума»

В беседе с французским критиком М. де Вогюэ Достоевский скажет о русских писателях 40—60-х годов, что все они «вышли из «Шинели» Гоголя». Возможно, это и так, но если говорить о самом Гоголе, то можно заметить, что его «Мертвые души» вышли из «Горя от ума», правда, Гоголь в своей поэме прельстился не образом Чацкого, а образом Молчалина.

Молчалин признавался Лизе:

Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья —
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья...

А вот наставление чичиковского отца: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь».

И Павлуша угождал, так угождал, что, когда попал под начало хмурого, как дождливый осенний день, повытчика, на лице которого никто и никогда не видел улыбки, в лепешку разбился, а своего добился. Сначала хмурый повытчик пригласил Павла Ивановича на чай, затем поселил его в своем доме. У повытчика засиделась в девках рябая дочь, и Павел Иванович изобразил ухаживание за ней, повытчика стал называть папенькой и ручку ему целовал. Повытчик так расчувствовался, что похлопотал за будущего зятя, и тот вскоре стал тоже повытчиком. И Чичиков тут же оставляет дом своего благодетеля, которому только и останется, что бурчать себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!»

Возможно, что и Молчалин, получив свое (чин асессора), начал тяготиться пребыванием в доме Фамусова: притворяться влюбленным, укрощать свои страстишки и по сути дела всегда находиться под чьим-то контролем. Поэтому он, скорее всего, и стал нагло волочиться за Лизой, не боясь никаких разоблачений — нужным чином и влиятельными покровителями на стороне он уже обзавелся.

Во всяком случае, Чичиков, освободившись от опеки повытчика, сделал потом неплохую карьеру: он дослужился до чина коллежского советника (VI класс), равный военному чину полковника. Работая на таможне, он войдет в «тайные сношения с контрабандистами», однако затем погорит и потеряет нажитый полумиллионный капитал. Вот тогда-то с десятью тысячами рублей Чичиков и пустится в хитроумную аферу с «мертвыми душами».

Перед тем, как сесть в свою карету и укатить в неизвестном направлении, Чичиков своими странными коммерческими новациями переполошил все общество губернского города N и оно... лучше прямо по тексту: «из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно — странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон...»

По-моему, все это очень напоминает сюжетную развязку грибоедовской комедии. А возьмите знаменитый сон пушкинской Татьяны («И снится чудный сон Татьяне...»), в котором Онегин возглавляет целую банду различных чудовищ, и сравните его со сном Софии:

Тут с громом распахнули двери
Какие-то не люди и не звери...
Нас провожают стон, рев, хохот, свист чудовищ!

Правда, здесь возглавляет всю эту банду... родной батюшка. Да и Онегин, как и Чацкий, получил поворот от ворот после долгой добровольной отлучки.

Пушкин справедливо говорил, что «Софья начертана не ясно», но ведь и Чацкий тоже начертан не очень ясно. А иначе и быть не могло, поскольку Грибоедов ухватил эти исторические русские типы в период их зарождения. Потом их станут прояснять и Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев, и Толстой, и Гончаров. И общими усилиями будет создана замечательная портретная галерея: по одну сторону займут свое место порт-

реты прекрасных русских женщин, а по другую сторону займут свое место портреты мужчин, которых, как известно, назовут «лишними людьми».

Блок в 1919 году писал: «Восемнадцатый век дал большие возможности и для комедии и для трагедии (Фонвизин и Сумароков). Девятнадцатый создал сразу великую комедию («Горе от ума» — до сих пор неразгаданное и, может быть, величайшее творение всей нашей литературы)...»

В настоящей работе я постарался всего лишь кое-что прояснить в грибоедовской комедии, но никак не покушался на разгадку ее *тайны*. За отсутствием аргументов не стану возражать Блоку по поводу того, что «Горе от ума» — величайшее творение всей нашей литературы».

1997

ВЕЛИКИЕ СОВРЕМЕННИКИ

Достоевский и Чернышевский

Отношения великих писателей, даже если между ними не было дружбы, а существовало взаимоотталкивание, все равно явление для литературы плодотворное. Особенно если это отношения не просто писателей, а общественных деятелей, мыслителей, проповедников великих идей, властителей дум...

У Достоевского с Чернышевским произошли только две документально установленные встречи, в переписку между собой они никогда не вступали, хотя интерес друг к другу был для них величиной постоянной, как была постоянной величина их влияния на читательскую аудиторию. И этот взаимный интерес подогревался схожестью их гражданских целей, а взаимное отталкивание обусловливалось не столько выбором несхожих путей, по которым каждый намеревался идти сам, сколько намерением вести этими путями к намеченной цели если не все человечество, то во всяком случае свой народ. И тут за теоретическими разногласиями стояли не какие-то амбиции, а ощущение возложенной на себя ответственности за судьбу народа.

Достоевский был старше Чернышевского семью годами и принадлежал к тому писательскому поколению, эстетические, а во многом и мировоззренческие взгляды которого формировались под непосредственным воздействием Белинского. Как известно, именно Белинский благословил первое произведение Достоевского, выдав начинающему автору щедрые авансы.

Однако следующая повесть Достоевского «Двойник» вызвала отрицательную оценку Белинского и его кружка, и в самом начале 1847 года ее автор порвал все отношения с кружком Белинского.

Григорович, бывший в курсе всех этих событий, писал впоследствии: «Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя еще боль-

ше прежнего и сделался раздражительным до последней степени».

Автор этих строк несколько заблуждался. Во-первых, рассорившись с кружком Белинского, Достоевский «замкнулся» лишь отчасти, поскольку именно в это время он начинает посещать собрания Петрашевского. Во-вторых, «впечатлительного и самолюбивого» Достоевского теперь уже никто не мог сокрушить. Как видим, литературный дебют Достоевского был бурным во всех отношениях.

А Чернышевский, «уволившись» из семинарии, в июне 1846 года приезжает в Петербург и поступает в университет. В студенческие годы он знакомится и с произведениями Достоевского. Естественно, что Достоевский в это время даже не подозревал о существовании студента Николая Чернышевского, однако, если бы судьбе было угодно, они могли познакомиться через студента-вольнослушателя Александра Ханыкова, чиновника министерства иностранных дел Ипполита Дебу или студента Павла Филиппова, с которыми тогда только что сошелся Чернышевский и с которыми по кружку Петрашевского был близок Достоевский. Но 21 апреля 1849 года в Петербурге было арестовано 34 человека, среди которых оказались и новые товарищи Чернышевского, принадлежавшие к числу наиболее активных членов кружка Петрашевского. Когда же, спустя восемь месяцев, 21 приговоренного к смертной казни петрашевца привезут на Семеновскую площадь, в числе их окажутся и Ханыков, и Дебу, и Филиппов. Будет среди них и Федор Михайлович Достоевский.

«Как легко попасть в историю, — записывает в дневнике Чернышевский сразу после ареста петрашевцев, — я, например, сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы».

Вполне вероятно (хотя дальше предположений тут идти никак нельзя), что в этот период Достоевский и Чернышевский могли бы даже сблизиться, поскольку как того, так и другого крайне интересовали социальные и политические вопросы; и тот и другой были сторонниками радикальных действий и мечтали о перевороте и о преобразовании жизни в духе социалистических идей; тот и другой, принимая в общих чертах учение Фурье, отнюдь не были его строгими апостолами, сохраняя по всем вопросам собственные суждения.

И было еще одно обстоятельство, которое могло способствовать их сближению. Дело в том, что в вопросах религии

многие петрашевцы придерживались атеистических взглядов, Достоевский же не противопоставлял социализм христианству. Так, спустя много лет он вспоминал: «Зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации».

С другой стороны, мы привыкли видеть в Чернышевском убежденного атеиста и материалиста и порой забываем, что к материалистическому мировоззрению он пришел далеко не сразу. Так, в период своего знакомства с петрашевцами он уже придерживался социалистических и республиканских взглядов, однако в своем отношении к христианству он тогда был близок к Достоевскому. Чернышевский с грустью думает о том, что он и его современники живут в эпоху, сходную с эпохой Цезаря и Цицерона, то есть в эпоху разложения старого религиозного миросозерцания, когда рождается новый порядок вещей, когда вот-вот явится новый мессия... «Что угодно богу, то да будет, — записывал он в дневнике в декабре 1848 года строки, от которых так и веет фатальной обреченностью. — Если это откровение, — последнее откровение, да будет оно, и что за дело до волнений душ слабых, таких, как моя». И почти совсем интимно: «Но я не верю, чтоб было новое, и жаль, очень жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так *благ,* так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мир, когда подумаешь о нем».

Читая труды Фурье, Чернышевский радуется, что они не противоречат его христианским убеждениям.

В конце 1849 года Достоевский отправится на каторгу, а Чернышевский, обучаясь на последнем курсе университета, все больше станет проникаться естественными практическими заботами о завтрашнем дне.

В Петербург Достоевский вернулся лишь в конце декабря 1859 года, то есть ровно через десять лет, когда Чернышевский стал уже известным критиком и признанным вождем самого радикального литературного направления. «С Николаем Гавриловичем Чернышевским, — вспоминал почти через полтора десятилетия Достоевский, — я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из *Сибири,* не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень не часто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку».

Чернышевский же в своих воспоминаниях утверждает, что впервые он встретился с Достоевским лишь весной 1862 года и ранее никогда с ним не виделся и тем более не знакомился.

Когда читаешь воспоминания Достоевского, то невольно чувствуешь, как он постоянно подчеркивает свое тогдашнее расположение к Чернышевскому. Когда же читаешь воспоминания Чернышевского, не можешь избавиться от ощущения, что рукой автора подчас двигало раздражение. Чернышевский писал свои воспоминания спустя семь лет после смерти Достоевского, то есть в 1888 году, а впечатление такое, будто только вчера они где-то схлестнулись по важнейшим для них вопросам.

«Писатель, — утверждал Салтыков-Щедрин, — которого сердце не переболело всеми болями того общества, в котором он действует, едва ли может претендовать на значение выше посредственного и очень скоропреходящего». Достоевский и Чернышевский переболели многими болями того общества, в котором они жили, и переболели весьма сильно и остро. Сам по себе факт их личных встреч в начале шестидесятых годов ничтожен, но он интересен тем, что позволяет увидеть, насколько же потом разошлись если не в болях, то в своих устремлениях два этих великих человека. В конце сороковых Достоевский мечтал о социальном перевороте, даже вербовал поэта А. Майкова в самый радикальный политический кружок в Петербурге — кружок Николая Спешнева, а Чернышевский тогда мечтал как о государственном перевороте, так и об изобретении «вечного двигателя», как о профессорской кафедре, так и о писательском поприще. Один из них был весь в действии, другой — в мечтах.

За тринадцать лет многое изменилось. Теперь Чернышевский — признанный вождь революционного движения в России, а Достоевский — активный противник революционного метода переустройства жизни. И тут ровным счетом не имеет никакого значения, встречались они где-то до 1862 года или ни разу не попадались друг другу на глаза.

Именно на годы сибирской ссылки Чернышевского пришелся самый расцвет творчества Толстого и Достоевского. В свое время высоко оценив произведения первого и отметив ранние произведения второго, Чернышевский никак не отреагировал на более поздние их вещи, которые принесли им настоящую славу и выдвинули обоих в ряд первых писателей России.

Порой мы излишне подчеркиваем тяжесть внешних условий и одновременно как-то забываем о тяжелом внутреннем состоянии Николая Гавриловича в период его почти тридцатилетней неволи. И уж совсем как о само собою разумеющемся говорим о том, что Чернышевского ничто не могло сломить. Действительно, он мужественно и достойно выдержал все выпавшие на его долю тяжелейшие испытания, что вовсе, однако, не означает, будто это далось ему без особых душевных затрат и потерь.

Когда окончились годы каторги и потянулись долгие однообразные годы вилюйской ссылки, Чернышевского не могла не удручать мысль, что из активного участника жизни он постепенно превращается в ее пассивного свидетеля. А это было мучительно обидно, обидно от невозможности самому влиять на ход исторических событий, влиять не вообще, а ежедневно, ежечасно.

Нет, Чернышевский не завидовал писательской славе Толстого и Достоевского, — он досадовал на собственную судьбу. Разумеется, благополучная судьба Толстого не для него. А вот судьба Достоевского... Тот же Алексеевский равелин, смертный приговор, каторга, ссылка... Зато потом — двадцать с лишним лет работы, работы, без которой все остальное теряет смысл и цену.

Медленно тянулись дни в неволе, а годы пролетали незаметно. Шестьдесят лет... И все нужно начинать сначала. Ведь он еще не сказал своего *главного* слова.

Разумеется, можно возразить: дескать, с конца пятидесятых годов Чернышевский почти полностью переключился на политико-экономические проблемы и потому, вероятно, прошел мимо зрелого творчества Толстого и Достоевского. Однако и Толстой, и Достоевский — это не только изящная словесность, и Чернышевский понимал это лучше, чем кто-нибудь другой. Будучи человеком исключительной интеллектуальной честности, он с горечью осознавал, как мало остается возможностей для него самого реализовать свои громадные духовно-творческие ресурсы.

Известно, что порой в нашем литературоведении Достоевского незаслуженно причисляли к лагерю реакционеров. При такой постановке вопроса кому придет в голову не противопоставлять, а сопоставлять искания этих людей? А между тем точек соприкосновения у Достоевского и Чернышевского

не так уж мало, несмотря на очевидное и безусловное различие их общественно-политических настроений.

В конце концов дело не в том, какие любезности или, напротив, нелюбезности они могли высказать в адрес друг друга, нельзя им ставить в вину их взаимное непонимание — слишком дороги были для каждого собственные мысли и убеждения, выстраданные в мучительных нравственных исканиях, постоянно поглощавших их великие, но вовсе не безграничные духовные ресурсы.

Как известно, Толстой недоброжелательно отнесся к роману «Что делать?». Несколько по-иному воспринял этот роман Достоевский. Если полемика Толстого с Чернышевским имела довольно скрытый характер, то полемика Достоевского с автором романа о «новых людях» носила не только откровенный, но и открыто «профессиональный» характер, поскольку здесь спор шел между людьми, говорящими на одном языке — на языке бывших фурьеристов.

Достоевский вовсе не отвергал идеалов социализма. Так, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) он со злой иронией заметит: «Если социализм где и возможен, то только не во Франции». Нетрудно понять, что здесь злая ирония направлена не против социализма, а против обуржуазившейся, по его мнению, нации, не способной уже воспринять и претворить в жизнь идеалы социализма. Достоевский не опровергает социалистических идеалов Чернышевского, он лишь ставит под сомнение пути, предлагаемые автором романа «Что делать?».

Чернышевский в свое время солидаризировался со славянофилами и высказал в их адрес немало лестных слов не только из каких-то тактических соображений. Славянофилы были у нас первыми, кто в основу своего учения попытался положить социально-историческую категорию — земледельческую общину. Правда, Чернышевский не абсолютизировал общину, как это делали славянофилы, а видел в ней тот непременный элемент, который должен войти составной частью в фундамент будущего социалистического общества, и в этом смысле он следовал одному из положений Фурье, писавшего: «Задача науки состоит в том, чтобы развить в единый, всеобъемлющий и сложный механизм эти обрывки ассоциаций, рассеянные во всех отраслях промышленности, где они возникали случайно и под влиянием инстинктов». Чернышевский и рассматривал общину как народный «инстинкт», который следу-

ет развить в единой социалистической системе. В 1860 году в статье «Капитал и труд» он намечает план промышленно-земледельческой общины, а в романе «Что делать?» — план производительного товарищества.

Достоевский же считал, что никакими внешними экономическими построениями идеалов социализма в жизнь не претворить, поэтому он и говорил, что братства «сделать никак нельзя, а надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало — надо любить. Надо, чтоб самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество...

Конечно, — продолжает развивать свои мысли Достоевский, — есть великая приманке жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, т. е. хорошо, когда тебе все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещают кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды...»; и «социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство... В отчаянии социалист начинает делать, определять будущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазнять выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды придется, кто сколько выиграет...»

Достоевский усмотрел в романе «Что делать?» вот такую попытку «уговорить» на братство, то есть «уговорить» на социализм, в котором господствует рассудочная, арифметическая программа морали и социальные фурьеристские утопии производственных мастерских, преобразующих ежедневную экономическую жизнь людей. В первых главах «Записок из подполья» (1864) он ведет прямую полемику с автором романа «Что делать?». Выступая против упрощенной психологии

«новых людей», он говорит, что «рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека», а главное в человеке есть все-таки хотение, потому как «хотенье есть проявление всей жизни, то есть всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями».

Хорошо — следуем за ходом мысли Достоевского — в конце концов можно игнорировать все противоречия человеческой натуры и все свести на один-единственный рассудок, можно придумать план прекрасной будущей жизни и уговорить людей жить по этому самому плану, то есть в строгих рамках придуманного братства. Писатель высказывает сомнение не только в том, что люди будут счастливы в подобном братстве, но и в прочности самого такого братства. «Ведь я, например, — продолжает он, — нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того, ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все логарифмы отправить к черту, и чтоб нам опять по своей глупой воле жить!»

Нетрудно догадаться, что это выпад против знаменитого «четвертого сна» Веры Павловны. Впрочем, тогда «сон» вызвал возражение не только у Достоевского. Именно этот эпизод позволил Салтыкову-Щедрину упрекнуть автора романа в «некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не предоставила еще достаточных данных».

Автор книги «Чернышевский в годы каторги и ссылки» Н. Травушкин говорит о современнике Чернышевского и активнейшем пропагандисте его произведений за границей Алексее Николаевиче Тверитинове следующее: «Можно поражаться тому, как много он сделал за два с половиной года жизни за границей для распространения идей Чернышевского. Ведь опубликованные Тверитиновым статьи, переводы и предисловия послужили материалом для авторов, писавших потом о Чернышевском во Франции, Италии и других странах. И упрекнуть его можно лишь за то, что, переводя «Что делать?», он исключил «Четвертый сон Веры Павловны».

Как видим, «четвертый сон» Веры Павловны смутил многих, даже из числа тех, кто принял роман сочувственно и вос-

торженно. Чернышевский в своем романе противопоставил капитализму с его конкуренцией и игрой частных интересов «экономическую теорию трудящихся», воплощенную в практическую деятельность своих современников (мастерские). В «четвертом сне» Веры Павловны он дал если не конечный, то весьма отдаленный результат развития (в том числе и революционного) принципа производительного товарищества. «Экономическая история, — утверждал Чернышевский, — движется к развитию принципа товарищества».

Многих сторонников романа «Что делать?», в том числе и его переводчика А. Тверитинова, вероятно, не устраивало именно то, что счастливое будущее людей изображается в строгом соответствии с уже устаревшим учением Фурье. Скорее всего это обстоятельство и побудило А. Тверитинова «улучшить» роман за счет произвольного усечения главы «Четвертый сон Веры Павловны». Достоевского же нисколько не смутили ни недостоверные подробности, что смутили Салтыкова-Щедрина, ни сама система Фурье, превратившаяся в явь в сне Веры Павловны, поскольку он и сам любил «погружать» своих героев в состояние сновидений.

К примеру, в «Преступлении и наказании» (1866) Раскольников дважды «погружается» в состояние тех сновидений, которые автор счел необходимым довести до сведения читателей. Второй сон Раскольникова (в эпилоге романа) отягощен еще его тяжелой болезнью.

«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки... Начались по-

жары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».

Совсем иное, как помним, виделось Вере Павловне в ее сне о счастливых людях, цветущих здоровьем и красотою, «ведущих вольную жизнь труда и наслаждения».

Разумеется, эти сны дают основание не для сопоставления, а совсем напротив. К тому же заметим, что роман Чернышевского опубликован в 1863 году, а роман Достоевского — в 1866-м и был в какой-то мере откликом на «Что делать?». Однако не станем торопиться и обратимся еще к одному сну.

«Дети солнца... О, как они были прекрасны! — восклицает герой. — Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость».

Увидев во сне счастливое человечество, герой обрел душевный покой: «...я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей...»

Если не очень внимательно отнестись к стилю и интонации этого отрывка, то его можно принять за фрагмент из романа Чернышевского: столько ничем не омраченного счастья в приснившихся герою ликах людей. Но это герой Достоевского из рассказа «Сон смешного человека» (1877).

С именем Достоевского обычно принято связывать такие понятия, как сложность, противоречивость. Чернышевского при его жизни называли «великим упростителем». Хотя писатель отнюдь не так прост и однозначен. Предоставим слово еще одному его герою:

«Вечная история: выходит работник, набирает помощников. Зовут людей к дружной работе на их благо. Собралась масса, готова работать. Является плут, начинает шарлатанить, интриговать, — разинули рты, слушают, — и пошла толпа за

ним. Он ведет их в болото — они тонут в грязи, восклицая: «Сердца наши чисты!» Сердца их чисты; жаль только, что они со своими сердцами потонут в болоте.

А у работника осталось мало товарищей: труд не под силу немногим, они надрываются, стараясь заменить недостаток рук чрезмерными усилиями, —надорвутся и пропадут...

И не того жаль, что пропадут они, а того, что дело останется не сделано...

И хоть бы только осталось не сделано. Нет, хуже того: стало скомпрометировано. Выходят мерзавцы и кричат: «Вот, они хотели, но не могли; значит, нельзя». — «Нельзя, —повторяет нация. — Правда, очевидно, нельзя. Только пропадешь. Лучше же будем смирны, останемся жить по-прежнему, слушаясь людей, которые дают нам такой благоразумный совет». И забирают власть люди хуже прежних.

От Гракхов до Бабефа одна и та же история... И после все она же... Этот жалкий 1848 год...

Потому не лучше ли было б умереть? — Лучше, — для человека, проникнутого живою любовью к людям. Такому человеку жизнь была бы невыносима. Видеть страдания без надежды помочь — это слишком мучительно для человека с живым чувством. Для меня очень сносно. Потому я остался жить и не буду раскаиваться».

Итак: «От Гракхов до Бабефа одна и та же история...», «Этот жалкий 1848 год...». В общем, как бы дело ни началось, а в результате побеждают плуты или мерзавцы, а честные люди обречены на гибель. Правда, это не сон, а прямое рассуждение, и даже не в духе Раскольникова, а в духе «человека из подполья». Та же общественно-политическая мечтательность о счастье всего человечества и скорбь, так сказать, в мировом масштабе — это с одной стороны, а с другой — какое-то омертвение души: «Для меня очень сносно. Потому я остался жить и не буду раскаиваться». Но это вовсе не «человек из подполья», это Левицкий из романа Чернышевского «Пролог» (1871).

Конечно, мы вправе противопоставлять автора «Что делать?» автору «Преступления и наказания» или «Записок из подполья», однако мы вправе в чем-то и сопоставлять автора «Что делать?» и автора «Сна смешного человека». В какой-то мере у нас есть даже основания противопоставлять автора «Что делать?» автору «Дневника Левицкого», а автора «Преступления и наказания» автору «Сна смешного человека».

Странное дело, мы очень много говорим о логике и диалектике Чернышевского, а сами, как правило, рассматриваем его вне связи с этими категориями, подчас лишая его характер всякого развития. Если говорится об атеизме Чернышевского или о его революционности, то непременно форсируются события и дело представляется так, будто он стал чуть ли не в детстве последовательным атеистом и революционером, а вот если говорится о фурьеризме Чернышевского, то фурьеристом он почему-то остается нередко до конца своих дней, хотя где-нибудь здесь же присутствует ссылка и на Маркса, называвшего автора романа «Что делать?» выдающимся ученым-социалистом, и на высказывание Ленина о том, что Чернышевский был самым глубоким социалистом «домарксового периода».

Кажется, мы отказались от вульгарной точки зрения, согласно которой Чернышевский написал свой роман лишь в силу того, что в условиях заключения не имел возможности писать статьи, и «Что делать?» — это вовсе и не роман, а завуалированные художественной формой политические и экономические трактаты. Но опять: от точки зрения вроде бы отреклись, однако сам анализ произведения никак не корректируется в сторону этого отречения, поскольку по-прежнему утверждается, будто в «четвертом сне» героини автор отразил собственные представления о счастливом будущем человечества.

Однако сон-то снился Вере Павловне. Да, Вера Павловна — любимый образ Николая Гавриловича, во многом даже идеализированный. Но любить своего героя — вовсе еще не значит отождествлять его с самим собой. Если мы все-таки считаем роман «Что делать?» художественным произведением, то у нас нет никаких оснований — без риска разрушить логику характера главной героини — видеть в ее снах зашифрованные предвиденья самого автора.

Сон в художественном произведении — условность, но та условность, которая не должна противоречить ни логике характеров героев, ни логике общего смысла произведения. Ведь сон пушкинской Татьяны — это сон Татьяны, и он никак не мог присниться, скажем, Онегину или Ольге, а сон Раскольникова, о котором у нас уже шла речь, — это сон Раскольникова, а не Сонечки или какого-нибудь другого героя, к примеру, той же ростовщицы, перед убийством которой Раскольникову снился сон о зверски забитой лошади. И даже два сна, принадлежащих одному и тому же герою, никак нельзя поменять

местами без явного ущерба для произведения, хотя это всего-навсего сны, то есть иррациональные, неподвластные, казалось бы, ничьей воле картины жизни.

У нас еще были бы какие-то основания подверстывать к «четвертому сну» авторское представление о контурах будущей счастливой жизни людей, приснись сей сон не Вере Павловне, а, скажем, Рахметову или Лопухову. Но отождествлять внутренний мир только что приобщившейся к общественной деятельности молодой героини и самого автора романа — одного из серьезнейших ученых того времени, экономиста социалистического толка, — дело в любом смысле бесперспективное. Не следует игнорировать и то обстоятельство, что автор романа весьма заботился о логике развития характера своей героини, о соблюдении жизненной достоверности. По этой, в частности, причине он знакомит Веру Павловну с учением социалистов-утопистов не по Фурье, а по Консидерану, который был одним из самых верных учеников и последователей Шарля Фурье и стремился в своих работах придать стройность и доказательность основным положениям учения Фурье, освобождая его от всей путаницы и несообразностей, которые вызывали законные насмешки у современников.

Конечно, в мелочах Чернышевскому порой мог изменить вкус, и тогда он в порыве умиления принимался укладывать (как подметил еще его современник Н.В. Шелгунов) свою любимую героиню не в «кровать», а в «кроватку». Это, разумеется, мелочи. Но вот если бы Чернышевский начал поднимать Веру Павловну до собственного уровня понимания социально-политических проблем, тогда бы возникли основания отказать роману в художественности.

Считать Чернышевского последовательным фурьеристом лишь на том основании, что его героиня строит свои представления о будущем в образах, доступных ее пониманию, — значит игнорировать сложный полуторадесятилетний путь научных исканий и открытий Чернышевского-мыслителя, который как никто другой понимал всю сложность революционного переустройства мира в духе социалистических идей.

Общеизвестно, роман «Что делать?» вызвал большой резонанс в среде читающей публики. Поскольку он писался и с пропагандистской целью, в нем не должно было оставаться места, к примеру, тем сомнениям, что в «Дневнике Левицкого» Чернышевский выскажет о плутах и мерзавцах, губящих

всякое общественное движение. Именно мысль о вечной победе плутов и мерзавцев послужила толчком к созданию такого образа, который мог бы им противостоять. Так в романе появился образ Рахметова. Чернышевский хорошо понимал, что если не будет Рахметовых, то повторится «жалкий 1848 год».

Иногда Чернышевского упрекали в том, будто он воспевал сильную личность и, в частности, наделил своего Рахметова чертами такой личности. Это мнение, на мой взгляд, требует уточнения. Действительно, Чернышевский отдавал предпочтение людям волевым и энергичным, однако он никогда не связывал свое понимание сильной личности с тем расхожим пониманием, которое опиралось на достоверный исторический прототип — Наполеона.

Надо сказать, полное и активное неприятие Наполеона Достоевским, Толстым и Чернышевским носило характер личной враждебности к этому идолу, вобравшему в себя, как в фокусе, черты буржуазного мироощущения. Этот идол лопнул, однако не исчез бесследно. Он распылился по миру и заразил миллионы людей «трихинами» буржуазной психологии, теми самыми «трихинами», от которых гибли люди в кошмарном сне Раскольникова. В неприятии буржуазного миропорядка, буржуазного мировоззрения, буржуазной психологии рождались идеи братства, товарищества, социальной справедливости. И тут Достоевский, Толстой и Чернышевский шли в одном направлении, хотя каждый из них торил свой собственный путь.

О расхождениях этих писателей сказано немало. И все-таки почему Чернышевский полностью игнорировал зрелого Толстого и зрелого Достоевского? Если мы сделаем допущение, что после сибирской неволи Чернышевского мало интересовала изящная словесность, то тогда возникает такой вопрос: а почему он обошел молчанием работы Карла Маркса, с которыми познакомился еще в Вилюйске? Так, из сохранившегося списка книг, полученных Чернышевским в 1872 году, мы знаем, что среди них был и «Капитал». И ни в одном письме из Вилюйска, ни в последующих своих работах Чернышевский ни разу не упомянул имени Карла Маркса.

Полностью игнорировать труд Маркса? Навряд ли. На этот счет интересное соображение высказал Е. Ляцкий: «Перед книгой Маркса, — писал он, — Чернышевский должен был во всяком случае пережить мучительнейшую трагедию

человека, оставленного на пустынном берегу перед плывущим мимо гигантским кораблем, который шел открывать новые миры для вечно алчущей человеческой мысли... Чернышевский уничтожил для себя Маркса с помощью той же диалектики, которая помогла ему свергнуть многие авторитеты, владевшие умами людей».

Он сам хотел быть именно тем гигантским кораблем, что открывает «новые миры для вечно алчущей человеческой мысли», и он был таким кораблем, однако судьбе было угодно распорядиться так, что почти в самом начале своего пути он был навсегда выброшен на берег, а другие корабли плыли и плыли... И при этой мысли его, надо думать, охватывало чувство законной ревности к судьбам тех, кому удалось реализовать свои силы. Скорее всего, при помощи той же «диалектики» он сверг для себя и Толстого, и Достоевского.

Между прочим, когда Чернышевский жил уже в Астрахани, за границей распространился слух, будто из России получена статья Чернышевского с разбором и критикой «Капитала». Существуют свидетельства, что такую статью Чернышевский писать намеревался. Н. Травушкин, подробно исследовавший этот вопрос, пишет: «Критиковать Маркса значило бы подняться выше него. Вот, пожалуй, причина того, что замысел Чернышевского написать «критическую» статью о «Капитале» остался неосуществленным или не доведенным до конца».

С одной стороны Маркса, с другой — Достоевского критиковали многие их современники, вовсе не поднявшиеся выше них; с успехом это мог сделать и Чернышевский, особенно если принять во внимание его «диалектику». Однако он, будучи серьезным мыслителем, хорошо понимал, что для «разговора» с Марксом или Достоевским недостаточно одной диалектики, тут нужно собственное учение, с позиций которого только и возможно вести с ними серьезный разговор.

Естественно, далеко не всякий писатель и даже мыслитель вырабатывает собственное учение, но Чернышевский был как раз тем писателем и мыслителем, который стремился выработать таковое. К двадцати семи годам он создал собственное эстетическое учение, давшее нашей литературе целое направление. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов Чернышевский пишет целый ряд статей политико-социального характера, в них он опирается как на опыт революционного движения в европейских государствах и ос-

вободительного движения в России, так и на различные социальные и философские концепции своего времени. Видимо, в начале шестидесятых годов он уже был готов сделать все те выводы, которые позволили бы создать ему собственную, теперь уже социальную, теорию. И создай он ее, мы, вероятно, на все остальные его работы смотрели бы только как на подступы к этому учению. Конечно, мы можем сказать наверняка, что это учение было бы о построении общества на социалистических началах, однако всякое менее общее представление или предположение об этом учении уже граничило бы с произвольными домыслами.

Не случайно, что по возвращении из Сибири Чернышевский как бы обходил стороной Маркса, как он обходил Достоевского и Толстого. Несколько страничек о своей давнишней встрече с Достоевским — и... раздражение. И причина тому не личное предубеждение против Достоевского, а досада на собственную судьбу...

Чтобы воспринять как нечто единое Пушкина и Лермонтова, Грибоедова и Белинского, Гоголя и Некрасова, Аксаковых, Хомякова и Киреевских, Герцена и Чернышевского, Тургенева и Тютчева, Достоевского и Толстого, Фета и Гончарова, Островского и Добролюбова, Лескова и Чехова, то есть тот феномен, который зовется великой русской литературой XIX века, недостаточно ограничить себя психологическими построениями и психологическими догадками, потому как роднит их и объединяет нечто более значимое, нежели талантливость в области изящной словесности. Их объединяет, несмотря на всю их исключительную индивидуальность, общее стремление сделать человека и человечество счастливыми.

Наша великая литература нам досталась не даром, за ее великий нравственный смысл заплачено многими годами крепостничества, когда исторически оно уже себя изжило. Через ссылки и казни, отчаяние и неверие, непонимание, сомнение и ошибки прошли лучшие сыны нашего народа. Они жаждали любви и братства, счастья и свободы, они пристально всматривались в прошлое или с той же пристальностью смотрели по «сторонам», и каждый из них беспощадно вглядывался в глубь самого себя, и тут ими руководила не простая любознательность, они во имя будущего искали ответов на те вопросы, которые ставила перед ними близкая, но загадочная современность.

Пусть сейчас могут показаться кому-то наивными счастливые сны Веры Павловны, или кошмарные сны Раскольникова, или отчаянные призывы яснополянского старца; пусть мы не найдем тождества между представлениями о будущем, которые предрекали наши писатели, и сегодняшним днем или не найдем тождества между прошлым и его идеализацией; пусть между самими писателями не всегда царило согласие, — все равно их частные и совокупные усилия не пропали даром: они завещали нам великое духовное наследие.

Умер Достоевский, и Толстой сказал, что у него исчезла опора. Умирают писатели, но не умирает то, что ими было содеяно для счастья человечества. Это и есть вечная опора человечества в его нескончаемой борьбе за свое счастье.

1981

ВМЕСТЕ — ВРОЗЬ...

1

«Скажите, как *честный человек*, хотите ли вы стать моей женой? Только ежели от всей души, *смело* вы можете сказать «да», а то лучше скажите «нет», ежели есть в вас тень сомнения в себе. Ради Бога спросите себя хорошо. Мне страшно будет услыхать «нет», но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно».

«Любит ли она меня, т. е. я говорю не про романтическую любовь — этого нет, про то, что кажусь ли я ей человеком в самом деле стоящим особой привязанности, человеком, с которым она будет гораздо счастливее, чем при равных денежных средствах с другим кем бы то ни было? Кажется, что так».

Нетрудно понять, что это писано разными людьми и адресовано разным женщинам, но в обоих случаях речь идет о намерении жениться. В первом случае процитировано письмо Льва Николаевича Толстого, в котором он делал предложение Софье Андреевне Берс. Во втором случае приведена выдержка из дневника Николая Гавриловича Чернышевского, делавшего предложение Ольге Сократовне Васильевой.

Если мы попытаемся из этого письма Толстого выделить главное условие, при обоюдном исполнении которого только и возможен брак, брак Льва Николаевича и Софьи Андреевны, то таким «условием» следует считать *равенство* чувств. И в этом равенстве чувств Толстой видит залог их будущего счастья.

Если мы попытаемся из дневниковой записи Чернышевского выделить главное условие, при исполнении которого только и возможен брак, брак Николая Гавриловича и Ольги Сократовны, то таким «условием» следует считать безграничную жертвенность одного и безграничное желание принимать жертвы другого. И в этом безусловном *неравенстве* чувств Чернышевский видит залог будущего счастья для обоих.

В период влюбленности, в период сватовства пишется и говорится столько всякой чепухи, пусть святой, но чепухи,

что потом, даже через немногие годы, авторам писем и дневниковых записей (устные слова легко забываются) бывает порой неловко читать свои былые уверения, обещания, клятвы или угрозы. Впрочем, как знать, может быть, вся эта чепуха и была-то единственной в жизни нечепухой, только в этом трудно себе признаться; куда легче с напускно-веселым цинизмом отмахнуться от несбывшихся надежд прошлого.

Вряд ли уместно настаивать, но все же можно предположить, что ни Толстой, ни Чернышевский и по прошествии многих лет не считали чепухой те слова, что написались в пору их сватовства, и если они даже не понимали, то не могли не чувствовать, что оказались пророками собственных судеб, и дальнейшая жизнь им вроде бы была дана для того, чтобы подтвердить верность когда-то сказанным словам. При всем разногласии «условий», которыми Толстой и Чернышевский оговаривают свой будущий брак, их сближает единство цели — счастье женщины, пусть это счастье и понималось ими весьма неодинаково: одному оно виделось в безграничной свободе женщины, другому — в обоюдной любви и духовном согласии.

Надо заметить, великие люди в отличие от людей ординарных при всей подвижности их взглядов и настоятельности духовных исканий, оборачивающихся постоянными сомнениями, остаются поразительно верными самим себе: они, являясь причиной многих изменений обстоятельств внешнего мира, четко реагируют на эти изменения и настойчиво их корректируют, но вовсе не потому, что способны своей волей направлять мировое движение, а потому, что изначально несут в себе нравственную меру будущего.

Толстой и Чернышевский жили в эпоху исторической ломки. Акт от 19 февраля 1861 года об отмене в России крепостного права, никого толком не удовлетворив, поставил перед обществом новые вопросы, породил жажду деятельности и открыл широкий простор надеждам. На глазах рушился многовековой уклад жизни, а представление о новой жизни было настолько бесконтурным, что давало право каждому дорисовывать этот контур по своему усмотрению, исходя из собственных надежд или выгод. Стремление к освобождению от любой формы принуждения должно было не только изменить многие стороны жизни, но и радикальнейшим образом изменить исторический взгляд на эти стороны жизни.

Между вопросами, занимавшими тогдашнее общество, «женский вопрос» хотя и не стал главным, но в то же время был узловым, потому как от него расходились или, напротив, к нему сходились многие важнейшие проблемы времени: социальные, правовые, нравственные, религиозные, что, естественно, не могло не найти своего отражения в литературе.

Минувший, восемнадцатый, век был исключением из долгой череды столетий самодержавного правления. Это был единственный в истории Российского государства век, когда на престол взошла женщина. Больше того, это был по преимуществу век женского правления. И даже первым президентом образованной в XVIII веке Российской академии наук тоже была женщина — княгиня Екатерина Дашкова. Однако ни личный авторитет самодержавных правительниц, ни личный авторитет главы русской науки никоим образом не отозвались на общественном положении женщины и почти не поколебали устоявшегося на нее взгляда. Поэтому и литература XVIII века осталась по преимуществу глуха к проблеме, которая в следующем веке определилась даже особым термином — *женский вопрос.*

Конечно, «женский вопрос» не есть проблема, порожденная русскими условиями XIX века, этот вопрос относится к тем вечным вопросам, которые человечество решает всегда и везде, хотя, разумеется, в разные времена звучание его в общественной жизни неодинаково. «Вообще теперь замечается стремление сблизить и сопоставить древность и современность, так сказать — *модернизировать* античную историю, — писал один из исследователей античности, В. Бузескул. — Стремление это ведет иногда к крайностям, к натяжкам... Но совершенно отвергать существование аналогии в историческом развитии древнего и нового мира при тех данных, которыми располагает современная наука, никоим образом нельзя. До известной степени оказывается верным давно уже высказанное положение, что многие из тех жизненных жгучих вопросов, которые — не решенные еще и теперь — занимают каждого мыслящего человека, волновали уже древний мир; уже он пытался дать им свое посильное решение.

К числу таких вопросов отчасти может быть отнесен и *вопрос женский*».

В то же время нельзя считать, что «женский вопрос» возбужден был возникшим вниманием к античной истории или возникшим вниманием к общественной жизни наиболее раз-

витых европейских государств. (Отсюда иногда преувеличивается, например, влияние Жорж Санд на творчество многих русских писателей XIX века). *Научный* интерес может питать любая проблема, в том числе и привнесенная извне; *общественный* же интерес всегда тесно связан с проблемами современной отечественной действительности. А на различного рода ссылки на исторические примеры или на иноземные авторитеты нужно смотреть как на стремление автора утвердить себя и своих читателей в важности и неслучайности поднимаемых ими вопросов.

Во второй половине XIX века «женский вопрос» дебатировался на страницах многих изданий, ему были посвящены полностью или частично сотни статей: научных, публицистических, литературно-критических и т. д. Изучение этих материалов может дать довольно верное представление о глубине и характере поднимаемых в связи с этим вопросом проблем, однако истинное соотношение между этими проблемами и ходом действительной жизни позволяют увидеть лишь художественные произведения, в характерах героев которых верно запечатлелся дух времени в своем историческом развитии. И к творениям великих художников прошлого мы обращаемся не только затем, чтобы получить глубокое эстетическое наслаждение, но и затем, чтобы стать «современниками» предшествующих нам поколений, обогатить себя их духовным опытом.

2

Они были ровесниками.

Один из них, Лев Николаевич Толстой, родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в имении Ясная Поляна Тульской губернии в семье родовитого графа Николая Ильича Толстого.

Другой, Николай Гаврилович Чернышевский, родился 12(24) июля 1828 года в Саратове в семье протоиерея Гавриила Ивановича Чернышевского.

Пожалуй, их жизненные дороги никогда бы не пересеклись, не посвяти они себя литературе. Шли они в литературу разными путями, а пришли в нее почти одновременно, причем в один и тот же литературный «пункт». В 1853 году Чернышевский начал сотрудничать в журнале «Современник», а годом раньше на страницах этого журнала появилось первое произведение Толстого — повесть «Детство» (1852, № 9).

В ноябре 1855 года, после того как пал Севастополь, Толстой приезжает в Петербург, и здесь происходит его личное знакомство с Чернышевским, Некрасовым, Тургеневым, Гончаровым, Островским, а в следующем году Толстой, Тургенев и Григорович подписывают с Некрасовым «обязательное соглашение», согласно которому все свои произведения они должны были отдавать в редакцию «Современника». В том же году Чернышевский публикует статью о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого. «Мы предсказываем, — писал молодой критик «Современника», — что все, доныне данное графом Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит он впоследствии: но как богаты и прекрасны эти залоги!»

Некоторые исследователи считают эти слова Чернышевского гениальным предвидением. Думается, тут есть известная доля преувеличения, поскольку при написании статьи Чернышевский в какой-то мере руководствовался и интересами журнала. Так, в письме к Некрасову от 5 ноября 1856 года он сообщал: «В «Критике» — конец моих «Очерков» и моя статейка о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого, написанная так, что, конечно, понравится ему, не слишком нарушая в то же время и истину».

А через два месяца в письме к Тургеневу он заявит: «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой. — Вы наша честь».

Кстати заметить, в это время Чернышевский и Толстой высказывают немало нелестных слов в адрес друг друга. Так, еще в июле пятьдесят шестого года Толстой, имея в виду Чернышевского, напишет Некрасову: «Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из вашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в «Современнике», а теперь срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более оттого, что говорить не умеет и голос скверный».

Вполне вероятно, что Толстому стали известны кое-какие неосторожные высказывания о нем Чернышевского, а для Чернышевского в свою очередь не остались секретом нелестные о нем мнения Толстого. Так или иначе, но близких симпатий между великими сверстниками не возникло, хотя, впрочем, между ними и не возникло откровенной вражды. Что-то их постоянно притягивало, а что-то постоянно отталкивало. Двум очень цельным и очень крупным натурам трудно было

найти во всем согласие, но еще труднее было полностью игнорировать друг друга.

В феврале 1858 года «обязательное соглашение» было расторгнуто, и образовались два враждующих лагеря: лагерь революционных демократов во главе с Чернышевским, Некрасовым и Добролюбовым и лагерь сторонников «чистого искусства» во главе с Дружининым, Боткиным и Анненковым, Толстой тогда примкнул к последним.

Прошло несколько лет, Толстой уже отвлекся от литературной борьбы, приступил к изданию журнала «Ясная Поляна» и занялся педагогической деятельностью. Групповые интересы и заботы стушевались. И вот в феврале 1862 года он отправляет письмо Чернышевскому следующего содержания:

«Милостивый государь Николай Гаврилович!

Вчера вышел первый номер моего журнала. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренно и серьезно ваше мнение в «Современнике». Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить: «Да... «Детство» очень мило, но журнал?..»

А журнал и все дело составляют для меня все.

Ответьте мне в Тулу.

Л. Толстой».

Результатом этого письма явилась статья Чернышевского во 2-м и 3-м номерах «Современника». И тут дело не в том, что Чернышевский одобрил педагогические методы Толстого (хотя отнесся отрицательно к его педагогической теории), а в том, что он мгновенно отреагировал на просьбу Толстого, и в том, что, приступая к новому и серьезному для него делу, Толстой обратился за оценкой своей деятельности именно к Чернышевскому.

И если мы захотим понять, что же притягивало этих людей, нам следует обратиться к первой статье Чернышевского о Толстом, в которой есть чрезвычайно важное замечание. «Есть в таланте г. Толстого, — писал Чернышевский, — еще другая сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью — чистота нравственного чувства...»

Можно отметить мастерство, умение писателя, согласиться с его мыслями или опровергнуть их, оценить новые идеи — для этого критику достаточно быть талантливым. Но чтобы как одну из главнейших особенностей таланта писателя отме-

тить чистоту его нравственного чувства — для этого, помимо таланта, нужно еще иметь очень сходное направление личных нравственных исканий.

О мыслях договориться нетрудно, если мысли одного созвучны мыслям другого. То же самое можно сказать и об эстетических позициях. По этим параметрам в основном и формируются литературные направления и даже личные привязанности, ибо рассуждают обычно об этих категориях или по их поводу. И общность взглядов, безусловно, не может не сближать людей.

Нравственные же чувства куда более неуловимы, и о них рассуждают гораздо реже, хотя постоянно руководствуются ими в жизни, руководствуются в своих поступках. Поступки, как таковые, очевидны или могут быть очевидны и для других, однако этим другим крайне редко известны истинные мотивы совершенных поступков, в силу чего так нечасто возникают союзы на почве схожести нравственных чувств, а если они возникают, то оборачиваются самой бескорыстной и самой прочной связью между людьми, именуемой дружбой.

Как мы уже говорили, между Толстым и Чернышевским дружбы не возникло, однако в продолжение всей жизни каждый как бы чувствовал присутствие в мире другого и не мог не считаться с этим обстоятельством, и причина тому — схожесть нравственных исканий.

3

При упрощении процесса художественного исследования действительности создание характера представляется как по возможности более точное перенесение на страницы художественного произведения живой натуры, и задача художника в данном случае сводится в основном к умению сохранить верность этой натуре.

Отсюда иногда и возникает стремление каждому герою художественного произведения во что бы то ни стало отыскать реальный прототип из реальной жизни. Спору нет, поиск прототипов и сопоставление жизненных ситуаций, что описаны в художественном произведении, с теми, что имели место быть в жизни действительной, — занятие в высшей степени увлекательное, хотя в большей степени ненужное, нежели это представляется любителям подобного рода изысканий. К тому же следует заметить, что довольно часто, задавшись целью уста-

новить тождество между прототипом и героем художественного произведения, сторонники «прототипичности» прибегают к различного рода натяжкам, искажающим действительное положение вещей. Поэтому, как правило, и отходят на второй план нравственные и гражданские искания самого автора, в силу чего исчезает подлинный масштаб личности автора.

Роману Чернышевского «Что делать?» в этом отношении тоже «повезло». Сразу же по выходе его в свет начались «узнавания»: кто из героев с кого списан, какая ситуация перенесена в роман из действительной жизни и т. д. И потом, вплоть до наших дней, эти изыскания уже не прекращались. Создалась даже целая литература о прототипах романа. Известную роль сыграла здесь и Ольга Сократовна — жена писателя, в свое время излишне категорично заявившая: «Знакомые сослужили ему службу, он с них взял некоторые черты, которыми наделил действующих лиц в романе «Что делать?». Турчанинов, Боков, один офицер и я послужили Николаю Гавриловичу материалом для изображения лиц в романе. Черты моего характера рассеяны на нескольких лиц в романе «Что делать?». Верочка — я, Лопухов взят с Бокова, офицер с Кирсанова» (естественно, здесь обмолвка: не офицер взят с Кирсанова, а Кирсанов с офицера. — *А. Л.*).

Правда, полного единодушия в этом вопросе не было. Одни, опираясь на высказывание Ольги Сократовны, утверждали, что прототипом Веры Павловны является именно Ольга Сократовна, другие доказывали, что прототипом здесь послужила Мария Александровна Обручева (сначала жена доктора Петра Ивановича Бокова, а затем жена выдающегося физиолога Ивана Михайловича Сеченова). Под Рахметовым подразумевались: саратовский помещик Павел Бахметов; публицист, участник революционного движения шестидесятых годов Владимир Александрович Обручев и даже деятель революционного движения того же времени Петр Давыдович Баллод, с которым Чернышевский познакомился уже после написания романа, на каторге.

Немало разговоров было и о толстовских прототипах. Когда, например, в 1925 году появились в печати воспоминания Татьяны Андреевны Кузминской, то в одном из журналов писалось: «Наташа Ростова сошла со страниц «Войны и мира» и написала воспоминания». К тому времени уже устоялось мнение, будто прототипом Наташи Ростовой послужила Таня Берс (в замужестве Кузминская). В «Живом трупе» иногда усматрива-

ли переложение истории супругов Екатерины и Николая Гимер. Трудно назвать толстовского героя, которому бы не сыскался прототип. Сергей Николаевич, брат писателя, говорил: «Левочка может себе позволить роскошь брать негодных управляющих. Например, Тимофей Фоканыч принес ему убыток в 1000 руб., а Левочка опишет его (имеется в виду роман «Анна Каренина».— *А. Л.*) и получит за это описание 2000 руб...»

Сам Лев Толстой категорически возражал против того, чтобы в героях художественных произведений усматривали портреты достоверных лиц. «Я бы очень сожалел, — писал он, — ежели бы сходство вымышленных имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что я хотел описывать то или другое действительное лицо... Нужно наблюдать много однородных людей, чтобы создать определенный тип».

Впрочем, о творчестве Толстого написано немало серьезных работ, поэтому все разговоры о прототипах его героев носят скорее развлекательный характер. А вот что касается романа Чернышевского «Что делать?», то даже в школьных программах указывались прототипы, и на этом основании в известной мере строился анализ самого произведения. Забывалось, что писатель, равно как и живописец, постоянно пользуется натурой — будь то человек, пейзаж или неодушевленный предмет, что писатель никогда не списывает натуру, а только отталкивается от нее, наполняя ее *своим* духовным содержанием. А главным прототипом почти любого художественного произведения является в первую очередь сам автор со всей его системой мышления, нравственных побуждений и сугубо индивидуальных восприятий.

4

Многие авторы работ о Чернышевском пытаются во что бы то ни стало доказать, будто Чернышевский принимал активное участие в практической революционной деятельности, и только особый конспиративный талант писателя помог ему не оставить никаких против себя улик, словно та роль, что сыграл он как идейный вождь революционной демократии, недостаточна для признания его выдающихся заслуг.

А вообще-то разве было целесообразно вовлекать такого человека, как Чернышевский, в революционную организацию в качестве рядового ее члена? Например, П. Баллод писал: «Я знаю случаи, когда людей, которых почему-либо нужно

было особенно приберегать, удерживали от деятельности, где бы они могли быть заметны». А если не рядового члена, если в качестве руководителя, одного из руководителей?

На этот вопрос Чернышевский дает исчерпывающий ответ своим романом. Безусловно, в романе нашли свое яркое отражение и социально-экономические, и политические, и семейно-бытовые вопросы. Однако главное в романе — содержание нравственных исканий самого автора, решение собственной судьбы в тесной связи с актуальными задачами своего времени, и вопрос «Что делать?» обращен не только к читателю, но и к самому себе, даже в первую очередь к самому себе.

Один из героев романа Льва Толстого «Анна Каренина», молодой генерал князь Серпуховской, соблазняя Вронского общественной деятельностью, говорил: «И вот тебе мое мнение. Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть только одно средство с удобством без помехи любить — это женитьба».

Так по Толстому. А по Чернышевскому — общественный деятель, руководитель обязан отказаться от всякой личной жизни, в том числе и от семьи, от всех личных соображений и притязаний, ибо тут не может и не должно быть никакого совмещения деятельности или интересов. Вопрос стоит жестко: или — или.

Конечно, Чернышевского не мог не восхитить поступок его земляка, помещика Бахметова, отдавшего 20 тысяч франков Герцену на дела пропаганды и уехавшего на Маркизские острова, чтобы там «завести колонию на совершенно новых социальных основаниях». В честь его он и назвал одного из главных героев романа сходной фамилией: Бахметов — Рахметов. Но назвать героя в честь кого-то — это еще вовсе не означает поставить этого «кого-то» в роль прототипа данному герою. И, пожалуй, наиболее достоверным прототипом Рахметова следует считать самого Чернышевского.

Рахметов — это идеал самого Чернышевского. Таким он хотел бы быть, таким он мог бы стать, если бы... Если бы его жизнь сложилась иначе. В этом образе Чернышевский выявляет *возможный*, но *несвершенный* итог своих нравственных исканий. И думать, будто Чернышевского могла удовлетворить роль рядового участника революционной организации, — значит перечеркнуть этот могучий характер в угоду узкопонимаемой революционности. И тут дело не в честолюбии или мак-

сималистских требованиях к себе. Он видел вокруг немало горячих голов, желавших возглавлять революционное движение, однако он хорошо понимал, что тут одного желания, одних претензий недостаточно, как понимал и то, что революционная ситуация пошла на убыль именно ввиду отсутствия людей, способных возглавить революцию.

А мог ли Чернышевский прикидывать на себя мерку вождя революционного движения? Вряд ли. Во всяком случае — в настоящем.

В своей жизни, насыщенной до предела (работа в журнале, семья), он искал выход, ибо верил во всемогущий разум человека и в его всепреодолевающую волю. И в этом смысле для Чернышевского принципиально важен образ Лопухова, в чьей судьбе во многих подробностях отразилась его собственная судьба, а судьба Веры Павловны в известной степени напоминает судьбу Ольги Сократовны, что подтверждают многие дневниковые записи, сделанные Чернышевским накануне свадьбы.

Вот, например, какой диалог состоялся между Николаем Гавриловичем и Ольгой Сократовной 19 февраля 1853 года:

Н. Г. Вам хочется выйти замуж, потому что ваши домашние отношения тяжелы.

О. С. Да, это правда. Пока я была молода, ничего не хотелость мне, я была весела; но теперь, когда я вижу, как на меня смотрят домашние, моя жизнь стала совсем тяжела. И если я весела, то это больше принужденность, чем настоящая веселость.

Н. Г. Скажите, у вас есть женихи?

О. С. Есть, два.

Н. Г. Но они дурны? Линдгрен?

О. С. Нет.

Н. Г. Яковлев? Он не дурной человек?

О. С. Поэтому-то я не могу выйти за него. Другой мой жених — старинный знакомец папеньки. Когда мы ездили в Киев, мы заезжали в Харьков... Там меня сватал один помещик, довольно богатый — 150 душ, но он старик...

И Вера Павловна говорит Дмитрию Лопухову: «У меня есть богатый жених. Он мне не нравится...»

Время действия одно и то же — начало пятидесятых годов.

«... в 1852 году жил тут управляющий домом, Павел Константинович Розальский, плотный, тоже видный мужчина, с же-

ною Марьею Алексеевною, худощавою, крепкою, высокого роста дамою, с дочерью, взрослою девицею, — она-то и есть Вера Павловна, — и с 9-летним сыном Федею» («Что делать?»).

В том и в другом случаях матери и пытались повыгоднее сбыть своих дочерей, отчего обстановка в семьях становилась все невыносимее и невыносимее.

Может возникнуть резонное возражение: дескать, хорошо, первоначальный период отношений самого писателя и его будущей жены чрезвычайно напоминает первоначальные отношения Веры Павловны и Лопухова, но ведь дальше Вера Павловна влюбляется в друга Лопухова (Кирсанова), в то время как сам Чернышевский... И Чернышевский пережил аналогичную драму, хотя финал ее был несколько иным. Но тут дело даже не в аналогичности житейских ситуаций, потому как в душе подобную ситуацию Чернышевский глубоко пережил еще в период своего знакомства с Ольгой Сократовной, которой он многократно повторял, что она в любой момент имеет право отказаться от своего слова, если у нее появится более удачная, с ее точки зрения, партия.

В этот период в дневнике появляется, например, такая запись: «Женюсь ли я на ней? вероятно, т. е. я говорю не о том, сдержу ли я свои обязательства, а о том, что вероятно, она не найдет до тех пор человека, который бы ей нравился лучше меня, которого бы она предпочла мне...»

А накануне свадьбы он размышляет так: «А если в ее жизни явится серьезная страсть? Что ж, я буду покинут ею, но я буду рад за нее, если предмет этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением...»

Вот эти размышления молодого Николая Гавриловича и лягут потом в основу переживаний Лопухова, который, инсценировав самоубийство, оставит Вере Павловне такое письмо: «Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалейте: я так люблю вас обоих (то есть предметом страсти Веры Павловны оказался достойный человек. — *А. Л.*), что очень счастлив (Чернышевский писал: «...я буду рад за нее...». — *А. Л.*) своею решимостью. Прощайте».

И при чем тут Боков, Обручева и Сеченов, если задолго до знакомства с этими людьми автор будущего романа не только продумал, но и глубоко прочувствовал, пережил ту ситуацию, которую впоследствии воспроизвел в своем романе? Не боковскими, а собственными нравственными исканиями наделил он Лопухова и дал ему силу оказаться на высоте

нравственных требований своего времени, во всяком случае тех требований, которые он предъявлял к себе сам. И во всей этой сложной коллизии носителем новой морали в романе в первую очередь следует считать именно Лопухова.

У Чернышевского было острое сознание вины — вины перед женщиной. Еще в период своего сватовства он запишет: «По моим понятиям, женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает всякое неравенство. Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчины. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства. Кроме того, у меня такой характер, который создан для того, чтобы подчиняться».

Думается, слово «подчиняться» здесь не совсем точно, уместнее в данном случае было бы употребить слово «жертвовать». И в основу любви мужчины к женщине Чернышевский клал чувство жертвенности. Таким был у него в романе Лопухов, таким в жизни был он сам. Интересы Ольги Сократовны он ставил выше всего на свете. И мы не случайно вели разговор об участии Чернышевского в практической революционной деятельности. И дело тут не в характере Чернышевского и не в его склонностях, он никого не стал бы спрашивать, привлекать его к практической деятельности или оставлять в роли идейного вождя, он сам бы возглавил эту деятельность. И не любовь к женщине остановила его на этом пути, а долг перед ней.

Читая многочисленные письма Чернышевского к Ольге Сократовне, можно увериться в том, что он до последних дней не изменил своему чувству. И это действительно так. А каково было содержание его чувства? Вот что он сам пишет двоюродному брату Александру Пыпину в феврале 1878 года, то есть на пятидесятом году своей жизни: «Влюблен в Ольгу Сократовну я был — несколько часов, при первом нашем разговоре. Это был разговор в гостях, длился с обеда до конца вечера; как обыкновенно в обществе, с длинными перерывами... Разговор мой с нею был урывками, по нескольку минут. И, в продолжение нескольких часов, я был влюбленным. Но задолго до конца вечера это исчезло. Это нимало не похоже на мое чувство к Ольге Сократовне.— Всего больше в моем чувстве к ней силен элемент уважения».

Это единственное в своем роде признание Чернышевского дает нам возможность определить главное направление его нравственных исканий, раскрыть подлинный смысл многих его поступков и общественно-литературной деятельности, наконец, понять его судьбу.

«Итак, она любила его до такой степени, что отдалась бы ему! Итак, она чувствовала страсть и теперь не чувствует ее ко мне! Итак, я не заменю ей того, что раньше испытала она!» («Дневник» Чернышевского за 1853 год.)

Преодолимо и чувство ревности к прошлому, потому что в основе собственного чувства лежит жертвенность.

«Если моя жена захочет жить с другим, я скажу ей только: «Когда тебе, друг мой, покажется лучше воротиться ко мне, пожалуйста, возвращайся, не стесняясь нисколько».

Преодолимо и чувство ревности к будущему. Никакого препятствия женщине... Это уже своего рода непротивленчество.

Жертвенность. Жертвенность возведена в абсолютный закон, и причина тому — историческая вина мужчины перед женщиной. Идеал женщины по Чернышевскому — *счастливая* женщина.

И разве мог иначе мыслить, писать, поступать Чернышевский, если в самой широкой эмансипации женщины он видел залог ее будущего неслучайного счастья?

5

И разве мог иначе мыслить, писать, поступать Толстой, если в эмансипации женщины он видел грядущие беды и для мужчины, и для самой женщины?

«Что бы было с миром, — вопрошал Толстой, — что бы было с нами, мужчинами, если бы у женщин не было этого свойства и они не проявляли бы его? Без женщин — врачей, телеграфисток, адвокатов, ученых, сочинительниц мы обойдемся, но без матерей, помощниц, подруг, утешительниц, любящих в мужчине все то лучшее, что есть в нем, и незаметным внушением вызывающих и поддерживающих в нем все это лучшее, — без таких женщин плохо было бы жить на белом свете».

Как известно, Толстой отнесся недоброжелательно к роману Чернышевского «Что делать?». Вскоре же по выходе романа он пишет пьесу «Зараженное семейство», которая, по

словам самого Толстого, была «написана в насмешку эмансипации женщин и так называемых нигилистов». Попытка Толстого поставить пьесу на сцене успехом не увенчалась, вскоре он и сам к ней охладел, и пьеса впервые была опубликована только после смерти писателя. Однако свой спор с Чернышевским Толстой продолжал.

Когда Толстой писал комедии «Нигилист» и «Зараженное семейство», он жил в атмосфере любви и семейной гармонии, в атмосфере добра и обожания. И в этом кругу человек, начавший бы вдруг проповедовать модные тогда идеи эмансипации женщины, показался бы по меньшей мере человеком неуместным, потому как все его идеи воспринимались бы здесь как покушение на настоящее и будущее счастье женщины. И напротив, всякий выпад против нигилистов, эмансипации и т. д. находил в этом кругу горячую поддержку. И не потому, что тут сплотились консерваторы и ретрограды, а потому, что здесь жили счастливые люди и, как говорится, от добра добра не ищут. Вот, к примеру, как написалась комедия «Нигилист»:

«Чего только не придумывали мы с Соней, чтобы повеселить наших милых гостей! — вспоминала Татьяна Кузминская. — Лев Николаевич добродушно относился ко всем нашим затеям. Однажды, глядя на представление нашей шарады, он сказал:

— Отчего вы не разучите какую-нибудь маленькую пьесу?

— Да где мы ее возьмем, а выписывать некогда, — говорила Соня.

— Напиши ты нам, — сказала я.

Несколько голосов подхватили:

— Да, да, Лев Николаевич, дядя Левочка, — кричали все. — Напишите нам!

— Хорошо, попробую, — сказал он.

Через три дня он принес нам написанную комедию «Нигилист», не помню, кажется, в одном действии. Мы разобрали роли и стали разучивать.

В те времена «нигилизм» только что стал проявлять себя. Повесть Тургенева «Отцы и дети» наделала много шума. Нигилизм, как плохая трава, размножался и пускал корни».

Пьесу ставили в счастливом упоении, впрочем, в этом доме в тот период многое делалось и говорилось в счастливом упоении.

«Переписанные роли были брошены, — вспоминает дальше Кузминская, — как ненужная бумага. Так мало придавалось

значения в те годы тому, что писал Лев Николаевич. Да и жилось тогда не будущим, а настоящим — молодым и эгоистичным».

Да и сам Лев Николаевич жил тогда настоящим, счастливым настоящим, дававшим ему силу если и небезмятежно, то уверенно смотреть в будущее. В такой атмосфере и создавалась эпопея «Война и мир».

Если в «Нигилисте» и «Зараженном семействе» делались открытые выпады против «новых людей» и их взглядов на женщину, то в «Войне и мире» Толстой, споря с «новыми людьми» по всем главнейшим проблемам времени, утверждал уже свою собственную концепцию жизни и свои нравственные идеалы, в основе которых покоился итог собственных нравственных исканий, пусть пока только предварительный итог. Толстой спорил даже выбором своих героев. «Я буду писать историю людей, — говорил он, — более свободных, чем государственные люди, историю людей, живущих в самых выгодных условиях жизни для борьбы и выбора между добром и злом, людей, изведавших все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний, людей таких же, как мы, могущих выбирать между рабством и свободой, между образованием и невежеством, между славой и неизвестностью, между властью и ничтожеством, между любовью и ненавистью, людей, свободных от бедности, от невежества и независимых».

То есть Толстой как бы говорил: вот перед нами люди, не обремененные материальными заботами, люди, пользующиеся всеми достижениями и благами культуры и образования, условия их жизни таковы, что вряд ли их нужно менять к лучшему, однако сами обстоятельства жизни, даже самые благоприятные, не делают человека счастливым и не обеспечивают гармонических отношений между людьми; и как только человек перестает думать об изменении самих обстоятельств жизни, он невольно начинает думать о смысле самой жизни, и эти думы приносят ему и более острое горе, и более острую радость, нежели те, что ему приходится испытывать, когда он живет в ежедневных заботах об улучшении своей материальной жизни. Поэтому, если «новые люди» Чернышевского беззаветно служат определенной идее и пытаются согласно этой идее изменить весь миропорядок, то герои Толстого ищут в этом миропорядке те его основания, которые не только откроют им истинный смысл их бытия, но и наполнят это бытие высоким нравственным содержанием. Герои Чернышев-

ского сильны своей убежденностью, герои Толстого сильны своими нравственными исканиями, которым они подчиняют свою практическую жизнь. И тут спор не столько о самих идеалах, сколько о путях, которые приведут людей к гармонии, к счастью. И, между прочим, идеалом Чернышевского вовсе не была Вера Павловна, хотя на ее стороне вся его авторская симпатия. Так, в одном из вилюйских писем он рассказал Ольге Сократовне эпизод, относящийся к дням его далекой юности, однако не забытый им и через многие годы.

«Был я студентом, — вспоминал пятидесятилетний Николай Гаврилович. — Ни с одною девушкою или молодою женщиною не говорил ни слова, это разумеется. И приключение кончилось тем, что я не сказал ни слова? — Разумеется. Но слушай. Это удивительно.

Была выставка «Промышленности и земледелия» в Манеже между Сенатом и Конно-Гвардейскими казармами. Пошел и я. Ходил и глядел на выставку. Глядел и на людей. Все молодые женщины и девушки, не довольно красивы, — это разумеется. Но идет какое-то аристократическое семейство. Старших мужчин тут нет. Лишь: мать, сыновья, дочери. Старшей дочке было лет семнадцать. Понравилась мне эта девушка, понравилась. В самом деле, дивная красавица была она. Тип лица — наиболее любимый хорошими живописцами. Волоса ее были светло-каштановые. Сама вовсе беленькая. Глаза голубые. Дивная красавица была она. И кроткое, скромное существо, доброе: то, что называют «ангел». Я пошел шагах в трех, — сбоку и любовался...»

И главное тут не то, что девушка была красива, а то, что она была счастлива, ей было хорошо с матерью и своими братьями и сестрами. Юный Чернышевский был прямо-таки потрясен счастьем этой красивой и красотой этой счастливой девушки.

Вполне возможно, девушка действительно была отменно хороша, хотя скорее всего ее такой сделало неискушенное юношеское воображение, когда потребность в одухотворенной, чистой любви способна возвысить до идеального лишь намеки на это идеальное. Но суть не в том, была ли эта девушка такой, какой она показалась юноше Чернышевскому, и даже не в том, что в какой-то миг его жизнь озарило «чудное мгновенье», а в том, какие мысли и чувства пробудила в нем эта встреча. «Но больше, — вспоминает дальше Чернышевский, — мне было грустно, будет ли она счастлива и в замужестве, как

счастлива в своем — очевидно, прекрасном семействе, лелеемая умною матерью? Мужья очень многие — хорошие люди. Но муж, который был бы для молоденькой дамы не хуже умной матери, — это бывает ли на свете? — Ох, моя милая: недолюбливал я мужей уж и тогда, — видишь ты из этого.

А я прав, моя милая. Никакой девушке, любимой в своем семействе, не следовало бы выходить замуж. Что, разве не правда? — Тебе не было хорошо в твоем семействе. То и нельзя, собственно, строго порицать тебя за то, что ты вышла замуж».

Нет, не Вера Павловна и даже не сама Ольга Сократовна были женским идеалом Чернышевского, его идеалом, нужно думать, скорее всего и была та девушка, которую он встретил в своей юности на выставке в Манеже и которую из его памяти не вытеснили даже тридцать лет суровой жизни, и этот идеал был если и не тождествен, то очень близок идеалу Толстого. Конечно, мы не можем сказать, что встреченная Чернышевским на выставке девушка — это Наташа Ростова, однако она так обрисована, что мы вправе сказать, что Наташа Ростова и та девушка — женские типы одного ряда, то есть сходного нравственного и духовного уровня, что это люди сходной счастливой судьбы. А идеалом для Чернышевского всегда была, как мы уже говорили, счастливая женщина. И если бы он поверил, что счастье женщины заключено в муже и детях, то он бы сам восстал против того, за что неистово ратовал не только словом, но и всей своей судьбой.

Нет, я вовсе не собираюсь искусственно сближать Толстого и Чернышевского, находить между ними общее там, где ему не могло быть места, но в то же время при всем различии их пафоса они стремились если и не к одной, то к очень сходной цели, сходен был и их идеал женщины. И, между прочим, не случайно, что как в жизни Толстого, так и в жизни Чернышевского настойчиво присутствовал мотив «ухода со сцены», обусловленный не тяготами жизни, а поиском для себя иной жизни.

Мы уже говорили, что вопрос «Что делать?» был обращен Чернышевским прежде всего к самому себе. Вопрос этот был поставлен им в Петропавловской крепости. И ответ был найден: «уйти со сцены», то есть уйти из жизни близких людей, и в первую очередь из жизни Ольги Сократовны. «Уйти со сцены» — это в романе не сюжетный ход, а целая нравственная программа, которая была итогом долгих нравственных поисков самого автора и которую теперь предстояло претворить в жизнь.

Как известно, спустя два года после того, как Чернышевского сослали в Сибирь, Ольга Сократовна добилась свидания с мужем. В конце августа 1866 года она виделась в Кадае с Николаем Гавриловичем, который через одиннадцать лет расскажет в письме Александру Пыпину об этом их свидании следующее: «Несколько лет тому назад при свидании за Байкалом я упрашивал Ольгу Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых было много, не смевших, разумеется, и думать ни о чем подобном, но из которых каждый считал бы себя счастливейшим на свете человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать кому-нибудь из них... Не мог я убедить ее. — Дал пройти нескольким месяцам и перестал писать ей. Не писал целый год. Она не могла выдержать этого. — Как быть? — Я нашел себя в необходимости опять начать переписку с нею...

Несколько лет я не решался возобновлять этой борьбы с нею, — продолжал свою исповедь Николай Гаврилович. — Не потому, разумеется, что мне это тяжело; для меня это обязанность совести, которую исполнять для меня очень легко и приятно. Но для нее вышло это тяжело. Я был очень надолго в боязни возобновить».

К 1875 году боязнь эта понемногу улеглась, и теперь Чернышевский пытается разыграть ссору, пишет такие письма родным, что те, естественно, должны были обидеться на него и прекратить с ним всякие сношения. И, по всей видимости, Чернышевскому удалось бы осуществить свой план, не окажись Александр Пыпин столь проницательным и столь благородным человеком. Он «разоблачает» Николая Гавриловича, и тот признается, что действительно написал грубые и несправедливые письма в расчете вызвать ссору, и рассказывает весь «сюжет», согласно которому в конце концов он «ушел бы со сцены». «А в том, — писал Николай Гаврилович, — и было бы для меня самое важное облегчение моей совести. Совесть у меня есть. Хотелось бы перестать быть вредным для близких ко мне».

Не менее настойчиво этот мотив («уйти со сцены») звучит и в судьбе Толстого.

Впервые Толстому пришлось «уйти со сцены», когда сдан был Севастополь. Правда, из Севастополя Толстой ушел не по своей воле, а вот в отставку вышел по своей. Частную литературную деятельность он предпочел государственной службе, то есть он предпочел независимость.

Второй раз Толстой «ушел со сцены» в расцвете сил, в период его литературного признания и обострения литературно-общественной борьбы. Этой борьбе он предпочел яснополянскую тишину и, казалось бы, полную независимость. Педагогическая деятельность, поездки за границу, женитьба, счастливая семейная жизнь, плодотворная литературная работа... «Как ты мне лучше, чище, честнее, дороже, милее всех на свете...» «А работать без тебя, без того, что ты тут, я, кажется, не могу...» — признается Софье Андреевне Лев Николаевич, и в этих признаниях слышится уверенность в обоюдности их чувства, в незыблемости их семейного благополучия, почти ничем не омрачаемого. Мимолетные сомнения не находят подтверждения ни в реалиях действительной жизни, ни в беспокоящем душу самоанализе, они глохнут под напором каждодневной радости жизни; даже дни, проведенные в разлуке, приносят свою радость, «потому что в разлуке есть идеал *свой*, с которым ничто не может сравниться».

Без Ясной Поляны, без Софьи Андреевны не было бы Толстого. Свои идеалы он черпал из окружающей его жизни, не замутненной новыми веяниями и сохранившей еще многие признаки былой патриархальной жизни, опоэтизированной им ввиду надвигающейся капитализации всех условий жизни и человеческих отношений. «Все будет хорошо, и нет для нас несчастья, — пишет в ту пору Толстой, повторяя свой мотив *равенства* чувств, — коли ты меня будешь любить, как я тебя люблю...»

6

Толстой всю жизнь стерег свое чувство к Софье Андреевне и ее чувство к себе, постоянно опасаясь, как бы не нарушилось то *равенство* чувств, о котором он писал в своем первом письме к Софье Андреевне. Даже намереваясь покинуть свой родной дом, он не перестает прислушиваться к себе, к Софье Андреевне: не нарушено ли это равновесие? Безусловно, причин, останавливающих Толстого совершить решительный шаг и привести в полное согласие свою жизнь со своими верованиями, было немало, однако одной из главных все же следует считать его боязнь самолично, односторонне разрушить еще возможное и в будущем равенство чувств.

Пройдут долгие годы совместной жизни, разрушится цельность чувства, в душе найдут постоянный приют и чувство ревности, и чувство одиночества. Наступит 1897 год. 8 июля Тол-

стой, мучимый глубоким духовным кризисом, напишет прощальное письмо...

«Дорогая Соня! Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог... продолжать же жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам попадая под те соблазны, к которым я привык и которыми окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать, — уйти...»

А всего лишь за два года до этого Лев Николаевич напишет Софье Андреевне: «Ты спрашиваешь: люблю ли я тебя? Мои чувства к тебе такие, что мне думается, что они никак не могут измениться... Связывает и прошедшее, и дети, и сознание своих вин, и жалость, и влечение неопределимое. Одним словом, завязано, зашнуровано плотно. И я рад». И за два месяца до своего прощального письма Лев Николаевич напишет (13 мая 1897 года) из Ясной Поляны в Москву Софье Андреевне такие слова: «Как ты доехала и как теперь живешь, милый друг? Оставила ты своим приездом (Софья Андреевна приезжала на два дня из Москвы в Ясную Поляну. — А. Л.) такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне. Пробуждение мое и твое появление — одно из самых сильных, испытанных мною, радостных впечатлений, и это в 69 лет от 53-летней женщины!»

Однако прощальное письмо не было строгим рубежом, разорвавшим отношение Льва Николаевича к Софье Андреевне на две несхожие между собой части. Так, через десять месяцев после этого письма Толстой напишет Софье Андреевне: «Вчера писал тебе... но сейчас пишу еще словечко, чтобы сказать, что я работаю, здоров и тебя люблю», хотя за два года до прощального письма он скажет: «Мы живем вместе — врозь». Между прочим, даже в самом прощальном письме у Толстого найдутся слова в защиту Софьи Андреевны. «Я знаю, — напишет он, — что *ты не могла,* буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не осознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а, напротив, с благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени. Ты дала мне и миру то, что могла дать, и дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это».

Начиная с восьмидесятых годов между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной начинается то идейное и нравственное расхождение, которое в конце концов обернется кризисом их отношений и преодолеть который они так и не сумеют. «Обо мне и о том, что составляет мою жизнь, — не без обиды констатирует Лев Николаевич в период начала их расхождений, — ты пишешь как про слабость, от которой ты надеешься, что я поправлюсь посредством кумыса». В 1884 году Толстой пытается несколько изменить порядок в Ясной Поляне, о чем сообщает Софье Андреевне: «Я отпустил Андриана и сам убрался и напилил дров, что мне доставило большое удовольствие». В ответ он получает упрек: «Я вижу, что ты остался в Ясной Поляне не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзоны».

Но это было только началом несогласий, расхождений, размолвок, свои отчетливые черты кризис обнаружил только к исходу века, когда Толстой и написал свое прощальное письмо. В тот же год он приступил к работе над «Живым трупом». Вспомнится тут Толстому и его давний, теперь уже умерший оппонент — Николай Гаврилович Чернышевский. По сути дела, Протасов у Толстого сделает то, что в свое время сделал Лопухов у Чернышевского, однако дело не в сюжетной перекличке, а в прямом обращении к роману «Что делать?»:

«*Маша (вырывает письмо).* Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?

Федя. Да, что меня не будет.

Маша. Давай, давай, давай. Читал ты «Что делать?»?

Федя. Читал, кажется.

Маша. Скучный это роман, а одно очень, очень хорошо. Он, этот, как его, Рахманов, взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?

Федя. Нет.

Маша. Ну вот. Давай сюда свое платье. Все, и бумажник.

Федя. Да как же?

Маша. Стой, стой, стой. Поедем домой. Там переоденешься.

Федя. Да ведь это обман.

Маша. И прекрасно. Пошел купаться. Платье осталось на берегу. В кармане бумажник и это письмо.

Федя. Ну, а потом?

Маша. А потом, потом уедем и будем жить во славу».

Как известно, «во славу» Федору Протасову пожить не удалось, и в конце концов мнимое самоубийство обернулось самоубийством натуральным. Толстой и здесь спорит с Чернышевским, хотя и не по главному вопросу. В главном теперь они сошлись. Чернышевский обличал существующие условия жизни и призывал к изменению заведенного миропорядка. Толстой к революционным преобразованиям не призывал, но обличал действительность и делал это более сурово, нежели когда-то это делал Чернышевский. А возражает Толстой по такому поводу: нет, не так-то просто человеку «уйти со сцены», не так-то просто освободить от себя женщину, если даже на то и есть желание. Закон так опутывает человека, что любой шаг, даже благородный, пресекается законом. Закон как бы действует одновременно во вред всем. И здесь мотив «ухода со сцены», вытесняя мотив «равенства чувств», приобретает глубоко личный характер.

В пору своей молодости Толстой мужественно сражался в осажденном Севастополе. С не меньшим мужеством он защищал свою Ясную Поляну со всем ее укладом, однако в том и в другом случаях неравны были силы, чтобы оказаться в роли победителя. Сам Толстой ни в чем не уступил претензиям новой жизни, но в уклад «обороняемой» им теперь крепости постоянно проникали (через подросших детей, через жену) требования этой новой жизни, так противоречащие верованиям самого Толстого.

Толстой пережил глубокий духовный кризис, перевернувший как всю его личную жизнь, так и его представление о смысле самой жизни, этот кризис в конце концов заставил его «уйти со сцены» той жизни, которая многие годы вдохновляла его на борьбу и творчество. И все-таки даже в преддверии своего ухода из дому Толстой признается в письме к Софье Андреевне: «Мое отношение к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя... Дело в том, что я, несмотря на все бывшие недоразумения, не переставал любить и ценить тебя».

На протяжении почти что пятидесяти лет Толстой хранил свое чувство к Софье Андреевне, оно дало ему в жизни самую большую радость и причинило самую большую боль. И этими радостью и болью он писал «Войну и мир» и «Крейцерову сонату», «Анну Каренину» и «Живой труп» и все то, что вышло у него из-под пера с тех пор, как он восемнадцатилетней Соне

Берс сделал предложение, потребовав только одного — *равенства* чувств. И когда через три года после смерти Льва Николаевича Софья Андреевна издаст письма своего мужа за сорок восемь лет их супружеской жизни, то она выразит надежду, что «люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека».

7

Еще в 1856 году Чернышевский на самой заре творческой деятельности Толстого отметил особое достоинство его произведений — чистоту нравственного чувства. Пройдет больше полувека, и Толстой, прочитав за несколько месяцев до своей смерти статью Н.С. Русанова «Чернышевский в Сибири (По неизданным письмам и семейному архиву)», скажет о Чернышевском: «Это очень интересно. У него много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей: о войне, о половом вопросе, или мысль о том, что все нравственное — разумно, а разумное — нравственно и т. д.».

В предисловии к рассказу Чехова «Душечка» Толстой скажет:

«Удивительное недоразумение весь так называемый женский вопрос, охвативший, как это должно быть со всякой пошлостью, большинство женщин и даже мужчин!

«Женщина хочет совершенствоваться», — что может быть законнее и справедливее этого?»

Вероятно, удивительным недоразумением следует считать не «женский вопрос», а очень многое из того, что было сказано в его связи и проведено в практику тогдашней жизни. Не только противники, но и многие сторонники Чернышевского расценивали роман «Что делать?» как своего рода призыв к «свободной любви», к многомужеству и т. д. Противников Чернышевского понять здесь нетрудно, поскольку они в своей критике романа руководствовались иными представлениями о счастье женщины, нежели автор романа «Что делать?». Так, Толстой в том же предисловии к чеховскому рассказу писал: «Но ведь дело женщины по самому ее назначению другое, чем дело мужчины. И потому и идеал совершенства женщины не может быть тот же, как идеал совершенства мужчины. А между тем к достижению этого мужского идеала направлена те-

перь вся та смешная и недобрая деятельность молодого женского движения, которая теперь так путает женщин».

Труднее понять тех сторонников Чернышевского, которые в его романе находили поддержку своим, мягко говоря, недостаточно нравственным побуждениям, и здесь они компрометировали не столько себя, сколько высоконравственную позицию автора романа.

Чернышевский не испытал того семейного счастья, которое испытал Толстой, но Чернышевский зато испытал другое счастье — счастье освободителя женщины. Своей женитьбой он совершил первый в своей жизни гражданский поступок — освободил женщину от гнета семьи. И этот поступок возбудил в нем глубочайший нравственный поиск. Многие дневниковые записи Чернышевского вызывают недоумение: какое-то почти мазохистское желание оправдать в будущем возможные увлечения и даже измены Ольги Сократовны. Но это недоумение исчезнет, если мы поймем мотивы этого желания.

Чернышевский знал, что Ольга Сократовна не питает к нему страстной любви, хотя и испытывает к нему чувство глубокого уважения. Он никогда не отказывал в праве женщине на любовь, не отказывал он в этом праве и Ольге Сократовне. На свой брак он смотрел как на акт освобождения женщины. И вот тут для него вставал высоконравственный вопрос: «Освобождает он женщину для нее самой или для собственного ею обладания?» Этот же вопрос он поставил и перед героем своего романа — Дмитрием Лопуховым.

И было бы глубочайшей ошибкой считать, что в своем дневнике периодов сватовства и женитьбы Чернышевский просто излагал свои соображения по «женскому вопросу». В этих записях запечатлелись боль, страдания, сомнения и даже самоуговоры молодого Чернышевского. И тогда он сделал для себя выбор — он освобождает женщину для нее самой, для ее счастья. И во всю свою дальнейшую жизнь он ни разу не изменил принятому им однажды решению — воистину высоконравственному решению.

В последние годы своей жизни Толстой болезненно относился к малейшему проявлению хотя бы равнодушия к нравственным требованиям, и то, что он, обратясь к письмам и семейному архиву Чернышевского, нашел у него «много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей», свидетельствует о том, что направление их личных нравственных исканий было сходным.

Один из них уловил это на заре своей литературной деятельности, другой обнаружил это на исходе своего жизненного пути. Между этими моментами прошло более полувека, но тем более убедительнее и достовернее выглядит духовное родство великих ровесников, носивших в себе нравственную меру вещей будущего.

По справедливому замечанию Тэна, литературное произведение не простая игра воображения или изолированный каприз пылкой головы; это снимок окружающих нравов и признак известного состояния умов...

Что касается «снимков окружающих нравов», то это первооснова реалистического искусства — без верного изображения окружающих нравов нет и предмета для разговора о реалистическом искусстве. Сложнее с признаком «известного состояния умов». Этот признак разлит во всех проявлениях современности, и задача художника — сфокусировать его так в характерах своих героев, чтобы признак этот стал живой очевидностью. Однако для этого мало понимания, умения, стремления, тут не достаточны никакие качества художника, если они не опираются на созвучные духу эпохи нравственные искания самого художника, носящие судьбоносный для него характер. Толстой и Чернышевский сделали «женский вопрос» узловым не потому, что другие вопросы казались им второстепенными, а потому, что в силу самых различных внешних обстоятельств и в силу их собственных характеров этот вопрос (опять-таки по-разному) сковал их судьбу, предопределив ее развитие. Да, признаки окружающих нравов они черпали в окружающей их жизни, а вот что касается признаков «известного состояния умов», то здесь многое зависело от того, в какую сторону они сами корректировали обстоятельства окружающего их внешнего мира, насколько они оставались верны самим себе, своим чувствам, мыслям, словам.

Они были ровесниками, но прожили неодинаковой продолжительности жизнь. Чернышевский умер на шестьдесят втором году жизни, Толстой — на восемьдесят третьем, то есть Толстой дожил до той эпохи, когда «женский вопрос», утеряв свою связь с другими вопросами времени, превратился в «проблему пола», когда публика в арцыбашевском «Санине» увидела чуть ли не новое откровение.

Толстой остался верным себе и своему чувству до последнего часа своей жизни. 29 августа 1910 года он напишет коротенькое письмо Софье Андреевне, которое заключит словами:

«Твой любящий муж». Через два месяца Толстой навсегда покинет Ясную Поляну, навсегда «уйдет со сцены», но он уйдет не от Софьи Андреевны, он уйдет из мира, который разорил их духовное согласие, без чего даже равенство чувств становилось всего лишь бездушным арифметическим равенством.

По-своему трагична судьба Чернышевского, по-своему трагична судьба Толстого. Они положили жизнь, чтобы женщина была счастлива на века, но не смогли сделать счастливыми даже тех, кому оставались преданными до конца своих дней. Жизнь этих людей со всеми их радостями и страданиями не пример потомкам, а та нравственная опора, которая и за давностью дней не потеряла ни своего значения, ни своей надежности.

1978

ВЕЛИКИЙ БУНТАРЬ

Свое первое художественное произведение, повесть «Детство», Лев Толстой написал на Кавказе, вдали от литературных центров, вдали от литературной среды, вне чьего-либо влияния или поощрения. Правда, когда через пятьдесят лет Толстой начнет писать «Воспоминания», то сочтет необходимым заметить, «что во время писания этого (т. е. своей автобиографической трилогии. — *А. Л.*) я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей Stern'a (его «Sentimental journey») и Topfer'a («Bibliotheque de mon onole»)»*.

Во время работы над «Воспоминаниями» Толстого смутит и то «смешение правды и выдумки», которое он усмотрит в своих ранних произведениях. «Надеюсь, — скажет он, — что то, что я напишу теперь, будет лучше, главное — полезнее другим людям». Что касается большей полезности, то тут судить трудно, так как «Воспоминания» фактически были только начаты, а трилогия была завершена и вошла в золотой фонд нашей литературы. Что же касается влияния Стерна и Тепфера, то тут старый писатель или наговаривает на себя — молодого, или задним числом в чем-то не одобряет Стерна и Тепфера, потому как спустя еще пять лет он, по свидетельству В. Булгакова, скажет: «Когда я писал «Детство», то мне казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и не изобразил всю прелесть и поэзию детства». Толстой мог делать открытия и прорываться к истине, а мог совершать ошибки и впадать в заблуждения, но в любом случае он, как, может, никто другой, был самостоятелен. У Толстого все было толстовское: и стиль, и выбор сюжетов, и толкование жизни, и природа его художественного таланта, и само побуждение к художественному творчеству.

В 1903 году, когда писались «Воспоминания», Толстой «забыл» одно обстоятельство, связанное с его литературным дебютом. Отправляя в 1852 году повесть «Детство» в «Современник», он сопроводил ее письмом к Некрасову, которое за-

* Стерна («Сентиментальное путешествие») и Тепфера («Библиотека моего дяди» *(англ. и фр.)*.

канчивалось такого рода просьбой: «... я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое».

Как известно, Некрасов очень благожелательно отнесся к повести «Детство» и к ее автору, укрывшемуся за подписью «Л. Н». Некрасов написал молодому анонимному автору ободряющее письмо («И роман Ваш, и талант меня заинтересовали») и уже в сентябре, то есть через два месяца после получения рукописи, опубликовал ее на страницах «Современника». Критика и читатели приняли «Детство» благосклонно. А. Панаева вспоминала: «Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию». Короче говоря, литературный дебют Толстого оказался весьма успешным и ему не пришлось сжигать «все начатое». Дебют Толстого чем-то напоминал дебют Достоевского, правда, Толстому, в отличие от Достоевского, с литературной средой довелось познакомиться только через несколько лет, когда он стал автором уже не одного произведения.

Однако сама публикация очень огорчила Толстого». По прочтении повести в журнале он написал резкое письмо Некрасову, настолько резкое, что не решился его отправить («Написал письмо редактору, которое успокоило меня, но которое не пошлю»). Видимо, это письмо успокоило Толстого только отчасти, так как не отправил он и второго письма. Адресат получил лишь третий вариант, в котором Толстой пенял Некрасову за то, что в повести без его ведома и согласия сделали исправления, купюры и даже изменили ее название.

«Заглавие «Детство», — писал Толстой, — и несколько слов предисловия объясняли мысль сочинения; заглавие же «История моего детства», напротив, противоречит ей. Кому какое дело до истории *моего* детства? Последнее изменение в особенности неприятно мне, потому что, как я писал вам в первом письме, я хотел, чтобы «Детство» было первой частью романа...»

Толстой начал писать «Воспоминания» по просьбе своего биографа П.И. Бирюкова в январе 1903 года. «Чем старше я становлюсь, тем воспоминания мои становятся живее», — записал он тогда в дневнике. В 1852 году Толстой искренне верил в то, что история *его* детства действительно никого не может заинтересовать, и тогда он писал не воспоминания, а художественное произведение, отсюда и естественное «смешение правды с выдумкой». Через пятьдесят же лет Толстой

правомерно посчитал, что его достоверные воспоминания, без «выдумки», имеют право на читательское внимание. Разные жанры были обусловлены разными целями и задачами, и одно произведение («Воспоминания») никак не могло перечеркнуть другое («Детство»). Ниспровергатель Толстой прежде всего никогда не щадил самого себя, возможно, чаще всего он ниспровергал именно самого себя.

Вернемся к первому письму Толстого Некрасову. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения и не отвечает на вопросы, заключающие в себе частицу «бы», но мы пишем не историю, а потому дозволим себе размышления не только по поводу того, что *было*, но и о том, что *могло бы быть*. К примеру, сжег бы Толстой «все начатое», получи он от Некрасова отрицательный отзыв? Определенно ответить на этот вопрос не представляется возможным: Толстой мог и «забыть» о своем решительном намерении, а мог привести его в исполнение, особенно если учитывать заразительность поступков великих — ведь приход Толстого в литературу совпал по времени с трагической смертью Гоголя, предавшего огню второй том «Мертвых душ».

Разумеется, тогда, в 1852 году, никто не был в состоянии подметить того совпадения — один гениальный писатель уходит из жизни, а другой гениальный писатель в тот же год успешно дебютирует на литературном поприще. Толстой как бы незримо подхватил незримую эстафету мучительных нравственных, религиозных и гражданских исканий из остывающих рук Гоголя.

Не исключено, что молодой Толстой, хорошо знавший, что такое самолюбие, в случае унизительного для него отказа мог по горячности и сжечь «все начатое», но в этом случае он просто начал бы свой *литературный* путь с того, чем закончил свой *жизненный* путь Гоголь, однако уйти от своей судьбы он был уже не в силах, о чем говорят не только, а возможно, даже не столько позднейшие безуспешные попытки Толстого бросить всякие литературные занятия, сколько природа его абсолютно самобытного писательского таланта.

Уже снискав литературную славу и признание, Толстой говорил: «Я и Лермонтов — не писатели». Да, и гениям свойственны обычные человеческие слабости, более того, у гениев они в силу своей яркости даже более очевидны, и тут мы вправе были бы подумать, что в данном случае Толстой впадал в то самоуничижение, которое паче гордости, если бы он в данном

случае не подверстал к собственной персоне Лермонтова, поскольку слишком высоко ценил его, а «Тамань» вообще считал самым совершенным произведением художественной прозы. На самом деле, есть нечто общее у Толстого и Лермонтова, однако нас сейчас интересует Толстой сам по себе, вне сопоставлений и сравнений с кем бы то ни было, и, разумеется, его на первый взгляд несколько странное признание.

Толстой как писатель начался не тогда, когда написал свою первую повесть, а тогда, когда начал вести свой дневник, цель которого, как и всего его дальнейшего творчества, было не запечатление на бумаге происходящих событий и возникающих раздумий, хотя они и составляли содержание дневниковых записей, а стремление при помощи постоянного самоанализа воспитать в себе нравственную личность, выстроить себя как человека. Толстой не раз бросал свой дневник, но потом, обуреваемый или неудовольствием самим собой, или каким-нибудь раскаянием, вновь и вновь обращался к спасительным для себя записям, как религиозный человек обращается к молитве. Изначальное стремление к нравственному самоусовершенствованию и предопределило направление и саму природу писательского таланта Толстого. Потом, в «Воспоминаниях», Толстой даст весьма любопытную периодизацию собственной жизни:

«Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, я увидел, что моя жизнь распадается на четыре периода: 1) тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до 14 лет; потом второй, ужасный 20-летний период грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, — похоти; потом третий, 18-летний период от женитьбы до моего духовного рождения, который, с мирской точки зрения, можно бы назвать нравственным, так как в эти 18 лет я жил правильной, честной семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями.

И, наконец, четвертый, 20-летний период, в котором я живу теперь, и в котором надеюсь умереть, и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни, и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды.

Такую историю жизни всех этих четырех периодов, совсем, совсем правдивую, я хотел бы написать, если бог даст мне силы и жизни».

Бог дал еще и жизни, и силы, но такая правдивая «история» написана не была, хотя и была начата. В этом введении высказано еще и такое соображение: «Я думаю, что такая написанная мною биография, хотя бы и с большими недостатками, будет полезнее для людей, чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений и которым люди нашего времени приписывают незаслуженное ими значение».

И тут Толстой глубоко заблуждался, потому как в тех 12 томах «художественной болтовни» заключалась живая «диалектика души», а в «Воспоминаниях» давалась нравственная оценка прожитой жизни, и будь «Воспоминания» даже написаны полностью, они были бы интересны лишь потому или в большей мере потому, что перу их автора принадлежат те самые 12 томов, о которых он так неуважительно отозвался на закате своей жизни. Толстой и не мог закончить свои «Воспоминания», поскольку поставил перед собой невыполнимую задачу — перечеркнуть одним произведением все свое творчество. Такая задача не под силу именно гениальному писателю.

«Если писать биографию, то надо писать всю настоящую правду», — заявил Толстой, приступая к работе. Это наставление верно, однако сам Толстой следовал ему не всегда, во всяком случае, характеризуя второй период своей жизни, он представил его излишне односторонне. Толстой не раз говорил, что ложью является не только ложь заведомая или даже нечаянная, но и умолчание, а умолчание здесь обнаружить не так уж и трудно. И все-таки не станем покушаться на волю великого писателя и отрицать все то дурное, что сказал он о себе сам, дабы не впасть в столь унизительную для памяти о нем «клевету обожания». Однако мы в свою очередь вправе заметить, что во втором периоде жизни Толстого было и другое, о чем он, слишком горячо увлекшись самониспровержением, вольно или невольно, но умолчал — ведь в какие грехи ни впадал бы Толстой в возрасте от 14 до 34 лет, но ведь именно в этот период он стал писателем, в основу художнического труда которого легли интенсивные нравственные искания и неукротимое стремление к нравственному самовоспитанию. Так или иначе, но без этого периода, который Толстой прямо-таки предавал анафеме, не было бы и того Толстого, с которым ав-

тор «Воспоминаний» жил если и не в полном, то в достаточном согласии, когда к нему, по его тогдашнему самочувствию, пришло «высшее благо жизни и радостное спокойствие в виду приближающейся смерти». Конечно, мы можем и должны ценить самокритичность Толстого, но у нас нет никаких оснований искать истину только в этой его самокритике.

Толстой от природы был человеком с развитым религиозным чувством, но родился и рос он в такой среде и в такой обстановке, где религиозное чувство получало некоторое развитие в детские годы, а затем опиралось лишь на необременительные для светской жизни обряды церковного ритуального характера, не требующие искренней веры, как то: крещение, венчание, отпевание да молебны по случаю церковных праздников и официальных торжеств.

Нельзя сказать, что в русских аристократических семьях второй половины XVIII века поощрялись безбожие или атеизм, однако и к религии отношение было, по сути дела, индифферентным, в религии черпали лишь нравственные правила, из которых постепенно вырабатывались элитарные правила хорошего тона; в аристократических кругах простительнее было пренебречь какими-то важными нравственными принципами, нежели оступиться в правилах хорошего тона — щеголяли отточенным эстетическим вкусом, изяществом манер и речи, строгим соблюдением писаных и неписаных законов сословной чести, удалью, широтой натуры, щедростью, не важно истинной или показной; религиозность же или набожность, как, впрочем, заодно и вся черновая трудовая деятельность, отмежевывались в пользу остальных социальных групп и сословий. Все эти свойства и качества, выработанные XVIII веком, перешли в наследство и следующему XIX столетию, став уже своего рода традицией. Чрезвычайно верную и точную характеристику русского аристократа той эпохи дал, со свойственными ему изяществом и смысловой емкостью, Герцен в «Былом и думах», характеризуя своего отца — достойного представителя плеяды «екатерининских орлов».

«Мой отец, — писал Герцен, — считал религию в числе необходимых вещей благовоспитанного человека; он говорил, что надобно верить в Священное Писание без рассуждений, потому что умом тут ничего не возьмешь, и все мудрования затемняют только предмет; что надобно исполнять обряды той религии, в которой родился, не вдаваясь, впрочем, в излишнюю набожность, которая идет старым женщинам, а муж-

чинам неприлична. Верил ли он сам? Я полагаю, что немного верил, по привычке, из приличия и *на всякий случай.* Впрочем, он сам не исполнял никаких церковных постановлений, защищаясь расстроенным здоровьем...» (курсив мой. — *А. Л.*).

В общем-то, за вычетом частных различий верили действительно «на всякий случай». Точнее не скажешь.

Лев Николаевич Толстой и по рождению, и по воспитанию принадлежал к русской титулованной аристократии. Его предок по отцовской линии, П.А. Толстой, одним из первых в России получил при Петре I графский титул. Мать будущего писателя принадлежала к старинному роду князей Волконских. По родительским линиям Лев Николаевич находился в разной степени родства со многими знатными фамилиями, был он по материнской линии в дальнем родстве и с Пушкиным, который не без гордости заявлял: «Не торговал мой дед блинами...»

Матери своей, Марии Николаевны, Лев Николаевич не помнил, она умерла, когда ему еще не исполнилось и двух лет, но он всю жизнь свято дорожил памятью созданного им ее образа.

«Она, — писал семидесятипятилетний Толстой, — представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда помогала мне».

А об отце, Николае Ильиче, которого он потерял в девятилетнем возрасте, напишет в тех же «Воспоминаниях» : «Я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер».

Важна и такая запись: «Жизнь моей матери в семье отца, как я могу заключить по письмам и рассказам, была очень счастливая и хорошая».

По смерти родителей Льва Николаевича, его братьев и сестру окружили заботой родственники, он не был обойден и искренней любовью, но внутренне, порой этого и не осознавая, он все равно ощущал свое сиротство. Вероятно, по этой причине Толстой всегда так много внимания уделял вопросам семьи и семейного счастья, которое грезилось ему в созданном им же самим образе кратковременной, но счастливой семейной жизни своих родителей.

Раннее сиротство поначалу нередко погружало в неприютное при всем домашнем многолюдье одиночество, затем оно обернулось преждевременной автономностью, что преж-

де всего сказалось в выборе жизненного пути. В шестнадцать лет, решив посвятить себя дипломатической службе, Толстой поступает на восточный факультет Казанского университета, но через три года, разочаровавшись в студенческой жизни, он оставляет стены казанского храма науки и уезжает в Ясную Поляну, которая досталась ему при разделе наследства. Однако он вскоре едет в Москву, где пытается писать, но уже весной 1851 года вместе со старшим братом Николаем, служившим тогда в армии, отправляется на Кавказ. Сначала Толстой принимает участие в операциях против горцев в качестве волонтера, а затем поступает на военную службу, становится офицером.

Казалось бы, при желании писать и при склонности писать Толстой как писатель должен был начать именно с «кавказской» темы — благо писать было о чем. Судьба многих русских писателей приводила их на Кавказ, одни туда попадали по собственной инициативе, другие — в силу не зависящих от них обстоятельств, и как-то невольно в их творчестве возникала «кавказская» тема. Толстой бывал под пулями горцев, а позже и под смертельным огнем осаждавших Севастополь во время Крымской войны англо-французских и турецких войск. Четыре года (1851—1855), проведенные Толстым в действующей армии, обогатили его яркими и разнообразнейшими впечатлениями, вывели за пределы тогдашней повседневной жизни людей своего круга, но ничто не могло перечеркнуть или хотя бы как-то отодвинуть на второй план тех его интенсивных нравственных исканий, которые и привели его на Кавказ, а затем и в Крым. Природа художественного таланта Толстого оказалась такова, что никакие внешние впечатления не могли «освободить» его от самого себя, для этого ему была необходима публичная исповедь, заключающая в себе неоспоримый для него положительный идеал, и жизнь на Кавказе «подсказала» ему, где искать этот идеал — *в детстве.* Детство — «чудный, радостный, поэтический период» жизни... И возникает грандиозный замысел: написать роман, состоящий из четырех частей, соответствующих разным периодам прожитой жизни. Толстой, всегда стремившийся в литературе к простоте, позаботился и о простоте названий. «Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость» — так должны были называться повести, являющиеся, по замыслу, частями одного большого романа, и хотя последняя часть написана не была, общий замысел можно считать осуществленным, так как единство первых

трех повестей обеспечивалось единством цели — рассказом о подготовке человека к самостоятельной жизни, закладке того нравственного фундамента, на котором потом будет выстраиваться эта самостоятельная жизнь.

Нет, конечно, Толстой не мог остаться и не остался равнодушным к тем историческим событиям на юге страны, свидетелем и участником которых ему довелось стать, но все-таки первым и в то же время *опорным* произведением для всего его творчества оказалась повесть о детстве, и писалась она, как, впрочем, и остальные части трилогии, в условиях походной жизни и в перерывах между боями. *«11 апреля. 4-й бастион.* Очень, очень мало написал в эти дни «Юности» и «Севастополя»; насморк и лихорадочное состояние были тому причиной. Кроме того, меня злит — особенно теперь, когда я болен, — то, что никому в голову не придет, что из меня может выйти что-нибудь кроме chair a canon * и самой бесполезной».

После публикации в сентябрьской книжке «Современника» за 1852 год повести «Детство» Толстой продолжает упорно работать над начатым еще в мае рассказом «Набег» и 26 декабря уже отсылает его Некрасову. И опять Толстой просит: «Ежели, против чаяния, цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то, пожалуйста, не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне». Опасения Толстого оказались не напрасны, цензура постаралась основательно, но Некрасов не отослал рассказ, опубликовал его в мартовском номере «Современника» за 1853 год, а затем послал Толстому извинительное письмо и гонорар. «Вероятно, Вы, — писал Некрасов, — недовольны появлением Вашего рассказа в печати. Признаюсь, я долго думал над измаранными его корректурами и, наконец, решился напечатать, сознавая по убеждению, что хотя он и много испорчен, но в нем осталось еще много хорошего. Это признают и другие».

Действительно, первый рассказ Толстого о военных действиях на Кавказе понравился многим, брат Сергей очень высоко оценил его и пожалел только об одном: «Зачем он так короток?» Однако через два месяца в письме к брату и к дальней родственнице, но очень близкому человеку Татьяне Александровне Ергольской Толстой вновь будет писать о том, что рассказ его опубликован в изуродованном виде, и этими, вроде бы ненужными сетованиями он станет приучать себя к мысли,

* Пушечное мясо *(фр.)*.

что в лице цензуры обретает долговременного врага. И, надо сказать, Толстому не раз еще приходилось уступать цензуре, но он никогда не писал с оглядкой на цензора, писал всегда только то, что в данный период подсказывала ему писательская совесть.

При всем своем желании мы уже не можем прочитать рассказ «Набег» так, как его читали современники молодого Толстого, они открывали для себя новый литературный талант, а мы невольно угадываем в двадцатичетырехлетнем авторе этого рассказа будущего автора «Войны и мира». Толстой в период написания «Набега» не пережил еще даже Севастополя, а у него уже сложилось к войне то отношение, которое в развернутом виде и, будучи связанным с другими важнейшими жизненными проблемами, составит философскую основу «Войны и мира».

«Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшим выражением красоты и добра».

Это не литературный пейзаж, служащий красивым фоном, на котором по согласию с ним или по контрасту разворачиваются те или другие события, и не простой символ вечности, противостоящий быстротечности человеческой жизни, а материализовавшаяся идея красоты и не противополагающего ей добра, с которой человек соединен естественными связями и в забвении которой как раз и кроется причина появления «страсти истребления себе подобных», постоянная вражда всех со всеми и каждого с каждым. Толстовская идея всечеловечности идет к человечеству не мимо человека, а от самого человека, и она не изобретается кем-то в отдельности, а как бы открывается всеми и становится не обязательной, а необходимой для всех, природа подсказывает идеал нашему чувству, и только в единении чувств разум может не разрушать, а, соединяя воли, осознанно укреплять достойное человека общежитие.

Позже, в 1858 году, Толстой напишет рассказ «Три смерти», своего рода притчу о смерти богатой барыни, мужика и дерева: барыня умерла отвратительно, мужик спокойно, а дерево прекрасно. Сам по себе, вне дальнейшего контекста твор-

чества писателя, рассказ действительно схематичен, и от него веет философской назидательностью, и не случайно чуткий к жизненной философии критик А. Григорьев заметит в нем тенденцию «скептицизма».

Сам Толстой так толковал этот рассказ в письме к А.А. Толстой: «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево. — Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить?.. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво — потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет».

Что это, противопоставление христианства нехристианству в пользу последнего? Нет, ибо о барыне он скажет: «*В* обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоения (кроме ложнохристианского) нету, — а место занято». Тогда противопоставление нехристианства ложнохристианству в пользу первого? И опять — нет. *О* мужике Толстой скажет: «Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рождались у него бараны, и дети рождались, и старики умирали, и он твердо знает этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо смотрел ему в глаза».

Да, Толстой на протяжении всей своей жизни придавал огромное значение тому, как человек относится к смерти, как он ее принимает, и уже в первом своем произведении скажет об умершей няне: «Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни — умерла без сожаления и страха». Через пятьдесят лет в «Воспоминаниях» Толстой предпочтет последний период своей жизни всем остальным, даже собственному поэтическому детству, так как почувствует «радостное спокойствие в виду приближающейся смерти».

Итак, мужик твердо знал закон смерти и «прямо смотрел ему в глаза».

Няня умерла «без сожаления и страха».

Сам Толстой в старости обрел «радостное спокойствие в виду приближающейся смерти».

И лишь дерево умирало «спокойно, честно и *красиво*» (курсив мой. — *А. Л.*).

Что это — эстетизация смерти? Нет, Толстой никогда не был певцом смерти, даже красивой, он был певцом жизни, но не всякой, а лишь той, что дает возможность естественно воспринимать все естественные и обязательные для всех явления жизни. И суд, который называют «Страшным», идет не *там, а здесь* — суд самый справедливый в силу своей неотвратимости для каждого, где каждый сам себе выносит приговор на основании всей прожитой им жизни, тут нет и не может быть адвокатов, они здесь не нужны, ибо смерть итожит не поступки, а самое жизнь.

И этот рассказ тоже исповедален и автобиографичен, но автобиографичен он не с точки зрения житейских фактов и бытовых подробностей, а с точки зрения выработки нравственной программы. В барыне Толстой видел как бы самого себя, точнее, свой образ жизни, унаследованный им по традиции от своего сословия.

Толстой-«барыня» искал пути к Толстому-«мужику» (отсюда и проистекала его идеализация мужика), однако идеалом для него был все-таки не мужик, а дерево, которое ищет защиту не в контрагрессии (как человек), а в выработке жизнестойкости *вида.* Человек в первую очередь спасает индивидуальность, а дерево — вид, у растений в высшей мере развито «роевое» начало и абсолютно заглушено индивидуалистическое. В рассказе «Три смерти» Толстого интересовали не разные смерти сами по себе, не их вариации, а разные способы жизни, которые в смерти раскрывают свое истинное содержание. И потом Толстой не раз будет обращаться к прощальным часам жизни человека, когда перед человеком будет открываться смысл или бессмыслица прожитой им жизни. Как не похожи смерть Ивана Ильича и смерть Болконского, смерть Анны и смерть Хаджи-Мурата, и эта непохожесть проистекала от непохожести прожитых ими жизней.

Толстовское самоусовершенствование нельзя брать изолированно, то есть вне того идеала, который и побуждал к самоусовершенствованию. Реальным идеалом для него было не индивидуалистическое начало, получающее развитие при всякой праздной или условной по характеру деятельности жизни, а начало «роевое», получающее развитие лишь при естественной трудовой жизни на земле. И Толстой противопоставлял не смерть мужика смерти барыни, а близкую к естественной жизни дерева жизнь и работу мужика на земле — всякому иному, наполненному лишь условностями и удовольствиями су-

ществованию. А дерево — недостижимый в своей природной и законченной естественности идеал. Разумеется, Толстой вовсе не собирался «превращать» человека в дерево, но, отталкиваясь от гармоничной жизни растения, он искал в самом человеке тот идеал, который не противоречил бы самой человеческой природе. Собственно говоря, на это он и потратил всю свою долгую и напряженную жизнь.

Мы в свое время не случайно заговорили об отношении к религии тех слоев общества, к которым по рождению и воспитанию принадлежал Толстой. С детскими снами и грезами ушла из жизни и непрочная религиозная опора. Лишенный к тому же с малолетства родительского авторитета и родительской опеки, Толстой остается наедине с самим собою, потребность не в простом житейском общении, а в постоянном духовном «диалоге» побудила его вести дневник, благо в ту пору не нужно было ничего изобретать — дневники тогда вообще были в моде. Но Толстой поддался не моде, а потребности *в исповеди.* Юношеский дневник — это первое исповедальное произведение Толстого — если и не принадлежит литературе, то принадлежит творческой биографии писателя, является ее истоком.

В годы молодости, которые в позднем Толстом вызывали одно лишь отвращение, он давал отдых своей мучимой разными противоречиями душе в общении с Татьяной Александровной Ергольской, человеком, оказавшим, по признанию самого Толстого, необыкновенное влияние на его духовное становление. «Должно быть, — писал он в «Воспоминаниях», — она любила отца, и отец любил ее, но она не пошла за него в молодости для того, чтобы он мог жениться на богатой моей матери, впоследствии же она не пошла за него потому, что не хотела портить своих чистых, поэтических отношений с ним и с нами».

В обнаруженной после ее смерти записке говорилось: «Николай сделал мне сегодня странное предложение — выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда их не покидать. В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока буду жива». Это событие произошло 16 августа 1836 года, то есть спустя шесть лет после смерти матери Льва Николаевича.

«Татьяна Александровна, — продолжает Толстой, — имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, вопервых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви...»

А вот как вспоминаются ему более поздние годы: «У окна два кресла, и направо от двери вышитое покойное кресло, на котором она любила, чтобы я сидел, и я часто сидел на этом кресле вечерами...

И действительно я был истинно счастлив, когда сидел на этом кресле. После дурной жизни в Туле, у соседей, с картами, цыганами, охотой, глупым тщеславием, вернешься домой, придешь к ней, по старой привычке поцелуешься с ней рука в руку, я — ее милую, энергическую, она — мою грязную, порочную руку... Она знает все, что я делал, жалеет об этом, но никогда не упрекнет, всегда с той же ровной лаской, с любовью».

И эта молчаливая *исповедь,* когда не нужно ни каяться, ни давать кому бы то ни было, в том числе и себе, зароков, клятв, сообщала спокойствие душе, более всего жаждавшей доверия и прощения. Нет, не из храма и не из церковных книг вынесет он идею жизни, отождествляющую Бога и Любовь, а вот отсюда, из стен своего дома, от близких ему людей, и эта идея станет питать его творчество на протяжении всей его жизни.

По натуре Толстой был человеком открытым, даже уходя «в себя», он искал дорогу к людям, и нашел он ее опять-таки через *исповедь,* теперь уже публичную. Только убедившись в своей литературной и человеческой состоятельности, он навсегда возложил на себя великую обязанность перед человечеством. Теперь Толстой исповедовался не перед богом, как в детстве, и не перед собой, как в юности, а перед всеми людьми, отсюда он невольно должен был прийти к культу человека, к культу народа и к отрицанию всего того, что давало право и возможность кому бы то ни было обобществлять волю и права людей, отсюда его все возрастающая непримиримость к деспотии и деспотам. И уже в своем первом «кавказском» произведении, рассказе «Набег», Толстой снимет с Шамиля всякий ореол экзотического романтизма, в «Войне и мире» он развенчивает Наполеона, откажется он и от замысла написать роман о Петре I, так как, углубившись в изучение петровской эпохи, разочаруется в личности самого преобразователя и в его деяниях. В своем заветном произведении «Хаджи-Мурат» он вновь обличит Шамиля, а заодно и Николая I.

Будет в жизни Толстого и еще одна очень важная *исповедь.* Накануне свадьбы он решит исповедоваться перед своей будущей женой, юной Соней Берс, ставшей для него самым близким человеком, и даст ей прочитать свои дневники. Последствия окажутся неожиданными и печальными для обоих, они наложат свой отпечаток на всю их долгую совместную жизнь.

Так, вскоре после свадьбы, 8 октября 1862 года, Софья Андреевна запишет в своем дневнике: «Все его (мужа) прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним... Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь с тысячами разных чувств, хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная бог знает на кого и что...»

Толстой, во всем стремящийся к правде, хотел и семейные отношения построить на полной правде, исключив из них не только ложь, но и всякое умолчание. Ревность к прошлому любимого мужа убьет в Софье Андреевне многие чувства к нему, а «неполное» чувство Софьи Андреевны насторожит на всю жизнь Льва Николаевича и разовьет в нем ответную недоверчивость; взаимная ревность навсегда поселится в их доме как неизлечимый недуг, не смертельный, но так часто приносящий нестерпимую боль.

Потом у Льва Николаевича появятся тайны от Софьи Андреевны и даже «тайный» дневник, и это тайное возмущало и оскорбляло Софью Андреевну, но не меньше страдал от этого сам Лев Николаевич, надеявшийся хоть в семейной жизни устранить вражду, недоверие, обман — все то, чем эгоистические чувства опутывают и отравляют человеческую жизнь. Толстой останется последователен в своем отношении как к церкви, так и государству, и логика развития этих его отношений в конце концов приведет к официальному разрыву с церковью и к неофициальному — с государством, однако самым трудным для него окажется разрыв с семьей, с Софьей Андреевной, но и здесь логика развития отношения преодолеет все остальные чувства и привязанности, а его предсмертный уход из Ясной Поляны будет последним жизненным поступком, завершившим его многолетние мучительные нравственные искания, начавшиеся с преодоления юношеского эгоизма и окончившиеся попыткой полностью согласовать свою жизнь со своими нравственными принципами, со своим верованием.

Эволюция нравственных исканий Толстого перевернула не только всю его личную жизнь, но и представление о смысле самой жизни, эта эволюция заставила его «уйти со сцены» той жизни, которая многие годы вдохновляла его на борьбу и творчество. На протяжении почти что пятидесяти лет Толстой хранил свое чувство к Софье Андреевне, оно дало ему в жизни самую большую радость и причинило самую большую боль. И этими радостью и болью он писал «Войну и мир»

и «Крейцерову сонату», «Анну Каренину» и «Живой труп», «Воскресение» и «Хаджи-Мурата», все то, что вышло у него из-под пера с тех пор, как он сделал предложение восемнадцатилетней Соне Берс, потребовав невозможного — полного *равенства* чувств.

Толстой остался верным себе и своему чувству до последнего часа жизни. 29 августа 1910 года он напишет коротенькое письмо Софье Андреевне, заключив его словами: «Твой любящий муж». Через два месяца Толстой навсегда покинет Ясную Поляну, но он уйдет не от Софьи Андреевны, он уйдет из мира, где стали царствовать не законы духовного притяжения и искреннего взаимного прощения, а разрушительные «бухгалтерские» законы подсчета взаимных обид и претензий; он уйдет из мира, который так долго разорял и разорил их духовное согласие, без чего даже равенство чувств становилось всего лишь бездушным арифметическим равенством.

Но все это произойдет потом, пока же молодой Толстой только выстраивает свою нравственную программу, а его первые художественные произведения являются как бы откликом той напряженной внутренней работы, которой он полностью подчиняет свои жизненные и творческие планы. Казалось, вслед за «Набегом» последуют и другие произведения на «кавказскую» тему, слишком уж важные проблемы затронул молодой автор в своем первом рассказе. И действительно, еще в 1852 году Толстой начинает повесть «Казаки», летом 1853 года работает над рассказом «Рубка леса», продолжает писать «Отрочество»... Однако 13 сентября того же года у него неожиданно возникает замысел рассказа, который не имеет никакого отношения ни к «кавказской» теме, ни к «Отрочеству». Через четыре дня рассказ будет окончен и сразу же отправлен Некрасову. И опять последует настоятельнейшая просьба: «Посылаю небольшую статью для напечатания в вашем журнале. Я дорожу ею более, чем «Детством» и «Набегом», поэтому в третий раз повторяю условие, которое я полагаю для напечатания, — оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть».

Некрасову рассказ не понравится, и он опубликует его лишь в первом номере «Современника» за 1855 год, уже после публикации присланной Толстым повести «Отрочество». Правда, потом Некрасов признает ошибочность своей первоначальной оценки рассказа «Записки маркера», хотя сам Толстой вскоре охладеет к своему рассказу, вернее, он охладеет

не к рассказу, при написании которого у него, по его признанию, «замирало сердце», самокритика коснется лишь формы изложения. Но тут интересно другое: почему Толстой так быстро (за четыре дня) написал этот рассказ и почему он так им дорожил, более, чем «Детством» и «Набегом»?

Вероятнее всего, работая непосредственно над «Отрочеством», Толстой мысленно работал уже и над «Юностью», и над «Молодостью» — это вполне естественно. И вот в какой-то момент трагическую развязку жизни одного из героев своего романа (при публикации «Отрочества» было оговорено, что повесть является частью романа «Четыре эпохи развития») Толстой пережил настолько близко, что не мог отложить на неопределенное время написание трагического эпизода, в котором, по сути дела, была сконцентрирована главная критическая мысль завершающей роман повести «Молодость». В «Записках маркера» Толстому важно не столько повествование самого маркера (хотя в этой части рассказа Толстой впервые попробовал писать от лица героя), сколько предсмертное письмо молодого Нехлюдова, покончившего жизнь самоубийством:

«Я не обесчещен, не несчастлив, не сделал никакого преступления; но я сделал хуже: я убил свои чувства, свой ум, свою молодость...

Ежели бы я был обесчещен, я бы мог подняться выше понятий чести нашего общества и презирать его.

Ежели бы я был несчастлив, я бы мог роптать. Ежели бы я сделал преступление, я бы мог раскаянием или наказанием искупить его; но я просто низок, гадок, знаю это — и не могу подняться...

Семерка, туз, шампанское, желтый в середину, мел, серенькие, радужные бумажки, папиросы, продажные женщины — вот мои воспоминания».

Но молодой Нехлюдов не только опустошил себя, он себя обокрал.

«Мне сказали, что смешно жить скромником, — и я отдал без сожаления цвет своей души — невинность — продажной женщине. Да, никакой убитой части моей души мне так не жалко, как любви, к которой я так был способен. Боже мой! Любил ли хоть один человек так, как я любил, когда еще не знал женщин».

Теперь уже вроде бы отпадала необходимость в четвертой части романа, итог был подведен, правда, пока предварительный, лишь через несколько десятилетий в романе «Вос-

кресение» будет подведен окончательный итог. И хотя Толстой откажется от мысли писать повесть «Молодость», но он не откажется от мысли писать о молодости, ибо эта пора жизни многовариантна, а самоубийство — лишь частный случай, лишь частный и слишком поспешный исход, не заключающий в себя никакого нравственного смысла. Толстой сам тогда вошел в пору молодости, он мучительно искал своего пути в жизни, но того пути, который приводит не к краху, а к счастью.

Еще раньше, работая над «Детством», Толстой уже замыслил новое большое произведение под названием «Роман русского помещика». 19 октября 1852 года он запишет в дневнике: «Мысль романа счастлива, он может быть не совершенство, но он всегда будет полезной и доброй книгой». Замыслу этому осуществиться будет не суждено, и тому виной станет не одна причина, но близлежащей окажется разразившаяся вскоре Крымская война.

Толстой не мог оставаться в роли свидетеля исторических событий, он должен был стать их действующим лицом, непосредственным участником.

Молодой Толстой увидел, пережил и глубоко прочувствовал жизнь в двух ее состояниях, в состоянии *мира* и в состоянии *войны*, и эти два состояния как бы вытекали одно из другого, происходили друг из друга, были тесно связаны друг с другом: мир, оказывается, всегда чреват войной, и причины войны лежали в противоречиях мирной жизни, в противоречиях человеческих отношений, а стало быть, в самом человеке, и война в своей сконцентрированной противоестественности, по Толстому, была не карой божией, а совокупной виной людей, блуждающих в потемках собственных, а у иных — цивилизованных предрассудков, предавших забвению *естественные* потребности и *естественные* чувства.

Стремление к естественной жизни, наконец, культ естественной жизни проистекал у Толстого не из каких-то умозрительных построений или религиозных догматов, а из того жизненного опыта, который у него не просто накапливался с годами, как у каждого человека, но который он жадно черпал из современной ему действительности, глубоко осмысливая каждое ее явление. Толстой был нетерпелив, настойчив и любопытен, он много читал, но никогда не «передоверял» книгам, то есть чужому опыту и чужим мыслям, он стремился познать жизнь в самых конфликтных ее проявлениях и затем ниспровергнуть любое господствующее авторитетное мнение, или

опереться на него в своих духовных исканиях. И уже в «Севастопольских рассказах» Толстой станет не простым летописцем Севастопольской эпопеи, а писателем-философом, сумевшим увидеть в подробностях войны взаимосвязь многих исторических событий, и не только тех, которые непосредственно вызвали Крымскую войну с ее унижающим национальное достоинство финалом, но и тех, которые за давностью лет вроде бы уже стали достоянием истории или предметом воспоминаний людей весьма преклонного возраста. *Война и мир* — вот проблема, которая навсегда западает в сознание Толстого на севастопольских бастионах, в кровавой бессмыслице он откроет для себя смысл исторического познания действительности и откроет в человеке его лучшие, не эгоистические стороны.

Много позже Толстой скажет, что никогда не станет служить никакому правительству, а тогда, в 1855 году, он оставит навсегда службу, чтобы посвятить всего себя служению главному герою «севастопольской страды» — народу, с которым ему довелось делить радости и горе и в основном горе — на поле брани.

Рассказ «Севастополь в декабре месяце» увидел свет в шестом номере «Современника» за 1855 год, а через два номера был опубликован рассказ «Севастополь в мае» (печатался он под названием «Ночь весною 1855 г. в Севастополе»), а в первом номере «Современника» за 1856 год вышел рассказ «Севастополь в августе 1855 года». Этот рассказ был закончен уже в Петербурге, и под ним впервые автор поставил свое имя — «Граф Л. Толстой». И с тех пор это имя стало не просто писательским именем, оно стало понятием, без которого уже невозможно представить не только русскую литературу, но и нашу общую духовную жизнь, устремленную к повседневной справедливости и к исторической истине.

Толстой въехал в литературный Петербург, как говорится, на белом коне. Автор «Детства», «Отрочества», «Набега», «Рубки леса», «Записок маркера», «Севастопольских рассказов» уже считался литературной звездой первой величины. Так, после прочтения «Отрочества» Некрасов писал Толстому: «Если я скажу, что не могу прибрать выражения, как достаточно похвалить Вашу последнюю вещь, то, кажется, это будет самое верное, что я могу сказать...»

«Я давно, — признавался Тургенев, — собирался затеять с Вами хотя письменное знакомство, любезный Лев Николаевич, за невозможностью — пока — другого... Во-первых, бла-

годарю Вас душевно за посвящение мне Вашей «Рубки леса» — ничего еще во всей моей литературной карьере так не польстило моему самолюбию».

«Мы все здесь молимся, да хранит Вас бог для чести и славы русской литературы», — писал Толстому И. Панаев.

Но Толстого не только хвалили, его с нетерпением ждали, жаждали увидеть его, познакомиться с ним, ввести в свой литературный круг, и каждый лелеял надежду... обратить молодого талантливого писателя в свою «веру».

«Пишите и шлите все скорей сюда... Мы ждем Вас из Севастополя с нетерпением страшным», — писал Толстому 31 мая 1855 года И. Панаев.

«Если действительно Вам возможно приехать хотя на время в Тульскую губернию — я бы нарочно явился сюда из Петербурга, чтобы познакомиться с Вами лично... Мне кажется, мы бы сошлись — и наговорились вдоволь — и, может быть, наше знакомство не было бы бесполезным для обоих», — писал Тургенев Толстому 3 октября 1855 года.

Толстой приезжает в Петербург и сразу же попадает в центр всеобщего внимания литераторов. Широта взглядов, независимость суждений, ореол героя Севастополя, солидный литературный багаж и блестящая писательская перспектива, признание публики, а заодно и графский титул открывают ему двери всех литературных журналов и кружков. И Толстой не разочаровал заочных почитателей его таланта при очном с ним знакомстве. «Милый, энергический, благородный юноша — сокол!..» (Некрасов). «Что это за милый и замечательный человек...» (Тургенев). Столь же восторженно отзывались о нем после первых встреч Анненков, Григорович, Панаев, Островский, Дружинин. Не разочаровал Толстой и Чернышевского, радушно приняли его Аксаковы, Хомяков, Погодин, А. Григорьев... Короче сказать, Толстой сразу же вписался в литературную среду.

И хотя Толстой заслужил такой прием и своим вкладом в русскую литературу, и своим исключительным в ту пору между литераторами жизненным опытом, однако он менее всего заслуживал определения «милый», во всяком случае, в том его звучании, какое слышится нам в нем теперь, — слова зачастую со временем, утрачивая какие-то оттенки, приобретают если и не противоположный, то несколько иной смысл. Так или иначе, но Толстой меньше всего был «милым», в чем очень скоро убедились все те, кто раскрыл ему объятия для долгосрочной дружбы, более всего походящей на литературное сообщничество.

В произведениях Толстого каждый мог найти что-то очень близкое или даже заветное для себя, и каждый, полагаясь на собственную опытность в литературных делах, стремился развить в молодом авторе именно это дорогое и близкое себе, причем за счет того, что ему почему-то казалось в толстовских произведениях случайным или необязательным, короче говоря, каждый пытался втянуть Толстого в ту идейно-эстетическую систему, которой придерживался сам и его литературные единомышленники. А Толстой жил вне готовых систем, то есть он давно отринул все системы и авторитеты, под сенью которых проще было укрываться от переменчивых веяний времени и от личной ответственности перед будущим.

Еще до приезда в Петербург Толстой запишет в дневнике: «Быть, чем есть... по способностям — литератором... по рождению — аристократом...» И эта программа может смутить, поскольку во всех своих опубликованных произведениях он как бы уже отмежевывается от своего сословия, перенося все свои симпатии на простой народ. Но тут нет никакого противоречия, ибо Толстой хотел оставаться аристократом лишь по рождению, а быть аристократом по рождению для него означало: сохранить во всем свою независимость, всегда отстаивать свое человеческое достоинство.

Ради сохранения независимости Толстой готов был пожертвовать даже литературной карьерой, понимая, что в своих оценках журналы всегда будут руководствоваться не объективными критериями, а собственным вкусом, подчиненным собственным взглядам. Очень скоро поймет он, что не избежать ему зависимости и от цензуры, зависимости унизительной в силу своей непререкаемости.

В Петербурге Толстой делает для себя еще одно печальное открытие, что очень точно замечает современный исследователь его творчества Л. Пажитнов. «Жизнь воочию, — пишет он в своей книге «Слово и дело Толстого» (1979), — как в хорошо поставленном эксперименте, убеждает Толстого, что человек, вложивший свои силы в литературу, при любом повороте общественного интереса попадает в зависимость от читателя, вынужден угождать его требованиям, поворачиваться вместе с ним, иначе его неминуемо выбросят за борт. Значит, каждый, кому дорога самостоятельность и независимость, должен позаботиться о более существенной опоре».

Прошло совсем немного времени с тех пор, как Толстой приехал в Петербург и с восторгом был встречен всеми лите-

ратурными знаменитостями, но вскоре уже стали возможными и такие сцены:

«— Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблей в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждениями.

— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Белосельской-Белозерской.

— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения» (А. Фет. «Мои воспоминания»).

Нет, никогда Толстой не был и не мог быть «милым», и тому причина не вздорность его характера, а прямота характера и независимость в суждениях, которые он прямо-таки выстрадывал, постоянно согласуя каждое слово и каждый свой поступок с тем, что он провозглашал в своих произведениях. Для Толстого литература уже стала не частью жизни, а самой жизнью.

В начале 1857 года Толстой отправляется в свое первое заграничное путешествие, он посетит Францию, Германию, Италию, Швейцарию. Из-за границы он привезет рассказ «Люцерн», который будет напечатан в девятом номере «Современника» за 1857 год, однако в журнале в это время произойдет раскол, и это не могло не отразиться на творческой судьбе многих его сотрудников.

Страна входила в кризисную ситуацию, а Толстой входил в совершенно другую полосу своей жизни. В октябре 1857 года он запишет в дневнике: «Хочу сидеть дома и писать... Репутация моя пала или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился; но теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть что сказать и сильно сказать; а там, что хочет говори публика, но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюют на алтарь».

Великие люди, в отличие от людей ординарных и даже просто талантливых, при всей подвижности их взглядов и настоятельности духовных исканий, оборачивающихся постоянными сомнениями, остаются поразительно верными самим себе; они, являясь причиной многих изменений обстоятельств

внешнего мира, чутко реагируют на эти изменения и настойчиво их корректируют, но вовсе не потому, что способны своей волей направлять мировое движение, а потому, что изначально несут в себе нравственную меру будущего.

Мы остановились только на раннем периоде жизни Толстого-писателя и на его ранних произведениях, нам важно было раскрыть природу художественного таланта великого писателя и обозначить направление его нравственных и гражданских исканий. В любом раннем произведении при всей своей *изменяемости* и противоречивости Толстой оставался поразительно *неизменяемым в* самом главном — в изначальной жажде истины и справедливости. В каждом его произведении, как в генетическом коде, была запрограммирована та или иная жизненная проблема, которая в полной мере могла получить свое развитие лишь во взаимосвязи с остальными. Однако «Война и мир» родилась не от механического слияния предшествующих ей произведений Толстого (или заключенных в них проблем), а из внутренней потребности самого Толстого на определенном этапе исторического развития страны в философском, историческом и художественном *синтезе.* Теперь Толстой мог сделать главным героем своего произведения — только народ. Эта доминирующая мысль и взывала к синтезу, эта мысль требовала такого исторического и жизненного материала, который дал бы Толстому возможность в период общенационального кризиса выразить общенациональную положительную идею в ее исторической достоверности и в подлинной жизненной актуальности.

Толстой стоял на пороге создания «Войны и мира».

1985

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ – ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Но любовь и интерес к старине бывают часто особой формой темпераментного, напряженного отношения к настоящему. Иногда в прошлом ищешь оправдания своим живым симпатиям и страстям, насквозь пропитанным злобою дня. Прошлое становится тогда свидетелем, который на суде современности должен дать показания в нашу пользу.

Нестор Котляревский

В 1969 году журнал «Вопросы литературы»(№ 5, 7, 10, 12) провел дискуссию о славянофилах, к которым в конце шестидесятых в ходе горячих споров о нашем историческом прошлом было привлечено внимание читателей. Вскоре по окончании дискуссии я написал статью «Вопросы истории — вопросы современности», однако на страницах периодических изданий она уже не нашла места, так как обстановка резко изменилась, начались гонения на журналы «Новый мир» и «Молодая гвардия», всякие споры и дискуссии, особенно касающиеся исторического прошлого, стали, мягко говоря, нежелательными.

В 1974 году я сдал в издательство «Современник» рукопись книги «Вопросы и время», включив в нее и статью о славянофилах. Рукопись потихоньку проходила издательские рифы и в ноябре 1975 года ушла в набор. В марте следующего года пришла верстка, а осенью, после долгих чтений, ее рассыпали. Правда, через несколько месяцев издательство вновь возобновило работу над рукописью, через год пришла уже новая верстка, и снова началась мучительная работа-тяжба, в результате статья о славянофилах снова «слетела», однако работа продолжалась и дальше. Книга увидела свет лишь в конце 1978 года, ровно через три года после сдачи рукописи в набор. Главу «На рубеже двух десятилетий» сиротливо представляла одна-единственная статья «Наследство и наследники».

Считаю излишним предъявлять сегодня какие-либо претензии тогдашним издателям «Современника», в те времена

далеко не все зависело от них, думаю даже, что в других издательствах судьба книги оказалась бы еще более печальной.

С тех пор, как была написана статья «Вопросы истории — вопросы современности», прошло около двадцати лет, не все мои оппоненты дожили до сегодняшнего дня, но мне не хотелось ничего в ней менять, ни аргументов, ни общего тона спора, дабы вернуться в то время, когда статье надлежало увидеть свет и вызвать своевременные возражения и тем самым развить дальше столь важный для истории нашей общественной мысли разговор.

«Пауза» почти в два десятилетия не внесла необходимой ясности в те проблемы, что вызвали тогда острую дискуссию, а проблемы эти и сегодня не являются лишь историко-литературными. Поэтому я и считаю возможным предложить вниманию сегодняшнего читателя работу, пролежавшую в столе около двух десятилетий.

1

В преддверии нового десятилетия (наших «семидесятых») мы отдали естественную дань различного рода литературным прогнозам. Одни предрекали близкий расцвет поэзии, другие ожидали особых успехов от прозы, третьи — от определенного литературного течения. Четвертые оказались в своих прогнозах еще категоричнее, связывая будущий расцвет литературы с конкретными писательскими именами. Кончина минувшего десятилетия дала достаточно оснований для прогнозов, хотя, разумеется, не всем им суждено было сбыться во всем их объеме, однако дело тут не в самих прогнозах, а в той оценке настоящего литературного процесса, того его момента, который пришелся на смену десятилетий, а этот момент при всей его неоднозначности в первую очередь характеризовался прямым обращением к историческому прошлому своей страны

Наши споры о современной «деревенской» прозе и литературе о Великой Отечественной войне переросли в споры об исторической судьбе родины. Мы начинали разговор об Иване Африкановиче или Федоре Кузькине, а спорили о народности и патриотизме, гуманизме и интернационализме, о личности и государстве, короче говоря, о тех категориях, о которых почти никогда не говорят вслух Иваны Африкановичи и Федоры Кузькины.

Но, пожалуй, наиболее серьезный и острый спор в связи с «деревенской» прозой возник о народности. И вполне естественно, что в конце концов мы обратились к истории самого вопроса, во многом связанного со славянофилами и западниками, и породившей их эпохе. Первым крупным разговором на историко-философскую и социальную тему, состоявшимся в конце прошлого десятилетия, стал разговор о славянофилах. В дальнейшем мы подробно на нем остановимся, но вовсе не потому, что нас как-то особенно занимает имевший когда-то место диалог между славянофилами и западниками.

Однако прежде чем перейти к разговору о дискуссии, проведенной журналом «Вопросы литературы», необходимо сделать хотя и частное, но принципиальное, на мой взгляд, замечание. В редакционном вступлении было в частности, сказано: «Мы открываем дискуссию, посвященную литературно-эстетической программе славянофильства, точнее, раннего славянофильства 40—50-х годов XIX века», а общее название дискуссии формулировалось так: «Литературная критика ранних славянофилов».

Каждому понятно, всякий «ранний период», сколь бы он ни был краток, предполагает и другие последующие периоды. Редакция же никаких уточнений насчет последующих периодов не сделала и тем самым дала ненужный простор произвольным догадкам и толкованиям, имеющим мало чего общего с научным подходом к проблеме. Правда, некоторые участники сразу же заметили, что никакого позднего славянофильства и не было*. Попытка утвердить в нашей критике термин «неославянофильство» противоречит основным положениям научной методологии, так как при этом совершенно игнорируются или, во всяком случае, искусственно подгоняются социально-исторические условия сразу нескольких эпох.

Соблазн отыскать «поздних» славянофилов заставил С. Машинского, между прочим, без каких-либо оговорок привести сомнительной научной ценности цитату из эмигрантского сочинения В. Варшавского «В эмиграции этот процесс вырождения славянофильства продолжался, и русскому мес-

---

* Так, Л. Фризман совершенно справедливо указал, что с начала 60-х годов, то есть после реформы, славянофильство как таковое перестало существовать, сославшись при этом на слова Ленина, решительно возражавшего в свое время против попыток использовать термин «славянофильство» при анализе народничества.

сианизму грозила опасность повторить роковой путь породившего его немецкого романтизма, начавшегося с Гердера и кончившегося Гитлером». Если следовать логике В. Варшавского, то здесь надо обвинять не Гердера и немецкий романтизм, а Адама и Еву, так как все началось именно с них, не с Гердера.

Подобное расширение термина «славянофильство» ведет к тому, что он теряет свою историческую содержательность и превращается в ярлык, не имеющий ничего общего с научной терминологией, но зато способный устрашить хоть какого оппонента.

Не меньшее недоумение вызывает и определение периода «раннего» славянофильства сороковыми — пятидесятыми годами прошлого века. Можно подумать, будто организаторы дискуссии, коль скоро им пришло в голову связывать воедино сороковые и пятидесятые годы, забыли о существовании в истории 1848 года, перевернувшего общественное сознание всей Европы. Что же касается самих славянофилов, то они никак не причастны к этой периодизации, они слишком близко стояли к современной им жизни, чтобы не заметить событий исторического масштаба и того, как на грани двух десятилетий лишились своих достойных оппонентов — в сорок седьмом году уехал за границу Герцен, а в сорок восьмом умер Белинский. Можно без всяких натяжек сказать: наше славянофильство пережило в своем развитии два этапа, водоразделом между которыми пролег именно сорок восьмой год. И нетрудно понять, что произвольная периодизация, которую нам вдруг предложили, лишает как славянофильство, так и западничество их внутреннего развития и превращает их учения в абстрактные вневременные догмы, оторванные от живой действительности.

Эти оговорки стали бы излишни, коль скоро тенденция превратить конкретные исторические явления русской действительности в некие вневременные оценочные категории не получила бы во многих выступлениях своего «логического» продолжения.

Но каковы ни были бы издержки самой дискуссии о славянофилах, проведенной журналом «Вопросы литературы» в последний год минувшего десятилетия, в целом ее можно оценить как серьезный вклад в общий разговор о нашем историческом прошлом. Интересные и во многих своих положениях

верные статьи С. Дмитриева, Б. Егорова, А. Иванова, В. Кожинова, Е. Маймина, Л. Фризмана сделали дискуссию значительной по своему содержанию и по своему творческому направлению.

2

Пожалуй, самое серьезное обвинение, предъявляемое славянофилам их нынешними противниками — обвинение в национализме. И это понятно, ибо вопрос о национализме не снят с повестки дня, более того, он стал острейшей и далеко не только теоретической проблемой современности. Одна из причин теперешнего интереса к славянофилам кроется как раз именно в том, что они первыми из отечественных мыслителей связали свое учение, говоря современным языком, с национальным вопросом. Если вопросы о самодержавии, крепостном праве, православии или реформах Петра, так волновавшие славянофилов и их современников, имеют нынче для нас второстепенное значение, то национальный вопрос значения своего нисколько не растерял. Есть тут и своя утилитарная сторона: нынешние противники славянофилов видят, а точнее, хотят видеть в них родоначальников любого национализма, правда, национализм при этом опять рассматривается как абстрактная, внеисторическая и внеклассовая категория. Пока ограничимся несколькими примерами, чтобы показать, каковы же характер и настойчивость этих обвинений.

«Упрямое противопоставление православной Руси прогнившему Западу, с его борьбою классов, с революциями и конституциями, стремление отгородиться от «всяких чужеземных теорий демократизма и социализма» — пронизывало собою почти все писания славянофилов. Эта националистическая пропаганда вела к обособлению народов, к разжиганию национальной вражды» (*С. Покровский).*

«И, может быть, станет ясным, что и идеологи официальной народности, и славянофилы развивали не национальное самосознание, вырабатывали не национальную, а националистическую идеологию. И, конечно, передовая общественная мысль России не имела к выработке националистической идеологии никакого отношения. Другое дело «официальная народность» и славянофильство» (*А. Дементьев).*

«Но мы думаем, что все же националистическое высокомерие одерживало у них верх, ведь иногда и самоуничижение паче

гордости. У славянофилов мессианизм России противопоставлялся всему европейскому, как растленному» (*В. Кулешов*).

«Национализм славянофилов проявлялся и в их высокомерном отношении к другим народам, и в их представлении о преимуществе «русского мира» перед западным, православной церкви перед католической, равно как и в их мессианском представлении о русской нации в целом, как о «богоизбранной» («народ богоносец»), и что особенно важно — в их настойчивом стремлении закупорить Россию и обособить ее от всего человечества» (*С. Машинский*).

На все эти высказывания можно привести десятки цитат из работ славянофилов, опровергающих брошенные в их адрес обвинения. Но не станем затруднять себя столь удручающе скучным, а главное, бесплодным занятием и даже пойдем на уступки нашим оппонентам, однако одновременно попробуем вернуть понятие «национализма» на ту историческую почву, что родила славянофильство как явление общественной жизни предреформенной России.

Всем нынешним рьяным обличителям славянофильства свойствен общий методологический порок. Сходясь на мысли, будто славянофилы стремились «закупорить Россию и обособить ее от всего человечества», они-то как раз и проделывают работу, которой, по их мнению, якобы занимались славянофилы. Во-первых, в своем анализе славянофильства они искусственно отделяют процессы тогдашней русской действительности от общеевропейских процессов — во всем противопоставляя Россию остальной Европе (будто тогда существовала какая-то пан-Европа). Во-вторых, согласно их модели общественная мысль России могла развиваться абсолютно самостоятельно, нигде не соприкасаясь с общим ходом европейской мысли. Вот один весьма любопытный пример:

«Есть еще один важный аспект, — пишет В. Кулешов, — который представляет собой самостоятельную проблему; известно, как высоко чтят славянофилов в болгарских, сербских, македонских землях за то, что они в свое время горячо поддержали эти народы в борьбе против турок. Там эта проблема воспринимается в особом ракурсе национально-освободительной борьбы, вне интересующей нас полемики между западниками и славянофилами. *То есть мы не хотим сказать, что все эти стороны в деятельности славянофилов не надо изучать. Но это или частные, или производные проблемы,* а предметом спора, так сказать, его горючим материалом явля-

ется общая, в рамках русской истории, оценка славянофильства как идейного течения» (курсив мой. — *А. Л.*).

Прекрасно! Русская история — в жестких рамках русской действительности, а все, чем связана русская история с общеевропейской, — это уже «частные или производные проблемы», а если их и изучать, эти частные проблемы, то вне контекста русской истории и русской общественной мысли, как не имеющие к ним прямого отношения А лучше всего их вообще не изучать Вот уж где воистину не знающее меры стремление «закупорить Россию и обособить ее от всего человечества»!

А теперь послушаем в свою очередь одного из лидеров славянофильства и посмотрим, действительно ли славянофилы пытались изолировать Россию от остального мира и действительно ли они разжигали национальную вражду?

«Не дела лиц, — говорил А. Хомяков о целях исторической науки, — не судьбы народов, но общее дело, судьба, жизнь всего человечества составляют истинный предмет истории. Говоря отвлеченно, мы скажем, что мы, мелкая частица рода человеческого, видим развитие своей души, своей внутренней жизни во внешней жизни миллионов людей на всем пространстве земного шара. Тут уж имена делаются случайностями, и только духовный смысл общих движений и проявлений получает истинную важность. Говоря практически, мы скажем, что *в истории мы ищем самого начала рода человеческого, в надежде найти ясное слово об его первоначальном братстве и общем источнике*» (курсив мой. — *А. Л.*).

Чтобы не было недоразумений, попутно заметим, что здесь цитировалось не какое-нибудь «случайное» выступление А Хомякова, а глава под названием «Истинный предмет исторической науки и ее истинное значение», то есть место, в котором А. Хомяков сформулировал свой методологический принцип.

Трудно понять, как уж С. Покровский сумел отсюда вывести такую, к примеру, формулировку: «Эта националистическая пропаганда вела к обособлению народов, к разжиганию национальной вражды»? Однако вывел.

В другом месте А. Хомяков говорит: «И мы, так же, как и вы, вследствие происшествий исторических, пришли в соприкосновение с Европою и ее просвещением. С горечью увидели мы свое невежество, с удивлением — чужое знание. Мы полюбили это знание, мы старались усвоить себе его сокровища, и мы были правы, ибо такова обязанность человека. Но

в слепом благоговении перед чужим богатством мы не умели распознать его злую примесь, а высшее свое богатство забыли. *Всему чужому стали мы не учиться, а подражать.* Вместо смысла просвещения, вместо внутреннего зерна мысли, в нем проявляющейся, стали мы перенимать его форму и наружный вид, вместо того, чтобы возбудить в себе самодейственную силу разума, мы стали без разбора принимать все выводы, сделанные чужим умом» (курсив мой. — *А. Л.*).

Нет, славянофилы никогда не противопоставляли Россию Западу в том смысле, которой, вероятно, по недоразумению придерживаются их многие сегодняшние критики (как наши, так и зарубежные). Что, собственно, утверждали славянофилы? Они утверждали следующее: Россия и Запад долго шли довольно разными путями. Петр «прорубил окно в Европу», война 1812 года пробила еще брешь, короче говоря, «китайская стена» рухнула. В России есть много хорошего и мною дурного. На Западе также есть много хорошею и много дурного. Нужно научиться учиться, чтобы обогатить себя, нужно отказаться от своего дурного и усвоить все хорошее с Запада. Они огорчались тем, что мы усваиваем, как правило, чужое дурное (оно легче усваивается) и отказываемся от своего хорошего, а за дурное держимся (так тоже легче).

3

Вероятно, не нужно предпринимать никаких чрезмерных усилий ради сближения нас с Европой. В нашей исторической судьбе слишком много общих «узлов», чтобы даже в будущем можно представить себе наши пути в виде параллельных линий. Так, обращаясь к истории вопроса о народности, сколько мы ни говорили бы о западниках и славянофилах, мы не минуем такого события, как Французская революция 1789 года и ее последствия (наполеоновские войны, Реставрация).

Достаточно справедливо многие историки сравнивали значение Французской революции 1789 года со значением немецкой Реформации XVI века в том отношении, что как революция, так и Реформация очень быстро потеряли свое только местное значение и приобрели общеевропейский универсальный характер.

Как известно, местом Реформации стала Центральная Европа (Германия), но это событие со временем во многом изменило облик Европы. Местом революции 1789 года стала За-

падная Европа (Франция), но в результате этого события изменились не только политическая карта Европы, но и весь характер европейской жизни.

Следует заметить, сперва на французские события, начавшиеся штурмом Бастилии, смотрели как на события местного французского значения. И хотя казнь Людовика XVI и некоторых титулованных особ вызвала определенную реакцию европейских монархов, правительства их по-прежнему продолжали осваивать французские события с точки зрения собственных выгод или невыгод. Даже начало революционных войн в 1792 году вроде бы еще не внушало серьезной угрозы общеевропейским устоям. И только значительно позже, когда наполеоновская идея мирового господства начала с необыкновенной настойчивостью и почти с неизменным успехом претворяться в жизнь, образовалась настоящая антифранцузская коалиция европейских государств.

В первый год Французской революции была принята «Декларация прав человека и гражданина», в третьем параграфе которой были записаны такие слова: «Первоначальный источник всякой верховной власти есть нация». Отныне за нацией признается естественное право на верховную власть. Даже Наполеон, принявший в 1804 году титул императора и всеми своими деяниями поправший этот священный принцип «Декларации», не нашел для себя возможности публично от него отречься. Если Людовик XVI мог выразить идею верховной власти словами «Государство — это я», то Наполеон мог выразить ее только словами: «Ведь только я, один я — настоящий представитель народа».

И это очень существенно, ибо в первом случае речь шла о божественном наместничестве на земле и божественной природе королевской власти, а во втором — об императорской власти как законной форме народовластия. В первом случае монарх и монархия освящались перстом божьим, во втором случае — волею народа. Когда в 1802 году Бонапарт вновь был переизбран сенатом первым консулом, он на этот «блестящий залог национальной благодарности» ответил так: «Вы находите нужным, чтобы я принес народу новую жертву, и я это сделаю, если голос народа предпишет мне то, что разрешает ваше постановление». Итак, сенат только разрешает, а предписывает — народ.

Конечно, мы далеко не всегда найдем в деяниях Наполеона отражение истинной воли французского народа, но мы не

можем не заметить, что теперь всякая акция нового императора совершается непременно от имени народа и как бы нуждается в его верховной санкции. Наполеон прекрасно понял дух нового времени и то, какие перспективы сулит ему его эксплуатация. В то же время он осознавал и видел угрозу своим имперостроительным планам в национальном самосознании народов, и в первую очередь своего собственного. Так, получив императорскую власть как бы из рук народа, он второго декабря 1804 года в соборе Парижской Богоматери принял помазание от папы Пия VII, чем выразил свое сомнение в законности высшей санкции народа.

Весьма характерно в этой связи признание Наполеона Меттерниху, сделанное им под конец своей карьеры. «Я вырос, — сказал Наполеон, — на полях битв: такому человеку, как я, наплевать на жизнь миллионов людей!» Но, разумеется, ни эти слова в конце императорства, ни помазание в начале его, как частные случаи, еще не дают достаточных оснований делать выводы о характере и принципах наполеоновского имперостроительства. Такие выводы можно делать только на основании рассмотрения структуры самой наполеоновской империи.

Возьмите политическую карту Европы образца 1812 года, и вы увидите, как Наполеон перекроил ее, принимая в расчет только политические соображения, согласованные с интересами своей империи. На полях Европы идея народа как источника верховной власти была растоптана им без какого бы то ни было сомнения. И потому-то борьба с наполеоновским нашествием вызвала настоящий взрыв национального самосознания и национальной гордости у народов, подпавших под господство французов. И не случайно битва при Лейпциге вошла в историю под названием «битвы народов», чем и подчеркивалась историческая роль народов в разгроме Наполеона.

Союзники еще до победы над Наполеоном в какой-то мере определили будущий политический облик Европы и решили судьбу будущей Франции. Уже после Лейпцигской битвы начала проводиться политика легитимизма, и к 1815 году была произведена не только реставрация Бурбонов, но и других династий (Савойского дома в Сардинии, Брагансской фамилии в Португалии, принца Оранского в Голландии). Но суть даже не в реставрации этих династий, а в тех принципах, что были положены в основу общего устройства Европы.

Давайте опять посмотрим на карту Европы, но теперь уже образца 1815 года. Многое на ней изменилось по сравнению с 1812 годом, но неизменным остался принцип отношения к суверенитету наций. Как и при Наполеоне, полностью игнорировались интересы народов: стремление наций к единению (в частности, германского и итальянского народов) или освобождению от иноземного ига. В основу Венских постановлений были положены принципы дипломатии XVIII века — принципы европейского равновесия и системы вознаграждений. Дипломаты на Венском конгрессе представляли государства, но не нации. В частности, что очень существенно, Венский конгресс устранился от решения судеб народов европейского континента, покоренных Оттоманской империей, он воспротивился также всяким попыткам объединить польское государство.

Таким образом, федерация европейских государств, образовавшаяся в ходе борьбы с наполеоновским нашествием, после разгрома Наполеона превратилась в федерацию правительств европейских государств, душою которой стал Меттерних, сформулировавший задачи этой федерации следующим образом: «Цель мятежников едина и единообразна — это ниспровержение всего законно существенного. Принцип, который должны противопоставлять монархии, это принцип сохранения (conservation) всего законно существующего».

Итак, Наполеон и его империя — это во многом была реакция на Французскую революцию, а вовсе не продолжение ее и развитие, как пытался представить дело сам Наполеон.

Священный союз во главе с Меттернихом — это во многом была реакция на национально-освободительное движение, возникшее в результате борьбы народов с наполеоновским нашествием, а не только реакция на узурпаторство Наполеона, как пытался, в частности, представить дело Александр I.

Обе реакции сближало отрицание прав народов на самоопределение и верховную власть. Французскую революцию сближало с национально-освободительным движением периода Реставрации общее стремление в той или иной форме воплотить в жизнь идею народовластия. После разгрома Наполеона в противовес идеям Священного союза (легитимизм, космополитизм, аристократизм) общеевропейская прогрессивная общественная мысль выдвинула оппозиционные идеи (либерализм, национализм, демократизм), и все оппозиционные кружки той поры исповедовали эти идеи, хотя каждый,

естественно, мог отдавать большее предпочтение только одной из них.

Здесь также нелишним будет заметить о возрождении в 1814 году ордена иезуитов, ранее распущенного, а теперь в силу буллы папы Пия VII (Sollicitudo omnium) вновь реставрированного. И хотя, конечно, цели Священного союза и возрожденного ордена иезуитов не во всем совпадали, но в этот период они образовали единый фронт против общеевропейского движения борцов за национальное самоопределение и политическую свободу, какую форму это движение ни принимало бы.

Как известно, орден иезуитов, начиная со времен Игнатия Лойолы и Диего Лайнеса, всегда боролся с любым проявлением национально-патриотических чувств. Еще в ранний период генерал иезуитов Винцентия Караффу (в 1646 году) напоминал членам ордена, что «каждая страна, а не какая-нибудь одна страна, есть наше отечество». Другой иезуитский генерал, Госвин Никкель, называл любовь к отечеству «чумой и вернейшей смертью христианской любви».

Я понимаю, современное звучание слова «национализм» весьма затрудняет прочтение этого слова в его изначальном смысле, однако вряд ли на этом основании было бы целесообразным отказываться от его употребления в разговоре о той эпохе, которая его вызвала к жизни.

Итак, национализм в эпоху, породившую славянофилов и западников, был явлением прогрессивным (не беря его крайностей, впрочем, как и крайностей других явлений), и любое революционно-освободительное движение (или учение) тех лет было тоже окрашено в той или иной мере в его цвета. Да, между славянофилами и западниками существовали разногласия (порой довольно серьезные), но славянофилы и западники вовсе не были во всем противостоящими лагерями, как те, так и другие шли к сходной цели, хотя и разными путями. В одной из своих последних работ Белинский, к примеру, писал: «Что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества... Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики» («Взгляд на русскую литературу 1846 г.»).

4

Однако обратимся к российской действительности и эпохе, непосредственно породившей славянофильство и западничество. Думается, мы нисколько не погрешим против истины, если скажем, что после окончательного падения Наполеона русский император Александр I стал довольно популярной личностью не только в России, но и во всей остальной Европе, чему способствовали как победы русского оружия на поле брани, так и тот либерализм, который выгодно отличал его от других европейских правителей. В борьбе России с Наполеоном Александр I усматривал священную миссию избавления Европы от узурпатора, и потому он в свое время, например, воспротивился уменьшению территории Франции, на что покушались его далеко не бескорыстные союзники. Не кто иной, как Александр I настоял, чтобы Людовик XVIII дал конституционную хартию французскому народу, а сам даровал конституцию Польше с мыслью распространить ее на все государство Российское, наконец, сохранил присоединенной в 1809 году Финляндии шведское государственное устройство. И недаром Меттерних смотрел тогда на русского царя да еще на прусского министра Штейна как на якобинцев.

Вполне понятно, что первые либеральные акции Александра I поначалу должны были вызвать и вызвали в русском обществе глубокое удовлетворение и надежду на скорую демократизацию российских порядков. Но время шло, и надежды стали уступать место законным сомнениям. Мы уже говорили, что в период реставрации принцип национальности и вопросы политической эмансипации переплетались самым тесным образом и противостояли другим началам — началам общеевропейской реакции. Хорошо было известно, что на Венском конгрессе Александр I добивался единения Польши, он отменил крепостное право в остзейских землях, а в самой России попрежнему существовало крепостное право. Уязвленное национальное чувство породило оппозиционное настроение. Еще больше это чувство было подогрето событиями 1821 года.

В 1820 году начались волнения в Греции, а в октябре вожди гетерии* уже решали вопрос о начале восстания против

* После того как на Венском конгрессе отвернулись от народов, порабощенных Портой, в Греции возникло тайное общество.

турецкого ига. Министром иностранных дел России в то время был грек по национальности Каподистрия, горячо сочувствовавший греческому народу, так что греческие патриоты рассчитывали на всестороннюю поддержку России. Во главе восстания встал бывший офицер русской армии князь Александр Ипсиланти, внук казненного турками валахского господаря. В феврале 1821 года восстание началось. Турки ответили на него неслыханной резней христианского населения в своей империи. Султан объявил константинопольского патриарха Григория IV изменником и приказал его казнить. Григорий IV был повешен, а тело его после надругательств сбросили в море. Тело патриарха было случайно выловлено и доставлено в Одессу на одном из греческих кораблей.

Мы не станем вникать во все перипетии той ситуации, здесь достаточно будет привести слова самого Александра I, которыми он исчерпывающе выразил свое отношение к греческому вопросу. «Я, — несколько позднее признавался русский царь французскому уполномоченному Шатобриану, — покидаю дело Греции потому, что усмотрел в войне греков революционный признак времени. Что бы ни делали для того, лишь бы стеснить Священный союз в его деятельности и заподозрить его цели, я от него не отступлюсь. У каждого есть право на самозащиту, и это право должны иметь также и монархи против тайных обществ, я должен защищать религию, мораль и справедливость».

Таким образом, Александр I окончательно вставал на сторону общеевропейской реакции, принципы легитимизма вытесняли из его политики всякие либеральные намерения, приходил конец иллюзиям, что так тесно прежде связывались с его именем. И чувство обожания к императору постепенно превращалось в свою противоположность — в презрение. И если честь Англии в греческом вопросе спас Байрон, отдав жизнь за свободу греческого народа, то честь России спасло русское передовое общество, встав в откровенную оппозицию к царю и его верноподданным.

Интересную характеристику этой оппозиции дает Адам Мицкевич в своих лекциях, читанных им в 1839—1843 годах в Лозанне.

«Около 1820 года, — говорил польский поэт, — вся русская литература перешла на сторону оппозиции, храня по отношению к правительству грозное молчание. В России того времени можно было наблюдать характерное явление: могу-

щественный монарх, чтимый во всей Европе, которому достаточно было послать любому иностранному писателю перстень или табакерку, чтобы получить взамен поэму или книгу, прославляющие его, чтобы в наиболее авторитетных французских и немецких газетах появились статьи, защищающие его политику и восхваляющие его особу, — этот монарх не мог добиться ни единой строфы ни от кого из русских поэтов, ни единой статьи от хоть сколько-нибудь известного русского писателя. Дошло до того, что платили людям совершенно безвестным, лишь бы они согласились тиснуть в книге или в газете несколько хвалебных слов по адресу императора, — но и этого нельзя было добиться: общественное мнение заклеймило бы такого писателя... Общественное мнение было сильнее угроз правительства».

Конечно, не следует преувеличивать значения этой оппозиции как политической силы. По-моему, хотя и едко, но довольно справедливо Адам Мицкевич охарактеризовал ее в статье «Пушкин и литературное движение в России».

«Надо знать, — писал он, — что в этой стране все и всегда в большей или в меньшей мере недовольны своим правительством; его обвиняют тайком, его осуждают громогласно. Несмотря на это, все по-прежнему работают, словом, все служат этому правительству. Иностранец, не знающий характера и веса этой оппозиции, исконной и всеобщей, а между тем так мало опасной, встречая всюду врагов существующего порядка вещей и нигде не видя его защитников, приходит к выводу, что Россия готова начать революцию, что она ждет лишь удобной минуты, ждет только призыва».

Правда, это говорилось в 1837 году, то есть двенадцать лет спустя после восстания декабристов, уже в николаевскую эпоху.

И тут мы вплотную подходим к вопросу «русского мессианизма». Как известно, в период Реставрации передовая европейская общественная мысль находилась под влиянием идей Шеллинга н Гегеля. (Разумеется, идеи этих великих философов не были их «выдумкой», они по-своему отражали ситуацию, что сложилась в ту эпоху в Европе, и, в частности, в немецких землях.) Россия также пережила закономерное влияние философии Шеллинга и Гегеля, поэтому мысль, что каждому историческому народу предстоит выполнить в истории общечеловеческой цивилизации определенную (точнее, предопределенную) роль, а по мере ее исполнения сой-

ти с исторического поприща, никак нельзя считать запатентованной славянофилами. Роль России в войне с Наполеоном позволяла думать, что Россия приступила к исполнению своих исторических обязанностей, а их характер был определен войной 1812 года.

Роль освободителей европейских народов льстила национальному самолюбию и развивала его. Теперь симпатии русского передового общества постоянно были на стороне народов, боровшихся за свое национальное освобождение. И не только симпатии, но и постоянное желание прийти им на помощь. И панславизм, в котором обвиняются теперь славянофилы, носил не имперостроительный, а национально-освободительный характер (тут достаточно взглянуть на политическую карту Европы тех лет, чтобы понять, какие задачи стояли перед славянскими народами). Между прочим, панславистами в то время были многие западники и даже такой радикально мыслящий человек, как Бакунин. А чешский поэт Ян Коллар писал: «Все народы уже произнесли свое последнее слово; теперь, славяне, очередь за нами!» Панславистом был и Адам Мицкевич. Что же касается русского панславизма того периода, то он возбуждал не столько мысли о своих правах, сколько мысли о своих обязанностях перед порабощенными славянскими народами.

Однако «русский мессианизм», несший идею братства, стукнулся прежде всего о собственную действительность — о крепостное право. О каком братстве могла идти речь, как можно было его проповедовать, когда твой ближний соотечественник несвободен, угнетен, а твое человеческое достоинство унижено приобщением к рабству. Дело в том, что мы (вероятно, в силу инерции), говоря о крепостной зависимости, имеем в виду только крепостных крестьян. Это не совсем точно, так как крепостная зависимость предполагала обоюдную зависимость: как крестьянина от помещика, так и помещика от крестьян.

Разумеется, зависимость помещика и зависимость крестьянина — вещи противоположные, но тем не менее зависимость эта обоюдная. Казалось бы, зачем понадобилось Гоголю в «Мертвых душах» выводить целую галерею крепостников-помещиков? Не проще ли было вывести одного монстра, наделенного множеством пороков, развившихся до своих крайних пределов, противопоставив ему жертвы, его же произвола? Но в том-то и дело, что Гоголь обличал зло, а не носителей

зла. Перед нами проходят жертвы крепостного права: с одной стороны — неразвитые в силу своих крепостных обязанностей крестьяне, а с другой — опустошенные и искалеченные крепостными правами помещики.

Но велика была вера Гоголя в русский народ, в его потенциальные возможности, чтобы столь грустную повесть о действительности обобщить не словами уныния, а словами бодрости (знаменитое лирическое отступление о Руси-тройке).

В частности, вся антикрепостническая русская литература отразила как раз эту обоюдную зависимость. Ведь мы как-то не обращаем внимания на тот факт, что из всего крепостного крестьянства только половина была прикреплена к помещику (по данным 9-й ревизии 1851 года, помещичьих крестьян было 48,3%, а государственных — 44,7%). И, вероятно, не случайно, что государственные крестьяне выпали из поля зрения большинства тогдашних писателей. Напрасно гадать, какой была бы наша литература, если бы, скажем, Александр I отменил крепостное право до войны 1812 года или же после окончания войны с Наполеоном. Можно лишь с уверенностью сказать одно: она была бы совершенно иной. Не только личный талант Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Тургенева, Толстого и Достоевского, Герцена и Киреевских, Добролюбова и Аксакова, Хомякова, Григорьева, Чернышевского, Некрасова, Островского и многих-многих других дал миру великую русскую литературу, но и тот поистине великий духовный и нравственный поиск, который начался в русском обществе в грозный 1812 год, окреп и развился от сближения с началами народной жизни и был завещан потомкам.

Наша великая литература досталась нам не даром, мы заплатили за ее великий нравственный смысл многими годами крепостничества, когда исторически оно уже себя совершенно изжило. Через ссылки и казни, отчаяние и неверие, мистицизм и непонимание, сомнения и ошибки прошли лучшие сыны нашего народа. Судить прошлое легко — оно безответно. Труднее быть достойным его.

О «русском мессианизме» мы только что говорили, что же касается «национализма» той поры, то хочется еще раз повторить: именно оскорбленное чувство национального достоинства привело передовых русских людей к тому нравственному поиску, что связывал воедино политические, социальные и моральные вопросы современности, разработкой которых они занялись с небывалой прежде для русской действитель-

ности добросовестностью и самостоятельностью. И для славянофилов, и для западников одним из главных всегда оставался вопрос об отмене крепостного права.

Конечно, потом какой-нибудь Скабичевский, считавший себя ужасно передовым человеком, мог сколько угодно иронизировать над людьми сороковых годов вообще и над Белинским в частности, говоря: «Им казалось, что сначала следует решить как бы то ни было крестьянский вопрос, два, три другие столь же элементарные вопросы нашей жизни; затем, лет через 60, через 100 и более, когда у нас явится промышленный пролетариат, тогда только политэкономические вопросы Европы будут у нас современны, и мы получим право горячиться за них».

Видимо, Скабичевскому очень хотелось решать именно «европейские» вопросы, и потому он так горячился. Что же касается «элементарных» вопросов российской действительности, то они ему казались слишком незначительными и недостойными его просвещенного внимания. Люди типа Скабичевского один раз так резко повернули голову в сторону Запада, что свернули шею, а потом так и не смогли поставить свою голову в нормальное положение. Но их «западничество» не имело уже никакого отношения к западничеству людей сороковых годов.

Если Белинский и многие его современники обличали пороки современной им действительности, то люди типа Скабичевского бичевали русскую действительность, чтобы продемонстрировать свою к ней непричастность и свою близость и свою причастность к западноевропейской действительности. Критикуя Белинского, Скабичевский не без гордости писал: «Напротив того, в сочинениях многих современных передовых европейских мыслителей вы найдете часто встречаемое мнение, что уж и в настоящее время образованный англичанин гораздо более имеет общего в своем типе с образованными же людьми всех стран, чем со своим необразованным земляком».

Сколько же в этих словах заключено пренебрежения к народу, каким гражданским равнодушием веет от них: все принесено в жертву желанию повертеться в обществе «образованных англичан» и, утратив собственное лицо, как бы невзначай затереться среди них. Только вот незадача — истинно образованные англичане, немцы, французы смотрели на все эти вещи несколько иначе, чем полагал Скабичевский. Они решали у себя дома свои «элементарные» вопросы и с интересом сле-

дили за тем, как мы решаем свои. И не следует вину Скабичевских перекладывать на «образованных англичан», если первые так унизительно домогались общества последних. И не нужно доказывать, что «образованные англичане» хуже «образованных русских», иначе попадешь в положение Скабичевских наизнанку.

А между тем образованные русские действительно походили на образованных англичан или немцев, если посмотреть на то, как каждый из них решал свои «элементарные» вопросы, а не на то, как каждый сторонился их. И вовсе не славянофилы в союзе с Белинским придумали «элементарный» вопрос о крепостном праве, а если взять шире, социальные вопросы о порядке землепользования. Еще до них немецкий ученый Мезер говорил, что только тогда правильно разрешена будет задача научного построения истории немецкого отечества, когда ученые окажутся в силах разъяснять все изменения, которые претерпели судьбы национальной земли и ее собственников, в их причинной последовательности на протяжении всех веков истории Германии.

Если подвести какой-то промежуточный итог, то можно сказать, что в период Реставрации, в Европе образовался единый блок монархических правительств и католической церкви с возрожденным орденом иезуитов, блок космополитический по своему составу и антинародный по своим целям. В противовес ему в европейских странах образовалась оппозиция, и, при всей пестроте кружков и партий, ее образующих, она отстаивала идеи суверенитета наций и политической эмансипации личности. Национальная по своему составу в каждой стране, эта оппозиция была объективно интернациональной по духу, так как национальное движение той поры противостояло любым идеям порабощения человека.

В России эта оппозиция началась с различных кружков, затем вылилась в движение декабристов, после разгрома которого в оппозицию к правительству встали кружки Станкевича — Бакунина — Белинского, Герцена и славянофилы. При всей разноголосице они решали общие и главнейшие задачи своего времени. «И все они, — справедливо писал потом В. Каллаш, — славянофилы и западники... вернули нашу литературу в социальное русло, от которого ее отклонила реакция, — русло, углубленное «рационалистическим Западом» и «религиозным Востоком». Никогда еще доселе наше общество

не достигало такой ясности и глубины социального сознания, наша литература — такого широкого общественного значения: в литературе, как в фокусе, соединились лучи русского гения — его искания правды, его гуманность, высота нравственных требований, простота изящества и изящество простоты, честность слова и мысли. И она сделалась самым дорогим нашим национальным достоянием, заставляла уважать нас даже и тогда, когда за другое уважать нас не приходилось. Умирающий, затравленный жизнью, озлобленный Салтыков-Щедрин дал сыну один предсмертный завет: "Паче всего люби родную русскую литературу"».

5

Но, пожалуй, в наибольшей степени продемонстрировали свой антиисторизм наши оппоненты в вопросе о «монархизме» славянофилов. Читая некоторые статьи, можно подумать, будто только российская действительность и представляла собою образец монархии в те времена, а остальная Европа испокон веку пользовалась исключительно услугами народных правителей, будто в те времена и во Франции, и в Англии, и в Австрии, и в Пруссии и т. д. торжествовал принцип народовластия. Можно также подумать, будто только национальная русская мысль традиционно отстаивала принцип монархии. Опровергнуть первое нетрудно — достаточно взять в руки любой учебник истории XIX века. Второе положение требует более пространного разговора.

Вопросы наилучшего политического устройства государства всегда волновали пытливые умы человечества, не оставался в стороне и вопрос верховной власти. Читая же критику наших «обличителей», можно подумать, будто ни Монтескье, ни Гоббс, ни Юм, ни Руссо, ни Дидро никогда и не покушались на эти вопросы, поскольку в Европе прямо с падения Римской империи установился сверхидеальный политический строй, основанный на истинных принципах народовластия. Другое дело — Россия. Здесь от потопа установилась тирания с царем во главе, охраняемая традиционными монархистами, которых в XIX веке представляли «ранние» славянофилы, затем их сменили «неранние», потом «предпоздние» и т. д. Однако если мы, перелистав учебник истории XIX века, все же обратимся к работам Руссо или Монтескье, Шеллинга или Гегеля, то сразу же обнаружим, что передовая европейская мысль

XVIII—XIX веков вовсе не отрицала монархию, а иногда даже отдавала ей предпочтение.

Конечно, легче зачислить славянофилов в ряды сторонников «официальной народности» и тем объяснить их приверженность к монархии, нежели исследовать влияние на их взгляды учений Руссо, Шеллинга, Гегеля и т. д., а это влияние бесспорно. И вовсе не славянофилы отгораживали себя от общеевропейской мысли, а их усиленно отгораживают от этой мысли, а заодно отгораживают и Россию.

Мне могут возразить, дескать, монархия монархией, но славянофилы, в общем-то, не очень жаловали ограничение монархии парламентом. Между прочим, Руссо тоже не был сторонником парламента. «Верховная власть, — утверждал он, — не может быть представляема». И Руссо, и славянофилы отрицали парламент вовсе не потому, что он ограничивает монархию, а потому, что если он и ограничивает монархию, то не в пользу народа. Руссо это объяснял так: «Депутаты народа не могут быть его представителями, ибо они суть только его приказчики (commisaries), не имеющие права делать окончательных постановлений. Всякий закон, не утвержденный непосредственно народом, не имеет силы; это и не закон вовсе».

«Никакой договор не удержит людей, как скоро нет на это желания. Вся сила в нравственном убеждении», — вторили ему славянофилы.

Понятно, сопоставление взглядов Руссо со взглядами славянофилов может показаться некоторой натяжкой, поскольку Руссо жил на столетие раньше славянофилов. Но этим сопоставлением мы хотели доказать лишь то, что ни Россия, ни славянофилы не были отгорожены от Запада «китайской стеной».

Однако наши оппоненты этого учитывать никак не хотят. Для них как национализм, так и монархизм — категории абстрактные. Для них монархизм славянофилов, видимо, равнозначен монархизму контрреволюционеров 1917 года. А коль скоро это так, то предложим их вниманию одну цитату, чтобы определить их окончательное отношение к монархизму.

«Итак, я думаю, — писал автор дневника, — что единственная и, возможно, лучшая форма правления есть диктатура или, лучше, наследственная монархия, но которая понимает свое назначение, — что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс: земледельцы, работники, и

поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов».

Нет, это не Хомяков, не Киреевские и не Аксаковы, но по логике наших оппонентов автор этих строк все равно должен быть зачислен в злостные монархисты и обвенчан с идеологами «официальной народности». Хотя с Чернышевским (а это именно его дневниковая запись от 1848 года) им придется несколько труднее, нежели со славянофилами, однако, надо думать, справятся, ибо история для них не более чем кладовая фактов. Если же в истории, помимо фактов, видеть также и процесс, то нетрудно убедиться, что в рассматриваемую нами эпоху монархия как форма политической власти считалась нормой.

6

В свете абсолютного неприятия монархии довольно странно и неожиданно звучит горячая защита Петра I. Читая некоторые работы, порой можно подумать, будто Петр I по меньшей мере был автором «Декларации прав человека и гражданина». Так, С. Покровский, вкладывая особый смысл в слова «не случайно», пишет: «Не случайно славянофилы уверяли, что крепостное право было введено указами Петра I, что "до Петра крепостного состояния в России не было"».

Конечно, не случайно. Об этом говорили не только славянофилы. Например, один из их современников писал буквально следующее. «Это утверждение, — писал он, имея в виду утверждение, будто «крепостная зависимость была введена в России Борисом Годуновым», — далеко не соответствует истине. Борис Годунов (Указом 2 ноября 1601 г.) отнял у крестьян право переходить с места на место по территории государства и прикрепил их к поместьям, к которым они уже принадлежали в силу рождения или жительства. При его преемниках власть дворянства над крестьянами стала быстро возрастать, и со временем все они сделались действительно крепостными. Однако это оставалось незаконной узурпацией со стороны бояр до тех пор, пока Петр Великий в 1723 году не легализировал ее. Крестьяне, не будучи освобожденными от оков, прикреплявших их к поместьям, *были превращены теперь в личную собственность дворянина-помещика*» (курсив мой. — *А. Л.*).

Однако эта точка зрения не была в ту пору господствующей. Вот пример совершенно иного взгляда на этот вопрос: «Больше всего мне досадны тупые возгласы против Петра Ве-

ликого; досадно, когда говорят, а тем более нестерпимо, когда печатают. Петр Великий сделал, что мог, и даже больше, чем мог, и вправе ли мы теперь, при таком отдалении от той эпохи и в нашем незнании тогдашних обстоятельств, критиковать его действия и уничтожать его славу и славу России!»

Дело тут было вовсе не в славе России, а в защите династии Романовых и в защите устоев крепостного права. Николай I, а это заступничество за Петра принадлежит ему, очень хорошо понимал, что безвинно, а что небезвинно в критике Петра. А мысль о превращении крестьян при Петре I «в личную собственность дворянина-помещика» была высказана Карлом Марксом в работе «Об освобождении крестьян в России».

Разумеется, мы далеки от мысли, будто наши оппоненты задались целью опровергнуть Маркса и поддержать Николая I, но то, что они далеки от историзма, это не вызывает никакого сомнения. Славянофилам Петр I был не друг и не враг, но осудить его они должны были по логике тогдашнего спора о крепостном праве, так как история крепостного права в России при тщательном ее изучении непременно упирается в 1723 год.

Конечно, нельзя представлять дело так, будто до Петра у нас не было крепостного права, а Петр ввел его тем же волевым методом, как, скажем, перелил колокола на пушки. Даже самый беглый взгляд позволяет увидеть, что история XVII века — это прежде всего история постепенного закрепощения крестьянства. И тут интерес для нас должны представлять не только классовая борьба, но и внутриклассовые противоречия.

Дело в том, что в России земля не имела той ценности, какую она имела в других европейских странах, поэтому платить за государственную службу только землей означало бы введение почти фиктивной платы. Истинную ценность в России во времена Петра I представляли только земля и земледельцы, то есть крестьяне. И в XVII веке шла ожесточенная борьба между крупными и мелкими землевладельцами, и не столько за землю, сколько за земледельцев. Колонизация степных районов Поволжья в XVI веке оставила в наследство XVII веку усугубленную этой колонизацией проблему «рабочих рук», которую новый век и пытался разрешить. Вполне достаточно взглянуть на историю аграрных реформ XVII века, чтобы понять, в чьих интересах и как шло закрепощение крестьянства. Сначала просто ограничивался «уход» крестьян, и последним становилось все труднее и труднее выполнять условия «отказа», но

зато стала процветать система «вызова», когда новый владетель брал на себя обязательства погасить всю неустойку. Естественно, в этой конкуренции победа, как правило, оказывалась на стороне крупных землевладельцев. Однако борьба между крупными и мелкими землевладельцами в конце концов привела к победе все же последних.

Для Петра I, впрочем, как и для любого другого монарха, закрепощение крестьян не было и не могло быть самоцелью. У Петра не было иного выхода: или он должен был опереться на крупную земельную аристократию и разделить с нею реальную власть, или он должен был опереться на все служилое сословие и абсолютизировать эту реальную власть. Петр сделал выбор в пользу служилого дворянства, и этот выбор должен был привести к «окончательному» решению судьбы крестьянства.

Петр не мог одновременно привести в состояние всеобщей «служилости» класс дворянства и не гарантировать ему истинной платы за службу, а это можно было сделать в то время, только превратив земледельца в личную собственность землевладельца, ибо, как мы уже говорили, сама земля в России в тогдашние времена не представляла большой самостоятельной ценности.

Петр создал очень четкую государственную структуру: крестьянство служит дворянству, находясь в состоянии его полной собственности. Дворянство, материально обеспеченное государством, служит монарху. Мокарх, опираясь на дворянство, служит государственным интересам в целом. И крестьянин представлял свою службу дворянину-помещику как косвенную службу государству, отсюда во многом и вытекала общая мораль эпохи. Если же мы начнем искусственно отделять историю развития «русского духа» от его социальной основы, от его социальной истории, то у нас и пойдут нелепости вроде «прирожденного монархизма» русского мужика, его покорности и смиренности, любви к помещику и так далее, и останутся в стороне его государственный ум, стремление к истине и социальной справедливости.

С точки зрения простых человеческих понятий добрый помещик, естественно, лучше злого, вряд ли с этим следует спорить. Но с точки зрения народной, как только помещик (все равно, добрый или злой) переставал служить государству, он терял моральное право в глазах крестьян оставаться их господином, и тут же вставал вопрос не о гуманизме вообще,

а о правомочности крепостных отношений — вот точка зрения народная. И русское крестьянство вовсе не было аполитичным, оно как раз обладало удивительным политическим чутьем. И лучшее тому доказательство — наша история.

«Право дворян, — писал профессор Московского университета И.Д. Беляев, — владеть недвижимыми имениями и иметь крепостных людей по закону покупалось их личною службою государству... Если же которые из них укрывались от службы, у тех описывалось в казну недвижимое имение или налагались другие штрафы, но само владение непременно было связано с государственною службою дворянина, без службы он не только лишался права на приобретение, но терял и то, что уже приобрел, чем владел по покупке или другой частной сделке».

При таком положении дел надо было ожидать, что дворянство рано или поздно, тяготясь неотложной государственной службой, сделает все, чтобы при сохранении своих прав на крестьян собственная их служба стала необязательной. И уже Петр III в свое краткое царствование успел 18 февраля 1762 года издать манифест, освободивший дворян от обязательной службы. Взошедшая вскоре на престол Екатерина II указом от 3 июля 1762 года повторила слова манифеста. Правда, вскоре действие этого указа было приостановлено, но в грамоте, пожалованной российскому дворянству 21 апреля 1785 года, дворянство было окончательно освобождено от служилых обязанностей перед государством.

Как же крестьянство посмотрело на самоосвобождение своих владетелей? Крестьянство предъявило свои права весьма определенно и достаточно грозно. Пугачевское восстание развеяло легенду о смирении и долготерпении мужика и на десятилетия перепугало крепостников. Пугачевское восстание не уничтожило крепостного права, но оно дало общее направление общественной мысли.

Да, русский крестьянин был терпелив, но терпения его хватало только до тех пор, пока он свою «службу» расценивал как службу государству, как только его «служба» превращалась в службу частному лицу, терпению его приходил конец. Разумеется, неудача Пугачевского восстания, равно как и других, менее значимых по своему масштабу выступлений, на какое-то время могла ослабить волю, но никаких пауз или остановок в развитии сознания крестьянина не было.

Если же мы обратимся к истории крестьянского освободительного движения, то увидим, что большинство выступлений было продиктовано соображениями более высокого порядка, нежели частный произвол помещика, хотя таковой и мог послужить поводом. Интересна в этом отношении и статистика крестьянских выступлений: как только назначались какие-нибудь комиссии по выработке рекомендаций по ограничению крепостного права или отмене его, число выступлений сразу же сокращалось. И вряд ли тут можно предполагать, что помещики добрели синхронно к образованию таких комиссий.

7

Если говорить о русской литературе XVIII века в целом, то она еще не была в своей основе народной, так как ее нравственный поиск был главным образом направлен в сторону укрепления государственной структуры и совершенствования ее. Только литература XIX века, повернувшись лицом к народу, проникалась тем освободительным духом и той социальной чуткостью, что легли в основу ее великого нравственного поиска. И не случайно именно в XIX веке началась критика Петра I (читай структуры петровского государства), пусть не всегда удачная и глубокая, но очень симптоматичная для того периода, когда речь зашла не о долге дворянства перед государством, а о долге дворянства перед крестьянством. Поскольку речь шла уже не о совершенствовании петровской государственной системы, а о замене ее принципиально новой, то вопрос о Петре должен был стать одним из главных. Вот почему Николай I так рьяно и защищал петровские преобразования.

Вопрос о крепостном праве не был только экономическим вопросом или только политическим, он вбирал в себя вопросы гражданственности, культуры, религии, нравственности, вопросы, занимавшие славянофилов, западников и Герцена, имели глубокие общечеловеческие традиции и носили для своего времени далеко не местный национальный характер, хотя и были порождены историческими национальными условиями.

Славянофильство как одно из идейных течений предреформенной России по своему составу было течением дворянским и национально-освободительным по своим целям, а столь строго преследовались славянофилы не в силу недоразумений и беспорядка в системе полицейского ведомства,

а в силу той опасности, что представляли они существующему строю. Их толкование принципов «самодержавия, православия и народности», близких в то время самым широким слоям населения, фактически выбивало из рук крепостников последнее оружие, при помощи которого те пытались сохранить существующий порядок. Если на западников смотрели как на «иноверцев», то на славянофилов смотрели как на «еретиков», а вся общечеловеческая история свидетельствует: с еретиками всегда обходились строже. Для католического клира Лютер представлял большую опасность, нежели последователи Магомета, хотя между Лютером и католическим клиром было гораздо больше сходства, чем между католицизмом и исламом. Тут нет прямой аналогии, но все-таки аналогичность достаточна, чтобы пояснить свою мысль.

И вместо того, чтобы дать правильное толкование этому факту, С. Машинский еще больше его запутал. «Запретам подвергались, — пишет он, — нередко самые что ни на есть невинные, порой даже вполне благонамеренные сочинения. Да и власти часто ни за что ни про что брали под подозрение людей, решительно ни в чем не повинных. Все это так хорошо известно, что как-то и неловко говорить о том».

Если следовать этой логике, то ничего не стоит доказать; будто и петрашевцев, и Герцена, и Бакунина, и Чернышевского репрессировали за благонамеренность, а известное письмо Белинского к Гоголю было запрещено только по причине «неразборчивости николаевской цензуры».

А как же обстояло дело с «неразборчивой цензурой» на самом деле? Возьмем пример хотя бы со славянофильским «Московским сборником». 21 апреля 1852 года вышел первый том сборника, наряду с другими публикациями в него вошли статьи И. Аксакова «Несколько слов о Гоголе», И. Киреевского «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению в России», К. Аксакова «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (по поводу мнений о родовом быте)».

В результате совместных усилий «комитета 2 апреля», III Отделения и министерства просвещения 3 марта 1853 года было принято следующее решение:

«1) второй том «Московского сборника» вполне запретить, 2) прекратить вообще издание «Сборника», 3) редактора Ивана Аксакова лишить права быть редактором каких бы то ни было изданий, 4) Ивану Аксакову, Константину Аксако-

ву, Хомякову, Ив. Киреевскому и князю Черкасскому, сделав наистрожайшее внушение за желание распространять нелепые и вредные понятия, приказать представлять свои рукописи впредь прямо в главное управление цензуры».

М. Лемке писал, что Ширинский-Шихматов хотел вообще лишить их права печататься, но от этой кары их спасло только заступничество графа Орлова. «Впрочем, — замечает он, — гр. Орлову принадлежит зато честь и слава установления над этими пятью славянофилами — «как людьми открыто неблагонадежными», *явного полицейского надзора*» (курсив мой. — *А. Л.*).

Известно также, как Николай I после ареста и заключения в крепость Ю. Самарина вызвал его к себе и сказал следующее: «Вы прямо метили на правительство: вы хотели сказать, что со времени императора Петра I и до меня мы все окружены немцами и потому сами немцы. Понимаете, к чему вы пришли: вы поднимали общественное мнение против правительства: это готовилось повторение 14 декабря». Ю. Самарин был тогда арестован за распространение своих «Рижских писем», в которых разоблачал антинациональную политику правительства. А вот, скажем, статья Краевского о «самобытности» России под названием «Россия и западная Европа в настоящую минуту» вызвала в свое время одобрение Николая I.

А чего стоит вот такая логическая модель С. Покровского: «Для славянофилов был неприемлем революционный Запад, демократы подвергали критике Запад капиталистический»? Если мы, обратясь к бытовым понятиям, согласно этой модели составим такую фразу: «У коровы есть рога, а у лошади — хвост», то любой сообразительный школьник спросит: «А разве у коровы хвоста нет?» «А разве славянофилы не «подвергали критике Запад капиталистический»? — стоит спросить тех, кто повторяет доводы С. Покровского.

Или еще. Начинают доказывать, будто требования славянофилов отменить крепостное право, наделить крестьян землей, устранить цензуру и т. д. были продиктованы только страхом перед революцией и желанием предотвратить ее. Возможно, здесь есть известная доля истины. Действительно, если бы осуществились планы славянофилов, то революционная ситуация в стране возникла бы значительно позже. Однако если бы крестьянство наделили землей без выкупа (чего, в частности, требовал Бакунин), то революционная ситуация, возможно, не возникла бы вообще. По этой логике получается, что самой прогрессивной была печально известная Салтычиха, так

как, осуществись по всей стране ее «планы», революционная ситуация не заставила бы себя ждать.

Преимущества столь своеобразной логики очевидны, и поэтому не рискнем пускаться в какие-либо опровержения, а приведем одну мысль А. Хомякова, которая выражает общее мнение славянофилов на природу революций. «Всякая революция, — писал лидер славянофилов, — в себе предполагает предшествовавшее беззаконие. Взрыв страсти тем сильнее, чем ужаснее было иго, против которого она восстает. Преступление ея и жестокость необходимо обусловлены преступлением и жестокостью власти и нисколько не зависят от трудностей и опасности этой самой борьбы... Я знаю, что законы дореволюционные далеко не объясняют ея; но закон — буква и слово мертвое, а разгадка в жизненном обычае страны. Гордость презирающая угнетала, гордость унижения мстила, и не должно забывать, что оплеуха тяжелее сабельного удара. *Преступление противу гражданственности объясняется предшествовавшим преступлением противу человечества.* La vilain имел право мстить. Он мог бы простить, да зачем? Его этому не учили» (курсив мой. — *А. Л.*).

Как видим, славянофилы вовсе не призывали бороться с революциями, они скорее призывали не доводить дело до революций, а это не одно и то же. Пусть во многом они ошибались, но помыслы их были чисты. Конечно, трудно не согласиться с их критикой капитализма, но в то же время трудно согласиться с их мыслью, что развитие капитализма историческая «случайность». И все-таки они оказались правы — Россия избрала путь, отличный от западноевропейского, однако этот путь слишком отличен от того, о котором они вели речь. Что же, нам теперь с «высот» времени легко судить кого угодно, только иногда мы, к сожалению не судим, а осуждаем, не давая себе труда вникнуть в суть конкретных исторических обстоятельств.

8

Разумеется, мы столь пространно говорили о славянофилах не затем, чтобы защитить их от необоснованных обвинений, дело тут не только в славянофилах, а в объективной оценке и добросовестном анализе целой исторической эпохи. Ведь если мы извратим сущность славянофильства, то мы невольно должны будем начать «выпрямлять» сложный путь ис-

каний Белинского, Герцена, как отечественных, так и зарубежных прогрессивных деятелей, застенчиво закрывать глаза на те их заявления, которые не соответствуют нашим сегодняшним представлениям.

Предположим, тот или иной славянофил отрицательно высказался о Французской революции 1848 года. Если не анализировать исторический процесс в целом или если модернизировать его, то это высказывание может послужить основанием для сурового и одновременно несправедливого обвинения всему славянофильству. Однако тем дело не ограничится. Предположим, дальше мы встречаемся с таким вот высказыванием: «С ужасом и трепетом думаю я о времени, когда коммунисты, эти мрачные иконоборцы, достигнут господства, своими грубыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разрушат все те фантастические игрушки искусства, которые так любит поэт... Увы! я предвижу все это, и несказанная скорбь охватывает меня, когда я думаю о гибели, которою победоносный пролетариат угрожает моим стихам, которые сойдут в могилу вместе со всем старым романтическим миром».

Нет, это не Аксаковы и не Хомяков. Это Генрих Гейне 1855 года. Естественно, мы постараемся «забыть» это его высказывание, так как оно не согласуется с нашей искусственной моделью. И вот Гейне, теряя индивидуальные черты своего индивидуального пути, начинает походить на столь же «обструганного» Пушкина, а Пушкин — на «улучшенного» Байрона и т. д. В таком состоянии они становятся окаменелыми, однообразными памятниками далекого и почти ненужного прошлого, к коим мы, естественно, проникаемся равнодушием.

Или, предположим, статья Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», в которой критик отдает должную дань славянофилам. И вот мы поспешно рисуем фигуру добренького и снисходительного Белинского, каким он отродясь не был. Мы с той же легкостью искажаем Белинского, чтобы сохранить в неприкосновенности сконструированную нами же модель славянофилов, «забывая», что в этой статье наш великий критик со своей неизменной страстностью критиковал космополитические взгляды молодого Валериана Майкова. На этом же основании мы стараемся «забыть» многие высказывания Герцена, сделанные им после 1848 года. Короче сказать, мы превращаем живое и неповторимое древо действительно-

сти в унылый гладкий столб, нагоняющий тоску своей однолинейной протяженностью.

И уж совсем не следует «поднимать» Белинского за счет славянофилов или, наоборот, славянофилов за счет Белинского: ни Белинский, ни славянофилы от этого «не поднимутся», но уж наверняка опустится уровень разговора о предмете, о котором и так сохранить достойный его уровень не очень-то просто. Не стоит выстраивать и один ряд от славянофилов до черносотенцев, совершенно игнорируя тот факт, что между первыми и последними нет никакой связи. Славянофилы были представителями дворянского крыла освободительного движения предреформенной России, а черносотенцы — откровенно буржуазным и мелкобуржуазным течением эпохи становления капитализма в России.

Всякое серьезное учение всегда чревато самыми неожиданными отголосками в будущем, за которое оно не может нести исторической ответственности даже в том случае, если и прослеживается некоторое сходство между этим учением и его последующими отголосками в других учениях (движениях). Между прочим, эсеры тоже вели свою родословную от декабристов и, в частности, от Пестеля. Или возьмем такой лозунг: «Кто не работает, тот не ест». Сейчас каждый знает, что этот лозунг звал пролетариат на борьбу с буржуазией. Но вот попробуйте при его помощи построить преемственный ряд, и в этом ряду сразу же окажется Мартин Лютер — идеолог буржуазии эпохи Реформации, — который в труде «К христианскому дворянству германской нации о христианском исправлении сословий» провозглашал: «Кто не работает, тот не должен есть». Оказывается, лозунг, при помощи которого буржуазия боролась с феодализмом (конкретно Лютер выдвигал его против нищенствующих орденов), с течением времени стал применяться против самой буржуазии. Но и здесь мы не можем поставить точку, так как Лютер заимствовал его из Священного Писания.

Думается, сейчас начинается какой-то новый период освоения исторического прошлого. И нам предстоит не только освоить традиции прошлого, но продолжить и развить их в новых исторических условиях. При всех претензиях можно с удовлетворением отметить, что наша критическая мысль на рубеже двух десятилетий заметно углубилась, и признать полезность и серьезность ее общего поиска.

От освоения своего прошлого мы невольно должны перейти к освоению и переосмыслению прошлого Европы в целом, и тут будет важна наша методологическая подготовленность. Думается, с нашей стороны окажутся излишни все усилия в поисках разницы между теми, кто видит в нашем историческом прошлом один лишь мрак да хаос, и теми, кто не обнаружит в истории остальной Европы ни духовных начал, ни духовных ценностей. Не предвзятость и заданность должны руководить нами, а поиск истины, которая никому не известна заранее.

1970—1975

ДАР СУДЬБЫ

Заемное знание, если оно усвоено, но не освоено, то есть если оно не легло в собственную мировоззренческую систему, невольно ведет к агрессивному интеллектуальному невежеству, от которого избавиться куда труднее, нежели приобрести недостающие знания при желании служить научной истине. Подавляющее же большинство людей современного научного мира лишь манипулирует научными сведениями или в угоду казенным установкам агитпропа, или в угоду так называемому общественному мнению. А чаще всего это большинство столь ловко обслуживает одновременно и агитпроп и общественное мнение, что те даже не подозревают о «двойной» службе их интеллектуальной обслуги. Впрочем, и сами эти «господа», как правило, находятся на содержании у единого исторического субъекта. В век, когда гражданской нормой стало, скажем, «двойное» политическое гражданство (своего рода политическая полигамия), вряд ли следует удивляться столь энергичной интеграции морали публичного дома в различные сферы современной жизни.

Пушкин, как всегда заглядывая вперед, как-то по неосторожности выпалил: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». И вот многочисленные самозваные «потомки» великого поэта не стали торговать вдохновением по причине его отсутствия, но зато по причине рыночного спроса стали вовсю торговать «рукописями». И тут нет ничего удивительного, если интеллектуальная собственность приравнивается к любой другой собственности, а посему может отчуждаться по желанию собственника в чью угодно пользу. Тотальная победа рыночных отношений привела к тому, что на исходе нынешнего века самостоятельно мыслящих писателей и ученых гуманитарного профиля почти не осталось, и на резкую убыль они пошли с начала Первой мировой войны, когда мир христианского происхождения, вроде бы уже преодолевший предрассудок государственных границ, вдруг раскололся, и началось невиданное самоистребление европейских народов.

У нас в силу уже укоренившегося недоразумения полагают, будто мыслить *оппозиционно* — значит мыслить *правильно* и *самостоятельно*. Пушкин в последние годы своей жизни мыслил *правильно* и *самостоятельно*, но не *оппозиционно*. Славянофилы и западники мыслили *оппозиционно*, но если первые мыслили *самостоятельно* и по большей части *правильно*, то вторые мыслили и *несамостоятельно*, и *неправильно*. Толстой в последние годы своей жизни мыслил и *оппозиционно*, и *самостоятельно*, но не во всех случаях *правильно*. Тут могут возникнуть самые различные комбинации и когда одно вовсе еще не обуславливает непременно другое.

В ходе Февральского и Октябрьского переворотов, а затем Гражданской войны и первых мирных лет почти вся мыслящая русская интеллигенция оказалась «на другом берегу». Естественно, что она была настроена откровенно оппозиционно и к большевикам, и к ее вождям, и к Октябрю, хотя слово «оппозиционно» здесь, вероятно, даже недостаточно. Много искренних, горьких и даже *правильных*, но запоздалых слов сказала первая русская эмиграция, однако *самостоятельных* слов сказано было до обидного мало. Партийные, групповые, сословные и прочие предрассудки не позволяли подняться выше корпоративных интересов или сугубо личных переживаний и счетов и увидеть трагедию России, трагедию русского народа во всей ее исторической протяженности. Для наглядности дадим только один пример.

Высокообразованный ученый-историк, видный политический деятель, лидер кадетской партии П. Милюков написал множество работ по русской истории, и, надо признаться, весьма интересных работ. Столь же интересны и его «Воспоминания», написанные в последние годы своей жизни. Однако при всем изобилии исторических фактов и политических сведений, при всей изящности логических умозаключений и превосходном стилистическом изложении в работах П. Милюкова отсутствует главное — *судьба* России, хотя все его научные и политические интересы всегда были подчинены настоящему и будущему именно России. Вспоминая собственную молодость, П. Милюков признавался: «Я вообще был склонен к схематизму и к стройности построений». Надо сказать, эту склонность П. Милюков сохранил до конца своей жизни. Современный историк Н. Думова справедливо замечает: «Человек холодного, четкого ума, он нередко оказывался в плену логических схем, абстрагировался от бурного, многослойно-

го, не укладывающегося в умозрительные рамки потока живой жизни». А близко знавший П. Милюкова П. Струве выразился более образно: «Если бы политика была шахматной игрой и люди были деревянными фигурками, то П. Н. Милюков был бы гениальным политиком».

И не будет преувеличением, если мы скажем, что П. Милюков дал в свое время самые яркие образцы *партийной* литературы, соориентированной на общественное мнение и одновременно его формирующей. Что же касается главного политического и философского принципа, которого придерживался и сам Милюков и его кадетская партия, то он был сформулирован еще до того, как Милюков вступил на путь политической борьбы. «Славянофилы, — писал он, — стояли на принципе русской самобытности, западники — на принципе заимствования западной культуры. Мой тезис был, что европеизация России не есть продукт заимствования, а неизбежный результат внутренней эволюции, одинаковый в принципе у России с Европой, но лишь задержанной условиями среды».

Эта позиция гарантировала П. Милюкову популярность как в самой беспокойной и активной студенческой среде, так и в вечно оппозиционном русском интеллигентском обществе, что было в те времена уже более надежным, чем, скажем, даже авторитетная, но неустойчивая монаршья милость. Так, в 1895 году Милюкова подвергли административной высылке из Москвы в Рязань. «Со всех сторон я получал выражения сочувствия и — больше того — предложения поддержки в критическую минуту. «Русские ведомости» предложили постоянное сотрудничество и фиксировали ежемесячный оклад. Из Петербурга пришло предложение напечатать мои лекции по истории культуры в «Мире Божьем». Гольцев устроил банкет...» Павлу Николаевичу тогда шел всего лишь двадцать седьмой год. Через много лет, когда Милюков станет известным и влиятельным политиком, та же позиция обеспечит ему, говоря современным языком, поддержку Запада.

Однако столь подробно мы говорили о П. Милюкове вовсе не затем, чтобы еще раз засвидетельствовать свое почтение к столь замечательной исторической личности эпохи революций и переворотов, а из настоятельной необходимости дать достаточный общественно-исторический контекст, без которого невозможно понять ни значения предложенного вниманию читателя труда «Народная монархия», ни подлинного масштаба личности автора этого труда — Ивана Лукья-

новича Солоневича. Есть и еще одно обстоятельство, возможно, даже несколько мистического плана, побудившее свести в одном разговоре две разнополюсные фигуры русского зарубежья «первой волны».

П. Милюков в начале своей научной карьеры сумел найти основное звено в русской истории — реформы Петра I — и затем уже вытащил остальную цепь. И. Солоневич в своих исторических изысканиях схватился за то же звено и создал стройную концепцию русской народной монархии.

П. Милюков во многом обязан своей ранней популярностью в научной и студенческой среде продолжительной полемике со своим учителем — знаменитым историком Ключевским. И. Солоневич в своей главной работе хотя и полемизирует с Ключевским, но в то же время постоянно опирается на его научные труды.

После Октября П. Милюков примыкает к белому движению и входит в состав Донского гражданского совета. И. Солоневич тоже оказывается на юге и примыкает к белому движению.

В 1918 году П. Милюков поддерживает немцев, оккупировавших Украину, в надежде убедить их «занять Москву и Петербург... и помочь образованию «всероссийской национальной власти». И. Солоневич в 1938 году после закрытия болгарскими властями его газеты «Голос России» уезжает в Германию и открывает там новое периодическое издание — «Нашу газету» и тоже в надежде, что немцы помогут «спасти нашу Россию от коммунистов». В 1941 году «Нашу газету» закрывают, И. Солоневич два месяца проводит в берлинской тюрьме, а затем до самого окончания войны живет под присмотром гестапо в провинции.

П. Милюков в молодые годы был выслан из Москвы в Рязань, и хотя эта высылка во всех отношениях оказалась достаточно комфортабельной, однако любое ограничение свободы в качестве репрессивной меры все равно остается ограничением свободы. И. Солоневич, его младший брат Борис и юный сын пытаются перейти государственную границу, их задерживают, но уже на другой год они не только совершают побег из советского лагеря, но на сей раз благополучно переходят советско-финскую границу.

На П. Милюкова в Берлине, а на И. Солоневича в Софии совершают покушения, но оба остаются живыми и даже невредимыми. Однако пулю, предназначенную П. Милюкову,

принял добровольно на себя его товарищ В. Набоков (отец писателя В. Набокова) и погиб. Взрыв в квартире И. Солоневича унес жизни его жены Тамары Владимировны и секретаря редакции Николая Петровича Михайлова. Так что в обоих случаях покушения оказались отнюдь не опереточными. На П. Милюкова покушались правые монархисты (Таборицкий и Шабельский-Брок), а на Солоневича — то ли агенты ОГПУ, то ли кто-то из «своих». Выяснить истину, конечно, не удалось, преступление так и осталось не раскрытым.

А в 1935 году судьба сводит в Париже сорокачетырехлетнего И. Солоневича с семидесятишестилетним П. Милюковым — признанным лидером русской эмиграции во Франции. П. Милюков публикует в своей очень популярной газете «Последние новости» сокращенный вариант книги И. Солоневича «Россия в концлагере» и рассказ «Деревня».

«Эти публикации, — пишет современный исследователь О. Алексеев, — вызвали большой интерес в эмигрантской среде. В отзывах читателей, помещенных в «Последних новостях», отмечалось, что И. Солоневич, «обладая публицистическим талантом, дал яркую картину жизни в сталинской России». Так как французские власти не давали разрешения на постоянное проживание всех Солоневичей, а в Финляндию Иван возвращаться не хотел, считая, что «возможностей развернуться там мало», Милюков и Гучков помогли семье получить вид на жительство в Софии».

Казалось бы, два эти человека — Милюков и Солоневич — должны были сойтись, сблизиться, сплотиться и с новой силой повести *общее дело,* когда первый подкреплял бы второго своим авторитетом, опытом политической борьбы, наконец, своими материальными возможностями, а второй подкреплял бы первого своим ярким литературным талантом, нерастраченной молодой энергией, решительностью, силой и мужеством. Но этого, увы, не произошло — *общее дело* в действительности оказалось отнюдь не общим.

«Буквально через месяц-другой, — продолжает О. Алексеев, — Милюков, Гучков, другие влиятельные деятели эмиграции, вероятно, сожалели о той поддержке, которую они оказали И. Солоневичу. Расчет был на приобретение в его лице верного и послушного человека в Софии, где, кроме капитана Фосса и все больше отходившего от эмигрантских дел генерала Абрамова, не было людей, способных вести активную организаторскую и пропагандистскую работу. И. Л. Солоневич

обладал необходимыми качествами для этого, но он оказался идейным противником Милюкова и других лидеров эмиграции. Еще задолго до побега он пришел к убеждению, что «во всех бедах России виноваты представители старых правящих классов и либеральной интеллигенции. Они с середины XIX века начали расшатывать государственный строй, нравственно разлагать народ...»

Разумеется, П. Милюков и его довольно обширная паства никак не могли солидаризироваться с человеком, исповедующим подобного рода взгляды — это теоретически, а практически — все, что в русской эмиграции не могло солидаризироваться, вступало между собой в конфликт, и начиналась борьба. Однако в данном случае к десяткам уже возникших в эмиграции конфликтов не просто приплюсовался еще один конфликт, здесь обозначился главный водораздел между теми, *кто* по существу и создал ситуацию семнадцатого года и от кого по иронии судьбы так быстро и так просто ускользнула верховная власть, и *кто...*

Отточие это возникло не случайно. Как-то не совсем ловко проводить водораздел между многими тысячами (первые «кто») и единицами (вторые «кто»), хотя в исторической перспективе водораздел пролег именно здесь, благополучно дожив до наших дней, и имеет основательную тенденцию перекочевать в третье тысячелетие.

Первые «кто» прекрасно знали, чего конкретно они хотят, — реванша. Допустим, им удается у большевиков вырвать потерянную в Октябре власть. Но дальше-то что? Естественно, погуще пострелять большевичков, образовать по западным образцам парламент, возможно, даже выбрать президента... И снова встает тот же вопрос: «Дальше-то что?» Дальше догонять передовые страны...

А это уже чрезмерно расплывчато. Правда, примерно через четыре десятилетия Никита Сергеевич конкретизирует данную программу, ограничив «догон» лишь молоком и мясом. Что из этого получилось, всем хорошо известно.

Вторые же «кто» думали не о власти, они думали о России, хотя и для них борьба с большевизмом оставалась задачей номер один.

И на долю Ивана Лукьяновича Солоневича выпала тяжелейшая миссия: с одной стороны, он должен был заниматься повседневной «организаторской и пропагандистской работой» (только работал он не на Милюкова и Гучкова); а с другой —

ему предстояло разработать новую концепцию русской истории, опираясь уже на трагические события семнадцатого года и последовавшие за ними геополитические изменения.

И позже он скажет: «История русского народа еще не написана. Есть «богословская схоластика», есть «философская схоластика». Обе подогнаны под заранее данную цель, и обе базируются на *сознательном* искажении исторических фактов. Схема русской истории, лишенная по крайней мере сознательного искажения, будет в одинаковой степени неприемлема ни для правых, ни для левых читателей. Однако она может дать ответ на два вопроса. Первый: как это все случилось, и, второй, как сделать так, чтобы всего этого больше не случилось».

И. Солоневичу не была присуща и малая доля писаревского нигилизма. Он вовсе не отвергает трудов самых разных историков прошлого и настоящего. Но ведь наличие историков и даже наличие серьезных исторических работ никак еще не свидетельствует, что и история данного народа уже написана.

И дело тут не в агитпропе, цензуре или каких-либо других внешних условиях (хотя, конечно, и они играют не последнюю роль). Для написания истории необходим «пятый акт», то есть завершение какого-то исторически крупного действия. Вы можете прочитать полкниги, три четверти книги и судить о прочитанном, но цельный и законченный разговор может состояться лишь по прочтении всей книги, то есть опять-таки нужен «пятый акт», ибо необходимо не только знать развязку, но и пережить целостное состояние катарсиса.

Родись Лев Толстой на десять лет раньше, он не написал бы «Войну и мир» тоже на десять лет раньше, она могла быть написана лишь после «пятого акта», то есть после Реформы 1861 года, когда дворянство как правящий класс начало сходить с исторической сцены. «Война и мир» — это реквием русскому дворянству.

В конце прошлого века отечественные художники создали величественный реквием — неповторимый по своей религиозной наполненности пейзаж родной природы, одновременно с человеком шагнувшей к бездне. Последнее и попытались выразить в своих безумных творениях русские абстракционисты.

Книга «Народная монархия» писалась уже после «пятого акта», когда Российская империя рухнула и когда всякая предположительность уступила свое место жестким и суровым фактам свершившегося. И сегодня мы видим, как бегут

от нее прочь народы, которые она столь долго укрывала от погибели, бегут навсегда. Нет, никакое возрождение Российской империи уже невозможно и незачем себя тешить ненужными и даже вредными иллюзиями, ибо имперский потенциал Европы, кажется, иссяк, навсегда. Канули в историю Германская империя, Австрийская империя, Французская империя, Британская империя, нынче на наших глазах рушится восприемник Российской империи Советский Союз с его извращенной имперской идеей *великодержавного космополитизма.*

Когда читаешь работы П. Милюкова, невольно вспоминаешь прекрасно знающих медицинскую науку современных врачей, стремящихся правильно *угадать* и правильно *назвать* болезнь, а затем обрушить на нее весь арсенал пригодных для ее лечения фармацевтических средств. Когда же читаешь работы И. Солоневича, то перед тобой встает образ врача, стремящегося *отыскать причину возникновения болезни* и лечить не болезнь, а неповторимую физиологическую личность с ее индивидуальной психической системой. В первом случае господствует передовая на данный период медицинская методология, то есть схема, во втором — личный опыт, личная интуиция, личные знания, наконец, личное сострадание врача.

И. Солоневич сразу же приглашает читателя к активному разговору. Первый абзац — и сразу четкая методологическая установка:

«Всякая разумная программа, предлагаемая *данному* народу, должна иметь в виду *данный* народ, а не абстрактного homo sapiens, наделяемого теми свойствами, которыми угодно будет наделить его авторам данной программы. Так все социалистические программы наделяют всех людей теми свойствами, которые отсутствуют у почти всех людей, — может быть, и к сожалению. Чувства семьи, собственности, *нации* по практической проверке историей оказались реально существующими. Отсюда распад всех «интернационалов», начавшийся с Первой же мировой войны. Отсюда же террористический режим социализма — всякого социализма в действии, не встретившего предполагавшихся коллективистических инстинктов человечества».

Приведенный ранее пассаж И. Солоневича об интеллигенции, будучи вырванным из контекста, звучит несколько грубовато и бездоказательно, поэтому есть необходимость представить его в развернутой авторской формулировке.

«Русская интеллигенция, традиционно «оторванная от народа», предлагает этому народу программы, совершенно оторванные от всякой русской действительности — и прошлой и настоящей. Эта же интеллигенция дала нам картину и прошлого и настоящего России, совершенно оторванную от *всякой реальности* русской жизни — и оптимистической и пессимистической реальности. Именно поэтому русская общественная мысль шатается из стороны в сторону так, как не шатается никакая иная общественная мысль в мире: от утопических идей второго крепостного права до столь же утопических пережитков первого. Коммунистическая революция в России является логическим результатом оторванности интеллигенции от народа, неумения интеллигенции найти с ним общий язык и общие *интересы,* нежелание интеллигенции рассматривать самое себя как слой, *подчиненный* основным линиям развития русской истории, а не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающих русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности».

Сегодняшняя наша действительность подтверждает слова И. Солоневича на все сто процентов и даже перехлестывает этот показатель. Если прежде российская интеллигенция, а затем советско-российская еще как-то рядилась в одежды государственной самостоятельности, то нынче она пустилась в бесшабашный стриптиз, демонстрируя свою полную интеллектуальную несостоятельность. Выступают в парламентах академики, доктора, государственные люди, а теперь почти все государственные люди или академики или доктора, с различными прожектами или «моделями», чаще всего заимствованными у западных соседей, ближних и дальних, и с гордостью признаются, что их прожекты уже одобрены и завизированы иностранными научными центрами или фирмами, так что эксперимент можно начинать. Добро бы, если речь шла о каких-то чисто научных проблемах, где мы действительно отстали, но ведь тут-то речь идет о тех проблемах, которые во всех, даже самых маленьких странах везде и всюду всегда решались без чужого вмешательства, даже в колониях.

Никогда еще и нигде не наблюдалось такого, чтобы государственные люди признавались в собственной полной некомпетентности в сфере государственного строительства и государственного управления и считали бы это достаточным основанием для претензии на верховную власть в стра-

не. И между прочим, ни одна наша бывшая союзная республика, ныне объявившая о своем суверенитете, не последовала этому сногсшибательному примеру бывшего «старшего брата». У всех достает элементарного благоразумия.

Когда читаешь книгу И. Солоневича, то как-то не верится, что писалась она полвека назад — все необычайно знакомо или узнаваемо; даже стилем он не столько напоминает своих современников, сколько современников наших, пусть даже не существующих, а лишь воображаемых. Слова И. Солоневича как будто летят не из прошлого, а рождаются вот здесь и сейчас, возникают из нескончаемой русской беседы, плодотворной и бессмысленной одновременно. Вот он бросает:

«Было бы откровенно глупо: убеждать цыган в преимуществе «функциональной собственности» и евреев в желательности стройки Еврейской империи. Однако: почему-то не считаются откровенной глупостью попытки навязать России политические порядки, выросшие из западноевропейского феодализма. Почему, в самом деле, мы должны копировать французов, а не цыган? Или немцев, а не Израиль? Или Великобританию, а не Бечуанлэнд?»

И тут уже у нас самих возникает целая череда самостоятельных вопросов. Действительно, а почему мы должны копировать кого-то *вообще:* неважно — французов или цыган? И почему только *мы* должны копировать? Почему французы могут оставаться французами, цыгане — цыганами, Израиль — Израилем, а мы непременно должны стать кем-то или хотя бы походить на кого-то, будто в своем обличии нам уже и места-то нет на земле? Хотя места у нас больше, чем у других... Впрочем, должно быть тут-то, как говорится, и зарыта собака. Недаром ведь говорится, что народы гибнут от избытка слов и богатств. Слов мы наговорили, и по преимуществу ненужных, великое множество...

И началось все это даже не с невинного на первый взгляд милюковского тезиса о неизбежности внутренней эволюции России в сторону западноевропейского политического и экономического развития и даже не с призывов В. Соловьева к русскому народу отречься от православия, а заодно и от своей национальности — корни этих тенденций лежат намного глубже. Автор труда «Народная монархия» четко формулирует свою историко-философскую точку зрения на развитие России:

«Народно-Монархическое Движение исходит из той аксиомы, что Россия имеет *свои* пути, выработала *свои* методы,

идет к *своим* целям и что, поэтому, *никакие* политические заимствования извне ни к чему, кроме катастрофы, привести не могут».

Вот более общий принцип:

«Народно-Монархическое Движение есть *единственное в* эмиграции политическое движение, которое базируется на исключительно русской почве, *не имеет никаких мировых претензий и отрицает всякие мировые рецепты»* (курсив мой. — *А. Л.).*

А теперь совершенно конкретно:

«Для Народно-Монархического Движения эпоха Петра и его «реформ» является *исходной идейной* точкой отталкивания: именно в эту эпоху было начерно оформлено идейное завоевание России Западом».

Мы уже говорили о том, что И. Солоневич писал «Народную Монархию» уже после «пятого акта», то есть в тот период, когда Российская империя закончила свое историческое существование. Однако у нее подвернулся весьма расторопный восприемник — узурпатор — быстро «организовавшийся» Советский Союз, который просуществовал всего лишь семь десятилетий. И если в эпоху Петра I было только «начерно оформлено идейное завоевание России Западом», то теперь это идейное завоевание (а заодно и экономическое) оформляется уже набело, о чем говорят откровенные попытки поменять суверенный статус России на колониальный.

И тут мы снова обратимся к «милюковской» теме, чтобы ее окончательно завершить.

В адрес П. Милюкова в разное время выдвигалось немало справедливых обвинений, но немало выдвигалось и обвинений, которые никак нельзя считать справедливыми. И главное из них — обвинение в предательстве России, чуть ли не в заговоре против нее. П. Струве был, вероятно, прав, когда говорил, что П. Милюков смотрел на людей, как на шахматные фигуры. Однако у П. Милюкова была и «своя» Россия, которую он любил — это профессорско-парламентская Россия с ее университетскими кафедрами и парламентскими трибунами, с интеллектуальной политической борьбой и успехами у публики. Другой России он как бы и не знал, что вовсе не означает, будто для него она не существовала. Как политик, стоящий во втором ряду среди фигур, он хорошо понимал значение пешек, хотя они и были для него все на одно лицо. Позже, уже в эмиграции,

он постепенно начнет признавать, что во всех минувших событиях решающую роль для него играли все-таки пешки.

В апреле 1916 года П. Милюков в составе думской делегации прибыл в Англию. В неофициальной личной беседе с лордом Эдвардом Грэем он затронул многие вопросы, связанные с территориальными и прочими интересами России, и защищал эти интересы очень тонко и достаточно настойчиво. А вот в разговоре с министром снабжения Рэнсиманом П. Милюков счел необходимым сказать об «опасности, грозящей династии и старому порядку».

Очень любопытно и такое признание П. Милюкова: «Мне лично представлялась здесь (в Англии и Франции. — *А. Л.*) возможность подкрепить удельный вес русских прогрессивных течений публичным европейским признанием и открыть, таким образом, нашему влиянию новую дверь в тот момент, когда перед нами захлопывалась другая».

Итак, уже в самом начале 1916 года кадетская партия была готова в ближайшем будущем к свержению монархии и к разрушению «старых порядков», и П. Милюков в апреле того же года начал готовить к тому «общественное мнение» в союзных странах.

Пройдет около четырех лет, исход Гражданской войны будет уже предрешен, и П. Милюков, находясь уже в эмиграции, сделает для себя печальное открытие. «Грустные мысли, — пишет Н. Думова, — возникли у Милюкова по поводу отношения к его родине союзников. В письме к руководителям Национального центра он сообщал о настроениях в лондонских высших сферах: «Теперь выдвигается в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России **как колонии** ради ее богатств и необходимости для Европы сырых материалов». Письмо это сохранилось в архиве. Слова «как колония» подчеркнуто автором жирной чертой» (выделено мной. — *А. Л.).*

Видимо, когда в апреле 1916 года П. Милюков вел неофициальные переговоры с лордом Эдвардом Грэем, он упивался собственным умом и собственным тонким красноречием, чувствуя себя первым патриотом России, а заодно восторгался великодушием и благородством верного союзника России лорда Эдварда Грэя, не подозревая, что столь приятную атмосферу их беседе обеспечили русские армии и русские пушки на далеком от Лондона русском фронте. Об истинных намерениях верных союзников узнал попозже, когда Россия оказалась обескровленной. *Колония* — вот удел бывшего союзни-

ка. И трудно найти причины, в силу которых западные страны вдруг отказались бы от своих вековечных намерений и желаний сегодня.

В 1929 году П. Милюкову исполнилось 70 лет, во время чествования он сказал: «Связать прошлое и настоящее — такова была задача всей моей политической деятельности. Историк во мне всегда влиял на политика». К сожалению, так было на самом деле. Приняв еще в молодые годы западническую догму — европеизация России есть неизбежный результат внутренней ее эволюции, — как политик П. Милюков одержал много мелких побед и потерпел несколько сокрушительных поражений.

Иван Солоневич родился в 1891 году в селе Рудники Пружанского уезда Гродненской губернии, учился в гимназии, в 1916 году окончил юридический факультет Петроградского университета, работал в «Новом времени», служил в белой армии. Тиф помешал ему эмигрировать с остатками белой армии, и он на многие годы застрял в Советской России. Затем, как мы уже говорили, сталинские лагеря, побег, эмиграция. И если П. Милюкову во «втором ряду» мешал «король», а к «пешкам» он относился индифферентно, то для И. Солоневича важны были как раз «король» и «пешки», к остальным же фигурам «второго ряда» он относился, мягко говоря, сдержанно. Если же говорить откровенно, то дворянство И. Солоневич явно недолюбливал и поэтому не всегда был по отношению к нему справедлив. Но здесь в нем говорило не «классовое чутье», тут он выдвигал исторические претензии к правящему классу, который свои привилегии, а заодно и монархию, по сути дела, проиграл в карты на зеленом сукне и спохватился о монархии лишь в эмиграции. Таких эмигрантов-монархистов он не жаловал, а они его еще больше, поэтому И. Солоневич оказался зажатым между двух сил: с одной стороны правые — обобранные «материально» Октябрем монархисты-бытовики, с другой стороны левые — ограбленные «политически» Октябрем либералы-западники. В результате же после Второй мировой войны он был отжат в далекий Буэнос-Айрес, где и умер в 1953 году.

А несправедлив И. Солоневич был к дворянству в том смысле, что порой предъявляет свои претензии дворянству тех эпох, когда оно еще не помышляло ни о каких картах в силу своей занятости на полях брани. Хотя с другой стороны пустился защищать Скалозуба, вернее, обвинять Грибоедова за то,

что он вывел таким Скалозуба, участника войны с Бонапартом. Вероятно, здесь следует говорить не о несправедливости И. Солоневича, а о некоторой его противоречивости в этом вопросе и в том, что связано с этим непростым вопросом.

Так, на наш взгляд, говоря о русской дворянской литературе, И. Солоневич зачастую слишком перетягивает свою мысль, и создается ситуация, когда его трудно опровергнуть, но в то же время невозможно с ним и согласиться, несмотря на всю убедительность его доводов. Так, к примеру, он опровергает пушкинскую мысль о бессмысленности пугачевского бунта. Но ведь сам по себе пугачевский бунт действительно положительного смысла не имел. Положительный смысл имел не бунт, а его подавление, точнее, последствия его подавления, когда призрак Пугачева стал витать не только по разбросанным обширным просторам Руси и, по сути дела, в беззащитных усадьбах, но и в надежно охраняемых дворцовых покоях. «Призрак пугачевщины, — писал известный исследователь крестьянского вопроса В.И. Семевский, — вечно стоял в глазах нашего дворянства и, как грозное memento mori, напоминал о необходимости покончить с крепостным правом в интересах самих помещиков».

Успех же пугачевского бунта чреват был новым Лжедмитрием и новой смутой... Но это уже смысл отрицательный, и слава Богу, что этот смысл не реализовался. Думается, И. Солоневич спорить с этим не стал бы.

Поскольку мы уже начали некоторую полемику с И. Солоневичем, то и закончим ее здесь, как говорится, не растягивая удовольствие. И для убедительности приведем еще один пример.

«Великим патриотом считал Петра уже Чернышевский — духовный отец и теоретический изобретатель сегодняшних колхозов».

Сказано весомо, но не очень веско.

Во-первых, Чернышевский всегда настойчиво отстаивал принцип: «землевладельцем может быть только земледелец». И он отстаивал не колхозы, а общину, что совсем не одно и то же. Если бы в 1861 году порушили общину, то крестьянин, оставшись один на один с капиталистом (это тебе не бывший барин), погиб бы самым натуральным образом. Вот не объединились ни в какую общину дворяне, и все их «вишневые сады» пошли под топор. К тому же надо учитывать, что одно дело

община в эпоху Столыпина — и совсем другое дело община в канун отмены крепостного права.

Во-вторых, действительно, в период подготовки Реформы Чернышевский сравнивал Александра II с «самим» Петром I, полагая, будто этим он воздает Александру. А, в общем-то, получилось очень глупо, потому как у него на одной доске разом уместились и царь, закрепостивший крестьян, и царь, их освободивший. Лет же через пятнадцать, находясь в ссылке, Чернышевский по прочтении «Капитала» отправился на берег, вырывал странички из книги, делал кораблики и пускал их по Вилюю.

Незадолго до смерти Чернышевский писал своему двоюродному брату Александру Пыпину: «Русским времен Петра была нужна только свобода учиться... Приобрели ль они от Петра хоть маленькую свободу учиться? — Нет... Свободы учиться он не допускал... Палка за всякое движение, не предписанное регламентом, была одна и та же в ученом кабинете и на плац-параде... Он не в силах был искоренить влечения учиться; оно было уже привычно, хотя и слабо».

А вот уже прямо «на мельницу» самого И. Солоневича: «Россия была бедна; Петр разорил ее (это засвидетельствовано его помощниками, собравшимися на совещание о делах по его смерти)».

И совсем в духе И. Солоневича Чернышевский сетовал на то, что все эти его соображения не устроят ни власти (правых), ни общественное мнение (левых).

Роману Гулю принадлежит замечательная фраза: «Камешек, упавший в колодец, никогда оттуда не выпадет». Общественное мнение и агитпроп постоянно и без устали бросают в наши «колодцы» «камешки», которые сами по себе оттуда «не выпадают». Чтобы самостоятельно мыслить, чтобы быть духовно свободным человеком, нужно столь же постоянно и без устали чистить свой «колодец», иначе всю жизнь будешь петь не своим голосом и не свои песни. И в этом смысле И. Солоневич, пожалуй, был наиболее свободным человеком в русской эмиграции ее «первой волны».

А теперь о главном, то есть о последней главе книги «Народная монархия».

Петру I в истории очень повезло. На протяжении почти трех столетий на страже его исторического авторитета неусыпно стояли общественное мнение и власть, от императоров и до генсеков, стояли навытяжку и неумолимо, словно

дружная пара часовых у ленинского Мавзолея. При Екатерине II в Петербурге воздвигли в честь «преобразователя» знаменитого «Медного всадника» — при Сталине о нем создали двухсерийный фильм и занимательный псевдоисторический роман для просвещения яростных строителей коммунизма. На Петра I смотрели как на предтечу, возвестившего: «Разрушители всех времен, соединяйтесь!» И соединялись. И разрушали. Кто больше.

Первыми исторический счет «преобразователю» предъявили наши славянофилы и были жестоко биты, как справа, так и слева. Потом уже если кто и отваживался сказать о Петре честное слово, то голос его тонул в согласованном мощном хоре общественного мнения и власти...

О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

П. Милюков размышлял о реформах Петра в уютном кабинете и видел, как неприлично искажаются исторические факты, и он вносил кое-какие коррективы...

И. Солоневич сам завис над бездной и в отчаянье хотел понять: «Как это все случилось?» И для него Россия была не конем, поднятым «на дыбы», а матерью, поднятой «на дыбу». И он упорно пробивался к исторической истине...

Собственно говоря, все было просто. Следовало выяснить...

Действительно ли, что Петр I пробил «окно в Европу» и тем самым установил торговые и культурные связи с Европой?

Оказалось, что нет. Достаточно было ознакомиться хотя бы с таможенными тарифами, действовавшими при царе Алексее Михайловиче, чтобы удостовериться, что Россия и до Петра I вела с Европой регулярную цивилизованную торговлю, так сказать, на взаимовыгодных условиях. Не чуралась Россия и иностранных специалистов, о чем свидетельствуют в различных документах иностранные фамилии. Короче говоря, Петр I пробил «окно в Европу», когда была уже отворена дверь, правда она не была круглосуточно открыта настежь.

Действительно ли, что Петр I дал толчок к развитию русской промышленности и русской торговли?

Оказалось, что тоже нет. Петр I организовал потешное войско, которое потом кое-как переросло в регулярное. Точно

так же он создал потешную промышленность, которая ни во что не переросла и перерасти не могла, а купцов загнал в узкокорпоративные гильдии.

Петр I заставил все дворянство служить. С крестьян же была снята фискальная обязанность и перенесена на помещика. Одновременно помещику вручались все права крестьянина как члена общества, и, таким образом, личность крестьянина как члена общества полностью поглощалась властью помещика. Между тем, в обязанности помещика одновременно вменялась также и забота о крестьянине. Однако вот как она выглядела в реальной действительности:

«Здесь свобода крестьянина доведена до такого стеснения, — писал известный знаток крестьянского вопроса профессор Московского университета И.Д. Беляев, — что крестьянин помимо помещика ничего не мог ни продать, ни купить, ни даже в свободное время идти в работники на сторону или заниматься какими-либо отхожими промыслами. Мало того, помещик строит ему дом по своему образцу и признает его только жильцом в этом доме, а не хозяином, и даже вмешивается в его семейные дела».

Этим самым был почти уничтожен внутренний рынок, подавляющее большинство российских жителей перешло в режим натурального хозяйства, подорваны были даже промыслы, потешная промышленность осталась потешной, потому что, с одной стороны, не было свободных рабочих рук, а с другой — слишком ничтожен был спрос на промышленную продукцию. Зачахло национальное зодчество. И не случайно, что Кижи могли родиться и родились в зоне, где не было крепостного права.

В купеческих гильдиях варились в собственном соку, не было притока свежих энергичных сил. Купечество в ту пору требовало неординарных качеств: смелости, силы, сообразительности и так далее, здесь всегда происходила конкуренция характеров, а петровские реформы закапсулировали купеческое сословие.

Действительно ли, что Петр I дал простор наукам и образованию?

И на этот вопрос приходится отвечать отрицательно. Разумеется, крестьян, которых начали продавать на рынках, как скот или как негров в Америке, никто учить не собирался. Отсюда-то и ведет свою историю безграмотная русская деревня. Что касается наук, то мы уже привели чуть ранее очень верное на этот счет суждение Чернышевского.

И на все эти вопросы подробно и убедительно отвечает в своей книге И. Солоневич, и для того ему не потребовались ни архивные изыскания, ни какие-то секретные источники, ему вполне хватило одной добросовестности и желания пробиться к истине. Последнее более всего и восстанавливает против него так называемых профессиональных ученых. Сегодня публикуют кого угодно, ну, хоть Деникина, хоть Колчака, Солоневич же по-прежнему замалчивается, потому как его работу не опровергнешь, тут полемика может состояться лишь на уровне концепции. В книге И. Солоневича можно что-то уточнять, что мы и проделали чуть раньше, что-то даже поправлять, однако этим никак не поколеблешь самой концепции. Его концепция не просто несет новое знание или открывает научную истину, она созидает целостное мировоззрение, дает высшее знание — знание судьбы России. И это знание, когда Россия уже над самой черной бездной, когда, того и гляди, лопнет порядком перержавевшая железная узда, становится твоей судьбой, от которой ни спрятаться, ни убежать.

Перевернута последняя страница книги и перед тобой встает роковой вопрос: «Кто же и когда снимет Россию с трехсотлетней дыбы, чтобы она смогла спокойно исторгнуть свой последний стон и с облегчением испустить свой последний вздох?»

России уже не суждено возродиться, снятые с креста или с дыбы не возрождаются.

Они или *воскресают. Или не воскресают.*

Сегодня выстраданная в изгнании книга Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная Монархия» — щедрый духовный и интеллектуальный дар судьбы. И только время покажет — достойны ли мы его.

1991

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛИ ДУМОЮ ГРЯДУЩЕЕ?

Долгие годы и даже десятилетия отечественный АГИТПРОП, на содержании и под контролем которого находились все отрасли гуманитарной науки, вбивал в голову каждого советского человека мысль, будто история нашего государства началась лишь с «семнадцатого года», а тому предшествовала долгая мрачная предыстория, изредка озаряемая стихийными восстаниями да бунтами, всегда обреченными на неудачу.

Что ж, Россия всегда была как-то уж слишком привержена ко всякому плюрализму, чтобы посчитать и эту концепцию, настоянную на стопроцентном историческом нигилизме, чем-то для себя непривычным, во всяком случае, к ее приятию нас добросовестно подготовил не очень-то дисциплинированный в своих мыслях XIX век, не раз отважно замахивавшийся на отечественную историю. Разве «варяжская теория» или деление Руси на дикую допетровскую и цивилизующуюся петровскую и послепетровскую не отзываются той же «методологией»? Правда, в XIX веке существовали еще неудобные славянофилы, которые своими добросовестными научными исследованиями активно, хотя и не очень-то успешно, противостояли нарождающемуся агрессивному АГИТПРОПУ.

В XX веке АГИТПРОП, заключив союз с современной цивилизацией, объявил амнистию невежеству и одержал блистательную победу над многовековой европейской культурой. У нас в России — стране крайностей — довели эту победу после «семнадцатого года» до полного абсурда. Так, например, чтобы стать ученым, нужно было как великий грех и непростительное легкомыслие преодолеть в себе соблазн перед знанием, публично засвидетельствовать свое личное невежество как принцип, и научная карьера была тебе обеспечена, иначе тебе грозило отлучение от марксистско-ленинской методологии. Хотя что это такое, никто никогда толком не знал, на страже ее стояла Академия наук, не менее бдительная, чем, скажем, ВЧК и ее последующие преемники.

Немудрено, что в науке стали доминировать не интересы самой науки, а противостоящие ей интересы научного мира, с его необузданным тщеславием и неприкрытым верноподдан-

ничеством. Научный мир уж больно вульгарно истолковал материализм, променяв свободу на благосклонность верховной власти.

Хомяков, Киреевские, Самарин, Аксаковы, Страхов?.. Тут следовало дать исчерпывающий и лаконичный ответ: «Монархисты, ретрограды, реакционеры, крепостники, в общем, контрреволюционеры». Леонтьев, Розанов, Меньшиков, Бердяев?.. Тут следовало развести руками и на заданный вопрос ответить вопросом: «А кто это такие?»

Согласно той же марксистско-ленинской методологии, крупных государственных деятелей в царской России и быть-то не могло. Столыпин — «столыпинские галстуки» да «столыпинские вагоны» — отпетый контрреволюционер. Победоносцев — ретроград, пытавшийся «подморозить Россию», — контрреволюционер и оголтелый церковник. Большая эрудиция по данному вопросу считалась политически предосудительной. На страже невежества долгие десятилетия стояли наши профессора и академики, всеобщее историческое незнание сохраняло им их псевдонаучный авторитет и отнюдь не только в двадцатые и тридцатые годы, но вплоть до самой перестройки.

Гласность поколебала авторитет их «научных » трудов, но никак не поколебала их высоких званий и привилегий. И все-таки плотину прорвало, пусть порой здесь и доминировал коммерческий интерес над просветительским. Мало-помалу издали и «Окаянные дни» Бунина, и «Несвоевременные мысли» М. Горького, и труды многих ранее запрещенных русских философов, реабилитировали и даже подняли на щит самого Столыпина...

Думается, крупных государственных деятелей земля рождает не чаще, чем крупных писателей или крупных философов, поэтому, наверное, пора отдать должное и другому крупному государственному деятелю России конца XIX — начала XX столетия — Константину Петровичу Победоносцеву.

«Скончавшийся 10 марта сего года (1907. — *А. Л.*) член Государственного совета и бывший обер-прокурор св. Синода Константин Петрович Победоносцев представляет собою в нашей столь небогатой выдающимися личностями жизни явление необычайного порядка. К его имени в течение с лишком четверти века приковывалось внимание современников, оно не сходило со столбцов нашей печати, одни его ненавидели и проклинали, другие славословили, перед ним преклоня-

лись и его благословляли: одни в нем видели ангела-спасителя России, другие — ее злого гения. Безразлично к нему никто не относился. Он был определенным историческим знаменем, которое рвали бури и непогоды, вокруг которого кипели страсти и борьба».

Трудно не согласиться с автором этой характеристики Б. Глинским (Исторический Вестник, 1907, № 4). Действительно, одни перед Победоносцевым преклонялись, другие его проклинали, но все современники считали его крупнейшим государственным деятелем последних двух десятилетий прошлого века и начала нынешнего, о нем писали все, кто был или становился небезразличен к тогдашней политической и общественной жизни России. Он был для своего времени политическим паролем. Так, например, Лев Толстой не мог простить Константину Леонтьеву его близости к Победоносцеву. Проходили годы, но имя Победоносцева не предавалось забвению. 10 октября 1911 года, то есть спустя четыре с лишним года после смерти Победоносцева, набрасывая план поэмы «Возмездие», Блок сделал такую запись:

«Реформы отшумели. Еще жива память об измене Каткова. Рядом «злится» Щедрин. Достоевский — обскурант.

Все заволакивается. 1-е марта. Победоносцев бесшумно садится на трон, как сова».

Этот образ потом найдет свое поэтическое развитие во вступлении ко второй части поэмы:

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна...

Эти блоковские строки чем-то напоминают пушкинского «Медного всадника». Хотя у Блока неприятие своего героя полное, это ему не помешало воссоздать подлинный масштаб последней грозной исторической личности России: так и видятся могучие бронзовые крыла загадочного колдуна, прикрывшего ими Россию...

Между прочим, весьма любопытна и такая косвенная характеристика Победоносцева, данная ему современником, укрывшимся в газете «Московские ведомости» под псевдонимом «Поселянин», — даже не характеристика, а скорее образ: «В его громадном кабинете, в нижнем этаже на Литейном, с письменным столом колоссального размера и другими столами, сплошь покрытыми бесчисленными книгами и брошюрами, становилось страшно от ощущения развивающейся здесь мозговой работы.

Он все читал, за всем следил, обо всем знал».

Нет, это обиталище не чиновника, не ученого и даже не философа. Это обиталище ученого государственного колдуна, всемогущего и бессильного одновременно.

Блок родился в 1880 году, в том самом, когда Победоносцев стал обер-прокурором св. Синода; в следующем году злодейски убьют Александра II, престол займет его сын, в прошлом воспитанник Победоносцева, с которым он когда-то совершил путешествие по России. Теперь на плечи Победоносцева ляжет двойная тяжесть: с одной стороны — опека молодого монарха, а с другой — тяжесть высокого государственного поста, возложенная на него убиенным монархом. История только пишется чернилами, а делается-то она кровью: не один Божий помазанник закончил свою жизнь насильственной смертью, но на Александра II было совершено несколько покушений — и при полном попустительстве общественности. Вот и теперь, пройдет всего лишь две недели после убийства царя-освободителя, как из Ясной Поляны придет, переправленное через Страхова, письмо от известнейшего писателя, графа Льва Толстого:

«Милостивый государь Константин Петрович!

Я знаю Вас за христианина и, не поминая всего того, что я знаю о Вас, мне этого достаточно, чтобы смело обратиться к Вам с важной и трудной просьбой передать государю письмо, написанное мною по поводу страшных событий последнего времени...».

Толстой просил Победоносцева передать Александру III письмо, в котором умолял его не карать смертной казнью цареубийц. По долгу службы обер-прокурор св. Синода прежде ознакомился с содержанием адресованного государю послания. Как ни корил Лев Николаевич террористов, как ни взывал адресата последовать Христову милосердию, но не могли

не вызвать резкого протеста его слова о том, что убили Александра II «не личные враги его, но враги существующего порядка вещей»; убили во имя какого-то «высшего блага всего человечества». То есть получалось, будто вина убийц состоит только в том, что они неправильно понимали «благо всего человечества», а пойми они это самое «благо» правильно, то и кровавое злодеяние подлежало бы нравственной амнистии.

Толстой, оставляя за собой монопольное право на истинное толкование учения Христа, по сути дела отвергал и существующую российскую государственность, и православную Церковь, когда называл убийц царя «врагами существующего порядка вещей», будто бы боровшихся «за высшее благо всего человечества». В страстном желании обрести веру он был обречен не обрести ее никогда, ибо искал аудиенции у самого Бога, приуготовливая себя к ней личным опрощением, забыв, что путь к Богу лежит через соборность, приобщиться к которой невозможно, минуя врата общего храма.

Победоносцев не стал прибегать ни к каким бюрократическим хитростям, он отклонил прошение Толстого и прямо написал ему: «Прочитав письмо Ваше, я увидел, что Ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос — не Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере не мог исполнить Ваше поручение».

Позже Победоносцев в статье «Церковь» будет писать: «Кто русский человек — душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; — мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную».

Однако письмо Толстого все-таки достигло своего адресата: Страхов передал его через профессора истории К.Н. Бестужева-Рюмина великому князю Сергею Александровичу, а тот вручил его Александру III. По словам Софьи Андреевны Толстой, государь будто бы велел передать Льву Николаевичу такие слова: «Если б покушение было на него самого, он мог бы помиловать, но убийц отца не имеет права простить».

Нынче государства даже с разными политическими системами договариваются о совместной борьбе с терроризмом, а тогда законная власть и даже сам монарх должны были оправдываться перед обществом, если они вознамеривались строго покарать цареубийц. У нас еще совсем недавно даже в научных изданиях писалось, что царь или какой-нибудь государственный сановник не *убит* террористами, а *казнен*, и тем самым оправдывались и убийцы, и убийства. И Победоносцев, естественно, должен был сразу же попасть в лидеры реакционеров и мракобесов, так как никогда не заигрывал с общественным мнением. Действительно, Победоносцев придерживался консервативных взглядов, что вовсе не означало, как это представлялось, будто бы он был противником просвещения и науки. Так, к концу царствования Александра II и началу государственной деятельности на очень высоком посту Победоносцева (1880) в России насчитывалось 273 церковноприходских школы с 13 035 учащимися, а к концу его деятельности на этом посту (1905) таких школ в стране уже насчитывалось 43 696 с 1 782 883 учащимися. Таким образом, благодаря усилиям и стараниям Победоносцева, за четверть века миллионы крестьянских детей получили начальное образование, что в будущем открывало перспективу и для радикальной аграрной политики Столыпина, которая предполагала грамотное самодеятельное хозяйствование на земле и в довольно-таки сложной системе кооперации.

Это нам нынче кажется, будто смутное время наступило лишь в последние годы, однако, если внимательно и непредвзято вглядеться в последнее полуторастолетие, то всю эту эпоху иначе и не назовешь, как *смутной*.

Эпоха Великих реформ середины прошлого века — ломка всего уклада российской жизни, тотальный нигилизм, террор, убийство Александра II, воинствующий атеизм, рост пролетариата, капитализация общественных отношений, русско-японская война, революция 1905 года, убийство Столыпина, Первая мировая война, две революции 1917 года, Гражданская

война, зверское убийство Николая II и его семьи, гонение на духовенство и интеллигенцию, голод, разрушение культуры, уничтожение крестьянства как класса, снова голод, террор, Вторая мировая война... Подумать только, в течение полувека Европа дважды вела крестовые походы против самой себя и положила на смертный алтарь десятки миллионов своих единоверцев — и на ней и по сей день висит проклятие. Россия злодейски убила своего монарха со всей его семьей, потом десятилетия корчилась в страшных мучениях, но так и не осознала своего великого греха. Молодая Америка, со своим недавним плантаторским прошлым, подтвердила свою приверженность к демократии и свободе двумя атомными факелами, которые потрясли мир, и не помышляет ни о каком покаянии. Кончина века... А не знаменует ли она кончину того, что вытеснило из человека Бога, любовь, совесть?

Сын профессора словесности Московского университета и внук священника Звенигородского уезда, Константин Петрович Победоносцев родился в 1827 году, в 1846 году окончил училище правоведения, преподавал гражданское право, писал научные труды, стал членом консультации министерства юстиции, сенатором Второго департамента, с 1861 года преподавал законоведение великим князьям, в том числе будущему императору Александру III, однако царедворцем не стал, а за год до своей гибели император Александр II назначил его обер-прокурором св. Синода. Добросовестный ученый, добросовестный чиновник, Победоносцев воспринял высокий государственный пост как крест, который христианину должно нести до конца.

Россия с каждым годом экономически крепла, увеличивалось народонаселение, победоносно закончилась Балканская война, но никто этого не замечал, вернее, не хотел замечать. «Все недовольны в наше время, — писал Победоносцев, — и от постоянного, хронического недовольства многие переходят в состояние хронического раздражения. Против чего они раздражены? — против судьбы своей, против правительства, против общественных порядков, противу других людей, противу всех и всего, кроме себя самих» («Болезни нашего времени»).

И недовольны были не только бомбисты-террористы, недовольны были действительно все. Толстой был недоволен и правительством, и порядками, и церковью, и даже самим собой, и возникала у него идея нравственного самоусовершенствования, однако, возведя ее в абсолют, он и не заметил, как

впал в анархизм, пусть и христианского толка. Недоволен был и милейший Владимир Соловьев он призвал русский народ к национальному самоотречению, а заодно и к отречению от православия, видя спасение в создании всеевропейского теократического государства (теперь нас тоже соблазняют общеевропейским домом) под эгидою католического Рима. Идеи Толстого и Соловьева у русской интеллигенции поддержки не нашли, потому как идеи эти предполагали все-таки развитие религиозного сознания, недаром же Блок назовет Достоевского обскурантом. А за два десятилетия до этой вольности поэта Победоносцев будет уже констатировать:

«Система «свободной церкви в свободном государстве» основана, покуда, на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее положено не начало веры, а начало религиозного индифферентизма, или равнодушия к вере, и она поставлена в необходимую связь с учениями, проповедующими нередко не терпимость и уважение к вере, но явное или подразумеваемое пренебрежение к вере, как к пройденному моменту психического развития в жизни личной и национальной» («Церковь и государство»).

Итак, вера — «пройденный момент психического развития». А что взамен? Взамен тотальное неудовольствие всем и всеми, поиск соломинки, за которую можно было бы ухватиться. И вот Мережковский кличет на выручку «сильную личность», ни на минуту не задумываясь о последствиях. В тех же отношениях с исторической ответственностью и русские марксисты, намертво заразившиеся идеей мировой революции, от имени абстрактного пролетариата бросившие клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И вожделенная революция!

А русскую буржуазию потянуло на конституцию, то есть ее все больше и больше стала соблазнять политическая власть. И она таки добьется своего: свергнет царя, проведет, говоря современным уклончивым политическим языком, «бархатную революцию». Правда, ее тут же сметет другая революция — под пролетарским лозунгом и во главе с «сильной личностью». И такой оборот событий был закономерен, во всяком случае, Победоносцев еще в конце прошлого века «напророчил» его.

«Мысль, что вся частная жизнь должна поглощаться общественной, — писал он, — а вся общественная жизнь должна сосредоточиваться в государстве и быть управляема государством, это главная движущая идея социализма, а как эта мысль в ясном или неясном представлении угнездилась даже

в самых крепких умах, то и самый простой заурядный человек бессознательно чем-нибудь приобщается к социалистам» («Церковь и государство»).

И еще очень важную мысль высказал Победоносцев в той же статье: «Личное верование не отделяет себя от верования церковного, так как существенная его потребность есть единение в вере, и этой потребности оно находит удовлетворение в Церкви».

Но о каком единении можно было говорить, когда шел бурный процесс классовой интернационализации. Следует помнить и то, что Российская империя развалилась не в период экономического кризиса или экономического упадка и развала, а в период небывалого в истории экономического подъема. И сейчас, когда межнациональные кровавые конфликты увязывают напрямую с экономическим кризисом, люди, не будучи шаманами, безрезультатно шаманят в единственной надежде на легендарное русское «авось»: «Будем хорошо работать — будем хорошо жить, а будем хорошо жить — исчезнут межнациональные конфликты». Не исчезнут. Не поможет тут штык, и доводы здравого разума не помогут. У нас сейчас возникает масса идей, но все они разъединяющие, ведь заклинание типа: «Вне Союза все мы пропадем» — не только не идея, но даже не аргумент. За пять лет перестройки никто не выдвинул ни одной объединяющей идеи, более того, за какие-то полгода рассыпался, как карточный домик, весь социалистический лагерь, похоронив под своими обломками и Варшавский Договор, и СЭВ. Но если мы оглянемся на сто лет назад, то обнаружим, что и тогда никаких объединяющих идей не существовало, все шло на разлом, потому-то в период Гражданской войны, воспользовавшись случаем, так легко откололись от бывшей Российской империи Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония. И если сегодня мы открыто и массированно проповедуем индивидуализм, материальную предприимчивость, конкуренцию, то каким же образом мы можем соблазнить народы жить в системе необозримого колхоза? К тому же сами колхозы мы постоянно ругаем и готовы их разогнать во имя очень призрачной индивидуальной предприимчивости. Уж коли мы надумали куда-то идти, то нужно выбрать какое-то определенное направление, невозможно же одновременно начинать движение в разных направлениях.

Сто лет назад уже обозначались многие черты смутного времени, но почти никто не хотел этого замечать, и каждый с

завидным энтузиазмом тянул в свою сторону одеяло, каждый претендовал на роль спасителя. А Россию нужно было спасать в первую очередь от ее многочисленных спасителей.

И там, в большом кабинете на Литейном, шла действительно большая и постоянная «мозговая работа»...

«Упорство догматического верования всегда было и, кажется, будет уделом бедного, ограниченного человечества, и люди широкой, глубокой мысли, широкого кругозора всегда будут в нем исключением. Одни верования уступают место другим — меняются догматы, меняются предметы фанатизма. В наше время умами владеет, в так называемой интеллигенции, вера в общие начала, в логическое построение жизни и общества по общим началам...

Вера в общие начала есть великое заблуждение нашего века. Заблуждение состоит именно в том, что мы веруем в них догматически, безусловно, забывая о жизни со всеми ее условиями и требованиями, не различая ни времени, ни места, ни индивидуальных особенностей, ни особенностей истории.

Жизнь — не наука и не философия; она живет сама по себе, живым организмом. Ни наука, ни философия не господствуют над жизнью как нечто внешнее: они черпают свое содержание из жизни, собирая, разлагая и обобщая явления жизни; но странно было бы думать, что они могут обнять и исчерпать жизнь со всем ее бесконечным разнообразием, дать ей содержание, создать для нее новую конституцию. В применении к жизни всякое положение науки и философии имеет значение вероятного предположения, гипотезы, которую необходимо всякий раз проверить здравым смыслом и искусным разумом по тем явлениям и фактам, к которым требуется приложить ее: иное применение общего начала было бы насилием и ложью в жизни. Одно то уже должно смутить нас, что в науке и философии очень мало бесспорных положений: почти все составляют предмет пререканий между школами и партиями, почти все колеблются новыми опытами, новыми учениями».

Это из статьи Победоносцева «Болезни нашего времени», а создается впечатление, что это писано сегодня о болезнях нашего времени.

Нет, не Россию хотел «подморозить» Победоносцев, а те язвы на ее организме, которые обещали разрастись в страшную болезнь. Он никогда не был врагом истинной науки и подлинных научных поисков, но он был против фетишизации тех или других новоиспеченных теорий, под которые хотели по-

догнать вечно развивающуюся жизнь. В ту пору марксизм как раз становился модой, теперь стало модой обвинять его во всех смертных грехах. Но виноват-то вовсе не марксизм (и он дал что-то для познания общественной жизни и общественных отношений), виноваты были те полуобразованные люди, которые хотели вбить на практике и вбивали все жизненное многообразие в прокрустово ложе марксистской теории. Ленин — Каутский, Сталин —Троцкий, Мао Цзэдун — Тито... И у каждого из них свой марксизм. А какой же из этих марксизмов истинный? Разумеется никакой, потому что любой предполагал тотальное насилие над жизнью, над чувствами и мыслями человека.

Кажется, совсем недавно слово «социализм» в нашей стране было священным, прошло всего несколько лет — и теперь за уважительное отношение к этому слову производят в консерваторы, а что завтра будут делать с консерваторами, пока никто не знает. А ведь никакого обмена мыслями не произошло, просто АГИТПРОП произвел манипуляцию со словами «социализм» и «капитализм» и, как говорил Победоносцев: «Одни верования уступают место другим, меняются догматы, меняются предметы фанатизма». Ну, хорошо тем (политикам, ученым), кто всю жизнь кормился обслуживанием догматов, а каково тем, кто всю жизнь честно трудился и просто честно жил, веря ученым людям? Нет, слово «капитализм» пока у нас священным не стало, но зато таковым у нас стало слово «рынок». Сейчас даже самый отважный депутат не рискнет прямо заявить, что он против рынка, иначе бдительный АГИТПРОП моментально сотрет его в порошок. Сейчас можно и даже доходно выражать недоверие правительству, в определенной ситуации можно выразить недоверие даже Президенту, но *рынок* — это святыня, возведенная в ранг религиозной неприкосновенности. И как сейчас не хватает государственного деятеля, который мог бы прямо сказать: «Когда рассуждение отделилось от жизни, оно становится искусственным, формальным и, вследствие того, мертвым. К предмету подходят и вопросы решают с точки зрения общих положений и начал, на веру принятых: скользят по поверхности, не углубляясь внутрь предмета и не всматриваясь в явления действительной жизни — даже отказываясь всматриваться в них» («Народное просвещение»).

И тут Победоносцев имел в виду не простые досужие рассуждения, а те, что закладываются в основу законов и решений, касающихся жизни всего общества и влияющих на судьбу государства.

Мы сейчас живем в пору, когда свирепствует законодательная горячка. И что удивительно, сами же законодатели постоянно сетуют: законы вроде бы принимаются нужные, но они почему-то не действуют. Впрочем, это и не удивительно, потому как в основу их, как правило, закладываются «общие положения и начала», а не явления «живой жизни».

Следует заметить, закон — это не постановление или приказ, которые всегда можно подправить или вовсе отменить. Закон должен учитывать не только реалии «живой жизни», но и тенденции ее развития, ибо он рассчитан не на сиюминутный успех, а на долгосрочное созидательное действие, и то — вовсе не закон, который можно без конца и в любое время корректировать хотя бы и на законодательном уровне. Закон по своей природе, конечно, должен исходить из современных реалий, однако он всегда должен преследовать и отдаленные цели государственного и общественного устройства. В периоды активного законотворчества одним из главнейших законов всегда следует считать закон о воспитании и просвещении и исходить здесь нужно не из «остаточного принципа» — как по части финансовых затрат, так и по части общественного внимания.

Нельзя рассчитывать на воспитание личности, если унифицировать, особенно в многонациональном государстве, народное образование и воспитание. Вот против такой унификации всю жизнь и боролся Победоносцев.

«Плохо дело, — писал он, — когда школа отрывает ребенка от среды его, в которой он привыкает к делу своего звания — упражнением с юных лет и примером, приобретая бессознательное искусство и вкус к работе... Понятие народное о школе есть истинное понятие, но, к несчастью, его перемудрили повсюду в устройстве новой школы. По народному понятию, школа учит читать, писать и считать, но, в нераздельной связи с этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную силу, необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и соблазнами мысли».

И в своих рассуждениях Победоносцев исходил не из «общих положений и начал», а из явлений «самой жизни», из ее насущных потребностей и задач на будущее. Потому-то его и

считали реакционером, что он утверждал вечные ценности — Бог, Отечество, родители — и тем самым хотел укрепить человека, сделать его независимым от всех земных кумиров, от всех соблазнов чужого разума, возводимых толпой в ранг религиозных догм. «Но никогда еще, кажется, — писал Победоносцев в статье «Печать», — отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время». Благодаря этой лжи и начали потом формировать с малолетства «строителей коммунизма» или «строителей капитализма», то есть различного рода «винтиков», лишенных нравственного самодержавия, которое возможно обрести лишь в устойчивом чувстве равенства и ответственности перед Богом. Стремление же к равенству кошельков или, напротив, стремление добиться их неравенства ведет к революциям (или контрреволюциям), стремление к политическому равенству ведет к всеобъемлющему обману и самообману, то есть к узаконению лжи, и лишь только бессомнительное чувство равенства перед Богом ведет к единению и дает возможность жить по правде и любви.

Как известно, Толстой враждебно относился к Победоносцеву, и на то у него были свои причины, но вспомните его личные педагогические усилия, его отношение к прессе, которую он отождествлял с проституцией, его отношение к прогрессу, к современной ему семейной жизни и ко многим другим вопросам — и вы обнаружите, что анархиствующий великий писатель не так уж и разнился в своих взглядах с грозным обер-прокурором св. Синода. Откровенно близки Победоносцеву были Достоевский и Леонтьев. В отличие от Блока Толстой считал Достоевского нравственной опорой. Но вспомним и другого Блока, с его проклятьем в адрес Белинского за хулу гоголевской «Переписки...», или Блока, на исходе своей жизни отчаянно ругавшего и цивилизацию, и интеллигенцию, но не протянувшего руку через десятилетия ни Достоевскому, ни Победоносцеву...

Общеизвестно и другое. Толстой, кажется, был знаком почти со всеми современными ему знаменитостями, но ни разу не свиделся с Достоевским, хотя и высоко чтил его. Достоевский был близок Победоносцеву, но последний отлучал Толстого от церкви. Младший современник Толстого и Победоносцева, Блок под конец жизни шарахался то в «реакционность», то в «революционность»... Но сколько ни говори о реакционности Достоевского, Толстого, Леонтьева, Побе-

доносцева, в толпу их все равно не собьешь — даже при общих взглядах на какие-то важные явления жизни они все равно оставались несовместимыми. Толпа, партия (та же толпа, но только организованная) комплектуется совсем из другого материала. Любая толпа живет чужими мнениями и чужими мыслями, но непременно собственными интересами, хотя и не всегда своекорыстными; толпа откликается не на зов, а на клич, поэтому она всегда агрессивна.

Самостоятельная мысль одного человека в своем развитии никогда не может во всем совпадать с самостоятельной мыслью другого человека, малейшее расхождение — и уже болезненный разрыв. Самостоятельно мыслящий человек не может быть окружен свитой-толпой, потому что толпе нужен лозунг, но не мысль. Самостоятельно мыслящий человек обречен на пожизненное одиночество, когда народ начинает жить не по нравственным заветам и обычаям, а по случайной, чем-то соблазнившей его прихоти.

«Старые учреждения, старые предания, старые обычаи — великое дело. Народ дорожит ими, как ковчегом заветов предков. Но как часто видела история, как часто видим мы ныне, что не дорожат ими народные правительства, считая их старым хламом, от которого нужно скорее избавиться. Их поносят безжалостно, их спешат перелить в новые формы и ожидают, что в новые формы немедленно вселится новый дух» («Духовная жизнь»).

Эти слова написаны были Победоносцевым задолго до революции 1905 года. Когда же настал ее срок, то стало ясно, что царствующий монарх (Николай II) во имя сохранения гражданского мира склоняется пожертвовать именно «старыми учреждениями». Победоносцев был неотъемлемой и непереставляемой частью этих «учреждений», и он в 1905 году выходит в отставку с поста обер-прокурора св. Синода. Вместе со «старыми преданиями» и «старыми обычаями» новая жизнь отторгла от себя самого верного и строгого апостола старой России — Константина Петровича Победоносцева, умершего в 1907 году. Духовно безнадзорной России и царствующему роду Романовых история отведет на агонию еще десять лет, агонию, опошленную «духовным» наставничеством антихриствующего Григория Распутина.

Так закончится первый этап эпохи великой смуты в России, не оставившей ей ничего, кроме надежды на возрождение в будущем.

У Блока как великого поэта не возникало в поэзии ни ложных образов, ни случайных слов. Поэму «Возмездие» он не закончит, но появятся у него статьи, в которых зазвучат горькие упреки в адрес отечественной интеллигенции, он станет отрицать прогресс и ополчится против «цивилизованного одичания», а затем вдруг примет революцию и в январе 1918 года напишет знаменитую поэму «Двенадцать».

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом...
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Некоторые современники после написания Блоком «Двенадцати» обвинили его в том, что он продался большевикам. Блок никогда и никому не продавался, он безоглядно отдавался своим прозрениям, прозрениям порой удивительным, и оказывался в таких случаях прав. «Двенадцать» нельзя понять, если не помнить написанных в том же январе 1918 года «Скифов», и этим двум произведениям можно было бы дать общее название — «Возмездие». Поэт всем своим существом ощущал, как рушится великая Россия, а с нею и великая христианская культура, как ликует по этому поводу близорукая Европа, и с гордой болью бросал ей гневные пророческие слова:

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами.
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами...

Сквозь кошмар и ужас холодной январской поры восемнадцатого года Блоку мнились ужасы планетарного масштаба:

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

И почти обреченный призыв:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Но отзвука нет, и возникает образ Христа с кровавым флагом, символизирующим искупительную жертву, впереди — Голгофа, на которую предстоит взойти русскому народу вслед за державно шагающими матросами во имя возрождения великой России и спасения Европы от «цивилизованного одичания».

Поначалу наш молодой АГИТПРОП, возросший на терроризме всесильного общественного мнения предреволюционной эпохи, попытался разом покончить со всем, что являлось русской культурой, и выпустил на поле боя оголтелый и беспощадный Пролеткульт. Атака с ходу не удалась. Тогда началось планомерное и методическое искажение целостной культуры. Легче всего было разделаться с Победоносцевым и Столыпиным, так как они являлись крупными государственными деятелями царской России, то есть — контрреволюционерами. Им приклеили зловещие ярлыки, а их труды «навеки» изъяли из читаемого оборота. Поскольку марксизм-ленинизм был провозглашен как последняя инстанция истинности, то не составляло большого труда списать всю русскую философию — от славянофилов и Леонтьева до Бердяева и Флоренского — в мертвый архив, не имеющий научной ценности. Не обошли вниманием и литературу. Расчленили Гоголя — на больного (реакционного) и здорового (обличительного), Толстого — на глупого (философия) и здорового (художественность).

Блок спасся благодаря «Двенадцати», где неожиданно узрели гимн революции, — не убоялись даже образа Христа в белом венчике. А позже, чтобы поднять цену советской поэзии, обойму советских поэтов начали открывать именем Блока. На весь XIX век выделили только четыре штатные единицы по ведомству литературной критики и философии и утверди-

ли на эти «должности» тоже порядком обструганных Белинского, Чернышевского, Добролюбова и Писарева. Даже родоначальника советской литературы и социалистического реализма М. Горького подавали в весьма подутюженном виде.

АГИТПРОП приспособил всю русскую литературу к своим нуждам, причем на века, во всяком случае так ему хотелось. Но живая культура пробивалась даже сквозь, казалось бы, непробиваемый идеологический асфальт, плодоносила и делала свое великое дело. Сейчас АГИТПРОП спешно перестраивается, благодаря чему произошел прорыв культуры сквозь руины старой лжи, и не заглох еще под завалом новой.

Воспользуемся моментом и посодействуем ему...

Смутное время — это болезнь общественного сознания, которая имеет альтернативный исход: выздоровление или смерть. Предполагать можно любой из них — все зависит от субъективного восприятия жизни, оптимистического или пессимистического. Шансы угадать равны, шансы предвидеть — нулевые. Прошлого не оспоришь и не отменишь, грядущего не предотвратишь — ни думою, ни молитвой. Но дума просветляет разум, молитва успокаивает душу. И только добрый союз просветленного разума и успокоенной души превращает жизнь в созидательное творчество, то есть в то богоугодное дело, которое лишь и оправдывает присутствие человека в нерукотворном Храме Природы.

1991

АПОСТОЛЫ И ЖЕРТВЫ

КАПИТАН

Краткий обзор минувших литературных событий

Мы все глядим в Наполеоны...
А. Пушкин

В политической деятельности люди часто себя губят тем, что слишком хорошо помнят прошедшее.
А. Токвиль

Дети Арбата и другие

В сентябре 1986 года нас (литературного обозревателя «Литературной газеты» А. Латынину, тогдашнего главного редактора журнала «Вопросы литературы» М. Козьмина, члена редколлегии и сотрудника журнала «Дружба народов» Л. Аннинского и автора этих строк) пригласили на телевидение, чтобы отснять один из сюжетов для очередного «Литературного альманаха». Мы должны были без всякой подготовки разыграть острую дискуссию на тему: «Современный литературный процесс в период перестройки». К тому времени вышли в свет и уже вызвали жаркие споры бондаревская «Игра», распутинский «Пожар», астафьевский «Печальный детектив», айтматовская «Плаха», беловское «Все впереди». Нам предстояло не только высказать свое мнение о названных произведениях, но и потолковать о тенденциях развития современной отечественной литературы, возможно, назвать и другие произведения, пока не вошедшие в широкий оборот споров и дискуссий.

Словом, нам предоставлялась полная свобода и всего двадцать минут времени (считай, в среднем по пяти минут на человека) — замысел, что и говорить, безумный. Вступительное слово держал М. Козьмин — семь минут! Передается слово А. Латыниной — пятнадцать минут! Мотор остановлен. Нам говорят, что мы уже исчерпали лимит времени, что так нельзя, что нужны не выступления, нужен динамичный спор и т. д. Мы тут же, за столом, быстро совещаемся, выясняем, кто как относится к произведениям, о которых будем дискутировать,

уславливаемся быть предельно лаконичными. В запасе у операторов осталось пленки еще минут на двадцать пять. Начнем все сначала...

Конечно, я не стал бы вспоминать столь незначительный случай, если бы не выступление Льва Аннинского. Цейтнот, в котором мы оказались, его ничуть не смутил. Он в нескольких фразах дал понять, что произведения, вызвавшие в последнее время весьма оживленные споры, особого внимания не заслуживают, поскольку сейчас грядет новая, настоящая литература, она-то наконец скажет нам всю правду и откроет глаза на истину.

В данном случае Л. Аннинский поступил, как теперь принято выражаться, некорректно. И не только по отношению к нам — остальным участникам «дискуссии», но и по отношению к телезрителю, неожиданно возложив на себя бремя рекламных забот и обязанностей, никак не предусмотренных жанром нашего коллективного выступления. Л. Аннинский торжественно, как и подобает первооткрывателю, информировал телезрителей, когда и в каких журналах выйдут романы А. Бека «Новое назначение», А. Рыбакова «Дети Арбата» и В. Дудинцева «Белые одежды».

Естественно, мы тоже знали о готовящихся публикациях этих романов и в общих чертах представляли их содержание и направленность, но тут наша осведомленность не шла ни в какое сравнение с осведомленностью Л. Аннинского, уже прочитавшего эти романы в рукописях. Постоянно бегущий впереди прогресса, словно его тень, Л. Аннинский превратил нас таким образом в свою аудиторию.

Потом опытные да и не очень-то взыскательные работники телевидения «сюжет» все-таки слепят, и он составной частью войдет в октябрьский «Литературный альманах». Мы перед зрителями, наверное, недурно продемонстрировали, как трудно порой бывает личные интересы подчинить общей задаче — наш «сюжет» менее всего напоминал дискуссию литературных критиков.

С момента той телесъемки прошел год. Л. Аннинский может не волноваться: на сей раз именно он первым — и это я сейчас публично свидетельствую — открыл «новую литературу», и даже не открыл, а предвосхитил, и сказал о ней такое высокое слово, что остальным после обнародования романов «Новое назначение», «Дети Арбата» и «Белые одежды» ничего другого не оставалось, как иллюстрировать слово Л. Ан-

нинского цитатами из названных произведений да состязаться в высказывании лестных оценок в адрес их авторов.

Своего рода предварительные итоги общему разговору о «новой литературе» подвел в августовском номере «Огонька» за 1987 год Дмитрий Иванов, заодно дав краткую оценку всей «новой литературе».

Статью «Что позади?» предваряет авторское вступление, его я приведу полностью, дабы не возникло подозрения, будто я что-то усекаю или передергиваю.

«И всегда, — заявляет критик «Огонька», — и в момент перестройки особенно, требуется не преимущество в отражении одного времени перед другим — требуется *правда.*

Печатают сейчас много о прошлом потому, что о нем уже написана правда. Будет написана правда о настоящем — ее сейчас же постараются напечатать.

Но без правды о прошлом трудно ждать правды о настоящем».

Все сказано предельно коротко и предельно емко, а потому о каждом положении вступления поговорим отдельно.

«И всегда, *и в момент перестройки особенно* (курсив мой. — *А. Л.*), требуется не преимущество в отражении одного времени перед другим — требуется *правда».*

Я лично все-таки полагаю: не следует бить поклоны в сторону перестройки по каждому поводу, излишний словесный энтузиазм, не подкрепленный очевидным делом, как показала многолетняя история, далеко не всегда свидетельствует, говоря аккуратно, в пользу искренности намерений. К тому же *правду* не следует дозировать по периодам и эпохам, *правда* — величина постоянная, вернее, она *должна* быть таковой, что в эпоху перестройки, что в эпоху, скажем, коллективизации, хотя цена у нее в разное время — разная, порой за *правду* приходится очень дорого платить.

Возможно, это и оговорка, но перестройка все-таки не укладывается во временной отрезок, исчисляемый «моментом».

«Печатают сейчас много о прошлом потому, что о нем уже написана правда. Будет написана правда о настоящем — ее сейчас же постараются напечатать».

Тут, как говорят в футбольном мире, Д. Иванов ловко замкнул хитроумный пас Л. Аннинского и эффектно вколотил мяч в сетку. Итак, правда написана лишь о прошлом, а о настоящем ее написать еще предстоит, а все эти «Пожары», «Печальные детективы», «Плахи» и прочие произведения,

вызвавшие столь много ненужных споров и толков, — сущая безделица, порожденная всеобщей исторической слепотой и долговременным общественным застоем. Только правдивая «новая литература» о прошлом сможет породить столь же правдивую «новую литературу» о современности.

Может быть, я несколько пережал насчет исторической слепоты? Да нет, вроде бы пока я не выхожу за рамки суждений самого автора статьи «Что позади?», который пишет: «Роман «Дети Арбата» должен прочесть каждый. Книга эта *не просто открывает глаза* на тягостную реальность недавней нашей истории — она *не позволяет больше отводить их в сторону* от этой реальности, рассказывая *правду* о сталинской эпохе — продолжая великое дело XX партийного съезда, осмысливая пути, по которым пришли мы в сегодня».

Заключает статью «Что позади?» совсем коротенький теоретический вывод, отбитый от остального текста звездочками, что придает ему как бы особое значение:

«Прочитаны новые книги о прошлом.

И теперь станет возможным писать по-новому о новом, о сегодняшнем, — когда по-новому сказано о старом».

«Концепция» Д. Иванова после выступления по телевидению Л. Аннинского не отзывается большой оригинальностью, однако от этого она не становится менее опасной, о чем мы поговорим несколько позже, а сейчас вернемся к утверждению, что о прошлом правда уже написана. Не знаю, хотел того критик «Огонька» или не хотел, но это его утверждение прозвучало как команда «Отбой!». Я же склоняюсь к мысли, что до «отбоя» еще очень далеко, что еще предстоят серьезнейшие научные исследования и художественные открытия, связанные с эпохой, что названа Д. Ивановым «сталинской».

И тут мы должны во избежание ненужных недоразумений уточнить хронологию самой эпохи. Помимо вступления к статье «Что позади?» написана еще и следующая авторская вводка:

«Невиданное было время, необъяснимое во многом, необъясненное пока, — думал я о тридцатых, сороковых и начале пятидесятых годов, печатая начало этих заметок («Огонек», № 18). — Но вот разом вышли романы Б. Можаева «Мужики и бабы», В. Дудинцева «Белые одежды», а главное, А. Рыбакова «Дети Арбата» — в них писатели говорят *во весь голос* об этой эпохе». «Сталинской» эту эпоху Д. Иванов называет уже в тексте самой статьи.

Если говорить о «сталинской эпохе» (давайте договоримся называть период правления Сталина так, как предлагает

критик «Огонька», не внося в само название никакого дополнительного смысла и не извлекая из него никаких намеков), то из нее никак нельзя изымать ключевых двадцатых годов, ключевых для создания «концепции» Сталина как государственного деятеля, как исторической личности, наконец, как художественного образа.

Анализируя роман А. Рыбакова «Дети Арбата», Д. Иванов приходит к выводу: «И главный успех писателя — образ Сталина». Действительно, А. Рыбаков не окарикатуривает Сталина, не сводит его образ к тем недостаткам, на которые указывал Ленин в «Письме к съезду». В этом отношении печально поучителен пример М. Шатрова, заставившего в своей пьесе «Брестский мир» Сталина в начале 1918 года демонстрировать именно те негативные качества, на которые Ленин обратил внимание коммунистов лишь в конце 1922 года, и получается, что Ленин почти пять лет не замечал то, что хорошо видели остальные, то есть не замечал очевидного.

В 27-м номере «Огонька» (1987) опубликованы отзывы писателей, которые читали роман А. Рыбакова еще до его публикации, завершает подборку письмо Л. Аннинского. «Хочу подчеркнуть, — писал он автору романа «Дети Арбата», — Вы нашли в этой драме *ее внутреннюю логику,* что есть огромной важности, принципиальное решение, художественное, этическое и какое хотите. Сталин — человек, настолько много вобравший в себя из времени, настолько много в себе сконцентрировавший и хорошего и плохого из *ситуации,* что найти правильный тон в размышлении о нем почти невозможно, а Вы — нашли. Вы видите и границы внутренней необходимости действия этих людей, и то, как, где и *почему* они переходят границы».

Да, А. Рыбаков к своей писательской задаче отнесся серьезно, Сталин у него не капризничает, не грубит и порой даже бывает внимателен к своим соратникам, короче говоря, Сталин у А. Рыбакова достаточно убедителен и по-своему достоверен. И все-таки при чтении романа «Дети Арбата» чувствуется, что самому автору далеко не все ясно в образе главного героя.

Нет, я чуть ранее не просто так и не из педантизма пустился уточнять хронологию «сталинской эпохи». Все узелки завязывались именно тогда, в двадцатые годы, а в тридцатые они уже развязывались; война некоторые из них разрубила, но и на потом оставила предостаточно. Да что там говорить, мы

до сих пор распутали еще не все узелки, ведь как их ни распутывай, а все получается — больно. И отодвигаем их в сторону или откладываем на завтрашний день — но сами-то они все равно не распутаются. Нам бы их одолеть хотя бы к концу истекающего тысячелетия. Поэтому писатель, покушающийся на создание образа Сталина, должен хорошо знать и представлять, как и какие узелки завязывались в двадцатые годы, хотя сюжетно его произведение может и не включать в себя этот временной отрезок. Особый же интерес в биографии Сталина представляет очень короткий, но весьма таинственный период из двадцатых годов.

Да, Ленин в «Письме к съезду» писал и о грубости, и о нетерпимости, и о капризности Сталина, даже предлагал переместить его с поста генсека на другой, о чем у нас многократно и писалось, и говорилось. Но есть в «Письме...» Ленина одна фраза, мимо которой все как-то проскакивают, а если и не проскакивают, то не ставят на ней должного акцента. Вот эта фраза: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».

Теперь мы знаем, опасения Ленина были не напрасны: Сталин своей властью в дальнейшем, говоря мягко, пользовался отнюдь не всегда безукоризненно, однако для нас сейчас важнее первая половина фразы, возбуждающая невольный вопрос: *каким образом и при чьей поддержке* фактически еще при Ленине (Ленин тяжело заболел 16 декабря 1922 года) за считаные месяцы Сталину удалось «сосредоточить в своих руках необъятную власть» — ведь генсеком он стал лишь в апреле того же 1922 года?

Думается, пока не восстановится в своих главнейших подробностях именно этот период (апрель — декабрь 1922 г.) деятельности Сталина, его художественное воплощение будет невольно страдать от исторической недостаточности и покрываться дымкой ненужной таинственности. Вероятно, будь Сталин менее капризен, менее груб и более терпим, он все равно сумел бы «сосредоточить в своих руках необъятную власть». И все равно встал бы вопрос: «Каким образом?» К сожалению, роман «Дети Арбата» ответа на этот ключевой вопрос тоже не дает.

Отсюда, скорее всего, и невыразительность остальных исторических фигур романа. Так, Орджоникидзе больше напоминает доброго рождественского дедушку, нежели человека кипучего, порой даже излишне кипучего темперамента. Все тот

же 1922 год. Ленин пишет: «Я боюсь также, что тов. Дзержинский, который ездил на Кавказ расследовать дело о «преступлениях» этих «социал-националов», отличился тут тоже только своим истинно русским настроением (известно, что обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения) и что беспристрастие всей его комиссии достаточно характеризуется «рукоприкладством» Орджоникидзе».

Пятаков в романе присутствует как бы «за кадром» и производит впечатление «никакого» человека, а Ленин в «Письме к съезду» охарактеризовал его достаточно ярко: «Затем Пятаков — человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе».

Когда читаешь коротенькие ленинские характеристики, перед тобой встают очень яркие и очень разные личности, ощущаешь могучее напряжение времени и драматически-конфликтную ситуацию. Когда же читаешь роман «Дети Арбата», то видишь загадочно-зловещую фигуру Сталина и рассуждающего — причем порой очень интересно — автора, остальные исторические персонажи по сути дела лишены собственного прошлого, своего развивающегося неповторимого «я».

Но если Орджоникидзе — персонаж в романе проходной, а Пятаков вообще находится «за кадром», то Киров является одним из главных действующих лиц, он не только участвует в некоторых романных эпизодах, но и много размышляет, в том числе и о Сталине, и его общение со Сталиным не выглядит мимолетным.

«Сталин сидел на веранде сочинской дачи в плетеном кресле, подставив лицо солнцу. Он любил Сочи — создание его рук, любил лето на юге, хотя врачи рекомендуют юг только осенью...»

На сей раз Сталин приехал сюда вместе с новоиспеченным секретарем ЦК Ждановым, если не считать целую группу ученых-историков. Вскоре должен был приехать из Ленинграда вызванный или приглашенный им Киров.

«Киров приехал днем. Сталин велел Жданову ввести его в курс их работы по учебнику истории и пригласить вечером на ужин.

Ужинали втроем: Сталин, Киров и Жданов.

— Хорошо, что ты приехал, Сергей Миронович, — говорил Сталин, усаживаясь по праву хозяина во главе стола, — а

то вот Андрей Александрович, — он кивнул на Жданова, — не пьет, не ест, сидит за столом, как Иисус Христос, и меня хочет с голоду уморить. А я на этот счет согласен с Чеховым: все эти болезни доктора выдумали. Есть надо все, понемногу, конечно, в разумных пределах. Травка полезная кавказская: кинза, тархун, джон-джоли... Фрукты полезны, вино сухое, грузинское вино — хорошее вино. Пей, ешь — все на пользу будет. Что на столе — сам видишь, ты человек кавказский. Или, может быть, в Ленинграде забыл, что такое хачапури, что такое лобио, что такое сациви?

— Не забыл, — ответил Киров, смеясь и накладывая себе в тарелку понемногу от каждого блюда, — все помню и все люблю.

— Не знаю, какая теперь в Ленинграде кухня в моде, — задумчиво проговорил Сталин, — раньше у дворян французская кухня была в моде, у народа — немецкая: сосиски, колбасы. А сейчас?

— Сейчас в моде пролетарская кухня, — сказал Киров, — щи, борщ, котлеты, макароны. Что по карточкам даем, то народ и ест.

— Да, карточки, — по-прежнему задумчиво проговорил Сталин, — отменять будем карточки.

На это Киров никак не реагировал: отмена продуктовых карточек с первого января — вопрос решенный.

— Урожай в этом году ожидается хороший, — продолжал Сталин, — хлеба должно хватить. Получили мы сведения по Казахстану, урожай, пишут, небывалый, десятки лет такого не было, надеются получить по двадцать пять центнеров с гектара. Боюсь, твой друг Мирзоян не справится с таким урожаем.

— Мирзоян — энергичный человек, не подведет.

Как бы не слыша реплики Кирова, Сталин задумчиво продолжал:

— Богатый урожай — это, конечно, хорошо, но и таит в себе опасность: застает людей врасплох, приносит с собой настроения самоуспокоенности, благодушия, беспечности. Богатый урожай тогда хорош, когда он собран, вывезен, не расхищен, не растерян.

Киров знал, Сталин ничего не говорит зря, разговор о Казахстане затеял не случайно. За столом Сталин обычно не вел деловых разговоров, сегодня завел...»

Не случайно Сталин завел разговор не только о Казахстане, во время этого ужина «выстрелят» и «кавказская травка»,

и «ленинградские моды». Сталина в какой-то мере обеспокоили некоторые публикации последнего времени, в частности, воспоминания Крупской о Ленине и брошюра А. Енукидзе. Крупскую уже поправил Поспелов, писавший в «Правде»: «Крупская некритически преувеличивает роль Плеханова в истории нашей партии, а Ленина изображает как почтительного ученика Плеханова».

Сталин прокомментирует эти слова Поспелова так: «Правильная мысль. Почему правильная? Потому что Крупская смотрит на эти фигуры из далекого прошлого, а Поспелов смотрит из сегодняшнего дня. И, исходя из опыта сегодняшнего дня, мы при всем нашем уважении к Плеханову, при всей высокой оценке его деятельности *теперь* даже не можем поставить эти фигуры рядом».

Итак, Ленин — начало. Все, что было в российском революционном движении до него, — всего лишь поиски, подходы, подступы... Ленин — это революционное откровение, без которого общественная мысль отсталой России блуждала бы в потемках бесконечных и бесплодных споров. Сталину нужен был абсолютный культ Ленина, но вовсе не для исторической репутации самого Ленина. В предреволюционные годы Ленин долгие годы прожил за границей, да, он осуществлял оттуда общее руководство, но руководство руководством, а кто-то ведь должен был заниматься революционным движением в России непосредственно? И по этому поводу со всей определенностью высказался тот же Поспелов: «И в период подполья *ведущая* роль таких авторитетных организаторов — вождей партии, как Сталин и Свердлов, была совершенно очевидна основным большевистским кадрам, работавшим не за границей, а непосредственно в России».

Методология Поспелова показалась Сталину чрезвычайно продуктивной: есть взгляд из прошлого, а есть взгляд из сегодняшнего дня. Весь этот разговор потребовался Сталину для того, чтобы дать понять Кирову, что учебник по истории будет создаваться по прогрессивному принципу «из сегодняшнего дня». Фактически благодаря Сталину Киров стал и первым секретарем Ленинградского обкома партии, и членом Политбюро, и секретарем ЦК. Киров прежде всегда поддерживал Сталина, теперь Сталин хотел проверить: будет ли Киров и впредь поддерживать его во всем или...

Киров уклонился и от опровержения брошюры Енукидзе, и от участия в работе над учебником истории, но это Сталина

особенно огорчить не могло: он в самом начале разговора дал Кирову понять, что Жданов в его компании — фигура отнюдь не эпизодическая (это когда Сталин «жаловался», что Жданов морит его голодом), а что касается брошюры Енукидзе, то и тут оппонента найти нетрудно — хотя бы тот же Поспелов, с Крупской не посчитался, не говоря уже о целой своре ученых-историков, которых только погладь да подкорми...

Что Сталина по-настоящему беспокоило, так это ленинградская партийная организация, поддержавшая в 1925 году не его, а Зиновьева, тогда-то и возник на высоком политическом небосклоне Сергей Миронович, за восемь лет не только поднявшийся до самых вершин партийной и государственной власти, но и завоевавший в партии большой авторитет. Киров не даст почистить ленинградскую партийную организацию... Значит, Кирова следует убрать. Перевести в Москву, даже с повышением, и Сталин настойчиво убеждает Кирова занять новый пост, но Киров категорически отказывается покинуть Ленинград.

«Сдерживая вспыхнувшую ярость, Киров опустил глаза. Намек на то, что он алчет популярности, был груб. Все ясно: Сталин хочет забрать его из Ленинграда, хочет иметь его под боком, в Москве, хочет полного подчинения.

— Товарищ Сталин, — сказал Киров, — из Ленинграда прошу меня не отзывать, пока не завершится реконструкция города. Я ее начал, я хочу ее закончить.

Киров произнес это тоном, показывающим, что это его окончательное решение.

Сталин все понял и спокойно спросил:

— А когда должна закончиться реконструкция?

— Надеюсь, к концу этой пятилетки.

— Ну что ж, — пошутил Сталин, — постараемся закончить пятилетку в четыре года, чтобы поскорее заполучить тебя в Москву».

Отвечая своим читателям, А. Рыбаков на страницах «Литературной газеты» (1987, № 34) пишет: «Да, вопросов о документальной основе, о праве писателя в подобных случаях на вымысел очень много. Спрашивают даже: «Вот Вы приводите мысль Сталина, а какими стенограммами Вы пользовались?» ...Более всего, пожалуй, волнует читателей: так ли думал, так ли рассуждал Сталин, как это описано в романе. В подобной реконструкции существуют два пути: от произнесенного монолога — к предполагаемому действию и, наоборот, когда

писатель знает, видит действие и, ориентируясь на него, домысливает, как оно обдумывалось. И если писатель сочинил внутренний монолог, который органически связан с делом, с поступком героя, и читатель поверил в это движение мысли, то монолог оправдан. Но если я предлагаю «думы», не соответствующие личности, характеру, действиям персонажа, — получается заведомая ложь. Надеюсь, что таких сталинских монологов в моем романе нет».

Подобные читательские вопросы в первую очередь говорят о желании читателя знать подлинную правду о Сталине, а не вольные писательские фантазии, и это, разумеется, похвально. Но в то же время излишний читательский максимализм («какими стенограммами вы пользовались?») ставит писателя в безвыходное положение да и вообще делает невозможным исторический жанр: ведь ни за одним великим человеком не записываются все сказанные им слова. Конечно, можно пойти и таким путем: собрать все документы (письма, дневники, мемуары, записи и т. д.) и из них, выдергивая фразы, монтировать «разговорную речь», но такой путь убьет всякую достоверность. Без авторской фантазии художественное произведение просто создать невозможно, если, разумеется, не смешивать два понятия: писательская свобода и писательский произвол.

Я согласен с рассуждениями А. Рыбакова о праве писателя на достоверный домысел при создании образа исторического лица, но меня несколько смутил излишне категорический разговор о «заведомой лжи». Думается, чаще всего «ложь» в исторических романах носит характер «незаведомый», многое зависит как от общей исторической и философской концепции автора, так и наличия на данный период достоверных материалов. Сталин как раз относится к таким историческим фигурам, которые не исчерпываются разом на все времена.

Я, например, считаю, что в романе «Дети Арбата» все сталинские монологи выдержаны в едином духе создаваемого автором образа Сталина. Чего, к примеру, не могу сказать о кировских монологах.

В финале романа мы узнаем о трагической гибели Кирова, мы можем даже предположить, что его убийство лежит на совести Сталина, но только предположить, ибо сам А. Рыбаков об этом пока ничего не говорит. Возможно, в следующем романе «Тридцать пятый и другие» автор выскажется на сей счет более прямо, но дело не в этом.

Пока Киров в романе выглядит интересным лишь в общении со Сталиным, однако авторской концепции Кирова нет, и это приводит к тому, что Сталин ставится в весьма неожиданную ситуацию. Мы знаем, что Сталин высоко ценил Кирова, но мы не знаем, что он думал о нем в конце 1934 года, зато, читая роман «Дети Арбата», мы узнаем, что думал в это время Киров о Сталине. Для меня, лично, «думы» Кирова о Сталине то открытие, которое во многом переворачивает представление о Кирове и о событии 1 декабря 1934 года.

«Однако Сталин хочет управлять с помощью страха, и только страха — это нужно для укрепления его единоличной власти. И к чему это приведет, неизвестно. *Киров с горечью сознавал теперь, какую ошибку совершила партия, не последовав совету Ленина, не освободив Сталина от поста генсека. Это надо было сделать.* Троцкий все равно не взял бы верх — он чужак в партии. Зиновьев и Каменев тоже не пришли бы к руководству — партия им не доверяла. Партию возглавило бы истинное большевистское ядро, ее нынешнее Политбюро, в котором нашлось бы место и Бухарину, и Рыкову, и даже Сталину, но как равноправному члену руководства. *Да, ошибка непоправимая. Сталина устранить невозможно.* Убедить в чем-либо тоже невозможно... Изменить что-либо уже невозможно. *От сознания собственного бессилия Кирова охватило отчаяние»* (курсив мой. — *А. Л.*).

В этих горьких размышлениях Кирова есть два очень существенных «провала». Кто же, не соверши партия в свое время ошибки, должен был заменить Сталина на посту генсека? Сейчас, задумавшись над той «ошибкой», Киров не мог не назвать кандидатуры. Иначе опять все тот же незаменимый — Сталин. «Сталина устранить невозможно...» А если все-таки... Кто тогда займет его место? Опять — «провал». Нет, политический деятель такого масштаба не может так неконкретно думать.

И другое. Предположим, что Кирова устранил Сталин. Сыграла пустая подозрительность? Нет, скорее, предусмотрительность. Если Киров еще на сочинской даче приходил в отчаяние от того, что Сталина невозможно устранить, то что же он тогда думал в конце ноября, когда приехал в Москву на пленум? Ведь Киров — человек волевой, деятельный, смелый, энергичный. Или он так и пребывал просто в отчаянии?

Пока в романе образа Кирова нет, есть его разговоры со Сталиным. По сути же дела, Киров в романе является рупором авторских взглядов и размышлений.

Позволю себе сделать небольшое отступление. Автор художественного произведения вправе выстраивать собственную концепцию той или другой исторической личности, однако эта концепция не должна вступать в противоречие с историческими фактами и теми документами, которыми мы располагаем на сегодняшний день. При чтении романа «Дети Арбата» создается впечатление, будто Киров противостоял Сталину и даже приходил в отчаяние от мысли, что Сталина уже невозможно устранить. Если бы Киров не был исторической личностью, то не возникло бы никаких вопросов, но таковые возникают, поскольку рыбаковский Киров «не согласуется» с имеющимися в нашем распоряжении документами. У Рыбакова Киров «находит» место в Политбюро и Бухарину, и Рыкову. А вот что говорил подлинный Киров 30 июня 1930 года на XVI съезде партии:

«В отношении квалификации пропаганды правого оппортунизма мы остаемся при старом решении, что пропаганда взглядов правого уклона несовместима с пребыванием в рядах нашей коммунистической партии...

Товарищи, надо прямо сказать, каждый лишний процент темпа в нашей индустриализации, каждый лишний колхоз — все это было достигнуто не только в борьбе с кулаком и прочими контрреволюционными элементами в нашей стране, это было достигнуто в борьбе против Бухарина, Рыкова, Томского и Угланова...

Надо сделать все к тому, чтобы теперь уже внутри нашей партии с правоуклонистами, активными правоуклонистами, нам не встречаться, сделать так, как поступили мы в свое время с троцкистами, в сознании того, что правая опасность — это главная и основная опасность на данном отрезке времени».

Но Киров был противником правого уклона не только на словах, но и на деле. 29 июня 1930 года он выступал на совещании секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов Ленинграда. Речь шла о заготовке дров и торфа. Для их заготовки требовалось 30 тысяч рабочих. Где их взять? На этот вопрос Киров дает прямой ответ:

«Поэтому нельзя смотреть на такие работы как *лес и торф* (особенно эти работы), как на что-то чуждое сельскому хозяйству. Это основная часть плановой работы в нашем сельском хозяйстве, план именно таким образом и надо составлять. Совершенно правильно в нашей резолюции записано, что, пока сенокос не наступил и хлеб убирать нужно будет

не скоро, надо сейчас же переключиться и выполнять задание по лесозаготовкам, сплаву и т. д.»

Как видим, еще в самом начале колхозного строительства колхозник рассматривался (в том числе и Кировым) как рабочая сила, которую можно использовать где угодно. Естественно, подобная «инициатива» не могла не импонировать Сталину, так как шла вразрез со взглядами правых уклонистов на роль крестьянства в социалистическом строительстве.

Конечно, и самый достоверный факт, и подлинный документ, будучи вырванными из исторического контекста, могут стать историческими лжесвидетелями. Приведенные мною цитаты из выступлений Кирова относятся к 1930 году, а в романе А. Рыбакова мы видим Кирова в 1934 году, поэтому следует обратиться к выступлениям Кирова того периода, который совпадает по времени с действием романа «Дети Арбата».

1934 год. 17 января. Из выступления Кирова на V областной и II городской Ленинградской партконференции:

«Мы организовали развернутое наступление социализма на основе учения Ленина — Сталина о строительстве социализма в одной стране...

Мы подходим и в итоге второй пятилетки придем, если будем работать, как учит нас товарищ Сталин, к бесклассовому социалистическому обществу...

Трудно представить себе фигуру гиганта, каким является Сталин. За последние годы, с того времени, когда мы работаем без Ленина, мы не знаем ни одного поворота в нашей работе, ни одного сколько-нибудь крупного начинания, лозунга, направления в нашей политике, автором которого был бы не товарищ Сталин, а кто-нибудь другой. Вся основная работа — это должна знать партия — проходит по указаниям, по инициативе и под руководством товарища Сталина...

Могучая воля, колоссальный организаторский талант этого человека обеспечивают партии своевременное проведение больших исторических поворотов, связанных с победоносным строительством социализма...

Товарищи, заманчивая картина открывается перед нами к концу 1937 года...»

1934 год. 31 января. Из речи Кирова на Красной площади в Москве:

«Вы должны, товарищи, знать, что не раз в прошлом рабочие поднимали знамя восстания против своих поработителей. Самой трудной и неразрешимой задачей был для них крестьян-

ский вопрос. Из-за неразрешения этого вопроса была потоплена в крови рабочих Парижская коммуна. Этот же вопрос не смогла разрешить венгерская революция. Но этот вопрос решила та партия, которую создал, выпестовал и воспитал величайший из вождей, у могилы которого мы собрались сегодня с вами.

Этот вопрос разрешила наша Всесоюзная коммунистическая партия, руководимая лучшим ленинцем — товарищем Сталиным...

Да здравствует руководительница всех наших побед — наша славная, несокрушимая, великая, единая коммунистическая партия, ее XVII съезд и ее славный, несгибаемый, великий руководитель и стратег — товарищ Сталин!»

1934 год. 10 октября. Из речи Кирова на пленуме Ленинградского областного и городского комитетов ВКП(б):

«Нет нужды подробно доказывать, что за последние годы наша партия, руководимая нашим мудрым вождем товарищем Сталиным, идейно выросла и окрепла в боях с оппортунизмом в процессе гигантской социалистической стройки...

Надо найти время и для чтения газет, и для книг Ленина и Сталина...»

Последние извлечения по времени как раз совпадают с теми тираноборческими мыслями, которые посетили Кирова в романе «Дети Арбата».

Как же совместить достоверные исторические монологи Кирова с теми «монологами», которые нам предлагает А. Рыбаков? Совместить их очень трудно, вернее, невозможно. Как видим, А. Рыбаков сам же нарушил установленный им для себя закон: «Но если я предлагаю «думы», не соответствующие личности, характеру, действиям персонажа, — получается заведомая ложь».

Против этой категоричности я уже возражал, так что не станем торопиться обвинять автора «Детей Арбата» в «заведомой лжи», однако о серьезном художественном просчете не сказать тоже нельзя. И дело тут даже не в самом образе исторического Кирова, а в том, что при упрощении в любую сторону этого образа (а Рыбаков здесь явно упрощает, желая представить нам реальный антипод Сталина) упрощается невольно и сама эпоха, одним из главных действующих лиц которой был Киров, признанный «любимец партии», чья трагическая гибель до сих пор остается загадкой.

В последний раз с Кировым нам доведется встретиться в предпоследней главе романа. По окончании ноябрьского Пле-

нума, на котором было принято окончательное решение об отмене карточек на продукты, Киров, как мы уже сказали, навестит заболевшего Орджоникидзе, и тот начнет уговаривать его задержаться в Москве «на пару дней». Естественно, что Киров отказался (да и как он мог остаться: у него, наверное, наперед был расписан каждый день, и как на такое «гостевание» посмотрел бы товарищ Сталин?), тогда Орджоникидзе вызвал свою машину:

«— Василий Дмитриевич, подавай машину, отвезешь Кирова на вокзал, — и совсем тихо, прикрыв ладонью трубку, добавил: — Да сделай так, чтобы на поезд опоздал. Понял?»

Какие же в 1934 году были еще патриархальные времена: личный шофер — твой личный и преданнейший друг и плевал он там на Ягоду, а заодно на его предшественников или его преемников. Попросил «шеф», нет, «шефами» это потом стали называть, попросил старший товарищ — выполним с удовольствием.

«Не доезжая до почтамта, Барабашкин остановил машину, выскочил, поднял капот.

— Что случилось?

— Подача барахлит, Сергей Миронович, сейчас налажу.

— Нет, ждать не буду.

Ошибка Барабашкина заключалась в том, что он остановился вблизи трамвайной остановки. К ней как раз подходил четвертый номер, следовавший по маршруту к вокзалам, и Киров успел вскочить на площадку. В вагон «Стрелы» проводник впустил его за минуту до отхода поезда».

Возможно, все так и было на самом деле, хотя на самом деле так быть не могло. Во-первых, Барабашкин должен был хорошо знать, как ему надлежит поступить в подобном случае: чинить неиспорченную машину или следовать за членом Политбюро и охранять его. А если бы Киров не успел на поезд, что бы тогда делал несчастный Барабашкин? С огнем шалил Серго, давая своему шоферу такое поручение.

Во-вторых, неужели Кирова в Москве могли обойти «вниманием» те, кому по службе было положено неотступно охранять таких высокопоставленных особ? Сталин ведь не случайно упрекнул в свое время Кирова в том, что он игнорирует общий режим охраны для всех членов Политбюро.

«— ...Нет, дорогой! Ты ведь по улицам разгуливаешь, в театре сидишь в партере. Неосторожно, очень неосторожно. Неужели сам не понимаешь? Неужели Политбюро должно вынести специальное решение о твоей охране?

— Я прошу не принимать никаких решений, — поспешно сказал Киров, — моя охрана достаточна и надежна.

— Это ты так считаешь, — возразил Сталин, — а у Политбюро на этот счет может быть другое суждение. Есть определенный порядок охраны членов Политбюро, ты единственный его нарушитель».

В последней главе мы вновь встречаемся с Сашей Панкратовым — одним из главных героев романа. В далекую деревню Мозгову, где Саша отбывает срок своей ссылки, доходит весть об убийстве Кирова. Саша реагирует лаконично:

«— Киров, говорят, был хороший человек, хороший оратор, любимец партии. Кто посмел поднять на него руку?

Всеволод Сергеевич сел на лавку, откинул голову к стене.

— Кто бы это ни сделал, Саша, могу сказать вам с полной уверенностью: наступают черные времена».

Всеволод Сергеевич ошибался и ошибался, вероятно, умышленно или даже принципиально — черные времена наступили давно.

Саша Панкратов в Мозгове относился по-хорошему только к одному человеку — к Всеволоду Сергеевичу: «Сашу коробили эти рассуждения (циничные рассуждения Всеволода Сергеевича о женщинах. — *А.Л.*), но с Всеволодом Сергеевичем он дружил. Было в нем что-то от Москвы двадцатых годов, от Москвы Сашиного детства... Было что-то от непринужденности и, *как понял Саша позже,* человечности того времени» (курсив мой. — *А. Л.*).

Значит, Саша и позже ничего не понял.

«Человечность того времени...»

«Старики с детьми стояли просто. Но в молчании мужиков, баб, молодых парней и девок, в их то быстрых, исподлобья, то потупленных взглядах проступило такое унижение, стыд и затравленность, точно здесь, у села, начинался страшный торг и были они предметом продажи...»

Представив эту картину, можно невольно унестись книжной памятью в эпоху жестоких петровских реформ и последующих за ней долгих десятилетий, когда открытый торг людьми стал делом если и не повседневным, то обыденным. А можно в естественном желании несколько успокоить свою гражданскую и национальную совесть — унестись еще дальше, в эпоху, когда хищные орды динамичной *кочевой* цивили-

зации безжалостно сметали ростки молодой *оседлой* цивилизации в ее восточноевропейской интерпретации.

«Один из комендантов пошептался с правленцами, заложил руки за спину и прошелся перед прибывшими...»

Слово «комендант» укорачивает бег спасительной фантазии в прошлое и возвращает нас в пределы нашей реальной памяти. Хотя прочитанные страницы указывают и время, и место действия, никак не хочется верить, что этот эпизод не связан с каким-либо иноземным нашествием, к примеру, начала сороковых годов.

Комендант прошелся перед «прибывшими», остановился, и зазвучала родная русская речь в своей неподдельной русской неправильности:

«— Я вам прямо скажу, дорогие товарищи, — светлиц для вас не ожидается. Вы люди умные, хочь и усталые, поэтому наше положение тоже сознайте... — начал он громко и важно, но тут же смолк и, краснея, прокашлялся в кулак. — Дорогие граждане! Потому вы сейчас, когда мы начнем вас... — Он опять осекся, окончательно сконфузился и растерянно посмотрел на подводы».

А в подводах находились те, кто уже отделался от хлопотливого «товара», сдав его местному руководству.

«Конвоиры посмеивались.

— Да не товарищи это и не граждане, — лениво отозвался из брички Похмельный. — И тем более дорогие. Кулаки они. Сосланные и высланные. Так и называй.

Должной речи не получилось. Комендант махнул рукой и повел первую партию в село...»

А Похмельный был начальником конвоя, такое ему тогда выпало партийное поручение — доставить в далекое североказахстанское село своих несчастных земляков, подпавших под раскулачивание. Однако достаточно грозный в силу своей содержательности окрик главного конвоира (теперь уже бывшего) смутил лишь коменданта. Аборигены Гуляевки пропустили его слова мимо ушей.

«Подводы с конвоем да и самих прибывших окружили гуляевцы. Спрашивали, за что выслали, по какой статье, надолго ли, когда это случилось — до выхода мартовской статьи или после, какого достатка были высланные. И чувствовалось: самый живой отклик вызывали не те ответы, где говорилась правда о самих высланных... а те, где была видна явная несправедливость — тут-то можно было значительно переглянуться и горестно вздохнуть, сочувствуя чужому горю».

В этом, казалось бы, проходном эпизоде судьба свела почти всех главных действующих лиц романа Николая Скромного «Перелом». Гуляевцам вскоре предстояло приступить к первому в их жизни очень трудному колхозному севу; «прибывшим» предстояло обживаться на новом, чужом месте, постоянно обременяя и одновременно поддерживая себя хрупкими надеждами на перемену к лучшему; председателю гуляевского колхоза Строкову очень скоро предстояло отправиться в дальнюю дорогу, что ведет в «казенный дом», о чем он сейчас, разумеется, и не подозревал; а с виду нахрапистому Похмельному, посчитавшему, что его тяжелая и неприятная миссия уже закончилась, и поэтому позволившему себе поправить коменданта *лениво,* через пару дней предстояло возглавить, после ареста Строкова, гуляевский колхоз и заодно оказаться центральной фигурой романа. Не лишне заметить, что вся эта многосложная рокировка происходила помимо воли и желания героев, словно миром стала управлять какая-то злая иррациональная сила. Остальные персонажи являют собою в романе не «соответствующий» фон, а живую, исторически достоверную среду, которая только и способна расшифровать правду далекого и трагического периода в жизни нашего народа.

Действие романа «Перелом» имеет точную историческую прописку: весна 1930 года. А мимоходом упомянутая «мартовская статья» — это знаменитая статья Сталина «Головокружение от успехов» («Правда», 1930, 2 марта), вызвавшая нетвердые надежды у одних и явное смятение у других. Потом эта статья будет перетолкована так, будто она упорядочила процесс коллективизации и, как говорится, все встало на свои места. На места все действительно встало, но вот только на свои ли? Во всяком случае, на долгие годы и даже десятилетия события, затронувшие жизненные интересы почти всего народа, стали в литературе темой если и не запретной, то и не очень-то желательной. И даже в период открытой критики культа личности Сталина, когда порой ставилась под сомнение вся его деятельность, процесс преобразования деревни в годы коллективизации старались обойти стороной. Многие из числа самых настойчивых критиков культа личности Сталина в этом вопросе продолжали цепляться за обломки сталинского идеологического багажа, каждый раз выдвигая нестареющий аргумент: «Если бы не коллективизация, то мы бы не выиграли войну».

И только усилиями таких писателей, как В. Белов, Ф. Абрамов, С. Залыгин, И. Акулов, М. Алексеев, Б. Можаев, К. Воробьев и некоторых других, «тема» эта, несмотря на активное сопротивление, находила свое дальнейшее развитие в нашей отечественной литературе. Роман молодого писателя Н. Скромного «Перелом» — лишнее подтверждение тому, что «деревенская проза» *вовсе не «устала»*, в чем нас недавно *пытались так настойчиво убедить* некоторые критики и литературоведы. О том же говорят и вышедшие в нынешнем году вторая книга романа Б. Можаева «Мужики и бабы» и окончание третьей части романа В. Белова «Кануны». Но более всего обнадеживает публикация в журнале «Север» романа Н. Скромного (между прочим, в свое время именно в этом журнале увидела свет и повесть В. Белова «Привычное дело», открывшая в нашей литературе новое направление — «деревенскую прозу»).

Николай Скромный родился почти через двадцать лет после описываемых им в романе событий, но судового электромеханика (а такова его нынешняя профессия) не прельстила романтика сурового Северного моря, его захватил, и надолго, суровый реализм отечественной истории, действующими лицами которой были отцы и деды людей его поколения. В тридцать восемь лет Н. Скромный дебютировал романом, позволяющим поставить его в ряд зрелых и серьезных современных прозаиков.

Трагедия, свидетелями которой сделал нас Н. Скромный, пострашнее той, что явлена в романах А. Рыбакова и В. Дудинцева, и если уж говорить объективно, то вряд ли романы последних можно считать какой-то новой литературой или каким-то свежим словом, ведь задумывались они, писались или начинали писаться еще в те годы, когда Н. Скромный ходил в школу. Его поколение формировалось в период резкой критики культа личности Сталина, но оно не было обременено ни старыми обидами, ни старыми предрассудками, ему-то, наверное, сейчас и дано сказать свежее слово о «сталинской эпохе». Нет, я вовсе не собираюсь молодыми писателями побивать старых писателей, каждый из них делал свое дело, каждый, по своему разумению, исполнял свой писательский долг. Но не следует замалчивать и молодых писателей. Почему же в нынешней ситуации, когда с такой настойчивостью выставляется на передний план правда о «сталинской эпохе», с не меньшей настойчивостью замалчивается талантливое произведе-

ние писателя, почему Д. Иванов, утверждая, что без правды о прошлом не напишется и правда о настоящем, даже не упомянул о романе Н. Скромного «Перелом»? Мимоходом сказано и о повести С. Антонова «Васька», в которой Москва первой половины тридцатых годов дана на том ее срезе, где чувствуется, как время разворошило ее привычный уклад.

«В тысяча девятьсот тридцать четвертом году на строительстве Московского метрополитена работало больше семидесяти пяти тысяч человек. Среди этих семидесяти пяти тысяч были и люди с высшим образованием, и вовсе без образования, коренные москвичи и приезжие, мобилизованные, завербованные, переброшенные, посланные по комсомольским путевкам, пришедшие по вольному найму и сезонники».

Вот этот пестрый люд и должен был построить лучшее в мире метро. В творчестве С. Антонова повесть «Васька» занимает особое место, но в то же время это призведение органично вытекает из всего того, что было создано писателем прежде. Изначально С. Антонова привлекала судьба так называемого «маленького человека», чему свидетельство его рассказы пятидесятых годов, когда ко всему «маленькому» почему-то относились с большим подозрением. Обвинение в «мелкотемье» многих пугало и уводило в сторону проблем, как бы заранее не предусматривающих судьбу отдельного человека. С. Антонов не изменил себе тогда, не изменил себе и сейчас: в центре его новой повести опять оказалась судьба «маленького человека», силою исторических вихрей вовлеченного в грандиозное дело — в строительство Московского метрополитена, когда автомобиль еще только начинал свою конкуренцию с лошадью.

И тут я опять вернусь к роману Н. Скромного. Как мы уже говорили, автор «Перелома» родился через два десятка лет после тех событий, что нашли свое отражение в его романе. Поэтому мы могли бы и предположить, что молодой писатель излишне драматизировал события далеких лет, не совсем точно расставил акценты. Но вот повесть «Васька», автор которой сам многое помнит и знает о том времени, как бы засвидетельствовала историческую достоверность романа «Перелом».

На первой же странице С. Антонов знакомит нас с главной героиней своей повести «Васька» — метростроевкой Маргаритой Чугуевой, а та сразу же «знакомит» нас со своей судьбой:

«Словно кино увидела Чугуева: кислое болото, щербатый лесок на дальней сопке, длинная шеренга кулаков да подкулачников, кашель по всей цепочке. А он — активист с острым

лицом горбуна, хотя и не горбун, — неловко, медленно переписывает прибывших.

Чугуева маялась в самом конце строя. Ноги погрузли в болото по косточку. Активист вызвал ее, приказал отгонять гнус. Он ходил от одного к другому, переписывал левой рукой данные — с какого года, фамилия, откуда выслан, — а она опахивала его осиновой веткой, ровно турецкого султана. На другой день отца выкликали, а ее нет. Может, потому и позабыли, что вышла из шеренги.

Минула неделя. И решила она с отцова благословения бежать.

Пошла она таежной тропой незнамо куда. Зверя не боялась. Шла не таясь. Случалось, голодовала так, что сама бы себя поймала за горстку горохового ритатуя...»

Потом мы узнаем, как ее сдадут властям, как повезут в санях и по дороге, подумав, что она уже отдала богу душу, выбросят в снег.

«Чудом дошла до Омска, чудом нанялась в прислуги к заместителю председателя облисполкома. Примерно через год пересек ее путь разбитной вербовщик и записал на строительство метро в порядке организованного набора. Вербованных набилась полная теплушка, все почти такие же, как она. Пока ехали, многие разбежались. А ей было все равно. Как повалилась на нары, так и дотряслась до Москвы».

Кто же она, Маргарита Чугуева, — преступница, полонянка? Нет, она — лишенка, а это пострашнее, чем быть просто преступницей или полонянкой. У полонянки где-то есть родина, где ее любят и ждут. У преступницы есть срок, который надо перетерпеть — а там и воля, дом, нормальная жизнь... У лишенки же нет ничего: ни дома, где ее ждут, ни срока, который имеет свой конец. Правда, лично Маргарите Чугуевой повезло, она случайно вырвалась на волю, только воля эта ей казалась непрочной и ненастоящей. «С недоброй завистью поглядывала она на визгучих девчат, заигрывающих с ломовиками. Господи! Взял бы какой-нибудь гужбан, увез бы в деревню. Сменила бы фамилию, зажила чистой жизнью».

Но зависть у нее была мимолетной. «Работящая девчонка полюбилась всем — и бригаде, и многоликому начальству. А когда провели в ударницы, услышала она тонкий голосок:

Ой, лазоревые плесы, золотые берега...

Оглянулась — рядом нет никого. Поняла, что ее уста сами поют, законфузилась, а до конца допела».

О ней даже напишут в газете и портрет поместят. И вдруг — письмо от отца:

«С большим приветом к вам, Маргарита Федотовна! Земляк ваш Клим Степаныч! Прослышали мы про вас много прекрасного, желаем вам счастья в личной жизни и труде. Живем — лучше не может быть, копаем котлован для тяжелой промышленности. Кормят по норме. Одно плохо — чеснока нет, кто его знает почему. Егор Павлович к старшему брату переехал на постоянное жительство, да и старик собирается. Коли можете достать чеснока, достаньте, сколь можете, принесите пятого июля к томскому поезду, вагон три, проводница Сима. Очень просим вас прислать чеснок, хоть маленько. Сима доставит куда надо. С приветом к вам остаюсь земляк ваш...»

Чугуева прочла один раз, второй, а понять ничего не могла. Рука вроде отцова, и конверт отцом клеен, а писано земляком, которого и не высылали вовсе... Чугуева, склонившись над остывшей котлетой (по воле судьбы письмо она читала в ресторане «Метрополь». — *А.Л.*), читала и читала тетрадный листочек, перечитывала и перечитывала. И постепенно светать стало между строчками.

Сперва она поняла, что Егор Павлович — младший сын высланного Орехова — гармонист Егорка. Потом догадалась, что означало «поехал к старшему брату на постоянное жительство». Помер Егорка. Выходит, встретились деревенские соседи Ореховы и ее отец в сибирском котловане, в вечной мерзлоте. Видно, и отец занедужил. Цинга его скрутила. Не зря человек просит. Хоть и хвор отец, а разума не потерял. Пишет не от своего имени, боится, чтобы как-нибудь не повредить дочке. Ему ведь неизвестно, как она его в анкетах обозначила, живым или покойником. Еще поняла Чугуева, что хвалебный очерк о ней он прочитал: конверт скроен из той самой газеты, где напечатаны портрет и Гошино сочинение под названием «Васька». Только страница другая. Умен отец и на разум дочки надеется. Одно непонятно: зачем он за Клима Степаныча укрылся? Клим Степаныч — ярый раскулачник; неужто и его в порядке социальной профилактики? Чудеса!»

Прочитав письмо от отца, Маргарита рассказала своим знакомым и товарищам, что сидели с ней за столом, что она беглая лишенка... И только один Митя Платонов, бригадир и

комсорг, бросился спасать Маргариту. Тата (Митина невеста) говорит молодому писателю Гоше Успенскому: «Я поставила ультиматум: если он (то есть Митя. — *А. Л.*) будет скрывать прошлое Чугуевой, я буду сигнализировать». Гоша приходит в отчаяние: ведь он написал пьесу и повесть о Чугуевой! Митя ни у кого не находит поддержки. Потом было торжественное открытие Московского метрополитена. На собрании в Колонном зале выступал Сталин, и Митя, как и Саша Панкратов на Красной площади, вместе во всеми неистово кричал: «Сталин!»

«Поздно ночью Митя переписал письмо о Чугуевой на свежую бумагу и вложил в конверт. Сперва он хотел написать: «Великому, любимому вождю всех народов...» — но, подумав, написал просто: «Кремль, товарищу Сталину». Получилось слишком коротко, Митя покумекал немного и прибавил: «Иосифу Виссарионовичу».

Рано утром, перед утренней сменой, письмо было опущено в обыкновенный почтовый ящик».

Этой фразой и заканчивается повесть «Васька». Мы не знаем, к кому попадет это письмо, как на него отреагируют, но в конце концов, не в том суть. Писатель ввел нас в атмосферу тридцатых годов, высветил судьбу отдельных людей, тех самых «маленьких людей», о которых писал еще в пятидесятые годы, причем и тогда он писал о них правду.

Конечно, сейчас о двадцатых или тридцатых годах можно сказать больше, нежели тридцать или сорок лет назад. Вероятно, о нашем сегодняшнем дне лет через тридцать или сорок тоже скажут больше, чем мы говорим сейчас, но это вовсе не означает, будто сейчас о нашем времени не говорится правды.

Еще меньше правды в том, что о прошлом правда сказана только теперь, а прежде ее или не видели, или, что еще хуже, отворачивали от нее глаза и беззастенчиво лгали. Конечно, и лгали, но не все. Зачем же нам приносить в жертву весьма сомнительной концепции, фактически оправдывающей всех тех, кто до нынешней эпохи гласности действительно играл с жизнью в жмурки, многие писательские судьбы?

Я сейчас не стану касаться произведений Андрея Платонова, опубликованных в последнее время, — это разговор особый, так как мы прочитали далеко еще не все, что было написано этим замечательным писателем в тридцатые и сороковые годы.

Приведу другой пример. Повесть В. Астафьева «Кражу» анонсировал в свое время «Новый мир», однако по каким-то

соображениям или причинам публиковать ее не стал. Увидела она свет на страницах другого журнала — «Сибирские огни» в 1966 году, затем неоднократно включалась автором в различные издания. В этой повести В. Астафьев поведал нам о горькой судьбе детдомовцев середины тридцатых годов, а ретроспективно захватил и более раннее время.

В конце 1934 года рыбаковский Всеволод Сергеевич пророчествовал приближение черных времен. А вот что происходило раньше, в самом начале 1930 года:

«Зимой тридцатого года из села увезли куда-то Светозара Семеновича Мазова — Толиного отца. Толя, конечно, не знал, за что взяли отца. Сказали: подкулачник, и увезли. Он был главной опорой большой и безалаберной семьи. Дед Толи, Семен, по пьянке давший старшему сыну звучное, городское, как ему казалось, имя, погиб в Гражданскую войну, прадеду Мазову уже подкатывало к сотне лет, а больше мужиков в семье не было — сплошное бабье, ребятишки».

Итак, не было никакого следствия, не было никакого суда: достаточно назвать человека «подкулачником», как он автоматически лишался права на защиту со стороны закона, его можно тут же шлепнуть и без всяких хлопот списать, не уведомив даже о том родных или родственников. Словно в войну — «пропал без вести».

«В городе семью Мазовых погрузили на пароход и повезли вниз по реке. Пароход тянул за собою пузатую баржу. И пароход и баржа были набиты переселенцами, их везли в Заполярье, на какую-то стройку.

Мазовы ютились на палубе меж толстых узлов, спали, заворачиваясь в половики, деревенское барахлишко; ребятишки залезали на ночь в кадки из-под капусты.

Пароход отапливали дровами. Шел он сутки, а двое брал дрова. Тогда семьями ходили по ягоды, по грибы и кедровые орехи. В пути с парохода и баржи утерялись несколько ребятишек и глухая старуха. С дровами было много беспокойств, но и удобства были тоже. Люди делали в поленницах пещеры, загораживали вход дерюжинами, получались каюты, хотя и временные, но все же отдельные».

Да, не сравнить судьбу Саши Панкратова и судьбу Светозара Мазова, не сравнить и судьбы их близких. Софья Александровна, Сашина мать, по-прежнему жила в Москве, на Арбате, да еще при страшном жилищном кризисе отстояла Сашину комнату, по-прежнему работала, имела переписку с сыном. А семья Светозара Мазова? Жена не перенесла всех

мук и страданий — умерла, остальных, в том числе малолетнего сына и почти столетнего деда, погрузили на баржу и отправили в Заполярье.

Что ж, посмотрим на дальнейшую их «одиссею»:

«В глубине лязгали каменные плиты, несомые течением. Кругом все шевелилось, корчилось, хлестало, вертелось, кипело. Лишь черные скалы с рыжими отливами висели по обеим сторонам неподвижно и голо. Ни деревца кругом, ни птички, даже куликов и плишек нет (это уже началось Заполярье. — *А. Л.*). Грохот, рев, лязг, как на железоделательном заводе, который любому мужику в первый раз кажется преисподней.

И когда судно качнуло и поволокло в эту преисподнюю, пароход и баржа ответили порогу ревом:

— Топи-и-и-ить буду-ут! Топи-и-и-ить — припла-вили-и-и!

Кто-то прыгнул с баржи и пропал в бурлящей воде, в камнях. Кто-то начал сбрасывать узлы. Поднялась давка.

Вдруг раздался ссекающий голос старика Мазова, Толиного прадеда:

— Стой! В стоса вас и в спаса! Стой! Совецка власть не дура, чтобы из-за такова г... дорогу́ посудину губить!..

Остановились. Мазова знали. Грозный дед был когда-то. Да и поныне еще сила. Рявкнул так, что рев порога перекрыл, и паника униматься стала.

Промелькнули пороги. За «находчивость» капитан переселил Мазова и всю его ораву с палубы в трюм — там не дуло».

То было самое начало 1930 года. И сколько уже нужно было перенести людям, чтобы вот так разом поверить в то, что их могут начать всех без разбору топить! Кто-то даже бросился в бурлящую воду и погиб, кто-то начал сбрасывать в реку узлы. Но красноречивее всего — аргумент старого и мудрого Мазова: «Совецка власть не дура, чтобы из-за такова г... дорогу́ посудину губить!..»

Все на свете имеет свое начало и все имеет свой конец, кончился и «круиз» несчастных переселенцев по родной и необъятной стране.

«Переселенцев встречал комендант города Краесветска (одно название чего стоит! — *А. Л.*) Ступинский со своими работниками. Он громко, на всю пристань ругался:

— Кого привезли?! Строиться надо, вкапываться, а тут старье, бабы, ребятишки... — и, заметив Мазова, смолк было, задивился и прибавил: — Да таких вот еще! Фамилия?

— Мазов.

— Неужто Яков Маркович?

Мазов шевельнул бровями, заходили морщины на его лице, всматриваться стал, напрягать память.

— Тебя и не узнать, Яков Маркович!

— Старюсь.

— Меня не помнишь?

— Не помню.

— В Гражданскую ночевал у вас с отрядом...»

Но конец пути не оказался концом мучений, он оказался началом конца. «Среди болот складывали люди времянки-печки, забирали сверху тесовым козырьком, с боков тоже...»

Коротки в Заполярье весна и лето, быстро подкралась осень. «Взвыли люди, и вольные и переселенцы, сердцем чувствуя, что остаются они надолго и ждут их большие горести и беды... Зимой прошла по городу чужая, неслыханная болезнь — цинга. Быстро переводилась семья Мазовых...» Вскоре они остались вдвоем: Мазов-прадед и Мазов-правнук.

«Приладил кавказец Ибрагимка старика Мазова подменным истопником в комендатурскую столовую. Старик пошел на эту работу, как выяснилось потом, из-за Толика. Он незаметно стягивал из кухни картофелину-две, предназначавшиеся для цинготников, запихивал картофелину в штаны и таил до темноты. Ночью скоблил овощ ножом, как репку. Грязную жижицу насильно запихивал ногтистым пальцем Толику в рот. Иной раз луковицу приносил, приказывал Толику сосать ее, как конфетку. Лук был примороженный, сладкий. Сам Мазов этот редкостный овощ не ел. На себя он, видно, рукой махнул».

В страшных мучениях умирал старый Яков Маркович, подавив возмущенным криком последний свой вздох.

«Поежился Толик, отошел к сушилке, в мерцающую тень, и прислонился спиной к стене. Мальчишка еще не понимал смерти и не боялся мертвых. Да и привык он к ним в сушилке, как привык к снегу, к пурге, ко всему, что каждодневно было вокруг него».

Грозный комендант Краесветска каждую ночь обходил бараки, увидев мертвого Якова Марковича, произнес: «Да-а, целая эпоха ушла с этим матерым дедом!» — и увел с собой Толика, крикнув старосте: «Вычеркните его из списков!» И трудно было понять, кого следовало вычеркнуть из списка: умершего Якова Марковича или Толика, которого Ступинский забрал с собой. Староста-то, конечно, понял: для него вычеркивать из списков было делом привычным, обыденным.

Военному, который сопровождал его, Ступинский приказал: «Схороните как следует».

Скупо, но емко написан последний абзац этой главы: «Ступинский нагнал мальчика, стряхнул с его шапки и со спины снег, положил ему руку на плечо и шел сзади, уже не отпуская мальчика от себя далеко; и если бы кто-то увидел их, то принял бы мальчишку за поводыря, который вел за собой слепого человека».

Да, Яков Маркович — это целая эпоха: землю он начал пахать еще при крепостном праве, пережил четырех царей, три революции, на его памяти лежали Крымская война (может, тогда он рвался в ополчение, чтобы заслужить «вольную»), русско-японская, Первая мировая, Гражданская, во время которой погиб его сын, а он, старый, рискуя собственной жизнью, укрывал красных, укрывал он у себя и отряд Ступинского... И вот финал. От всего мазовского корня остался только вот этот мальчишка, беззащитный и бесприютный, который сейчас шел, как поводырь, а Ступинский — как слепой, ему хотелось бы ослепнуть глазами, сердцем, памятью, чтобы ничего не видеть, не чувствовать и не помнить...

Но «ослепнуть» Ступинскому не удалось: сначала он приютил Толю Мазова у себя, потом определил в детприемник, быстро разросшийся в детдом. Ступинский уделял много внимания и детдому, и детям, но что он мог им дать, прошедшим через настоящие круги ада: через погром деревни, через страшный голод, унижения, побои, одиночество и даже озверение?

Вот коллективный портрет этого детского контингента: «Здесь уже не было Сашей, Борек, Мишек, Толек, Зинок. Было осатанелое лицо маленького человека, пережившего когда-то страшное потрясение, сделавшее его сиротой. Это потрясение осело в глубину, но не умерло и никогда не умрет. На самом дне души сироты, как затонувший корабль, всю жизнь лежит оно. И не важно, кто и почему тронет душу эту, отяжеленную вечной ношей».

А вот один из индивидуальных портретов: «...мечется по столовке на костыле Паралитик, человек без имени, без фамилии. Он не знает, когда и где умерли родители. Не помнит. Его избили за украденную краюшку хлеба так, что отнялись у парнишки левая нога и левая рука. Осталось полчеловека. Злобы на пятерых».

Я все-таки надеюсь, что ни Лев Аннинский, ни Дмитрий Иванов не станут обвинять В. Астафьева в клевете на тогдаш-

нюю действительность и признаются, что гражданская *правда* В. Астафьева ничуть не слаще *правды* А. Рыбакова или В. Дудинцева, хотя и сказана она была еще два десятилетия назад, а не в нынешнюю эпоху разрешенной гласности.

Теперь давайте слегка пофантазируем. Переместим астафьевского Ступинского сначала в Москву, а затем в деревню Мозгову, дав ему должность, позволяющую видеть Сашу Панкратова во все дни его неволи.

Арест. Одиночка. Допросы. Приговор. Срок — три года ссылки. Разумеется, Саша Панкратов не должен был доказывать, что он не «враг народа», это должен был доказать обвинитель, однако в революционные времена категория «презумпции» обычно получает свою интерпретацию, отличную от классической. Возьмите, к примеру, Великую французскую революцию 1789 года с ее гильотиной — этим первым орудием массового уничтожения людей, пусть пока очень примитивным, но пройдет время — и прогресс возьмет свое.

В порыве гнева Сашина мать, Софья Александровна, бросит брату, члену ЦК, крупному советскому промышленнику:

«— Да! Если бы царь судил вас по *вашим* законам, то он продержался бы еще тысячу лет...

Он ударил кулаком по столу.

— Что ты мелешь?! Дура! Где ты этого набралась? Прекрати сейчас же! Как ты смеешь так говорить? При мне! Да, у нас диктатура, а диктатура — это насилие. Но насилие большинства над меньшинством...»

Саша Панкратов волею судеб попал в меньшинство, не знаю, как будут развиваться события дальше, но вполне возможно, что и сам Марк Александрович, который сейчас говорит от имени большинства, опять-таки по воле судьбы попадет в меньшинство — тогда его постигнет участь племянника. Сейчас Марк Александрович, поскольку он в рядах большинства, защищает диктатуру и ее насилие, что вполне логично, его это устраивает, нас — нет, поэтому мы оставим его вместе с его логикой и проследуем за Сашей Панкратовым, взяв в арбитры астафьевского Ступинского.

«Старая дорога на Ангару, протоптанная в тайге первыми поселенцами, начинается в Тайшете. Новая в Канске: здесь кончается железнодорожный этап и начинается пеший...

Почта — домик с крылечком, тут же сберкасса. Девушки в домашних платьях, с пальцами, измазанными клеем и чернилами, знают Соловейчика (это новый товарищ Саши по эта-

пу. — *А.Л.*): симпатичный, общительный москвич получает письма до востребования.

«Здоров пиши Канский округ село Богучаны востребования целую Саша», — первая телеграмма маме...

Саша вынул из чемодана банку шпрот — все, что осталось от маминой передачи. Борис (Соловейчик. — *А.Л.)* откупорил бутылку водки. У него были свои рюмки, даже салфетки, он и здесь хотел жить по-человечески. Все было, как в обыкновенной жизни...

Обедали в столовой «Заготпушнины»...

— Это закрытая столовая, — объяснил Борис, — для сотрудников. Но на посторонних смотрят сквозь пальцы — нужна кассовая наличность...

Утром Борис ушел договариваться с возчиком. Саша сел писать письма.

...«"Дорогая мама!"

Приговор ему объявили в той же комнате, где раньше допрашивали. Какой-то чин прочитал постановление Особого совещания. Статья пятьдесят восемь пункт десять, административная ссылка в Восточную Сибирь на три года с зачетом предварительного заключения...»

Да, «путешествие» Саши Панкратова несколько отличается от «путешествия» семьи Мазовых и их многочисленных попутчиков. Посмотрим, что ждало нашего героя в дальнейшем.

«Местом ссылки Саше определили деревню Мозгову, в двенадцати километрах от Кежмы вверх по Ангаре.

Квартира попалась хорошая. Большой достаточный дом, хозяйка — вдова, два взрослых сына и сожитель хозяйки...

Эту ночь Саша помнил смутно. Лариска и Маруся пили мало, а он, чтобы не отстать от Феди, выпил полстакана спирта, обожгло горло, запил водой, закусил вяленой рыбой, а дальше помнит свой кураж, похвалялся, как умеют пить в Москве...

Утром он слышал, как хозяева собираются на работу, притворился спящим и действительно уснул, а когда проснулся, в доме никого не было».

Автор постоянно то своими устами, то устами героев напоминает читателю, что Саша был необыкновенно красив, поэтому и здесь любовная карьера сложилась у него просто и, главное, необременительно. В деревне жила молодая красивая учительница-татарка...

«Их отношения по-прежнему оставались тайными, открытым сделалось только знакомство. Он и вел себя, как зна-

комый: заглядывал днем, иногда со Всеволодом Сергеевичем, сидел вечером. Но когда оставался ночевать, то, как и раньше, уходил на рассвете, шел задами, возвращался домой с другого конца деревни.

Зина чувствовала его отчуждение, его охлаждение, как-то сказала:

— Не думай, что я хочу тебя женить на себе. У тебя, наверно, кто-то есть в Москве, а я так, от скуки. И все равно я рада своему счастью.

Он ласково погладил ее по щеке, но возражать не стал: в сущности, так оно и есть, хорошо, что она это понимает...

Саша вышел из дома еще затемно и рано утром был на том месте, где он вчера расстался с Борисом (Борис совершил побег, и Саша снабдил его продуктами. — *А. Л.*). Вот и дерево, под которым он лежал...

Неделю бродил Саша по лесу, но Соловейчик не появлялся...»

Был совершен побег, естественно, начались поиски, а вот Саша целую неделю бродит по лесу...

«Да, — наверное, сказал бы много к тому времени повидавший комендант Краесветска Ступинский, — курорт, да и только!»

Разумеется, у нас представление о курорте несколько иное, чем то, которое могло сложиться у Ступинского после придуманной нами его поездки по маршруту Сашиных скитаний и некоторых сопоставлений. Хотя мы тоже выезжаем на курорты не всегда тогда, когда того хотим, и не всегда туда, куда хотим, а иногда действительность расходится или не совпадает с нашими желаниями — и мы вообще никуда не выезжаем. Но это так — издержки в работе профсоюзов. Теперь отпустим, как говорилось встарь, Ступинского с богом, вернемся к героям А. Рыбакова и подумаем о них самостоятельно.

Нет, самостоятельно никак не получается, так и тянет на диалог. Д. Иванов в начале своей статьи «Что позади?» делает такую оговорку: «Но ведь одновременно, даже еще раньше, куда-то ссылали раскулаченных с Дона, из Гремячего Лога у Шолохова в «Поднятой целине» — помните? И у Залыгина в повести «На Иртыше» сибиряка Степана Чаузова тоже ссылают куда-то «за болото».

Вот тут бы в самый раз Д. Иванову вспомнить астафьевскую «Кражу» и поговорить с читателем о романе Н. Скромного «Перелом», вышедшем в конце прошлого года, однако из этих произведений видно, что «за болото» ссылали и на че-

тыре года раньше, чем был сослан Саша Панкратов, а не только «одновременно». Но это противоречило бы концепции Д. Иванова о том, что правду о прошлом сказали только сейчас, и опровергало бы «пророчество» Владислава Сергеевича о грядущих черных временах, ибо в произведениях В. Астафьева и Н. Скромного убедительно показано, что черные времена начались еще в конце двадцатых годов, узелок массовых репрессий и тотального беззакония завязался именно тогда, а вовсе не в начале тридцатых и не после убийства Кирова.

Д. Иванов при беспрестанном употреблении слова «правда» делает вид, будто этих произведений («Кражи» и «Перелома») нет и не было в природе: конечно, раскулаченных и всякого рода подкулачников, дескать, ссылали куда-то «за болото», но в конце концов не так уж и существенно, по какую сторону «болота» им жить, *не с Арбата же высылали.* Это уже позиция, и весьма принципиальная, причем довольно распространенная. Так, к примеру, в статье В. Кардина «На войне, как на войне» («Знамя», 1987, № 8) мы читаем: «Перехлесты, «перегибы» конца двадцатых годов, репрессии конца тридцатых, выселение целых народов в пору войны и после нее...»

Вдумаемся в эти строки. «Выселение целых народов в пору войны и после нее» названо своим именем — выселением, «репрессии конца тридцатых» тоже названы своим именем — репрессиями, а вот погромы в деревне, массовые репрессии и выселение народа в конце двадцатых названы очень осторожно — перехлестами и «перегибами», тут почему-то даже выдержана сталинская терминология. А ведь численность всех выселенных и репрессированных во время войны и после нее народов вряд ли достигает численности выселенных и репрессированных из основных зерновых районов страны в конце двадцатых — начале тридцатых годов.

А что думал по этому поводу Саша Панкратов, о котором, как мне кажется, без каких бы то ни было оснований, Д. Иванов писал: «На одном полюсе романа — народ в лице Панкратова и многих его друзей и знакомцев, на другом оказывается вождь, который мерит народную судьбу «миллионами», и взращенный им «особенный аппарат власти». Прямо-таки бери и меняй Сталина на Панкратова.

Но мы, кажется, опять отвлеклись. Что же все-таки думал Саша Панкратов, говоря языком В. Кардина, о перехлестах и «перегибах», предшествовавших его аресту и ссылке? Саша был не тем занят, двадцатидвухлетний студент транспортно-

го института, член ВКП(б) в основном думал о себе, а в ссылке общался с «интеллигентами», избранными считал людей с Арбата, а любил лишь товарища Сталина.

«Гул нарастал. Сталин! Сталин! Саша, как и все (в иных случаях он предпочитал со всеми не смешиваться. — *А. Л.*), шел, не отрывая глаз, и тоже кричал: «Сталин! Сталин!» Пройдя мимо трибун, люди продолжали оглядываться, но красноармейцы торопили их — не задерживаться! Шире шаг! Шире шаг!»

И совершенно справедливо писал Д. Иванов, что «не Саша противник Сталина, а Сталин противник Саши». Сталин, конечно, не знал никакого Саши Панкратова и даже не подозревал о его существовании, но объективно получается так: верный, преданный ему молодой человек оказался вдруг отторгнутым от всех тех, кто еще совсем недавно вместе с ним в исступлении кричал: «Сталин! Сталин!»

А знал ли партиец Саша Панкратов о страшном голоде в начале тридцатых, о погромах в деревнях и массовых выселениях крестьян? Разумеется, знал, хотя, наверное, и не представлял себе общих масштабов «перелома», а если даже и представил бы, то вряд ли усомнился в правильности сталинской «аграрной» политики на данном этапе.

В конце романа в Мозгове появляется новая героиня — некая Лидия Григорьевна Звягуро, «как говорили, член партии чуть ли не с тысяча девятьсот пятого года», с шестилетним мальчиком Тарасиком. Все знающий Всеволод Сергеевич сообщает Саше:

«— Он сын умерших тут спецпереселенцев, или, официально, кулаков.

Саша удивился:

— Взять здесь на воспитание ребенка? Мужественный поступок.

Всеволод Сергеевич качнул головой.

— Или попытка обрести цель в жизни, ухватиться хоть за что-то.

— Чем бы ни был продиктован ее поступок, — сказал Саша, — он благороден и человечен. В меня лично он вселяет надежду: даже в этих диких условиях утверждаются высшие человеческие ценности. Сострадание — одно из них.

— Я думаю о метаморфозах нашей действительности, — сказал, в свою очередь, Всеволод Сергеевич, — не исключено, что в свое время Лидия Григорьевна раскулачила родителей Тарасика и выселила их в Сибирь. А теперь сама в Сибири и

воспитывает их сына, терпит из-за этого муки и лишения. Не подкрепляет ли этот факт тезис об искуплении?

— Я плохо знаю христианское вероучение,— ответил Саша,— но Лидией Григорьевной, думаю, двигало то, что выше всех религий и идей,— способность жертвовать собой ради других...»

Интересно, а что двигало Лидией Григорьевной, когда она раскулачивала родителей Тарасика и выселяла их в Сибирь вместе с малолетним ребенком? Тоже способность жертвовать собой ради других и сострадание? Если информация Всеволода Сергеевича о Лидии Григорьевне верна, то она, скорее всего, была из тех «левых» перегибщиков, которые вскоре отправились вслед за своими жертвами лечить болезнь, названную Сталиным «головокружением от успехов». Что ею двигало? Чужая душа — потемки.

Но вот диалог Всеволода Сергеевича и Саши Панкратова не представляет собою диалога страстей, взглядов и нравственных точек зрения, это всего лишь отвлеченный разговор на отвлеченную для них тему. Пожалуй, пора и нам несколько отвлечься от них и от их забот.

Лев Аннинский трезво сказал, что Сталин сконцентрировал в себе много «хорошего и плохого из *ситуации*». На самом деле, не мог же Сталин творить только зло и приносить один вред, был же он хоть в чем-то прав? Может быть, так называемый «правый» уклон в партии, о котором почему-то совершенно умалчивается в романе А. Рыбакова, тормозил искусственно коллективизацию, а широкие слои крестьянства саботировали ее, что создавало реальную угрозу социализму и безопасности страны? А может быть, никакого «правого» уклона не было вообще, поскольку в таком сугубо политическом романе о нем никто не поминает?

А был ли правый уклон?

С так называемым «правым» уклоном у нас связываются мероприятия и события, имевшие для нашей страны судьбоносный характер, и в свое время Сталин справедливо приравнивал коллективизацию к Октябрьской революции. Как известно, Россия еще во второй половине XIX века встала на путь активного капиталистического развития. Конечно, сейчас можно лишь гадать, какой стала бы Россия к тридцатым годам, останься она страной капиталистической, с уверенно-

стью можно сказать лишь одно: поскольку развитие капитализма остановить было уже невозможно, то страна наверняка к тридцатым годам намного превзошла бы собственные экономические показатели 1913 года — тут достаточно взять хотя бы темпы развития за предшествующие Первой мировой войне три последние десятилетия. Поэтому курс на индустриализацию, провозглашенный на XIV съезде ВКП(б), был естественным, т. е. диктовался общим ходом развития страны на данном историческом этапе.

Другое дело коллективизация, т. е. кооперирование единоличных хозяйств не только на уровне торговли, но и на уровне обработки земли, она стала возможна лишь благодаря Октябрьской революции, Гражданской войне и нэпу. В статье «О кооперации» Ленин писал: «Нэп в этом отношении представляет из себя в том отношении прогресс, что он приноравливается к уровню самого обыкновенного крестьянина, что он не требует от него ничего высшего». Анализируя политическую и экономическую ситуацию, Ленин приходит к следующему выводу: «Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас тождественен... с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм».

В конце своей статьи Ленин выдвигает следующие задачи:

«Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху. Это — задача переделки нашего аппарата, который ровно никуда не годится и который перенят нами целиком от прежней эпохи; переделать тут серьезно мы ничего за пять лет борьбы не успели и не могли успеть. Вторая наша задача состоит в культурной работе для крестьянства. А эта культурная работа в крестьянстве, как экономическая цель, преследует именно кооперирование. При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве. Но это условие полного кооперирования включает в себя такую культурность крестьянства (именно крестьянства, как громадной массы), что это полное кооперирование невозможно без целой культурной революции».

Сейчас распространено мнение, будто Сталин вопреки указаниям Ленина форсировал коллективизацию и тем самым исказил ленинскую программу социализации деревни. Но это не совсем так. Действительно, Ленин говорил о «целой исторической эпохе», однако он тут же определил и примерные временные рамки ее. «Мы можем, — писал Ленин, —

пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия. Но все-таки *это будет особая историческая эпоха...»* (выделено мной. — *А. Л.*).

Как видим, Ленин исчислял такую эпоху одним-двумя десятилетиями, так что у нас есть все основания при стремлении остаться на позиции объективности отводить на эпоху коллективизации как *два* десятилетия, так *и одно.* Поэтому, если в 1933 году, т. е. через одиннадцать лет после написания Лениным статьи «О кооперации», процент коллективизации крестьянских хозяйств достиг 65 процентов, а посевная площадь под зерновыми колхозов и совхозов равнялась 84,5 процента, то темпы коллективизации можно признать не противоречащими ленинскому исчислению сроков социализации деревни. Однако за цифрами можно спрятать все, в том числе и живую жизнь в ее исторической достоверности. Поэтому попробуем расшифровать эти цифры, переведя их на язык достоверных исторических фактов.

«Задача партии, — говорил Сталин на XV съезде, — расширять охват крестьянства кооперацией и государственными органами по линии сбыта и снабжения и поставить очередной практической задачей нашего строительства в деревне **постепенный** перевод распыленных крестьянских хозяйств на рельсы объединенных, крупных хозяйств, на общественную, коллективную обработку земли на основе интенсификации и машинизации земледелия в расчете, что такой путь развития является важнейшим средством ускорения темпов развития сельского хозяйства и преодоления капиталистических элементов в деревне» (выделено мной. — *А. Л.*).

Задачи были поставлены серьезные. А с какой отметки нужно было начинать? Почти с нулевой. В этом же разделе говорилось: «Что же касается охвата сельского хозяйства, так сказать, **изнутри,** по линии сельскохозяйственного производства, то в этой области сделано у нас страшно мало. Достаточно сказать, что колхозы и совхозы дают в настоящее время всего 2 процента с лишним всей сельскохозяйственной продукции...»

Что такое два процента? По сути дела, ничто. Погодные условия даже в нормальные годы могут колебать общую урожайность в ту или другую сторону на эти самые два процента. XV съезд ВКП(б) проходил в декабре 1927 года, а статья «О кооперации» была написана Лениным в январе 1923 года. Какое уж тут форсирование? Мы, скорее, вправе сказать, что

до XV съезда ленинская идея социализации деревни на протяжении пяти лет в практической жизни игнорировалась.

На XV съезде партии Сталин одержал безоговорочную победу над своими главными противниками: Троцкий, Зиновьев, Каменев превратились, по сути дела, в политические трупы. Казалось, теперь в руководстве партии достигнуто долгожданное единство, которое позволит все усилия направить на созидательную работу в городе и деревне: курс на индустриализацию был взят еще на XIV партийном съезде, а теперь, на XV съезде, был взят курс на коллективизацию.

Хотя XV съезд нацеливал партию и страну на коллективизацию, раздел «Темп развития нашего сельского хозяйства» в отчетном докладе уместился на шести (из ста) страницах печатного текста, причем одну из них занимали выдержки из писем благодарных колхозников. Понять, как и какими темпами должна проводиться коллективизация, слушая или читая доклад Сталина, было невозможно, однако тогда это обстоятельство никого не смутило, так как в предсъездовский период Сталин во многих своих выступлениях довольно подробно и определенно высказался на этот счет. Большинство членов партии поддерживало сталинскую платформу коллективизации сельского хозяйства, что во многом и предопределило исход борьбы Сталина с его главными политическими оппонентами.

Вот теперь мы и попробуем, опираясь на предсъездовские выступления Сталина, реставрировать его платформу коллективизации сельского хозяйства, которая была поддержана большинством делегатов XV съезда.

Последние четыре предсъездовских месяца прошли в острой и непримиримой борьбе Сталина с оппозицией, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и Каменевым. 29 июля — 9 августа 1927 года состоялся Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). Сталин выступал трижды — 1, 5 и 9 августа. Громя оппозицию по всем линиям внутренней, внешней и партийной политики, он пока воздерживался от каких-либо оргпредложений. 21—23 октября состоялся аналогичный пленум, в заключительный день его работы Сталин выступил с большой речью «Троцкистская оппозиция прежде и теперь», в которой, в частности, сказал:

«На прошлом пленуме ЦК и ЦКК в августе этого года меня ругали некоторые члены пленума за мягкость в отношении Троцкого и Зиновьева, за то, что я отговаривал пленум от немедленного исключения Троцкого и Зиновьева из ЦК. *(Голо-*

са с мест: «Правильно, и теперь ругаем».) Возможно, что я тогда передобрил и допустил ошибку, предлагая более умеренную линию в отношении Троцкого и Зиновьева. (Голоса: «Правильно!» *Тов. Петровский: «Правильно,* всегда будем ругать за гнилую «веревочку»!»)

Закончил этот раздел речи Сталин так:

«Теперь надо стоять нам в первых рядах тех товарищей, которые требуют исключения Троцкого и Зиновьев*а из ЦК. (Бурные аплодисменты. Голоса:* «Правильно! Правильно!» *Голос с места:* «Троцкого надо исключить из партии».) Это пусть решает съезд.

Исключая из ЦК Троцкого и Зиновьева, мы должны представить на усмотрение XV съезда все те материалы о раскольнической работе оппозиции, которые у нас накопились и на основании которых съезд будет иметь возможность принять соответствующее решение».

В следующем разделе, «От ленинизма к троцкизму», Сталин наносит главный удар по Троцкому. «Было время, — говорит он, — когда Каменев и Зиновьев защищали ленинизм от покушений Троцкого. Тогда Троцкий не был так смел. Это была одна установка. Но потом Зиновьев и Каменев, испугавшись новых трудностей, перекинулись на сторону Троцкого, создали вместе с Троцким нечто вроде ухудшенного Августовского блока и попали, таким образом, в плен к троцкизму».

В этой борьбе Сталина активно поддерживали Бухарин и Рыков. Говоря далее, Сталин заметит: «Оппозиция думает «объяснить» свое поражение личным моментом, грубостью Сталина, неуступчивостью Бухарина и Рыкова и т. д. Слишком дешевое объяснение!» А еще раньше, 9 сентября 1927 года, в состоявшейся беседе с американской рабочей делегацией на вопрос: «Можете ли Вы вкратце сообщить нам основные расхождения между Вами и Троцким?» — Сталин ответит: «Речь идет, очевидно, о разногласиях в партии. Я так понял этот вопрос. Да, эти разногласия существуют в партии. О характере этих разногласий довольно подробно рассказали недавно в своих докладах Рыков — в Москве, Бухарин — в Ленинграде. Эти доклады опубликованы. К тому, что сказано в этих докладах о разногласиях, я прибавить ничего не имею».

На том же октябрьском Пленуме Сталин говорил:

«Но самым ярким показателем оппортунистического перерождения оппозиции, самым ярким признаком банкротства и падения оппозиции является ее голосование против Мани-

феста ЦИК Союза ССР. Оппозиция против перехода на семичасовой рабочий день!.. Весь рабочий класс СССР, вся передовая часть пролетариев всех стран с восторгом встречают Манифест, дружно аплодируют идее перехода на семичасовой рабочий день, — а оппозиция голосует против Манифеста...»

И далее, о политике в деревне:

«На XIV конференции партия предприняла ряд мероприятий в виде некоторых уступок в пользу середняка... На XIV съезде нашей партии оппозиция, во главе с Зиновьевым и Каменевым, попыталась подорвать эту политику партии, предлагая заменить ее, по сути дела, политикой раскулачивания, политикой восстановления комбедов. Это была, по сути дела, политика восстановления гражданской войны в деревне. Партия отбила эту атаку оппозиции, утвердив решения XIV конференции, одобрив политику оживления Советов в деревне и выдвинув лозунг индустриализации, как основной лозунг социалистического строительства. Партия стала твердо на линии прочного союза с середняком и изоляции кулачества.

Чего добилась этим партия?

Она добилась умиротворения деревни... А что такое умиротворение деревни? Это есть одно из основных условий для строительства социализма».

Еще более развернутую программу строительства новой деревни Сталин излагает 5 ноября 1927 года в беседе с иностранными рабочими делегациями.

Французская делегация задает вопрос: «Как думаете вы осуществить коллективизм в крестьянском вопросе?»

Сталин отвечает: «Мы думаем осуществить коллективизм в сельском хозяйстве *постепенно,* мерами экономического, финансового и культурно-политического порядка...

Всеохватывающая коллективизация наступит тогда, когда крестьянские хозяйства будут перестроены на новой технической базе в порядке машинизации и электрификации, когда большинство трудового крестьянства будет охвачено кооперативными организациями, когда большинство деревень покроется сельскохозяйственными товариществами коллективистского типа.

К этому дело идет, но к этому дело не пришло *и не скоро придет.* Почему? Потому, между прочим, что на это нужны громадные финансы, которых еще нет у нашего государства, но которые будут... Я думаю, что мы уже вступаем в ту полосу развития сельского хозяйства, когда государство начинает по-

лучать возможность усиленно финансировать новый социальный, коллективистский строй» (выделено мной. — *А. Л.*).

За восемь дней до открытия XV съезда состоялась XVI партконференция Московской губернской организации, на которой Сталин выступил с небольшой речью.

«А что такое правильное соотношение с крестьянством? — задавал вопрос Сталин и тут же на него отвечал: — Ленин понимал под правильным соотношением с крестьянством установление «прочного союза» с середняком при опоре на бедноту.

А как смотрит оппозиция на этот вопрос?.. Чтобы не идти далеко, я мог бы сослаться на Преображенского, главного экономиста оппозиции, который рассматривает крестьянство как «колонию» для нашей промышленности, как объект, подлежащий всемерной эксплуатации...

Вы хотите знать, какова действительная «платформа» оппозиции по вопросу о взаимоотношениях между пролетариатом и крестьянством? Читайте речь Смирнова и изучайте ее, ибо речь Смирнова является одним из редких документов оппозиции, говорящих всю правду о действительной позиции наших оппозиционеров.

Вот что говорит Смирнов в своей речи:

«Мы говорим, что нужно так пересмотреть наш государственный бюджет, чтобы большая часть из пятимиллиардного нашего бюджета была направлена по линии промышленности, потому что **лучше претерпеть нам разлад с середняком, чем идти к неизбежной гибели»...**

Ленин говорил, что, строя социализм, мы должны двигаться вместе с основными массами крестьянства.

А оппозиция не согласна с этим, утверждая, что нам нужно двигаться вперед не вместе с крестьянством, а в разладе с ним.

Вот в чем состоит основное разногласие между партией и оппозицией по кардинальному вопросу о взаимоотношениях между рабочим классом и крестьянством».

С таким вот политическим багажом пришел Сталин на XV съезд ВКП(б). В заключительном слове по Политическому отчету ЦК он сказал: «Ленин говорил на X съезде: «Не надо теперь оппозиции... для оппозиции теперь конец, крышка, теперь довольно нам оппозиций!»

Партия желает, чтобы этот лозунг Ленина был, наконец, осуществлен в рядах нашей партии.

Разоружится оппозиция — хорошо. Не хочет она разоружаться — сами разоружим».

Жизнь усложнила эту альтернативу.

Не успела «разоружиться» левая оппозиция, как неожиданно образовалась правая, еще более грозная. Не пройдет и года, как Сталин (19 октября 1928 года) выступит на пленуме МК и МКК ВКП(б) с речью «О правой опасности в ВКП(б)», в выводах которой первым пунктом будет провозглашено: «Правая опасность представляет серьезную опасность в нашей партии, ибо *она коренится в социально-экономической обстановке нашей страны»* (выделено мной. — *А. Л.*).

Действительно, правая оппозиция возникла в результате сложившейся социально-экономической обстановки, а если говорить конкретнее — в связи с проведением в жизнь установки на коллективизацию.

Ровно через месяц, 19 ноября 1928 года, на пленуме ЦК ВКП(б) Сталин выступит вновь. Его речь «Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)» будет содержать уже такой вывод: «Наконец, последний вопрос. В тезисах говорится о том, что мы должны особенно подчеркнуть для данного времени необходимость борьбы с правым уклоном. Что это значит? Это значит, что правая опасность является в данный момент главной опасностью в нашей партии... Поэтому главный удар должен быть направлен против правого уклона». Правда, Сталин пока решительно опровергает наличие в руководстве партии нового раскола. «Я думаю, — скажет он, — что этот факт имеет кое-какое значение ввиду тех слухов, которые то и дело распространяются в наших рядах всякими недоброжелателями, противниками и врагами нашей партии. Я имею в виду слухи о том, что будто бы у нас в Политбюро имеются правый уклон, «левый» уклон, примиренчество и черт знает еще что. Пусть эти тезисы послужат еще одним, сотым или сто первым, доказательством того, что мы все в Политбюро едины».

Однако через два месяца на объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК ВКП(б) Сталин уже признается: «Товарищи! Как это ни печально, приходится констатировать факт образования в нашей партии особой группы Бухарина, Томского, Рыкова... группа Бухарина является правоуклонистской, капитулянтской группой... группа Бухарина выступает против чрезвычайных мер в отношении кулачества и «чрезмерного» обложения кулаков налогами, бесце-

ремонно обвиняя партию в том, что она, применяя эти меры, якобы ведет по сути дела политику «военно-феодальной эксплуатации крестьянства». Это смехотворное обвинение понадобилось Бухарину для того, чтобы взять под защиту кулаков, смешав при этом и свалив в одну кучу трудовое крестьянство и кулачество».

Если 19 ноября 1928 года Сталин, возражая Фрумкину, утверждал: «Вполне возможно, что он (Фрумкин. — *А. Л.*) и в данном случае постарается схватить за фалды Бухарина, чтобы доказать, что Бухарин говорит «то же самое» в своей статье «Заметки экономиста». Но Бухарин говорит далеко не «то же самое». Бухарин поставил в своей статье отвлеченный, теоретический вопрос о возможности или об опасности деградации... А что делает Фрумкин? Он превращает абстрактный вопрос о возможности деградации в **факт** деградации сельского хозяйства».

А вот что в этой связи говорил Сталин через два месяца: «Для нас, для большинства членов Политбюро, во всяком случае не подлежало сомнению, что «Заметки экономиста» являются антипартийной эклектической статьей, рассчитанной на замедление темпа развития индустрии и изменение нашей политики в деревне в духе известного письма Фрумкина... Видно, что лавры Фрумкина не дают спать Бухарину».

К сожалению, я не могу судить, кто кого хватал за фалды: Фрумкин Бухарина или Бухарин Фрумкина, как не могу ничего сказать об эклектичности или самостоятельности и цельности статьи Бухарина «Заметки экономиста», так как не располагаю источниками, однако не надо обладать никакой фантастической логикой, чтобы уразуметь явную непоследовательность Сталина в оценке данной бухаринской работы. Тут не помогут даже никакие ссылки на столь любимую Сталиным диалектику.

Впрочем, в непоследовательности Сталина есть своя железная последовательность. Казалось бы, если большинство членов Политбюро не сомневалось в том, что статья Бухарина антипартийна, то зачем было вводить в заблуждение членов пленума и противопоставлять Бухарина Фрумкину? Ведь большинство членов пленума могло взять статью «Заметки экономиста» на свое теоретическое вооружение, да и сам Бухарин мог быть поощрен сталинской оценкой его работы к дальнейшим теоретическим изысканиям в том же направлении. Что касается Бухарина, то он, хорошо зная Сталина, ко-

нечно, понимал, к чему тот клонит. А Сталин клонил к тому, что если Бухарин попытается в дальнейшем внедрять свою теорию в практическую работу, то его ожидает участь Фрумкина, и это свое предупреждение он сделал публично. Действительно, Сталин ничего не говорил зря. Что же касается возможности ввести в заблуждение некоторых членов пленума... Так это тоже хорошо: выявятся колеблющиеся, неустойчивые, не говоря уже о тех, кто активно поддержит бухаринскую теорию — вот тебе уже и не просто группа, которую приличествует разве что пожурить, а... *фракция,* если хотите, отдельная *партия* — но тут уже приемы политической борьбы отработаны и отточены.

Сталин прекрасно владел логикой и прекрасно знал диалектику, но он был гениальный тактик и все приносил ей в жертву, хорошо усвоив, что победу в практической политической борьбе приносят не самоотверженная верность истине, не послушное следование логике, не честное исповедание диалектики и уж тем более не свободное парение в облаках теперь уже не модной метафизики, а основанная на точном и всестороннем расчете трезвая *тактика.*

Еще в конце 1927 года Сталин истово ратует за прочный союз с середняком и осуждает всякие попытки реставрации политики комбедов; громит левую оппозицию, смотревшую на крестьянство как на «колонию», как на объект, подлежащий всемерной эксплуатации; ссылаясь на Ленина, призывает строить социализм «вместе с основными массами крестьянства», а главное, постоянно твердит о *постепенности,* экономически грамотно утверждая, что «всеохватывающая коллективизация» требует прочной технической базы и широких государственных финансовых возможностей.

На словах Сталин проводил эту политику и в 1928 году. Почему «на словах»? 15 января 1928 года Сталин выезжает в Сибирь (6 февраля возвращается в Москву) в связи с невыполнением плана хлебозаготовок. В одном из своих «сибирских» выступлений он говорил: «Поставить нашу индустрию в зависимость от кулацких капризов мы не можем. Поэтому нужно добиться того, чтобы в течение ближайших трех-четырех лет колхозы и совхозы, как сдатчики хлеба, могли дать государству хотя бы третью часть потребного хлеба. Это оттеснило бы кулаков на задний план и дало бы основу для более или менее правильного снабжения хлебом рабочих и Красной Армии. Но для того, чтобы добиться этого, нужно развернуть

вовсю, не жалея сил и средств, строительство колхозов и совхозов. Это можно сделать, и это мы должны сделать».

Сказано твердо и категорично, однако мне думается, что не эта поставленная Сталиным задача вызвала к жизни правый уклон, а что касается твердости и категоричности, то в те времена качества эти большинству как раз импонировали. Думается, что правый уклон к жизни вызвала поездка Сталина в Сибирь, где он доказал, что по-прежнему остается и выдающимся практиком, как теперь бы сказали, формы своей не потерял. За неимением подробной информации о деятельности Сталина в Сибири обратимся к скупым цифрам сталинских выступлений той поры.

К 1 января 1927 года было заготовлено 428 миллионов пудов зерновых.

К 1 января 1928 года было заготовлено 300 миллионов пудов зерновых.

Таким образом, на 1 января 1928 года образовался дефицит в 128 миллионов пудов зерновых.

Как выяснилось в дальнейшем, свои командировочные Сталин оправдал с лихвой.

13 апреля 1928 года Сталин докладывал на собрании актива московской организации ВКП(б): «...мы наверстали потерянное и заготовили хлеб, догнав, а местами даже перегнав прошлогодний темп заготовок. Известно, что за три месяца, за январь — март, мы сумели заготовить более чем 270 млн. пудов хлеба. Это, конечно, не все, что нам нужно. Нам еще предстоит заготовить более 100 млн. пудов».

Теперь займемся тем разделом математики, который в прежние времена в школе назывался арифметикой.

В 1927/28 году было заготовлено 300 млн. пудов зерна + 270 млн. пудов «выбил» Сталин + 100 млн. пудов еще предстояло заготовить после марта месяца = 670 млн. пудов.

В беседе со студентами Института красной профессуры (28 мая 1928 года) Сталин привел статистические данные о производстве хлеба в стране за предыдущий 1926/27 год. Совхозы и колхозы тогда дали 37,8 млн. пудов, кулаки — 126,0 млн. пудов, середняки и бедняки — 466,2 млн. пудов. Итого: 630 млн. пудов товарного хлеба. Таким образом получается, что в 1927/28 году план заготовок несколько увеличился, хотя урожай, по словам Сталина, в 1928 году был примерно такой же, как и в предыдущем. Кулаки тогда дали 126 млн. пудов, а теперь Сталин в качестве первого «толкача» страны вдруг вы-

бил в борьбе с кулачеством дополнительно к заготовленным 300 млн. пудов еще 270. Такую «дань» с кулака можно было собрать лишь в том случае, если бы ему вообще не оставить ни грамма хлеба. Стало быть, тут потрясли и середняка, о чем свидетельствует арифметика.

Конечно, Сталин решил уничтожить кулаков как класс — кулак давал всего лишь 13% валовой продукции хлеба при 20% товарности. Главный резерв был не кулак, главный резерв — это середняки и бедняки, дававшие 4052 млн. пудов валовой продукции хлеба при 11,2% товарности (тут процент товарности, разумеется, снижали бедняки). Ну, удвой при помощи административно-экономического нажима товарность кулацкого производства, доведи его до 40% — получишь лишних 100-150 млн. пудов хлеба, это, конечно, уже что-то, но все же не решение проблемы, а хлопот — и самых неприятных — не оберешься. Удвой же процент товарности середняцко-бедняцкого производства, т. е. доведи его до нынешнего кулацкого (20%), и получишь 900 с лишним млн. пудов, прибавь к ним полсотни млн. пудов совхозно-колхозного хлеба — вот тебе и заветный миллиард, вот тебе и решение проблемы. Как же все гениальные мысли просты (даже если они и злодейские).

К этой мысли Сталин пришел не сейчас, он ее вынашивал давно, а после поездки в Сибирь понял, что в деревне нужно безотлагательно произвести переворот, а переворот не растянешь на пятилетку, переворот — вещь быстротечная: тут надо ставить ва-банк, тут или — или, а говоря тогдашним политическим языком: «Кто кого».

Нет, не для красного словца потом Сталин приравнял коллективизацию к Октябрьской революции, масштаб переворота в деревне (кстати, и Октябрьскую революцию довольно долго именовали Октябрьским переворотом) был примерно тот же, правда, Октябрьская революция отдала всю землю крестьянам, а сталинская коллективизация отобрала ее у них и тем самым внесла существеннейшие коррективы буквально во все сферы общественной и государственной жизни страны, скорректировала она, естественно, и сам принцип строительства государства, в том числе и государственного аппарата.

В то время как-то незаметно появился новый социальный термин — «зажиточный», под ним как раз и подразумевался крепкий середняк. Столь расплывчатый термин, не имевший под собой реальной экономической, политической и юридической почвы, не получил, разумеется, никакой политической

окраски, потом он исчез, но затем, уже после коллективизации, вновь всплыл в речи Сталина 26 января 1934 года на XVII съезде ВКП(б). «Или, например, — говорил Сталин, — возьмем вопрос о лозунге: «**сделать всех колхозников зажиточными**». Этот лозунг касается не только колхозников (таким образом было реабилитировано и наполнено новым содержанием слово «зажиточный». — *А. Л.*). Он еще больше касается рабочих (это уже интересно! — *А. Л.*), так как мы хотим сделать всех рабочих зажиточными, — людьми, ведущими зажиточную и вполне культурную жизнь».

Абракадабра? Нет, к сожалению, не абракадабра, а долгосрочная политическая программа, которая будет неуклонно и успешно претворяться в жизнь. Постепенно в стране ликвидируют безграмотность, однако уровень образования в деревне всегда будет в законодательном порядке на ступень ниже городского, а в практической жизни даже на несколько ступеней ниже городского. Мне лично в конце сороковых — начале пятидесятых годов доводилось встречаться в армии с призывниками-колхозниками, имеющими **неполное начальное** образование, среди городских ребят-призывников такие не попадались. Вот эти деревенские практически безграмотные ребята родились как раз в период коллективизации. Сталин посадил деревню на скудный образовательный, культурный и материальный паек.

Но и сплошная коллективизация не была пределом мечтаний Сталина. «Это не значит, конечно, — говорил он на том же съезде, — что коммуна вообще не нужна, что она не является больше высшей формой колхозного движения. Нет, коммуна нужна, и она, конечно, является высшей формой колхозного движения... Будущая коммуна возникнет на базе более развитой техники и более развитой артели, на базе обилия продуктов». Обилия продуктов создать не удалось, а потому, к счастью, дело до коммун не дошло. Но вот о городских коммунах Сталин почему-то ничего не говорил, видимо, особо «счастливую» жизнь он решил творить лишь для крестьян.

Однако мы слишком далеко забежали вперед, пора нам вернуться в 1928 год, в период «канунов».

«Вы говорите, что ваши прокурорские и судебные власти не готовы к этому делу. Но почему в других краях и областях прокурорские и судебные власти оказались готовыми и действуют вполне успешно, а у вас они не готовы к делу применения к спекулянтам 107 статьи? Кто виноват в этом? Очевидно,

что виноваты ваши партийные организации, которые, как видно, плохо работают и не добиваются того, чтобы законы нашей страны исполнялись добросовестно».

Это Сталин говорил в Сибири, а вскоре по возвращении в Москву он подпишет документ «Ко всем организациям ВКП(б)», в котором, напомнив о директивах от 14.12.27 и 24.12.27, охарактеризует третью директиву от 6.1.28 так: «Директива эта кончается угрозой по адресу руководителей партийных организаций в случае, если они не добьются в кратчайший срок решительного перелома в хлебозаготовках...»

Но это все нажим сверху. В той же директиве, в ее пятом пункте, говорилось следующее: «Из конфискованных на основании закона у спекулянтов и спекулянтских элементов кулачества хлебных излишков 25 процентов передавать бедноте на условиях долгосрочного кредита на удовлетворение ею семенных и — в случае необходимости — потребительских нужд». (О какой товарности бедняцкого сектора можно говорить?!)

Вот это уже нажим снизу (тут в ход пойдут и обрезы), это уже начало гражданской войны, во всяком случае, если и не войны, то серьезнейшего конфликта, во время которого слово «зажиточный» нависнет грозным мечом над середняком. «Зажиточные» в основном и дадут тот «урожай», что будет собран во время поездки Сталина в Сибирь.

Но, кажется, не только читатель устал от всех этих цифр, цитат из Сталина и таких далеких от литературы слов, как «товарность», «уклон», «кулак», «середняк», «зажиточный» и т. д., устал от них и я, как ни привлекает меня сама материя разговора. Отвлекусь. Приближусь хоть чуть-чуть к литературе.

В последнее время Сталин оказался самым популярным литературным персонажем, я уже не говорю о статьях, сейчас вообще редко встретишь статью, в которой не поминался бы он. Вероятно, при жизни Сталину и не мечталось о такой добровольной популярности, которая пришла к нему сейчас. А сколько еще будет о нем написано! Я, например, просто мечтаю прочитать роман или повесть под таким названием: «Битва за урожай». И с таким подзаголовком: «О зимней поездке двадцать восьмого года Сталина в Сибирь». И меня, между прочим, очень удивило, что в романе А. Рыбакова «Дети Арбата», действие которого развертывается в Москве и в Сибири, ничего не сказано о сибирском вояже Сталина. Более того, читая «Детей Арбата», можно подумать, будто Сталин провел в Сибири не аграрную «революцию», а сексуальную, и

будто Сибирь по этой части на несколько десятилетий опередила Запад, хотя и не располагала в то время ни своим кинематографом, ни другими современными активными средствами массовой коммуникации.

И еще одно такое попутное замечание. Я уже говорил, что внутренний образ Сталина, его «монологи» А. Рыбакову удались, интересно и все то, что соприкасается со Сталиным. Все же, что выпадает из притяжения сталинского поля, теряет жизненность или превращается в схему. Сталин и Киров — интересно. Сталин и Рязанов — интересно. Сталин и Будягин — опять интересно. А все они в любых других комбинациях плоски, схематичны и, естественно, неинтересны. Даже сам автор, как только выходит из сталинского поля, начинает скатываться к банальностям.

Мне не раз доводилось слышать разную болтовню о трусости Сталина. И вот я читаю такой пассаж в романе А. Рыбакова:

«Среди невозмутимых людей, выросших в непонятных чуждых традициях, он, не знающий языка, чувствовал свою удручающую незаметность, к тому же Сталин потерял шарф, апрель в Лондоне стоял холодный, пошел с Литвиновым покупать новый, но не мог подобрать нужный, жесткая шерсть *кусала* шею. Купили самый мягкий, дорогой, все равно Сталин капризничал, вертел головой и ругал англичан. В районе доков Литвинов отлучился, а когда вернулся, к Сталину уже приставали докеры: возможно, что-то спросили, а он не ответил, не знал языка. Литвинов, человек смелый, разговаривающий на английском, как коренной лондонец, прогнал докеров.

Впоследствии Литвинов рассказал Будягину про шарф, но про докеров не рассказывал никогда. Сталин такого рассказа бы не простил: с детства тщедушный и слабый, он был болезненно чувствителен ко всему, что ставило под сомнение его физическую силу и смелость, — душевное состояние, из которого потом выросла подозрительность».

Почему же отважный Литвинов изначально боялся трусливого Сталина («но про докеров не рассказывал *никогда»)?* Ведь генсеком-то Сталин стал только лет через двадцать после того случая, а Литвинов уже тогда испугался, что Сталин ему «не простит». Да и опять же, каким близоруким выглядит Ленин: нашел кому поручить вести подпольную революционную работу в России — человеку физически слабому, трусливому, капризному, можно даже подумать, что и из ссылок-то

он бегал в силу своей капризности: не угодил ему какой- нибудь надзиратель, не выдал ему пуховую перину или еще что-нибудь в этом роде, и Сталин дал деру.

Не знаю, каким в жизни был Литвинов, но в романе, вопреки авторской воле, он выглядит сплетником, сочиняющим небылицы. Ну и потом, действительно, разве Литвинов бегал за Сталина из ссылок, разве Литвинова посылали в самые горячие точки во время Гражданской войны, разве Литвинов вел борьбу с различного рода «оппозициями», разве Литвинов в 1928 году ездил в Сибирь, разве Литвинов оставался в Москве, когда к ней вплотную подступили немцы?

Наверное и даже наверняка Сталин не обладал отвагой Котовского или Чапаева, но ведь этой отвагой не обладал и Ленин. А кто может, вернее, кто имеет право отказать в смелости человеку, совершившему Октябрьскую революцию, не дрогнувшему ни в период «брестской ситуации», ни в тяжелейшие периоды Гражданской войны, ни при введении нэпа? Смелость крупного государственного деятеля или крупного партийного работника отлична по своей природе от смелости оперативного работника или змеелова. Не думаю, что в натуре Сталина ютилось чувство «своей удручающей незаметности», во всяком случае, позже, во встречах с Черчиллем, а премьер Великобритании все-таки, вероятно, относился к числу «невозмутимых» англичан, Сталин никак не выказал этой «удручающей незаметности».

Чтобы как-то закончить свое «отступление», скажу, когда вчитываешься в работы Сталина, то перед тобой встает фигура решительного, твердого, смелого, изощренного, настойчивого, целеустремленного человека, способного преодолеть все преграды и препятствия на пути к поставленной цели, и невольно думаешь: крупному государственному деятелю все эти черты не помеха, напротив. И для народа благо, когда верховный руководитель всеми этими качествами наделен в полной мере, разумеется, при одном принципиальном условии: если поставленная им цель не противоречит интересам самого народа. Вот и продолжим свой разговор о цели, к которой так безудержно стремился Сталин. Заодно поговорим и о том, из чего «потом выросла подозрительность» Сталина.

1928 год, как мы уже говорили, начался бурно: Сталин поехал в Сибирь и так там «нажал», что к собранным недоимкам в 128 млн. пудов хлеба приплюсовалось еще 142 млн. пудов, собранных дополнительно. Но в то время Сталин еще гово-

рил: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем нэп, вводим продразверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба. Нэп есть основа нашей экономической политики, и остается таковой на длительный исторический период».

Конечно, понятие *длительный период* весьма относительно, если его вырвать из конкретного контекста. Человек болеет год, и мы тут вправе сказать, что длительный период человек находился на излечении. Но *длительный исторический период* исчисляется не месяцами и не годами, а десятилетиями, минимум — одним десятилетием, да и то — одно десятилетие... Ладно, пойдем на компромисс и посчитаем даже одно десятилетие длительным историческим периодом. Я не стану здесь говорить о самом Бухарине и по очень простой причине, по причине собственной некомпетентности, с работами этого теоретика я практически не знаком и вовсе не в силу собственной нелюбознательности. У нас есть множество докторов, профессоров, членкоров и академиков общественных наук, вот пусть они, возможно, и вопреки своим прошлым научным трудам, объективно нам высветят во всей полноте фигуру Бухарина и других многочисленных «оппонентов» Сталина.

Меня в данном случает интересуют фигуры, так сказать, не учтенные историей, т. е. рядовые члены партии и руководители среднего звена, на место которых вправе себя поставить любой.

И вот я ставлю себя на место рядового участника событий тех лет...

Я на длительный исторический период вооружен четкой практической программой, выдвинутой самим товарищем Сталиным и санкционированной последним партийным съездом. Я не поддаюсь эмоциям, я по-партийному принципиален, я энергичен, я включаюсь в активнейшую работу, товарищ Сталин найдет во мне верного низового помощника... И вдруг через год я обнаруживаю себя, точнее, меня обнаруживают в рядах какой-то правой оппозиции, а еще через какой-то отнюдь не длительный период я не обнаруживаю себя в рядах самой партии, в дальнейшем я могу обнаружить себя в «коммуне», которую Сталин считал высшим достижением в производственном развитии, правда, в «коммуне» не сельскохозяйственной, а в промышленной — лесодобывающей, угольной, строительной и т. д. И вот тут у меня будет достаточно времени, чтобы не мимоходом поразмышлять на тему: «Что

такое длительный исторический период и как правильный ответ на этот вопрос может повлиять на судьбу отдельно взятого человека?»

Возможно, потому Сталин так и славил сельскохозяйственную «коммуну», что она должна была образоваться, по его видам, «не скоро», а о промышленной «коммуне» умолчал потому, что знал — эта-то образуется «скоро». Впрочем, мы уже пустились в досужие домыслы, что позволительно беллетристам, обратимся лучше к вопросам реальным. А куда же делся, к примеру, товарищ Сталин со своей программой постепенной коллективизации? Углубимся в сталинские работы той поры, поищем ответа там.

Хм, Сталин ничего не говорил зря... Да он зря запятой или кавычек не ставил. Возьму наугад любую фразу из его выступлений, в которой бы говорилось об уклонах. «Поэтому, — писал Сталин в «Ответе товарищам колхозникам», — чтобы бороться с успехом с правым оппортунизмом, надо преодолеть ошибки «левых» оппортунистов».

Очень удачная фраза, и там говорится про оппортунизм и там, но почему-то слово *левые* взято в кавычки, а слово *правые* дано без кавычек? А потому, что Сталин, борясь с троцкистско-зиновьевской оппозицией, всегда брал слово *левые* в кавычки, говоря, что троцкисты и зиновьевцы никакие не левые или, если и левые, то только в кавычках, потому как левее ленинизма ничего нет, пока, конечно, не говоря, что он, Сталин, и является-то единственным наследником ленинизма. А правые, они и есть правые — вечные носители оппортунизма, и никакие кавычки тут не нужны, со словом же «левые» Сталин связывал революционность, а троцкистам и зиновьевцам отдал его лишь на время, потому и брал это слово неуклонно в кавычки. И даже тогда, когда Сталин говорил о «левом» и правом уклонах, он никак не соглашался именовать себя центристом, это слово он просто ненавидел, из всей этой триады его слух ласкало только одно слово — *левый.*

Так, может быть, нам и поискать товарища Сталина где-нибудь слева?

Вот образные признаки, которые, по Сталину, отличали «левых» от правых:

«Отсюда борьба на два фронта, и против правого уклона и против «левого» уклона... Разве это не верно, что оба эти уклона в случае их победы ведут к одним и тем же результатам? В чем же тогда разница между ними?

Разница состоит в том, что платформы у них разные, требования разные, подход и приемы разные.

Если, например, правые говорят: **«Не надо было строить Днепрострой»**, а «левые», наоборот, возражают: **«Что́ нам один Днепрострой, подавайте нам каждый год по Днепрострою»**, — то надо признать, что разница, очевидно, есть.

Если правые говорят: **«*Не* тронь кулака, дай ему свободно развиваться»**, а «левые», наоборот, возражают: **«Бей не только кулака, но и середняка, потому что он такой же частный собственник, как и кулак»**, — то надо признать, что разница, очевидно, есть.

Если правые говорят: **«Наступили трудности, не пора ли спасовать»**, — а «левые», наоборот, возражают: **«Что нам трудности, чихать нам на ваши трудности, — летим вовсю вперед»**, — то надо признать, что разница, очевидно, есть».

Это Сталин говорил 19 ноября 1928 года на пленуме ЦК ВКП(б). Если мы заглянем несколько вперед, то и обнаружим, где находится товарищ Сталин.

Пятилетка в четыре года — разве это не несколько еще Днепростроев?

Вспомним знаменитую статью Сталина «Головокружение от успехов», в которой так и слышится ликование:

«Об успехах Советской власти в области колхозного движения говорят теперь все. Даже враги вынуждены признать наличие серьезных успехов. А успехи эти, действительно, велики.

Это факт, что на 20 февраля с. г. уже коллективизировано 50% крестьянских хозяйств по СССР. Это значит, что мы **перевыполнили** пятилетний план коллективизации к 20 февраля 1930 года более чем вдвое».

Правда, далее Сталин осуждает случаи нарушения принципа добровольного вступления в колхозы, но это так, более для вида, на самом деле он восхищен — менее чем за год выполнен план двух пятилеток по коллективизации!

Возникли в связи с этим различного рода трудности? Чихать нам на ваши трудности — нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики. А слово «вперед», что тоже из лексики «левых», вообще стало символом всей «сталинской эпохи».

Небольшое уточнение. Сталин или что-то подзабыл, или излишне увлекся, когда рисовал образ «левого» уклона. Годом раньше в «Политическом отчете ЦК» он объяснял переход Зи-

новьева и Каменева в лагерь Троцкого так: «Но потом Зиновьев и Каменев, испугавшись новых трудностей, перекинулись на сторону Троцкого». Но тогда бы их повело не влево к Троцкому, где чихали на трудности, а вправо, где их бы поняли. Но это так, мелочи.

Возможно, и я допущу некоторые неточности, если попытаюсь представить ту драматическую ситуацию в системе художественных образов и картин.

Из порта вышел караван судов и взял курс в туманную даль. Вскоре на корабле с флагманским стягом собрались капитаны со своими помощниками, чтобы держать совет — предстояло решить: каким курсом идти дальше? Одни кричали, что нужно идти прямо, другие требовали взять резко влево, а капитан-флагман упрямо твердил одно: «Нужно идти вперед!» В общем, шуму было много, но ни до чего не договорились, только насмерть переругались и разбежались по своим посудинам. И вдруг еще на одном корабле взвивается нечто, напоминающее флагманский стяг, с лаконичной надписью поверх традиционной морской символики: «левые». Засуетились, замешкались остальные корабли, нарушая строгий строй, — два флагмана... чей курс держать? И тогда с настоящего флагмана ударили из всех калибров по новоявленному лидеру, а затем пошли на абордаж. Виктория оказалась полной: команду изрядно наказали, а капитана посадили в шлюпку и пустили, как говорится, с богом, в которого тот не верил, в автономное плавание. Он потом прибился к берегу аж где-то по другую сторону океана — до того, наверное, перепугался. (Позже капитан-флагман, конечно, пожалеет, что вот так с миром отпустил своего соперника, но капитан-флагман не только знал, что на ошибках надо учиться, он еще знал, что ошибки всегда надо исправлять, иначе история твоей жизни превратится в историю твоих ошибок. Поэтому, наверное, капитан-флагмана все считали человеком очень серьезным.)

И снова флагман уверенно ведет караван, а туман все не рассеивается. И вот как-то под утро почувствовали многие, как корабль их кренит влево, а ко всякой левизне здесь уже все относились с подозрением; выскочили на палубу, глядь: впереди них режет волны ранее побежденный корабль, явно забирая влево. Бросились к капитан-флагману, но нигде его не нашли, исчезли куда-то и многие его помощники. Кто-то кри-

чит: «Смотрите! Смотрите!» и сует пальцем в небо. Глянули все вверх и обомлели: на их стяге, дрожащем на ветру, колотились яркие буквы, складывающиеся моментами в короткое слово: «правые». Стало не по себе. И вдруг с новоявленного флагмана ударили из всех калибров, а затем посредством морских сигнальных флажков пригласили на переговоры.

— Вы же забираете влево, меняете свой собственный курс, мы же погибнем... — пытались образумить гордого капитан-флагмана его бывшие товарищи, приводя в доказательство его же прежние аргументы.

— Я ничего не меняю, я держу только вперед, это вы стали уклоняться вправо. Не позволю! — отчеканил капитан-флагман, а потом стал говорить всякие грубые слова, а кто-то под аккомпанемент этих слов начал заниматься еще и рукоприкладством.

В общем, вернулись прежние товарищи капитан-флагмана на свое судно помятые и растерянные да вдобавок еще не обнаружили на флагштоке никакого стяга. Совсем стало неуютно. А тот, кто вовремя не понял, каким гениальным тактиком был бывший капитан этого бывшего флагмана, тот потом здорово поплатился.

А караван шел вперед. В туманную даль. Куда и каким курсом он шел, знал лишь один КАПИТАН да еще ОКЕАН, всасывающий его тайны вместе с ароматным дымком, что почти постоянно источала капитанская трубка.

КАПИТАН прогуливался по палубе один. Ночное черное небо, исколотое бесчисленными светлячками, плотным куполом отделяло земное бытие от безмолвной бесконечности с ее непостижимыми тайнами; туман растаял в конце дня, и последние лучи солнца еще успели озарить бескрайний океанский простор и обозначить далекие горизонты, наполнить все шумом и блеском, но сейчас, ночью, видится лучше, нет, видится ***больше****, солнце располагает к праздности и лени, маня и соблазняя непрочной радостью и губительной беспечностью, а ночь, вот такая пронзительно ясная черная ночь, когда все обретает свой вселенский порядок, навевает мысли о вечности, и только в эти минуты ты становишься самим собой, осознаешь или хотя бы догадываешься, для чего ты сюда, в этот мир, призван и что тебе надлежит свершить, чтобы путь твой отозвался в вечности. Не всем дано думать о вечности и ощущать ее, что ж, им живется легко и радостно, а если и не радостно, то все равно они живут*

единственной надеждой на радость — это духовно одноклеточный мимолетный живой материал, не имеющий никакого предназначения в жизни, кроме того, чтобы кто-то другой, обобществив их волю и энергию, направил к звездам от имени своего времени, от имени своей эпохи, творцом которой ему и предназначалось стать, свой собственный сигнал...

КАПИТАН остановился, раскурил давно приготовленную трубку, ароматный дымок отлетел в океан. Вдруг так некстати вспомнилась недавняя баталия, нет, не последняя, а та, с капитаном-соперником. Где-то он, витияя, сейчас плескается? Или уже и не плескается? Отплескался... Как они тогда швыряли ему в лицо трескучие слова: «термидорианство», «бонапартизм»... Бонапарт?.. Глаза КАПИТАНА чуть сузились, но только на мгновение. Бонапарт — это бесконечные войны, а мы уже навоевались досыта. Бонапарт — это факир на час, пока гремят пушки и медные трубы. Цезарь?.. Далеко. Страшно далеко и все по-другому. И опять войны, походы... Хотя без них тоже нельзя. Грозный?.. Великий муж — он предпочел забвению вечное проклятье. И снова дымок отлетел в океан. Петр?.. Глаза сощурились, и в перекрестье их взгляда сфокусировалась красная точка, она расширялась, обретая какой-то смутный дразнящий образ и открывая какой-то тайный смысл быстротечности времени, приходящего из вечности и уходящего в нее. Нет, по шпаргалке пропуска в вечность не получишь, но и память о великих оставляется в веках неспроста. За посох Грозного, палку Петра или подзорную трубу Бонапарта он не даст и ломаного гроша; пусть, глядя на все эти случайные аксессуары великих, умиляются ученая челядь да праздные зеваки. Дух, дух великих витает вокруг, взывая к вечному подвигу того, кто отмечен печатью вечности, кто не разменяет ни секунды из своего срока на пошлое тщеславие или позорное корыстолюбие, аскетизм не самоцель, аскетизм — средство, когда перед тобой стоит великая цель. Уроки истории — это уроки великих, они и необходимы великим, остальным они нужны лишь для пустой эрудиции. Гвардия, но не та, что предназначается для парадов, она спасла, но и погубила Грозного; построить новую столицу на окраине страны среди болот и топи — дерзкий подвиг, нерушимый памятник своей воле, но и безумие одновременно; прожить всю жизнь под треск барабанов?.. Но и гарантия каждому постоянной безопасности тоже губительна, страх дисциплинирует человека, вести войны мож-

но только заведомо беспроигрышные. КАПИТАН снова раскурил трубку, посмотрел вдаль невидящими глазами и выпустил изо рта жирное кольцо сизого дыма, оно поднялось над его головой, растянулось почти до исчезновения, то ли напоминая нимб, то ли напоминая удавку, и скрылось в океанской ночи. КАПИТАН ничего этого не заметил, КАПИТАН смотрел в вечность. Надо творить себя, но творить себя можно, да, да, только обобществив волю и энергию миллионов... Судьба послала ему в подарок великий, но уставший народ... Две истины власти открылись ему сейчас, вот под этим черным куполом с его игольчатым беспокоящим блеском. Абсолютное единовластие не хуже и не лучше демократии, всему свой час, и народ, уставший от беспорядков и неразберихи, воспримет как спасительную божескую длань твердую и неколебимую единодержавную руку, и он ее протянет народу. Игра в демократию окончена, он уже чувствует, как рука его налилась чугунной силой, чувствует, что отныне управляет он, и только он. А раз так, то настало время все укрупнять и упрощать. Это слабая власть должна все дробить, чтобы не создать себе серьезного **противовеса**. *Ему же необходим механизм простой и тяжелый, в котором не терялась, не измельчалась бы его воля. После жадной затяжки хорошо думалось. Теперь он будет...*

КАПИТАН изобретал тайны. ОКЕАН прятал их в недрах своих глубин.

Почему мы победили?

Конечно, Сталин был великим государственным деятелем, и лично я стою на той точке зрения, что именно благодаря Сталину наша страна в очень короткий срок превратилась в могучую индустриальную державу и сыграла решающую роль в победе над фашизмом, хотя я и не рискну связывать величие или, сказать точнее, великость Сталина с идеями гуманизма и не какого-нибудь там абстрактного, а именно классового, рабоче-крестьянского, только не в той его распространенной форме, когда от имени рабочих и крестьян попираются их же конституционные права и жизненные интересы, а в его истинном смысле, когда равнодостоинство каждого гражданина не только провозглашается, но и имманентно вытекает из всей практики общественной, политической и экономической жизни.

Как известно, история не терпит сослагательного наклонения, но вот общественная мысль в своем развитии не может довольствоваться законами исторической науки, она во имя того, *что должно быть,* постоянно апеллирует и к тому, *что было, и к* тому, *что могло бы быть.*

Не стану утруждать себя изнурительным и бессмысленным спором с теми, кто утверждает, будто наша по преимуществу крестьянская армия одолела гитлеровскую только потому, что крестьяне сделались колхозниками. Будь эта зависимость верной, невозможно было бы понять, как наше государство просуществовало до 1930 года и как оно вообще образовалось.

Вероятно, победу в минувшей войне следует все-таки ставить не в зависимость от коллективизации, а в зависимость от индустриализации, которую в свою очередь мы вправе поставить в зависимость от коллективизации. Во всяком случае, одним из самых веских аргументов в пользу интенсивной коллективизации была необходимость форсировать индустриализацию, а необходимость последней диктовалась реальной угрозой войны. Но стоит ли вдаваться в такие подробности, если в конечном счете мы все равно ставим нашу победу в зависимость от коллективизации? По-моему, стоит.

В двадцатых и в начале тридцатых годов политический язык был довольно откровенным. Так, на пленуме ЦК ВКП(б) 4—12 июля 1928 года Сталин признавался:

«С крестьянством у нас обстоит дело в данном случае таким образом: оно платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно еще **переплачивает** на сравнительно высоких ценах на товары промышленности — это, во-первых, и более или менее **недополучает** на ценах на сельскохозяйственные продукты — это, во-вторых.

Это есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъема индустрии, обслуживающей всю страну, в том числе крестьянство. Это есть нечто вроде «дани», нечто вроде сверхналога...

Дело это, что и говорить, неприятное. Но мы не были бы большевиками, если бы замазывали этот факт и закрывали глаза на то, что без этого добавочного налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша страна **пока что** обойтись не могут».

В то время очень много говорилось о смычке города и деревни, с начала же индустриализации все чаще и чаще стали

говорить о перекачке средств из сельского хозяйства в промышленность, денег в стране не хватало, и единоличное крестьянство все более и более облагалось налогами, прямыми и косвенными.

19 ноября того же года Сталин произнес речь на пленуме ЦК ВКП(б), в которой, в частности, дал следующие финансовые выкладки:

«При обсуждении контрольных цифр мы имели три цифры: ВСНХ требовал 825 млн. рублей, Госплан давал 750 млн. рублей, Наркомфин же соглашался дать лишь 650 млн. рублей. Какое решение принял по этому вопросу ЦК партии? Он определил 800 млн. рублей, т. е. ровно на 150 млн. рублей больше, чем предлагал Наркомфин».

Нет, не из «скупости», как дальше пошутил Сталин, Наркомфин не удовлетворил запрос ВСНХ, а из реальных финансовых возможностей, поэтому не надо было много вдумываться, чтобы понять: в 1929 году потребуется дополнительно выколотить как минимум еще 150 млн. рублей. Откуда? Источник был назван Сталиным на июльском пленуме — крестьянство. Но под гнетом сверхналогов крестьянству стало невыгодно расширять свое производство, отсюда и возникли трудности в хлебозаготовках, к началу 1928 года грозящие перейти в хроническую и одновременно прогрессирующую болезнь. Стало ясно, что политика сверхналогов уже достигла своей критической точки — в дальнейшем она приведет к общему экономическому спаду, размеры которого трудно было предвидеть. Поэтому в 1929 году и было принято решение (вопреки всем ранее установленным плановым срокам) о сверхинтенсивной коллективизации, однако к весне следующего года стало ясно, что проводимая в темпе молниеносной наступательной военной операции коллективизация может обернуться непоправимой катастрофой. 2 марта 1930 года вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», через две недели принимается Постановление ВКП(б), в котором говорилось, «что ошибки и искривления «левых» загибщиков являются теперь главным тормозом колхозного движения». 3 апреля в «Правде» за подписью Сталина публикуется «Ответ товарищам колхозникам», и здесь уже говорится: «Главная опасность у нас сейчас правая. Правая опасность была у нас и остается главной опасностью».

После статьи «Головокружение от успехов», в которой «левые» загибщики обвинялись в нарушении принципа добровольности, начался массовый отлив из колхозов, и ров-

но через месяц в «Ответе...» Сталин уже возлагает главную вину на правых уклонистов, а заодно недвусмысленно угрожает тем, кто, воспользовавшись его мартовской статьей, поспешил выйти из колхоза. Между прочим, именно в этот период (с 1 марта 1929 года) стала выходить «Сельскохозяйственная Газета» — ежедневная газета СНК СССР. В ее первом номере было напечатано приветствие Сталина. Вот текст этого приветствия:

«Привет и лучшие пожелания «Сельскохозяйственной Газете»! Желаю ей успеха в деле разработки и освещения вопросов развития сельского хозяйства на основе марксистско-ленинской теории.

Будем надеяться, что она сумеет превратиться в организующий центр активных работников-строителей, ведущих вперед дело нашего сельского хозяйства.

И. Сталин».

Через год название этого органа покажется слишком расплывчатым, и с 29 января 1930 года он станет выходить под названием «Социалистическое земледелие». Очень симптоматичным является то, что подобный печатный орган был создан не в период подготовки коренного преобразования всего уклада деревенской жизни и основных принципов землепользования, а в период, когда все эти вопросы уже нашли свое окончательное решение на самых верхних этажах власти и уже не подлежали никакому дальнейшему обсуждению.

«Сельскохозяйственной Газете» совместно с другими средствами массовой информации предстояло выработать единую «историческую» точку зрения на происходящие в деревне события, точно согласовав ее с руководящей линией товарища Сталина. В конце концов общий стереотип был создан и утвержден, став обязательным как для нашей исторической науки, так и для нашей литературы, согласно которому кулаки с обрезами в руках ринулись свергать Советскую власть, отдельные несознательные элементы проявили колебания, а вся остальная середняцко-бедняцкая масса кинулась в колхозы искать там политическую защиту и экономическую выгоду.

Да, о многом могла бы сейчас рассказать подшивка «Сельскохозяйственной Газеты», хотя бы за тот период, когда она носила такое название. Думается, история отечественной журналистики когда-нибудь учтет и эту свою страничку, однако и ее, эту страничку, тоже нельзя вырывать из общего контек-

ста своей эпохи. Конечно, ради журналистской карьеры можно пойти на многое, однако не следует забывать, что в ту строгую эпоху альтернатива зачастую усложнялась, когда, скажем, на место журналистской карьеры ставилась жизнь журналиста: или ты пишешь *так,* или ты — «враг народа».

Наверное, и газетная подшивка может пролить определенный свет на эпоху, когда внедрялись в жизнь «культ личности» Сталина и губящий всякую общественную жизнь принцип тотального единогласия. Как говорил один шолоховский герой: «Под пистолетом я что хошь скажу». Но ведь не все же тогда сводилось к одному пистолету?

К примеру, в середине тридцатых годов приезжает в нашу страну известный французский писатель Анри Барбюс. Под впечатлением увиденного он пишет, и наверняка не под пистолетом, большую книгу под названием «СТАЛИН» и еще дает такой подзаголовок: «ЧЕЛОВЕК, ЧЕРЕЗ КОТОРОГО РАСКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МИР». Не стану вдаваться в подробности анализа этой книги, дам только несколько цитат из нее, которые в полной мере могут охарактеризовать все сочинение в целом.

«После смерти человек живет только на земле. Ленин живет всюду, где есть революционеры. Но можно сказать: ни в ком так не воплощены мысль и слово Ленина, как в Сталине. Сталин — это Ленин сегодня...

Прежде чем предложить то или иное решение, он много размышляет и взвешивает (много — не значит долго). Он крайне осмотрителен и доверие свое дарит нелегко. Один из его ближайших сотрудников не доверял другому. «Здоровое недоверие — это хорошая основа для совместной работы», — сказал ему Сталин. Он осторожен, как лев...

Сталин написал немало книг, и книг замечательных. Многие из них являются в марксистской литературе классическими...

Самое трудное в сельском хозяйстве теперь уже сделано. Но это случилось не само собою; надо закрепить достигнутое и быть бдительным. Сопротивление было нешуточное. Оно опиралось на бешеную и отчаянную борьбу кулаков. Кроме того, пришлось испытать затруднения, связанные с периодом ученичества в таком гигантском предприятии. Был момент, когда люди сбились с ноги. Заторопились. Но статья Сталина «Головокружение от успехов» (статья эта приобрела легендарную славу) наметила рубеж и выправила курс корабля».

Нет, я вовсе не собираюсь сваливать на французского писателя вину за нашу беду, да и книга Барбюса «*Сталин*» не так проста и примитивна, как это может показаться с беглого взгляда, в ней есть и серьезные наблюдения. «Если Сталин верит в массы, — писал Барбюс, — то и массы верят в него. В новой России — подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии и берет свои истоки в низах. Человек, чей профиль изображен на красных плакатах — рядом с Карлом Марксом и Лениным, — это человек, который заботится обо всем и обо всех, который создал то, что есть, и создаст то, что будет. Он спас. Он спасет».

Всякий культ основан на доверии, которое и порождает веру. Абзацем раньше Барбюс писал, что в нашей стране «великой бурей разогнан ядовитый дым религии». Всякая религия держится именно на вере и прежде всего на вере... в собственное спасение. Барбюс нечаянно раскрыл главный механизм философии культа личности — «Он спас. Он спасет». Христа, между прочим, так и называли — Спаситель. Ум вождя, его какие-то исключительные способности могут оценить немногие, и эти оценки не породят никакого культа, культ появляется тогда, когда с чьим-то именем начинает связываться вера во всеобщее или хотя бы личное спасение.

Вот теперь мы и посмотрим: как и кого в те времена спасал Сталин и какие «затруднения» вызвал «период ученичества».

Третья часть романа В. Белова «Кануны» («Новый мир», 1987, № 8) уже вылилась за временные рамки канунов и устремилась в водоворот, именуемый «великим переломом», когда люди были ошарашены взрывом налаженного порядка и всего течения повседневной жизни. По деревням и селам прошла судорога громких собраний и отчаянного молчания, ругани и уговоров, плача и ликований, глухой апатии и необузданного возбуждения: одни не верили собственному взлету, другие отказывались верить в настоящность навалившейся на них беды...

«Куземкин пробудился в то утро часу в четвертом. Он не мог больше уснуть, ворочался до рассвета. Как это так все получилось? Он ведь теперь не просто Митька Куземкин, а Митрий Митриевич, да еще председатель колхоза «Первая пятилетка»? За какие-то считаные часы судьба круто переменилась и перемешала в голове все мысли. Вот что значит поддержать районную власть! Митька знал: не подай он первым свой голос в избе у Кеши, ничего этого с ним сейчас не было бы...

Все в нем ликовало и дрыгало, он готов был прыгать с полатей, на которых сейчас ворочался, готов был зажигать лучину и будить брата Санька, матку да, пожалуй, и всю Шибаниху. Это хорошо и приятно. Но с другой стороны, у Куземкина болела душа, он не знал, что надо делать и с чего начинать день.

Фокич (а иначе уполномоченный РИКа Смирнов) за два дня поставил рекорд: в шести деревнях учредил шесть колхозов...»

В ту ночь не спалось и семейству Роговых, мучительно решался вопрос: вступать или не вступать в колхоз, угроза попасть в разряд «зажиточных», не отделенный никакой юридической границей от разряда «кулаков», грозила полным разором и неминуемым выселением неизвестно куда.

У каждого образовались свои непривычные заботы, от которых нельзя было ни отмахнуться, ни отложить их на потом, нужно было что-то делать, чего-то решать, а тут еще напомнила о себе первым серьезным снегом приближающаяся зима, в этих краях долгая и суровая. «Снег повалил с неба крупными белыми лепестками. Эти лепестки бесшумно и медленно падали на Шибаниху, они все еще таяли кое-где на теплых местах. Было видно, что зима накатилась теперь взаправду... Снег был истоптан берестяными ступнями, сапогами, валенками, народ ходил не по прежним тропинкам».

Потерянные люди, забыв нахоженные тропы, истоптали первый снежный покров, невольно запечатлевая в хаосе своих случайных следов сумятицу тревог, надежд и отчаяния, разом сковавших их былой расторопный крестьянский разум.

«Шибаниха была похожа на похмельную бабу. Никто не знал, чего от кого можно ждать, откуда придет очередная беда или новость, куда ступать и чего говорить... Слышна была ругань во многих домах, в других причитали, в третьих выстаивалась недобрая мертвецкая тишина. Кони ржали на большом клюшинском подворье и орловском расколоченном доме. Вторые сутки их никто не кормил, не поил да и не запрягал, чтобы ехать за дровами и сеном, поскольку обряжать хозяевам запретил шустрый уполномоченный Фокич, который так хорошо играл на гармони. Но никто не шел поить коней из других домов, так же стояли недоеные коровы, согнанные в три места: к Жучку, к Микулиным и к Ивану Нечаеву. Овцы, согнанные в большие хлевы Новожила и Володи Зырина, блеяли как недорезанные».

Но вернемся снова к Митрию Куземкину, чье праздничное настроение было обусловлено и теми же причинами, и теми

же обстоятельствами: «Митя шел обратно к конторе, старался быть впереди Володи Зырина и Сельки Сопронова. Как только один из них случайно, а может, иной раз и нарочно вырывался вперед, Куземкин тут же останавливал его каким-нибудь вопросом, и пока тот соображал, что ответить, Митя обгонял его и вновь оказывался во главе».

Каким-то особым чувством, для определения которого и слово-то «интуиция» кажется недостаточным, Митя как бы заглянул далеко вперед и учуял глубокий смысл будущего непременного ритуала, когда начальственное положение руководителя любого калибра станет отчетливо подчеркиваться всегда присутствующей при нем свитой, чуть-чуть, хотя бы на полшага отстающей от главного действующего лица, тем самым постоянно демонстрируя непреложность иерархических законов власти, которая обобществляет не только волю, но и достоинство народа, от имени народа она постоянно творит, принося в жертву все и всех, будущий счастливый день, правда, никогда не контролируемый никаким конкретным результатом, как не поддающаяся никакому контролю мечта.

В конце концов в семье Роговых заявление о приеме в колхоз будет написано, «ратифицирует» его старый дед Никита, и Иван Никитич Рогов отправится в правление, но повстречается с председателем еще по дороге.

«Иван Никитич пошел наперерез Куземкину. Остановил, здороваясь:

— Я, Митрий, заявление принес.

Митька, бывший навеселе, поглядел на Рогова с любопытством и сказал:

— Не приму.

— Как так?

— А так, что поступило новое распоряженье.

— Какое распоряженье?

— Такое, что верхушку и зажиточных в колхозы не принимать.

— Да какая я тебе верхушка? — Иван Никитич вплотную ступил к Митьке. — Ты што, рехнулся аль как?

Митька отступил ровно настолько, насколько подвинулся на него Иван Никитич.

— Да не я виноват-то, — оправдывался он. — Новое распоряженье... Вон и про Ольховку говорят: у вас лжеколхоз. Напринимали, грят, кулаков, колхоз недействительный. Вот и нас объявили лжеколхозом. До выяснения личностей...»

Но тот первый колхозный день даст и свой итог. Расставшись с Роговым, Дмитрий Куземкин «пошел вдоль улицы. Он ритмично вскидывал голову то вправо, то влево. За день у него сложилась новая, уже председательская походка». Итог, можно сказать, исторический.

Правда, справедливости ради следует заметить, в тот первый рабочий председательский день на Дмитрия Куземкина навалятся заботы и проблемы, которые, выражаясь по-ученому, в модифицированном виде докатятся и до наших нынешних дней.

«Руки Ивана Никитича наливались какой-то странной угрожающей тяжестью, горло начинало сдавливаться, зубы тоже сжались. Обида и страх — нет, не за себя страх, а за все семейство, за деревню, *за всех добрых людей,* — страх и отчаяние поднимались откуда-то с ног, от самой земли, уже покрытой холодным и белым снежным саваном (выделено мной. — *А. Л.).*

Иван Никитич пополам разорвал бумагу и бросил половинки на снег. Холодный, подвернувшийся к вечеру ветерок подхватил бумажные клочья, по-кошачьи поиграл с ними. Обрывки заперевертывались и полетели вдоль по Шибанихе».

А тем временем в Шибанихе продолжали ошалело блеять овцы, надрывно реветь коровы, мучительно ржать лошади, их общий стон долгим эхом будет отзываться и через десятилетия, отзываться горькими человеческими слезами или мертвенно каменеть в безысходном человеческом отчаянии.

Мы не знаем, как дальше сложатся судьбы героев романа В. Белова «Кануны» и, в частности, домочадцев Ивана Никитича Рогова. Если же отбросить частности и подробности, то многих поджидало вскорости то, чему нас сделал свидетелями Н. Скромный. Некоторые эпизоды из его романа «Перелом» мы уже приводили, а вот эпизод, собственно, с которого и начинается роман:

«Встречающее начальство вышло на перрон. Человек в кожанке пошел навстречу.

— Здравствуйте. Похмельный, начальник партии. Я телефонировал...

— Гнездилов, — протянул руку секретарь. — Все хорошо? Побегов нет?

— Мои не сбегут. Некуда да и незачем. Я их сейчас выгружать начну, а вы обеспечьте... Посторонних много, лишнее...

Полухин поманил начальника вокзала.

— Я приказал убрать со станции зевак...

— Я убирал. Они подводы увели, а сами — сюда, — затоптался начальник. — Паровоз все-таки... Да пусть смотрят — может, наукой будет!

— Довод, ничего не скажешь! — укоризненно качнул головой Полухин. — А ты приступай, товарищ.

Похмельный дал знак, красноармеец откинул засов, и тяжелая дверь медленно поползла в сторону. Из проема выскочили три красноармейца и помогли развести двери до упора».

Заметьте, начальник милиции Полухин укоризненно качнет головой на мрачную шутку начальника вокзала.

А Похмельный начнет выколачивать у секретаря райкома Гнездилова подводы с такой страстью, будто везет он самых дорогих для него людей:

«— Сколько у тебя детей и стариков? — Гнездилов переглянулся с Полухиным.

— Стариков человек двадцать наберется, детей малых десятка три будет, но и постарше везти надо: своими ногами они ваши сорок верст не отмахают. И на плечах их не донести, да и молодух на подводы надо: жалились — молоко пропадает... Да вы гляньте на них! В чем только душа держится...»

И Гнездилов, глядя на несчастных людей, достанет нужные подводы. Как видим, здесь нет ни злодеев, ни изуверов, вполне нормальные люди, но все сообща они участвуют в каком-то ненормальном деле.

«— Выходи все! — крикнул Похмельный, подходя к теплушкам, и встречающие увидели, как в сумрачной глубине, среди куч тряпья и соломы, зашевелились и стали подниматься сидевшие и лежавшие вповалку люди.

Подойдя к проему, прыгали: кто сам, кто с помощью. Красноармейцы пошли открывать следующие теплушки.

В последней оказались дети, молодые бабы и старухи. Через несколько минут у состава копошилась серая людская масса.

Все смешалось: бабьи крики, детский плач, кашель, недовольные голоса и ругань мужиков.

Замелькали узлы, котомки, баулы, сундуки, гремели ведра и котелки. Кто-то из молодых парней с тревогой искал по теплушкам свои вещи, о чем-то в голос плакала баба...

Потянуло запахом немытых тел, заношенной одежды, отходов. На тепле и свете люди щурились, зябко передергивали плечами. Обросшие мужики с мучнисто-серыми одутловатыми лицами, бабы с темными полукружьями у глаз и даже дети

чем-то походили друг на друга, словно это высадилась чудовищно большая семья, и не одеждой, у всех зимней и темной, не обстоятельством, сведшим их вместе, — скорее всего, схожими их делало то долгое страдание, неуловимо залегшее в выражении лиц и уже становившееся привычным, какое бывает у калек с рождения, у людей с ущербной судьбой, и которое всегда заметно житейски опытному взгляду».

Возможно, чуткое к людскому горю писательское сердце обращается именно к тем случаям прошедшей или настоящей жизни, в которой печальные исключения, как им и положено, лишь подтверждают общее правило, и эти исключения, вырванные писательской «памятью» из контекста эпохи, способны невольно исказить ее дух, ее смысл и ее содержание. Нет, нет, писатели от Михаила Шолохова до Николая Скромного ничего не напридумывали, не сгустили красок и уж тем более не исказили жизненных фактов, имевших место быть в тогдашней действительности, однако среди тысяч деревень, сел и станиц, даже сотни Гремячих Логов, Шибаних и Гуляевок не в состоянии выразить общую картину перестройки земледельческого уклада в сторону сплошной его коллективизации. Говорят, что в капле воды заключены все свойства океана. Это не совсем так, даже совсем не так: капля воды не содержит в себе, скажем, способности океана вызвать к жизни ни великий шторм, ни великий штиль. История Шибанихи или Гуляевки — это история Шибанихи и Гуляевки, но еще не история *всех абсолютно* Шибаних и Гуляевок.

Впрочем, об этом можно толковать сколь долго, столь и бесплодно. «Сердце поэта на стороне тех, кто страдает»,— сказал когда-то итальянский поэт Джованни Чезарео в своем «Гимне земле». Что ж, в этом, наверное, великое предназначение поэзии, однако сердце поэта не единственный источник, просвещающий наш разум и облагораживающий нашу душу.

Пусть сухие цифры и общие факты не дадут нам живой картины тогдашних событий и скроют от нас многие подробности отлетевшей в историю жизни, но зато они позволят установить соразмерность составляющих частей общего явления и установить, что же все-таки было правилом, а что — исключением. Нет, мы ни в коем случае не отдаем предпочтение цифрам и общим фактам, и это заверение подтвердится тем, что мы снова и снова, как и прежде, станем обращаться к свидетельствам чуткого поэтического сердца. Признаюсь, глубокий искренний гнев поэта вызывает чувства, не располагаю-

щие к трезвому и по возможности объективному анализу, так что пока обратимся к свидетельствам иного рода.

3 апреля 1930 года, т. е. через месяц после публикации статьи «Головокружение от успехов», Сталин напечатает в «Правде» «Ответ товарищам колхозникам», в котором сделает такое признание: «Месяц назад считали, что мы имеем 60% коллективизации по зерновым областям. Теперь ясно, что, если иметь в виду действительные и сколь-нибудь устойчивые колхозы, эта цифра была явно преувеличена. Если колхозное движение закрепится после отлива одной части крестьян на цифре в 40 % коллективизации по зерновым областям, — а это осуществимо наверняка, — то это будет величайшим достижением колхозного движения в данный момент».

27 июня того же года Сталин с трибуны XVI съезда ВКП(б) скажет: «По пятилетнему плану мы должны были иметь к концу пятилетки посевных площадей по колхозам 20,6 миллиона гектаров. А на деле мы имеем посевных площадей колхозов уже в этом году 36 миллионов гектаров».

Однако радужные мечты Сталина, несмотря на самые крутые меры, применяемые при коллективизации, все-таки не осуществились. Выступая через три с половиной года на XVII съезде ВКП(б), Сталин приведет данные о ходе коллективизации и освоении посевных площадей колхозами за первую пятилетку. Из этих данных станет ясно, что на XVI съезде были приведены липовые цифры. Процент коллективизации крестьянских хозяйств в 1930 году составил лишь 23,6%, т. е. отлив из колхозов составил почти две третьих. И какие же нужно было применить меры воздействия, чтобы через год цифра коллективизации крестьянских дворов подскочила до 52,7%! Что касается посевных площадей, то и здесь колхозы освоили лишь 29,7 миллиона гектаров, вместо провозглашенных 36 миллионов гектаров. Переломным в коллективизации стал 1931 год, когда процент коллективизации крестьянских дворов достиг 52,7%, освоение посевных площадей — 61%.

Что же стояло за этими процентами? В первую очередь люди. Так, за одним процентом коллективизации стояло около 250 тысяч крестьянских хозяйств. Если в 1930 году «утекло» из колхозов 36%, то это означало, что вновь вернулось к единоличному труду около 9 миллионов хозяйств. Но в 1931 году в колхозы вернулось снова 30% крестьянских хозяйств, что в переводе на абсолютные цифры выражалось 7,5 миллиона таких хозяйств. Однако и это еще не все. Сколько в одном хо-

зяйстве было людей: пять, семь, десять? Помножьте количество передвигаемых то в одну сторону, то в другую крестьянских хозяйств на любую из этих цифр — и вы получите десятки миллионов людей. Вспомним всевозможные переселения, выселения, ссылки и более строгие репрессии, сопровождавшиеся погромами, конфискациями, гибелью скота и урожая, и мы придем к выводу, что в произведениях В. Белова, Б. Можаева, И. Акулова, С. Залыгина, Н. Скромного даны картины той эпохи отнюдь не исключительные. За «период ученичества» мы заплатили очень дорого. А что касается статьи «Головокружение от успехов», которой Барбюс приписал легендарную славу, то она принесла сомнительную пользу, так как через год «силовой» прием был повторен с новой энергией, последствия не замедлили сказаться — на страну обрушился жестокий голод, о котором Сталин нигде не упоминает, а статистика до сих пор на эту тему молчит. Эстафету молчания почему-то охотно принял из остывших рук Сталина его разоблачитель Хрущев, а у того — Брежнев. Только в начале нашего десятилетия М. Алексееву с большим трудом удалось опубликовать роман «Драчуны», в котором рассказывается о той страшной беде.

Статья «Головокружение от успехов» у многих руководителей вызвала тогда растерянность, а у многих крестьян — апатию, избавиться от которой они, в общем-то, так и не смогли, разумеется, не по причине ее особого влияния на их умы, а по причине более долгосрочного воздействия. Но об этом подробнее как-нибудь в другой раз, а сейчас мне хочется привести еще один эпизод из романа Н. Скромного «Перелом», относящийся как раз к периоду, когда эта статья носила еще вроде бы директивный характер. Рассказывается о различных неполадках и т. д., а затем:

«Все это можно было понять (мало ли пока безалаберности и промашек в только что созданных колхозах), *если бы не дух праздного и полного безразличия,* владевший людьми.

Сведения о последних событиях у многих кончались мартовской статьей; не имелось газетных подшивок; вызванный в контору секретарь комсомольской ячейки на вопросы недоуменно пожимал плечами и так терялся в ответах, что на него жалко было смотреть. И окончательно добил старик, отец болевшего сидельца — он *весело объявил,* что половина села не знает толком, кем числится, в колхозниках или в единоличниках» (выделено мной. — *А. Л.*).

Вот эти «дух праздного и полного безразличия» и «весело объявил» о многом говорят и впрок.

А дальше больше. На этот почти формально существующий колхоз вдруг взваливают бремя, которое никак не связано с обязанностями и функциями сельскохозяйственной артели: в селе расселяют одну за другой три партии выселенных семей из других районов страны.

Если внимательно прочитать все выступления Сталина, относящиеся к периоду подготовки коллективизации и ее проведению, то нетрудно увидеть, что взятые в 1929 году темпы были чистой воды авантюрой. Чего же тогда добивался и чего хотел Сталин? На этот вопрос мы сейчас и попытаемся ответить.

Мне доводилось слышать такую концепцию: Сталин в личной конкуренции за власть разгромил Троцкого при помощи его противников, а затем присвоил себе его же платформу. Это неверно. Разумеется, у Сталина и Троцкого было немало общих точек зрения, но ведь и Ленин в чем-то сходился с Троцким, в чем-то сходился со Сталиным, в чем-то — с Бухариным, а Бухарин в свою очередь в чем-то сходился с каждым из них. А иначе как бы они не один год работали вместе да еще в такой напряженнейший период?

Как известно, Ленин в своем «Письме к съезду» из всех членов ЦК выделил Сталина и Троцкого, назвав их «выдающимися вождями современного ЦК». Действительно, дальнейшее подтвердило, что только Сталин и Троцкий имели свою концепцию развития революционного движения и свою концепцию социалистического государства, и они боролись не только за личную власть, но за победу своих концепций.

Троцкий обвинял Сталина и в «термидорианстве», и в «бонапартизме». Эти обвинения адресовались не по адресу, если кто и метил в новоявленные Бонапарты, так это сам Троцкий. Основной спор между Сталиным и Троцким шел по вопросу о возможности построения социализма в нашей отдельно взятой стране. Троцкий вовсе не собирался реставрировать ни капитализм, ни тем более царизм, он хотел построить военно-феодальное государство, чтобы при его помощи раздуть пожар мировой революции — это и есть чистой воды «бонапартизм».

Сталин считал, что в нашей стране, независимо от общей революционной ситуации, социализм построить можно и для этого нужна длительная мирная передышка, меньше всего

Сталина прельщали лавры Бонапарта, здесь ему больше импонировали другие исторические личности, сходился он с Троцким в вопросе сверхиндустриализации и в отношении к крестьянству, но до поры до времени всех карт своих не раскрывал, выжидал. Открыл свои карты Сталин лишь тогда, когда Троцкий был выслан за пределы страны.

13 декабря 1931 года Сталин встретился с немецким писателем Эмилем Людвигом. И вот первый вопрос: «Сегодня, здесь, в Кремле, я видел некоторые реликвии Петра Великого, и первый вопрос, который я хочу Вам задать, следующий: допускаете ли Вы параллель между собой и Петром Великим? Считаете ли Вы себя продолжателем дела Петра Великого?»

Сталин, разумеется, такую параллель отвел, но отвел он ее с классовой точки зрения, Петр, мол, творил государство в интересах помещиков и «нарождавшегося купеческого класса», а он, Сталин, все делает в интересах рабочих, но Петра как государственного деятеля он никак не принизил. Не лишенный определенной смекалки, Алексей Толстой потом напишет не только повесть «Хлеб», но и роман «Петр Первый». Об этом государе будет поставлен и фильм. Такой же чести удостоится и Иван Грозный.

Случайность? Вряд ли. Выступая еще 19 ноября 1928 года на пленуме ЦК ВКП(б) с докладом «Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)», Сталин неожиданно вдруг вспомнил давно усопшего русского монарха. «Она, эта отсталость, — говорил Сталин, — чувствовалась как зло и раньше, в период дореволюционный, и после, в период пореволюционный. Когда Петр Великий, имея дело с более развитыми странами на Западе, лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны, то это была своеобразная попытка выскочить за рамки отсталости...» Далее Сталин очень неубедительно говорит о том, что эту отсталость никто не мог ликвидировать и что ее можно ликвидировать «на базе успешного социалистического строительства». Но почему тогда Англия, Германия или США сумели так вырваться вперед в «технико-экономическом отношении» без «успешного социалистического строительства»? Но в данном случае Сталина интересовала не логика, его интересовали методы строительства государства, ему очень импонировали дерзость Петра и его радикализм.

Петр I жестоко расправился с боярством и со стрелецким войском. Сталин жестоко расправился со старой партийной

гвардией. Петр окружил себя новыми людьми, которые сделали при нем головокружительные карьеры. Сталин тоже окружил себя новыми людьми, которых нарекли «выдвиженцами». Петр заставил всех служить, и Сталин заставил всех служить. Петр прикрепил крестьянина к помещику и фактически лишил его всяких гражданских прав. Сталин определил крестьянину «точку оседлости» и фактически лишил его гражданских прав, отобрав паспорта. Петр прорубил «окно в Европу». Сталин проломил в Европу ворота от Черного моря аж до Белого и вдобавок еще через Курилы и Сахалин распахнул морские и океанские врата в Америку. Петр подчинил себе церковь. Сталин ее сильно порушил, а затем тоже подчинил.

Петру ставят в заслугу создание Академии и открытие множества учебных заведений. Сталин создал множество Академий, а открытые им учебные заведения и пересчитать-то невозможно.

Чернышевский в молодые годы высоко оценивал деятельность Петра I, но вот как оценивал он ее в зрелые годы: «Русским времен Петра была нужна только свобода учиться; принуждение не было нужно. Приобрели ль они от Петра хоть маленькую свободу учиться? — Нет; он знал во всем только муштровку; муштровка у него была и в школах такая же, как в казармах; и отправляемых за границу учиться он посылал лишь муштроваться по его инструкциям. Свободы учиться он не допускал... Палка за всякое движение, не предписанное регламентом, была одна и та же в ученом кабинете и на плац-параде. Россия была бедна; Петр разорил ее (это засвидетельствовано его помощниками, собравшимися на совещание о делах по его смерти). Русский народ имел уже влечение учиться. Он не в силах был искоренить влечение учиться; оно было уже привычно, хотя еще и слабо; и по географическому положению России неотвратимо должно было развиваться; подавляемое Петром... оно, хотя и ослабело, пережило Петра; при Екатерине I, Петре II, Елизавете дело пошло, как шло при Алексее, Федоре, Софии: муштровка велась, но вели ее спустя рукава, и благодаря слабости забот о ней влечение учиться оправилось от угнетения Петра, стало развиваться».

Это Чернышевский писал своему двоюродному брату Александру Пыпину, и тут любопытна такая его приписка: «Видишь, мой друг, что мои мысли о Петре неудобны для печати и притом не подходят к мыслям русских журналов, так что если б и были удобны для печати, то не годились бы для журналов».

Сталин прекрасно знал, что и северная Венеция — Петербург, и все петровское государство были построены на костях и страданиях народа, но он знал и другое — история списывает безымянные кости и оставляет на своих страницах Петербурги и Полтавы. Но герои должны не только делать историю, они во избежание всяких недоразумений должны ее и писать, вот почему Сталин так серьезно отнесся к созданию учебника по истории, о чем так подробно рассказывается на страницах романа «Дети Арбата». Затем он с тем же тщанием станет работать над «Кратким курсом истории ВКП(б)», который по петровской методе будет внедряться в сознание каждого — к тому, наверное, и добивались сплошной грамотности.

Да, Сталин создал сильное и могущественное государство. От этого факта никуда не уйти. История пишется не только чернилами, но и кровью — это тоже факт. Без перекачки средств из деревни в индустрию сильного и могущественного государства в короткий срок построить было невозможно. Еще один факт, который не могут опровергнуть ничьи страдания. Но тут возникает один небольшой вопрос: «А осуществилась ли желаемая и необходимая перекачка?»

Как мы уже говорили, в 1929 году для ускорения индустриализации необходимо было дополнительно выбить еще 150 миллионов рублей. Предполагались, конечно, и другие дополнительные расходы. Нужна была валюта.

В «Ответе товарищам колхозникам» Сталин сообщает:

«На днях Советская власть решила освободить от налогового обложения **на два года** весь обобществленный рабочий скот в колхозах (лошадей, волов и т. д.), всех коров, свиней, овец и птицу, находящихся как в коллективном владении колхозов, так и в индивидуальном владении колхозников.

Советская власть решила, кроме того, **отсрочить** к концу года покрытие задолженности колхозников по кредитам и **снять** все штрафы и судебные взыскания, наложенные до 1 апреля на крестьян, вошедших в колхозы.

Она решила, наконец, обязательно осуществить кредитование колхозов в настоящем году в размере 500 миллионов рублей».

Через три месяца, на XVI съезде партии, Сталин оценивает льготы колхозам в 200 миллионов рублей, да еще в фонд коллективизации было отпущено 65 миллионов рублей. В общем, чтобы остановить процесс деколлективизации, в 1930 году потребовалось около миллиарда рублей. И что по

сравнению с этой цифрой какие-то 150 миллионов, о которых вели тяжбу ВСНХ, Госплан и Наркомфин, выстраивая бюджет на 1929 год?

В январе 1934 года Сталин с гордостью сообщил, что за отчетный период в колхозы и совхозы направлено 11 тысяч инженеров, техников и агрономов, подготовлено 1 миллион 900 тысяч трактористов, комбайнеров и шоферов и 1 миллион 600 тысяч председателей и членов правления колхозов, бригадиров и счетоводов.

Во что это обошлось государству, Сталин не сообщил, но обошлось это, конечно, как говорится, в копеечку. А каков был общий итог? В 1930 году валовой сбор зерновых равнялся 835,8 миллиона центнеров, а в 1933 году — 898 миллионов центнеров. Затраты были произведены громадные, а результат получился почти нулевой.

Так откуда и куда шла в этот период перекачка (как материальных средств, так и подготовленных за государственный счет технических кадров): из деревни в город или же из города в деревню? Разумеется, в деревню. И здесь есть над чем поработать современным экономистам и социологам.

На XVII съезде партии Сталин рапортовал: «Стало быть, 204 тысячи тракторов и 3 миллиона 100 тысяч лошадиных сил для колхозов и совхозов. Сила, как видите, не малая, способная выкорчевать все и всякие корни капитализма в деревне. Сила, вдвое превышающая то количество тракторов, о которых говорил в свое время Ленин как о далекой перспективе». Между прочим, 14 лет, отделявших слова Ленина от слов Сталина, не такая уж близкая «перспектива».

К тому же Ленин не мог предположить, что за четыре года можно умудриться более чем вдвое уменьшить тягловый парк лошадей: в 1929 году их было 34 миллиона, а в 1933-м — только 16,6 миллиона. И те 3 миллиона 100 тысяч лошадиных сил, что дал тракторный парк, не могли восполнить гибели 17,4 миллиона лошадей. Только для простой компенсации требовалось теперь еще около 1 миллиона тракторов! Это если не учитывать того, что за эти годы лошадиный парк должен был возрасти в сравнении с 1929 годом. Таким образом, за четыре года интенсивной коллективизации реальное техническое оснащение нашего сельского хозяйства не возросло, а понизилось.

Нельзя пройти мимо и такого важного обстоятельства. На XVI съезде партии Сталин сказал, что «**ежегодный** прирост населения составляет у нас около 3 миллионов душ». На

XVII партийном съезде он сообщил, что в 1930 году население нашей страны равнялось 160,5 миллиона человек. Стало быть, к началу Второй мировой войны в Европе у нас должно было быть 190 миллионов, говоря словами Сталина, душ. А у нас их согласно переписи населения 1939 года было только 170 миллионов.

Таким образом, в результате выселений, переселений, ссылок, «приливов» и «отливов», страшного голода, массовых репрессий в период коллективизации, последующих репрессий и прочих мероприятий, от которых происходило массовое «головокружение», мы к началу войны недосчитались 20 миллионов человек, т. е. в результате гибели и недорода мы потеряли столько же, сколько потеряли во время Великой Отечественной войны.

Пусть теперь нам кто-нибудь докажет, только с цифрами в руках и без притворных эмоций, что не коллективизация вообще как определенная перестройка сельского хозяйства, а конкретная, проведенная Сталиным коллективизация обеспечила нам победу в самой страшной и самой кровопролитной войне, которая лежит на памяти человечества.

Попутно замечу. У нас очень плохо обстоят дела со статистикой. Но я специально не искал никаких статистических данных на стороне, а пользовался лишь теми данными, которые были открыты всегда, то есть собранием сочинений Сталина. Возможно, при издании сочинений, что-то в них было исправлено, что-то изменено, но мне помимо всего прочего было важно еще выяснить, какой информацией мы располагали о двадцатых и тридцатых годах даже при жизни Сталина и достаточна ли она была, чтобы представить картину «сталинской эпохи» в несколько ином виде, чем та, которую рисовала официальная пропаганда. И мне представляется, информации было достаточно, недоставало да и по сей день недостает чего-то другого и прежде всего, наверное, желания или способности взглянуть на нашу недавнюю историю непредвзято и объективно. Окончательный приговор Сталину вынесет История, но и нам она вынесет свое частное определение, а содержание его будет зависеть и от содержания той работы, что мы проделаем в направлении осмысления эпохи, которую мы сейчас называем «сталинской». И вряд ли следует в рекламных или в каких-либо других целях делать ту эпоху излишне загадочной, таинственной и вообще непостижимой уму, как это пытался сделать в своей статье «Что позади?» Д. Иванов, под-

меняя анализ романа А. Рыбакова «Дети Арбата» восторгами, в искренность которых трудно поверить.

КАПИТАН прогуливался по палубе один. Ночная бескрайность, придавленная черным куполом небесной тишины, тихо стонала за бортом, порождая ощущение особого, почти космического одиночества, когда все обретает свою абсолютную отдаленность и отделенность. Реальность прожитых лет и свершенных дел не обременяла памяти, а представлялась непроходящей явью, но уже не имеющей к нему живого отношения; в глубинных слоях памяти осели лишь те эпизоды его жизни, которые История не учтет по причине их внешней незначительности, вернее, незаметности, но которые открыли ему дорогу в вечность.

История... История только осуществляется на суше, а творится она вот тут, на океанских просторах, где нет ничего постоянного, кроме постоянной изменчивости. Катятся, катятся откуда-то и куда-то утомительно бесконечные волны, безжалостно стирая следы человеческой деятельности и поглощая энергию земных цивилизаций. На суше и таракан оставит по себе след, а здесь — пройдет его грозный флагман, грозный лишь для людей, и нет никакого следа, никакой памяти. КАПИТАН вдруг ощутил свою полную ничтожность и мимолетную временность, из груди его вырвался вздох, похожий на всхлип. Трудным напряжением воли он подавил прилипшую к душе усталость, силясь воскресить былые мгновения неожиданных озарений, когда вдруг становился виден далеко впереди путь в будущее, но сейчас душа, стиснутая между прошлым и настоящим, все сжималась и сжималась, готовая навсегда уйти в самое себя и оставить ничем не заполняемую пустоту. Черное слепое небо не манило ни в вечность, ни в будущее.

КАПИТАН выколотил и снова зарядил потухшую трубку, но разжигать ее не стал. Глаза привычно сощурились, и он разом увидел все морские дали, которые бороздил его старый, но не стареющий флагман, покоряя воображение людей и ломая их судьбы, ОКЕАН же по-прежнему оставался равнодушным и безучастным, творя свое тайное и вечное дело. А он, КАПИТАН, творил историю, повинуясь вселенским законам, а не пустым словам пустых или своекорыстных людей. ОКЕАН спорит не с человеком, ОКЕАН спорит с КОСМОСОМ, а может быть, навсегда им порабощенный, просто бунтует

себе в утешение. Иерархия тирании — вечный и универсальный закон вселенной, которому можно сопротивляться, но который нельзя преодолеть. Сколько ненужных слов придумало человечество в бесплодной надежде предаться лени и удовольствиям, пожирающим вселенское время и энергию людей, отпущенные каждому для какой-то высшей общей цели. Демократия... Свобода... Равенство... Коллегиальность... Пустые, нет, не пустые — лживые слова. При коллегиальном правлении, если такое и возможно, обобществляется не только ум, но и глупость правителей. Умная мысль всегда неожиданна, потому она встречает больше сопротивления, нежели мысль банальная, в силу чего коллегиальное правление непременно сползет в сторону банальности. Деспотизм — только частный случай единовластия, к тому же коллегиальный деспотизм ничуть не лучше единоличного, даже хуже, потому что ему всегда сопутствует коллективная безответственность. Деспоту могут померещиться и «кровавые мальчики», коллегии же не подвластны подобным миражам. Мысль о «кровавых мальчиках» занимала его недолго, перед ним живой, но безразличной явью прошли другие картины прошлого...

Его флагман вырывается из тесной лужи, именуемой Финским заливом, в просторы желанной Балтики, но что Балтика?! Так, внутренний водоем. Еще раньше он начал таранить вечные льды мертвого Ледовитого океана, предусмотрительно воткнув свой стяг на макушке глобуса. Его соколы первыми «открыли» Америку, оставив под крылом сотни холодных безжизненных километров. Но главное — он через Курилы и Сахалин прорвался в бассейн Тихого океана, где и будет твориться новая история. Европа? Европа безнадежно устала, у нее величественное прошлое, но нет будущего.

Явь минувшего дразнила, но не разжигала нужного для великих желаний воображения.

Будущее... И наплыла ставшая почти уже привычной тревога: «Кто примет из его рук руль победоносного флагмана?» Вокруг были люди, способные аккумулировать его волю, но не способные творить. Об этом он думать не любил, гнал подобные мысли, считая их преждевременными. Там, где он родился, живут долго, и он переживет всех своих старых и молодых соратников... Но эти мелкие радости не радовали, потому что были мелки и ничего не значили в его диалоге с вечностью. Он должен найти такую точку безразличия, которая дала бы не только надежное успокоение, но и сообщи-

ла бы великий смысл предстоящим земным деяниям. Он должен первым прорубить окно в Космос и тем самым открыть человечеству или перспективу совершенно новой жизни, или перспективу всеобщей скорой погибели. На визитной карточке, посланной в Космос, должно стоять его имя.

КАПИТАН чиркнул спичкой, озарив свое лицо мгновенным пламенем, вкусно и глубоко затянулся, в задумчивости отвел руку в сторону, ладонь ощутила легкое привычное тепло старой трубки, с его усталых усов стал сползать утекающий в океан седой туман.

«Если бы, если бы...» — невнятно пробормотал КАПИТАН и вдруг отчетливо изрек вслух: «История сослагательного наклонения не учитывает».

ОКЕАН принял эти его слова, ответив неожиданным ударом своей волны в борт флагмана. КАПИТАН, почему-то потеряв ориентировку, никак не мог сообразить, в какой же борт ударила волна: в левый или же в правый. Другая волна ударила в противоположный борт.

Кого боялся Сталин?..

В 1929 году Сталину исполнялось пятьдесят лет. «Государственное издательство» выпустило громадным по тому времени тиражом (300 000 экземпляров) сборник под названием «Сталин». Помимо приветствия ИККИ, приветствия ЦК ВКП(б), биографии Сталина и приложения, в котором перечислялись различные организации, приславшие юбиляру свои поздравления, в него вошли статьи, авторитетно свидетельствующие о многогранной и плодотворной деятельности Сталина как партийного вождя и государственного деятеля. Перечень статей даю в том порядке, в каком они представлены в сборнике: «Рулевой большевизма» (М. Калинин), «Сталин и индустриализация страны» (В. Куйбышев), «Сталин и партия» (Л. Каганович), «Сталин и Красная Армия» (К. Ворошилов), «Сталин как вождь Коминтерна» (Д. Мануильский), «Сталин и дело большевизации секций Коминтерна» (О. Куусинен), «Теоретик и практик» (Г. Крумин), «Сталин как теоретик ленинизма» (В. Адоратский), «Сталин и национальная политика ленинской партии» (Н. Попов), «Твердокаменный большевик» (С. Орджоникидзе), «Революционер-большевик» (Ем. Ярославский), «Стальной солдат большевистской партии» (А. Микоян), «Ленинец, организатор, вождь» (А. Бубнов), «Сталин —

продолжатель дела Ленина» (М. Савельев), «Отрывки воспоминаний» (А. Енукидзе), «Штрихи» (Демьян Бедный) .

Это весьма любопытное издание достойным образом заключал ответный «тост» юбиляра:

«Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию. И именно потому, что отношу их на счет нашей славной ленинской партии, беру на себя смелость ответить вам большевистской благодарностью.

Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей.

С глубоким уважением *И. Сталин.*

21/XII 1929 г.»

Как видим, модель «культа» была создана и публично провозглашена еще в 1929 году, в дальнейшем она только развивалась в соответствии с конкретными событиями и обстоятельствами. Конец двадцатых годов станет поворотным в нашей истории, изменится не только характер и стиль внутрипартийной жизни, изменится коренным образом социальная структура нашего государства, а соответственно и вся общественная атмосфера.

Но вот минет пятнадцать с половиной лет, и на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии (24 мая 1945 года) Сталин поднимет тост, в котором не станет объяснять, по чьему образу и подобию он был сотворен и воспитан. Приведу это выступление полностью, так как текст его раздерган по цитатам, в силу чего утратил свою подлинную содержательность:

«Товарищи, разрешите мне поднять еще один тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа.

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа!»

Между этим тостом и юбилейным тостом 1929 года видна не только громадная, но и принципиальная разница: если в 1929 году такая категория, как «русский народ» никак не упоминалась ни в юбилейных «одах», ни в ответном «тосте», то в 1945 году эта категория возводится в ранг *руководящей и решающей силы.* Очень знаменательная перемена.

Конечно, сейчас без всякого для себя риска можно сказать, что то были пустые слова. Нет, не пустые. Обратим сначала внимание на такую деталь: в тексте несколько раз употребляется слово «правительство», причем в одних случаях оно пишется с заглавной буквы, в других — со строчной. Не так уж трудно и понять, что в тех случаях, когда дается заглавная буква, то следует подразумевать автора тоста, а там, где дается буква строчная, следует подразумевать правительство в собственном смысле этого слова. «У нашего правительства было немало ошибок». Народ мог сказать: «Мы поставим другое правительство». Тут Сталин имел в виду не себя, но там, где говорится о доверии русского народа к «Правительству» или возможном к нему недоверии, Сталин подразумевал именно себя, однако в качестве альтернативы себе он выдвигал только такое правительство, которое бы капитулировало перед Германией («...мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой»).

Таким образом, веру русского народа в правительство Сталин связал только с собственной персоной и тем самым обозначил свою особую заслугу в одержанной победе над фашизмом.

«Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа!»

Этими с глубоким подтекстом словами Сталин вынес общую благодарность русскому народу, а сидящие рядом с генералиссимусом маршалы и генералы — законные здесь представители своего народа — были начисто обойдены верховным вниманием, их личные заслуги как бы были растворены в общей благодарности. Так демократичнее. Никого нельзя выделять, ничье имя нельзя заносить в исторические святцы. Хотя на дворе и не тридцать седьмой год, но мало ли что...

Но в тот праздничный день Сталин позволил признаться и в своем страхе перед русским народом, правда, это свое состояние он ограничил рамками сорок первого — сорок второго годов. На самом же деле Сталин испытывал страх перед русским народом всегда, повидав его не только в дни мира, но и в дни войны — гражданской войны.

Вернемся снова в двадцатые годы. В декабре 1927 года на XV съезде партии Сталин говорит: «Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьянские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в крупные хозяйства на основе общественной, товарищеской, коллективной обработки земли, с применением сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением научных приемов интенсификации земледелия.

Других выходов нет».

Однако, как мы знаем, Сталин нашел другой выход, который привел к страшному голоду, к массовому вымиранию людей, к возникновению серьезнейшей продовольственной проблемы. Что же побудило Сталина резко изменить курс в деле преобразования деревни? Прежде всего, мне думается, страх. Уже через полгода Сталин так повернет этот вопрос: «Выступавшие товарищи были совершенно правы, когда они говорили, что нынешний крестьянин уже не тот, каким он был лет шесть назад, когда он боялся потерять землю в пользу помещика. Помещика крестьянин уже забывает. Теперь он требует новых, более хороших условий жизни. *Можем ли мы в случае нападения врагов вести войну и с внешним врагом на фронте, и с мужиком в тылу* ради экстренного получения хлеба для армии? Нет, не можем и не должны. Чтобы оборонять страну, мы должны иметь известные запасы для снабжения армии, хотя бы на первые шесть месяцев. Для чего необходимы эти шесть месяцев передышки? Для того, *чтобы дать крестья-*

нину очухаться, освоиться с опасностью войны, разобраться в событиях и подтянуться ради общего дела обороны страны» (выделено мной. — *А. Л.*).

Итак, по Сталину, крестьянин по прошествии десяти лет не станет защищать завоевания революции, так как он стал уже забывать помещика. А что Сталин по этому поводу думал тогда, когда крестьянин еще никак не мог забыть помещика?

«Я должен сказать, — говорил Сталин в 1918 году на VIII съезде партии, — что те элементы, нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии — *крестьяне, не будут добровольно драться за социализм.*

Ряд бунтов в тылу, на фронтах, ряд эксцессов на фронтах показывают, что *непролетарские элементы, составляющие большинство нашей армии, драться добровольно за коммунизм не хотят. Отсюда наша задача — эти элементы перевоспитать в духе железной дисциплины,* повести их за пролетариатом не только в тылу, но и на фронтах, *заставить воевать за наше общее социалистическое дело* и в ходе войны завершить строительство нашей регулярной армии, единственно способной защищать страну» (выделено мной. — *А. Л.*).

В 1928 году наша армия была достаточно сильна, но она по-прежнему оставалась по преимуществу крестьянской, т. е., говоря словами Сталина, большинство ее составляли «нерабочие, непролетарские элементы». Вот с этими «элементами» Сталин и решил покончить раз и навсегда, а для этого и нужно было, чтобы крестьянин, оставаясь тружеником, перестал быть собственником, хозяином на земле. Крестьянина следовало «перевоспитать в духе железной дисциплины». И методы, какими началась проводиться коллективизация, были обусловлены вовсе не экономическими задачами.

Казалось, здравый смысл подсказывал, что в первоначальный период коллективизации, когда еще не были построены колхозные конюшни и не был организован элементарный уход за общественным лошадиным парком, бывшие владельцы до поры до времени могли бы, получая от колхозов необходимое фуражное довольствие, содержать лошадей при собственном хозяйстве, обеспечивая им необходимый уход и неся за них ответственность. Но как раз строже всего контролировалось содержание лошадей в колхозном табуне, и никакой массовый падеж лошадей не поколебал этого принципа. И тут на первый план выдвигались отнюдь не хозяйственные выгоды.

Известно, какую важную роль в жизни крестьянина всегда играла лошадь. Безлошадный крестьянин считался неполноценным хозяином, и ему грозила вечная ото всех зависимость. Лошадь была не только главной тягловой силой, но и универсальным транспортным средством, обеспечивающим крестьянину определенный коммерческий маневр и самые разнообразные связи с остальным миром. Обобществление лошадей нарушило прежний уклад, превратив крестьянина в Робинзона, отъединенного в своей повседневной хозяйственной и общественной жизни от соседних поселений и городских центров. Сталин прекрасно понимал, что крестьянин без лошади не способен ни к какому организованному сопротивлению, поэтому-то лошадь была навсегда исключена из личного пользования крестьянина, она была приравнена почти что к танку.

На всякий случай у крестьян еще отобрали паспорта, чтобы никто никуда не мог отлучаться без ведома начальства, правда, молодые люди, отслужившие в армии срочную службу, получали своего рода «вольную». Но это обстоятельство никак не противоречило общей установке. Наиболее динамичные и беспокойные молодые люди, получившие хорошую военную подготовку, были бы в деревне нежелательными элементами, вот они и оседали в городских и рабочих поселках, начиная под влиянием неофициальной пропаганды гордиться, а лучше сказать, чваниться своим новым недеревенским положением.

Помнится, в довоенном детстве в нас вызывало умиление любое изображение негра, а книга «Хижина дяди Тома» была почти что самым популярным произведением для детей. Однако мы, воспитываемые в духе интернационализма и классовой солидарности, почему-то не без снисхождения относились к своим деревенским соотечественникам. Во всяком случае, слово «деревенский» всегда заключало какой-то негативный и даже оскорбительный смысл. Когда же говорилось об отсталости деревни, то почему-то всегда называлась или подразумевалась именно русская деревня. И это вбивалось в детские головы каким-то «подпольным» образом и оседало в них если и не навсегда, то надолго, причудливым образом уживаясь с государственным знаком, на равных правах соединяющим серп и молот.

Почему Сталин признавал только наступательную стратегию? Только из престижа или самолюбия? Ничего подобного. Он хорошо понимал, какое насилие он совершил над кре-

стьянством, а потому и не верил, что самый многочисленный класс станет защищать социалистическое отечество, как не верил он в 1918 и в 1928 годах, что крестьяне будут защищать социализм. Вот почему его и охватил страх в первые дни войны, когда гитлеровские полчища вторглись на территорию нашей страны. Только 3 июля 1941 года Сталин отважится обратиться к народу, причем впервые он обратится не к массе, а к народу («братья и сестры» и т. д.). Вскоре же он потревожит и память наших великих предков.

Мне думается, по меньшей мере несерьезным искать какие-то случайные свидетельства сталинской трусости, а его подозрительность выводить из будто бы присущего ему комплекса неполноценности. Сталин был дерзким, смелым и достаточно уверенным в себе человеком, иначе из него никогда не получился бы Сталин. А что касается страха и подозрительности, то их ему навсегда привил 1929 год, когда он совершил глобальное преступление против целого трудового класса, составлявшего большинство народа, и это его преступление закономерно вызвало цепную реакцию других преступлений.

Сейчас вроде бы все хотят правды — да вот только какой?

В № 6 журнала «Наука и жизнь» за 1987 год академик А. Самсонов в статье «Главное в истории — правда» пишет: «Слишком долго нас заставляли писать не то, что было, а то, что нужно к соответствующему событию жизни. И слишком суровые кары обрушивались на тех, кто отступал от шаблона в исторических работах, пытался высказывать в них свое мнение, активно и деятельно стремился показать подлинную историческую правду».

И тут как-то трудно понять: то ли звание академика и есть та суровая кара, которая «обрушивалась» на ученых-историков, высказывающих в своих работах собственное мнение, то ли это звание есть та плата, которую ученый получал, если он собственное мнение приберегал для более удобного случая. Так или иначе, но если верить академику А. Самсонову, то исторической науки у нас пока нет, зато академики имеются. Любопытная ситуация.

Свою статью академик А. Самсонов написал в поддержку неопубликованного ранее доклада К. Симонова «Уроки истории и долг писателя», написанного еще в 1965 году.

«Эта работа, — пишет академик А. Самсонов, — пример высокой гражданственности в оценке исторических событий, стра-

стный призыв к очистительной правде в исторических работах. Правда и только правда может звать и вести народ вперед».

Ох, сколько же у нас охотников вести народ *вперед!* Я тут имею в виду не К. Симонова, а нынешнего интерпретатора его давнишнего доклада, узревшего в нем истину в своей последней инстанции. Но я не побоюсь суровой кары, о которой говорил уважаемый ученый, и выскажу все-таки свое собственное мнение, не набиваясь в водители народа.

«Нам неизвестно, — писал К. Симонов, — и останется неизвестным, как воевал бы в 1941 году Блюхер или Белов, Дыбенко или Федько. Об этом можно говорить только предположительно». Что ж, сказано очень трезво и очень резонно. А вот дальше: «Но зато нам твердо известно другое: не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года, и в этом корень вопроса».

Разумеется, никто не станет утверждать, что массовые репрессии 1937 года укрепили обороноспособность нашей страны, но «корень вопроса» нужно искать все-таки не здесь, «корень вопроса» нужно искать в событиях 1929 года, из которых закономерно и неотвратимо развились и события 1937 года.

Если мы говорим о нарушениях законности, то нам не следует утыкаться в 1937 год. Подобные нарушения сплошь и рядом творились во время Гражданской войны, их волна широко захватила и двадцатые годы (не случайно многие русские интеллигенты вынуждены были в этот период покинуть страну). Но тут вина падает не только на Сталина. Думается, этот период представляет историкам широкое поле для активной исследовательской деятельности.

Но вот когда Сталин, сосредоточив в своих руках всю реальную власть, посулил деревенской бедноте 25 % конфискованного у кулаков и зажиточных, он фактически развязал в деревне гражданскую войну, в результате которой свободные крестьяне превратились в «данников» (между прочим, на слове «дань» настаивал сам Сталин, настаивал упорно и неоднократно). И тут уж главная вина лежит на Сталине. Как только он разорил деревню, так сразу же понял, что теперь любой его политический противник окажется для него непобедимым, если обратит свой взор в сторону крестьянства. Поэтому-то Сталин и увидел в правом уклоне главную для себя опасность. И массовые репрессии в армии были тогда уже предопределены, так как армия по своему социальному составу продолжала оставаться по преимуществу крестьянской. Теперь малейшее подозрение

стало разрастаться в воображении Сталина в глобальную угрозу военно-крестьянского мятежа, руководимого каким-нибудь крупным военачальником. Во всяком случае, до коллективизации ни в армии, ни в государственном, ни в хозяйственном аппаратах массовых репрессий не производилось.

Кандидат исторических наук П. Петров упрекает писателя А. Рыбакова: «Считаете ли Вы, что у руководства партии и страны в 30-е годы не было трудностей в решении проблем социалистического строительства в смысле подготовленности человеческого фактора, его умения, квалификации, настроения и энергии? Были ли жертвы без причин? А где некультурные истязатели жертв? Это же делали выходцы из народа.

Почему все просчеты, трудности и жертвы надо приписывать Сталину, *руководившему народом с невысоким культурным уровнем* в обстановке ожесточенной классовой борьбы на международной арене, когда мировая империалистическая буржуазия буквально наседала на нашу страну? Могло ли быть без жертв? Или мы теперь сильны задним умом? Забыли обстановку?» («Лит. газ.», 1987, № 34.).

Разумеется, не все негативные явления «сталинской эпохи» следует приписывать персонально Сталину, иначе мы превратим его в злого, но всемогущего бога, т. е. просто поменяем знак «плюс» на знак «минус». К тому же, взваливая всю вину на Сталина, мы тем самым автоматически снимаем всякую *ответственность с тех, кто делил с ним власть,* более того, мы и на будущее освобождаем каждого от какой-либо ответственности, кто не играет в истории заглавной роли.

Но, скажите, каким образом можно увязать разорение деревни и массовые репрессии с «ожесточенной классовой борьбой на международной арене»? Сталин тут был логичнее, постоянно говоря об обострении классовой борьбы внутри страны. И по-моему, как-то неловко кандидату исторических наук, доценту спрашивать: «Или мы теперь сильны задним умом?» А чем тогда должна быть сильна историческая наука, как «не задним умом»?

И совсем уж нелепо оправдывать Сталина тем, что он руководил «народом с невысоким культурным уровнем», и утверждать, будто «истязатели жертв» — сплошь «выходцы из народа». К сожалению, П. Петров не уточнил, кого следует подразумевать под этими самыми «выходцами».

Впрочем, мы никогда ничего не поймем в явлении, получившем название «культа личности», если будем смотреть на

Гражданскую войну не с точки зрения «Тихого Дона», а с точки зрения «Свадьбы в Малиновке». Гражданская война — величайшая трагедия, которую может пережить народ в своей истории, и она всегда сопряжена с нарушениями всяких норм законности, когда главным доводом в пользу того или другого закона является сила.

В мою задачу не входит анализ эпохи гражданской войны, но я не могу не привести здесь текста официального документа, в котором подводится общий трагический итог той отнюдь не романтической эпохи.

«Б. (беспризорность. — *А. Л.*) в СССР приняла особо угрожающие размеры в 1921 — когда сильнее всего сказались итоги хозяйственной разрухи, эпидемии и голода, вызванных империалистической войной и последовавшей за ней гражданской войной, интервенцией и блокадой. К 1922 общее количество беспризорных и детей, лишенных всяких средств к существованию, исчислялось почти в 7 млн. чел. Б. выросла, таким образом в государственную и общественно-педагогическую проблему... *По социальному составу* главная масса беспризорных — дети крестьян, за ними следуют дети рабочих». (БСЭ, 1927, т. 5, с. 786.)

Вот с таким наследием входила страна в страшные двадцатые годы, которые отдельные литераторы, исходя *из личной удачливости,* готовы считать «золотым веком». А помните астафьевского «Паралитика»? Полчеловека, а злобы на пятерых! И сколько таких «Паралитиков» можно было насчитать среди *семи миллионов беспризорных?* Я не хочу бросать тень на всех бывших беспризорных, но лет через десять — пятнадцать из семи-то миллионов можно было сколотить «гвардию», готовую на все.

Нет, никакой правды о прошлом у нас не получится, если мы начнем ее искусственно усекать, а такая тенденция, к сожалению, проглядывает довольно отчетливо. Опубликовали романы А. Рыбакова и В. Дудинцева — прекрасно. Однако не следует замалчивать и роман Н. Скромного — он тоже о прошлом. Опубликовали произведения А. Платонова и М. Булгакова — замечательно. Но почему же замолчали повесть В. Шишкова «Ватага» о Гражданской войне, впервые изданную после журнальной ее публикации двадцатых годов в издательстве «Современник»? Конечно, по прочтении шишковской «Ватаги» как-то не потянет напевать романтические песенки про «конницу-буденницу», про «тачанку-ростовчанку» или про «Ка-

ховку, Каховку, родную винтовку», под которые в свое время так хорошо западали в душу слова Сталина об «усилении классовой борьбы». За нашу былую бодрость мы слишком дорого заплатили.

Было, было откуда рекрутировать «некультурных истязателей жертв». Приплюсуйте к тем семи миллионам беспризорных, что дала Гражданская война, еще беспризорных, которых дал голод в Поволжье, и разорение деревни, начавшееся в двадцать девятом году. Но П. Петров обиделся на А. Рыбакова за то, что он показал нам вполне «культурных», дипломированных «истязателей жертв».

Конечно, Юра Шарок, Вика Марасевич да и ее брат Вадим, все эти «дети» Арбата — подонки, пусть Вадим только приспособленец, а Вика всего-навсего лишь стукачка. Но бог с ними, где и когда не было швали? Интересен в силу своей неоднозначности, конечно же, Саша Панкратов, его характер и поступки во многом объясняют то время, хотя кое-где автор несколько модернизирует этот образ.

Вот диалог Саши Панкратова и его дяди Марка Александровича из первой главы романа (действие происходит в 1933 году):

«— Правда, Ленин писал, что Сталин груб и нелоялен?

— Откуда ты знаешь?

— Какая разница... Знаю. Писал ведь?!

— Это качества сугубо личные, — сказал Марк, — они не главное. Главное — политическая линия.

— Разве это можно разделить? — возразил Саша, вспомнив в эту минуту Баулина и Лозгачева.

— Ты в этом сомневаешься?

— Как-то не думал. Я ведь тоже за Сталина. Но хотелось бы поменьше славословий — режут ухо».

Подобный разговор между молодым членом партии и членом партии с солидным стажем мог состояться несколько позже, когда уже постарались забыть о «завещании» Ленина.

23 октября 1927 года на заседании объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) Сталин выступил с речью «Троцкистская оппозиция прежде и теперь», сначала он процитировал статью Троцкого «По поводу книги Истмена "После смерти Ленина"», в которой, в частности, говорилось: «Всякие разговоры о скрытом или нарушенном «завещании» представляют собою злостный вымысел и целиком направлены против фактической воли Владимира Ильича». А далее Сталин призна-

ется: «Говорят, что в этом «завещании» тов. Ленин предлагал съезду ввиду «грубости» Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно... Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, **обязали** Сталина остаться на своем посту... Через год после этого я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться на посту... Характерно, что ни одного слова, ни одного намека нет в «завещании» насчет ошибок Сталина. Говорится там только о грубости Сталина. Но грубость не есть и не может быть недостатком **политической** линии или позиции Сталина».

2 ноября 1927 года эта речь Сталина была опубликована в «Правде», так что напрасно удивлялся дядя «познаниям» своего племянника — двадцатидвухлетнего члена партии. Удивительнее было бы, если член партии с высшим образованием ничего не знал бы о борьбе Сталина с «троцкистской» оппозицией. В 1933 году подобный разговор, во всяком случае в домашней обстановке, еще не мог восприниматься как крамольный.

Эта модернизация, конечно, не бросает никакой тени на самого Сашу Панкратова, которого автор оценивает как очень положительного человека. «У меня, — признается А. Рыбаков, — нет ни одного литературного героя — моего двойника. И Саша — не я. Думаю, что он как человек лучше меня».

Признаюсь, меня такое равнение несколько удивило, но еще больше меня удивило письмо аспиранта-математика из Москвы В. Петроченко.

«Ваш герой Саша Панкратов, — пишет В. Петроченко, — по-настоящему хороший и честный человек. Он мой ровесник, ведь мне сейчас 23 года. То, что Саша никогда не поступает против своей совести, то, что им всегда движет чувство справедливости, делает его особенно близким нам, чье детство и юность пришлись на 70—80-е годы. Я знаю мнение своих друзей о Вашей книге и могу сказать, что нам очень не хватало такой книги и такого героя, как Саша».

Действительно, роман А. Рыбакова пользуется сейчас большой популярностью, воспринимается он по-разному, о чем свидетельствует хотя бы та читательская почта, что была

опубликована в «Литературной газете» (1987, № 34), и в частности, письма москвичей П. Петрова и В. Петроченко. Приведу еще две выдержки, в которых роман «Дети Арбата» оценивается диаметрально противоположно:

«Ваш роман силен правдой — и жизненной, и художественной. Он будет содействовать революции в сознании людей, без которой невозможны революционные преобразования в экономике и в общественно-политической жизни, провозглашенные и проводимые М.С. Горбачевым.

И. Пилипенко».

«Для меня и моих товарищей по возрасту, близкому к Вашему, Ваша позиция странна. Публиковать Ваш роман «Дети Арбата» — очередная чья-то ошибка. Не морочьте головы молодым, не омрачайте воспоминания о прекрасной молодости Вашим сверстникам.

Ваша бывшая почитательница *К. Сидорова»*.

Удивляет и даже обеспокоивает не читательское разномыслие, а та категоричность, что сквозит в каждом суждении. Возможно, здесь в какой-то мере повинен и сам автор романа, приписавший в самом начале повествования Саше Панкратову неприятие грубости и тем самым сделавший заявку на его особую интеллигентность. Даже в любимом вожде Саша осуждает грубость.

А вот чего стоила его собственная интеллигентность на деле.

«Саше нравились отвага Володи, сопротивление, которое он оказывает начальству, достоинство, с которым держится. *Но он абсолютно не принимал чужого образа мыслей, этот недостаток Саша знал и в себе»* (выделено мной. — *А. Л.*).

Очень скоро Саша доказал свою нетерпимость на деле. В деревне Дворец (а все это происходило на этапе) Борис Соловейчик познакомил Сашу со стариком Антоном Семеновичем, бывшим поваром императорского двора, которого теперь освободили и вызвали в Москву, как сказал Борис, «кормить послов и посланников». Выпили. Поговорили...

«— Слава богу, все кончилось, — сочувственно проговорил Борис, — все с вас снято, возвращаетесь домой.

— Домой?! — Антон Семенович с ненавистью посмотрел на Бориса. — Где он, дом-то? В Бердичеве?

Так! Вот и урок Борису: не увлекайся каждой сомнительной личностью.

— А ну, чеши отсюда, мать твою через семь горбов в мертвый глаз! — сказал Саша.

— Нет! — Борис встал, подошел к двери, накинул крючок.

— Вы чего, ребята? — беспокойно забормотал Антон Семенович. — Я ведь в шутку.

— Последний раз шутил, стерва, — усмехнулся Саша.

Борис навалился на Антона Семеновича, прижал голову к столу.

— Ребята, пустите, — хрипел Антон Семенович, выкатывая дрянные белесые глаза.

— Не до конца его, Боря, на мою долю оставьте, — сказал Саша...»

Потом Саша сбросит избитого старика с крыльца. Все это происходило на этапе, где били не Сашу, а где бил Саша. А вот и место ссылки — деревня Мозгова. «Как-то Саша поехал с Тимофеем (старший сын хозяйки. — *А. Л.*) на остров на покос». По пути Тимофей стал излагать «теорию прибавочной стоимости: материальные ценности создает Тимофей, создают крестьяне, а Саша и такие, как Саша, ничего не производят». Саша будет молчать. Потом Тимофей, усмехнувшись, пригрозит Саше утопить его. Саша опять промолчит. Так они и дотянут до берега.

«— Что же ты меня не утопил? — спросил Саша.

— Галиться будешь, взаболь утоплю, — пригрозил Тимофей.

— Зря не утопил.

— Почему такое?

— А потому, что убью тебя сейчас, — сказал Саша.

Тимофей сделал шаг назад.

— Но, но, не балуй!

Пустынный остров на краю земли. Где-то в глубине его работают косари. Роится и гудит гнус, и больше ни звука на реке. Мира нет, человечества нет, есть только они двое, и вот наконец Авель воздаст Каину за грехи его, за все преступления его.

Не спуская с Саши напряженного взгляда, Тимофей медленно отступал, потом повернулся и бросился к лодке, к косам. Саша настиг его, ткнул кулаком в спину, Тимофей упал в воду, поднялся, обернулся, Саша сильно ударил его в лицо, Тимофей опять упал и, расплескивая воду, пополз к берегу.

Нет, он не убьет Тимофея, не будет погибать из-за дерьма...»

А перед самым этим эпизодом мы читаем: «Народ! Великий, могучий, но еще темный, невежественный, перед кото-

рым Саша, как и всякий русский интеллигент, всегда испытывал чувство вины».

И вот встречаются два брата: русский интеллигент и мужик, нет, не вину перед мужиком несет в своей душе интеллигент новой формации, а обвинительный акт со смертным в конце приговором. Ведь Саша не убил Тимофея только из-за того, что не хотел «погибать из-за дерьма». «И вот наконец Авель воздаст Каину за грехи его...» Если русский интеллигент всегда чувствовал вину перед народом, а под народом он подразумевал именно мужика, стало быть, на совести интеллигента лежат какие-то грехи, стало быть, интеллигент и есть грешный Каин. Чувство вины перед народом (перед мужиком) разжигает в Саше желание убить Тимофея (мужика), и останавливает его здесь лишь страх ответственности. Каин как бы во второй раз пытается убить Авеля. Это уже нечто нетрадиционное.

Конечно, Юрий Шарок негодяй, негодяи проникали во все ведомства, в том числе и в НКВД. Нет такого ведомства, в котором служили бы одни ангелы, но философию времени, философию эпохи определяют не негодяи. Юра Шарок ничего нам не «расскажет» своей судьбой о той эпохе, в которую он жил, потому как он — негодяй.

Другое дело — Саша Панкратов, его негодяем не назовешь, он, в общем-то, честный, принципиальный человек, он пытается самостоятельно думать и постоянно заботится о сохранении собственного достоинства. *Но Саша Панкратов — типичный продукт своего времени,* он нетерпим, нелоялен и откровенно груб, он возвел в абсолютный закон принцип своего времени: «Если враг не сдается — его уничтожают», «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Представьте себе, что на работу в НКВД берут не только Юру Шарока, но и «русского интеллигента» Сашу Панкратова. Вы думаете, Саша как-то оздоровил бы там атмосферу? Ничего подобного. Он бы, уверенный в своей правоте, расстреливал бы (пусть не самолично) подряд всех Антонов Семеновичей, Тимофеев и прочих, чьи мысли не совпадают с его мыслями и чьи чувства не подчиняются его чувствам. И все бы он это делал с чистой совестью и с легкой душой.

Преувеличиваю? Нисколько. Мы уже, ссылаясь на текст романа, говорили, что Саша «не принимал чужого образа мыслей». А вот еще одно очень ценное свидетельство:

«Саша тоже выходил на берег, вместе со всеми ждал почту, но письма получал только от Соловейчика — «Наполеону в ссылке», так и было написано на конверте, он все шутил, бедняга Соловейчик...»

«Мы все глядим в Наполеоны...» — провидческие слова. Сначала интеллигенция пошла «в народ», чтобы рассказать ему, как жить, затем интеллигенция пошла «в народ», чтобы помочь ему жить (учила, лечила), теперь интеллигенция пошла «в народ», чтобы бить его по морде, но не просто так, а из соображения «политической линии». Сталин ведь тоже признавался в своей грубости, но и находил ей оправдывающее объяснение. «Да, я груб, товарищи, — признавался Сталин, — в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но это у меня не получается».

Нет, с Юриями Шароками Сталин далеко не пошел бы, ему нужны были Саши Панкратовы, способные, талантливые и субъективно честные люди, однако лишенные нравственного самодержавия, которое только и предохраняет от политических игр, где народ в целом и каждый человек в отдельности — всего лишь игровые фигуры. «Я вырос, — сказал Наполеон, — на полях битв: такому человеку, как я, плевать на жизнь миллионов людей!» Сталин тоже постоянно вел битвы, но только в пределах собственной страны: в результате Гражданской войны он стал фактически вторым человеком в государстве, после смерти Ленина — первым, после коллективизации — не просто первым, *единственным.* Но Сталин хорошо знал, что останавливаться нельзя, и он выдвигает лозунг обострения классовой борьбы, который позволил ему всю страну держать в постоянном напряжении, а что касается «жизни миллионов людей», то ему, как и Наполеону, было плевать на них. И Сталин устраивает великую гонку с препятствиями, на которых многие ломают себе шею, но никого это не останавливает, соревновательный азарт одолевает все, в том числе и страх.

Саша Панкратов идет в колонне по Красной площади и кричит, как все: «Сталин! Сталин!» Он любит вождя, через своего дядю, члена ЦК, он как бы чувствует свою близость к Сталину, только Саша пока не подозревает, как опасна эта близость: ведь чем выше ты оказался в пирамиде власти, тем теснее, тем ожесточеннее идет борьба...

Вспомним разговор Саши Панкратова и Володи Кавачадзе, когда судьба их свела на этапе:

«— Володя, чтобы не было недоразумений. Я разделяю линию партии. Будем держать свои взгляды при себе. Ни к чему бесполезные споры.

— У меня тем более нет желания дискутировать со сталинскими подголосками, — высокомерно ответил Володя, — но уж раз вы меня сюда загнали, то рот не заткнете.

Саша улыбнулся.

— Я вас сюда не загонял, меня самого загнали.

— Своя своих не познаша. А то бы выкручивали руки не хуже тех, канских.

— Представляю, что бы вы делали с нами, будь вы у власти, — сказал Саша.

— Вы бы и при нас тянули руки вверх, — презрительно заметил Кавачадзе.

— Не надо ссориться, ребята, — вмешался Борис...»

Дело тут не в ссоре, а в том азарте беспощадной борьбы, которым было отчасти заражено и молодое поколение. Росли, росли молодые бойцы для кровавых внутренних битв.

В № 36 «Огонька» за 1987 год было опубликовано письмо критика Л. Аннинского, в котором он, в частности, писал:

«В № 33 Евгений Евтушенко в стихотворении о памятниках, которые надо поставить жертвам необоснованных репрессий, пишет:

Кровавые слезы Блюхера
в металле еще отольются.
Якир с пьедестала протянет
гранитную руку стране...

Хотелось бы знать, как Евгений Евтушенко относится к тому факту, что подпись Блюхера в 1937 году стояла под обвинительным приговором Якиру... как бы нам перестать быть наивными людьми?»

Для этого, по-моему, не нужно торопиться с памятниками, а особенно тем, кто делил со Сталиным власть, ибо человек, делящий власть, делит и ответственность, во всяком случае, так должно быть. А то чего доброго по инерции установим монументы таким жертвам Сталина, как Ягода или Ежов. Если уж нам так хочется устанавливать памятники жертвам сталин-

ских репрессий, то не начать ли с рядовых тружеников — разве что не хватит ни гранита, ни металла? Или желания.

Казалось бы, что может быть мирнее биологических наук? А почитайте роман В. Дудинцева «Белые одежды» или повесть В. Амлинского «Оправдан будет каждый час...» — какие баталии ведут доктора наук, академики, и не всегда легко понять, кто перед тобой: ученый-биолог или завзятый политик.

В 1929 году Сталин, приступая к коллективизации, учреждает Академию сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), теперь вся биологическая наука централизована, академические звания должны увенчивать победителей в борьбе. Я некомпетентен в биологических науках и не мне быть арбитром в спорах ученых-биологов, но меня удивляет, почему ученые, связанные с земледелием, ничего не говорят о прогрессивных и непрогрессивных методах землепользования?

В томе БСЭ, подписанном к печати 15 декабря 1949 года, говорится: «А.С.Н. разрешила ряд больших проблем по поднятию продуктивности с. х-ва СССР.

Существующие формы пшеницы уже не могут удовлетворить передовые колхозы и совхозы нашей страны. Для получения урожая в 100 ц и выше с каждого гектара необходимо создать формы с колосом, дающим зерна в 5—6 раз больше, чем дает самый крупный колос лучшего сорта».

Сталин полагал, что наука поможет ему ликвидировать зависимость от крестьянства, Хрущев сначала возложил такие надежды на кукурузу, а затем на тотальную химизацию сельского хозяйства, при Брежневе началась коллективизация колхозов, т. е. укрупнение их. Все дружно «не помнили» ленинский план кооперации сельского хозяйства и в результате получили такую продовольственную проблему, которая поставила в тупик всю нашу экономику.

Еще в конце двадцатых годов Сталин популярно излагал, каким образом происходила индустриализация в ведущих капиталистических странах — главную роль там играли колонии и займы. Когда-то Сталин публично осудил Преображенского за то, что тот предлагал смотреть на деревню, как на колонию. Осудить-то он Преображенского осудил... Но ведь Сталин тогда осуждал и сверхиндустриализацию, и нажим на середняка, и форсирование коллективизации... Возможно, я в своем домысле и несправедлив. Но почему-то сегодняшние рыночные цены на мясо, творог, сметану и даже на соленые огурцы

и морковку таковы, будто перед тобой выложены «колониальные» товары.

Это нам мстит земля без хозяина, т. е. земля без защиты, *ничейная* земля.

Некоторые исследователи, да и неисследователи тоже, считают, будто в последние предвоенные годы и особенно в период самой войны Сталин пересмотрел свое отношение к русскому народу, итогом чему и явился его *тост* в честь русского народа. Да, 24 мая 1945 года Сталин скажет, что в период войны русский народ был руководящей и решающей силой, однако не пройдет и года, как в речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 года он уже ни единым словом не обмолвится о роли русского народа в минувшей войне.

«Наша победа означает, — будет теперь говорить Сталин, — что победил наш советский **общественный** строй, что советский общественный строй с успехом выдержал испытание в огне войны и доказал свою полную жизнеспособность...

Наша победа означает, во-вторых, что победил наш советский **государственный** строй, что наше многонациональное государство выдержало все испытания войной и доказало свою жизнеспособность...

Наша победа означает, в-третьих, что победили советские вооруженные силы, победила наша Красная Армия, что Красная Армия геройски выдержала все невзгоды войны, наголову разбила армии наших врагов и вышла из войны победительницей».

Вслед за этими словами с места раздастся возглас: «Под руководством товарища Сталина!» Бурные аплодисменты, переходящие в овацию, как бы санкционируют от имени народа и этот возглас и «забывчивость» вождя.

Впрочем, суть не в словах, а в делах. Без малого четыре года длилась война с Германией, из русских деревень было выметено поголовно все мужское население. Пусть не в сорок первом или сорок втором, но позже, когда победа уже не вызывала никакого сомнения, можно же было, хотя бы после госпиталей, давать солдатам небольшой отпуск? Сколько бы было сыграно свадеб, сколько бы появилось детей, пусть у многих из них потом погибли бы отцы, но у многих бы и вернулись. Окончилась война, и Сталин еще на несколько лет сверх положенного срока задержал демобилизацию солдат последних военных призывов — вымирало будущее деревни. Сталин, наверное, на-

деялся, что ВАСХНИЛ в скором времени вырастит ему колос, который сам будет давать по 100 ц пшеницы с гектара.

В декабре 1947 года отменят карточки на продовольственные товары. Теперь в городах можно было хоть поесть досыта. И затем ежегодно по весне станут снижаться цены, стало быть, жизненный уровень в городах наглядно начнет повышаться. А что в это время творилось в деревне? О том, наверное, и самому господу Богу не все было известно.

Окончится война, и великий Жуков отправится командовать одним из военных округов, а любимец армии Рокоссовский вынужден будет стать маршалом Польши. У нас же министром обороны окажется человек из невоенных — так надежнее. Булганин наденет маршальский мундир и примется осваивать верховую езду — министру положено на Красной площади гарцевать в седле. Это уже попозже догадаются приспособить для подобных целей «лимузины». А на карательных органах по-прежнему будет уверенно восседать земляк Сталина — маршал Лаврентий Берия. Такой пост русскому человеку доверять нельзя.

Ах, мавры, мавры... Они для того и существуют, чтобы делать свое дело, а затем уходить. Куда? На то у каждого своя судьба. Все, кажется, вставало на свои места, все возвращалось на круги своя...

И все-таки прежние страхи почему-то не отступали.

Русский народ очень терпелив, но...

КАПИТАН знал, самые опасные рифы остались позади. Он уверенно ведет свой флагман вперед, у него все хорошо, все хорошо, все его любят и все послушны. По древним китайским воззрениям, идущим еще от Конфуция, все зависит от личных качеств властителя... Значит, все должно быть только хорошо, и никто не должен думать, будто что-то может быть плохо — ведь всему на свете причиной — ОН. А если что-то не хорошо, то может быть оправдано и тираноубийство. Так, кажется, рассуждал китайский философ Мен Цзы — сторонник сильной императорской власти и противник Хью Кина, сторонника всеобщего равенства. А за бортом, в белой бесконечной мгле неба и слившегося с ним океана, исчезло все, даже звуки.

КАПИТАН пытался уйти памятью в прошлое, пытался воскресить какие-то образы, но и там все запорошило белой мглой, которой нет ни конца, ни края. Скоро его флагман

достигнет полюса — конца и начала всему на земле. Там его стяг, его старый стяг... Потом он начал ощущать холод, коченели ноги, он это знал, хотя самой боли и не ощущал. Откуда-то возникли белые тени, они принялись кружиться возле него — миражи. Мгла понемногу расползалась, он почувствовал во рту привкус своей старой трубки, а тени кружили и кружили, у них вроде бы даже обозначились лица, искаженные то ли гримасой палача, то ли гримасой смеха — и все беззвучно... Ему подумалось: «Врачи... палачи...» И вдруг отчетливый блеск кругленьких стекол — знакомое лицо. «Ла...» Беззвучным выстрелом рассыпались стекла, темные глаза, словно патронные гильзы, задымились белесым дымком. К нему стала приближаться красная точка. Вот она совсем близко.

Раздвоилась. Влетела в глаза. Страшный огонь разорвал все, на мгновение и навсегда открыв бесконечные тайны вечности. КАПИТАН всегда знал много тайн, которых не знал никто, теперь все узнали то, чего не знал он.

КАПИТАН не знал, что он уже умер.

Где-то далеко плескался ОКЕАН. Тишина...

1987—1989

«ЛЕДОКОЛ» ИДЕТ НА ТАРАН

Книга В. Суворова «Ледокол» преподнесена так, что каждый разговор о ней начинается с «аттестации» самого автора, но я начну с другого конца: с включенных в оформление рекламных выдержек из западных периодических изданий.

«Ди Вельт» от 23 марта 1989 года: «Эта книга написана профессиональным разведчиком, а не историком, и это резко повышает ее ценность (по мнению газеты, современная историческая наука очень даже выиграет, если всех историков заменят профессиональные разведчики. Мнение, конечно, самобытное, но все же, по-моему, не совсем бесспорное. — *А. Л.*). Советские товарищи и их западные друзья будут в дикой ярости. Не слушайте их, читайте «Ледокол»! Это честная книга».

Внял вам, господа, прочитал. Только зачем морочить читателю голову, говоря, будто «Ледокол» стер последнее «белое пятно» в советской истории? Их в ней осталось еще великое множество. Впрочем, как и в вашей тоже.

«Таймс» от 5 мая 1990 года усиленно рекомендует читателям «считать «Ледокол» самым оригинальным произведением в современной истории».

В былые времена в европейской исторической науке больше ценились несколько иные качества: научная осведомленность, глубина и самостоятельность анализа, интеллектуальная честность и даже изящество стиля. Хотя, конечно, сегодня, на исходе XX столетия, когда агитпроп почти доконал общеевропейскую культуру, шкала ценностей в общественных науках претерпела серьезнейшие изменения. А что касается оригинальности, то автору «Ледокола» ой как далеко, скажем, до В. Познера, который даже самую больную проблему России превращает в веселое телешоу.

А теперь по поводу обращения автора «Ледокола» к русскому читателю, стало быть, и ко мне тоже. Знаете, с моей стороны было бы ну просто невежливым не откликнуться.

«Простите меня, — заклинает бывший наш соотечественник. — Если не готовы прощать, не читайте дальше этих строк, проклинайте меня и мою книгу — не читая. Так делают многие».

Ну, зачем же одним махом сбивать всех русских читателей в один табун? Отнюдь не все русские люди думают под диктовку агитпропа, неважно—коммунистического, лжедемократического или еще какого-нибудь, а также не все русские люди променяли свободу мысли на свободу слова. Нет, я не стал ни проклинать, ни прощать автора самой оригинальной книги, а прочитал ее и, честно говоря, даже получил определенное удовлетворение.

Между прочим, я, как и автор «Ледокола», окончил Суворовское и командное училища, только, в отличие от него, не сделал никакой карьеры, демобилизовавшись после четырех лет офицерской службы. Ни в армии, ни на «гражданке» я так и не вступил в славные ряды КПСС — а какая без КПСС могла быть карьера? Автор же «Ледокола» вступил и в 23 года уже попал в номенклатуру ЦК КПСС. «В 1974 окончил Военно-дипломатическую академию. Четыре года работал в женевской резидентуре ГРУ. В 1978 году бежал в Великобританию. Приговорен к расстрелу». Все эти данные я взял с обложки «Ледокола». Надеюсь, что к расстрелу автор приговорен не в Великобритании.

Что ж, каждый выбирает свой путь, у каждого своя судьба. Но все же у меня не укладывается в голове, как бывший «суворовец» мог пойти на такой кощунство — взять под псевдоним имя великого русского полководца и великого русского патриота — Суворова? Ну, если уж не жилось по какой-либо причине под собственным именем, то можно было назваться, допустим, «Курбским» — весомо, благозвучно и даже в определенной мере содержательно.

Впрочем, в книге названо и настоящее имя автора «Ледокола» — Владимир Резун. Вот им-то я и буду оперировать в дальнейшем.

А теперь непосредственно о «Ледоколе». Чтобы тщательно и добросовестно проанализировать эту книгу, потребовалось бы написать труд примерно такого же объема, но я по образованию не историк, а филолог, поэтому ограничусь отдельными замечаниями принципиального характера и облеку их в удобную для меня форму личного ответного обращения. Итак...

Уважаемый господин Резун!

Не удивляйтесь, что я отважился пристегнуть к Вашему имени слово «уважаемый». Во-первых, нынче в нашей стране с умилением говорят не только о НАТО, но и о ЦРУ, а в

лучших друзьях ходят президенты США и канцлер Германии; без зазрения совести распродают как материальные богатства России, так и ее государственные секреты; а слово *патриотизм* даже на правительственном уровне считается почти ругательным. Так что по нынешним меркам Ваше давнишнее бегство в Великобританию расценивалось бы сегодня как безобидная шалость молодого человека.

А во-вторых, и это главное, Вы с документами в руках, исследуя мемуары наших маршалов и генералов, прессу довоенных лет, а также некоторые документы о передислокации наших воинских формирований в последние предвоенные месяцы, неопровержимо доказываете, что Сталин после заключения в 1939 году «пакта» с Германией начал энергичную подготовку к *наступательной* войне. Я бы мог подкинуть Вам еще кое-какие документальные тому доказательства, но ограничусь пока своими детскими воспоминаниями о последних предвоенных годах.

Так, именно после заключения «пакта» у нас были приняты драконовы законы, когда за шпульку ниток или горсть гвоздей, вынесенных с производства, за опоздание на работу и тем более за прогул провинившихся ожидала скамья подсудимых. Повелась жестокая борьба и с так называемыми «летунами»: теперь никто не мог уволиться с работы по собственному желанию. Если раньше только колхозники фактически были прикреплены к земле (своего рода «точка оседлости»), то отныне и рабочие, и служащие оказались прикрепленными к своему производству. В мае 1940 года ввели генеральские и адмиральские звания в армии и флоте, чуть раньше повысили на 50% цену на водку, образовали ведомство «Трудовые резервы», которое отнюдь не всегда в добровольном порядке направляло подростков в ремесленные и железнодорожные училища — готовилась смена рабочему классу. И еще одно весьма примечательное нововведение: шестидневку заменили неделей и с семичасового рабочего дня перешли на восьмичасовой. И тут получилась такая арифметика... При шестидневке каждый шестой день был выходным (6-е, 12-е, 18-е, 24-е, 30-е числа каждого месяца), и таким образом в году набегало 60 выходных дней да плюс пять праздничных. Итого: 65 нерабочих дней. С введением недели отдыхать стали точно по воскресеньям, то есть 52 раза в году. Иногда воскресенье падало на праздничный день, и тогда этот праздничный день «пропадал». В общем, переход на неделю прибавил 8—9 рабочих дней,

а удлинение рабочего дня дало еще около трехсот рабочих часов, что равнялось 37—38 рабочим дням. Таким образом, увеличение рабочего времени выросло примерно на 15 процентов.

Я тогда учился в начальной школе и не только знал, что такое противогаз, но и умел им уже пользоваться, поскольку учебные химические тревоги (а тогда очень опасались, что во время войны будут применять газы) были обычным делом. Война, конечно, грянула неожиданно, но она была всеми ожидаема как нечто неотвратимое. К тому же никто не скрывал, что страна готовится именно к войне *наступательной*. Достаточно вспомнить фильм «Если завтра война» или песни предвоенных лет, чтобы понять, к какой войне готовилось наше государство. Разумеется, авторы песен или киносценариев черпали сюжеты для своих произведений не в кабинетах Генштаба, а в кабинетах агитпропа, где не скрывали реальной военной доктрины.

Но вот с конца пятидесятых годов наш агитпроп, начиная с... (впрочем, не знаю, от кого персонально вести отсчет) и кончая, ну, скажем, генералом от агитпропа Волкогоновым, вколачивает в сознание людей одну и ту же лживую мысль, будто наша страна к войне не готовилась. А к чему она готовилась, к очередным Олимпийским играм, что ли?

Вам, господин Резун, удалось раздеть весь агитпроп, как говорится, догола, с чем я Вас и поздравляю. Между прочим, я когда-то был знаком с маршалом артиллерии Н. Яковлевым, возглавлявшим ГАУ с первого дня войны, и он мне говорил, что наша армия заканчивала войну с тем оружием, которое почти все было изобретено еще до ее начала.

Вы также правы, Сталин понимал, что войну выигрывает тот, кто вступает в нее последним, однако вряд ли Вы правы, когда говорите, что в результате больше всех выиграл Сталин. Последними в «европейскую» войну вступили все-таки США, и они больше всех выиграли — до сих пор хозяйничают в Европе. А Сталин последним вступил в «азиатскую» войну (с Японией) и без особых потерь выиграл здесь немало.

На этом можно было бы и закончить краткие заметки о «Ледоколе», который прямо-таки протаранил всемогущий интегрированный агитпроп, и поблагодарить Вас, господин Резун, за то, что Вы сумели развеять нелепый миф, будто Советский Союз не готовился к войне. Однако на титульном листе

присутствует еще такой подзаголовок: «Кто начал Вторую мировую войну?»

На практике обычно выходит так, что виновницей признают побежденную сторону. Если же встать на строгую историческую точку зрения, то Вторую мировую войну начали Франция и Англия, объявившие 3 сентября 1939 года войну Германии. Это исторический факт. А факты, как когда-то любили говорить, упрямая вещь. Правда, находчивые люди тут же добавляли: «Тем хуже для фактов».

Разумеется, агитпроп тотчас же закричит: «Германия первой напала на Польшу, а уж потом Англия и Франция...» Все это так, однако следует заметить, что сначала Гитлер предъявил Польше некоторые территориальные требования. И если был возможен Мюнхен-38, то почему бы не могло быть Мюнхена-39? Я понимаю, поляки не чехи, поляки народ гордый и воинственный... Однако помимо особенностей польского национального характера существовала еще **франко-польская конвенция** от 19 мая 1939 года, согласно которой «Франция предпримет **наступательные** действия против Германии остальной массой своих войск пятнадцать дней спустя после начала общей французской мобилизации» (выделено мной. — *А. Л.*).

Однако 23 августа 1939 года, то есть через четыре месяца после подписания конвенции с Польшей, французский генерал Гамелен вдруг докладывает своему правительству о том, что серьезные наступательные операции армия не сможет производить ранее, чем через два года.

А вот что говорил на Нюрнбергском процессе немецкий фельдмаршал Кейтель: «Мы, военные, все время ожидали наступления французов во время польской кампании и были очень удивлены, что ничего не произошло... При наступлении французы натолкнулись бы лишь на слабую завесу, а не на реальную немецкую оборону».

«Если мы не потерпели крах в 1939 году, — вторил Кейтелю генерал Йодль, — то только благодаря тому, что во время польской кампании приблизительно 110 французских и английских дивизий, дислоцированных на Западе, не предпринимали ничего против 23 немецких дивизий».

Американский журналист Уильям Ширер — свидетель прихода Гитлера к власти и последующих событий в Европе — в своей весьма интересной книге «Взлет и падение Третьего рейха» задастся естественным вопросом: «Тогда почему фран-

цузская армия, располагавшая на Западе подавляющим превосходством... не предприняла наступление, как письменно обещали генерал Гамелен и французское правительство?»

И ответит на этот вопрос так: «Тому было много причин: пораженческие настроения французского высшего командования, правительства и народа; память о том, как была обескровлена Франция в Первую мировую войну, и стремление при малейшей возможности не допустить подобной бойни...»

Невольно опять встает тот же вопрос: «Зачем же при таком «багаже» надо было заваривать кашу, то есть развязывать в Европе Вторую мировую войну?»

Разумеется, Гитлер хорошо знал о настроениях французских генералов и французского правительства, потому он безбоязненно начал войну против Польши. А в общем-то дебют Второй мировой войны оказался довольно странным.

Вот как оценивает его У. Ширер*: «На Западе ничего не случилось. Едва ли прозвучал хоть один выстрел. Рядовой немецкий обыватель стал называть эту войну «сидячей». На Западе же ее вскоре назвали «странной войной». Сильнейшая армия в мире (французская), как напишет позднее английский генерал Фуллер, имея перед собой не более 26 (немецких) дивизий, все еще сидела за укрытиями из стали и бетона, в то время как ее по-донкихотски мужественного союзника уничтожали».

А вот как оценивает У. Ширер положение на Востоке: «Гитлер развязал войну против Польши и выиграл ее, но куда в большем выигрыше оказался Сталин... Советский Союз получил половину Польши и взялся за Прибалтийские государства. (По первоначальной договоренности, Литва попадала в сферу германских интересов, но Сталину все же удалось ее отмежевать в свою пользу. — *А. Л.*). Даже польские нефтеносные районы Борислав, Дрогобыч, на которые претендовал Гитлер, Сталин выторговал у него, великодушно пообещав продавать немцам эквивалент годовой добычи нефти в этих районах.

* Я, господин Резун, и далее буду ссылаться на свидетельства этого журналиста из США, ставшего потом историком, так как, не будучи европейцем, то есть лицом заинтересованным, ему было легче оставаться на позициях объективности, чем его европейским коллегам. Главный исторический труд У. Ширера «Взлет и падение Третьего рейха» был впервые издан у нас в 1991 году.

Почему Гитлер согласился заплатить русским столь высокую цену? Очевидно, что он пошел на это, чтобы удержать Советский Союз от консолидации с западными союзниками».

Тут следует добавить, что Сталин в дебюте получил очень солидный козырь — Западный, то есть второй фронт, пусть и бездействующий. Обманутая союзниками Польша потеряла все, что только можно было потерять. Возникала своего рода пауза, и казалось, что новую *мировую* войну можно погасить в ее начальной фазе.

«Сегодня пресса открыто говорит о мире, — записал в своем дневнике 20 сентября 1939 года тогда еще молодой журналист У. Ширер. — Все немцы, с кем я разговаривал, совершенно уверены, что не пройдет и месяца, как у нас будет мир. У всех приподнятое настроение.

За день до этого в парадно украшенном Гильдхалле я слушал... речь фюрера. «У меня нет никаких военных целей против Англии и Франции, — заявил он. — Мои симпатии на стороне французского солдата. Он не знает, за что сражается». А затем он призвал Всемогущего, благословившего немецкое оружие, «ниспослать другим народам понимание того, насколько бесполезной будет эта война... и натолкнуть их на размышление о мирном благоденствии».

Пройдет три недели, и У. Ширер сделает такую запись: «В Берлине «мирные беспорядки». Рано утром берлинская городская радиосеть сообщила, что английское правительство пало и теперь немедленно начнутся переговоры о перемирии. Когда этот слух распространился, в городе началось ликование. На овощном рынке старые торговки на радостях подбрасывали кочаны капусты вверх, ломали стойки и направлялись в ближайшие пивные выпить в честь мира».

Италия по-прежнему продолжала вести свои торговые дела с Францией и Англией, а министр иностранных дел Чиано отметит: «Для Муссолини мысль о том, что Гитлер ведет войну и — что еще хуже — выигрывает ее, просто невыносима».

Но более всех жаждали мира французы (большинство кабинета министров высказалось в пользу мирной конференции). И это понятно. В результате *поражения* во франко-прусской войне (1870) Франция вынуждена была уплатить Германии контрибуцию в размере 5 миллиардов франков, а вот в результате победы в Первой мировой войне «союзнический долг» Франции Соединенным Штатам и Англии в четыре раза

превышал ту пятимиллиардную контрибуцию. Но если во время Первой мировой войны Франция жаждала реванша, то теперь, кроме мира, она ничего жаждать не могла.

Нет, осенью 1939 года было не все так просто, как это представляет агитпроп. Конечно, после сорок пятого все можно было валить на Гитлера и немецкий народ, а теперь нетрудно переложить всю вину на Сталина и русский народ. «Таймс» полагает, что такой кульбит очень даже оригинален. Ну, что ж, у «Таймс» свои заботы, у нас — свои. Но тогда, осенью 1939 года, именно Англия сорвала мирную конференцию.

Я очень далек от мысли представить Гитлера как миротворца, но в данной ситуации развитие событий на континенте противоречило его глобальным планам, о чем мимоходом поведал уже после войны один из руководителей нацистских спецслужб небезызвестный Вальтер Шелленберг в своей книге «Лабиринт».

«Первоначальным замыслом Гитлера, — писал Шелленберг, — было создать с помощью Англии **так называемое «Евроафриканское пространство»**, которое должно было превратиться в центр сопротивления Востоку. Наконец, в 1940 году, убедившись в отказе Англии достигнуть компромисса, он переиначил это понятие в **так называемое «Евроазиатское пространство»**. Полагаясь только на свою собственную силу, он хотел подчинить себе Европу и сплотить все побежденные им народы в этом великом начинании. Он хотел завоевать Восток как **новое колониальное пространство для этой объединенной Европы**, из которой Англия была бы исключена» (выделено мной. — *А. Л.*).

Однако империостроительные планы Гитлера не совпадали с национальными интересами Англии, поскольку в случае осуществления этих планов Англии пришлось бы играть вторую роль. Поэтому Англия и пошла на срыв мирной конференции. Но даже в 1940 году после разгрома Франции Гитлер будет искать контактов с Англией. Последнюю попытку договориться с Англией предпримет по собственной инициативе ближайший соратник фюрера Рудольф Гесс весной 1941 года.

Почему же Гитлер так долго и настойчиво домогался союза с Англией, которая первой объявила ему войну?

Шелленберг объяснял это обстоятельство приверженностью Гитлера к расистской теории: «Все его (Гитлера. — *А. Л.*) реалистическое мышление, независимо от того, каким бы ос-

новательным оно ни было в политическом и историческом аспектах, искажалось этими (расистскими. — *А. Л.*) концепциями. Англичане являлись составной частью германской расы и поэтому представляли такую же ценность, что и сами немцы. Конечной целью Гитлера было слить воедино все германские элементы в Европе и затем повести их против коммунистических орд».

Проницательный начальник Генштаба сухопутных войск генерал Гальдер высказал другое соображение: «Он (Гитлер. — *А. Л.*), как и мы, видит причину этого вопроса в том, что Англия еще надеется на Россию. Поэтому он считает, что придется силой принудить Англию к миру. Однако он несколько неохотно идет на это. Причина: если мы разгромим Англию, вся Британская империя распадется. Но Германия ничего от этого не выиграет. Разгром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и др.»

И тут Гитлеру в дальновидности не откажешь. Хотя операция «Морской лев» проведена не была, а немцы потеряли много крови совсем на другом фронте, в итоге Второй мировой войны Британская империя все равно развалилась и превратилась, по сути дела, во второстепенную державу, а первые места заняли на планете именно те страны, которые и назвал фюрер.

Я понимаю, господин Резун, стоит агрессию назвать упреждением, и агрессор тут же перевоплощается в жертву. Но в этом случае и агрессию Германии против Польши с тем же успехом можно назвать упреждением. А почему нет? В сложившейся в начале 1939 года ситуации Польша под давлением Англии могла пойти на союз со Сталиным, и через неделю Красная Армия появилась бы вблизи германо-польских границ, а Восточная Пруссия вообще оказалась бы окруженной советско-польскими войсками. Фантазия? Ничего подобного.

Еще 3 апреля 1939 года, когда и в помине не было никакого советско-германского пакта, Ллойд Джордж, выступая в палате общин, заявил: «Если Россию не привлекли только из-за определенных чувств поляков, которые не хотят мириться с присутствием русских у себя в стране, мы должны поставить такое присутствие в качестве условия, а если поляки не готовы принять **это единственное условие**, при котором мы сможем оказать им результативую помощь, то они должны сами нести ответственность» (выделено мной. — *А. Л.*).

Сразу и не поймешь, почему этот разумный призыв старейшего государственного деятеля Англии был тогда проигнорирован. Но ведь он мог быть и не проигнорирован. Что тогда?

А тогда, возможно, Вторая мировая война и не состоялась бы, а если и состоялась, то раскручивалась бы уже совершенно по другому сценарию. Ведь никто даже пальцем не пошевелил, когда 22 марта 1939 года Гитлер и адмирал Редер отплыли на линкоре «Дойчланд» в Мемель, а в это время в Берлин призвали полномочных представителей литовского государства и заставили их подписать соглашение, на основании которого Клайпеда (Мемель) и Клайпедский край вошли в состав Третьего рейха. Гитлеру давалось понять, что для движения на Восток зеленый свет ему открыт. Точно так же ему сдали бы и Польшу, да и всю Прибалтику. Вот тогда бы Сталин стал очень послушным, тогда бы он принял любые условия союзников, в том числе и условия послевоенного мира. Нет, не дурак и не трус был Невилл Чемберлен, он смотрел далеко вперед. Только вот не дожил он до того счастливого для него дня, когда Гитлер схватился со Сталиным.

Вам, господин Резун, удалось уйти от советского агитпропа, но Вы тут же попали в крепкие объятия другого, который, по сути дела, стал Вашим соавтором. Вы до назойливости часто повторяете одно и то же: Сталин готовился к наступательной войне против Гитлера. Да и половины Ваших материалов хватило бы, чтобы доказать это положение. А Вы, господин Резун, пошли на умышленную подтасовку, вырвав из всего исторического контекста одну только проблемку: «Гитлер—Сталин» и попытались в угоду интегрированному агитпропу доказать, будто Гитлер всего лишь упредил Сталина — истинного агрессора.

Я хорошо понимаю немцев, которые хотят «отмыться»: потому-то они и издали Вашу книгу восемь раз. Вероятно, им еще больше понравятся мои предыдущие рассуждения о том, что в войне с Польшей они тоже всего лишь «упреждали».

Я, господин Резун, не стану опровергать Ваших аргументов, я просто постараюсь поставить их в исторический общеевропейский и отчасти мировой контекст. Ведь для того, чтобы исследовать какой-либо вопрос, следует обратиться к истории этого вопроса. Поэтому нам придется вспомнить начало тридцатых годов.

1933 год. В Германии Гитлер приходит к власти. В США президентом становится Рузвельт. США, наконец-то, признают СССР и устанавливают с ним дипломатические отношения.

1934 год. Умирает президент Германии фельдмаршал Гинденбург, рейхсканцлер Гитлер ассимилирует президентские полномочия и таким образом становится диктатором. Германия и Италия выходят из Лиги Наций. СССР туда любезно приглашается.

К чему бы это?

Итак, французы будут отсиживаться на «линии Мажино», англичане — на своих островах, русские — на «линии Сталина», а Гитлер в это время начнет «гулять» по остальной Европе... Не правда ли, мило? Вас, господин Резун, удивляет, что «правительство США по какой-то причине до начала войны продало Сталину лицензию на производство» танка С-47. А не удивляет ли Вас, господин Резун, например, то, что в 1937 году американцы с восторгом встречали советских военных летчиков Чкалова, Байдукова и Белякова, совершивших впервые беспосадочный перелет по маршруту: Москва — Северный полюс — Ванкувер (США), а вскоре с тем же радушием принимали другой военный экипаж (Громов, Юмашев и Данилин), пролетевший по тому же маршруту.

Советские военные летчики, претворяя в жизнь лозунг «летать выше всех, быстрее всех, дальше всех!», осваивают маршрут-дорогу в США — американцам бы в панику, а они радуются, приветствуют русских асов. Да еще продают СССР лицензию на производство новейшего танка. Вот глупый народ...

Невольно припоминаются грозные военные парады на Красной площади и военно-воздушные в Тушино. А ведь устраивались они не в последнюю очередь для дипломатического корпуса и иностранных гостей: пусть-де потенциальные союзники порадуются, а враги устрашатся.

Не знаю, как враги, а потенциальные союзники радовались, да еще как. В СССР прямо-таки хлынули Барбюсы, Ролланы, Фейхтвангеры... Вернулся на родину из эмиграции Куприн. В 1936 году, уже после смерти Барбюса, у нас была издана его книга «Сталин» с подзаголовком «Человек, через которого раскрывается новый мир». Вот несколько выдержек из нее:

«После смерти человек живет только на земле. Ленин живет всюду, где есть революционеры. Но можно сказать: ни в

ком так не воплощены мысли и слова Ленина, как в Сталине. Сталин — это Ленин сегодня».

Барбюс на все лады хвалит Сталина, а вот как бы итог: «История его (Сталина. — *А. Л.*) жизни — это непрерывный ряд побед над непрерывным рядом чудовищных трудностей. Не было такого года, начиная с 1917, когда он не совершил бы таких деяний, которые любого прославили бы навсегда».

Но есть в книге и размышления Барбюса на международные темы:

«Недавно СССР, по предложению 32 государств, был приглашен в Лигу Наций. Конечно, это — известная гарантия мира, ибо это — гарантия изменения ориентации лиги империалистических государств, под влиянием вынужденного обстоятельствами сотрудничества с Советами».

Что же это за обстоятельства? Разумеется, приход к власти в Германии Гитлера.

И далее Барбюс, ссылаясь на мнения военных специалистов Запада, говорит, что если начнется война, то столицы европейских государств и индустриальные центры будут уничтожены в первые же часы военных действий, но, по мнению бывшего министра авиации Франции Пьера Кота: «Исключение имеется только одно — это Россия, территория которой так обширна, что большая часть ее гарантирована от подобных налетов». А сам Барбюс заключает: «Таким образом, борясь за мир, Советский Союз защищает не только свои интересы».

И совсем уж категорично:

«Но что бы ни таило в себе будущее, если разразится война, — величайшим основанием уверенности советских людей будет Сталин...

Если разразится война, СССР будет защищать себя и все будущее человечество, представителем которого он является».

Что ж, товарищ Барбюс оказался прав: война действительно разразилась, и СССР пришлось защищать и спасать не только себя, но и все человечество.

Да, конечно, Барбюс был антифашистом, но он был еще и коммунистом, партийная солидарность обязывала... Но вот господин Лион Фейхтвангер в компартии не состоял, и приехал он в Москву в очень сложное время: с одной стороны, в СССР приняли новую Конституцию, с другой же — шли знаменитые процессы. Фейхтвангер написал небольшую книгу под названием «Москва 1937» с подзаголовком «Отчет о по-

ездке для моих друзей». Книга состоит из коротких озаглавленных заметок. Приведу лишь несколько:

«ВЕЛИКАЯ ЦЕЛЬ

В общем и целом новая демократическая Конституция, которую Сталин дал Советскому Союзу, — это не просто декорация, на которую можно посматривать, высокомерно пожимая плечами. Пусть средства, которые он и его соратники применяли, зачастую и были не совсем ясны — хитрость в их великой борьбе была столь же необходима, как и отвага, — Сталин искренен, когда он называет своей конечной целью осуществление социалистической демократии.

ОБСТАНОВКА ПРОЦЕССА

...Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своим палачом. Вообще не следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический характер.

ЖАЛКИЕ ПСИХОЛОГИ

Подобная болтовня свидетельствует о непонимании человеческой души и неспособности правильно рассуждать. Достаточно только прочесть любую книгу, любую речь Сталина, посмотреть на любой его портрет, вспомнить любое его мероприятие, проведенное им в целях осуществления строительства, и немедленно станет ясно, что этот умный, рассудительный человек никогда не мог совершить такую чудовищную глупость, как поставить с помощью бесчисленных соучастников такую грубую комедию с единственной целью отпраздновать, при бенгальском освещении, свое торжество над повергнутым противником.

НЕЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Воздух, которым дышат на Западе, — это нездоровый, отработанный воздух. У западной цивилизации не осталось больше ни ясности, ни решительности. Там не осмеливаются защищаться кулаками или хотя бы крепким словом от наступающего варварства, там это делают робко, с неопределенными жестами; там выступления ответственных лиц против фашизма подаются в засахаренном виде, с массой оговорок. Кто не испытал отвращения при виде того, с каким лицемерием и трусостью реагируют ответственные лица на нападение фашистов на Испанскую республику?

Когда из этой гнетущей атмосферы изолгавшейся демократии и лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко...

ДА! ДА! ДА!

Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать: да, да, да! И так как я считал непорядочным прятать это «да» в своей груди, я и написал эту книгу».

А наш бывший соотечественник Николай Бердяев, сделав очередной мировоззренческий финт, выпускает в 1937 году сначала на английском, затем на немецком, французском, испанском и голландском языках книгу «Истоки и смысл русского коммунизма» (на русском она почему-то впервые вышла лишь в 1955 году, уже после смерти автора). В этой книге нигде не просматривается, ну, скажем, Бердяев времен «Философии неравенства» (1918), который, подразумевая автора «Двенадцати», писал: «Когда романтический, лирический поэт начал петь гимны неистовствам революции и писать статьи, оправдывавшие все ее злодеяния, он обнаружил лишь разложение собственной души, потерявшей всякое различие между правдой и ложью, между реальностями и призраками, и совершил предательство Духа».

Зато теперь, в 1937 году, Бердяев уже амнистирует Октябрьскую революцию, забыв на уютном Западе свои прежние филиппики, направленные им в адрес Блока и Брюсова, будто бы совершивших «предательство Духа». Благо и Блок, и Брюсов давно уже отошли в мир иной.

«Народная толща, поднятая революцией, сначала сбрасывает с себя все оковы, и приход к господству народных масс грозит хаотическим распадом. Народные массы были дисциплинированы и организованы в стихии русской революции через коммунистическую идею, через коммунистическую символику. В этом бесспорная заслуга коммунизма перед русским государством. России грозила полная анархия, анархический распад, он был остановлен коммунистической диктатурой, которая нашла лозунги, которым народ согласился подчиниться».

Не стану касаться такой деликатной категории, как «предательство Духа», но вот стиль свой в тридцатые годы Бердяев утерял. Когда читаешь его книгу «Истоки и смысл русского коммунизма», то создается впечатление, будто читаешь элементарную агитпроповскую брошюру.

А что касается русского народа, то он не подчинялся ни коммунистической символике, ни коммунистическим лозунгам, оттого-то и рос постоянно архипелаг ГУЛАГ, оттого-то и рушили православные храмы, оттого-то так свирепствовала ВЧК и ревполководцы типа Тухачевского. Если прочитать только один приказ от 11 июня 1921 года за № 171, подписанный Антоновым-Овсеенко, Тухачевским и Лавровым при подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине, то невольно заподозришь гитлеровских главарей-карателей в плагиате. Следуя же логике Бердяева, можно смело сказать, что в период Второй мировой войны почти все европейские народы организовались через нацистскую идею и нацистскую символику, а заодно согласились подчиниться нацистским лозунгам.

Нет, я не могу ни в чем упрекнуть ни Барбюса, ни Фейхтвангера, они писали то, что думали, и то, что чувствовали, пусть они что-то не замечали или даже не хотели замечать, но они увидели для себя главное — в Европе есть государство, которое хочет и которое *может* встать на борьбу с фашизмом, это для них в ту пору было главным. И именно в 1937 году, несмотря на процессы, Сталин получил мощную поддержку от европейского антифашистского движения, в которое входили отнюдь не только коммунисты. «Большие маневры» в Испании как бы выявили окончательную расстановку сил: с одной стороны — Гитлер, Муссолини, Франко; с другой — блок антифашистских стран, где Советскому Союзу отводилась роль главной военно-ударной силы, то есть наступательной.

Отсюда и прославление Сталина, и гонения во Франции, Чехословакии, Болгарии на русскую антикоммунистическую белую эмиграцию; отсюда подписание Францией и Чехословакией договора о взаимопомощи с Советским Союзом; отсюда, в том числе, и продажа Советскому Союзу Соединенными Штатами лицензии на производство новейшего танка да и многое другое. Так что, господин Резун, если Вторую мировую войну развязал не Гитлер, то, согласно логике и фактам, ее развязал блок антифашистских стран, между которыми к 1937 году роли были расписаны очень четко. Однако не будем спешить с выводами, ибо уже в следующем году был — *Мюнхен*.

Еще до Мюнхена-38 Англия и Франция уступили Гитлеру многие пункты Версальского договора, что позволило Германии в кратчайший срок восстановить боеспособную армию. В Мюнхене же был пересмотрен важнейший пункт этого дого-

вора — территориальный. Если аншлюс Австрии Гитлер провел еще под покровом референдума, то оккупацию Чехии фактически санкционировали Чемберлен и Даладье, забыв о тех гарантиях, что были даны этой стране прежде.

«У президента Бенеша, который все утро совещался во дворце Градчаны с политическим и военным руководством, не оставалось другого выхода, кроме как подчиниться. Англия и Франция предали его страну, более того, они встали на сторону Гитлера... В десять часов Чехословакия капитулировала. (Это произошло 30 сентября 1938 года. — *А. Л.*). В официальном заявлении говорилось, что при этом был «выражен протест». В своем обращении к народу Чехословакии... новый премьер генерал Сыровы с горечью говорил: "Все нас покинули. Мы боремся в одиночку"», — так описывал ту трагическую ситуацию У. Ширер — свидетель тех исторических событий.

Впрочем, «одиночество» Чехословакии в какой-то мере было добровольным, так как франко-советско-чехословацкий договор предусматривал и одностороннюю помощь, но при условии, если одна из сторон сама ее попросит. Бенеш не только не востребовал помощи от Советского Союза, но даже и не настаивал на том, чтобы в Мюнхен был приглашен представитель СССР.

По возвращении в Лондон Чемберлен заявил: «Друзья мои! Во второй раз в нашей истории сюда, на Даунинг-стрит, из Германии прибывает почетный мир». Здесь премьер Англии имел в виду возвращение премьера Дизраэли с Берлинского конгресса в 1878 году. Но то была чистой воды демагогия, так как тогда ситуация была совершенно иной.

Черчилль же 5 октября в палате общин оценил вояж Чемберлена в Мюнхен так: «Мы потерпели полное и сокрушительное поражение... Мы находимся в центре грандиозной катастрофы. Путь вниз по Дунаю... дорога к Черному морю открыты... Все государства Центральной Европы и бассейна Дуная одно за другим будут попадать в орбиту широкой системы нацистской политики... И не надо думать, что этим все кончится. Это только начало».

Чемберлен не долго ходил в «миротворцах», в мае следующего года в кресле премьера окажется уже Черчилль. А между тем еще 3 октября, сразу же после «мюнхенского сговора», советник германского посольства в Москве Вернер фон Типпельскирх заметит, что «сложившиеся обстоятельства пред-

ставляют возможность для нового, более широкого экономического соглашения с Советским Союзом». А Сталин не то что бы обиделся, он понял: если союзники проигнорировали его в Мюнхене, то делать на них ставку нельзя. Гитлер же не стал дразнить Сталина, он дал Словакии независимость, оккупация которой слишком бы обозначила продвижение Германии на Восток, куда его так подталкивал Чемберлен.

Гитлер также позволит Польше отторгнуть от Чехословакии небольшой кусочек в районе Тешина (население 228 тысяч человек) — коготок увяз, а Венгрии — район Рутении (население 772 тысячи человек). Но вся эта эпопея закончится лишь 15 марта уже следующего, 1939 года, когда новый президент Чехии Гаха подпишет в Берлине соглашение о необходимости «вверить судьбу чешского народа и самой страны в руки фюрера и германского рейха».

«Мне с самого начала было ясно, — признавался Гитлер своим генералам после «мюнхенского сговора», — что Судетско-Немецкая область меня не удовлетворит. Это решение половинчатое». И как только мюнхенские «миротворцы» отбыли на родину, Гитлер принялся решать эту проблему окончательно, в чем и преуспел к середине марта 1939 года.

И теперь главный вопрос: оправданной ли была англо-французская капитуляция в Мюнхене?

Гитлер после осмотра чешских укреплений в Судетах признался: «То, что мы узнали о военной мощи Чехословакии после Мюнхена, ужаснуло нас — мы подвергали себя большой опасности. Чешские генералы подготовили серьезный план. Только тогда я понял, почему мои генералы меня удерживали».

Фельдмаршал Манштейн на Нюрнбергском процессе свидетельствовал: «Не вызывает сомнений, что если бы Чехословакия решилась защищаться, то ее укрепления устояли бы, так как у нас не было средств для их прорыва». То же самое говорили Кейтель и Йодль. Слова Гитлера «генералы меня удерживали» подтверждают сказанное Манштейном, Кейтелем и Йодлем.

Если о силе чешской армии достаточно осведомлены были немецкие генералы, то реальной ее силы не мог не знать Сталин, иначе он вряд ли стал бы заключать договор о взаимопомощи, предусматривающий ситуацию, когда военные действия против немецкой армии пришлось бы вести Чехословакии и Советскому Союзу без военной поддержки Франции. Одна-

ко Бенеш, поддавшись давлению Чемберлена и Даладье, предпочел войне с агрессором «бархатную» оккупацию гитлеровских войск.

Сейчас и у нас в стране обычно дело представляют так, будто 23 августа Сталин неожиданно заключил договор с Гитлером, а Гитлер столь же неожиданно 1 сентября того же 1939 года напал на Польшу. На самом деле никаких неожиданностей здесь не было. Еще 24 октября 1938 года Риббентроп на устроенном в честь польского посла в Германии Липского обеде сообщил своему «коллеге» о желании Гитлера построить автомагистраль и двухколейную железную дорогу, которые соединили бы Восточную Пруссию с остальной Германией, а также передать Данциг немцам. Собственно говоря, Данциг был «вольным» городом, находящимся на территории Польши, и его судьбой должна была заниматься Лига Наций. Но Германия к тому времени уже вышла из Лиги, а «мюнхенский сговор» практически ее похоронил. Дипломатическая тяжба затянулась, но вот 21 марта 1939 года Риббентроп ультимативно заявил Липскому: «Польша должна понять, что она не может балансировать между Россией и Германией». О том, какие перспективы сулило немцам склонение Польши в сторону Советской России, мы уже говорили, так что беспокойство Риббентропа имело под собою реальную почву.

31 марта Чемберлен заявил в палате общин о том, что Англия и Франция «предоставят польскому правительству всю возможную помощь, какую в силах оказать, если Польша подвергнется нападению». А немецкие генералы по приказу Гитлера уже отрабатывали операцию «Вайс», направленную против Польши.

«Односторонняя гарантия, данная Англией Польше 31 марта, вероятно, помогла Сталину убедиться в том, что Англия предпочитает союз с поляками союзу с Россией и что Чемберлен, как и в случае с Мюнхеном, намерен отстранять Советский Союз от решения европейских проблем...

Чемберлен решился на этот рискованный шаг, даже не рассчитывая на помощь России, предложения которой о совместных действиях против Гитлера он отклонял **дважды** в течение одного года» (выделено мной. — *А. Л.*).

Это, господин Резун, пишет все тот же американский журналист У. Ширер, который особых симпатий к Советскому Союзу, кажется, не испытывал.

Гитлер же в это время искал всяких контактов с Советским Союзом. Гром грянул 3 мая 1939 года, когда Литвинов был освобожден от обязанностей наркома иностранных дел и на этот пост назначили Молотова, что воспринялось всеми как отход Советского Союза от своего прежнего внешнеполитического курса. А выступление 29 июня 1939 года Жданова в «Правде» окончательно развеяло всякие сомнения на этот счет: «Английское и французское правительства хотят не равного договора, приемлемого для СССР, а только лишь разговоров о договоре для того, чтобы, спекулируя на мнимой неуступчивости СССР перед общественным мнением своих стран, облегчить путь к сделке с агрессором».

Лето 1939 года на европейском дипломатическом Олимпе выдалось жарким: велись постоянные переговоры, выстраивались различные комбинации политических интересов, давались друг другу заверения и обещания, но, в общем-то, никто никому не верил, и Европа постепенно, но неуклончиво вползала в новую мировую войну. И здесь мне хотелось бы сказать об одной «головной боли» Сталина, которую почему-то все дружно игнорируют.

Польша, словно юная и красивая невеста, вела бесконечный и бессмысленный флирт со всеми претендентами одновременно. Нет, от Сталина она капризно отвернулась, то ли набивая себе цену, то ли в силу своих националистических чувств, то ли из непритворной боязни деспотизма восточного «жениха».

Гитлеру она строила глазки, принимала даже легкомысленно подарки, ну, например, тот же кусочек тешинского района, украденный бравым «женихом» у Чехословакии, и неописуемо обиделась, когда «жених» вдруг решил использовать ее платоническое чувство в своих грубых материальных видах.

Ей все-таки больше импонировали далекий заморский джентльмен Чемберлен и столь же далекий, но близкий по духу рыцарь Даладье, постоянно присылавшие букеты из красивых обещаний, заверений и конвенций...

Сталину же было не до букетов. Дело в том, что пока в Европе шла вся эта постмюнхенская дипломатическая возня, Япония вторглась в пределы Монголии, у которой был заключен с Советским Союзом договор о взаимопомощи. Летом 1939 года, когда в Европе дипломаты пытались перехитрить друг друга, в районе реки Халхин-Гол началась, пусть

локальная и необъявленная, война между Японией и Советским Союзом. В результате 1-я армейская группировка под командованием тогда никому не известного комкора Жукова наголову разгромила 6-ю японскую армию. Это обстоятельство, естественно, остудило японцев, но нисколько не разрядило обстановки. Поэтому Советскому Союзу во что бы то ни стало нужно было прояснить свои отношения с главными европейскими державами. Так что отставка Литвинова и выступление Жданова в «Правде» не были дипломатическим трюком или политическим шантажом.

Сталин, как только мог, пытался форсировать переговоры с англичанами и французами, но те всячески пытались затянуть их. Министра иностранных дел Англии Галифакса приглашали в Москву, но тот постоянно ссылался на занятость (чем?). А 18 августа, то есть за две недели до начала Второй мировой войны, министр иностранных дел Польши заявил английскому послу, что Красная Армия «не заслуживает внимания с военной точки зрения». Но именно эта «точка зрения» и интересовала Лондон и Париж.

Сталин пытался затянуть переговоры с Германией, но Гитлер, как только мог, форсировал их. Наконец, он делает решительный шаг: шлет личное письмо Сталину, в котором просит срочно принять министра иностранных дел Германии. Тут уж Сталин уклониться не мог и дал свое согласие. 23 августа Риббентроп был в Москве, и в тот же день министры иностранных дел Германии и Советского Союза подписали знаменитый пакт, о котором так много говорят и по сей день и в связи с которым так о многом умалчивают...

Например, о том, что в случае заключения англо-франко-советского военного договора и возникновения войны между союзниками и Германией **СССР пришлось бы воевать на два фронта**, поскольку условия «тройственного пакта» (Берлин — Рим — Токио) обязывали и Японию открыть военные действия против Советского Союза. События в районе Халхин-Гола лишний раз подчеркнули готовность японских милитаристов скрестить оружие с Красной Армией. А вот сближение с Германией такую возможность практически исключало, так что с точки зрения военно-политической для Советского Союза было предпочтительнее заключить союз с Германией и тем самым нейтрализовать Японию. К тому же определенные круги в Японии считали, что главным объектом в будущей вой-

не должен стать не Советский Союз, а Юго-Восточная Азия, так что Стране восходящего солнца было где удовлетворить свой разыгравшийся боевой дух. И однако Сталин продолжал искать прочного и надежного союза с Англией и Францией до тех пор, пока окончательно не убедился в нежелании Чемберлена и Даладье брать на себя такие обязательства.

А теперь попробуем ответить на такой вопрос: «Легко ли Сталин пошел на союз с Гитлером?» Агитпроп, конечно, ответит: «Да! Да! Да!» Я же говорю: «Нет!»

Во-первых, Сталину хорошо были известны и «Майн Кампф», и последующие выступления Гитлера, и его беспощадная борьба с коммунистами, и содержание антикоминтерновского пакта, да и многое другое. С 1933 года в Третьем рейхе велась бешеная антисоветская пропаганда, а в Советском Союзе — бешеная антифашистская.

Во-вторых, Сталин понимал, что на Западе Гитлеру практически делать было нечего, никакие глобальные проблемы там не решались (поэтому-то в 1940 году Гитлер и не оккупировал Францию полностью). Проблемы жизненного или, как теперь принято говорить, экономического пространства решались для Германии только на востоке, и в первую очередь за счет отторжения от Советского Союза Украины и Кавказа.

В-третьих, фактически разрушалась вся система Коминтерна, во всяком случае, раскол в европейских компартиях становился неизбежным и невольно поднимался авторитет и влияние Троцкого.

В-четвертых, за шесть лет пребывания Гитлера у власти Сталин как яростный борец с фашизмом обрел громадный авторитет не только у коммунистов, но и у всех европейских антифашистов. В руках Сталина оказался и такой козырь: в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы («Неделя битых стекол»), а Сталин к тому времени уже заявил иностранным корреспондентам, что в Советском Союзе антисемитизм преследуется по закону, предполагающему даже высшую меру наказания.

Короче говоря, к концу тридцатых годов в Европе все надежды связывали со Сталиным, что и давало ему, между прочим, уверенность при проведении любых мероприятий внутри страны, в том числе и при проведении политических процессов. Одно уже то, что Сталин ставил своим партийным «оппонентам» в вину связь с фашистской Германией, в глазах европейской общественности амнистировало любую жестокость

судебных приговоров. И это еще большой вопрос, где более успешно и фундаментально творили «культ личности» Сталина: в Советском Союзе или же в странах так называемой западной демократии?

Исходя из этих положений, можно с уверенностью сказать, что Сталину было не так-то легко пойти на союз с Гитлером. Более того, теперь он вынужден был устранить Троцкого, потому как в создавшейся ситуации Троцкий мог перетянуть на свою сторону не только Коминтерн, но и широкое антифашистское движение. И пора понять, что подобного уровня политические убийства проводятся не по чьей-то личной прихоти, а из соображений более серьезного порядка. Так, к примеру, в 1925 году был устранен Савинков, поскольку благодаря проведению нэпа в стране создалась благоприятная обстановка для развертывания деятельности эсеровской партии. В 1930 году устранили председателя «Русского общевоинского союза» (РОВС) генерала Кутепова, что совсем не случайно совпало с периодом начала коллективизации, когда РОВС мог сделать ставку на крестьянство. Как уже говорилось, в 1937 году Советский Союз взял на себя роль лидера в антифашистской борьбе, РОВС же в это время качнулся в сторону Германии (его руководители считали для себя главным свержение в России власти большевиков любым путем), и в том же 1937 году нового председателя этой антикоммунистической организации генерала Миллера постигает та же участь, что и его предшественника генерала Кутепова. Между прочим, президента США Джона Кеннеди и его брата Роберта, неосторожно выдвинувшего свою кандидатуру на президентский пост, тоже убили не на почве ревности. Политика — вещь не только грязная, но и кровавая, к слову сказать.

А 23 августа в Европе действительно взорвалась настоящая политическая бомба. Но, спрашивается, почему Франция и Англия имели право договариваться с Гитлером, а вот Советский Союз — не имел? Или еще вопрос: почему Чемберлен и Даладье могли отдать Гитлеру на съедение другие страны, а Сталин — почему не мог? В чем разница? А разница была. В Европе все прекрасно понимали, что в любом случае Англия станет отсиживаться на своих островах, Франция спрячется за «линию Мажино» и только Советский Союз сможет реально противостоять Гитлеру, сплотив вокруг себя все антифашистские силы. И вдруг все эти надежды разом рухнули.

В конце концов Чемберлен перехитрил самого себя, и Англия первой 3 сентября 1939 года, то есть через день после нападения Гитлера на Польшу, в 11.00 объявила войну Германии. Через пять часов Франция послушно последовала ее примеру. Таким образом три великие европейские державы вступили между собой в вооруженный конфликт, что означало открытие второго тура мировой войны — двадцатилетняя передышка окончилась.

Итак, чем могли помочь Польше вступившие в мировую войну Англия и Франция? Естественно, наступлением на франко-германском фронте. Но «защитники» Польши ни о каком наступлении даже не помышляли. И не случайно, что одни эту войну (сентябрь 1939 — май 1940) называли «странной», а другие — «сидячей». Так, к примеру, счет своим потерям на франко-германском фронте Англия откроет 9 декабря, то есть лишь три месяца спустя после начала войны, — когда погибнет английский капрал.

Война как-то медленно набирала свои обороты. Как уже говорилось, и во время германо-польской кампании, и по окончании ее постоянно велись закулисные переговоры о заключении мира. Фактически, осенью 1939 года по-настоящему никто еще не был готов к широкомасштабной войне. И в сложившейся ситуации Сталин неожиданно получает в руки серьезный козырь: Советский Союз по-прежнему не воевал, но второй фронт в Европе, хотя и бездействующий, все же уже существовал. Правда, козырь этот, как говорится, был ловленный: брось он его на стол — и кто знает, какой бы ход сделал восточный партнер Гитлера — Япония. А когда в мае — июне 1940 года, не оказав почти никакого сопротивления, вдруг капитулировала Франция, перспектива воевать на два фронта стала угрожать уже не Гитлеру, а Сталину.

Вы, господин Резун, один из немногих, кто в разговоре о начале войны между Германией и Советским Союзом вспоминает и про Японию. Правда, тут Вы неожиданно впадаете в какой-то политический сентиментализм. Но я Вас хорошо понимаю. Когда видишь, как в Европе все изолгались, то невольно ради успокоения ищешь какой-нибудь экзотический уголок, где еще царят честность и благородство.

Вы абсолютно правы, действительно, 13 апреля 1941 года Молотов и его японский коллега Мацуока подписали договор, в котором говорилось: «...в случае, если одна из Договариваю-

щихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая Договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта».

«Когда Сталин находился на краю гибели, — резюмируете Вы, — Япония слово свое сдержала. Но вот Япония — на краю гибели. Красная Армия наносит внезапный сокрушительный удар». Конечно, все это очень трогательно... Только здесь следует сделать небольшие уточнения. Во-первых, министр иностранных дел Японии Мацуока, проследовав через Сибирь и Москву, 26 марта прибыл в Берлин, затем он навестил Муссолини и 4 апреля вернулся в Берлин, а на обратном пути вновь оказался в Москве, где и подписал с Молотовым договор о нейтралитете. Однако, будучи в столице Германии, Мацуока сказал о своем намерении подписать договор с Советским Союзом Риббентропу, а Гитлер в разговоре с адмиралом Редером признается, что договор Японии с Советским Союзом заключен «с молчаливого согласия Германии».

Почему «с молчаливого»? Да потому, что он противоречил условиям Тройственного пакта (Берлин—Рим—Токио), согласно которому Договаривающиеся стороны обязывались в случае агрессии против одной из сторон вступить в войну с этим агрессором. Так что Мацуока, подписывая договор с Молотовым, прекрасно понимал, что в случае военного столкновения Германии с Советским Союзом один из договоров неминуемо будет нарушен. Очень, конечно, благородно!

Во-вторых, в тот период в Японии боролись два направления. Одно из них, возглавляемое генералом Тодзио, вскоре ставшим премьером, настаивало на ведении войны в Юго-Восточной Азии; другое направление после нападения Германии на Советский Союз настаивало на немедленном объявлении войны Советскому Союзу. И одним из лидеров этого направления был Мацуока. Да, да, тот самый Мацуока, который 13 апреля 1941 года подписывал договор о нейтралитете. И войну Советскому Союзу Япония не объявила вовсе не из благородных побуждений, а исходя из своих государственных интересов.

В-третьих, Гитлер вскоре же после начала войны с Советским Союзом принялся побуждать Японию открыть военные действия против СССР. 6 декабря 1941 года советские войска под Москвой переходят в мощное контрнаступление, а на следующий день Япония объявляет войну... Соединенным Шта-

там Америки. Гитлер тут же объявит им тоже войну, но он так и не дождется ответного шага своего союзника по Тройственному пакту.

Знаете, господин Резун, слова «честность», «благородство», «долг», «нравственность» не из политического лексикона.

Вы, господин Резун, излишне часто вступаете в ненужное соревнование с агитпропом, а иронией подменяете аргументы, потому нам придется коснуться еще одного довольно щекотливого вопроса, «польского». Но сначала закроем окончательно «японскую» тему, что позволит нам мягче перейти и к «польскому» вопросу.

Так, Вы обвиняете Сталина и Молотова в цинизме, вероломстве и других смертных грехах. Я им не адвокат, и в данном случае меня интересует не моральный облик руководителей Советского Союза, а Ваши аргументы. Вот один из них: Вы начинаете высчитывать, сверяя дальневосточное время с московским, что чему предшествовало: Заявление Советского правительства открытию военных действий против Японии или нападение — Заявлению? Возможно, Вы и правы, возможно, военные действия опередили уведомление. Только тогда следовало бы с этих позиций оценить и вероломное нападение японцев на Перл-Харбор.

А разве атомные удары американцев по японским городам Хиросима и Нагасаки не есть чудовищное вероломство и не против армии и флота, а против мирного населения? Это самый злодейский акт во всей истории Второй мировой войны. Говорить о честности или, напротив, о бесчестности или цинизме политиков — это все равно что рассуждать о гуманности или жестокости палача, разом отрубающего голову предоставленной ему жертве. Конечно, разница между палачом и политиками существует, но не в пользу последних. И в случае победы во Второй мировой войне любой из сторон у каждой нашлось бы достаточно аргументов, чтобы отправить политиков побежденных государств на скамью, подобную нюрнбергской. В данном случае история распорядилась так, что на скамье подсудимых оказались немецкие и японские военные *преступники*, а распорядись она иначе, и на подобной скамье место заняли бы их политические оппоненты.

Ну, а теперь давайте перейдем к «польскому» вопросу. Вы тут, господин Резун, работаете точно под наш нынешний агитпроп...

«В марте 1939 года Сталин впервые заговорил о том, что нужно готовиться к каким-то «неожиданностям», и не внутри страны, а на международной арене. В августе 1939 года Сталин преподносит первый сюрприз, первую «неожиданность», от которой ахнул не только весь советский народ, но и весь мир: пакт Молотова—Риббентропа».

Нет, конечно, это наш нынешний интегрированный агитпроп беззастенчиво списывает у Вас...

Раньше я уже говорил и не только о том, что тогда весь мир действительно ахнул, но и указал еще на причины, почему он ахнул. К тому же, я заодно показал, что эта «неожиданность» тянулась от данного Риббентропом 24 ноября 1938 года обеда в честь польского посла Липского аж до 23 августа 1939 года. И в данном случае Сталин обманул лишь надежды простых людей, которых в течение девяти месяцев обманывали их собственные политики, но отнюдь не этих политиков.

Далее Вы поспешно продолжаете: «Тут же германские, а за ними и советские войска вступают в Польшу (не следует так гнать, между двумя этими «вступлениями» Англия и Франция объявили войну Германии и демонстративно бездействовали. — *А. Л.*). Официальное советское объяснение: «Польша превратилась в поле для разных неожиданностей». Что ж, эта угроза ликвидирована бескорыстным актом советского правительства, Красной Армией и НКВД».

Вот тут уж Ваш сарказм отчетливо заменяет и факты, и аргументы. Неужели Вы станете утверждать, что англо-американские войска, высадившиеся в 1944 году во Франции, обходились без спецслужб и без карательных подразделений, возложив на себя обязанности последних? Я бы лично не стал вот так походя бросать тень на британских и американских армейских офицеров. Хотя это и не моя забота.

И совсем уж, словно для «Пионерской правды»: «Казалось бы, чего же проще: мир с Германией подписан, где же запутанность ситуации? Но Сталин настойчиво повторяет свое предостережение не верить кажущейся простоте, быть готовым к неожиданностям, к каким-то резким поворотам и изменениям».

В данном случае, господин Резун, Вы выглядите большим сталинистом, чем сам товарищ Сталин, когда-то бодро сказавший: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Мир подписан, и можно лезть на печку... А не слишком ли, господин Резун, Вы упрощаете?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться на этот раз даже не к тридцатым годам, а к эпохе заключения Версальского договора, то есть к эпохе, когда подбивали бабки первого тура мировой войны.

Итак, 1919 год. В Европе пушки перестали стрелять. Воцарилась долгожданная тишина, но спокойствия нет. Победители тихо и, как им кажется, легитимно грабят побежденных, предусмотрительно составляют планы долгосрочного или даже бессрочного грабежа, деловито кромсают политическую карту, выкраивая новые государства, приращивая победителям территории за счет побежденных... Вовсе исчезает в историческое небытие Австро-Венгерская империя, которую отныне агитпроп станет называть «лоскутной», то есть как бы ненужной, как бы никакой, забывая, что эта «лоскутная» империя долгие годы прикрывала Европу от вторжения с географического юга исторического Востока. Зато на политической карте вновь появляется Польша и становится вроде бы невзначай в ряд крупнейших европейских государств. И только вот Россия продолжает свое самоистребление в бушующей Гражданской войне.

1920 год. 29 марта в докладе от имени ЦК Ленин говорит делегатам IX съезда РКП: «Польша, представители которой особенно сильно бряцали оружием и продолжают бряцать... прислала приглашение открыть мирные переговоры». Сказав о нарастании революционного движения в Германии и Польше, Ленин продолжает: «В сознание самих представителей буржуазно-помещичьей Польши начинает проникать мысль: «не поздно ли, не будет ли раньше Советская республика в Польше, чем учинение государственного акта, мирного или военного?» Они не знают, что делать. Они не знают, что несет им завтрашний день. Мы знаем, что каждый месяц дает нам **гигантское усиление наших сил** и будет давать больше... Но мы к международному кризису должны относиться с чрезвычайной внимательностью и готовностью встретить какие бы то ни было неожиданности» (выделено мной. — *А. Л.*).

Кроме того, что в Польше бряцали оружием, во всем остальном Ленин отчаянно ошибался, если не считать самое общее его высказывание о *неожиданности*. Так, Франция к этому времени поставила Польше полторы тысячи орудий и 10 миллионов снарядов к ним, 350 самолетов, 800 грузовиков, огромное количество другого вооружения и предоставила долгосрочный кредит в сумме свыше одного миллиарда франков.

В подготовке формирования польской армии принимали участие французские генералы Фош и Анри.

Соединенные Штаты предоставили Польше долгосрочный кредит на сумму 160 миллионов долларов, большое количество медикаментов, две сотни бронемашин, три сотни самолетов, три миллиона комплектов обмундирования и четыре миллиона пар обуви.

Великобритания оказала, скорее, символическую помощь, поскольку английские политики понимали, что Франция стремится к гегемонии в континентальной Европе, а в лице Польши она обрела верного союзника.

Вы, господин Резун, очень любите считать: цифры порой бывают весомее всяких других аргументов. Вот и посчитайте, проанализируйте и скажите: к чему было так вооружать Польшу, когда во всей остальной Европе разоружались и готовились к долгому миру? И Ленин был совершенно прав, когда говорил о таящихся в международном плане неожиданностях. Сказать-то сказал, но почему-то сам не придал реального значения собственным словам. Не прошло и месяца с момента ленинского «прогноза», как поляки «неожиданно» начали боевые действия. 25 апреля поляки вторглись в пределы Украины, а уже 6 мая заняли Киев — это был настоящий блицкриг. Далее предполагалось развить наступление на Одессу, то есть к Черному морю. Польша от моря (Балтийского) и до моря (Черного) — это уже великая Польша. Одновременно велось наступление и в Белоруссии.

А между тем в декабре 1919 года Верховным советом Антанты советско-польская граница была установлена по «линии Керзона», в основу которой лег этнический принцип. Ее предложил английский министр иностранных дел Д. Керзон. Но Польшу горячо поддерживала Франция, поэтому в данном случае она игнорировала и Верховный совет Антанты, и самого Керзона.

Но польский блицкриг оказался военной авантюрой: в район Киева и в Белоруссию были переброшены дополнительные воинские формирования, и уже 25 мая Красная Армия перешла в наступление как на юго-западном фронте (командующий — бывший полковник царской армии и будущий маршал Советского Союза Егоров, член РВС — Сталин), так и на западном (командующий — бывший подпоручик царской армии и также будущий маршал Советского Союза Тухачевский).

Ленин и Троцкий в мечте о советской Польше, а там, гляди, и советской Германии совершили одну серьезную оплошность и одну серьезную глупость. Они полагали, что при вторжении Красной Армии на территорию Польши у польских рабочих взыграет чувство классовой солидарности, а у тех вдруг сыграло совсем иное чувство — национальное. А вот глупость их состояла в том, что они решили с ходу внедрить в Польше российскую «модель» комбедов. В районах, «освобожденных» Красной Армией, помещичьи земли передавались не крестьянам, а батрацким комитетам. Совершенно они не учли и роли католической церкви в жизни поляков. Все это в совокупности во многом и предопределило исход всей кампании.

Между прочим, сегодняшние наши необольшевики (демократы) пытаются перестроить Россию по польской «модели». Природа большевизма в том и состоит, что он всегда подгоняет жизнь под какую-то теорию, вгоняет ее в прокрустово ложе, а все то, что оказывается вне его пределов, беспощадно обрубается. Вот и все его творчество. Однако вернемся к событиям советско-польского военного конфликта.

Юго-западный фронт вел наступление на Львов. Западный — в Белоруссии. Прорвав оборону поляков, Тухачевский, совершенно необоснованно возомнив себя Наполеоном, совершил глубокий рейд в направлении Варшавы, оторвался от своих тылов, потерял управление войсками и в результате потерпел сокрушительное поражение. 4-я армия и две дивизии 15-й армии вынуждены были перейти границу Восточной Пруссии, где их интернировали, остальные части и соединения беспорядочно отступали, а сам Тухачевский едва избежал плена.

17 августа 1920 года в Минске начались советско-польские переговоры, а 9 октября войска генерала Желиговского уже вторглись в пределы Литвы и захватили Вильно и Виленскую область, провозгласив там «срединную Литву», присоединили ее к Польше на правах автономной провинции. Все попытки Лиги Наций возвратить Литве оккупированные Польшей территории успеха не имели, и тем более пустым звуком оказался протест Советского правительства, домогавшегося в это время мира с Польшей. 18 марта 1921 года договор был подписан, и Польша превратилась почти что в империю, в которой поляки составляли лишь 65 процентов от общей численности населения.

Между прочим, Польша в это время имела самую большую армию в Европе: 7100 тыс. человек при 140 тыс. офицеров.

Французская армия насчитывала 660 тыс. человек, а Германия, согласно Версальскому договору, сократила свою армию до 100 тыс. человек. Теперь с Польшей приходилось считаться всем, особенно если учесть ее самые тесные отношения с Францией.

Сталин знал всю «польскую ситуацию» не по сводкам и газетам, он как член РВС Юго-Западного фронта пережил немало горьких минут в тот период. Это теперь нам представляется, будто Польша накануне Второй мировой войны была столь же слабосильной и беззащитной, что Дания или Голландия.

Так что, господин Резун, когда в марте 1939 года Сталин говорил о «неожиданностях» на международной арене, он отдавал себе ясный отчет, что ими чреват именно «польский» узел. И именно в марте 1939 года Риббентроп заявил польскому послу Липскому в ультимативной форме, что «Польша должна понять, что она не может балансировать между Германией и Россией». Ни Англию, ни Францию Риббентроп здесь не назвал.

Когда, господин Резун, Вы говорите, что в 1941 году у Гитлера создалось безвыходное положение (я это слышу впервые), то я вполне могу с Вами согласиться. Но самую роковую ошибку в своей жизни Гитлер совершил именно в 1939 году, и подвела его жадность. Если бы он понял, что Польша никак не может утешиться «тешинским» клочком чехословацкой территории, пообещай он ей взамен Данцига присоединить к ее «срединной Литве» и всю остальную, а еще лучше — хотя бы часть правобережной Украины с Одессой, и перспектива Польши «от моря и до моря» бросила бы ее в его крепкие объятия. Польша могла бы выставить миллионную армию, в Латвии и Эстонии были сильны профашистские настроения. И тогда бы в первые дни войны Гитлер мог бы бомбить не только Минск и Киев, но и Москву, и Ленинград. А если учесть, что на хвосте у Сталина висела злобствующая по случаю поражения в районе Халхин-Гола Япония, то положение Сталина было бы просто катастрофическим.

И не Гитлер в 1939 году обманул Сталина, как это уверяет тот же Волкогонов, а Сталин — Гитлера. Практически Сталин выиграл войну 23 августа 1939 года, а к 1941 году он поставил Гитлера в безвыходное положение. И я абсолютно с Вами согласен, что Гитлер начал войну со Сталиным, будучи к ней не готовым. Вы очень интересно рассказываете о методе ГРУ: упадет цена на баранину и поднимется на овчину — зна-

чит, германская армия готовится к походу в Россию. Этого не наблюдалось, стало быть, вермахт к войне с Россией не готов. И мы увидели в снегах под Москвой немецких солдат в пилоточках и шинельках. То же самое повторилось и через год под Сталинградом. А если кратко формулировать состояние вермахта в июне 1941 года, то можно сказать: вермахт был готов воевать против России, но он был не готов ее победить.

Итак, подведем некоторые итоги. На Ваш вопрос, выставленный в подзаголовок книги: «Кто начал Вторую мировую войну?» — я вынужден еще раз сослаться на бесспорный исторический факт и ответить: «Англия, 3 сентября 1939 года в 11.00». Однако из этого вовсе не следует, что Англия являлась агрессором. Еще меньше может претендовать на эту роль Франция, если опять-таки опираться на исторические факты. Не стану их здесь перечислять по причине их очевидности.

Вы, господин Резун, разумеется, скажете, что таковым был Сталин. Что ж, приму Вашу версию и попробую проверить ее фактами. Ну, давайте начнем с юга.

28 июня 1940 года Красная Армия вторглась в пределы Румынии, и Бессарабия вновь оказалась в лоне бывшей России. Между прочим, у А. Барбюса в книге «Сталин» есть такой пассаж: «Германская армия оторвала от России Прибалтийские страны и Финляндию. Союзники отторгли от нее Польшу и, дополнив ее кусками Австрии и Германии, создали независимое государство... Они украли у советского государства Бессарабию, чтобы, пренебрегая желаниями бессарабцев, заплатить ею Румынии».

Я не стану здесь ссылаться на авторитет А. Барбюса, но обращу Ваше внимание на лексический нюансик. Одно дело «оторвала», «отторгли» — это все из политического лексикона. И вдруг «украли»... А слово это здесь не случайно. В литературе двадцатых годов подобная интерпретация по поводу именно Бессарабии встречается. Дело, оказывается, в том, что в декабре 1917 года Румыния оккупировала Бессарабию. 5 марта 1918 года при участии держав Антанты представители Румынии и Советов подписали договор, согласно которому Румыния обязывалась в течение двух месяцев вывести свои войска из Бессарабии, однако взятого на себя обязательства не выполнила. Румыния неоднократно обращалась к державам Антанты, чтобы те приняли решение о включении Бессарабии в состав Румынии, однако она так и не получила международного правового документа на владение Бессарабией. Та-

ким образом договор от 5 марта 1918 года как бы оставался в силе. А Румыния его игнорировала. Вот почему у Барбюса и появилось слово не из политического лексикона — «украли».

Так что 28 июня 1940 года Советский Союз заставил Румынию выполнить взятые на себя обязательства 5 марта 1918 года. И не более того.

17 сентября 1939 года Красная Армия, как известно, вошла на территорию уже поверженной Польши, и демаркационная линия между СССР и Германией примерно совпала с «линией Керзона». Более того, уже 10 октября 1939 года Советское правительство передало буржуазной Литве отнятую у нее в 1920 году буржуазной Польшей «срединную Литву» и тем самым как бы воплотило в жизнь так до сих пор и не реализованное решение Лиги Наций девятнадцатилетней давности. А после окончания Второй мировой войны Литве будут возвращены Клайпеда и Клайпедский район, отнятые у нее Гитлером еще в марте 1939 года. Сталин оказался, ну, прямо-таки собирателем литовской земли.

Далее идут Латвия и Эстония. А когда вообще существовали такие государства? Вы, господин Резун, вероятно, скажете, что эти земли были завоеваны Петром I. Но, во-первых, они были не завоеваны, а отвоеваны у Швеции в результате двадцатиоднолетней войны, что и было тогда закреплено Ништадтским договором, после которого Св. Синод и присвоил Петру I титул «Отца отечества, императора всероссийского, Петра Великого». «Отец» закатил тогда такое празднество по случаю заключения мирного договора со Швецией, какого, наверное, не видывал мир.

Вы, господин Резун, слушали в академии лекции по военной истории, так что в этой области Вы человек осведомленный, а посему скажите мне, пожалуйста: Вы помните такой случай, чтобы страна-победительница выплачивала контрибуцию побежденной стране?

Я один такой случай знаю: Ништадтский договор от 30 августа 1721 года (артикул № 5) предусматривал возвращение Швеции не только финских территорий, но и выплату «двух миллионов ефимков, исправно и без вычета... и указать на такие сроки и такою монетою, как о том в сепаратном артикуле... постановлено». Постановлено же в сепаратном артикуле было следующее: «А сей платеж чинится впрочем в 4 срока, из которых перьвой в начале будущего февраля 1722 года на 500 000 ефимков; второй в начале месяца декабря того же года на 500 000 ефимков;

третий в месяце октябре 1723 года паки на 500 000 ефимков, а четвертый и последний в начале месяца сентября 1724, на 500 000 же ефимков, что тогда вся сумма сих помянутых 2 000 000 сполна заплачена и отдана быть имеет».

(Мне почему-то сразу вспомнились авторы Версальского договора с их педантичной росписью ограбления побежденных.)

А в артикуле № 6 побежденная Швеция обязывала Россию продавать ей хлеба на 50 000 рублей ежегодно, не взимая «никаких пошлин или иных налогов». И что самое главное, это экономическое обязательство вменялось России «в вечные времена». Правда, присутствовала здесь и «гуманитарная» оговорка в том духе, что, ежели в России случится недород, тогда, конечно, может быть сделано и послабление, однако при условии, что «его царское величество принужден будет вывоз хлеба генерально всем нациям запретить». Это была тоже, пусть и замаскированная, контрибуция, причем вменяемая России «в вечные времена».

Таким образом, согласно Ништадтскому договору, Россия даже не *отвоевала* в начале XVIII века у Швеции прибалтийские земли, а *выкупила* их. Это — во-вторых.

А в-третьих, казалось бы, прибалтийским буржуазным государствам, уважающим — по идее — священный институт частной собственности, следовало при даровании им независимости выплатить России хотя бы часть того, что она когда-то выплатила Швеции (это касается Эстонии и Латвии). Куда там!..

2 февраля 1920 года в Тарту был подписан советско-эстонский мирный договор, согласно которому буржуазной Эстонии передавалось все движимое и недвижимое имущество российской казны, находящееся на ее территории. Эстония также освобождалась от долговых и иных обязательств царской России, она получала право на лесную концессию на территории РСФСР площадью в 1 миллион десятин. Более того, ей Советское правительство за что-то выплатило 15 миллионов рублей золотом.

12 июля 1920 года в Москве был подписан советско-литовский мирный договор, согласно которому город Вильно и Виленская область закреплялись за буржуазной Литвой, их-то потом и отторгнет свободолюбивая Польша при помощи военной силы. В основу договора с Литвой лег тот же экономический принцип, правда, Литве выплатили только 3 миллиона рублей золотом.

11 августа 1920 года в Риге на тех же экономических основаниях был подписан советско-латвийский договор. Буржуазной Латвии предусматривалось выплатить 4 миллиона рублей золотом.

Итак, три прибалтийских государства, которых Россия никогда не лишала независимости, принялись вместе с Лениным и его соратниками грабить Россию под лозунгом «Грабь награбленное!». 22 миллиона рублей золотом, экспроприация российского движимого и недвижимого имущества, полное аннулирование собственных долгов российским собственникам. И при чем тут священный принцип частной собственности, когда можно безнаказанно пограбить! Ведь все же хорошо понимали, что германские деньги Ленин давно уже истратил, а 22 миллиона рублей золотом и громадное количество движимости и недвижимости экспроприировано при помощи Дзержинских, Урицких, Менжинских, Лацисов, Петерсов и красных (от крови) полков латышских стрелков. Добро бы, если бы в общей грабиловке участвовали эстонские, латышские и литовские коммунисты, тут было бы все ясно — Коминтерн!

Я, уважаемый господин Резун, могу еще понять поляков. Да, когда-то Россия совместно с Пруссией и Австрией растащили Польшу на части, лишив ее независимости. По Версальскому договору Польша мирно заполучила земли и от Германии, и от уже несуществующей Австро-Венгрии, а на востоке ее граница пролегла по этнической «линии Керзона». Но плевать она хотела и на Керзона и на его линию; почувствовала слабость Советской России, Советской Украины и Советской Белоруссии и отодвинула свои границы от «линии Керзона» этак километров на 200 к востоку. В общем, «освободила» Западную Украину и Западную Белоруссию от коммунистического режима?

Но от кого освобождала буржуазная Польша буржуазную Литву, когда в октябре 1920 года оккупировала Вильно и всю Виленскую область?

Вот Вас, господин Резун, когда-то в академии смутило то обстоятельство, что лекция по стратегии противоречила лекции по военной истории («Что за наваждение? Не может быть и то, и другое правдой: или историк врет, или стратег ошибается»). Неужели, только учась в академии, Вы впервые обнаружили, что историкам врать не привыкать? И не только у нас, о чем, между прочим, свидетельствует и автор послесловия к

«Ледоколу» В. Буковский. Я, например, гораздо больше удивляюсь, когда историк говорит правду.

Открываю, к примеру, «Советский энциклопедический словарь» образца 1980 года, читаю о Советско-польской войне 1920 года: «Не имея сил продолжать войну, польск. пр.-во согласилось 12 окт. на перемирие, а 18 марта 1921 подписало мирный договор (см. Рижские мирные договоры)». Смотрю: «сов.-польск. (18.03.1921), завершил сов.-польск. войну 1920, установил сов.-польск. границу (к Польше отходили Зап. Украина и Зап. Белоруссия), дипл. и торг. отношения».

Все. Вот как лихо стратег Тухачевский умотал поляков... Только почему тогда «Зап. Украина и Зап. Белоруссия» отошли к Польше? Сил, что ли, у них не хватило отойти дальше, до «линии Керзона»? И почему РСФСР и УССР возвращают «обессиленным» полякам все военные трофеи, научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши с 1 января 1772 года (со времен не последнего, третьего раздела, а со времен — первого), прощают долги и еще вдобавок обязуются в годичный срок выплатить 30 миллионов рублей золотом? И это в то время, когда в России полная хозяйственная и экономическая разруха, эпидемии, голод, безработица; как подсчитают потом, когда Ильич щедро раздавал миллионы буржуазным государствам, в собственной «социалистической» стране бродяжничало семь миллионов беспризорных (см. БСЭ. Т. 5. С. 786).

Однако вернемся в последние предвоенные годы.

17 сентября 1939 года. Красная Армия переходит советско-польскую границу. Оккупация! Не спешите. Красная Армия не войдет в Варшаву, она остановится, в принципе, на «линии Керзона», которая была утверждена в качестве советско-польской границы в декабре 1919 года Верховным советом Антанты.

10 октября 1939 года. Советское правительство передает Литве Вильно и Виленскую область («срединную Литву»), чего в свое время добивалась, но так и не добилась Лига Наций.

30.11.1939 — 12.03.1940. — Советско-финляндская война. Согласно Тартускому мирному договору 1920 года Советская Россия отдала Финляндии никогда ей не принадлежащий район Печенги (Петсамо), дававший выход в северные моря. **Теперь Советский Союз возвращает** этот район себе. Была несколько отодвинута граница от Ленинграда.

Как видим, Сталин не покусился на независимость входивших в состав Российской империи государственных образований, каковыми были Великое княжество Финляндское и Королевство Польское, и Варшаву занял не Сталин, а все-таки Гитлер.

Июнь 1940 года. Красная Армия переходит границу Эстонии, Латвии и Литвы, то есть **бывших российских губерний, не имевших государственного или автономного статуса до распада Российской империи в 1917 году.** В СССР они вошли в качестве союзных республик, то есть с государственным статусом.

В том же месяце Красная Армия **освободила Бессарабию, уворованную Румынией еще в 1918 году,** когда было заключено советско-румынское соглашение, по которому Румыния обязывалась вывести свои войска с территории Бессарабии в двухмесячный срок. И этот вывод затянулся на двадцать два года. Бессарабия вошла в состав Молдавской союзной республики.

Как видите, господин Резун, Сталин действовал весьма аккуратно и, если не идти по стопам агитпропа, то Советский Союз агрессором не назовешь. Будучи восприемником Российской империи, он, воспользовавшись «занятостью» Гитлера на Западном фронте, подсобрал земли, которые у него отторгли всего лишь по случаю его военной несостоятельности в период окончания Первой мировой войны. И если судить не по явным или мнимым намерениям, а по свершениям, то **агрессором все же следует считать гитлеровскую Германию,** которая летом 1940 года уже хозяйничала в Праге, Варшаве, Копенгагене, Осло, Брюсселе, Амстердаме и даже в Париже. Кажется, эти европейские столицы никогда не входили в состав германского государства. Так что изображать Гитлера и его команду в качестве жертв сталинских происков по меньшей мере недобросовестно.

И если уж вступать в роль адвоката Гитлера, то совершенно незачем сваливать всю вину на Сталина, очень легко можно преодолеть эту примитивную альтернативность, ибо история развивается не по закону альтернативности, а по закону многовариантности.

К примеру, такой вариант. **28 июня 1919 года.** В Версале подписан мирный договор. **Первая мировая война окончена.** Впереди еще Парижская мирная конференция (1919—1920), на которой будет вырабатываться подробный план ограбле-

ния побежденных стран. И вдруг вновь возникшая на политической карте Европы Польша начинает войну сначала против **Советской Украины и Советской Белоруссии**, а затем и против **буржуазной Литвы**... Но об этом мы уже говорили. Так вот, если эту агрессию Польши против своих соседей считать *непредвиденным эпилогом* Первой мировой войны, то это нам не дает никакой новой точки зрения. Однако у нас есть все основания считать данную агрессию Польши *преждевременным прологом* Второй мировой войны — тогда Польшу следует не только назвать агрессором, но и зачинщицей этой самой Второй мировой войны.

Кстати сказать, Первая мировая война началась фактически на Балканах, а ей предшествовали две Балканские войны (1912—1913), на пепелище которых и вспыхнула Первая мировая война. Вторая вспыхнула тоже на пепелище, окончательно не потухшем пепелище польской войны 1920 года. Слишком большая пауза между *прологом и основным* действием? Что ж, каждая болезнь имеет свой индивидуальный инкубационный период.

Ставить же развитие и ход истории в зависимость от капризов «великих» личностей (Наполеон, Ленин, Сталин, Гитлер, Рузвельт, Горбачев, Буш, Хусейн и так далее) значит добровольно оставаться пленником и рабом философии культа земной личности, и человек, исповедующий эту философию, неотвратимо впадает в антиисторизм, и тогда он начинает или исступленно поклоняться «великой» личности, или столь же исступленно ее проклинать, то есть тратить собственную свою жизнь на пустяки. А чтобы не тратить жизнь на пустяки, не следует подглядывать в спальни и туалетные комнаты «великих», листать истории их болезней, ибо здесь «великие» ничем не отличаются ото всех остальных, то есть невеликих. Свою любознательность лучше потратить на изучение исторических событий и явлений, чтобы установить между ними связь не только в пространстве, но и во времени.

К примеру, я упоминаю о том, что в 1940 году Сталин ввел генеральские и адмиральские звания. Сам по себе этот факт сегодня для нас — совсем ненужная подробность. А если его увязать с остальным контекстом тогдашнего времени, то он весьма существен. Факт этот свидетельствовал о том, что СССР вскоре примет участие во Второй мировой войне и у него будут военные союзники, для чего и унифицировались с общеевропейскими воинские звания высших должностных

лиц (комбриги, комдивы, комкоры, командармы, флагманы и так далее). Офицерские звания унифицировались еще раньше, как и звания младшего комсостава (введены сержантские звания). А в январе 1943 года унифицировались и знаки различия — Красная Армия надела погоны, так как стало ясно, что вскоре Красная Армия войдет на территорию европейских государств, где «беспогонная» армия будет восприниматься как революционная орда.

А теперь, господин Резун, мне бы хотелось от столь незначительного факта перескочить к самым глобальным историческим вехам. Вы хорошо и внимательно изучали военную историю, поэтому я попытаюсь изложить все очень тезисно.

Раздел первый. «Наполеон и его имперостроительные планы». Походы в Египет и Сирию. Неудачи. Откладывается на потом. Завоевание почти всей Европы, кроме Англии и России. Поражение на море (Трафальгарское сражение). Англия по-прежнему господствует на море. Союз с Россией. Самоубийственный поход на Москву. Крах имперостроительных планов Наполеона. Остров Св. Елены.

Раздел второй. «Конец XIX века». Европа самоорганизовалась (интегрировалась) в единый экономический, финансовый, политический и культурный конгломерат. Единая цель отсутствует. Все разъедает изнутри межгосударственная экономическая конкуренция при ее почти полной взаимосвязи.

Раздел третий. «Первая мировая война». Размежевание европейских государств на два военных лагеря. Победа Антанты. Центральная Европа развалена и лишена всякой исторической перспективы. Россия взорвана двумя революциями и далеко отодвинута на восток. Англия и Франция овладели всем Средиземноморьем, да и, по сути дела, всей Европой. Создали умозрительно надгосударственную Лигу Наций, но она оказалась недееспособной с самого начала. Роль США была еще не совсем ясна. Ясным был только общесоюзнический военный им долг: один миллиард девятьсот миллионов фунтов стерлингов (тогда еще считали на английский фунт) — сумма по тем временам просто баснословная.

Россия во всех отношениях была разрушена и развалена, в ней Коминтерн с его идеей всепланетарной революции нашел базу для оседлости и громадные людские ресурсы. Единая цель у победившей Антанты отсутствует, если не считать возню вокруг распределения и перераспределения награбленного и захваченного. Иные территории или города (Кон-

стантинополь, Данциг, Саарская область и некоторые области Ближнего Востока становятся подмандатными территориями Лиги Наций) так и дотянут до Второй мировой войны в статусе бесхозных.

Раздел четвертый. «Гитлер и его имперостроительные планы». Сначала Гитлер расползается как бы во все стороны: на юг (Австрия, Балканы, о. Крит), на восток (Чехия, Польша, Мемельский край), на север (Дания, Норвегия), на запад (страны Бенилюкса, Франция), воюет в Северной Африке, надеясь захватить Суэц; пытается уговорить Франко захватить Гибралтар, чтобы все Средиземноморье принадлежало Германии и ее союзникам. Это и есть та идея «Евроафриканского пространства», о котором так вскользь высказался Шелленберг в своей книге «Лабиринт». Но не доделав одного дела, Гитлер, повторяя ошибку Наполеона, совершает самоубийственный поход на Москву. А что произошло потом, все прекрасно знают.

Вы, господин Резун, имеете хорошую военную подготовку, так что Вам нетрудно будет совершить маленькую манипуляцию с картами, естественно, не игральными. Возьмите карту наполеоновских завоеваний и претензий на завоевания, наложите на нее карту Европы времен Версальского договора, а на нее, в свою очередь, — карту завоеваний Гитлера и его притязаний на завоевания, мысленно просветите всю стопку, и Вы увидите, что на протяжении двух столетий Европа через громадную кровь и неисчислимые материальные потери и расходы стремилась создать то «Евроафриканское пространство», о котором и говорил Гитлер, по свидетельству Шелленберга.

А теперь положите стопку карт на стол, все равно какая окажется наверху, рядом же пристройте карту Римской империи I—II веков нашей эры. «Евроафриканское пространство» — это и есть контуры Римской империи в период ее наибольшего распространения. Европейцы очень гордятся своим рассудком и ужасно много говорят о творчестве, а на самом деле они, как пауки или как пчелы, повторяют, несмотря ни на что, один и тот же закодированный им великими римлянами урок, которые не только были рабовладельцами, но и остаются ими по сей день. Римлян нет, они давным-давно исчезли, но они до сих пор держат в духовном и интеллектуальном рабстве тех, кто имеет счастье или несчастье проживать на территории их Великой Римской империи. И при чем тут Наполеоны, Гитлеры или Сталины?.. У истории всегда найдется под рукой исполнитель ее предначертаний.

Но было время, когда европейцы освободились от римского рабства, — это Средневековье. Тогда они веровали во Христа, тогда они творили: ходили в крестовые походы, воевали между собой, дрались на рыцарских турнирах, открывали далекие земли и писали великие книги. А величайшая европейская книга «Дон Кихот» — печальный и одновременно гордый реквием свободе и благородству, которые вкрадчиво стали подменяться совсем иными ценностями, когда культура начала вытесняться цивилизацией.

Да, я, кажется, ничего не сказал о Британской империи, но в основе ее создания лежал несколько иной геополитический принцип.

Раздел **пятый.** «Великобритания — островное государство». Это обеспечивало ей полную неуязвимость на суше и диктовало необходимость иметь большой торговый и военный флот. Став постепенно владычицей морей, она расползлась по всему миру, во всех частях света были ее колонии, но главным для нее всегда оставалось Средиземноморье. Не сумев ничего захватить в Европе, она в первой войне за Испанское наследство по Утрехтскому миру (1713) отмежевала в свою пользу Гибралтар, а ключ от него положила в свой карман. В 1869 году был построен Суэцкий канал. Великобритания сумела скупить акции и таким путем завладела вторыми, рукотворными, воротами в Средиземное море. После Второй мировой войны Британская империя (не без помощи США) стала разваливаться и постепенно превратилась во второразрядное государство.

Раздел шестой. «Итоги Второй мировой войны». В результате разгрома гитлеровской Германии образовалось «Евроафриканское пространство», которое по центральному европейскому меридиану разделилось на западный блок государств и восточный, с двумя геополитическими полюсами: Соединенными Штатами и Советским Союзом. Соперничество двух сверхдержав распространилось на всю планету, что обеспечило Европе долгий мир, а в остальных частях света постоянно возбуждало военные конфликты, порой очень длительные.

Раздел седьмой. «Предварительные итоги горбачевской перестройки». Советский Союз был взорван изнутри, и Россия откатилась далеко на восток, гораздо дальше, чем после польской интервенции 1920 года. Воссоединилась Германия, но развалилась Чехословакия. Кроваво распадается Югославия, опять на балканском пепелище полыхает война. Но, в об-

щем-то, «Евроафриканское пространство», о котором мечтали Наполеон и Гитлер, уже почти сформировалось, даже сохранена гитлеровская терминология: «единая Европа», «новый порядок», «экономическое пространство». Правда, теперь в роли лидеров выступают уже не французы и немцы, а народ извне — североамериканцы.

Однако ничто не стоит на месте. Никто не знает, каким ферментом обернется для всей остальной Африки ныне перестраивающаяся ЮАР, никому не известно, как немецкие политики нового поколения отнесутся к претензиям США на мировое господство и на гегемонию в Европе... Но, слава Богу, Россию вопросы Евроафриканского строительства уже не занимают, ибо она ушла теперь далеко на Восток, и не только географический.

А Вы, господин Резун, оказывается, неисправимый агрессор. «После изгнания Бонапарта из России, — пишете Вы, — Русская армия победоносно пришла в Париж. Не застав там Бонапарта, Русская армия с песнями ушла домой. Для России целью войны являлся разгром армии противника. Если никто больше Москве не угрожает, то и Русской армии нечего делать в Западной Европе».

Вы извините, господин Резун, мне как-то неловко, но я должен все-таки сделать кое-какие уточнения. Во-первых, во время Второй мировой войны Русская армия и не появлялась в Западной Европе, она дошла только до Центральной. Вы же все-таки в Академии учились... Во-вторых, Русская армия времен войны с Наполеоном могла запеть песни и не в Париже, а чуточку раньше, скажем, тогда, когда достигла своей западной границы, на чем настаивали такие мудрые люди, как фельдмаршал Кутузов и адмирал Шишков. Но тщеславного Александра I понесло зачем-то на спевку в Париж. Я, например, уверенно разделяю точку зрения фельдмаршала и адмирала и, пытаясь быть последовательным, скажу, что нам вполне хватило бы и Великой Отечественной, то есть дошли бы до своих естественных границ, затянули бы песню и занялись бы своими домашними делами. Должна же все-таки история чему-нибудь да учить. Освободил Александр II Болгарию от турок, а затем в двух последующих мировых войнах Болгария оказывалась в стане военных противников России.

Да, господин Резун, туги, туги мы на ученье. Род людской всегда не любил кредиторов, а еще пуще — освободителей, ибо от кредиторов, отдав долг и проценты, можно освобо-

диться, а как «освободиться» от освободителя? Разве что пакость какую ему учинить — большую или малую. Вот и получаем пакости, да еще с процентами. И поделом тебе, широкая русская душа, страдай, страдай, ибо, как сказано, в страданиях обретается христианская истина.

Не могу утверждать, господин Резун, но, видимо, пребывание в КПСС, а тем более в номенклатуре ЦК КПСС что-то деформирует в человеке надолго. «Я замахнулся, — признаетесь Вы, — на самое святое, что есть у нашего народа, я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, — на память о Войне, о так называемой «великой отечественной войне». Это понятие я беру в кавычки и пишу с малой буквы.

Простите меня».

Прощать-то Вас, в общем-то, не за что, а вот пожалеть стоит: на дворе уже кануны нового века и нового тысячелетия, а Вы все продолжаете жить «по Ильичу». Тот, захватив власть, сразу же заявил, что Бога нет, вторгся в орфографию русского языка и велел писать слово «Бог» с малой буквы. Но если Бога нет, зачем воевать с ним, зачем рушить храмы, зачем уничтожать священников? Когда на Западе решили, что Бога нет, а есть только дарвинизм, то там не стали рушить храмов: зачем бороться с тем, чего нет, то есть с пустотой? Ведь храм без Бога — это всего лишь архитектурное сооружение, ну, и пусть себе стоит. Что же касается русского народа, то Бога он не забыл, что стало ясно в Великую Отечественную, а вот об Ильиче стал активно подзабывать, поскольку защищал он в этой войне не коминтерновские бредни, а свое историческое существование. О Великой Отечественной у нас написана великая литература и почти ничего не написано о походе в Восточную и Центральную Европу.

Вот Вы, господин Резун, загнали Русскую армию, спутав ее с американской, аж в Западную Европу, однако никто (ни редакторы, ни корректоры, ни читатели, ни Вы сами) этого даже не заметил. Думается, здесь Вас лично подвел творческий экстаз, но ведь никакой экстаз не заставил бы Вас написать, что гитлеровская армия оккупировала, скажем, Урал. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а закончилась... Тут временная координата переходит в пространственную: на рубежах нашей Родины. Точнее не определишь. Далее же пошел отсчет нашего участия во Второй мировой войне, точно так же, как Отечественная война 1812 года

исчерпывается войной на территории России, а дальнейшая операция именуется «Заграничными походами русской армии 1813—14 годов». Кажется, я не ошибаюсь.

Я, господин Резун, читал Вашу книгу с большим интересом и не испытывал никакой «дикой ярости», что предрекали мне газета «Ди Вельт». Возможно, я не «советский товарищ» и не «западный друг»? Возможно, однако такое объяснение слишком примитивно, а потому уныло. А мне просто был интересен сам автор — человек с цепкой памятью, острым и, я бы даже сказал, прытким умом, весьма осведомленный в военном деле и весьма прилично владеющий пером, однако сознательно поставивший перед собой задачу: не идти к истине от фактов и их анализа, а, подбирая факты и имитируя их анализ, подгонять все под заранее известный «ответ», который Вы и сформулировали в своем авторском обращении к читателю: «Вторая мировая война — это термин, который коммунисты приучили нас писать с малой буквы. А я пишу этот термин с большой буквы (я тоже. — *А. Л.*) и доказываю, что Советский Союз — участник Второй мировой войны с 1939 года, с самого первого ее дня».

Если я Вас ни в чем не убедил, то ответьте, господин Резун, на два очень простых вопроса:

1) Кто «**главный виновник и главный зачинщик**» Первой мировой войны, ведь Сталин тогда носил лишь политическую распашонку, а Гитлер еще кутался в политических пеленках?

2) Почему очень хороший Рузвельт и просто хороший Черчилль объединились с очень плохим Сталиным, а не с просто плохим Гитлером, так домогавшимся дружбы с Англией?

Александр Блок еще в начале нынешнего века поставил «новорожденному» точный и беспощадный диагноз: «Цивилизованное одичание». И оказался абсолютно прав. Ведь на самом деле не было никакой Первой мировой войны, не было и Второй. А были **Первый тур** Великой мировой бойни, затем — **Второй**, а потом мы незаметно вползли и в **Третий**. Когда и чем все закончится — неизвестно. Те геополитические и психические изменения, что произошли в XX веке, — лучшее подтверждение тому, что вместо перманентной революции мы получили перманентную мировую войну. Создается впечатление, будто человечество решило самоистребиться. Если раньше в армии, чтобы приучить солдата к осторожности в обращении с винтовкой, говорили, что один раз в году и метла сама стреляет, то теперь устраиваются международные вы-

ставки-распродажи оружия: плати, бери и стреляй. А агитпроп в это время рассказывает сказки про борьбу за мир, про демократию и про очень плохого Сталина. Я, например, скорее пошел бы торговать оружием, чем дурачить людей под диктовку агитпропа, оно как-то честнее, хотя, разумеется, и эта честность весьма сомнительного свойства.

И здесь я не просто выстраиваю риторические фигуры. В России сейчас льется кровь, в России сейчас очень тяжело, но Россия пока еще не потеряла веры в свое историческое будущее. Как всегда, в России сейчас совершается много подвигов и не меньше глупостей, а еще больше их высказывается вслух, что мешает сосредоточиться. Но Россия сосредоточится, она уже сосредотачивается, как в годы священной для русского народа ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Прощай, Европа, не поминай лихом, а мы уходим на Восток, уходим сами.

Извините, господин Резун, что я все время обращался к Вам столь официально, но это вовсе не из желания подчеркнуть свое отчуждение к автору «Ледокола», а по причине того, что Вас не простил отец, а раз не простил, значит, от Вас как бы отпало его имя, то есть Ваше прежнее отчество.

1994

АПОСТОЛЫ И ЖЕРТВЫ СИЮМИНУТНОГО

В минувшем году Владимир Бондаренко презентовал мне две своих книги: «Крах интеллигенции» и «Реальная литература», произведя меня в дарственных надписях в высокую степень своего «учителя и друга». Что ж, это, наверное, не менее почетно, нежели заполучить звание лауреата Государственной или любой другой премии, особенно если учитывать искренность Бондаренко и лютую заангажированность всех жюри и комиссий по раздаче закамуфлированных взяток.

Прочитав книгу Бондаренко да вдобавок еще рецензию Ларисы Барановой-Гонченко на книгу «Крах интеллигенции», мне так и захотелось крикнуть: «Не могу молчать!» Однако, вовремя вспомнив, что один известный писатель уже когда-то вскрикивал подобным образом, решил не шуметь и сел за машинку — спокойно порассуждать.

Статья Бондаренко «Детки в клетке» начинается следующим пассажем: «Сейчас все жалуются на отсутствие критики. На долгие четыре года критика ушла со страниц литературных журналов. Сами критики ушли в историю — В. Кожинов, в депутаты — Ю. Карякин.. Уже давно никто не читал критических статей И. Золотусского и А. Ланщикова».

Вторя Бондаренко, Баранова-Гонченко подтверждает: «Кожинов занялся собственно историей, Лобанов — исторической биографией, Ланщиков, прежде ограждавший критику от литературоведения, — именно литературоведением... И только Владимир Бондаренко в неиссякаемом молодом азарте продолжает заниматься делом сугубо интеллигентским — литературной критикой... В современной русской патриотической критике вы скорее найдете «три пары стройных женских ног», чем второго Бондаренко. Он — уникален. Он — штучен».

По-моему, Баранова-Гонченко не очень-то внимательно прочитала книгу Бондаренко, который в слове «От автора» признается: «Собранные в этой книге статьи... не только и не столько о литературе, сколько о нашем нынешнем обществе». А коли это так, то мы вправе посчитать слова рецензии о «сугубо интеллигентских» занятиях Бондаренко — всего лишь литературной припиской или нелитературной рекламой.

Что же касается «стройных женских ног», то их до одури много мелькает в телепередачах, так что дополнительное изыскание их еще в литературной критике нельзя считать таким уж неотложным, да и перспективным занятием.

О штучности Бондаренко судить не берусь, поскольку не совсем понимаю, что это такое — «штучный критик». А вот что касается уникальности — полностью согласен.

Например, в одном случае он сетует на то, что Кожинов из критики ушел в историю, а в другом заявляет: «Скажем, при несомненном таланте Вадима Кожинова, критиком как таковым он не является». Как можно ставить в вину человеку то, что он перестал быть *тем, кем* никогда не являлся? Оказывается, можно, если ты уже преодолел элементарную логику и освоил тайну логики уникальной.

Помимо уникальной логики, в боевом арсенале Бондаренко есть еще уникальная память. Так, в прошлом году он дважды печатал мои материалы в своей газете «Завтра», да и в других периодических изданиях я не такой уж редкий гость. О том же, что и в предшествующие годы я не молчал, Бондаренко может почерпнуть сведения из собственной статьи «Дейч Марк и Марк Дейч». Этот самый Дейч даже планировал издание какого-то сборника, в который, помимо статей Солженицына, Шафаревича, Казинцева и Лобанова, предлагал включить и какую-нибудь мою статью, о чем я, между прочим, узнал, читая книгу «Крах интеллигенции».

Если, Володя, ты не читал названную книжечку, советую почитать — любопытное чтение. Наверняка много новенького узнаешь.

Что же касается моего нынешнего увлечения литературоведением, то, видимо, Баранова-Гонченко просто меня с кем-то спутала. Последняя моя работа в этой области (составление сборника рассказов и повестей Л. Толстого, написание вступительной статьи и комментариев) увидела свет десять лет назад, и с тех пор ни одной литературоведческой работы я не публиковал.

В принципе я не возражаю — если о тебе творят мифы, значит, тебя еще не предали забвению. И тут даже не очень важно содержание самих мифов, важно само их появление.

Финал рецензии Барановой-Гонченко звучит так, как должно звучать окончание речи после торжественного на-

граждения: откровенная хвала в адрес победителя и вдохновителя и великодушное умолчание о дезертирах: «Бондаренко — боец, Бондаренко — почвенник... Мы ведь тоже, уверенно ощущая себя почвенниками и государственниками, втайне очень боимся показаться неинтеллигентными».

«Бондаренко — боец». Я бы сказал — настоящий боец, ибо он не только отважен, но и пропорционально осторожен. А что касается ощущений, то ощущать себя можно кем угодно и даже чем угодно — тут все зависит от капризов фантазии, только вот афишировать свои фантазии, и тем более свои ощущения, иногда бывает опасно, особенно если они становятся «уверенными», а затем перерастают в твердое убеждение. Окружающие могут тебя не совсем правильно понять и, чего доброго, позовут на помощь медицину. И такое может случиться.

Статья «Почва и космос» заканчивается так: «Почвенники и космополиты. Мое пристрастие к почвенническому направлению, может быть, приводит к определенной субъективности в трактовке фактов, в подборе цитат. Хорошо бы, чтобы разговор на эту тему был продолжен оппонентами... Направления эти были, есть и будут. Они — не результат неких интриг и разгула страстей Они — соперники **в вечном пути познания человеком самого себя и всего человечества**» (выделено мной. — *А. Л.*).

Что ж, Володя, давай продолжим разговор. Ты зацепил глобальную мысль, но, к сожалению, она у тебя опирается лишь на интуицию и не уходит, на мой взгляд, в историческую почву «всего человечества», о которой ты сейчас говорил.

Еще в 1646 году генерал ордена иезуитов Винцентио Караффу напоминал членам ордена, что «каждая страна, а не какая-нибудь одна страна, есть наше отечество». Другой иезуитский генерал, Госвин Никкель, назвал любовь к отечеству «чумой и вернейшей смертью христианской любви». Орден иезуитов, начиная еще со времен Игнатия Лойолы и Диего Лайнеса, всегда боролся с любым проявлением национально-патриотических чувств.

О «познании человеком самого себя и всего человечества» тогда не могло быть и речи. Эта потребность души, которую принято называть «почвенничеством», возникла гораздо позже и при других обстоятельствах. В Средние же века хри-

стианство в его западной интерпретации как раз и стало носителем космополитических идей, когда отстаивалось высшее право церкви перед правами светского государства. Религиозное воззрение Средневековья на государство исходило из положения о греховном его происхождении и господстве над ним «князя мира сего».

Умерший в начале XII века картезианский приор Гвицо писал: «Образ действия королей и князей таков, что они хотят возвеличиться не через собственное улучшение, а через вред, наносимый другим людям, и их унижение». Цезарий Гейстербахский называет князей, управителей и судей порождением ехидны.

Орден иезуитов возник в 1534 году как реакция на пошатнувшееся положение церкви в странах Западной Европы в связи с расколом католической церкви (Реформация) и укреплением позиций светской власти. Космополитизм стал тем оружием в руках иезуитов, при помощи которого они хотели бы восстановить верховную власть церкви в едином христианском мире.

В эпоху победы абсолютизма Людовик XIV (1638—1715) мог с полным правом заявить: «Государство — это я». Но эпоха абсолютизма во Франции оказалась недолговечной. В первый же год Французской революции была принята «Декларация прав человека и гражданина», в третьем параграфе которой записаны такие слова: «Первоначальный источник всякой верховной власти есть нация». Если теперь происхождение власти связывалось с народом, то эта власть не могла быть одновременно учреждением божественным — отсюда и проляжет прямой путь к отделению церкви от государства. Когда Наполеон в 1804 году принял титул императора, он заявил: «Ведь только я, один я — настоящий представитель народа».

Отныне все, что бы ни делалось, **будет делаться как бы от имени народа и вроде бы исключительно для его блага.** Так, в нашем ныне истекающем веке с санкции народов провели, к примеру, две мировые войны, сотни революций и локальных войн, заготовили впрок столько смертоносного оружия, что его хватит для уничтожения всей жизни на планете.

С провозглашением народа источником верховной власти на смену культу трансцендентной личности, то есть Бога, пришел культ личности земной, лучше сказать, мирской, отсюда и начинается философия культа сильной личности. И французы первыми явили миру пример, как может быть обожеств-

лен земной кумир, когда душа, потеряв Бога и нигде не находя опоры, постоянно проваливается в пустоту и готова прилепиться к любой мнимости. Ни один король, если даже он был Королем-Солнцем, не мог и мечтать стать тем, кем стал Наполеон, обобществив политические ваучеры своих верноподданных.

Человек, в отличие от животных, от сотворения наделен религиозным чувством, которое помимо его воли требует постоянного утоления. Помните: «Духовной жаждою томим...»?

Володя, я чувствую, что ты уже слегка заскучал. Действительно, что это я про Европу да про Европу, словно мы не патриоты... Давай лучше о России поговорим. А?

В России оно, конечно, все проще было. У нас мир и клир не вели многовековую тяжбу из-за верховной власти и не обменивались анафемами, не до того было — кочевая цивилизация два с половиной века огнем и мечом сживала нас со света, но потом сама куда-то делась. Тогда с другой стороны, то есть с Запада, нагрянули поляки с намерением нас окатоличить, ну и, как водится в таких случаях, пограбить. Но ничего, как говорится: Бог не выдаст — свинья не съест. Бог не выдал. Обошлось.

А дальше случился Петр I, который незадолго до своей смерти назначил себя императором и еще провозгласил себя «Отцом Отечества», по образцу то ли Отцов народа израильского, то ли христианских Отцов церкви. Патриаршество заранее было преобразовано в Синод, то есть в светское ведомство, во главе которого потом и стояли нецерковные люди.

И двинулись мы с Европой одним путем, то есть вперед. Хотя куда двинулись — и по сей день не поймем. Правда, одно время нам говорили, что мы прямиком идем в коммунизм, потом сказали, что коммунизма не будет, и потащили нас куда-то опять вперед. Куда? Ну, да ладно, разберемся, если раньше не шарахнемся в пропасть.

Мы весь XVIII век профлиртовали с Европой, а в начале XIX века чуть не потеряли Россию. Спасла «гроза двенадцатого года», пробудив в нас национальное самосознание. Мы вспомнили и Бога, и народ, обратились к прошлому, к своим истокам, а оказалось, что движемся вперед. И Пушкин, первый наш почвенник, завершая XVIII век, отлил чеканную формулу: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости».

Позже Хомяков разовьет пушкинскую формулу: «Говоря практически, мы скажем, что в истории мы ищем самого начала рода человеческого, в надежде найти ясное слово об его первоначальном братстве и общем источнике».

В начале нынешнего века русский академик Н. Котляревский сказал о минувшем веке так: «XIX век — век великого созидания и вместе с тем поминок... Он вообще обладал способностью отдаваться воспоминаниям и размышлять о прошлом среди самых интенсивных переживаний дня. Девятнадцатый век любил вспоминать старину, как ни один из веков; он столько же жил настоящим, сколько и прошлым».

Но справедливости ради следует сказать: Запад в XIX веке не только занимался работорговлей, войнами, захватом и грабежом колоний, он также «любил вспоминать старину» и «жил столько же в настоящем, сколько и в прошлом», созидая культуру.

По сути дела, XIX век до сих пор стоит донором при нашем кровавом веке, удерживая нас от окончательного одичания. Так, западный агитпроп куда спокойнее относится к коммунистическим идеям, а советский к западным, нежели тот и другой — к почвенничеству. Главная задача агитпропа состояла в том, чтобы отбить у людей историческую память. И уже в 1946 году сын покойного президента Рузвельта, Элиот, с ужасом констатировал: «Темп нашей эпохи таков, что наши взгляды определяются не ходом исторических событий, а газетными заголовками. Степень нашего доверия или недоверия к России обусловлена не ее огромным вкладом в нашу победу, которая все еще остается важнейшим событием нашего поколения; оно скорее определяется сенсационными заголовками на первых полосах газет, вышедших за последние три-четыре дня».

Так сразу же после Второй мировой войны в США, Европе, Советском Союзе стал формироваться совершенно новый тип человека, тип «совка», в сознании которого **исторический процесс** был напрочь вытеснен **сиюминутными сведениями**, собранными со всего мира, а точнее, не собранными, а тщательно подобранными и целенаправленно внедренными. Запад преуспел здесь более, так как быстрее освоил новое оружие — радио и телевидение, под строгим контролем которого проходит жизнь уже не одного поколения.

В начале семидесятых в одной из своих статей я писал: «На первый взгляд может даже показаться, будто спор наш шел только об отношении к историческому прошлому, на са-

мом же деле спор шел и об отношении к настоящему, ибо во всяком прошлом, близком или далеком, мы, прежде всего, ищем объяснений нашему сегодняшнему дню. Потому-то спор этот и приобрел столь острый, а порой и резкий характер».

К сожалению, сегодня многие патриоты остаются совершенно равнодушными к отечественной истории, их гипнотизируют лишь отдельные разрозненные факты истории и современности, а вовсе не сам исторический процесс, а без знания и понимания процесса невозможно развивать какие-либо традиции. Из факта традиции не разовьешь, сам же по себе факт мертв и таковым он остается до тех пор, пока не обнаруживаются причины, его породившие, и его связь с другими фактами, а потому и не угадываются порожденные им последствия.

Итак, космополитизм возник в Средние века и был ультрарелигиозным мировоззрением, потом он возродился вновь на рубеже XVIII и XIX веков как мировоззрение ультраатеистическое. Современный космополит интегрируется в пространство, а помыслы его направлены на **результат**, который он стремится изменить в свою пользу. Почвенник же душой интегрируется во время, а помыслы его направлены на **процесс**, в котором нельзя ничего изменить, зато можно многое понять.

«Интеллигентный человек может рассматривать себя как третье лицо, поэтому его ошибки и иллюзии интересуют его в такой же мере, как и успехи. Хотя он стремится преуспевать в делах, но еще больше ему хочется узнать **историю и назначение человека**» (выделено мной. — *А. Л.*).

Эти слова принадлежат американскому философу Ральфу Эмерсону. Я готов под ними подписаться. И мне представляется странным, когда занятия литературной критикой предлагают считать интеллигентскими, а занятия историей чем-то почти зазорным. По мне же, только историко-филологические занятия не превращаются ни в историческую схоластику, ни в схоластику литературную. И, на мой взгляд, Владимир Бондаренко в своих работах отдает неоправданно большую дань последней.

Володя, я прохожу мимо твоей статьи «Червивое поколение», слишком уж она уязвима. Евтушенко всегда работал на опережение, и на сей раз он опередил тебя своим романом «Не умирай прежде смерти». По сути дела, ты отлично на него сработал — ведь он того и хотел: утащить в помойную яму вместе с собой и все поколение, к которому принадлежит сам. Тут ты ему здорово помог.

«Точечная» методология, то есть фетишизация факта, невольно приводит к подмене достоверности вымыслом или домыслом, а порой и к фальсификации взятого «на прицел» явления в целом. И лучшей иллюстрацией тому может послужить статья Бондаренко «Русский традиционалист Георгий Владимов».

При беглом прочтении статьи может показаться, будто автор ее не только убедительно выставляет в очевидность патриотический пафос романа, но и раскрывает природу таланта его автора.

Вот как энергично и емко начинает Бондаренко:

«Роман Георгия Владимова «Генерал и его армия» сочинялся очень долго. Впрочем, может быть, сам процесс писания был и короток, не думаю я, что этот небольшой роман сочинялся страница за страницей полтора десятка лет. Обдумывался долго. Передумывался долго. Помню, в Германии еще десять лет назад мне рассказывали предполагаемый замысел романа, даже его предположительное содержание. То, что я прочитал, — противоречит этому предполагаемому когда-то замыслу. К счастью для нас, к счастью для литературы, писатель победил в себе идеолога, политика, борца со строем... Десять лет работы над романом потребовались Георгию Владимову, чтобы понять неизбежность такого смиренного поведения генерала Кобрисова».

Теперь срок работы над романом уточнен: оказывается, не «полтора десятка лет», а только «десять лет». Это тоже не так уж мало, но, как говорится, все хорошо то, что хорошо кончается.

«Рад, что у писателя Георгия Владимова не получилось то, что задумывал он вначале...»

А теперь попробуем все же отказаться от беглого чтения...

«В Германии еще десять лет назад мне рассказывали предполагаемый замысел...» Стоп! Кто рассказывал? Разумеется, не сам Владимов, иначе Бондаренко сослался бы на него. На научных конференциях предполагаемые замыслы обсуждать както не принято. Стало быть, «рассказывали» где-нибудь за «пьяным» столиком, за которым литературная и окололитературная публика на девяносто процентов пробавляется сплетнями и слухами, иногда даже специально распространяемыми.

Жаль все же, что Бондаренко так ничего нам и не рассказал о первоначальном — «порочном» — замысле. Возможно, он просто не хотел компрометировать оправдавшего его доверие автора?

Что ж, попробуем разобраться в этом вопросе сами, но сначала поговорим о природе писательского таланта русского традиционалиста Георгия Владимова, который, по утверждению Бондаренко, «несомненно, как ученик... превзошел многих своих учителей», а заодно выясним, кто же были его учителя и кого он сумел превзойти. Бондаренко называет Владимова одним из «сильнейших современных традиционалистов», чье творчество опирается на достижения писателей старшего поколения, в основном, писателей-фронтовиков. Итак...

Во-первых, в романе «Генерал и его армия» «ощутимо чувствуется... блестяще продолженная в семидесятые Юрием Бондаревым, Дмитрием Гусаровым, Виктором Астафьевым, Владимиром Богомоловым... традиция русской военной прозы».

А куда же делись произведения, написанные ими в шестидесятые годы?

Во-вторых, Владимов берет «из средненькой по качеству военной прозы К. Симонова то, что необходимо, и с блеском переносит на свои страницы».

Помилуйте, из сказанного легче сделать вывод, что Владимов вовсе не «один из сильнейших современных традиционалистов», а попросту эпигон, а от «блестящей» обработки «средненькой по качеству прозы» Симонова попахивает плагиатом.

А что же у Владимова есть своего, какой болью писались повести и романы, наконец, какой личный опыт лег в основу этих произведений? Если верить Бондаренко, то Владимов:

«Моряком, в отличие от писателей-маринистов Виктора Конецкого или Бориса Романова, никогда не был.

Не вкалывал на шахте, как Александр Плетнев.

Не довелось быть осужденным и познать самому жизнь лагерей, подобно Варламу Шаламову и Александру Солженицыну.

Не воевал нигде и никогда, пробиваясь к окопной правде сквозь ранения и артиллерийские залпы, как шли в литературу Юрий Бондарев или Василь Быков, даже не был военным журналистом, как Константин Симонов».

Я несколько нарушу бондаренковскую хронологию и стану придерживаться несколько иной, литературно-творческой.

Да, Бондаренко прав, Владимов на шахтах, как А. Плетнев, не вкалывал, однако он никогда о шахтерах и не писал. А вот вкалывал он или не вкалывал — это еще вопрос.

Мы с Владимовым окончили Ленинградское Суворовское училище в 1948 году и вновь встретились лишь через пятнадцать лет. Тогда, после Суворовского, Владимов поступил на юридический факультет в ЛГУ, а я — в Московское военное училище.

Так получилось, что в силу определенных обстоятельств Владимов потом перевелся на заочное отделение. Надо было есть, платить за жилье, и будущий автор «Большой руды» пошел работать в порт. Не знаю, было ли тогда в ходу слово «бич», но профессия такая уже существовала, и среда «бичей» стала теперь привычной средой Владимова. И главный герой «Большой руды» Пронякин — это одинокий молодой человек нашего поколения (то есть поколения «шестидесятников») с поломанной судьбой, и таких тогда было куда больше, нежели «звездных мальчиков».

Через десятилетие В. Шукшин напишет киноповесть «Калина красная» и выведет своего рода «деревенский вариант» столь распространенного тогда в жизни, но не в литературе, типа, своего рода «героя нашего времени». Не знаю, случайной ли оказалась и перекличка фамилий: **Про**някин — у Владимова и **Про**кудин — у Шукшина.

Более четверти века назад в статье «Исповедальная проза» и ее герой» я отметил: «Итак, что же характерно для нашего поколения? Во-первых, трудности военного детства. Во-вторых, трудности послевоенной юности. В-третьих, невозможность вовремя получить образование (нарушение нормального пути развития). Это касается большей части поколения. А меньшая его часть, оказавшись в относительно благоприятных условиях, получила даже неожиданную льготу — почти бесконкурсную возможность поступать в вуз...

Вопрос о высшем образовании, помимо всего, — вопрос социальный». Думается, с последним сейчас никто спорить не станет.

Поедем дальше, в область маринистики. Разумеется, работая в порту, моряком не станешь — слишком различна специфика профессий. «Большая руда» была опубликована в «Новом мире» осенью 1961 года — успех превзошел все ожидания не только автора, но и работников журнала. Издательство «Советская Россия» сразу же включило повесть в рабочий план и заключило с молодым автором договор на новую повесть.

Вскоре Владимов отправляется в Мурманск, устраивается работать (вкалывать) на сейнер и надолго уходит в море.

Если ты год проживешь в деревне, настоящую повесть о деревне не напишешь; если месяц-другой поработаешь таксистом, настоящей повести тоже не получится, потому что в первом случае в деревне ты будешь себя чувствовать всего лишь гостем, а во втором — после работы на линии ты окажешься в привычной среде. И совсем другое дело — провести на сейнере долгую «путину».

Здесь ты узнаешь матросскую жизнь изнутри, если, конечно, этого захочешь. Владимов захотел. Он как простой матрос все трудности переносил наравне со всеми: тяжелейшая работа, ругань, штормы — все общее, даже боцман — и тот один на всех. Повесть «Большая руда» невелика по объему, так что журнальная публикация не очень-то обогатила бездомного автора, а посему, как и всех остальных, его не в последнюю очередь интересовал заработок.

«Большая руда» написалась, можно сказать, случайно. Поехал Владимов на КМА (Курская магнитная аномалия) «за очерком», а получилась повесть; теперь же он отправился «за повестью», а напишется роман. Чуть раньше я сказал, что Владимов захотел узнать морскую жизнь изнутри. Но одного хотения мало... Владимов же захотел по-настоящему, а потому сделал так, что никто на сейнере, кроме капитана, даже не подозревал, что он писатель.

Пять лет казарменной жизни воспитали Владимова так, что особых трудностей в адаптации к коллективу не было. Трудность заключалась в другом: не рассядешься в кубрике писать-записывать, да и частное «интервью» ни у кого не возьмешь, мало ли кто и чего может подумать — тут не всем хотелось вспоминать свое прошлое вслух. В какой-то мере помог опыт газетчика районного масштаба, которым новоиспеченный моряк обогатился после окончания университета.

Не спорю, В. Конецкий и Б. Романов — настоящие «морские волки», они исходили моря-океаны, однако Владимов и не замахивался на «энциклопедический» масштаб: сейнер и порт — вот и все место действия его морского романа «Три минуты молчания».

И если мы сопоставим повесть «Большая руда» с романом «Три минуты молчания», то увидим, как схожи судьбы их главных героев (Пронякина и Шалая), порожденных войной, а в основу обоих произведений лег жизненный опыт самого

автора. А теперь судите сами: был Владимов моряком или не был, «вкалывал» он в своей жизни или только книжки читал?

Следующая тема владимовского произведения — «лагерная». Конечно, здесь можно заподозрить Владимова в том, что в данном случае он прельстился «хищной» темой, а он, если верить Бондаренко, большой мастер переносить «с блеском» даже из «средненьких произведений» на страницы своих все, что ему нужно. Однако Владимова никогда не соблазняли ни «хищные» темы, ни заманчивые. Так, например, его не соблазнила весьма заманчивая своей доходностью — и не только материальной — тема, а точнее, серия «Пламенные революционеры», на которую прямо-таки набросились некоторые его коллеги: В. Аксенов, А. Гладилин, В. Войнович и другие.

Ну, хорошо, «повкалывать» в своей жизни Владимову довелось, и моряком побывать довелось, а в лагере-то он действительно не сидел — тут Бондаренко абсолютно прав. «Хорошее знание литературы, — констатирует он, — лишь помогло Георгию Владимову прочувствовать всю глубину русского реализма, войти в традицию».

Помните, в разговоре о «Большой руде» я заметил, что, учась в ЛГУ, Владимов «в силу определенных обстоятельств» вдруг перешел на заочное отделение. Слово «определенные» менее всего как раз указывает на какую-либо определенность. Что ж, попробую расшифровать это слово теперь.

Когда Владимов был уже студентом, его матушка, преподававшая в нашем Суворовском училище русский язык и литературу, имела неосторожность рассказать своему коллеге какой-то политический анекдот, тот не замедлил «стукнуть», и делу был дан ход.

Арест. Суд. Срок. Студент Владимов пережил и обыск в доме, и арест матери, и многие другие не очень-то приятные эпизоды, невольно сопутствующие в разных вариантах подобному жизненному сюжету. Вот тогда-то Владимов был вынужден покинуть очное отделение университета и приобщиться к физическому труду, который мы называем «вкалыванием».

Сейчас наш доблестный агитпроп так позаботился о наших душах, что если в разговоре «о лагерях» не присутствует какой-нибудь зверский садизм, то и весь разговор уже представляется пресным и даже никчемным. К самому худшему, что ли, нас приуготовляют? Не знаю, как другие, а я лично ничего не запомнил из того «зверского», о чем постоянно вещали по ТВ самые разные и в то же время до одури похожие друг

на друга «вещатели». Но вот один эпизод, рассказанный мне в свое время Владимовым, я почему-то помню и по прошествии тридцати лет.

Когда арестовывали его матушку, то у нее изъяли несколько ценных вещиц. Делалось это с пунктуальным соблюдением всех правил, то есть с составлением описи изъятия. Потом увезли и мать, и вещицы вместе с описью. Через какое-то время Владимова вызвали в соответствующую инстанцию и там по той же самой описи, естественно, под расписку о получении вернули все ранее забранные вещицы.

Я потом не раз вспоминал этот эпизод, и даже не арест и изымание, а именно возвращение изъятого по описи и под расписку, с полным соблюдением юридической законности. Невольно начинало работать воображение. Мне представлялось, как Владимов угрюмо возвращается домой, снимает пальто, кепку — мне почему-то всегда казалось, что дело непременно происходило осенью...

Вот он входит в комнату, вынимает из кармана возвращенные вещицы, потом куда-то их убирает, скорее всего, туда, где они находились прежде, и его охватывает чувство только что вернувшегося из больницы, где ему вернули вещи самого дорогого человека, для которого земные интересы навсегда перестали существовать. Вдруг глаза его натыкаются на какую-то повседневную вещь умершего, и вещь эта выглядит теперь совсем иной, нежели она виделась раньше, как бы навеки осиротевшей... И только сейчас, соприкоснувшись с сиротством вещей, человек начинает в полную меру ощущать собственное сиротство и, как ему кажется, свою вечную одинокость.

Истинный художник, крупный или не очень, признанный или почти безвестный, никогда не станет бить по нервам и давить на психику читателя (зрителя). Задача истинного художника состоит в другом: возбудить в читателе (зрителе) желание самостоятельно мыслить и пробудить в нем духовную работу воображения. И здесь лучше уж что-то недосказать, нежели «пересказать».

Так, из всей «лагерной» литературы самое сильное впечатление на меня произвела повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», в которой автор описал самый удачный день лагерной жизни своего героя. Покажи он зверства, сработал бы «защитный механизм»: во время войны и после нее мы достаточно узнали жизнь с разных сторон, в том числе и со стороны Майданеков, Бухенвальдов, Освенцимов и даже

атомных уничтожений целых городов. Неужели детей-«блокадников», которым удалось выжить, можно было удивить скудной лагерной пайкой?

Впрочем, я и не отношу повесть Владимова «Верный Руслан» к «лагерной литературе», это скорее «постлагерная литература», запечатлевшая реакцию молодого поколения не на книги о лагерной жизни, а на жизнь, в которой лагеря стали неотъемлемой частью. Отсюда и условный герой — собака, которую заставили служить злу. Да и сегодня собаки используются отнюдь не только в спасательных операциях.

Да, Владимову не довелось сидеть в лагерях, но эту «тему» он открыл для себя еще в юности, и книги его писались личной болью, а материал дал собственный жизненный опыт, достаточно богатый и разнообразный, чтобы быть самостоятельным. Этой же болью писался и роман «Генерал и его армия», хотя автор его «нигде и никогда» не воевал. И слава Богу, что он «даже не был военным журналистом», потому как журналисты являются вечными свидетелями, но не участниками жизни, у них это порождает иллюзию полноты знаний жизни, а иллюзии слишком плохой материал для художественного творчества.

Кто-то из писателей-фронтовиков бросил в адрес нашего поколения: «Мы старше вас на войну». На что я тогда ответил: «Нет, вы старше нас на фронт». Да, наше поколение не воевало, но оно в силу своего возраста переживало все острее и даже глубже, как то всегда бывает в детстве и отрочестве. Это Евтушенко и другие «прорабы перестройки» называли себя «детьми XX съезда», а мы называли и называем себя «детьми военного лихолетья».

Я познакомился с Владимовым в 1943 году в Суворовском училище. За пять лет казарменного быта армейская жизнь вошла в нашу плоть и кровь: дух товарищества и взаимовыручки, способность никогда не прятаться за чужую спину стали обычной нормой. (Небольшое отступление: в конце семидесятых у Владимова во время обыска изъяли папочку, в которой он хранил копии писем, отправленных зарубежным адресатам. Позже меня пригласили в соответствующую инстанцию, показали одно из его писем, где были подчеркнуты слова о моей надежности и указывались домашний адрес и телефон. Меня спросили: «Почему именно вас Владимов отрекомендовал как надежного человека?» Я ответил: «Наверное, потому, что мы пять лет вместе учились в Суворовском училище». Со-

беседники оказались людьми умными и никаких пояснений не потребовали.)

Два года пребывания в училище пришлись на войну, три — на послевоенное время. Так что армейскую жизнь Владимов тоже изучил, а точнее, освоил не по книжкам. Потом, в шестидесятые, а вовсе не в семидесятые, как утверждает Бондаренко, мы с жадностью читали «военную прозу», которая создавалась нашими старшими братьями, прошедшими через фронт. А что касается романов К. Симонова, то тут у Владимова возник свой особый интерес, который не имеет ничего общего с переработкой «средненькой прозы» бывшего военного журналиста.

Еще до написания «Большой руды» Владимов помогал генералу П.В. Севостьянову в работе над мемуарами, в ходе которой ему пришлось встречаться и с бывшими сослуживцами Севостьянова, и читать мемуары других генералов, в том числе и немецких. Короче говоря, работа над чужими мемуарами возбудила интерес к другому, более высокому уровню, нежели тот, который осваивали в своих произведениях бывшие фронтовые лейтенанты. Вот поэтому-то Владимов и не прошел мимо «генеральских» романов Симонова. И это я говорю со знанием «технологии» дела: чуть позже мне тоже довелось заниматься аналогичной работой.

И так получилось, что «мой» генерал, Василий Прохорович Агафонов, и «владимовский» генерал встретили войну в составе 11-й армии на советско-германской границе в Литве. Позже их пути разошлись, но в июне сорок четвертого они вновь оказались в одной армии — в 27-й. А мы с Владимовым, будучи однокашниками, стали еще и однополчанами — литературными.

Книга генерала Севостьянова называлась «Неман — Волга — Дунай», книга генерала Агафонова называлась «Неман! Неман! Я — Дунай!» Схожесть названий породило не отсутствие у меня фантазии, а сходство боевых дорог «наших» генералов.

В. Бондаренко в статье о Ю. Бондареве очень верно заметил: «Думаю, такого романа, как «Генерал и его армия» Георгия Владимова, не смог бы написать ни один из фронтовиков, не смогли бы преодолеть органическую ненависть к штабам. В этой явной субъективности проявляется предельная искренность непосредственных участников сражений». И еще здесь проявляется их ограниченность.

Дело в том, что поколение Бондарева начало принимать участие в сражениях лишь в сорок третьем, когда война стала уже бытом, а за плечами многих штабистов лежал боевой опыт сорок первого, когда командирам приходилось зачастую есть из одного котелка и пить воду из одного ручья с красноармейцами. О трудной адаптации молоденького лейтенанта к военному быту, когда бывалость ценилась выше новеньких офицерских звездочек, поведал нам замечательный писатель-фронтовик Виктор Курочкин в своей повести «На войне как на войне».

К примеру, дивизионный комиссар И. Зуев был членом военного совета 11-й армии, где служили «наши» с Владимовым будущие генералы. В начале сорок второго его направили во 2-ю Ударную армию, которой командовал генерал Власов. Зуев сражался до последнего и, не желая сдаваться в плен, застрелился. Доживи он до сорок третьего, на передовой ему делать было бы нечего. Или чисто литературный пример. Вспомним, в силу каких причин герой Сталинграда капитан Аникушин из романа В. Богомолова «В августе сорок четвертого» стал «штабистом»? Ранение. Госпиталь. Назначение на нестроевую должность.

Да, конечно, Бондаренко употребил слишком сильное слово — «ненавидели», но некоторая неприязнь к штабистам имела место быть. Владимову, действительно, не пришлось преодолевать этого комплекса, а работа над «чужими» мемуарами вывела его на более высокий уровень понимания войны. Отечественная война — это наша общая боль, как воевавших, так и не воевавших, вот этой общей болью и писался роман «Генерал и его армия».

А вот теперь, Володя, давай вернемся к вопросу о «ружье», которое ты повесил на гвоздь в первом акте и которое почему-то так и не выстрелило, и к твоей «точечной» методологии. Да, под этим самым «ружьем» я подразумеваю тот порочный замысел, с него-то ты и начал свой разговор о романе «Генерал и его армия».

Правильно, роман «Генерал и его армия» обдумывался очень долго, но не «полтора десятка лет» и не «десять лет», а целые четверть века. Владимов как-то всегда ошибался с выбором жанра, ошибся он и на сей раз. Где-то в середине шестидесятых, когда шла трудная работа над романом «Три ми-

нуты молчания», в паузах написался рассказ под названием «Генерал и его армия», которому суждено было стать первым вариантом будущего романа.

Мне довелось читать этот рассказ еще тогда, и не только мне. Владимов отнес рассказ в «Новый мир» Твардовскому, тот оценил литературные достоинства нового произведения молодого прозаика, но печатать рассказ не стал, так как строго придерживался принципа: о войне может писать только тот, кто сам воевал. И то была не прихоть главного редактора, то был нравственный максимализм писателя. Чтобы понять это, достаточно внимательно прочитать записи Твардовского «С Карельского перешейка».

Владимов больше никуда рассказ не понес, положил его в стол, однако работа над рассказом продолжалась. Помню, как он у меня брал том «Истории Великой Отечественной войны», в котором описывалась операция по форсированию Днепра и освобождению Киева, а перед отъездом в Германию в мае 1983 года вернул мне том «Истории Второй мировой войны» генерала Типпельскирха.

Не знаю, в каком «состоянии» находилась рукопись при отъезде Владимова из Союза, но могу засвидетельствовать, что и главный замысел, и сюжет, и главный герой, и особисты — все это не претерпело принципиальных изменений. Конечно, в рассказе не присутствовал Гудериан, не было многих эпизодов, за полтора десятка лет что-то переосмыслилось и переоценилось.

И еще одно очень важное обстоятельство: Владимов вместе с женой, Натальей Кузнецовой, вынужден был поселиться в Германии ровно через тридцать восемь лет после нашей Победы, но ведь для его героя, а стало быть, в какой-то степени и для самого автора романа Германия по-прежнему оставалась «логовом врага».

Это весьма сложная психологическая ситуация, и понять, как она разрешалась, можно лишь при сравнении всех вариантов, начиная от первого варианта рассказа и заканчивая последним (опубликованным) вариантом романа.

«Точечная» методология. Фетишизация факта... Бондаренко, словно коршун, зависает в воздухе, высматривая добычу, камнем летит к земле, хватает жертву и улетает, чтобы потом расправиться с ней по собственному усмотрению. Десять лет назад он прилетел в Германию, схватил там добычу и улетел домой. Но на сей раз факт оказался вовсе не фактом, а все-

го лишь сплетней, которая в те времена уже гуляла и по литературной Москве. Говорили, что Владимов пишет роман о генерале Власове.

Удалите из статьи Бондаренко эту сплетню — и вся статья разом рухнет, потому что как все «радости» и все «страсти» самого Бондаренко, так и придуманное им владимовское «преодоление» идеологии, политики, борьбы со строем — все это держится на обычной литературной сплетне.

Что в таком случае остается от статьи Бондаренко? Ровным счетом ничего, кроме груды сплетен, фактов и лозунгов. Нет, это не литературная критика, а всего лишь ее имитация.

Можно взять и другой пример — статью «Порча Виктора Астафьева». Вполне понятен ее пафос. Но чуть копнешь поглубже, и...

«Астафьев, — пишет Бондаренко, — писатель известный, но его мнение о ненужности штурма Берлина, о необходимости сдачи Ленинграда, о вредности московского ополчения поражает, прежде всего, даже не отсутствием какого бы то ни было патриотизма, а предельным дилетантизмом.

Даже я на военной кафедре проходил какие-то азы тактики и стратегии, но не берусь же я рассуждать о крупнейших воинских операциях. А тут, хотя вы и фронтовик-страдалец, и были ранены, но это же не добавляет рядовому солдату знания военной стратегии».

Не добавляет тому, кто этого не хочет. Не захотели Астафьев, Бондаренко, а вот, к примеру, Толстой, не имеющий никакого военного образования, захотел...

И первый в тысячный раз повторил «мнение» западного агитпропа, с которым нынче солидаризируется и наш агитпроп; второй уклонился от опровержения этого «общего мнения» и пустился доказывать необразованность, амбициозность и серость первого; а третий написал «Войну и мир». Все здесь зависело вовсе не от степени военного образования, а от «уважения к минувшему».

Разумеется, составлять и претворять в жизнь военно-стратегические планы — удел генералов, а вот их понимать, когда они реализовались или провалились и уже открыто обсуждаются, доступно каждому, кто хочет ориентироваться не на газетные заголовки «последних трех-четырех дней», а на исторический процесс. Да и читателю все же было важнее узнать: надо или не надо было сдавать Ленинград, штурмовать Берлин, нежели разбираться в образовательном уровне писателя Виктора Астафьева.

И напрасно Бондаренко напускает здесь туману. Общеизвестно, что группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба согласно плану «Барбаросса» должна была взять Ленинград, соединиться с финской армией, перерезать мурманскую железную дорогу, развить наступление на восток и захватить Архангельск.

Таким образом, мы лишились бы выхода к Балтийскому, Баренцеву и Белому морям, потеряли бы весь флот на трех морях, не считая остальных потерь. Это была бы настоящая катастрофа и, возможно, непоправимая. Так что историческая заслуга «блокадников» и защитников Ленинграда до сих пор по достоинству не оценена.

Поэтому тот, кто сегодня покидает литературу и уходит в историю, по сути дела уходит на передовую. А тот, кто продолжает заниматься литературными дебатами в режиме мирного времени, — тот предпочитает оставаться в тылу, о чем, между прочим, косвенно говорил и сам Бондаренко, когда затевал в своей газете дискуссию о литературе «сопротивления» и литературе «непротивления», в которой, кстати, я тоже принял участие.

Кто сегодня контролирует прошлое, тот реально сегодня держит власть в своих руках и имеет все перспективы сохранить ее в будущем.

Володя, ты, наверное, не забыл ни о школьном «последнем уроке», ни о школьном «последнем звонке». Они незримо присутствуют и в остальной нашей жизни. Но ты, по-моему, несколько поторопился ударить в колокол и возвестить о том, что пора окончательно прощаться... Или это я несколько припоздал со своим «последним уроком», а в результате произошла странная перестановка: сначала прозвучал «последний звонок», а затем прошел «последний урок».

В филологии изменение обычного и привычного порядка слов в предложении называется инверсией, а вот как называется изменение обычного и привычного действия в жизни — не знаю...

Подскажи, дорогой «друг и ученик».

1996

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ

Меж ними все рождало споры
И к размышлению вело:
Племен минувших договоры...
А. Пушкин

1

Долгие десятилетия молчание у нас отождествлялось с благополучием. Возникали какие-либо проблемы, мы молчали, и вроде бы этих проблем не существовало. Но самое упорное молчание мы хранили по поводу межнациональных отношений. Любое обсуждение национального вопроса, кроме фестивального, считалось неизвинительной крамолой и квалифицировалось как национализм или даже шовинизм, и тут сразу же начинало попахивать Уголовным кодексом. Строжайший запрет распространялся даже на наше дореволюционное прошлое, все было сведено к простейшей формуле: «Царская Россия — тюрьма народов» — так до семнадцатого года; «Союз нерушимый республик свободных...» — так потом. И никаких сомнений, никаких рассуждений, никаких дискуссий. Мнимое благополучие порождало вполне реальное благодушие, научная разработка национального вопроса была навсегда ассимилирована пропагандой, которая с непадающим упорством внушала, что нерушимая дружба народов нашей страны столь же неотвратима, как, скажем, вращение Земли вокруг своей оси.

Так или иначе, но слишком затянувшееся наше молчание было нарушено голосом самой жизни. Казахстан, Закавказье, Прибалтика... Отточие я здесь ставлю не случайно, как не случайно и название моей статьи, я его позаимствовал у известного русского философа Владимира Соловьева, выпустившего сто лет назад под таким названием книгу, которая, к сожалению, не вызвала особого интереса у тогдашнего широкого читателя. Теперь она читается как некое предсказание, от практического воплощения которого автор «Национального вопроса в России» наверняка пришел бы в ужас.

Я долго ломал голову, ища «проходимое» и в то же время неуклончивое — название для своей статьи, затем задал самому себе вопрос: «А выдержит ли, к примеру, наша нынешняя

гласность точную формулировку столетней давности и разговор о том, о чем мы давно привыкли молчать?» Решил, что выдержит, хотя, признаюсь, в этом моем решении все-таки было больше надежды, чем уверенности.

Некоторые суждения Владимира Соловьева, касающиеся отдельных концепций отечественной истории, весьма любопытны. К примеру, В. Соловьев утверждал: «Наша история представляет два великие истинно патриотические подвига: призвание варягов и реформу Петра Великого. И против этих-то двух великих подвигов народного духа восстают во имя патриотизма, отвергают первый из них, как басню, а второй осуждают, как историческое злодеяние».

Пожалуй, за давностью времени и за отсутствием строго документальных доказательств я не возьмусь опровергать ни одну из научных «басен» по «варяжскому вопросу», но отлучать Петра I от злодеяний против своего народа — значит умышленно притеснять историческую достоверность. Во мнении многих и по сей час «окно в Европу» оправдывает и массовые казни, и пытки, и обращение крестьян в рабов, и лишение русского народа его исторической столицы, и подчинение церкви государственному департаменту (Святейшему Синоду), и многие мероприятия, унижающие человеческое достоинство.

В. Соловьев не был ни деспотом, ни злодеем, напротив, многие современники отзывались о нем, как о благородном и чистом человеке. Так, наверное, оно и было на самом деле. Не личные качества, а убеждения заставили его вдруг «забыть» многие подробности отечественной истории, и не только относящиеся к эпохе петровских реформ. «Русское государство, зачатое Варягами и оплодотворенное татарами...» Даже кровавые ужасы татаро-монгольского нашествия благородный философ посчитал историческим благом — оплодотворяющим моментом. Только инквизиторская убежденность давала возможность оставаться спокойным, перелистывая самые кровавые страницы истории своего народа, и бесстрастно поучать: «Мы должны помнить, что мы как народ спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением».

Конечно, национальный эгоизм и самомнение — вещи не самые предпочтительные, но почему им в качестве альтернативы следует выдвигать национальное самоотречение, которое для любого народа просто пагубно? И во имя чего нужно стремиться к национальному самоотречению русскому народу? На это Владимир Соловьев дает ясный ответ:

«Истинный патриотизм не боится католической пропаганды, как не боялся норманской власти, как не боялся немецкой школы. Настоящая вера не знает страха, и настоящая любовь не терпит бездействия и косности: она требует действительного и определенного выражения. Так, в начале нашей истории любовь к отечеству выразилась в любви к государственному порядку, который был прежде всего нужен для отечества (имеются в виду варяги. — *А. Л.*); во времена Петра Великого и Ломоносова любовь к отечеству выражалась в любви к просвещению, которое тогда было более всего нужно для отечества. Ныне степень народного возраста и народные нужды выдвигают на первый план такое дело, которое еще выше и важнее, чем государственный порядок и мирская культура — дело церковного порядка и духовной культуры. И во имя самой России, из любви к ней, т. е. к ее высшему благу, мы должны быть преданы не русским (в тесном эгоистическом смысле) интересам, а вселенскому церковному интересу — он же и глубочайший окончательный интерес России».

В. Соловьев весьма настойчиво высказывался в пользу католической церкви, видя в папстве надгосударственный религиозный институт: «Я же с своей стороны глубоко и твердо убежден, что церковное примирение Востока и Запада есть именно национальная историческая задача России... Для духовного обновления России необходимо отречение от церковной исключительности и замкнутости, необходимо свободное и открытое общение с духовными силами Церковного Запада».

Итак, России необходимо двойное отречение: национальное и религиозное, то есть отречение от христианства в его восточной интерпретации, иначе...

«Мы доселе смотрим на западную церковь с таким же враждебным недоверием и предубеждением, с каким наши предки смотрели на западную цивилизацию; если бы они не победили в себе этого отвращения и не вступили бы в культурное общение с Европой, Россия теперь не существовала бы как полноправный и важный член исторического человечества; и точно так же если мы теперь не откажемся от своей религиозной исключительности и предубеждения (то есть от православия. — *А.Л.)*, Россия не будет в состоянии явиться как всемирно-религиозная сила для служения вселенскому христианскому делу».

Как видим, В. Соловьев считал, что Россия должна посвятить себя служению *вселенскому* христианскому делу, и не ме-

нее! Он видел предназначение русского народа в осознании себя действующим лицом в деятельном пересоздании мира-хаоса в Божественный мир-космос, но эта деятельность представлялась ему невозможной без создания единой христианской Церкви. Русский народ, по мысли В. Соловьева, должен был взойти на планетарную Голгофу и во имя вселенского обновления и единения принести, по примеру Христа, искупительную жертву. Однако тому должно предшествовать самоотречение от всего личностного, а личностное для норода — это религиозные и национальные чувства, питающие его самобытную культуру.

Но почему при создании вселенской церкви предпочтение отдается католической, а не православной или, скажем, мусульманству? Думается, целесообразно подключить к нашему разговору и кого-нибудь из современников В. Соловьева. Предоставим слово хотя бы толкователю учения В. Соловьева профессору П.Н. Милюкову.

22 января 1893 года в аудитории Исторического музея П.Н. Милюков прочитал публичную лекцию на тему «Разложение славянофильства» (позже она была включена в книгу под названием «Из истории русской интеллигенции»), в которой обстоятельно анализировалась эволюция религиозно-философских взглядов В. Соловьева. Опираться на эту работу П. Милюкова мы вправе еще и потому, что в книге (1902) дается следующая сноска: «Позволю себе прибавить, что статья эта, прежде напечатания ее в «Вопросах Психодогии и Философии», была прочитана покойным В.С. Соловьевым и фактическое изложение своего учения он признал совершенно правильным».

«После пришествия Христа, сосредоточившего принцип Богочеловечества в Одном своем лице, — говорил П. Милюков, толкуя религиозно-философскую концепцию В. Соловьева, — задачу полного осуществления идеи Богочеловечества берет на себя Церковь. Для того, чтобы выполнить эту задачу полного слияния человечества с Божеством, церковь должна пропитать мирское общество христианским началом. Но для этого ей необходимо содействие государства. Принцип церкви, стоящей выше государства, Христианство осуществило в папстве: папство и должно поэтому оставаться средоточием всемирной церкви».

В. Соловьев считал, что Византия погибла благодаря омертвению ее церкви и та же участь ожидает современную

православную церковь. В кратком изложении П. Милюкова взгляд В. Соловьева на восточную церковь выглядит так: «Что касается церкви восточной, в ней, напротив, государи старались стать выше церкви... Византийские церковные иерархи из национальных и личных расчетов предпочитали получить не совсем точную формулу веры из рук императора, чем взять истинную формулу из рук пап. Наконец, период ересей кончился; ереси, благодаря настойчивости западной церкви, были осуждены вселенскими соборами. Тогда еретическое понимание церкви, как сферы жизни, обособленной от государства, «вошло внутрь» восточной церкви. Замкнувшись в свою обособленность от мира и общества, она приобрела мертвенный характер и не могла действовать на жизнь, не могла воспитывать общества».

В. Соловьев абсолютно прав, восточные государи старались встать и становились выше церкви, особенно в этом деле преуспел Петр I, с которого и началось резкое падение влияния церкви на общество.

«Россия XVI века, крепкая религиозным чувством, богатая государственным смыслом, нуждалась до крайности и во внешней цивилизации, и в умственном просвещении... С воссоединением Киева и Малороссии в XVII веке Московское царство становится всероссийским.

Но чтобы эта *новая национально-политическая сила* могла вступить на поприще всемирной истории дня сознательного и плодотворного служения делу Божию на земле, ей необходимо было всеми средствами деятельности и путем *постепенного* просвещения дойти до сознания своей вселенской задачи» (выделено мной. — *А. Л.*).

И тут же В. Соловьев возносит до небес Петра I, который никакой постепенности не признавал и делал все, чтобы разрушить «крепкое религиозное чувство», а церковь, о которой так хлопотал В. Соловьев, по сути дела превратить в государственное учреждение, и именно с Петра I Русская православная церковь начала обособляться от остального общества и терять свою самостоятельную роль в его воспитании. Вообще, надо заметить, у В. Соловьева уж слишком часто не сходятся концы с концами.

«Петр Великий действительно любил Россию, т. е. сострадал ее действительным нуждам и бедствиям, происходившим от невежества и дикости», — писал известный философ и честный человек Владимир Сергеевич Соловьев. Так неужели

он не знал, что именно Петр I превратил земледельцев в рабов, которых стали продавать и покупать, как скот, на рынке, оптом и в розницу? Знал. И неужели он не знал, что новая столица построена на костях человеческих? Знал. А может, он не знал, сколько было пролито христианской крови при падении Византии или во время татаро-монгольского нашествия? Знал. И не сострадал. За вселенской идеей всегда теряется человек с его болью и страданиями, с его действительными, а не книжными нуждами и надеждами. Но В. Соловьев вразумлял: «Можно и должно дорожить различными особенностями народного характера и быта, как украшениями или служебными атрибутами в земном воплощении религиозной истины. Но во всяком случае религиозная и церковная идея должна первенствовать над племенными и народными стремлениями».

«Западная церковь, — продолжает свой анализ религиозно-философских взглядов В. Соловьева П. Милюков, — постоянно старалась о воспитании общества и о проникновении его христианскими началами. Но у ней не было тех средств для успеха, которые могло дать только сильное государство: государство, в лице Германской империи, вступило вместо союза в борьбу с западною формой христианства. «Историческое предназначение России состоит, кажется, в том, чтобы дать всемирной церкви политическую власть, необходимую ей дня спасения и возрождения Европы и мира». Только с помощью такого союза между русским царем и римским первосвященником всемирная церковь может выполнить лежащую на ней высшую задачу — осуществить на земле принцип Богочеловечества... Русский народ призван к решению этой задачи, но первым шагом к этому решению должен быть акт национального самоотречения: отречения от узкой формы национальной церкви».

Так в чем же состоит историческое предназначение России и русского народа: в исполнении особой нравственно-религиозной миссии, в повторении подвига Христа или в исполнении военно-политических акций папства, в повторении подвигов крестоносцев, чтобы в новых исторических условиях осуществить на земле принцип Богочеловечества?

И тут у В. Соловьева нет четкой позиции, он постоянно склоняется то в одну сторону, то в другую. Есть во вселенской концепции В. Соловьева еще одна очень серьезная неувязка, на которую нельзя не обратить внимания.

Конечно, мы не вправе требовать от философа практических рекомендаций и объявления конкретных сроков исполнения его исторических предначертаний, однако теоретический вопрос поставить мы вправе. Допустим, что нас убедили в омертвении и нежизнеспособности восточной христианской церкви, стало быть, мы отвернемся от этой веры, однако где гарантия, что мы обратимся в ту веру, которую нам рекомендуют как истинную? Вера — это не кафтан. Кафтан снял, в исподнем ходить не будешь, наденешь сюртук, если тебе его предлагают. И во времена В. Соловьева чаще всего случалось так, что человек, отринув какую-либо веру, уже не примыкал ни к какой другой. Практически «акт самоотречения от узкой формы национальной церкви» работал против религиозно-философской концепции В. Соловьева.

Неувязки, фантазии, противоречия... Нет, мы не должны видеть в В. Соловьеве какого-то скрытого врага русского народа, желавшего его растворения, его добровольной ассимиляции в группе народов латинского мира. В заботах о построении целостного мира под эгидой католической церкви он отводил русскому народу довольно почетную роль, пусть и не всегда был здесь последовательным. Так, в «Открытом письме» к И.С. Аксакову В. Соловьев привел такой лестный для русского сердца довод: «Обыкновенно народ, желая похвалить свою национальность, в самой этой похвале выражает свой национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего он более всего желает... Что же в подобных случаях говорит русский народ, чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой, говорит ли о русской славе или о русской честности и верности? Вы знаете, что ничего такого он не говорит, и, желая выразить свои лучшие качества к родине, говорит только о «святой Руси». Вот идеал: не консервативный и не либеральный, не политический, не эстетический, даже не формально-этический, а идеал нравственно-религиозный... *Святая Русь требует святого дела*».

Все так, только вот по поводу «святой Руси» мне бы хотелось через столетие поспорить с нашим знаменитым философом.

На исходе столь привычного для нас второго тысячелетия течение времени вдруг получило добавочное ускорение. Сейчас каждый месяц происходит столько судьбоопределяющих событий, на которые прежде история тратила многие и многие годы. Разумеется, одни из них таковыми только кажутся,

а другие таковыми являются на самом деле. И если брать нынешний 1988 год, то к разряду последних я в первую очередь отнес бы празднование тысячелетия Крещения Руси. Возможно, многие со мной и не согласятся, но по данному вопросу никто меня ранее чем через тысячу лет опровергнуть не сможет. Нет, я вовсе не собираюсь хоть как-то умалить значение всех остальных происходящих нынче событий, более того, я хочу поставить многое, что происходит сегодня, в закономерную связь с тем, что произошло десять веков назад.

Вероятно, тогда наши далекие пращуры переживали нечто схожее с тем, что мы переживаем сегодня, то есть они, наши пращуры, стояли перед выбором: быть или не быть, а если *быть*, то что для этого нужно делать. Возможно, и перед ними стояли экономические, политические, нравственные, бытовые проблемы, но они искали не сиюминутного разрешения отдельных проблем и вопросов, а универсального и долговременного решения, способного обеспечить в веках развитие молодого народного гения. И они приняли христианство в его восточной интерпретации, чем на тысячелетие и определили свою судьбу. И не только свою. Прими они, к примеру, ислам, и вся история остальной Европы выглядела бы сегодня совсем по-другому.

А государственность к нам занесли не варяги, она имманентно вытекала из самой идеи христианского сообщества, когда защита единой церкви от посягательств «неверных» сплачивала единоверцев в общественный организм, то есть в государство. Разумеется, это лишь самая общая схема, которую весьма трудно различить в переплетающихся противоречиях и многочисленных подробностях постоянно сменяющих друг друга различных исторических эпох. Борьба восточной и западной христианских церквей, раскол православной церкви еще более затемняют исторический смысл принятия Русью христианства.

И другое. Христианство по-своему развивало человека, оно воспитывало в нем инстинкт индивидуального бытия в первую очередь. Пусть взор христианина был постоянно обращен в сторону неба, где ждала его вечная благодать, но его интересы постоянно были прикованы к земле, ибо «пропуск» туда, на небо, он получал здесь, на земле. От земной жизни зависела его вечная будущность, разумный эгоизм толкал его в сторону совершения добродетельных поступков — так выстраивалась историческая нравственная личность. Любя сво-

их детей, любя своих ближних, христианин и в них воспитывал те качества и наклонности, которые вели бы к спасению души, так развивалась общественная духовная жизнь, у которой был общий дом — христианский храм, где и происходило общее единение в вере, то есть единение происходило на высших этажах нравственного бытия. Разумеется, и это лишь самая общая схема, которую так же трудно различить во внешнем потоке живой повседневной действительности.

Сложность зрелых цивилизаций как раз и состоит в том, что они складываются из бесконечного ряда исторических впечатлений народов и содержат в себе, пусть даже в очень трансформированном виде, все уже ранее бытовавшие представления народов об общем смысле человеческого существования.

Сложность современного человека состоит в том, что он все равно остается немного просто «естественным» человеком, немного язычником, немного христианином (мусульманином, буддистом, иудеем), немного атеистом или безбожником, немного еще чем-то, что не имеет пока своего названия. Дробность современного человека бросает его из одной крайности в другую в поисках потерянного универсального ответа на проклятый вопрос о смысле человеческого бытия.

И в «святой Руси» мне видится *предание, завет,* а не выношенный в трудной исторической жизни идеал будущего религиозного имперостроительства.

Свою книгу «Из истории русской интеллигенции» П. Милюков издал в 1902 году, уже после смерти В. Соловьева. В коротенькой сноске к статье «Разложение славянофильства» он сделал следующий вывод: «Нечего и говорить, что соловьевская эсхатология последних годов, его учение о близком пришествии антихриста, именно и было возвращением к такому пессимизму отчаяния, после неудавшейся попытки — пропагандировать в обществе свой теократический идеал и создать почву для примирения двух противоположных мнений».

Действительно, в девяностые годы прошлого века и в начале нынешнего не только теократические, по даже и религиозные идеи уже не могли иметь широкого распространения, общественная мысль развивалась совсем в другом направлении, однако это не повод и уж тем более не причина предавать вечному забвению мысли выдающихся людей, — а у нас есть все основания считать Владимира Соловьева именно таким человеком, — если эти мысли и не совпадали с настроением тогдашнего общества.

Порой даже ошибочные прозрения оригинального мыслителя дают нам больше для понимания развития исторического процесса, нежели очевидные истины, которых в то или другое время придерживалось большинство. Еще более причудливыми в ту эпоху оказались отношения общества со своим гениальным современником — Львом Толстым.

2

В 1908 году широко отмечалось восьмидесятилетие Толстого, периодическая печать отдала соответствующую дань этому знаменательному событию. С. Франк в статье «Лев Толстой и русская интеллигенция» подметил весьма любопытную деталь.

«Просматривая весьма обширную юбилейную литературу о Толстом, — писал он, — невольно поражаешься одним бросающимся в глаза контрастом — контрастом между восторженным восхвалением его гения и почти всеобщим равнодушным или отрицательным отношением к его идеям. Еше раз приходишь к выводу, что Толстой — *наиболее прославляемый* и, кажется, *наименее признаваемый* писатель современности» (курсив мой — *А. Л.*). С. Франк справедливо отвергает объяснение равнодушия интеллигенции к идеям Толстого их излишней рациональностью и простотой, утверждая, что современная интеллигенция как раз более всего соблазняется именно рациональностью и простотой. «Разве, например, — задает он резонный вопрос, — популяризированная (и вульгаризированная) Каутским теория марксизма с ее чудовищно-искажающим упрощением жизненных взаимозависимостей менее наивна, чем вера Толстого?»

По мнению С. Франка, причина неприятия идей Толстого коренилась *в «невосприимчивости современной интеллигенции к религиозному чувству и религиозному* отношению к *жизни»* (разрядка С. Франка — *А. Л.*).

Какие уж тут теократические концепции, если общество отказывалось принимать и даже понимать элементарные идеи Толстого о нравственном самостроительстве, фанатично веруя, что путь к всеобщему исцелению лежит не через личное самоусовершенствование и уж тем более не через создание теократической химеры (вселенская Церковь-государство), а через социальное переустройство мира на идеях политического равенства и социальной справедливости.

«Толстой, — продолжает С. Франк, — не удовлетворяет некоторых из нас, потому что он *односторонний и слабый религиозный мыслитель;* но огромное большинство интеллигенции он не удовлетворяет несомненно потому, что он, все же, *подлинно религиозный мыслитель...* Нет сомнения; истинная религиозность, объемля весь круг человеческой жизни, включает и решение проблемы общественности; но она подчиняет эту проблему проблеме личности и никогда не забывает о внутренних личных корнях общественности. Напротив, где общественности придается самодовлеющее, исчерпывающее и верховное значение, там мы всегда имеем дело с духовным позитивизмом, как бы он ни называл себя сам и чем бы себя ни обосновывал. И в этом именно — коренной разлад между русской интеллигенцией и Толстым; это есть разногласие между религиозным и позитивно-общественным миропониманием, выражающееся прежде всего *в различном отношении к общественности»* (курсив мой. — *А. Л.*).

И как тут не вспомнить В. Соловьева с его упреками в адрес восточной церкви, которая, по его мнению, устранилась от воспитания общества, замкнулась «в свою обособленность от мира». «Если неподвижность нашей церкви, — писал В. Соловьев, — есть не смерть, а усыпление, то нужна свобода, чтобы разбудить ее... Только свободное развитие может сохранить за религиозным преданием живую силу и примирить с ним умы, искренно ищущие правды».

Как видим, через полтора десятилетия — стало очевидным, что «наша церковь» впала в такое усыпление, что, с одной стороны, общественность уже не принимала ничего, что было связано с религиозными исканиями, а с другой — сама церковь отторгала от себя всех тех, кто искренне стремился к религиозной правде (отлучение от церкви Толстого). Предсказания В. Соловьева, высказанные им когда-то в виде постановки задач перед русским обществом, стали понемногу сбываться: общество фактически отрекалось от православной церкви, но от этого оно не стало ближе к церкви западной, общество все более и более склонялось к атеизму или впадало в мистику.

С. Франк тонко подмечает: «Общественник» презирает заботы и жизненные нужды, когда они касаются *одного* человека, и поглощен теми же заботами, если они относятся ко *многим*, к «большинству» или «обществу». Он не видит никакого смысла и цели в личной жизни и вместе с тем усматривает абсолютную и непререкаемую ценность в преследовании интересов

той же личной жизни, если дело идет о массе или большинстве людей. **Он требует от личности самоотречения** и бескорыстия во имя столь же субъективных, т. е. эгоистических интересов «общества», которое, в конечном счете, есть все же только совокупность людей» (выделено мной. — *А. Л.*).

Припомним, что в конце минувшего века В. Соловьев призывал к национальному самоотречению, а в начале нынешнего века заговорили уже о самоотречении личности, а если еще учесть, что общество не вдохновлялось никакой положительной национальной идеей, то мы вправе констатировать крушение или появление признаков крушения внутренней структуры всего общественного организма. В таком состоянии страна вступила в губительную для себя Первую мировую войну.

На рубеже двух столетий Д. Мережковский в статье, посвященной столетию со дня рождения Пушкина, имея в виду Петра I из «Медного всадника», открыто и с большим пафосом восклицал:

«Какое дело гиганту до гибели неведомых, бесчисленных? Какое дело чудотворному строителю... до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша — любовь смиренного коломенского чиновника? Он погибнет? И пусть! Не он первый, не он последний. Воля героя умчит и пожрет его, вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. Это — рок. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим неведомым целям?.. Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гигантского всадника, который над бездной «Россию вздернул на дыбы».

Вы думаете, тогдашнее общество возмутилось, пришло в негодование, урезонило молодого поэта, вдруг впавшего в откровенное ницшеанство? Ничего подобного. Конечно, некоторые пытались и возражать, однако их голоса тонули в громких восторгах тех, кто с нетерпением ожидал пришествия героя.

«Все навыворот — вот тайный лозунг г. Мережковского, — писал тогда известный критик и публицист — М. Меньшиков. — Увлекшись переоценкой вечных ценностей человеческого духа, в качестве рабского подражания Ницше, г. Мережковский восстает против «галилейской жалости» как против какой-то подлости, думая, что он говорит что-то умное... Я вовсе не отрицаю героизма, но истинные герои шествовали не по костям народов, а умирали на крестах, на кост-

рах или с чашею яда в руке... Не они были истребителями, а их истребляли. После них осталась мысль, которая продолжала героическое служение человечеству, и мысль эта была не за насилие, а против него».

И далее оппонент Д. Мережковского высказывает несколько любопытных мыслей и впадает в одно явное заблуждение, оценить которое помогают нам прошедшие с тех пор десятилетия:

«Мнение одного мудреца более ценно, чем мнение толпы». Бесспорно, — но вопрос идет не о мнениях, а о желаниях толпы, которую нужно покорить. Если бы в каждую минуту в человечестве был всего лишь один «герой», ну, тогда рецепт г. Мережковского о «дрожащей твари» имел бы некоторый, хоть и некрасивый смысл... Но что, если «великих» явится несколько и все они одновременно предъявят требования покорности? — как это и бывает в современном обществе».

Действительно, когда разваливаются общественные и государственные структуры и наступают смутные времена, как бы из небытия возникает великое множество «гениев без портфелей», и каждый из них претендует на тот или иной (будь то поэтический или политический) престол, который в другие времена, более уравновешенные, никому из них даже и не снился. И образуется целая иерархия «гениев» или «героев», и каждый из них стремится подняться все выше и выше, а для этого нужно от чего-то отталкиваться, а это «чего-то» всегда состоит из «кого-то», вот оно и получается — по костям.

Другая мысль М. Меньшикова тоже весьма любопытна:

«Психология героев и толпы не так уж хитра, но г. Мережковский понимает ее навыворот. Он полагает, что такие герои, как Наполеон I, Робеспьер и проч., относились с величайшим презрением к черни. Он грубо ошибается. Именно хищные герои ухаживали за чернью и ставили себя в уровень с нею, — иначе им не увлечь бы своих полчищ... Истинные герои, пророки и мудрецы не прибегали к такому подлаживанию к своей среде — и конец их был иной».

Обычно принято считать, что льстят только «вышестоящим», ибо от их воли зависит судьба «нижестоящих», однако в жизни всегда бывает так, что возникает взаимная зависимость, и циркуляция лести происходит и снизу вверх, и в противоположном направлении. У нас, к примеру, многие десятилетия льстили пролетариату, говоря то о его гегемонии, то о его диктатуре, однако почему-то все стремились (если куда-то стремились) в диктатуру, и никто — в пролетариат.

А куда стремились из пролетариата? Во всяком случае, в алкоголики стремились куда чаще, чем в диктатуру. С гордостью за свои демократические порядки мы говорили: «Был когда-то простым рабочим, а стал министром». Но мне так ни разу и не удалось услышать: «Был простым министром, а стал рабочим, то есть гегемоном». Нет, так и не добились мы полной демократии, когда номенклатурные работники тоже бы имели возможность попадать в класс-гегемон. Даже их дети, словно прежние «лишенцы», не имеют никаких шансов пробиться в этот класс.

И еще одно, теперь уже кажущееся наивным упование М. Меньшикова:

«Преклоняясь перед героями вроде Наполеона без всякой критики, возводя их в герои только за внешний успех, закрывая глаза на их чудовищные недостатки, на их низость, г. Мережковский поступает сам как представитель черни. Именно ведь чернь идолизировала генерала Бонапарта и возвела его в герои. Именно толпа подхватила его «на щит» и вывела в полубоги. Но толпе простительно: она невежественна. Для толпы невозможен критический взгляд на «героя», ей неизвестны настоящие замыслы героя, бесчисленные условия, из которых слагается настоящая, нелегендарная жизнь... Но прилично ли писателю становиться на эту точку зрения «черни»?

Как показала жизнь, многие писатели посчитали приличие всего лишь предрассудком и потому освободились от него без каких бы то ни было усилий и колебаний.

Итак, к концу восьмидесятых годов В. Соловьев увидел спасение в католичестве, но не в простом принятии католицизма, а в построении вселенского христианско-католического государства при непременном национальном самоотречении. Пусть концепция В. Соловьева и не пользовалась особой популярностью, но он, как сейсмический прибор, верно зарегистрировал подземные толчки истории и довольно верно определил их последствия.

Еще через десятилетие, в преддверии нового века, Д. Мережковский станет ждать пришествия героя, типа Наполеона или Петра I, который бы прошел по костям и сотворил бы что-нибудь великое, вздернув Россию на дыбу.

Пройдет еще десятилетие, и С. Франк обнаружит, что общественная жизнь идет как бы мимо самого человека, требуя от него уже не только национального, но и личностного самоотречения во имя какого-то абстрактного общественного благоденствия с прицелом на планетарный масштаб.

3

Если мы приблизимся к нашему времени еще на десятилетие, то попадем в 1918 год, как раз к началу и к разгару Гражданской войны. И что же мы увидим?

Во-первых, произошло абсолютное национальное самоотречение: не успели винтовки остыть от огня на германском фронте, как с теми же винтовками брат пошел на брата, сын на отца, жена на мужа и истребляли друг друга с таким ожесточением, какое никогда не пробуждалось в борьбе с иноземными врагами.

Во-вторых, произошло страшное гонение на религию, рушили и грабили храмы, а священнослужители оказались одними из первых, кто стал обживать поселения нового типа — концентрационные лагеря, из которых потом и вырастет архипелаг ГУЛАГ.

В-третьих, хотя теперь ни о каком вселенском христианском государстве никто и не помышлял, но вселенский замах сохранился. Идея мировой революции с целью создания вселенского, безрелигиозного, безнационального государства стала считаться единственно ненаказуемой идеей.

В-четвертых, восторжествовала и даже абсолютизировалась система «варяжской» власти. Со временем «варяжизация» достигнет почти тотальной степени и в основу ее ляжет не только национальный признак, но и признак «человека со стороны». Потом даже председателей колхозов и то станут привозить откуда-то — лишь бы не из местных. «Человек со стороны», а проще сказать, «варяг» — явление в нашей жизни громадное и совсем неизученное.

В-пятых, в таком бесструктурном государстве человек замыкается непосредственно на государство, а в практической жизни на его всесильных представителей («медных всадников») и теряет не только свои личные права, но даже и желания.

Как мы знаем, за десятилетие до этого, по наблюдению С. Франка, личность уже призывали к самоотречению.

В-шестых и в итоге, «героев» нахлынула тьма-тьмущая, единственным и самым веским аргументом в диалоге стал маузер или что-нибудь в этом роде. Черная кожаная куртка стала олицетворять все, что уже не должно быть связано с жизнью. Сбылись ожидания Д. Мережковского и опасения

М. Меньшикова. Но первый почему-то не ужился с «медными всадниками» и благоразумно отъехал на Запад, где жизнь была вовсе не героической, но зато по-буржуазному сытой и безопасной. А второго как реакционера без суда и следствия средь бела дня расстреляли в огненном 1918 году. Так закончат свой «диалог» талантливый поэт Д. Мережковский и ныне забытый талантливый критик и публицист М. Меньшиков. Еще десятилетие — и мы поспеем к началу коллективизации, к началу гражданской войны в деревне.

Великая многонациональная держава, построенная на идее всеобщего национального самоотречения, пусть даже самоотречения насильственного, когда все народы были лишены своих преданий, своей истории, своей философии, своей культуры и даже своих обычаев, не могла в пределах своего замкнутого развития не воплотить в жизнь идею государственного *великодержавного космополитизма.* Этой идеей и жило государство нового типа, игнорируя все, начиная от законов экономического развития и кончая личными интересами человека. Общественная жизнь была сведена к нулю, национальное развитие приостановлено, человек стал винтиком в воображаемом планетарном механизме, «земшарность» стала не только идеологией, но и новой религией.

Однако не следует представлять дело так, будто все это натворили властолюбивые и всесильные, словно боги, «медные всадники». Они прискакали на хорошо подготовленную для их скакания почву, которую несколько десятилетий усердно возделывала многонациональная российская интеллигенция. Но прежде, чем каяться, следует осознать свою беду, ставшую виной. Национальное самоотречение, в пользу ли вселенского церковного интереса или же в пользу вселенского идеологического интереса (к примеру, идея мировой революции), — всегда обман или самообман и всегда объективное уклонение от своей национальной ответственности перед другими народами. У великих народов есть только одно преимущество перед другими народами — их историческая ответственность за общую судьбу мира. Только преимущество ли это?

Если в произведениях Льва Толстого, как в зеркале, отразился характер первой русской революции, то в жизненной драме самого Толстого отразилась историческая драма русского народа той поры, когда стало невозможным согласовывать разноречивые нравственные запросы времени с общим распорядком тогдашней российской жизни. Уход Толстого из

Ясной Поляны был не только уходом из родного дома, но и отходом от мира с его безумием ординарных будней. Толстой порвал с мирской жизнью, решив жить согласно своим верованиям, и погиб. Толстой был слишком велик, чтобы отречься от самого себя, в том числе и от своей мирской жизни.

А вслед за Толстым попытался самоотречься от себя и весь русский народ, он взошел на Голгофу Гражданской войны, пренебрег на десятилетия мирской жизнью во имя призрачного всечеловеческого, планетарного счастья, в идеологической борьбе чуть не самоистребил себя, и только Великая Отечественная война напомнила ему о его исторической ответственности, вновь пробудила в нем национальное самосознание. Только под стенами Москвы мы окончательно поняли, что пролетарии всех стран соединяться не торопятся, и за это прозрение мы заплатили большой кровью.

Да, мы верили, что наша «броня крепка и танки наши быстры», но еще больше верили в то, что «весь мир голодных и рабов» при первой же возможности протянет нам руку пролетарской солидарности.

А там, откуда двинулась на нас историческая смерть, планетарные аппетиты будут подогреваться совсем другими «песнями».

«Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию...

Если бы желать новых территорий в Европе, то в общем и целом это могло бы быть достигнуто только за счет России...

Организация русского государственного строя не являлась результатом политических способностей славянства в России, а только лишь примером созидательной государственной деятельности германского элемента в среде неполноценной расы...

В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения...» — *Гитлер.* «Майн Кампф».

«Некогда Россия была основана викингами; германские элементы запрудили хаос русских степей и втиснули население в рамки государственных форм, дающих возможность развития культуры. Эту роль вымирающей крови викингов позднее переняли представители немецкой Ганзы и вообще западные переселенцы в Россию; со времен Петра Великого ее выполняли немцы Прибалтики, к началу XX века — также сильно онемеченные прибалтийские народы...

В будущем, после отделения западных областей, Украины и Кавказа, он (русский человек. — *А. Л.*) должен будет довольствоваться тем, что его центр будет перенесен в Азию.

Только таким образом он, быть может, обретет внутреннее равновесие. На Западе для него нет места, пусть он обратит свое слово к Востоку, где для него, быть может, найдется место». — *Розенберг.* «Миф XX столетия».

«Россия является естественным дополнением для высокоразвитых индустриальных государств. Россия в качестве поставщика сырья и покупателя германских готовых изделий в будущем займет большое место». —*Функ.*

«Прежде всего надо предусмотреть политику уменьшения числа населения. В самом деле, для великой белой северной расы представляла бы большую опасность огромная плодовитость славянских и восточных народов, которые, как и все народы низшего порядка, заменяют качество количеством...» *Раушнинг.* «Гитлер мне говорил».

И то были не досужие разговоры, то была «гуманитарная» часть планетарной программы переустройства мира, которая вскоре обернулась активными действиями. Гитлер полагал, что проводимые у нас в жизнь идеи денационализации с общей установкой на мировую революцию выхолостили из славянских народов всякие национальные чувства, но он жестоко просчитался. А наши новые апостолы всевозможных «земшарных» затей, бряцая оружием троцкистского производства, выкованного для защиты идей великодержавного космополитизма, вновь под разными предлогами призывают нас к национальному *самоотречению,* к забвению своего исторического прошлого во имя экономической и культурной интеграции. Да, Европа — наш общий дом, но вот с чем и в качестве кого мы туда явимся? В качестве поставщиков сырья и массового потребителя ширпотреба или в качестве равнодостойных партнеров? Культурная интеграция — хорошо, если она, конечно, не напоминает культурной интервенции.

«В двадцатом веке, — писал Крэмб, — Англия достигла того этапа в своей имперской деятельности, когда ее политика, какой бы она ни была в прошлом, решительно становится политикой мира, а не войны...

Для чего же велись эти войны? Можно ли рассмотреть в них какую-нибудь руководящую идею, управляющую ими от начала до конца? Я отвечу немедленно: такая идея существует и это идея — **стремление к мировому владычеству.** Все вой-

ны Англии в течение прошедших пятисот лет велись за создание империи» (выделено мной. — *А. Л.*).

Книгу «Германия и Англия» составили лекции, прочитанные Крэмбом в феврале и марте 1913 года в Queens Colledge, в Лондоне, где он состоял профессором новейшей истории. Заключающие книгу слова звучат несколько высокопарно, но, к сожалению, и пророчески: «И мы можем представить себе древнее, могучее Божество тевтонского племени, обитающее над облаками, спокойно взирающее на землю, на столкновение своих любимых детей, англичан и германцев, ринувшихся в смертельную борьбу; Божество, улыбающееся героизму этой борьбы, героизму детей Одина, бога войны!»

Проживи Крэмб подольше (он умер в октябре 1913 года), он, вероятно, несколько снизил бы пафос некоторых своих формулировок, в том числе и той, что заключает книгу, в которой он научно обосновал неизбежность военной катастрофы в Европе, когда цивилизованные и общительные европейцы уже начали поговаривать о создании пан-Европы.

Я вполне допускаю мысль, что нынче бог Один ушел в отставку, и только оставшиеся при исполнении своих служебных обязанностей его бывшие клерки постоянно развлекаются «малыми войнами», так, на всякий случай. Однако Один и в цивильном костюме при галстуке остается Одином, ибо «стремление к мировому господству» пока еще ничем не опровергнуто. Экономическое и политическое соперничество великих держав, по-моему, еще преждевременно отождествлять с дружеским соревнованием во имя вселенского прогресса и общечеловеческого счастья, а символического голубя мира наделять божественным всесилием, перешедшим к нему от состарившегося Одина. К тому же, говоря об «общем европейском доме», куда мы нацеливаемся, мы почему-то упускаем из виду, что большая часть нашего государства находится все же не в Европе, а в Азии. Что это — провинциальное «западническое» высокомерие, историческая забывчивость или просто плохое знание географии? В 1918 году А. Блок в своих «Скифах» писал:

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы.

Полтысячелетия православная Русь сдерживала динамичную и агрессивную Азию от нашествия на Европу, еще полтысячелетия она сдерживала динамичную и агрессивную Европу от нашествия на Азию, целое тысячелетие Россия исполняла свой общечеловеческий долг, сохраняя в своем сердце «галилейскую жалость и любовь». Вся русская литература XIX века прониклась этим чувством (отсюда и ее идеал «святой Руси», о котором говорил В. Соловьев), за что и осудил ее Д. Мережковский. И сегодня, когда мы праздновали тысячелетие Крещения Руси, мы, наверное, каким-то краем своей общественной жизни приблизились тоже к этому чувству. Конечно, нам еще так далеко до «общества любящих», но, может быть, мы все-таки сумеем создать «общество уважающих друг друга» и на этих же основаниях станем строить межнациональные отношения? Хотелось бы, чтобы жизнь на этот вопрос ответила утвердительно. Если мы не окрепнем экономически, не возродимся нравственно и не выработаем глубокой объединяющей идеи, то не соблазнится ли Запад мирной технологической и «культурной» агрессией или Восток столь же мирной демографической? О последствиях такого встречного движения не стоит догадываться вслух. И не эта ли перспектива натолкнула В. Соловьева на мысль о создании единого христианско-католического государства? Ведь не случайно же А. Блок выставил эпиграфом к своим «Скифам» слова именно В. Соловьева:

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

В. Соловьев прятал свой страх, А. Блок его демонстрировал открыто, даже намеренно:

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

В отчаянии и тщетно поэт призывал:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Один умный француз когда-то сказал: «Мы победили потому, что стояли на краю погибели».

Основания для такой победы есть и у нас. Дело осталось за немногим — одержать ее.

Короче сказать, надежда у нас, как и прежде, только на самих себя, на собственный здравый смысл, на честный интеллектуальный диалог между собой. Чувство национальной ответственности каждого народа нашего государства должно возобладать над всеми другими чувствами и намерениями. И в этой связи мне представляется уместным привести еще одну звучащую весьма актуально мысль М. Меньшикова:

«Великое учение орошает и животворит сердце толпы, пока не сделается аристократическим, **пока не попадет в заведывание замкнутой касты, и чем более эти касты... отгораживают истину от толпы, тем более истина мертвеет и превращается в ложь.** Напротив, дух истины часто сохранялся в сердцах «черни», или в народной массе, которая при первом же дуновении свободы обнаруживала понимание древней истины в ее первобытной чистоте» (выделено мной. — *А. Л.*).

Не омертвела ли истина и в национальном вопросе, не превратилась ли она в ложь, будучи долгие годы наглухо отгороженной от народной души? Если мы пришли к выводу, что ни экономические, ни политические вопросы не могут быть положительно решены без всенародного обсуждения и участия, то почему же сложнейший национальный вопрос должен решаться как-то иначе?

В этом году в общей сложности около трех месяцев я провел в Латвии, там обсуждение национального вопроса и проблем межнациональных отношений ведется широко и открыто. Не могу сказать, будто все, что сейчас там говорится и делается, мне в высшей степени симпатично. Нет, кабинетно, кастово национальные проблемы не разрешить, тут нужно верить, что истина пока еще живет в «народной массе». И на «потом» национальный вопрос не отложишь, ибо он самым тесным образом связан со всеми теми вопросами, кото-

рые в эпоху гласности стали предметом всеобщего обсуждения. Нужно решиться на открытый и честный диалог и не ограничивать его региональными масштабами.

Говоря аккуратно, издержек нам, разумеется, не избежать, однако меня здесь беспокоят не столько издержки «низов», сколько издержки «верхов», которые обладают большой реальной властью и громадными материальными ресурсами.

Так, 2 ноября 1988 года в газете «Правда» за «круглым столом» встретились члены ЦК КПСС, депутаты Верховного Совета СССР. Предмет разговора — межнациональные отношения.

Слово берет министр Нефтехимпрома СССР Н.В. Лемаев.

«Я только что с заседания Президиума Верховного Совета СССР, — сообщает он. — Там принималось важное решение для народного хозяйства — о строительстве нового промышленного комплекса. Сегодня без химии мы как без рук. Все с этим согласны. А вот строить комплекс и белорусы, и украинцы отказываются. Хоть на Луне теперь его возводи. Решили вот в тайге. Придется вложить туда около 15 миллиардов...»

Ну, с Луной у министра все равно ничего не получится — мировая общественность не позволит, как не позволили строить у себя этот комплекс белорусы и украинцы, которых министр волевым жестом за строптивость отлучил ото всех (помните его слова: «Все с этим согласны»?). И, видимо, белорусы и украинцы отказались не из каприза, а рассчитали-подсчитали, слава Богу, у них и Академия наук имеется, и ЦК партии, и нашли, что этот гигантский комплекс никак не улучшит экологическую ситуацию в их республиках.

«Решили вот в тайге», — с досадой бросает министр. А что тайга — это какая-нибудь наша заморская колония? До сих пор, по-моему, она входила в Российскую Федеративную Республику. Конечно, по сложившейся традиции с русскими можно и не считаться, их можно даже и не называть, сказал «тайга» — и всем понятно, где это. Место обозначено, территория застолблена. Рабсила? Деньги есть — будет и рабсила.

Вот вам типический и, я бы сказал, даже классический образец великодержавного космополитического сознания. Но ведь русские, если не с собой, то с другими народами, населяющими Российскую Республику, просто обязаны считаться — это их первейший интернациональный долг.

Возникают и частные вопросы. «Сегодня без химии мы как без рук». А куда же делась вся наша химия? Неужели уже

всю пустили на отравление окружающей среды? А между прочим, министр чуть раньше похвастался: «Предприятия и объединения Миннефтехимпрома работают в условиях хозрасчета. Имеют свои деньги, и что хотят, то и строят. На счетах трудовых коллективов 653 миллиона рублей». Откуда же взялись эти громадные деньги у предприятий Нефтехимпрома, если у нас нет химии, не голубей же они разводили?

Комплекс оценивается в 15 миллиардов рублей — о таком бюджете не каждая республика может мечтать. Вероятно, в эпоху гласности о стройках подобного масштаба и подобного профиля надо широко оповещать в печати, обсуждать всенародно, а не только по старинке — кабинетно.

В заключительном своем слове Н.В. Лемаев сказал: «Будем все лучше трудиться, будем все лучше жить, и меньше будут обостряться национальные вопросы». Я с этим согласен, хотя и не уверен, что мы с министром вкладываем одинаковое содержание в понятия «лучше трудиться» и «лучше жить», особенно когда это касается «всех», ну, никак я не могу поверить в то, что белорусы и украинцы хотят и «хуже трудиться», и «хуже жить». С другой стороны — если мы достойно разрешим национальные проблемы, то мы, наверное, станем и лучше трудиться, и лучше жить. С такой постановкой вопроса тоже спорить не просто.

Но суть не в наших спорах, а в тех проблемах, что встали перед нами со всей своей очевидностью и от которых нам никуда не уйти. Да, иногда под национальные интересы маскируется шовинизм, но еще чаще под интернационализмом маскируется великодержавный космополитизм, однако это вовсе не повод, чтобы устраняться от решения национального вопроса, предаваясь легкомысленным надеждам, что все разрешится само собою. Само собою уже ничего не разрешится — ни в экономике, ни в политике, ни в национальной проблеме. Народы, которые долгие годы называли массой (в лучшем случае, населением) и которые уже обрели многие черты этой массы, вновь обретают черты подлинной народности, и нормальные, равнодостойные отношения возможны лишь между народами, а не между отдельными частями массы, различающимися в *дни* или *декады* демонстрации «дружбы народов» и их «нерушимого союза» специально пошитыми для этих мероприятий национальными костюмами.

Когда говоришь о национальном вопросе, то тебя все время бросает из стороны в сторону, то вдруг ударишься в по-

литику, то в экономику, то в литературу, то рассуждаешь в буквальном смысле о сегодняшнем дне, то тебя на столетие и дальше отбросит в прошлое. И начал-то я свой разговор с Пушкина, всплыли почему-то строчки из «Евгения Онегина», и я поставил их в эпиграф, да ведь не случайно же? Не случайно, хотя и не умышленно.

Со школьной скамьи мы привыкли считать Онегина, а заодно и Ленского людьми поверхностными, если не сказать пустыми, в общем — «лишние люди». Себя же мы, конечно, считали людьми до крайности *необходимыми,* хотя на каком основании мы так были уверены в себе — не помню. Вероятней всего, тотальное осуждение прошлого невольно порождало в нас «комплекс превосходства» над всем, что было *когда-то...* Этот комплекс гасил любознательность, и если бы не живое детское чувство, то голова наша стала бы прекрасной тарой для всякой интеллектуальной мякины. Чувства наши оказались куда свободнее и правдивее нашего разума.

Интересно, а как мы будем смотреться этак лет через сто и за какими спорами «застанут» нас наши далекие потомки? Во всяком случае, они нас не «застанут» не только за спорами о договорах племен *минувших,* что вели «лишние люди» пушкинской эпохи, но даже за спорами о договорах племен *не минувших,* которые не вели мы, считавшие себя людьми *необходимыми.* А может быть, нашим потомкам интереснее всего будет узнать как раз именно то, о чем мы упорнее и дольше всего молчали?

Мы часто повторяем: «Молчание — знак согласия». Возможно-возможно, только лишь при условии, если молчание не вынужденное и даже не привычное, а абсолютно добровольное.

1988

О ПОЛЬЗЕ ПРАЗДНОГО ЧТЕНИЯ

Вчера встал поздно, когда добрые люди, вероятно, уже посматривали на часы в ожидании обеденного перерыва.

Куда покатился еще один день?..

Пил кофе. Что-то жевал. Звонил. Мне звонили. И читал. Впрочем, слово «читал» влетело сюда просто по инерции. Точнее было бы сказать: «клевал». Клевал Толстого и Гумилева, книгу английского финансиста времен Первой мировой войны и Версальского договора Кейнса, дневниковые записи Троцкого, книгу Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым»... Несколько раз, включая телевизор, — заглядывал в преисподнюю.

Что и говорить, «коктейль» получился чудовищный. Остатки сил потратил на то, чтобы заснуть.

Поутру захотелось «опохмелиться» чем-нибудь таким, от чего в голове стало бы ясно, а на душе не так муторно. Сколько ни бегал глазами по книжным полкам — нужного не обнаружил.

Ничего лучшего не придумал, как сесть за письменный стол.

...Умирает самый кошмарный в истории человечества век. Двадцатый, если, конечно, считать от Рождества Христова. А народится ли последующий, двадцать первый, или остальные поплывут в вечность уже никем и никак не считанными?

Начало века. Гумилев. «Сахара»:

Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби —
Это лишь затиханье сахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.

Плещет Красное море, Персидский залив,
И глубоки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив
До зеленой доходит Сибири.

И кажется, будто вот-вот оживут «сахарские волны» и их «девятый вал» преодолеет и перекроет все, что встретится на

его пути — рукотворное и нерукотворное. И, устрашившись будущего, бежишь в спасительное прошлое.

1859 год. В положенной при приеме в «Общество любителей российской словесности» речи Толстой говорит: «В последние два года политическая и, в особенности, изобличительная литература, заимствовав в своих целях средства искусства и найдя замечательно умных, честных и талантливых представителей, горячо и решительно отвечавших на каждый вопрос минуты, на каждую временную рану общества, казалось, поглотила все внимание публики и лишила художественную литературу всего ее значения...

Теперь, когда прошло первое раздражение вновь открывшейся деятельности, прошло и торжество успеха, когда долго сдержанный прорвавшийся политический поток, угрожавший поглотить всю литературу, улегся и утих в своем русле, общество поняло односторонность своего увлечения...

Это в последнее время появившееся убеждение вдвойне радостно для меня. Оно радостно для меня лично, как для одностороннего любителя изящной словесности, которым я чистосердечно признаю себя, и радостно вообще, как новое доказательство силы и возмужания нашего общества и литературы».

Как глубоко самообманывался Толстой! И не только потому, что думал, будто «политический поток... улегся и утих», но и потому, что посчитал себя «односторонним любителем изящной словесности». Его мятежная натура постоянно будет рваться в самую гущу общественной и политической борьбы. Что же касается его «минуты», то она обернется вечностью.

Пройдут десятилетия, и эта борьба станет уже общим образом жизни. Гумилев, в чем-то похожий на Толстого, тоже пропоет гимн «изящной словесности», выдвинув в авангард *ее — поэзию:* «Поэзия *и* религия — две стороны одной и той же монеты (думается, взаимосвязь слов «религия» и «монета» противоестественна. — *А. Л.*). И та и другая требуют от человека духовной работы... Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу... Поэзия всегда обращается к личности... От личности поэзия требует того же, чего религия — от коллектива».

Согласиться с Гумилевым можно лишь в одном: поэзия действительно сродни религии, однако никак нельзя согласиться с тем, что религия духовно формирует толпу (коллек-

тив), а поэзия — личность. Напротив, главная задача религии — духовно формировать личность, которая стремилась бы к единению с другими в общей вере, а вовсе не к сообщничеству, к чему постоянно склоняют толпу. В принципе, поэзия стремится к тому же, действуя на религиозные чувства человека, но, к сожалению, ей это удается сделать крайне редко, так как сама она слишком часто сбивается с предназначенного ей пути.

Так, Гумилев делит свою паству (читателей) на определенные разряды. «Читатели, — пишет он, — разделяются на три основные типа: наивный, сноб, экзальтированный». И каждый тип, по Гумилеву, ищет в поэзии свое. Перед Богом же все равны, и в религии все ищут единое — спасение души. К тому же, Гумилев не признавал равенства даже между своими братьями-поэтами.

«Созданный в 1911 году «Цех Поэтов», — пишет автор предисловия к книге И. Панкеев, — был как раз той организацией, и структура, и направленность, и порядки которой вполне импонировали Гумилеву. Разделив участников на «мастеров» («синдиков»), которых было всего два — Городецкий и сам Гумилев, — и «подмастерьев», Гумилев вменял в обязанность «подмастерьям» беспрекословное повиновение, работу над «вещью» по указанию «мастера» и запрет на публикацию без разрешения «мастера»...»

Двадцатый век стремительно проникался духом партийности и вождизма, *возможному* деспоти*зму одного* он предпочел *непременный* деспотизм *многих;* разрушив в ходе Первой мировой войны три европейские империи (Российскую, Германскую и Австро-Венгерскую), он расчистил путь к политическому Олимпу всем, того возжаждавшим. Безбожие девятнадцатого века оставило в наследство двадцатому причины, утвердившие в жизни нового человека.

И вот этот новый человек хорошо просматривается в книге Ф. Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым». «Суждения его, — пишет Чуев, — субъективны, во многом идут вразрез с тем, что сейчас публикуется и утверждается как истина, но за 17 лет постоянного общения я имел возможность в какой-то мере изучить этого человека, с юности отдавшего себя служению идее».

Вот оно — служение идее. Не Богу, не царю, не народу, не истине, а *идее.* Мир раскололся на блоки, страны — на партии, партии — на фракции, фракции — на группы, вне какой-

нибудь «стаи» человек стал чувствовать себя беспомощным и ненужным, потому как универсальным принципом всей эпохи стал принцип: *кто кого?* И сейчас идет та же и с тем же ожесточением борьба во имя *идеи* или *выгоды.*

К примеру, выходит в свет книга Чуева, и издатели вынуждены признать в сноске: «Публикуя это послесловие (доктора и профессора С. Кулешова. — *А. Л.*), считаем нужным проинформировать читателей, что Ф.И. Чуев не разделяет позицию и положения послесловия». Цензуру вроде бы отменили — так на тебе: «научный» конвой. Агитпроп по-прежнему продолжает опекать наши читательские умы.

Кулешов смело крушит не только Молотова, но замахивается уже на Ленина и даже на Бухарина, поскольку сейчас это поощряется. А вот Троцкого он потихонечку выгораживает, а как же, сам Волкогонов назвал Троцкого «демоном революции» — тут пока нужно быть осторожным.

После падения Симбирска Троцкий отправляется на фронт, успокаивая при этом Ленина: «В основу частей положить крепкие революционные ядра, которые поддержат железную дисциплину *изнутри;* создать надежные заградительные отряды, которые будут действовать извне... не останавливаясь перед расстрелом бегущих; обеспечить компетентное командование, поставив над спецом комиссара с револьвером; учредить военно-революционные трибуналы...».

И об этом Троцкий очень спокойно записывал в дневнике через полтора десятка лет. Доживи он до ста лет, он оправдал бы все свои злодеяния, совершенные им во имя идеи. Той же природы и спокойствие Молотова. Троцкого выслали, а затем убили, однако ведь и у Молотова жизнь была отнюдь не безоблачной. Вот что, в частности, писал о нем Троцкий в том же дневнике:

«Чубарь есть «заместитель» Молотова в том смысле, что должен раньше или позже вытеснить его. Рудзутак и Межлаук, два других заместителя, для этого не годятся: первый опустился и обленился, второй политически слишком незначителен. Во всяком случае, Молотов живет под конвоем трех заместителей и размышляет о смертном часе».

Весьма любопытно то, что аттестация Рудзутака Троцким почти совпадает с аттестацией Рудзутака Молотовым.

Толстой, заканчивая публикацию «Войны и мира», писал: «Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и убили половину миллиона, не может иметь причиной волю

одного человека: как один человек не мог подкопать гору, так не может один человек заставить умирать 500 тысяч».

Ленины, Троцкие, Сталины хорошо это понимали, как хорошо понимали и то, что для достижения подобной цели нужна партия и нужна *идея.* Поэтому «дневники» Троцкого и «беседы» с Молотовым ценны как документы долгой эпохи, когда сумели «заставить умирать» уже не 500 тысяч, а в сотни раз больше.

Полвека всю вину за беды Второй мировой войны возлагали персонально на Гитлера, затем незаметно ее перенесли на Сталина. А кто тогда виноват в бедах, что принесла Первая мировая война, положившая начало глобальным разделам Европы?

Английский профессор Крэмб незадолго до своей кончины писал: «И если страшному событию войны с Германией когда-либо суждено свершиться, то земля увидит столкновение, которое более чем-либо напомнит описание великих греческих войн:

Герои, сражающиеся с героями,
И над ними гневные боги...»

В действительности все оказалось намного прозаичнее, ибо про богов забыли давным-давно, а про героев — сразу же по окончании войны, о чем достаточно свидетельствовал Версальский договор, по которому была не только перекроена по усмотрению победителей вся карта Европы, но произошло неслыханное ограбление народов побежденных стран.

Так, 4 июня 1919 года венская газета «Arbeiter Zeitung», комментируя условия мирного договора, предписанные Австрии, печатала: «Еще никогда сущность мирного договора не обнаруживала так грубо намерения, руководившие его составителями... В этом договоре каждая статья проникнута бессердечием и безжалостностью, в нем невозможно обнаружить даже признака человеческого сочувствия, он оскорбляет все, что связывает между собою людей, он является преступлением против человечности, против народа, терпящего страдания».

И по этому поводу английский представитель канцлера казначейства Д. Кейнс свидетельствовал: «Я в подробностях знаком с австрийским договором, я присутствовал при составлении многих из его статей, но я считаю нелегким опровергнуть справедливость этого негодующего протеста».

Если же говорить о Германии, то она подверглась не только чудовищному разграблению, но и практически была закабалена на вечные времена. И тот же Кейнс справедливо и дальновидно предупреждал: «Материальные лишения развиваются постепенно; пока люди переносят их терпеливо, окружающие проявляют к ним мало интереса и внимания. Физические силы и сопротивление болезни мало-помалу убывают, но жизнь кое-как идет вперед, пока граница человеческого терпения оказывается, наконец, достигнутой; тогда внушение отчаяния и безумия пробуждают несчастных от их летаргии... Человек отряхивает с себя узы традиций и привычки. *Могущество идей* неодолимо, и он прислушивается ко всякому совету, который внушает ему *надежда, иллюзия или чувство мести*» (курсив мой. — *А. Л.*).

И далее: «Если же мы сознательно будем стремиться к истощению центральной Европы, то я предсказываю, что отмщение не заставит себя ждать... Но есть и другие аргументы, которых не могут не знать самые тупые люди, и эти аргументы говорят против политики расширения и дальнейшего поощрения экономического развала великих государств».

Это Кейнс писал в 1919 году. И не только писал, но и «сложил с себя полномочия, как только стало очевидным, что не остается никакой надежды на существенное изменение проекта мирного договора».

К сожалению, Кейнс оказался прав: мирный договор принес в Европу не мир, а всего лишь перемирие, и Гитлер, учитывая «могущество идей», сумел внушить несчастному народу «надежду, иллюзии и чувство мести».

Вот так, «поклюешь»-«поклюешь» серьезные книги и не найдешь никакого успокоения: надежды Толстого на «возмужание нашего общества и литературы» не оправдались; предсказания же английского финансиста Кейнса, человека сколь умного, столь и честного, сбылись во всей их полноте; пророчества обреченного на гибель Гумилева опровергнуть нечем: сегодня именно в тех местах завязался «узелок», что чреват непредсказуемыми бедами в дальнейшем... Остается для завершения разговора привести последние строфы его стихотворения «Сахара»:

И, быть может, немного осталось веков.
Как на мир наш, зеленый и старый,
Дико ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.

Средиземное море засыплют они,
  И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
  На верблюдах своих бедуины.

И когда наконец корабли марсиан
  У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
  И дадут ему имя: Сахара.

Так, наверное, тому и быть, если человек *веры и разума* не одолеет человека *идеи и выгоды.*

И праздное чтение порой имеет свой смысл. Во-первых, возникают иногда соображения, которыми хочется обременить и других. Во-вторых, появляется возможность оправдать в собственных глазах попусту прожитый день.

1992

О ЧЕМ БЕЗМОЛВСТВУЕТ НАРОД

Вместо послесловия

«Итак: *непротивление* — или *сопротивление*?» Что ж, столь жесткая альтернатива, кажется, никакого компромисса не предусматривает...

Иван Бунин высказал когда-то простое и очень замечательное соображение: «А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, кто прославился? И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть **истинно твое и единственно настоящее,** требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения хотя бы в слове» (выделено мной. — *А. Л.*).

Что касается нужности или ненужности жанров и их законов, героев, героинь, выдумки, то все эти возникшие в связи с ними вопросы носят часто риторический характер. Однако постановка общей проблемы весьма плодотворна, если, конечно, акцент ставить на содержание «истинно твоего и единственно настоящего». Так, к примеру, для Толстого в шестидесятые годы таковыми были и Отечественная война 1812 года, и Кутузов, и Наполеон, и нравственные искания «отцов» в судьбоносный для Родины исторический период. У других «единственно настоящее» сужалось до личного почесывания, а вся остальная жизнь оказывалась всего лишь общим фоном. Что ж, каждому свое.

В первые годы своей эмиграции Бунин создает такие шедевры, как «Митина любовь» или «Солнечный удар», уносясь в недавнее и одновременно такое далекое прошлое. Однако в этот же период пишутся и «Окаянные дни»...

«Мы живем всем тем, — размышлял Бунин, — чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга — **восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери;** еще — в минуты поэтического преображения прошлого в памяти» (выделено мной. — *А. Л.*).

«Восторги счастия» вызывали из прошлого печальную, но прекрасную явь — это и было для Бунина «единственно на-

стоящим», но эта явь была разрушена не просто временем, она была разрушена революциями и ее вождями, они-то и вызывали «восторги несчастия», в порывах последних и создавались «Окаянные дни». Эти окаянные дни были для Бунина тоже «единственно настоящим».

Двуединство этих «восторгов» и дало единого Бунина, который эмигрировал из *пространства* России, но который никогда не выпадал из *временной* координаты России. «Воплощение и сохранение хотя бы в слове» прошлого России означало духовное *сопротивление* всему тому, что терзало историческое тело России и губило ее душу.

Антиподом «сопротивленца» Бунина стал очень талантливый беллетрист Алексей Толстой — автор «Петра Первого», «Хождения по мукам», «Хлеба», «несопротивление» которого было отнюдь не сродни «непротивлению» его великого однофамильца Льва Толстого, бунтовавшего и против царя, и против государства, и против церкви, и даже против самого себя. На все хватало сил и духа у яснополянского бунтаря-непротивленца.

Обо всем этом я невольно задумался, прочитав материалы дискуссии, проведенной на пленуме Союза писателей России, состоявшемся на сей раз на родной Бунину земле — Орловщине.

Мне показалось, что участники дискуссии в Орле, а я со всеми с ними хорошо знаком, были чем-то очень взвинчены, оттого, наверное, «непротивленцы» ничуть не уступали «сопротивленцам» в агрессивности. Даже такие исторические личности, как князь Михаил Тверской и Иван Калита, и те были поделены между оппонентами (Валерий Ганичев и Владимир Личутин). Невольно создается впечатление, что оппоненты не столько стремились к согласию, сколько к возведению баррикад.

Так, Владимир Крупин «миротворчески» бросает: «Мы занимаемся обличением, а на обличение нужно иметь права. Кто мы такие, чтобы, например, обличать Патриарха? Зачем? Что это такое?» Последовательным Крупин оставаться не захотел и через абзац разнес в пух и прах Александра Зиновьева и Эдуарда Лимонова. Еще одним обличением стало больше.

Разумеется, я понимаю разницу между Патриархом и Зиновьевым с Лимоновым, и все же, все же, все же... Нельзя же так самоуничижаться: «Кто мы такие?..» *Христиане* — вот мы

кто такие. Прощения и спасения мы молим у Бога, а вот земной христианской заботы — у церковных иерархов, да простит мне благочестивый Владимир Крупин.

В конце шестидесятых мне довелось быть участником совещания молодых писателей в Красной Пахре, и там ежедневно устраивались встречи с «интересными людьми». Однажды был приглашен какой-то чиновник из Моссовета, он сумел привлечь внимание аудитории своим выступлением, посыпались вопросы. Кто-то задал и такой: «Когда будет построен новый крематорий?» Чиновник чуть замялся, а затем ответил примерно так: «Строительство почти завершено, но тут сложности с печами... Дело в том, что для того крематория, что был построен еще задолго до войны, печи мы покупали в Германии».

На мгновение установилась тишина, а затем в зале раздался дробный, нервический смешок. И это понятно. В шестидесятых очень много писалось о гитлеровских «лагерях смерти», широко демонстрировалась кинохроника, запечатлевшая зловещие «германские печи» — отсюда и такая наша реакция: оказывается, эти самые «печи» придумал вовсе не Гитлер, а цивилизованный атеистический мир. А мне тогда подумалось: «Как человечество относится к мертвым, так оно будет относиться и к живым». Эта мысль и заставила память навеки сохранить этот эпизод.

Вы правы, Владимир Николаевич, не следует нам, мирянам, обличать церковных иерархов, но я как христианин считаю себя вправе призвать иерархов (и в первую очередь Патриарха) поднять свой голос в защиту мертвых, ибо это их, иерархов, первейшая христианская обязанность перед прихожанами. Именно церковь должна выступить с инициативой внести в Конституцию «Закон о мертвых», гарантирующий каждому гражданину достойное захоронение после смерти, согласно его религиозному верованию. Если государство не хочет или не может этого сделать, то это вовсе не государство, а шайка политиков, захватившая власть.

Недавно по ТВ кто-то рассказывал то ли быль, то ли притчу о возвращающемся в родные места после долгих лет депортации старом чеченце, несшем тяжелый чемодан. Чеченца спросили: «Что у тебя там, в чемодане?» И он кратко ответил: «Кости». Не стану сейчас ворошить «чеченский вопрос», но с уверенностью могу сказать, что такой народ не сломишь

и ему разом не навяжешь так называемые общечеловеческие ценности, из числа которых по чьей-то анонимной воле выпала забота о мертвых.

Что ж, интеграция в пространство сулит или добычу, или выгоду, интеграция же во времени гарантирует вечность. И свобода каждого народа заключается в свободном выборе между двумя этими перспективами. Русский писатель, если он, конечно, не атеист, просто не имеет права относиться к таким вопросам индифферентно. И Патриарх, в отличие от Римского папы, кажется, не всегда может быть прав; не следует все же забывать, что восточная интерпретация христианства отнюдь не по всем пунктам совпадает с его западной интерпретацией и уж тем более с сектантскими извращениями. От культа главы церковной иерархии всего несколько шагов в сторону культа земной личности, называйся он генсеком, вождем или президентом — это неважно. А важно то, что все эти шаги будут торить дорогу в сторону от Бога.

В эпоху, когда христианское сознание во всем мире переживает страшный кризис, роль писателя в духовной жизни неизмеримо возрастает, точнее, возрастает его ответственность перед народом. Разумеется, писатель не может заместить собой священнослужителя, но он обязан в своих произведениях (своего рода проповедях) сохранить память о Боге, то есть по мере своих сил и возможностей удовлетворять хоть в какой-то степени религиозные запросы человеческой души. Нет, вовсе не труд создал человека, лошадь трудится куда больше и муравей тоже, но почему-то человеками они так и не становятся.

Судьба человека отличается от судьбы всех остальных обитателей нашей планеты тем, что то ли в награду, то ли в наказание человеку дано религиозное чувство, удовлетворенные запросы которого перекрывают тотальный и всепоглощающий зов инстинкта самосохранения, освобождая человека от постоянного страха смерти, убивающего всякую способность к истинному творчеству.

И сегодня, когда политика по сути дела поглотила все разнообразие человеческих интересов и запросов, заменив право на жизнь сомнительным избирательным правом, когда между народом и властью идет необъявленная война, *суверенизация* литературы, культуры или религии ведет не только к распаду государства, но и к разрыву всех человеческих связей, то есть к гибели народа.

Нашему народу потребовалось семь десятилетий, чтобы не только избавиться от коммунистических иллюзий, но и стряхнуть с себя режим «советской демократии», теперь ему силой навязывают не менее пагубный режим «западной демократии». Сейчас у нас слово «демократия» находится под той же неусыпной охраной государства, под каковой прежде находилось слово «коммунизм». Что изменилось? К лучшему — ничего. «Коммунисты» не стеснялись стрелять в свой народ из винтовок и пулеметов, «демократы» уже не стесняются «договариваться» со своим народом при помощи снарядов и ракет. В общем-то, конечно, прогресс, в жертву которому можно принести все и всех.

Демократия не меньшая утопия, чем коммунизм. Наиболее честные и сильные умы, еще когда о демократии только теоретизировали, уже ставили под сомнение возможность ее реального претворения в политическую жизнь. «Верховная власть, — утверждал, к примеру, Руссо, — не может быть представляема». И Руссо скептически относился к парламентаризму вовсе не потому, что он ограничивает роль монарха, а потому, что если он ее и ограничивает, то не в пользу народа. «Депутаты, — продолжал Руссо, — не могут быть его представителями, ибо они суть только его приказчики (commisaries), не имеющие права делать окончательных постановлений. Всякий закон, не утвержденный непосредственно народом, не имеет силы; это никакой не закон».

И прав был наш И. Аксаков, утверждавший: «Никакой договор не удержит людей, как скоро нет на это желания. Вся сила в нравственном убеждении».

Оттого-то у нас и не работают механизмы законов, что ни один из них не был сориентирован на «нравственные убеждения» народа. А с точки зрения Руссо, подобные законы «не имеют силы». У нас же даже Конституция была принята без ее всенародного обсуждения. Так неужели сегодня русский писатель от всего этого может отстраниться?

Нынешняя дискуссия писателей в Орле оказалась не столько бурной, сколько сумбурной. Так, например, Петр Палиевский начинает вдруг нервно, а потому и не очень-то убедительно теоретизировать совсем не в свойственном ему духе: «В общем виде нам, конечно же, понятно: политика — это область **интересов**. Литература же говорит нам о смысле жизни. Интересов у нас хоть отбавляй... А ведь люди прежде всего

интересуются смыслом жизни, ибо смысла жизни сейчас как раз не хватает» (выделено мной. — *А. Л.*).

Не совсем как-то ясно... Если **интересы** — это прерогатива политики, то почему же тогда **интерес** к смыслу жизни («интересуются смыслом жизни») выпадает в какую-то иную, автономную область? К тому же, вся великая русская литература XIX века жила, прежде всего, **интересами** и в первую очередь интересами крестьянства, загнанного реформами Петра I в рабство. Что же касается поиска смысла жизни, то он начинается лишь тогда, когда окружающая жизнь начинает восприниматься как бессмыслица, однако не во все же эпохи только тем литература и занималась, что искала лишь смысл жизни. А заданный же изначально и отстраненный от текущей действительности поиск смысла жизни нередко ведет самой короткой дорогой к «немотивированному» самоубийству или в глухой тупик. Невозможно отыскать смысл жизни вне самой жизни. Во всяком случае, изоляция от жизни не ведет литературу ни к процветанию, ни даже к самосохранению.

«Самая сложная мысль писателя, — продолжает Палиевский, — отличается от политической, совсем отличается. Она отличается, прежде всего, пониманием». И сказанное подкрепляет следующим аргументом: «Лев Николаевич Толстой, когда приехал к нему в гости Иван Тургенев, сказал, когда они гуляли по Ясной Поляне: «Тургенев, хочешь, я скажу тебе, о чем думает вот эта лошадь?» И Тургенев пишет: «Я почувствовал, что да, он знает, о чем думает лошадь».

А выступавший чуть позже Василий Белов прямо заявил: «Без политики мы с вами никуда не денемся. Для меня, например, моя жизнь разделилась на две части: моя жизнь до октября прошлого года, и моя жизнь после октября».

Если бы Ивану Сергеевичу довелось почитать первые страницы «Привычного дела», то он убедился бы, что наш современник Василий Белов не хуже, чем Лев Толстой, знает, о чем могут думать лошади. Между прочим, и я тоже «могу сказать», о чем думала та «толстовская» лошадь: она думала о своих **интересах**, а вовсе не о **смысле жизни**. Так что, согласно теории П. Палиевского, то ли лошади уподобляются политикам, то ли политики, думая только об интересах, уподобляются лошадям. Прямо скажу: не очень продуктивная теория.

Конечно, прав и П. Палиевский — писатель должен «понимать», понимать то, о чем думает человек, но он также еще

обязан догадываться, что думает и что чувствует народ. Ведь, возможно, сегодня народ задается и таким вопросом: «А зачем вы нужны, мастера культуры?» И при этом не отождествляет культуру с мастерами культуры.

И нынче, когда наступила долгая череда окаянных дней, писателю надлежит представлять координаты **общей беды** и не столько задумываться об **общем смысле жизни**, сколько о том: **о чем все-таки безмолвствует народ?**

1995

МУДРЫЙ СОБЕСЕДНИК

Есть нечто симптоматичное в том, что имя Анатолия Ланщикова отсутствует в некогда известной книге Сергея Чупринина «Критика — это критики». Разговор с Ланщиковым не мог по определению получиться у критика «амбивалентно-либерального» типа.

Есть нечто симптоматичное и в том, как подчас вспоминают об Анатолии Петровиче его бывшие ученики. Сам он в свое время поражался тому, как они объявляли его «ушедшим из критики» и «занявшимся литературоведением», тогда как последняя его литературоведческая статья была опубликована за десять лет до обнародования сей категорической сентенции. Это при жизни критика! А после его смерти о нем можно прочитать, в частности, следующее:

«Первый небольшой сборник статей Ланщикова «Времен возвышенная связь» (1969) обратил внимание острым выступлением в защиту идей русского патриотизма, тогда же начались выпады в его сторону от космополитических сил, что всегда позже сопровождало его творчество... Как и положено в советское время, его долго не замечали. Критик писал в 1967 году: «Мы вот тоже уже приближаемся к 40-летнему рубежу, а нас по-прежнему продолжают величать «молодыми»...» Спустя десять лет примерно так же заявили о себе и «сорокалетние», которых уже не хотел замечать сам Ланщиков. Тем не менее, авторитет у Ланщикова как критика был значительный. Особенно в патриотической среде... Считаю, в каком-то смысле, Анатолия Петровича своим учителем. Хотя полемизировал с ним по разным вопросам... По большому счету он и полемистом не был, но его спокойные статьи всегда выводили из себя либеральных недоброжелателей...»

Волей-неволей вспоминаются слова самого Анатолия Петровича: «...Если о тебе творят мифы, значит, тебя еще не

предали забвению. И тут даже не очень важно содержание мифов, важно само их появление...»

Я же считаю, что содержание мифов не менее важно, чем их появление. Иначе мы всю реальную историю заменим мифологией. Тем более, что в данном случае мы имеем дело не с мифом, а с элементарной, хотите, назовите путаницей, хотите — нечистоплотностью, сотворенной в угоду своей концепции. И как тут не вспомнить ланщиковской «Осторожно — концепция!». Судя по цитируемому «портрету критика», Ланщиков и после своей кончины продолжает выводить из себя не только «либеральных недоброжелателей» — слишком ощутима в интонации автора «портрета» злая обида, возникшая у него после прочтения статьи Ланщикова «Апостолы и жертвы сиюминутного».

Это каких же «сорокалетних» «не хотел замечать» Ланщиков? Может, Владимира Крупина, анализу «Живой воды» которого он посвятил отдельную статью? Может, Владимира Маканина, обсуждению прозы которого было посвящено по инициативе Ланщикова отдельное заседание студии молодых критиков?.. В статье «Настойчивое» поколение» Ланщиков попросту уничтожил саму возможность выделения небольшой части поколения середины — конца 1930-х годов в некую отдельную литературную генерацию. С легкой грустью от осознания правоты критика перечитываются сейчас ее отдельные пассажи:

«И вот писатели этого поколения создают «артель», многочисленную и внушительную, способную пройти, не порезавшись и не пострадав, сквозь любую дверь, а не только стеклянную... Как видим, с этими писателями связываются надежды масштаба никак не меньше планетарного... Сопротивления никто не оказывает, на редкие отдельные выстрелы-хлопки они отвечают громом тяжелых батарей. Продвижение идет успешно и без потерь. Только вот туда ли они идут, может быть, славу нужно спокойно дожидаться в тиши рабочего кабинета и в часы не праздного одиночества? Что-то это литературное поколение уж больно много путает в области интимного и публичного. Опасная неразбериха».

Ланщиков со всей очевидностью продемонстрировал сущую искусственность объединения в некую «единую группу» неких «сорокалетних», напомнив о том, что к этому же поколению «без каких бы то ни было оговорок» принадлежит Андрей Битов, который, в свое время, по точной характеристи-

ке критика «к лаврам... излишне поторопился», принадлежит Вячеслав Шугаев, прозе которого Ланщиков посвятил глубокую и проницательную статью, принадлежат Валентин Распутин и Александр Вампилов.

Что же касается небольшой группы так называемых «сорокалетних», то (продолжу цитировать Ланщикова, ибо точнее не скажешь) «вовсе не злонамерение критиков было причиной тому, что многочисленный отряд «сорокалетних» долгое время находился в тени, причиной тому была вторичность их творчества... Спорили-то и спорят в связи с «сорокалетними» не о важнейших проблемах времени, а о литературных достоинствах и недостатках конкретных произведений авторов этого поколения, о литературных новациях, о соотношении быта и бытия, толкуют о каком-то новом художественном мышлении... Литературное поколение, названное впопыхах «сорокалетним», заявило о себе не каким-то новым словом о жизни, как это обычно случалось прежде, а претензией на исключительную роль, которую оно то ли уже играет, то ли должно сыграть в ближайшем будущем, во всяком случае, здесь трудно было отличить, где кончается констатация и где начинается анонсирование. Вот тут-то и пошли в размен на термины понятия: мифологичность, притчевость, метафоричность, а такие категории, как духовность, нравственность, гражданственность, стерлись до такой степени, что о них стали говорить в том духе и там, где впору было вести речь о бездуховности, безнравственности, негражданственности».

Эти умозаключения опирались на «солидную почву» — справедливость своих суждений Ланщиков обосновывал, разбирая повесть Маканина «Где сходилось небо с холмами», в которой «художественная правда подменена художественными приемами», метафора «съела все проблемы, а заодно и историю народа», притчевость «до неузнаваемости исказила реальную жизнь наших современников».

Процитированная статья «Настойчивое» поколение» может сама по себе дать представление о Ланщикове-полемисте. Полемисте искусном, открытом и беспощадным в уничтожении литературных фантомов. Полемисте, в споре с которым требовалось не придираться к отдельным фразам, а опровергать весь строй его суждения, для чего требовались аргументы, что волей-неволей сами по себе «раздевали» оппонента, сплошь и рядом обличая человека бездуховного, лишенного гражданской позиции или заурядного фальсификатора.

Человек, который с легким сожалением говорил о том, что он «проспорил всю жизнь», обязан был, если хотел быть всерьез услышанным, овладеть искусством полемики. Ланщиков захотел — и овладел. И фантом так называемых «сорокалетних» был не первым на его пути. Еще раньше он столкнулся с фантомом так называемой «исповедальной прозы».

Этот фантом оказался поразительно живучим, благодаря современному агитпропу. Телеэкран периодически предоставляет возможность «засветиться» «героям дней минувших», повествующим о том, как они были «гонимы» и как «боролись с системой». Афиши на столичных стендах украшает портрет Василия Аксенова с многозначительной подписью «Легенда поколения». Было бы куда справедливее, если уж очень хочется сочинять «легенду», говорить о «легенде» сравнительно небольшой части этого поколения, героями которого стали интеллигенты типа чеховского Ионыча.

Но, как справедливо и доказательно показал критик, «теперешние Ионычи, усвоившие с чужих слов модные убеждения, необычайно агрессивны и деятельны на ниве удовлетворения своих потребительских запросов».

И, опять же процитирую Ланщикова, после статьи которого «Исповедальная проза» и ее герой» всякие споры об этих «легендах» заглохли до «перестроечных» времен, когда понадобились любые «тараны» для разрушения «системы» ценой любых человеческих потерь:

«Беда, что соблазн легкого успеха сбил с толку многих действительно способных литераторов, отвратил их от настоящего литературного труда, толкнул на путь, не имеющий ничего общего с традициями нашей литературы»...

Эстетика в глазах Ланщикова была неотделима от этики, и если персонаж, сотворенный «легендой», оказывался «никем, фикцией, нереальностью», то сам писатель, воспроизводивший фикцию и, подобно своему герою, живший «только своими чувствами», оказывался — «зверем», для которого живые люди, несогласные с людоедскими «реформами» и соответственно «покушающиеся» на его «потребительские запросы», также превращаются в «нереальность». Любопытно, что попытавшийся оспорить выводы Ланщикова Александр Янов предпринял недюжинные усилия, дабы найти «положительных героев поколения», но в принципе отказался от какой бы то ни было попытки защиты «исповедальных» «легенд». (Не менее любопытно, что беспощадная в

своей трезвой точности статья Ланщикова даже не упоминается в «указателях литературы» к «портретам» Василия Аксенова и Анатолия Гладилина, помещенным в авторитетном трехтомном словаре «Русская литература XX века», вышедшем в 2005 году).

Анатолий Ланщиков в своих критических разборах был всегда не столько эффектен, в отличие от многих других критиков как его так и последующих поколений, сколько эффективен. Его обстоятельность, подробность (без придирчивости) и в хорошем смысле слова въедливость создавали безусловный уважительный ореол вокруг его имени. С ним спорили, не соглашались, но сама тональность и обстоятельность разговора вынуждала оппонентов придерживаться соответствующего тона.

Так было до пресловутой «перестройки». Потом пошла череда фантасмагорий, сменяющих одна другую, наплывающих одна на другую. И одна из таких фантасмагорий, отзывающаяся и в современности, связана с именем Ланщикова.

Я имею в виду «дискуссию» (кавычки здесь необходимы!), развернувшуюся вокруг статьи «Капитан», которая публиковалась в «Нашем современнике» под заголовком «Мы все глядим в Наполеоны...».

В этой статье, поводом для которой стало появление нашумевшего и забытого романа А. Рыбакова «Дети Арбата», в ее органичном контексте критик нашел место анализу собственно рыбаковского сочинения, романа Николая Скромного «Перелом» (это был один из первых серьезных критических отзывов на замечательный роман о коллективизации тогда еще молодого прозаика), разговору о повести Виктора Астафьева «Кража» (который Ланщиков начал тринадцатью годами ранее, а здесь продолжил уже на новом витке осмысления), о «Канунах» Василия Белова, о «Ваське» Сергея Антонова — и все это в общем повествовании о сталинской эпохе, повествовании, уровень и глубина которого *тогда* как бы изначально не предполагались. Пожалуй, рядом с «Капитаном» можно поставить разве что ставшую уже хрестоматийной статью Вадима Кожинова «Правда и истина».

Тогда, в 1988 году, в моде были другие разговоры. В моде была «огоньковская» истерика Юрия Карякина и сопутствующие ей сочинения подобного уровня. «Сталин-тиран» стал своего рода дежурным блюдом не только на телевизионном экране, в радиопередачах, в газетах и журналах (сейчас мы пе-

реживаем своеобразный «ренессанс» этой истерики), но и в концертных программах в обязательном порядке между номерами возникал «вставной мотив» репрессий и «покаяния», что само по себе поражало и вызывало ощущение какой-то дьявольщины во всем происходящем.

Ланщиков, как всегда, был трезв (редкость по тем временам, когда многие пьянели от первого же глотка «антисталинизма»), спокоен, объективен и беспощаден в своих выводах. Отдавая должное государственному уму, решимости и политической воле Сталина, он, размышляя над коллизиями прошлого, обозревал их взглядом «фигур, не учтенных историей, т. е. рядовых членов партии и руководителей среднего звена, на место которых вправе себя поставить любой», и приходил к мысли о том, какой страшной ценой заплатила русская деревня за «левизну» во внутренней политике, сталинскую «левизну», о которой ныне предпочитают не упоминать никакие «правые» антисталинисты, (ибо они на самом деле никакие не «правые», а по отношению к своему народу ведут себя хуже любых «левых»).

Разговорами о тяжелой участи крестьянства сейчас спекулируют все кому не лень, а тогда, в момент публикации «Капитана», на первом плане в массовом сознании были совсем другие «жертвы сталинизма» — пресловутая «ленинская гвардия», готовая сжечь Россию в топке мировой революции.

И эта глубокая, точная, выверенная по мысли *антисталинская* статья стала поводом для обвинения ее автора... в сталинизме. До сих помню одну литературную дискуссию в зале Ленинской библиотеки, когда во весь рост поднялся пылающий «праведным» гневом Карякин и, обращаясь к Ланщикову, вопросил гласом, в котором слышалось хорошо отрепетированное дрожание:

— Как относиться, Анатолий Петрович, к таким Вашим словам: «Конечно, Сталин был великим государственным деятелем, и лично я стою на той точке зрения, что именно благодаря Сталину наша страна в очень короткий срок превратилась в могучую индустриальную державу и сыграла решающую роль в победе над фашизмом»? Как нам к этому относиться после всего того, о чем мы узнали?

Судя по сочинениям самого Карякина, узнал он чрезвычайно немного и исключительно из «хрущевских» источников... Я уже упоминал о том, что из текста Ланщикова невоз-

можно выдергивать отдельные фразы с тем, чтобы строить на них удобную оппоненту «полемику». И в данном случае передергивание было настолько очевидным и наглым, что не требовало обстоятельного ответа... Ланщиков спокойно и печально произнес лишь несколько слов.

— Юрий Федорович, я никак не ожидал от вас подобных приемов. Я не рассчитывал на то, что буду иметь дело с очевидным жульничеством.

Тогда многие из нас ничего подобного не ожидали. Учиться новым приемам «полемики» приходилось буквально на ходу.

Продолжения ланщиковской фразы оппонент, естественно, не привел. А оно заслуживает внимания не только в контексте разговора о сталинской эпохе, но и о нынешней:

«...Хотя я и не рискну связывать величие или, сказать точнее, великость Сталина с идеями гуманизма и не какого-нибудь там абстрактного, а именно классового, рабоче-крестьянского, только не в той его распространенной форме, когда от имени рабочих и крестьян попираются их же конституционные права и жизненные интересы, а в его истинном смысле, когда равнодостоинство каждого гражданина не только провозглашается, но и имманентно вытекает из всей практики общественной, политической и экономической».

Попробуйте приложить заключительную часть фразы к современности и ответить на вопрос: вытекает ли ныне (а не только провозглашается) равнодостоинство каждого гражданина нашей страны «из всей практики общественной, политической и экономической»?

Размышляя о том, почему при описании сталинской эпохи требуется все больше и больше перечислений всевозможных ужасов, Ланщиков задавался естественным вопросом: «К худшему, что ли, нас приуготовляют?»

И вопрос этот был не праздный. «Интеллектуальный» террор против собственного народа, начатый в «перестройку», в конце концов вылился в физический (массовые избиения демонстраций народного протеста в 1992—1993 годах, расстрел 1993-го, уголовный террор против граждан, практически безнаказанный на протяжении всех 1990-х, нынешняя борьба с «экстремизмом»...). И это еще не самое худшее. Сталин не помышлял ни о какой эмиграции. Нынешняя власть имеет по всему миру «запасные аэродромы», что реально избавляет ее от какой бы то ни было заботы о народе, и в этом

«избавлении» она находит полное понимание со стороны той интеллигенции, что обслуживает нынешний агитпроп.

Впрочем, ничему не стоит удивляться, если вспомнить слегка ироничные, но абсолютно точные слова критика об интеллигенции, которая «пошла «в народ», чтобы бить его по морде, но не просто так, а из соображения «политической линии»... Начиная с той пресловутой эпохи и до сего дня внушительная прослойка, подвизающаяся в агитпропе и считающая себя «интеллигенцией», полагает, что народ совсем не тот, каким она его хочет видеть, а потому необходимо пустить его в очередную «переделку» — будь то насаждение в деревне «коммун» или «реформа образования», благодаря которой должно вырасти поколение манкуртов, не помнящих и не знающих ни истории, ни литературы своей страны...

Многое из того, что написано Ланщиковым в «Капитане», ныне придется не по душе и тем нашим интеллигентам-патриотам, что обращают свой взор к сталинской эпохе, находя там многочисленные подтверждения своей правоты в споре с отвязанными либералами, которые, со своей стороны, могут попытаться воспользоваться иными умозаключениями «дремучего почвенника» (по выражению Г. Красухина).

Но Ланщиков и об этом успел написать в статье «Апостолы и жертвы сиюминутного»: «К сожалению, сегодня многие патриоты остаются совершенно равнодушными к отечественной истории, их гипнотизируют лишь отдельные разрозненные факты истории и современности, а вовсе не сам исторический процесс, а без знания и понимания процесса невозможно развивать какие-либо традиции». А чуть выше он обозначил проблему, которая хорошо понималась более или менее думающими русскими людьми 20 лет тому назад, но за последние годы понимание ее куда-то исчезло: «...Западный агитпроп куда спокойнее относится к коммунистическим идеям, а советский к западным, нежели тот и другой — к почвенничеству».

«Почвенничество» (отнюдь не дремучее) было вечной болью и заботой Ланщикова как мыслителя. Он не переставал размышлять о судьбе *почвы*, на которой взросла та литература, что предъявила новую Россию XX веку. И судьба деревни, и судьба рожденной ею литературы анализировались им в общем процессе истории России, и отношение власти к русскому мужику, и ответ мужика на это «отношение» рассматривались им в едином историческом контексте, начиная с пугачевского восстания — до коллективизации и ликвидации так называе-

мых «неперспективных» деревень. С полным осознанием своей правоты он писал, что «нет у нас никакой «деревенской» литературы — все это выдумки равнодушных людей. Современные острые вопросы деревни — это наши общенародные вопросы, от правильности решения которых зависит судьба всего народа, а не только одного крестьянина. Современная литература о деревне — это общенациональная литература, и достижения ее способствуют расцвету всей отечественной литературы, в том числе и литературы о городе. Забота о современном городе начинается с заботы о старой деревне. Ведь оно и впрямь, как аукнется, так и откликнется».

И в этом же контексте оживает старый смысл слова «народ», напрочь вычеркнутого ныне из каких-либо общественных «обсуждений», не говоря уже о многочисленных так называемых «ток-шоу». Не худо бы нынешним «модернизаторам» сделать то, чего делать они, конечно же, не будут: перечитать статьи Ланщикова, в которых движение живой мысли, оснащенной глубоким историческим знанием и нетривиальными сопоставлениями известных фактов, приводит к простому и ясному выводу:

«Демократия не меньшая утопия, чем коммунизм. Наиболее честные и сильные умы еще когда о демократии только теоретизировали, уже ставили под сомнение возможность ее реального претворения в политическую жизнь...

Оттого-то у нас и не работают механизмы законов, что ни один из них не был сориентирован на «нравственные убеждения» народа».

Есть вещи, мимо которых не пройдешь и которые конем, что называется, не объедешь. Насколько безукоризненна с точки зрения исторического знания, понимания исторического процесса и логики развития мысли статья «Ледокол» идет на таран», которая могла бы послужить ныне многим «дискурсантам» на историческом «поле», настолько все же небезукоризненна при всех своих достоинствах статья «Капитан». Восхищение анализом литературных произведений и исторических событий в этой статье, вполне естественное, уступает место недоумению, когда наталкиваешься в ее тексте на вопрос: «Почему тогда Англия, Германия или США сумели так вырваться вперед в «технико-экономическом» отношении без «успешного социалистического строительства»? Ответ же очевиден: потому что беззастенчиво грабили собственные колонии по всему миру. Именно вопрос о русской деревне как

о «внутренней колонии» встал со всей очевидностью перед началом коллективизации. Вот что значит воздействие агитпропа, столь ненавидимого Ланщиковым, если этот мудрый и столь обстоятельный в рассуждениях критик оказался подвержен подобным, к счастью, немногочисленным срывам.

В не меньшее недоумение приводит и один из заключительных абзацев этой статьи, точнее, одна фраза в этом абзаце: «Окончится война и... на карательных органах по-прежнему будет уверенно восседать земляк Сталина — маршал Лаврентий Берия. Такой пост русскому человеку доверять нельзя». Здесь воздействие антисталинского агитпропа на мгновение заволокло глаза глубоко уважаемому мной литератору густой пеленой. Достаточно вспомнить, что Берия после войны возглавлял Спецкомитет, занимавшийся разработкой атомного оружия, а «карательные органы» возглавляли поочередно русские Абакумов и Игнатьев. И, кстати, Берия, снова возглавивший «органы» после марта 1953 года, начал свою деятельность с реабилитации репрессированных во время «игнатьевского правления» 1951—1952 годов, а потом собирался всерьез взяться и за своего «преемника».

Какие мотивы были здесь причиной действий как одного, так и второго — об этом историки спорят по сей день. Но жаль, что Анатолий Петрович в свое время допустил в своей серьезнейшей работе столь вольный и неосмысленный «пассаж», что, по-хорошему говоря, ему было совершенно несвойственно.

Но это частность, пусть и не очень приятная. А сейчас — о более существенном.

Я не единожды задавался вопросом: почему Ланщиков, автор книг о Викторе Астафьеве и Анатолии Жигулине, ни словом не обмолвился об их поздних сочинениях — о романе «Прокляты и убиты» и повести «Черные камни»?

С самим Анатолием Петровичем я на эту тему не говорил. Встречались мы в последние годы его жизни нечасто, и сами эти встречи происходили в атмосфере, не располагавшей к доверительной беседе. Кроме того, я каким-то шестым чувством угадывал, что этого вопроса ему не стоит задавать.

Думается, что Ланщиков слишком много однажды вложил *своего* в описание творческого мира прозаика и поэта. Это *свое* было святым и непререкаемым. Когда он писал о закономерности астафьевского творчества — «святом отношении к истокам человеческой жизни, которая и является для него мерой всему на земле», он актуализировал то, что было

родным и близким для него, для Ланщикова. К «Проклятым и убитым» эти слова были уже неприложимы. Когда он писал, сопоставляя ранние «лагерные» стихи Жигулина со стихами книги «Прозрачные дни», он подчеркивал, что «стихи Жигулина-рассказчика — это долгое повествование о *пережитом*, стихи Жигулина-исповедника — это подробная *исповедь* души, помеченная переживаниями сегодняшнего дня...

Со временем у Жигулина исчерпалась не тема, а изменилось под воздействием самой жизни его общее самочувствие... Не то чтобы прошла, исчезла прежняя боль, но она, найдя себе исход в поэтическом слове, вошла теперь составной частью уже в другое «настроение», которое начало искать своего выражения уже в ином поэтическом слове». Читая «Черные камни», он не мог не вспомнить строки своего любимого поэта: «Магадан, Магадан, Магадан, давний символ беды и ненастья... Может быть, не на горе, на счастье ты однажды судьбою мне дан?» «Черные камни» свидетельствовали именно о *горе* и еще — о *жажде возмездия*. Этого Ланщиков принять не мог. Сказать об этом — значило зачеркнуть написанное ранее. А для него это значило отказаться от *самого дорогого*, что он открыл в себе, читая *тех* Астафьева и Жигулина. И он... промолчал.

Точно так же он отказался от свойственного ему подробного анализа романа Георгия Владимова «Генерал и его армия» в процессе написания статьи «Апостолы и жертвы сиюминутного». Здесь присутствовала нерушимая доминанта — братство бывших суворовцев, черта непереходимая. Ланщиков безусловно прав в том, что книги Владимова писались «его личной болью». Но это не отменяет неумолимого факта: иные коллизии своих произведений Владимов мог и заимствовать у своих предшественников, как он позаимствовал коллизию «Верного Руслана» у Александра Яшина, автора стихотворения «Еще о собаках», написанного в 1964 году. И «личная боль» не отменяет конечной цели, с которой писался тот же «Генерал и его армия» и о которой «на всю катушку» высказался Владимир Богомолов. Ланщиков принципиально отстранился от участия в той дискуссии — суворовское братство было для него превыше всего.

На роковой 1991 год приходятся одни из самых существенных работ Анатолия Ланщикова — предисловие к публикации в журнале «Москва» работы Константина Победоносцева «Церковь и государство», в которой после долгого перерыва

перед отечественным читателем предстал этот умнейший государственный и церковный деятель, и послесловие к изданию знаменитой книги Ивана Солоневича «Народная монархия», завершенное беспощадным и жестоким выводом критика:

«России уже не суждено возродиться, снятые с креста или с дыбы не возрождаются.

Они или *воскресают*. Или *не воскресают*».

Небезынтересно то, что буквально те же самые слова произнес тогда же высоко ценимый Ланщиковым Юрий Кузнецов во время своей авторской телепередачи в Останкине, благополучно запрещенной к показу «демократической» цензурой.

В том же году я обратился к Анатолию Петровичу с просьбой написать свои размышления в журнальную рубрику той же «Москвы» — «Литературные перекрестки — позиция и оппозиция». И это был, пожалуй, самый печальный, пессимистичный текст, вышедший из-под его пера, проникнутый воистину апокалиптическими мотивами, который доводилось у него читать.

«Процесс раскультуривания успешно завершается, последняя цитадель христианской культуры — Россия — вот-вот окончательно рухнет. Печать, телевидение и организованный голод (второй по счету в нынешнем столетии) скоро подавят в нашей стране последние признаки духовной жизни и даже память о ней. Неврастенические массы, забыв о своем историческом предназначении, ринутся за своим новым «спасителем» в любую сторону и совершат любое деяние во имя сытости и удовлетворения своих низменных инстинктов, которые в них будет все сильнее и сильнее распалять мировой АГИТПРОП... Вопрос в том, остались ли на земле народы с надежным иммунитетом против духовного СПИДа, изобретенного в XX веке мировым АГИТПРОПом? Или же в третьем тысячелетии природа отпразднует победу всеобщей гармонии, но уже, разумеется, без участия и свидетельства человека — этого злого подкидыша Сатаны.

И то будет не конец света, то будет конец тьмы. И то будет победа жизни естественной над жизнью умышленной».

Частично то, о чем он писал, воплотилось в жизни на протяжении последующего десятилетия один к одному. Частично, к счастью, не воплотилось. Дорогую цену пришлось заплатить за расставание с овладевшей тогда массами неврастенией, но и этот морок стал постепенно спадать. Уже в новых поколениях стали появляться признаки необходимого иммунитета, и, как оказалось, не исчез он и в других народах (естественно,

тут же причисленных мировым АГИТПРОПом к некоей «оси зла» и приговариваемых к «вбамбливанию в каменный век»). Цена за некогда выраженную готовность к обморачиванию еще до конца не заплачена, и природа, жаждущая всеобщей гармонии, еще не единожды даст понять взбесившейся от иллюзии своего всемогущества части человечества — где на самом деле ее место.

А России, как писал любимый Ланщиковым Блок, предстояло «пережить муки унижения, разделения». И можно было лишь надеяться, что она еще раз «выйдет из этих унижений новой и по-новому великой»...

Через пять лет после ответа на представленную мной анкету Ланщиков опубликовал в «Москве» небольшую статью «Будет ли существовать Россия», в которой мысль его приняла более правильное течение и слово обрело большую надежду... Он писал о том, что «после прошлогодних октябрьских кровавых событий власть вынуждена была признать их национальной трагедией и публично отказаться считать себя победительницей», а также «вынуждена была перехватить некоторые лозунги и терминологию национальной оппозиции и в какой-то мере даже реабилитировать слово «патриот»...»

Завершал он эти заметки осторожной надеждой на возможное будущее, причем выделил эти слова жирным шрифтом: «**В России никто не выживет в одиночку, но Россия может выжить и в одиночку, если все сословия и национальные движения и партии почувствуют себя единым организмом с возрастающей духовной силой, с ответственным интеллектом и достаточной национальной имунной защитой**». Сам он не дождался напряженно желаемого. Будем же надеяться и прилагать все усилия к тому, чтобы сей период наконец настал.

Анатолий Ланщиков ушел из этой жизни в глубокой и спокойной печали за происходящее. О будущем и на будущее он задавал себе главный вопрос, который и оставил нам с надеждой на ответ:

«О чем все-таки безмолвствует народ?»

Перечитав нашего мудрого собеседника, подумаем над ответом вместе с ним.

Сергей Куняев

СОДЕРЖАНИЕ

Ал. Разумихин. «По законам высшей справедливости» 5
О чем молчала земля? *Вместо предисловия* 17

АВТОБИОГРАФИЯ ПОКОЛЕНИЯ

Осторожно — концепция! 31
Мода и современность 55
«Исповедальная» проза и ее герой 63
Когда не сбываются детские сны 99
Деревня и «деревенская» проза 123
Очевидность минувшего 150
Автобиография поколения 185
Исповедь Василия Шукшина 229
«Шума» не будет 263
Поэт и природа. *Памяти Николая Рубцова* 276
«Уроки гнева и любви...» 285

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЛИ ДУМОЮ ГРЯДУЩЕЕ?

Москва — Третий Рим, Российская империя и русская лень 313
«Горе от ума» как зеркало русской жизни 336
Великие современники. *Достоевский и Чернышевский* 355
Вместе — врозь 372
Великий бунтарь 399
Вопросы истории — вопросы современности 422
Дар судьбы 454
Предотвратить ли думою грядущее? 472

АПОСТОЛЫ И ЖЕРТВЫ

Капитан 491
«Ледокол» идет на таран 588
Апостолы и жертвы сиюминутного 632
Национальный вопрос в России 651
О пользе праздного чтения 675

О чем безмолвствует народ. *Вместо послесловия* 682

Сергей Куняев. Мудрый собеседник 689

Анатолий Петрович Ланщиков

О ЧЕМ БЕЗМОЛВСТВУЕТ НАРОД

Редактор Т.И. Маршкова, художник Б.Б. Протопопов, верстка А.А. Кувшинников, корректор И.А. Носкова

ООО «Алгоритм-Издат»
Оптовая торговля:
ТД «Алгоритм» 617-0825, 617-0952
Сайт: http://www.algoritm-kniga.ru
Электронная почта: algoritm-kniga@mail.ru
Интернет-магазин: http://www.politkniga.ru

Сдано в набор 29.10.11. Подписано в печать 27.11.11.
Формат 84x108/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Печ. л. 22. Тираж 1000 экз. Заказ № 6406.

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru
e-mail: order@gipp.kirov.ru

Анатолий Петрович Ланщиков (1929—2007) был одним из наиболее читаемых литературных критиков в 60—90-е годы XX века. С течением времени могло показаться, что те споры отбушевали и ушли в прошлое. Но, перечитывая сейчас работы Ланщикова, видишь, насколько в годы так называемого застоя и нового перелома русского хребта люди мыслили масштабнее и точнее, чем в нынешнее неустойчивое, отдающее гнилью, время. Насколько слово Ланщикова, касалось ли оно Чернышевского и Толстого или его живых современников — Астафьева, Рубцова, Жигулина, — вскрывало жгучие вопросы современности и было обращено с точным прогнозом в будущее.

Это первая посмертная книга критика, его «избранное», которое, надеемся, встретит своего вдумчивого и неравнодушного читателя.





